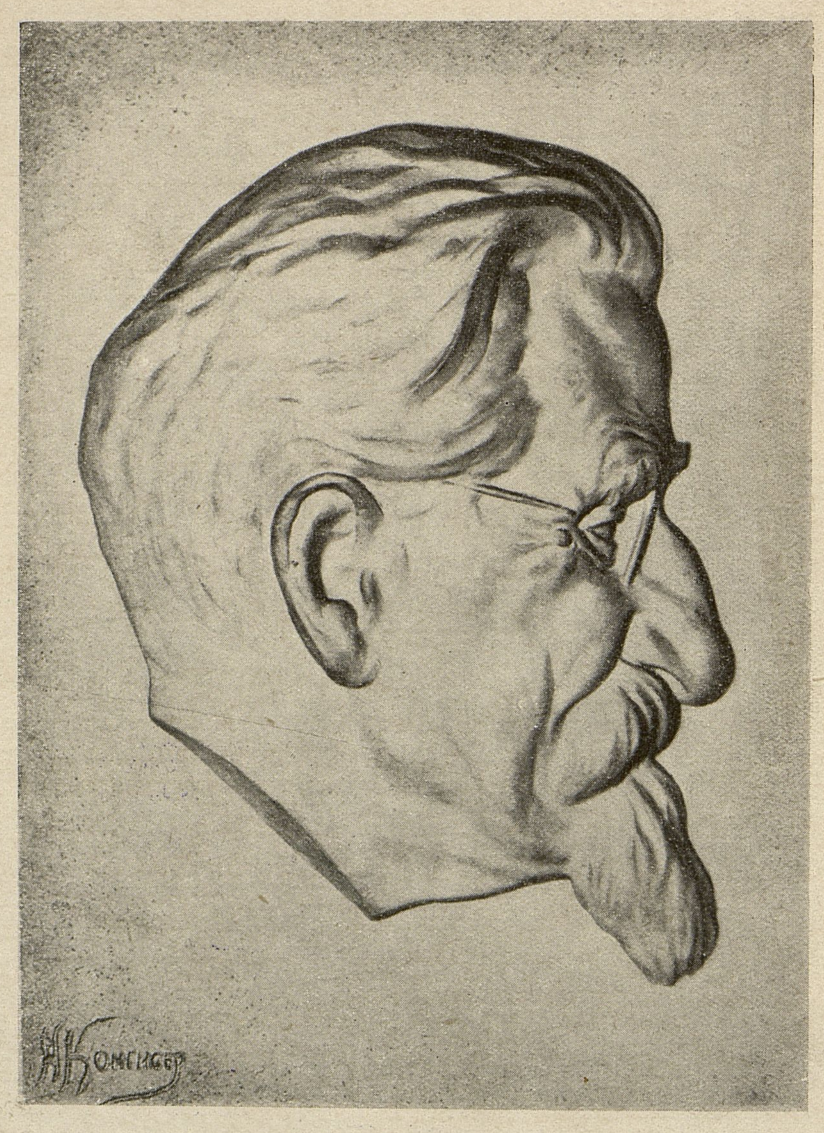
ФЕЛИКС КОН

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

ТОМ
1-2

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1936

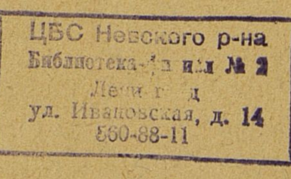


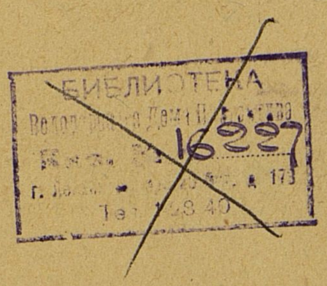
Ф. Я. КОН
1935 г.
Барельеф Н. Конгисер

ФЕЛИКС КОН

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

ИЗДАНИЕ
ВТОРОЕ





СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1936

ХУДОЖНИК
А. РАДИЩЕВ

КНИГА ПЕРВАЯ

ОТ АВТОРА

Предлагая читателю свои воспоминания о «делах давно минувших дней», я имею в виду ознакомить его с условиями, при которых приходилось вести борьбу, помочь представить читателю сколько мук и страданий пришлось пережить борцам до того момента, когда массы откликнулись на их зов и продолжавшаяся десятки лет борьба завершилась победой.

Эта борьба стоила жизни тысячам борцов.

Долг оставшихся в живых — сохранить в памяти новых борцов имена и дела погибших товарищей.

Этот долг лежит и на мне, как на одном из немногих, доживших до революции, и этой книжкой я его хотя отчасти пытаюсь выполнить.

Феликс Кон.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Я родился в Варшаве 30 мая 1864 года. Мои родители, ассимилированные евреи, душой и телом были преданы делу освобождения Польши. Мать принимала участие, правда косвенное, в восстании, ее брат Исидор Гейльперн был адъютантом Лянгевича (вождь польских повстанцев в восстании 1861—1863 гг.) и после разгрома повстанцев бежал за границу... Вспоминая свои детские годы, я до сих пор вижу мать, сидящую за столом и рассказывающую о страданиях Польши и о тех, кто восстал на ее защиту, о зверствах «москалей»... Шестилетним мальчиком я мечтал о том, чтобы стать вождем повстанцев, драться за отчизну и освободить Польшу от «москалей» и от «швабов», и, помню, с особым увлечением распевал:

И поляк в Москве был,
И ему челом бил
Нынешний господин.

Патриотизм в семье заменял религию. Из последней сохранилась только формальная, обрядовая сторона — не больше, но и ей придавалось небольшое значение. Помню такой случай. Была пасха. Вечер мы проводили у деда, который восседал, как полагается по ритуалу, за накрытым столом и читал молитвы. Ритуал требует, чтобы перед ужином приоткрывали выходную дверь, чтобы всякий голодный, бездомный или просто странник мог войти и разделить с хозяевами пасхальную трапезу. Мне как младшему приходилось обыкновенно исполнять эту обязанность. Я открыл дверь и... оторопел... на лестнице послышались шаги, и несколько секунд спустя в квартиру вошел совершенно мне незнакомый человек и направился к столу. Это был бежавший за границу мой дядя, нелегально вернувшийся в Варшаву. Он знал, что наступит момент открывания двери, выждал его и проник в квартиру. Дед, бабушка, родители бросились к нему, а мы, дети, с недоумением глядели на сцену их встречи. Минуту

спустя нам разъяснили, кто таинственный незнакомец, предупреждая о том, что это величайшая тайна, потому что если «москали» узнают, то дядю непременно расстреляют. Я, братья и сестры уставились на гостя. Он скоро начал рассказывать о своих похождениях. Молитвы были забыты. Все — от малышей до старого деда — с замиранием сердца слушали его рассказ.

— Чем рассказывать об освобождении евреев из Египта, поговорим о мученичестве Польши, — обратился дядя к деду, и тот охотно на это согласился.

Воспитанный в этом духе, я чувствовал себя во вражеском лагере, когда меня девяти лет отдали в гимназию в приготовительный класс. Преподавание велось на русском языке, которого мы совершенно не понимали. Помню, в первом классе, после года пребывания в гимназии, я зубрил стихотворение:

И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой.

И был убежден, что «дар Валдая» — одно слово: «дарвалдая» — деепричастие от какого-то глагола «дарвалдать».

О гимназических порядках, об отношениях между учениками и учителями говорить не приходится. Нас наказывали за разговор на польском языке, несмотря на то, что во 2-й классической гимназии, в которой я учился, в то время еще сохранились учителя-поляки. Но мы и к ним относились с большой осторожностью, глубоко убежденные, что поляк на русской службе, как нам говорили дома,—хуже «москаля». Во 2-й гимназии были и такие, но были и другие, весьма порядочные люди, как Склодовский — отец Кюри-Склодовской, Крынский и другие. Но они с такой же опаской относились к нам, как и мы к ним, и мы до окончания гимназии оставались чуждыми друг другу. С ними у нас хоть столкновений не было. Не то было с другими, в особенности с учителем немецкого языка фон-Дуйсбургом, который заставлял нас учить немецкое стихотворение, рисующее подвиги немецкого героя, разгромившего всю польскую армию. Он этим не ограничивался и часто провоцировал нас на столкновения. Я как-то не стерпел и спросил его, не было ли это в битве под Грюнвальдом, где немцы были наголову разбиты поляками. За эту дерзость я был оставлен на два часа после уроков, но зато дома мой ответ «швабу» был принят восторженно. Я на короткое время стал героем, чуть ли не мучеником. Но уже тогда впервые меня, как обухом по голове, поразило наставление матери: «Все же, мальчик, будь осторожен...»

Я тогда еще не понимал того, что патриотизм — не только в моей, но и в большинстве польских семей — был только, так сказать, «для дома», а вне его рекомендовалось быть «паинькой». Я таким «паинькой» не был и вскоре чуть не вылетел из-за этого из гимназии. Я был в пятом классе, когда в Варшаву приехала после продолжительного пребывания за границей пользовавшаяся

всемирной известностью артистка Елена Модржеевская. Зная, в каком тяжелом положении находятся все польские учащиеся, опекаемые царскими сатрапами-руссификаторами, Модржеевская дала ряд спектаклей в пользу студентов, учеников гимназий и т. д. и только уже потом начала свои спектакли по контракту с Большим театром. Желая подчеркнуть свое отношение к артистке-гражданке, студенты, адвокаты и другие во время этих спектаклей устраивали ей овации, подносили венки, забрасывали ее цветами. Только мы, ученики гимназии, не могли принять в этом участия. Нам без разрешения гимназического начальства даже в одиночку нельзя было посещать театры. Само собой разумеется, что чем внушительнее становились устраиваемые Модржеевской демонстрации, тем нам было досаднее, что мы ничем не выражаем своего отношения к ней. И нас в конце концов «прорвало».

В Варшаве в то время было шесть гимназий: 1-я — по преимуществу для детей русских чиновников, 4-я — в которой учились сыновья польских помещиков, 6-я — для детей аристократов и три остальные — для детей обыкновенных смертных. Вот представители этих остальных трех гимназий собрались и решили, что и «мы не лыком шиты», что и нам необходимо показать свое отношение к артистке. Но как? После долгих обсуждений и споров постановили ни венков, ни букетов не подносить — Модржеевская поймет почему, — закупить раек и галерку и массой, не считаясь с запрещением, присутствовать на спектакле. Пьесу выбрали самую «невинную», чтобы начальство не могло придраться, и выбрали трех человек, которым поручили заняться покупкой билетов. Обо всей этой затее узнало начальство и запретило дирекции театра продавать нам билеты. Это лишь подлило масла в огонь. Мы собрались вторично и решили, что если самым невинным нашим затеям ставятся препятствия, то нужно «им», то есть начальству, «показать». Дети повстанцев, мы кое-что смыслили в конспирации. Притворились подчинившимися, в гимназии ни слова не говорили о своих планах, а тем временем, соблюдая конспирацию, собрали деньги на билеты, на букеты и большой венок, поручили посторонним лицам закупить раек и галерку и, уже не стесняясь ничем, пьесу выбрали «подходящую» — «Даму с камелиями» Дюма. Мало того, к венку были заказаны польские национальные ленты с надписью «Елене Модржеевской — польская учащаяся молодежь». Гимназическое начальство и полиция хватились лишь тогда, когда все было готово. Несколько полицейских не смогли сдержать натиска нескольких сот юношей, и мы ворвались в театр, поднесли венок и устроили шумную манифестацию. Несколько дней спустя во всех трех гимназиях началась расправа. Нас допрашивали: был ли на спектакле, давал ли деньги на венок, знал ли, что ленты национальные, кто собирал деньги на билеты и венок и кто поднес венок. На первые три

вопроса мы отвечали утвердительно, на два последних отказывались ответить. Тогда из каждого класса, по выбору инспекторов, было исключено из гимназии по пяти человек. В числе исключенных был и я.

Во 2-й и 3-й гимназиях этим дело и кончилось; в 5-й оно осложнилось. В число исключенных не попал Игнатий Нейфельдт, подносивший венок. Считая, что другие страдают за него, он, когда инквизиторы уже уходили, закричал им:

— Я поднес венок!

— И я, — откликнулся другой ученик — Домбровский.

— А я собирал деньги! — заявил мой однофамилец Кон.

Они предполагали, что своими признаниями спасут других, но добились лишь того, что их всех троих исключили с волчьими билетами. Этим дело не кончилось. На следующий день Нейфельдт явился к директору Хорошевскому с просьбой назначить ему другое наказание, так как исключение ставит его и его семью в отчаянное положение: он уроками содержит старуху-мать, а исключенный — он потеряет уроки. Тут же Нейфельдт прибавил, что, если его просьба не будет уважена, ему ничего не останется, как пустить себе пулю в лоб.

— Жид — и пулю в лоб! Не поверю! — ответил директор.

Несколько минут спустя Нейфельдт с раздробленной головой лежал мертвый на полу в соседней комнате.

Он после этого разговора жил только столько времени, сколько нужно было для того, чтобы написать записку с сообщением о разговоре с директором.

При известии об этом вся Варшава от мала до велика вознегодовала, а власти струсили. К исключенным, в том числе и ко мне, был на квартиру прислан курьер с вызовом в гимназию, где нам было объявлено, что попечитель округа оказал нам снисхождение и решил принять нас обратно в надежде на то, что мы исправимся. Мы не исправились. Несмотря на запрещение участвовать на похоронах Нейфельдта, все старшие классы упомянутых трех гимназий приняли в них участие, каждый класс с венком с соответствующей надписью. Но не одни ученики демонстрировали, демонстрировали и родители. До пятидесяти тысяч человек участвовало в этих похоронах, на гроб было возложено более двухсот венков. На первых порах власти не принимали никаких мер, даже директора гимназии Хорошевского перевели куда-то в глубь России, но когда все успокоилось, мы, намеченные ранее к исключению, были наказаны многочасовым карцером.

Само собой разумеется, что при таких педагогических приемах тот дух бунта, который не мог не быть у детей в порабощенном крае, только усиливался и все более и более толкал на революционный путь. А так как все зло приписывалось поработителям Польши, то путь этот был путем борьбы за независимость Польши.

Русская молодежь никогда не переживала того душевного надлома и перелома, какой приходилось переживать большинству польской молодежи в момент вступления в ряды борющихся за освобождение пролетариата...

В России чувство неудовлетворенности и недовольства толкало молодежь на борьбу с самодержавием... У нее не было выбора. Лагерь борьбы был только один. В Польше в течение целого столетия недовольные элементы шли по проторенной отцами и дедами повстанческой дороге. В этом отношении, несмотря на реакцию в польском обществе после восстания 1863 года, несмотря на явный уклон в сторону примиренчества и использования «возможностей» промышленного завоевания России, традиции были сильны. На страже этих традиций стояли женщины — «матери-польки», о которых польский поэт Викентий Поль говорит:

Еще они выкормят в тишине
Ряды боевой молодежи,
От них дети узнают о нас
И, как мы, уверуют в свободу...

И в действительности, польские матери свято исполняли эту миссию. Уже сидя в Варшавской цитадели, мы, собирая данные о заключенных, в число других вопросов включили вопрос о предках, принимавших участие в восстаниях. Картина получилась замечательно красочная. Отцы, деды и даже матери большинства заключенных были замешаны в восстаниях, а одна из обитательниц десятого павильона Варшавской цитадели в 1885 году — Мария Богушевич — оказалась, по матери, внучкой Тадеуша Костюшки...

Огнем и мечом, виселицами и каторгой усмирила царская Россия «бунтовщическую» Польшу, кровавый порядок был восстановлен не только в Варшаве, но и во всей Польше. Приезжавшие из России победители-самодержцы «слез не видали, — по выражению Словацкого, — видали лишь дома, расцвеченные коврами». Но то, что делалось внутри этих домов, было сокрыто от этих глаз... А там именно росла и крепла новая, молодая Польша. Росли дети, которые раньше чем молитве выучивались патриотическим гимнам. Росла молодежь, для которой контрабандой привезенный из Галиции портрет Костюшки был большей святыней, чем иконы и даже распятие.

И получался странный контраст...

Дома культивировались традиции, священные традиции борьбы, вне дома — вся жизнь шла в разрез с этими традициями. Поляк — «патриот» в своем домашнем очаге — служил «верой и правдой» в качестве чиновника русского самодержавия, употреблявшего все средства, чтобы превратить Польшу в «Привислинский край»; поляк-«патриот», купец на варшавском рынке, побивал в конкуренционной борьбе лодзинские товары... московскими и т. д. и т. д.

И это противоречие между культом и жизнью, между словами и делом не могло не бросаться в глаза подраставшему поколению, не могло не ставить перед ним вопросов, совершенно незнакомых прежним поколениям.

Лично передо мной этот вопрос возник, когда я еще был в четвертом классе гимназии. То было в памятный для польской молодежи 1877—1878 год. Тогда почти одновременно были арестованы Адам Шиманский вместе с целым кружком патриотов и первые польские социалисты: Мечислав Бржезинский, Данилович, Вацлав Серошевский, Максимилиан Гейльперн, Станислав Лянды и многие другие... В числе этих других была и моя старшая сестра Елена. Почему она стала в ряды социалистов, а не патриотов, — это в то время было для меня и непонятно, и непостижимо. За разъяснением этого вопроса мне не к кому было обратиться: она была в тюрьме; мать, горячая патриотка, никогда ничего общего не имевшая с социалистическим движением, «за содействие сокрытия следов преступления, попустительство и укрывательство» была равным образом арестована. Правда, у меня было много гимназистов-товарищей, были друзья, с которыми я собирался в будущем составлять повстанческие отряды, но в этом вопросе я был совершенно одинок: не с кем было поделиться своими недоумениями, не с кем было посоветоваться. Я бился, в буквальном смысле слова, как рыба об лед... Я чувствовал, что у меня что-то отнято безвозвратно, что я на каком-то распутьи... Именно чувствовал. Мне было тогда всего четырнадцать лет. О сознании не могло, конечно, быть и речи.

В это время в десятом павильоне цитадели произошло событие, сыгравшее в моей жизни немаловажную роль.

Часовой застрелил одного из заключенных — рабочего-социалиста Иосифа Бейте, восемнадцатилетнего юношу, за разговоры с товарищами.

В то время такие убийства еще не были в порядке вещей. Возмущенные товарищи Бейте реагировали на это убийство бурным протестом. Двое из них — известный впоследствии писатель Вацлав Серошевский и не менее известный общественный деятель Станислав Лянды — были за этот «бунт» привлечены к ответственности по обвинению «в вооруженном сопротивлении властям», преданы военному суду и приговорены к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири, а жертва этого гнусного убийства — Иосиф Бейте—был похоронен под самой оградой Повонзковского кладбища, в той части, где хоронят нищих, бездомных и самоубийц...

Я часто посещал его могилу и целые часы просиживал над ней, как бы в ней ища ответа на мучивший меня вопрос... Иной раз на обратном пути домой я сворачивал на главную аллею кладбища и останавливался перед отгороженным решеткой и залитым асфальтом местом, без всякого памятника, без таблицы,

без надписи... То была могила «пяти погибших» — первых пяти жертв восстания, павших на улицах Варшавы... Струсивший тогда не на шутку князь Горчаков вынужден был дать разрешение на торжественные похороны этих жертв, и им была отведена братская могила в лучшей части кладбища...

Повидимому, под влиянием мучившего меня тогда вопроса однажды в моей голове мелькнула мысль: «Они — здесь, а Бейте — там!..»

«Здесь»— среди знати и богачей; —там»— среди нищих, безродных...

Мелочь... Случайное явление, имевшее вполне точное объяснение... И, тем не менее, это сопоставление произвело на меня потрясающее впечатление...

Несколько недель спустя я утащил из стола сестры, к тому времени освобожденной из тюрьмы, какой-то разрозненный номер издававшегося в Швейцарии журнала «Równosc» («Равенство»)... Этот номер сделался для меня откровением... Статья Казимира Длусского[1] затрагивала больной вопрос об «изменениях в польском характере», нападала на польское общество, у которого на языке возвышенные идеи патриотизма, а в жизни — самый пошлый гешефт.

Некоторое время спустя мне повезло утащить из того же стола — неиссякаемой сокровищницы — стихотворение, написанное одним из заключенных, — стихотворение, описывающее разгром Польши сворой царской опричины и отмечающее, что Польша «тихим пропитанным болью голосом воспевает свое прошлое, оставляя будущее на волю рока». И когда? Когда на Западе рвутся в бой измученные народы и под знаменем «прогресса шествуют к лучшему будущему...» Автор далее говорит о той молодежи, которая в Польше откликается на революционный зов Запада, — о молодежи, целью которой является счастье неимущих и угнетенных, нищих, порабощенных, потом и кровавыми слезами которых построено величественное здание цивилизации, для них закрытое и недоступное, — о молодежи, для которой «жизнь — борьба с царями», «борьба народа с тунеядцами».

Мне, четырнадцати-пятнадцатилетнему мальчику, казалось тогда, что я все понял, все познал, все решил... И с этого момента моя судьба, моя вся дальнейшая жизнь была предопределена, предрешена...

Не скоро мне удалось заполнить соответствующим содержанием брешь в прежнем миросозерцании.

Сестра была выслана в Сибирь, ящик ее письменного стола опустел... Никаких путей раздобыть книги, специально посвя-

---

[1] В настоящее время председатель «стрелков»—преторианцев Пилсудского.

щенные вопросу «о патриотизме и социализме», у меня не было... Выручил и помог случай. Я захворал, и врач отправил меня в Щавницу, курорт в Галиции. Здесь я встретился со студентом Казимиром Плавинским, только что освобожденным по отбытии годичного заключения из крепости[1]. Он был лет на шесть, на восемь старше меня. Для него все волновавшие меня вопросы уже были вырешены. От него я получил наконец прямые указания на литературные источники по интересовавшему меня вопросу. Я с жадностью набросился на книги... Многое стало для меня тогда ясным... О многом я тогда только впервые узнал...

После восстания социалистическая мысль безудержно пробивала себе русло, а мы, польская молодежь, даже не знали об этом... Только тогда я узнал, что в Цюрихе с 1872 года существовало «Польское социал-демократическое общество», признававшее капитал исключительной собственностью трудящихся-производителей, а землю — общим источником благосостояния обществ и общин, обрабатываюих ее, выставившее лозунг самоопределения национальностей, призывавшее к свержению ига Германии, Австрии и России, поработивших Польшу, но мыслившее это освобождение не путем национального восстания, а путем социальной революции.

Но это крупнейшее событие в то время произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем то, что видный деятель польского восстания, генерал Валерий Врублевский, принял участие в Парижской коммуне и стал социал-демократом, само собой разумеется, не в современном значении этого термина. Он, насколько помнится, публично заявлял, что социал-демократическое знамя может быть знаменем Польши, что народы Польши и России должны вместе восстать под старым знаменем польских борцов: «За нашу и вашу свободу!» Чем больше я читал, тем понятнее становилось для меня, почему сестра перешла в ряды социалистов.

Существовавший уже тогда раскол между польскими социалистами, разделявший их на два враждебных лагеря — патриотов и интернационалистов, — это может показаться странным и непонятным, — мною в то время не был замечен. Проследить хронологически развивавшееся движение по тем случайным источникам, которые мне попадались в руки, было немыслимо... В моих познаниях в этой области были огромные пробелы, многое — по тогдашнему уровню моего развития — было для меня непонятно, недоступно. Я вполне основательно усвоил, что «социалистическая идея шире и выше идеи патриотизма», но от этого до полного и до некоторой степени враждебного противопоставления этих двух идей была дистанция огромного размера... Между тем эта дистанция была уже давно пройдена. На международном конгрессе в Хуре (в Швейцарии) эти два направления,

[1] Умер несколько лет спустя в Цюрихе.

достаточно оформленные, столкнулись друг с другом перед лицом всего Интернационала [1]. Но это в то время мне еще не было известно, и, буквально как снег на голову, обрушилась на меня маленькая книжонка с отчетом о праздновании пятидесятилетия восстания 1830 года в Женеве по инициативе польских социалистов.

В Этом празднестве приняло участие около пятисот социалистов всевозможных национальностей: немцев, французов, итальянцев, швейцарцев, русских, поляков...

В сущности, это не было празднование пятидесятилетия восстания, а похороны лозунга независимости.

Маркс и Энгельс, Лафарг и Лесснер в присланном письме, как бы игнорируя взгляды устроителей, извещавших в приглашениях, что «прежний лозунг — «Vive la Pologne!» («Да здравствует Польша!»)—совершенно потонул в волнах классовой борьбы, в водовороте борьбы труда с капиталом», приветствуя загорающуюся классовую борьбу в Польше, призывали к объединению польских революционных сил с русскими, считая, что это даст лишний толчок к тому, чтобы повторить прежний лозунг: «Да здравствует Польша!»

Увлеченные борьбой с социал-патриотами, первые пионеры интернационализма, несмотря на авторитет Маркса, решительно отвергли его. «Долой патриотизм и реакцию!», «Да здравствует Интернационал и социальная революция!» — вот лейтмотивы всех речей польских социалистов...

«Есть народ более несчастный, чем Польша, это — народ пролетариев», — повторяет Варынский слова «Интернационала» и тут же указывает, что «если ранее очагом революции была Польша, то теперь уже революцией чревата Россия и руководят ею социалисты...»

На меня, читавшего эти строки в то самое время, когда по всей России разносились раскаты героической борьбы «Народной Воли» с самодержавием, эти слова производили магическое действие... Герои восстаний — Костюшко, Домбровский — как-то стушевались в моем воображении. Их место занимали Засулич, Желябов, Перовская...

Это не была перемена убеждений. Вряд ли в то время были у меня убеждения... Это была перемена веры, культа... Мертвая, застывшая вера заменялась живой, действенной...

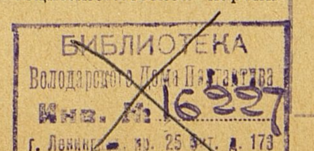
Из Щавницы я вернулся совершенно другим человеком... Апатия исчезла, я ожил душой...

Вопрос «что делать?» для меня, семнадцатилетнего юноши, конечно, не существовал...

Такие вопросы возникают лишь в более позднем возрасте, когда суровый жизненный опыт инеем разочарования успеет

---

[1] См. об этом мою статью в «Русском богатстве» за 1907 г. под заглавием «Раскол в польской социалистической партии».



охладить горячий порыв души, когда червь сомнения успевает подточить иной раз даже в корне нежную поросль надежды и веры. Но мне было всего лишь семнадцать лет, и я, сильный именно этими семнадцатью годами, готов был итти на бой со всем миром лжи и лицемерия, обиды и неправды, со всем миром горя и неволи... Я не ставил себе вопроса «что делать?» Для меня этот вопрос не существовал. Для меня было ясно, как день, что надо итти к своим сотоварищам, к таким же семнадцати-восемнадцатилетним горячим юношам, как я, поделиться с ними своей верой, своей правдой, объединиться, сплотиться, «подучиться», — эту необходимость я смутно сознавал, — а затем всем вместе «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» перейти «в стан погибающих», открыть перед ними причины гнетущего их рабства, открыть им глаза на ту силу, которая в них сокрыта, разбудить эту силу и... тогда... тогда... великое дело будет сделано: рухнет в пропасть царство неправды и рабства, а над землей воссияет яркое солнце свободы...

Все было так просто, так ясно, так легко...

Мы все, конечно, были обречены на погибель, — это было ясно, это было, пожалуй, в моем тогдашнем представлении даже необходимо, — какая же в самом деле борьба без жертв, без самопожертвования? — но это была лишь мелочь, деталь, да притом такая хорошая, такая красивая деталь...

Счастливые минуты!

Мое тогдашнее душевное настроение весьма походило на настроение того юноши-рыцаря, который задается целью разбудить спящую царевну, невзирая на ожидающие его лично испытания... А объект всех этих душевных мук и забот — весь трудящийся люд — тоже представлялся мне вроде этой спящей царевны, которую стоит лишь разбудить чудодейственным дуновением социализма, и он проснется, восстанет, сбросит с себя позорное иго рабства, освободит и себя, и всех...

Вооруженный этим факелом горячей надежды и веры, я по возвращении из Галиции решил поделиться ею с теми товарищами по гимназии, которые, по моим предположениям, могли откликнуться на мой зов... Случилось наоборот: не я нашел подходящих товарищей, а они нашли меня.

Однажды по окончании уроков, когда я направлялся домой, шедший вместе со мной Людовик Савицкий[1] совершенно для меня неожиданно бросил мне вопрос:

— А что, от сестры из Сибири ты получаешь письма?

— А ты разве знаешь, что она в Сибири?

Я с ним никогда об этом не говорил...

— Еще бы! Многие из нас знают это...

---

[1] По окончании ссылки покончил жизнь самоубийством в Париже в 1893 г.

Это было для меня неожиданностью... Я не скрывал ни перед кем, что сестра была арестована и выслана... Но я почти ни с кем об этом не говорил... Это было и мое горе, и моя гордость...

И профанировать это рассказами встречному и поперечному я и не хотел, и не мог. Но в словах Савицкого чувствовалось не любопытство, а как бы желание выразить сочувствие мне и преклонение перед ней... И мы скоро поняли друг друга... Оказалось, что, замкнувшись в своем горе и в своих сомнениях, я отстал... У нас в классе уже был социалистический кружок, а я и не подозревал этого... Савицкий же и начал разговор со мной с определенной целью вовлечь меня в состав этого кружка.

Когда мы расстались с ним, я задал себе вопрос, кто из товарищей по классу входит в состав кружка? Часть, и весьма значительная, была сразу мною отвергнута. Это — «зулусы», по тогдашней терминологии, — дикари, которым, кроме их будущей карьеры и удобств жизни в настоящем, все человеческое было совершенно чуждо. Таких было огромное большинство, причем они делились на две категории: одни были «зулусами» и ничем не прикрывали своей «зулусовской» наготы, другие были зулусами-лицемерами.

Достойные сынки своих достойных отцов, они свой карьеризм возводили в принцип и прикрывались патриотической фразой: благом родины и т. д.

Оставалось человек десять, юных душой, отзывчивых. Я перебирал в уме их фамилии и остановился лишь на шести... Савицкий, Козерский, Вацлав и Игнатий Домбровские, Трочевский, Пацановский... Я ошибся только относительно Пацановского. Товарищи оказались более чуткими, чем я, и этот будущий предатель не оказался в числе новых заговорщиков... Шестым был Центнарович, которого я причислял к «зулусам»... Стройный, элегантный, весьма заботившийся о своей внешности, он не казался мне подходящим кандидатом в революционеры... Но я ошибся... Оказалось, что он тогда уже умел сочетать заботы о своей внешности с заботой о внутреннем содержании.

Первое собрание кружка произвело на меня неизгладимое впечатление. Кроме нас, желторотых юнцов, лидером которых был весьма серьезный, начитанный и сильно превосходивший нас своим развитием Людовик Савицкий, присутствовали: Казимир Пухевич, кандидат прав, уже не раз привлекавшийся жандармами за социалистическую пропаганду, и тоже побывавшие уже в цитадели рабочие Сливинский и Пашке...

Кружок вначале имел лишь характер кружка самообразования.

На первом заседании Савицкий читал реферат об «Ассоциации» Михайлова.

При кружке была библиотечка, в которой превалировали русские экономисты. Я был наделен недавно вышедшей «Экономической политикой» Иванюкова...

Дискуссия по поводу прослушанного реферата велась деловито, серьезно...

Я не принимал в ней активного участия. Присутствие на заседании рабочих уже само по себе производило на меня потрясающее впечатление... Это была моя первая встреча с рабочими... Я всматривался в их лица с напряжением, словно пытался прочитать роковой ответ: поймут ли они нас, восстанут или же нас постигнет та же участь, какая постигла повстанцев 1861—1863 годов, когда они призывали на бой крестьян и наткнулись на полное равнодушие, полную безучастность?

«Темный народ! — мелькало у меня в душе. — Много придется поработать над ним, чтобы его просветить...»

Но вот один из представителей этого «темного народа» — Иосиф Пашке — выступил с возражениями Савицкому... Я опешил... По сравнению с ним я был круглым невеждой... Он ссылался на источники... Точно формулировал... Умело улавливал слабые стороны противника...

Я был совершенно уничтожен... Куда мне с моими скудными знаниями соваться к рабочим!

Это заставило меня усиленнее заниматься и готовиться к работе, а ранее я только думал, что приду, увижу, заговорю, — и победа обеспечена.

Мои опасения были крайне преувеличены. Таких рабочих, как Пашке, было, к несчастью, весьма немного. С теми же, с которыми мне приходилось в первое время встречаться, мне не трудно было справиться. Это был народ темный, неразвитой и отличался от русского рабочего лишь более горячим темпераментом, большей революционностью, известными революционными традициями... Эти рабочие были постольку же социалистами, поскольку и патриотами. Если бы в то время патриоты развили более энергичную деятельность, если бы они платонические вздохи заменили живым делом, то в то время, когда в рядах рабочих еще находились и повстанцы, как, например, Форминский, впоследствии осужденный на каторгу, и во множестве дети повстанцев, они могли бы иметь успех... Но тогдашние патриоты уже успели трижды отречься от своих предшественников-романтиков и в своих храмах водрузили новое знамя, новый «завет». «Грезы о политической самостоятельности ныне должны быть заменены лишь стремлением к внутренней самостоятельности...»

Так говорил тогдашний польский Заратустра, идеолог «позитивизма» Александр Свентоховский, так говорили патриотические пророки, звавшие на борьбу за завоевание не свободы, а рынков сбыта товаров...

Это завоевание могло быть достигнуто лишь при «нормальных условиях», лишь тогда, когда обретенное спокойствие, хотя

бы и кладбищенское, не будет нарушено никакими народными волнениями... И эти прозаические сыны романтических отцов звали лишь к спокойствию, банальными фразами пытались залить малейшую вспышку пламени увлечения, всю энергию направляли на развитие промышленности.

Им и в голову не приходило, что каждая вновь выстроенная фабрика — это новая казарма революционной армии, это накопление горючего пролетарского материала... И в тот момент, когда их цель была достигнута, когда клубы дыма из фабричных труб, казалось, уже совершенно окутали лазурное небо, совершенно неожиданно для них из душных рабочих казарм вырвалась песнь:

Смело поднимем знамя рабочих[1]...

С этого момента доступ патриотам в рабочие массы был закрыт.

Но в стране, разорванной на части, угнетенной, в одной части руссифицированной, в другой — германизированной, в стране, пользовавшейся некогда республиканскими свободами, а затем ввергнутой в бездну царско-гурковско-апухтинского произвола, несомненно, была почва для течения, впоследствии получившего название социал-патриотического... Апостолы этого течения проникли в рабочую массу, вначале даже пользовались успехом, но очень скоро исчезли с рабочего горизонта.

И не из-за того, что у них нехватило уменья, энергии, самоотверженности... Лимановский, Сосновский, Вислоух, Познанский, Балицкий не могли быть обвинены в этом. Причина их неуспеха скрывалась в рядах все той же буржуазии, которая, совершенно не отдавая себе отчета в настроении рабочего класса и поклоняясь единому божку — золотому тельцу, своими действиями вырывала с корнем из рабочей среды малейшее проявление чувства национального единства...

С одним из таких явлений мне пришлось столкнуться у самого порога своей деятельности...

То было в апреле 1882 года. Единственная, находившаяся еще в руках поляков железная дорога — Венская — по каким-то, может быть, даже самым основательным соображениям, решила сократить расходы по производству...

Это «сокращение» было поручено некоему Альтдорферу. Он сократил аккордную плату, одних рабочих совсем удалил, других пытался перевести на худшую и хуже оплачиваемую работу... Рабочие с негодованием и возмущением отвергли эти предложения. На этой почве, в связи с бессовестной алчностью патриотической дирекции, создался конфликт. Рабочие, удаляемые из мастерских из-за отсутствия работы, по закону должны были полу-

---

[1] Первая строчка популярной и среди русского пролетариата «Варшавянки».

чать при расчете $^{2}/_{3}$ своих взносов в пенсионную кассу. Этого права лишались удаляемые из-за нежелания подчиняться распоряжениям администрации, за лень и нерадение. Не имели права на возврат своих взносов и добровольно покидающие мастерские.

И вот на этом-то прославившийся Альтдорфер построил план своей финансовой политики. Все принятые им меры были направлены на то, чтобы рабочих заставить самих уйти и «сберечь» для управления железной дороги их скудные сбережения. Рабочие волновались, но это Альтдорфера не смущало. Он сознательно провоцировал столкновение и при объяснениях с рабочими дошел до того, что бросился на одного из них с поднятой рукой... Это было последней каплей, переполнившей чашу раздражения... Раздалась звонкая пощечина, отвешенная мозолистой рабочей рукой «самому» Альтдорферу, а вслед за тем началась забастовка.

Перепуганное «патриотическое» управление Венской железной дороги обратилось за помощью к русским жандармам...

И рабочие, и молодежь ожидали, что вся пресса ответит на это криком негодования и возмущения... Ведь этим актом «сыновья» обращались за помощью и поддержкой к палачам своих собственных отцов... Но пресса стала на сторону преследовавших и обрушилась на преследуемых, обвиняя рабочих в отсутствии патриотизма...

С этого момента уже прошло больше пятидесяти лет. К происшедшему тогда событию можно уже отнестись объективно. Огонь негодования, который тогда пылал в душе рабочих и молодежи, угас и покрыт пеплом давности. Но и ныне, когда я вспоминаю об этом событии, когда я вспоминаю о той роли, какую тогда сыграли жандармы, очень быстро ориентировавшиеся в положении и поражавшие рабочих своей кротостью, когда я вспоминаю то горькое чувство обиды за осквернение всей святая святых моей молодости и детства, я не могу не повторить слов, вложенных в уста «Перевозчика» Адамом Шиманским: «Негодяи! Возвратите мне мать мою».

О, как сжимались тогда кулаки против тех, кто идеально чистую любовь к родине и горячую веру втоптал в жандармскую грязь! Нам тогда стыдно стало за своих отцов... А эти отцы даже не отдавали себе отчета в том, что «порвалась цепь великая» и «ударила одним концом по отцам, другим—по сыновьям», что уже тогда их же собственным заступом вырыта была могила-пропасть, которой уже ничто не могло заполнить. Тогда классовая борьба, антагонизм классов еще не были осознаны... и честь ускорения процесса осознания, несомненно, принадлежит не самим рабочим и не социалистическим агитаторам, а буржуазии...

Одержанная тогда управлением Венской железной дороги победа для буржуазии в целом оказалась Пирровой... С этого момента «интернационалисты», выпустившие целый ряд возва-

ний и делавшие сверхчеловеческие усилия, чтобы установить контакт с рабочими массами, окончательно вытеснили из рабочей среды «социал-патриотов».

Победе «интернационалистов» немало способствовало еще одно обстоятельство.

В то же самое время, как в Польше воцарилось весьма выгодное для имущих классов рабье спокойствие, из «варварской» России доносились громы боя... То было время расцвета «Народной Воли»... Взрыв в Зимнем дворце, взрывы на железных дорогах, событие 1 (13) марта 1881 года, геройская борьба и геройская смерть на плахе русских революционеров — как отголоски из России, а в Польше — мольбы «отцов» по адресу «сыновей», чтобы они не поддавались соблазну с Востока и, как «скала» (выражение А. Свентоховского), холодно и твердо отражали налетающие на Польшу с Востока удары революционных волн...

Жизнь и смерть, борьба и покорность судьбе, движение вперед, к светлому будущему, и стремление назад, к отжитому прошлому — вот синтез того, что происходило тогда в России и Польше...

Мог ли пролетариат, могла ли революционная молодежь не склониться в сторону Востока? В воздухе уже тогда чувствовался порох... Революционный материал уже был налицо, недоставало только организации. — И она возникла.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПАРТИЯ «ПРОЛЕТАРИАТ» И ЕЕ ВРЕМЯ

Образовалась первая социалистическая организация в Польше — социал-революционная партия «Пролетариат». Ранее бывали кружки, кружочки, теперь все это слилось, объединилось, создало единый цельный организм... Ранее объектом воздействия были отдельные личности, теперь, впервые в Польше со времени восстания, этим объектом должны были стать массы.

Самая постановка именно этой задачи имела огромнейшее значение, наметила путь, проложила и углубила русло рабочего движения в Польше...

Возникновению социалистической организации в Польше немало способствовал пример России, но из России же были позаимствованы приемы борьбы, в частности — политический террор, который и в Польше, создавая наружно иллюзию силы, изнутри, как червь, подтачивал организацию.

Но это обнаружилось и выяснилось только впоследствии.

До тех пор, пока в Польшу проникали только отголоски террористической борьбы, самопожертвование, мужество и мученичество борцов не могло не питать новыми соками усвоенного с детства:

«Dulce et decorum est pro patria mori!» («Сладко умереть за отчизну!»)

Но когда этот вопрос стал в Польше на очередь дня, перед многими и, в частности, передо мной, стал другой вопрос:

Умереть? — да! А убивать?!

Мы были тогда безупречно чистыми, любящими, готовыми в любой момент «отдать душу свою за други своя», детьми.

Для нас вопрос о терроре решался чуть ли не исключительно в плоскости личной этики, и одна мысль об убийстве, о лишении человека жизни, кто бы он ни был, вызывала в нас ужас... Это была первая капля яда в моей жизни как революционера...

В программе «Пролетариата» пункт о терроре, словно красное пятно на прозрачно-светлом фоне, приковывал мое внимание,

несмотря на то, что этот пункт до поры до времени был лишь мертвой буквой.

Я мучился, страдал, и эти горькие чувства испортили и отравили самую светлую полоску в тогдашней революционной жизни — первую настоящую битву с царским правительством.

Кто ребенком в колыбели оторвал голову гидре,
Тот юношей задушит кентавров.

Эти строки Мицкевича приходят невольно на память, когда вспоминаешь событие, в первый раз за все время существования Польши всколыхнувшее до самого дна польские рабочие массы, но одновременно с этим поставившее на очередь дня вопрос о терроре и приведшее к расколу.

В феврале 1883 года варшавским обер-полицмейстером Бутурлиным было издано возмутительное постановление о санитарном осмотре всех женщин, работающих на фабриках, заводах и в ресторанах, хотя бы они работали на одной фабрике, за одним станком с отцом или мужем... Исключение делалось лишь для тех, за благонравное поведение которых поручится владелец фабрики или завода...

Нанесенное всему рабочему классу оскорбление не могло быть оставлено без ответа. Это сознавалось всеми... Но в то время как одни, придавленные сознанием своего бессилия, терзали себя и других вопросом: «Что делать?», на других это распоряжение подействовало возбуждающе...

— Желают борьбы? Будут ее иметь! — крикнул Варынский под первым впечатлением огорошившего всех известия.

Я раза два до этого видел Варынского, пользовавшегося уже тогда как неуловимый с 1877 года деятель огромной популярностью. Я знал его как организатора, как блестящего оратора, как полемиста... Но теперь впервые увидел его в момент «боевого подъема»... Он был неузнаваем... Великий народный трибун — он теперь как бы воспринял в своем лице нанесенное рабочему классу оскорбление и, словно мицкевичевский «Миллион», «страдающий» и оскорбленный за «миллионы», жил единой мыслью о достойном ответе... В обычное время — вождь, в этот момент он сделался диктатором.

— Желают борьбы? Будут ее иметь! — повторял он свое первое восклицание, включенное и в изданное и им составленное воззвание к рабочим:

«Граждане рабочие! Распоряжением обер-полицмейстера от 10 февраля отдан приказ подвергать полицейскому санитарно-врачебному осмотру всех женщин, работающих на фабриках, в мастерских и в магазинах, а равно и прислугу общественных заведений. Это невиданное и до сах пор нигде неслыханное оскорбление. Достаточно, значит, жить трудом, чтобы носить на челе клеймо проститутки! Ваших жен, дочерей и сестер только по-

тому, что судьба заставляет их работать, закон причисляет к уличным блудницам, торгующим своим телом. А для того, чтобы избежать этого позорного осмотра, нужно заручиться благосклонностью господина фабриканта. Другими словами: каждую работницу, которая не желает во всем подчиняться фабриканту, он волен отдать в руки полиции, поместить ее в списки проституток.

Рабочие! Вам нанесена пощечина, вас пытаются опозорить, пытаются испытать ваше терпение, вашу покорность!

Чем вы на это ответите? Неужели вы позволите гнусным агентам надругаться над более слабой половиной вашего же рабочего класса? Неужели вы обречете ее на жертву самой необузданной эксплоатации, на жертву разврата упитанных вашей кровью фабрикантов, которым правительство дает новое оружие для подавления всякой непокорности, всякого сопротивления?

Рабочие! Вы не должны допустить этого! Вы не можете и не должны уклониться от опасности, нависшей над рабочим классом. Сделанное на вас нападение необходимо отразить, хотя бы этот протест пришлось окупить кровью. Лучше смерть, чем позор!

Мы призываем вас выступить дружно против этого гнусного распоряжения. Докажите, что вы люди, что вы умеете защищать свою честь, что жертвы вас не пугают.

Желают борьбы — будут ее иметь!

Рабочий комитет.

Варшава, 13 февраля 1883 года.

«Они желают борьбы! И будут ее иметь!»

Это воззвание было расклеено по всему городу... Рабочие находили его на своих станках и верстаках, в карманах пальто — везде.

Неутомимый, я бы сказал, незаметный в обычное время, Дулемба — «Малый», как мы его называли, — проникал во все фабрики, рестораны, пивные, заводил беседы с рабочими, объяснял, агитировал. И уже на следующий день видно было, что это революционное семя падает на плодородную почву... Рабочие и работницы кучками начали собираться и в зданиях фабрик, и вблизи их, и оживленно обсуждали, как быть... Масса зашевелилась... Огонь ничем не вызванной обиды и глубокого оскорбления разжег сердца.

Предстояла борьба!

Но в Польше не было и не могло быть того заблуждения, на которое мне впоследствии весьма часто приходилось наталкиваться в России, обольщения тем, что власти «не посмеют», «не решатся»...

Дети польских повстанцев, поколение, выросшее в атмосфере «водворения порядка» в Польше, воспитанное на рассказах о

«подвигах» Муравьевых-вешателей, Бергов, испытавшее на себе приемы управления Гурко и Апухтина, мы знали, что агенты царского правительства в Польше «на все решатся», «все посмеют».

И перед нами возникал вопрос: как быть, если первое выступление рабочих будет задушено в крови и распоряжение Бутурлина будет приведено в исполнение уже хотя бы ради «поддержания престижа власти»?

На этот вопрос Варынский не колеблясь отвечал:

— Тогда — террор! Бутурлин должен быть тогда убит... Рабочие тогда воочию увидят, кто выступает на их защиту... Только тогда они сплотятся вокруг партии!

Все эти соображения для меня в то время не существовали. Лично для меня вопрос стоял в совершенно другой плоскости...

На то, чтобы быть убитым, я соглашался, но чтобы убивать самому — нет...

Я органически не был способен на убийство — и... оказался в лагере тех, которые были принципиальными противниками политической борьбы, «непосредственной борьбы с правительством», и которые до этого исторического момента оставались в партии «Пролетариат», рассчитывая на то, что этот пункт программы останется лишь... на бумаге... Когда же события дня убедили их, что этот расчет неверен,— произошел раскол... Небольшая группа интеллигентов во главе с Пухевичем и несколько человек рабочих откололись от партии и организовали новую партию — «Солидарность».

Для меня эта партия имела в то время лишь то значение, что это была антитеррористическая партия... И только... Этот плюс покрывал все минусы, а этих минусов было немало... Партия эта называла себя не «социалистической», а «рабочей», о борьбе с правительством в программе если и говорилось, то лишь между строками; вопросы текущего дня — борьба за повышение вознаграждения за труд и улучшение условий труда — превалировали над всем... Да и эта борьба должна была вестись «с достоинством», как говорилось в программном воззвании...

Составитель этой программы Казимир Пухевич, которому была совершенно чужда психология масс, как бы мыслил борьбу рабочего класса за эмансипацию в виде организованного, регламентированного заранее и зажатого в определенные, им составленные рамки движения, тихого, спокойного, без эксцессов, сдержанного и выдержанного во всех подробностях, во всех деталях.

«Солидарность» как бы схоронилась в уютный кабинет, в то время как разбушевавшиеся волны жизни с силой ударяли не только по кабинетным, но по всяким стенам...

Настроение в рабочих кварталах поднялось на небывалую со времени восстания высоту... Пролетариат готовился к бою... Исполнение распоряжения Бутурлина было чревато кровопролитными схватками, — и оно было отменено. Власти испугались...

Престиж партии «Пролетариат» сразу поднялся в глазах рабочих... Почва для деятельности партии была завоевана... Земля была разрыхлена, оставалось лишь сеять, сеять и сеять...

Второе воззвание «Пролетариата», возвещавшее об одержанной победе и призывавшее рабочих и работниц организоваться, было началом этого обильного сева...

Брешь, образовавшаяся в организации, как следствие раскола, была вскоре пополнена новыми силами, прибывшими на зов Варынского из Петербурга; привезенные из-за границы контрабандным путем брошюры, в том числе Млота (Дикштейна) «Кто чем живет?», заполнили пробел, давно ощущавшийся всеми, и работа быстро подвигалась вперед...

Работа партии «Пролетариат»...

«Солидарность», замкнувшаяся в тесные рамки своей программы, не сумела развить более широкой деятельности и явно, на глазах у всех, увядала...

Я лично был разочарован... Я жаждал деятельности, я сгорал от этой жажды, — а партия бездействовала...

Не было книг, даже брошюр, не с чем было обратиться к рабочим, я вызвался съездить за границу и привезти книги... Мне разрешили это исполнить... Только «разрешили» — не больше...

Эту вялость я объяснял себе тем, что большинство из членов «Солидарности» как раз в это время... держало выпускные экзамены на аттестат зрелости... Это отвлекало от партийной работы... Но вот мы окончили гимназию, я успел съездить в Галицию, перевезти транспорт книг, вернуться обратно в Варшаву, а вялость организации не проходила, — наоборот, как бы усиливалась.

Вдохнуть жизнь в эту организацию я не мог, это я сознавал ясно, и моя мысль была направлена в другую сторону, в сторону проверки своего отношения к террору... Я воспроизводил в душе все ужасы, творимые царским правительством в Польше, настраивал себя на соответственный лад и неизменно приходил к тому, что я как мститель за обиды жертвую собою для дела...

То обстоятельство, что я жертвую не только собою, но и тем, на которого направлена моя месть, как-то заволакивалось, стушевывалось... Жажда деятельности толкала на компромисс, а сознание, что этот компромисс будет искуплен моими муками и страданиями, делало его приемлемым...

Несколько месяцев спустя в первом своем литературном труде, напечатанном в нелегальном органе партии «Пролетариат», я изобразил тогдашнее свое душевное состояние... В очерке под заглавием «Забастовка» я представил уже обычную в то время картину борьбы труда с капиталом.

Рабочие дружно забастовали... Фабрикант, имевший накопленные запасы изделий, не сдавался... Забастовка затянулась... Рабочие голодали, но продолжали борьбу. Тогда по приглашению

фабриканта в дело вмешались жандармы и казаки. Вмешательство вооруженной силы поколебало стойкость рабочих... В этот момент член партии (конечно, в моем представлении не кто-либо другой, а только я!), по поручению организации, взрывает на воздух фабричные магазины вместе с караулившими их и обагрившими свои руки в крови рабочих казаками, сам гибнет во время этого взрыва, а запуганный фабрикант идет на уступки, удовлетворяет все требования забастовавших... Рабочие побеждают...

Много месяцев спустя прокурор, требуя для нас всех смертной казни, широко распространялся о нашей, в частности же о моей, кровожадности.

Великий знаток человеческой души!

Как он тонко разбирался в нашей психологии!

Много лет прошло с тех пор... Чего, чего не приходилось испытать за это время... Победы сменялись поражениями, поражения — победами... Воодушевление — упадком духа, упадок духа — воодушевлением... Сколько крови за это время пролито, сколько жизней унесли волны борьбы... Сколько революционных поколений сменилось и ушло... Сколько раз на мою долю выпадало переживать дни молодости!..

Все, все переживалось по нескольку раз...

Каждый день задержки в этой деятельности я считал с своей стороны преступлением. И я разрубил узел, связывавший меня с «Солидарностью». Я зашел к Савицкому...

— Я ухожу от вас... Я не могу больше... Меня томит бездеятельность...

Он не возражал...

На следующий день я уже был в рядах партии «Пролетариат»...

Я сразу с головой окунулся в бурные волны революционной деятельности...

В «Пролетариате» работа уже была налажена, организована... В то самое время как в «Солидарности» люди томились без дела, здесь, наоборот, для дела нехватало людей... В особенности в тот момент, когда я предложил партии свои услуги. Это было в конце сентября 1883 года... Варынский, Ентыс, Плосский выбыли из строя, со дня на день можно было ожидать новых арестов... Особенно ощутителен был, конечно, арест Варынского.

Душа и организатор партии, опытный конспиратор, в течение шести лет ускользавший от жандармов и приобревший реномэ «неуловимого», Варынский попался в руки полиции совершенно случайно и по своей собственной непростительной оплошности... Он оставил на прилавке в магазине, где покупал почтовые марки, сверток с корректурами статей, — в частности знаменитой ныне «Варшавянки»... Хватившись, он, вместо того чтобы,

по возможности, скорее скрыться, вернулся, взял сверток и спокойно направился в ближайшую кондитерскую, где у него было назначено свидание с Верой Щулепниковой, членом организации «Народной воли», скрывавшейся в Варшаве и занимавшейся главным образом сбором средств среди русских либеральных чиновников в пользу политических заключенных...

Несколько минут спустя в кондитерскую вошел околоточный, уведомленный уже лавочником о содержании вскрытого им, оставленного Варынским пакета...

Сразу сообразив, какая опасность ему угрожает, Варынский, не подавая виду, что заметил околоточного, как ни в чем не бывало продолжал беседу со Щулепниковой, не спуская глаз с него... Пакет с корректурными листами лежал на столе, и на него были устремлены взоры околоточного. Это не ускользнуло от глаз Варынского, и в решительный момент, когда околоточный, как гончая, бросился на добычу, Варынский схватил пакет и забросил его под диван... Остроумный полицейский сунулся туда же за пакетом. Этого только и ждал Варынский. Подтолкнув его дальше под диван, он схватил Щулепникову за руку, выбежал из кондитерской, ее направил в одну сторону, а сам стремглав бросился в другую.

Только минуту спустя выбежал околоточный вслед за ним из кондитерской... Началась погоня... На свисток околоточного со всех сторон сбежались городовые... Еще несколько минут,—и самый крупный социалистический деятель в Польше очутился в цепких руках полицейских...

Все документы, какие были при нем, он успел уничтожить. Щулепникову он спас от ареста, и она только несколько месяцев спустя была арестована в Киеве, — но сам погиб... Два года с лишним он провел в предварительном заключении в десятом павильоне Варшавской цитадели, а затем, приговоренный к шестнадцати годам каторжных работ, был отправлен в Шлиссельбург, откуда, по заявлению одного из жандармских генералов, «не выходят, откуда выносят»... Он там заболел туберкулезом, и его «вынесли» и схоронили под тюремными воротами, на берегу озера, в месте, где и до него и после него хоронили многих...

В 1905 году, когда ворота царской Бастилии на некоторое время открылись, я отправился туда вместе с покойным Рехневским и М. А. Натансоном и расспрашивал бывших жандармов, добиваясь от них указания места, где он похоронен...

— Здесь где-нибудь, — ответили жандармы, указывая на место, сплошь покрытое щебнем и камнями, ничем не напоминавшее могилы.

— Здесь?

— Должно быть, здесь... Отгребешь камни, выкопаешь яму, спустишь гроб, а затем все опять землей, щебнем и камнями выровняешь...

— Всех так хоронили?

— Всех...

. . . .

Другой видный деятель партии, Александра Ентыс[1], классная дама и учительница математики в Мариинском институте в Варшаве, была арестована на почте в момент, когда пришла за письмами, присылаемыми poste restante... Отказ назвать свою фамилию спас Ентыс... Кто-то заметил, что ее вывели из почты в сопровождении жандармов; вся организация была поставлена на ноги, а бывавшая у нее часто в институте Витольда Карпович[2] помчалась на извозчике в институт, очистила квартиру от всего подозрительного, часть бумаг сожгла, другую увезла, нелегальные издания и типографские принадлежности уложила в корзину и отвезла на хранение на вокзал, а оттуда уже на другом извозчике—на другую квартиру... Поблизости от института Карпович встретилась с жандармами, уже установившими личность Ентыс и направляющимися в институт... К счастью, там уже никого и ничего не нашли. Только этому Ентыс обязана тем, что не попала на скамью подсудимых и отделалась лишь административной ссылкой в Сибирь.

Плосский — третий из арестованных в эти памятные дни — в организационной и агитационной работе не принимал более деятельного участия. Литератор-публицист, он служил партии по преимуществу пером, для работы среди рабочих не подходил, и поэтому его арест был в то время для партии менее ощутителен, чем арест Варынского и Ентыс, который был невознаградимой потерей...

Только этой потере следует приписать то, что я, в то время еще совсем зеленый юноша, был использован в революционной работе... Моим «крестным отцом» в этой работе был казненный впоследствии Станислав Куницкий. Живой, как ртуть, быстро воспламеняющийся, типичнейший народоволец, в России вращавшийся в интеллигентских террористических кружках, он в Польше только впервые столкнулся с рабочим классом и буквально опьянел от восторга. По матери грузин, воспитывавшийся в России, плохо владевший польским языком и плохо ориентировавшийся на первых порах в польских отношениях, он некоторое время колебался и терзался сомнениями, сможет ли он работать среди польских рабочих... Но его влекло к ним... Он интуитивно чувствовал, что теперь только перед ним настоящий революционный элемент, и, увлеченный, строил воздушные революционные замки.

Обо мне он уже слышал, знал, что я — человек в политическом отношении «надежный», и с первого же слова настаивал

---

[1] Впоследствии по мужу Булгакова.
[2] Впоследствии по мужу Рахневская.

на том, чтобы я перенял некоторые связи с рабочими и самостоятельно вел для начала один кружок...

Я струсил...

— Боюсь, что не справлюсь...

— Пустое! Введем вас... Присмотритесь...

В ближайшее воскресенье я не без волнения сидел в трактире и ждал прихода представителей кружка и Куницкого, который должен был «на практике» показать мне, как это «дело» вести...

Долго ожидать мне не пришлось. Запаздывание на сходку не допускалось... В назначенное время пришел Куницкий, а несколько минут спустя и двое рабочих... В трактире было людно... Сидевшие за другими столиками ничем не отличались от нас. Мы так же были одеты, как они, так же сидели за кружками пива, так же вполголоса беседовали...

— Ну, что у вас слышно? — спросил Куницкий.

Рабочие, один пополняя рассказ другого, передавали обо всем случившемся на фабрике за истекшую неделю, о наложенных на рабочих штрафах, об отказе от работы, о столкновениях с директором и мастерами...

Эти рассказы послужили для Куницкого темой для пропаганды...

Он довольно ловко и умело переходил от частного к общему, от частных явлений на данной фабрике — к положению рабочих вообще, говорил об эксплоатации и гнете как явлениях, неизбежных при капиталистическом строе, рассказывал о будущем социалистическом строе и закончил призывом организоваться. Рабочие слушали его, от времени до времени поддакивая или приводя примеры в подтверждение услышанного от Куницкого.

Немой свидетель всей этой беседы, я окончательно оробел... У Куницкого все выходило и складно, и убедительно, просто и естественно, в то время как у меня, когда я шел на это свидание, рисовалась в голове совсем другая картина, более эффектная, обставленная более декоративно... Да и по существу, как мне казалось, я бы не сумел ответить так дельно и деловито на все вопросы...

Подавленный своим невежеством и неспособностью, я не вмешивался в разговор... Но Куницкий не забывал о своей роли наставника.

— Вот теперь товарищ Стожек будет постоянно приходить к вам в кружок, — сообщил он рабочим, указывая на меня.

Еще накануне он окрестил меня «Стожеком», своеобразно применяя эту кличку к моей фамилии: «Кон», после присоединения латинского окончания, преобразился в «конус», а «конус» — в переводе на польский язык значит «стожек» — стожок. С течением времени кличку «Стожек» сменила кличка «Стожинский», а в сношениях с русскими — «Стогов» — псевдонимы, под кото-



1882 г.

рыми мне не раз впоследствии приходилось выступать и на литературном поприще.

— А в какие дни у вас собирается кружок? — спросил я, лишь бы что-нибудь сказать.

— Ну, вы тут уже сами договоритесь, — поднялся со стула Куницкий, — мне уже пора...

Вечером, когда я встретился с «Черным»,—как мы тогда называли Куницкого,—он сознался, что нарочно меня оставил одного с рабочими, чтобы заставить меня вступить с ними в беседу и вынудить самостоятельно отвечать на все их вопросы... Хороший педагог, он не предусмотрел лишь того, что я, только что снявший мундирчик гимназиста, юноша, вполне усвоил все приемы «втирания очков», уклонений от ответов, заговаривания зубов. Опасаясь этого tête-à-tête, я немедленно после ухода «Черного» перевел разговор на вышедший тогда первый номер «Пролетариата» и на возвращенную ими по прочтении брошюру П. Кропоткина «К молодежи»... Мы вышли из трактира и, забыв о необходимости соблюдать конспирацию, медленно, разговаривая о прочитанном, направились в Лазенковский парк.

Рабочие, такие же зеленые юноши, как я, но менее, чем я, читавшие на своем веку, слушали меня внимательно, обращались за разъяснением непонятных слов и выражений, не понятых ими отрывков...

Мою робость как рукой сняло... Я оживился, забыл, что я не в своей ученической среде, а в среде рабочих, и говорил просто, с увлечением.

Лед был сломан. Мы сблизились, подружились... Что я дал в то время рабочим — не знаю, во всяком случае весьма немного; они же дали мне веру в свои силы, в мою годность для работы.

Вечером я сообщил Куницкому о своем первом дебюте.

Снисходительной, доброй улыбкой он поощрял меня к дальнейшей работе...

— Я тоже вначале робел, — сознался он искренно, — но нет работы, которая бы давала большее удовлетворение...

Он был прав... Я втянулся в эту работу, сначала работал в Варшаве, после в Лодзи и Белостоке, и всякий раз, когда я уходил из собрания с рабочими с сознанием, что я им что-то дал, что-то разъяснил, я испытывал такое чувство удовлетворения, какого никакая другая работа мне никогда не давала.

Я все время учился и учил... Учился не только по книгам. Часто рабочие вливали в мои познания струю реальной жизни, ставили вопросы, выдвигаемые жизнью, о которых я до этого не думал, и я должен был на них дать им ответ... Изредка случалось, что я этого ответа не имел и чистосердечно сознавался...

— Не знаю, что вам сказать... Я посоветуюсь с другими.

И я советовался с более опытными товарищами, рылся в книгах, иной раз по нескольку дней бился над вопросом...

А этих выдвигаемых жизнью вопросов были сотни. Жизнь рабочего класса со всеми ее болями и страданиями развертывалась предо мной, как в каком-то калейдоскопе...

На данной фабрике юный ферт-инженер не давал проходу работавшей на той же фабрике жене рабочего; на другой — немец-мастер третировал, как скот, «die polniche Schweine» (польские свиньи); на третьей отечественный владелец фабрики обращался с польскими же рабочими, как с «быдлом» (скотом); еще на иной сами же рабочие не могли примириться с тем, что в их среду затесался «жид»...

На первых порах каждая встреча с рабочими была для меня открытием... Я не ожидал встретить того, что увидел... Никакие книги никогда в жизни не дали мне столько, сколько дало это ознакомление с жизнью рабочего, с жизнью, в одном отношении резко отличавшейся от знакомой мне жизни буржуазии... В ней не было той отталкивающей фальши, того противоречия между словом и содержанием, какое толкнуло меня от «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» — в ряды «погибающих»...

Незабвенны минуты, связавшие меня на всю жизнь с этими «погибающими»!

Недостаток людей в партии лишил меня возможности посвятить себя всецело деятельности среди рабочих... Не успел я еще основательно освоиться с этим делом, как пришлось приняться за другое...

Куницкому предстояло уехать за границу для переговоров с эмигрантами относительно заграничного органа партии: «Борьба классов» («Walka Klás») и для предварительных переговоров о планированном союзе с «Народной Волей»... Его должен был заменить Александр Дембский, по характеру и темпераменту являвшийся полной противоположностью Куницкому. Спокойный, уравновешенный, менее блестящий, но более настойчивый, он с необыкновенным самообладанием сочетал поразительную и как-то не вязавшуюся с целым его обликом неконспиративность, что не мешало ему в случае опасности поразительно ловко ускользать от рук жандармов. Уже после моего ареста жандармы накрыли его в одной из варшавских молочных на свидании с Яновичем и Славинским. Пристав подошел к столику, за которым они сидели втроем, со словами:

— Вы арестованы...

— Это мы еще посмотрим! — последовало возражение со стороны Дембского, вытянувшего из кармана револьвер и направившего его на пристава...

Раздались выстрелы... Пристав бросился на стрелявшего также Яновича и вцепился в него... Дембский выстрелил в другой раз... Славинский набросился на пристава, повалившего Яновича

и пытавшегося вырвать у него из рук револьвер, высвободил из-под него Яновича, и они оба с Дембским выбежали из молочной, не сомневаясь в том, что Янович последует их примеру, и не заметив, что последний ранен приставом в руку и что он в таком истерзанном виде, что на улице его может задержать первый встречный городовой... Янович тогда же был арестован, а Славинский и Дембский скрылись. Впоследствии Славинский, арестованный во время избирательной кампании в Прусской Польше, по отбытии тюремного заключения в Познани, был выдан германскими властями России, приговорен к смертной казни, а затем помилован и сослан в каторжные работы без срока, откуда благополучно бежал. Дембский же, здравствующий и поныне, так-таки и не испытал прелестей русских тюрем, несмотря на все усилия жандармов, пытавшихся добиться его выдачи Швейцарией после общеизвестного и в свое время прогремевшего на весь мир дела «о цюрихских бомбах»... Дембский был одним из членов этой группы «бомбистов», изготовлявших в Швейцарии взрывчатые снаряды для готовившегося покушения на Александра III и сильно пострадавших от взрыва при испытании под Цюрихом одного из изготовленных снарядов... Когда я познакомился с Дембским, он уже был известен и своей неконспиративностью, и своим удачным ускальзыванием...

Пока Куницкий был в Варшаве, Дембский, живший в то время под фамилией Рентшке, заведывал главным образом техническими работами — типографией, набором, гектографированием, к которому в то время весьма часто прибегали. Техника была его любимым детищем. После отъезда Куницкого ему предстояло взять на себя общее руководство.

На одной из сходок, в ресторане Бедржицкой, где изо дня в день по вечерам происходили заседания «расширенного центра» — членов и агентов Центрального комитета партии и где именно из-за этих ежедневных встреч нас принимали за «теплую компанию» многообещающих юношей, Куницкий объявил нам «официально» о своем выезде и о том, что по всем делам следует обращаться к Дембскому...

Присутствовавший на этой сходке Дембский обратился тут же ко мне с немало поразившим меня вопросом:

— По вечерам вы свободны?

— Да!

— А плясать умеете?..

— Я был ошарашен...

— Умею, но...

— Умеете? Ну, и прекрасно! Завтра же попляшем с вами...

Он улыбался, и я был уверен, что все это шутка и шутка, надо сказать, совершенно не отвечавшая моему тогдашнему восторженному настроению... Говорить о танцах, когда речь идет о партийной работе... Это казалось мне каким-то недопустимым кощунством...

Но это не была шутка.

— Знаете, где кондитерская Гината? — спросил он меня шопотом.

— Знаю...

— Я вас буду ждать там завтра в восемь часов вечера.

Я был задет... Шутка продолжалась слишком долго...

На следующий день в назначенное время Дембский уже меня дожидался и, как только я вошел, расплатился за выпитый чай и ушел вместе со мной... Минуту спустя мы вошли в какой-то дом, поднялись на второй этаж и позвонили... Нам тотчас же открыли дверь, и мы очутились в квартире, где человек тридцать молодежи — девушек и юношей — весело отплясывали любимый польский танец «оберек», хлопая каблуками, громко постукивая ногами об пол.

Пустился в пляс и Дембский, а вслед за ним и я, продолжая недоумевать и даже негодовать по поводу такой профанации и моих чувств, и дела.

Несколько времени спустя, славно и вдоволь накружившись в оберке, Дембский позвал меня...

— Пойдемте!

Мы прошли в соседнюю комнату, Дембский плотно закрыл за собою дверь, слегка отодвинул диван, приставленный к следующей двери, и простучал пальцем явно условленный знак. Дверь открылась, и мы очутились в... типографии.

Посредине комнаты стоял небольшой типографский станок, обмотанный снизу толстой веревкой... Над ним, весь обливаясь потом, с большим типографским валиком в виде грузного цилиндра стоял Агафон Загурский, а сбоку добродушнейший литвин Выгановский, возле которого с одной стороны лежали груды влажной бумаги, а с другой — уже отпечатанные листы...

На минуту прерванная ими работа возобновилась. Вал грузно и шумно налег на наложенную на шрифт бумагу и усилиями Загурского прокатился с одного края до другого.

Только в этот момент я сообразил в чем дело... Танцы в соседнем помещении заглушали шум печатания; для этого они и устраивались... Типография находилась в квартире, смежной с той, в которой происходили танцы, и о ней знали лишь хозяйка и лица, причастные к типографии... Все остальные просто обучались танцам, даже не подозревая, что происходит за стеной...

— Ловко! — поделился я своим восторгом с присутствовавшими.

— А теперь за работу! Снимайте сюртук... — скомандовал Дембский.—Янек (Выгановский) будет накладывать бумагу, вы будете снимать, а я с Крулем (псевдоним Загурского) будем работать валом...

Работа закипела... под звуки мазурки, отплясываемой в соседнем помещении.

Одно оставалось для меня непонятным: для какой цели станок снизу обмотан веревкой, вернее, даже канатом, в котором я с непривычки то-и-дело путался. Только месяц спустя это для меня разъяснилось. Квартиру, в которую мы с Дембским вошли и в которой плясали, снимала тов. Головня, квартиру же, занятую типографией, вход в которую был с другой лестницы, снимал Выгановский. Для посторонних это были совершенно чужие люди, незнакомые друг с другом... В случае тревоги коммуникационная дверь из квартиры Выгановского в квартиру Головни открывалась, и типография перетаскивалась в соседнюю квартиру... Для этого перетаскивания и нужны были веревки...

Долго за полночь мы провели в тот раз за работой, бросив ее только тогда, когда звуки музыки умолкли и веселившаяся по соседству публика начала расходиться по домам. Было поздно, и мы все трое остались ночевать у Выгановского.

Как же славно было в ту ночь на душе и как тяжело вспоминать теперь о ней!

Выгановский, высланный административно в Сибирь, по возвращении из ссылки вновь принялся, на этот раз в России, за революционную работу, был арестован и скончался в тюрьме от чахотки. Загурского постигла еще горшая судьба... Арестованный в Варшаве на улице, он сошел с ума в десятом павильоне Варшавской цитадели... Жандармы не преминули использовать его болезнь для выуживания у него нужных им сведений. Заведомо ложно, имея уже убийц известного Судейкина в руках, они обвиняли Загурского в его убийстве... Лишившись рассудка, в буквальном смысле слова не ведая, что творит, Загурский для установления своей непричастности к этому делу, ссылаясь на свидетелей, называл их фамилии, которые могли подтвердить, что он в момент убийства Судейкина был в Варшаве, называл квартиры, в которых жил или ночевал... Каждое его показание впоследствии, во время процесса «Пролетариата», оглашенное на суде, начиналось со слов: «Я не убийца Судейкина, в доказательство чего могу назвать лиц, которые могут удостоверить, что...» и т. д. И вслед за этим приводились фамилии мирового судьи Петра Васильевича Бардовского, впоследствии казненного по нашему делу, Выгановского, Крживоблоцкого и многих других...

Все эти лица находились еще на свободе, жандармы их не арестовывали и лишь устанавливали за ними слежку, чтобы впоследствии схватить всех зараз в один день, а Загурского все уверяли, что все приведенные им доказательства недостаточны, что нужны еще другие, новые. Поиски доказательств сделались манией Загурского... Он напрягал память и изо дня в день сообщал жандармам все новые и новые фамилии, губил все новых и новых лиц. Уцелели лишь те, о которых он не вспомнил...

Его душевное состояние с каждым днем ухудшалось... По временам он искал общения с людьми, стучал к соседям по ка-

мере, но все его избегали, опасаясь, как бы он опять кого-нибудь не вспомнил. И эти опасения были вполне обоснованы. Однажды привезли в десятый павильон Болеслава Онуфровича. Он был арестован лишь как брат жены Плосского (тоже сидевшей в десятом павильоне) ввиду ожидавшегося приезда в Варшаву Александра III... В таких случаях на время пребывания царя в Варшаве содержались в тюрьме сотни, если не тысячи, ни в чем не повинных людей, которых после отъезда царя немедленно освобождали. В числе этих жертв царского посещения был и Онуфрович. Жандармы не имели ни малейшего представления о его принадлежности к партии. На его несчастье он был посажен в камере рядом с камерой Загурского. Последний, услышав шум по соседству, простучал ему:

— Кто?

— Онуфрович, — последовал ответ...

Этого было достаточно, Загурский подбежал к двери, вызвал жандарма и потребовал:

— Ведите меня в канцелярию! Вспомнил еще одного!

И его повели, и Онуфрович поплатился за это соседство восьмилетней административной ссылкой в Восточную Сибирь.

Злейший предатель и провокатор не мог причинить столько вреда партии, сколько причинил этот несчастный умалишенный! Вскоре его помешательство приняло характер буйного. Его усмиряли, надевали на него рубашку для сумасшедших, били... Он кричал, рыдал, — и его наказывали карцером... Но от этого ему только становилось все хуже и хуже... и жандармы вынуждены были его выпустить из тюрьмы... Он был отдан на поруки отцу, несколько недель спустя порезал себе горло бритвой и в страшных муках скончался...

Кто бы в ту памятную ночь мог подумать, что он так кончит и так повредит тому делу, которому беззаветно до этого служил!

. . . .

Другие типографии, в которых мне приходилось работать, — в квартире Рентшке-Дембского и в квартире Славинского, — в отношении конспирации не были так удачно обставлены, как квартира Выгановского... Тем большую вследствие этого конспиративность приходилось соблюдать при их посещении. О характере этой конспирации дает понятие следующий, не лишенный курьеза факт. Предстояло печатать пятый номер «Пролетариата»... Типография находилась у Славинского... Для того чтобы в случае провала типографии никто в последнюю не заходил, было условлено, что хозяин типографии, если все обстоит благополучно, зайдет в ближайшую кондитерскую и в номере «Варшавского курьера» подчеркнет неизбежные в каждой газете слова: «Дозволено цензурой».

Каждый из направляющихся в типографию, в свою очередь, в знак того, что он цел и невредим и что, следовательно, нет

повода принимать меры предосторожности, тоже должен был подчеркнуть эти сакраментальные слова.

С Славинским я еще не был в то время знаком.

Когда я вошел в кондитерскую, «Курьер» был в руках какого-то юноши-блондина, маленького, невзрачного, щуплого.

Я подошел к нему и попросил по прочтении передать мне газету, а сам уселся за соседним столиком и не спускал с него глаз, так как не раз случалось, что кельнер, как только кто положит газету на стол, хватает ее и подносит другому посетителю.

Блондина, видимо, тяготило мое соседство. Он отвернулся ко мне спиной, положил газету на стол и что-то над ней проделал...

Я сообразил, что это, должно быть, хозяин типографии и что он ставит на газете условленный знак.

Я вторично подошел к нему, протянул руку за газетой с вопросом: «Уже можно?» и, почти не скрываясь, провел карандашом черту под уже подчеркнутыми словами: «Дозволено цензурой».

Эффект получился для меня совершенно неожиданный. Я проделал всю эту процедуру в расчете на то, что смогу следом за хозяином пойти в типографию и мне не придется разыскивать совершенно неизвестную мне до этого квартиру... Вместо этого предполагаемый хозяин выскочил, как ошпаренный, из кондитерской, окинув меня на прощание подозрительным взглядом.

Впоследствии оказалось, что Славинский, — а это был он, — не предупрежденный Дембским о том, что в типографию должен притти незнакомый ему человек, принял меня за... «шпика»...

Он знал, что в кондитерскую должен притти и Дембский, испугался, что тот может попасться, и с риском (в его представлении это был риск) для себя зашагал по тротуару перед кондитерской... Вскоре появился Дембский. Недоразумение разъяснилось, и мы отправились в типографию — небольшую комнату на чердаке, откуда мы уже не выходили четыре дня подряд, пока весь номер не был напечатан, питаясь за это время только сухим хлебом, колбасой и чаем...

Но зато номер «Пролетариата», отпечатанный в трех тысячах экземпляров, вышел наславу!

Работа в типографии — и тяжелая, утомительная, и механическая, не дававшая никакой пищи ни уму, ни сердцу, — несмотря на все, была весьма привлекательной и своей опасностью, и всеми теми приемами, какие приходилось применять для того, чтобы избегнуть этой опасности. Малейшая неосторожность, — и погибает и человек, и вся уже исполненная им работа, и добытая и оборудованная иной раз с риском для жизни типография. Малейшая оплошность или забывчивость, — и люди работают целый день без пищи, без табаку... Выходить из типографии в течение дня за покупками — даже самая мысль об этом

казалась кощунственной... Малейшая тревога, — и человек готовится ко всему.

Однажды в самый разгар работы на квартире у Славинского — а в разгаре работы об опасности совершенно забываешь — неожиданно на лестнице раздались тяжелые звуки шагов... Мгновенно в типографии все замерло... Типографский вал застыл на том месте, где его застала тревога... Жутко... А шаги все ближе... В чердачном помещении других квартир нет... Это к нам идут... З а н а м и! Finita la comedia!

Молча, без слов, мы готовимся к встрече непрошенных гостей... Вынутые из карманов бумаги уже лежат на типографском станке... Стук в двери, малейшая попытка их взломать — и они будут уничтожены... Три револьвера-бульдога так и манят к себе стальным блеском... Без боя не отдадим типографию!..

— Тьфу! Не сюда! Не скажут путем! Тут не семнадцатый номер, а одиннадцатый!

Отлегло... Ложная тревога. Настроение сразу меняется. Напряженное состояние сменяется веселым, шутливым... Дембский улыбается и без слов подмигивает нам... Несчастные, взобравшиеся с какой-то ношей на пятый этаж, начинают спускаться вниз... Еще минута — и работа возобновляется... до следующего приключения...

Более интересна, но не окружена такими аксессуарами работа по набору. Единственная сопряженная с опасностью и требующая конспиративности работа — это переноска шрифта. Набранный уже шрифт, стянутый проволокой, мы переносили в боковом кармане, специально для этого приспособленном одним из товарищей-портных... Но дьявольски трудно было переносить рассыпанный шрифт... Набьешь им, бывало, все карманы... Но этого количества весьма недостаточно, и переносишь добавочную порцию в руках в виде пакета или свертка, ни величиной, ни формой не обращающего на себя внимания.

Пятый номер «Пролетариата» набирался в пасхальные дни. Применяясь к этому, Дембский весьма искусно соорудил пачку шрифта в виде пасхального кулича... Этот свинцовый кулич так оттянул мне руки, что в течение двух дней я не мог отделаться от дрожи в них... Да вдобавок я мог легко влопаться с этой ношей. На одной из людных улиц я нечаянно задел этой воздушной ношей встречного прохожего. Как он воспринял это прикосновение, — не знаю, но я, без того с трудом удерживая в руке эту тяжелую ношу, чуть было не выронил ее...

По сравнению с опасными приключениями в связи с работой в типографии это были сущие пустяки. Но работа тут была сложнее. Принесенный шрифт надо было раскладывать по импровизированным кассам. Профессиональный наборщик ощупью определяет, какая буква у него в руках, — мы же должны были тщательно разглядывать каждую букву, а иной раз для определения делать оттиск на бумаге... А сколько раз, когда эта ра-

бота уже благополучно доведена до конца, в кассах оказывались совсем пустые клетки...

— Совсем нет буквы т.

— Должно быть, спутали с п.

Начинается проверка... Нет...

— Как же быть?

— Ставьте пока п.

И ставишь... А после, при вытаскивании шилом этой буквы, несколько строк набора рассыпаются...

А при увязке шрифта... Намочишь шрифт, начинаешь стягивать проволокой... Трах... И вся работа пропала, и начинай сначала этот сизифов труд...

С течением времени выучились, даже пытались подражать ритмическим жестам подлинных наборщиков, но вначале это был какой-то ад кромешный... А все же набрали пятый номер «Пролетариата» — в 16 страниц — и несколько листов Млота: «Кто чем живет», так и не изданных и очутившихся прежде появления в свет в руках жандармов. Эту работу так же, как и другие, мне пришлось сразу оборвать.

Получилась условленная телеграмма от Куницкого из Бреславля. Он привез транспорт книг и брошюр... Надо было его принять от него и перевезти через границу. У меня были связи в Келецкой губернии. Предстояло транспорт перевезти из Бреславля в Краков, а затем, при содействии контрабандистов, под моим личным наблюдением, препроводить по назначению. Получив от организации австрийский паспорт, я отправился в Бреславль.

Куницкого я не застал в городе... Как раз в это время германская полиция перехватила транспорт книг, предназначенных для России, и арестовала тов. Дейча... В городе было не безопасно, и Куницкий, по совету местных немецких социал-демократов, поселился где-то под городом на даче. Извещенный телеграммой о моем приезде, он телеграммой же сообщил о дне и часе своего возвращения в Бреславль и просил встретить его на вокзале...

Поезд, с которым он приехал, был дачный, пассажиров было немного, я внимательно следил за высыпавшими на перрон людьми, но Куницкого среди них не оказалось... Я обошел весь поезд раз, другой, но безрезультатно...

Недоумевая, что случилось, не зная, что делать, я направился уже было к выходу, как ко мне подошел какой-то человек, смахивающий на приказчика или комми-вояжера, светлорыжий, в золотом пенсне, весьма изящно одетый...

— Кажется, господин Кон?

Я был по чужому паспорту...

— Нет! Обознались, должно быть!

— Да нет же! — настаивал таинственный незнакомец, насмешливо улыбаясь.

Только по этой улыбке я узнал его. Это был Куницкий, измененный до неузнаваемости...

— Черный! — воскликнул я невольно...

— Теперь уже не «Черный», а «Рыжий», а еще лучше — «Григорий».

Так он до самого ареста остался «Григорием».

Мы зашли ко мне в гостиницу и обменялись известиями. Оказалось, что книги, упакованные в двух чемоданах, он оставил на хранение на вокзале и получение их не представит ни-никаких затруднений.

Зря тратить время не было никакой надобности, и в этот же день он уехал прямым путем в Варшаву, а я отправился в Краков.

Келецкие крестьяне-контрабандисты сразу сообразили, с какого рода кладью им придется иметь дело, и заломили огромную цену.

— С шелком попадешься — взяткой отделаешься, а тут, чего доброго, на казенную квартиру попадешь...

— Зачем же попадаться...

— Это уж, как бог... — благочестиво возразил старший из контрабандистов.

Мое желание сопровождать транспорт им еще больше не понравилось.

— Тут надо умеючи... Малейшая неосторожность, — и себя влопаете, и нас провалите.

Но я настаивал на своем. У нас уже были случаи, что кладь, благополучно перевезенная через границу, терялась уже по эту сторону границы только из-за трусости контрабандистов держать ее у себя в избе до приезда за ней человека из Варшавы.

— А вы разве беспаспортных через границу никогда не переводили?.. Они ведь тоже были неопытны...

— Так то беспаспортные...

— Не все ли равно?

Долго я бился с ними по этому поводу, но, получив за меня отдельную плату, они сдались.

Ночью на обыкновенном крестьянском возу, наполненном соломой, в которой утонули чемоданы с книгами, мы выехали втроем из Кракова, направляясь к пограничной станции Шице, находящейся всего на расстоянии трех миль от Кракова... Контрабандисты набожно снимали шапки перед каждым распятием, часовенкой и иконой, явно наблюдая, проделываю ли и я то же самое. Я, конечно, мгновенно преобразился в благочестивого, набожного католика... Не доезжая границы, контрабандисты свернули с дороги в небольшую рощу, выпрягли лошадей, стащили с воза чемоданы, обмотали их веревками, попробовали, как их примостить к спине, пожаловались на чрезмерную тяжесть и затем спокойно уселись и начали закусывать.

Вскоре неподалеку раздался еле слышный, словно сдавленный свист... Контрабандисты ответили таким же свистом,

Ночь была темная... Я на расстоянии двух шагов не отличил бы человека от дерева... Контрабандисты же, как совы, видели все в темноте и секунду спустя поднялись с места и пошли навстречу свистевшему...

— Все хорошо! Объездчики караулят возле самой таможни...— сообщил пришедший.

— Ну, с богом! — скомандовал старший из контрабандистов.

Все перекрестились... Кладь в один момент очутилась на спинах двух более молодых крестьян. Старший открыл шествие, следом за ним я, а затем два навьюченных контрабандиста... В мягком мху, словно в бархатном ковре, тонул малейший шорох. Подвигались мы вперед довольно медленно, останавливаясь без движения, словно застывая, при малейшем звуке... По временам издали доносился лай собак, бряцание сабель или ружей объездчиков. Мы пережидали, пока эти звуки стихнут, а затем беззвучно, как тени, подвигались дальше... Дорога становилась труднее... Лес редел... Мох исчез... Под ногами появились неровные кочки... Еще несколько минут, и мы все так же беззвучно подошли к реке и, не останавливаясь, спустились в нее... Было мелко... Вода до пояса... Но ее хлюпанье могло нас выдать... Контрабандисты, до тех пор совершенно спокойные, явно волновались... Только старик, как фатум, шагал впереди, равнодушный ко всему.

Вдруг издали донеслось до нас грозное:

— Стой! Кто идет?

Мы остановились, как вкопанные... Объездчик, повидимому, пришел к заключению, что ему что-то померещилось, и, не слыша ответа, удалился...

Старик, насторожившись, слушал... Секунды казались часами... Минут пять спустя мы двинулись дальше и начали карабкаться на берег. Это самый опасный момент! Обыкновенно пограничная стража, проследив контрабандистов, на этом, уже русском, берегу речки их ловит. На этот раз дело кончилось благополучно. Выбравшись на берег, мы быстро, чуть не бегом, прошли в лес... Там уже нас дожидался какой-то крестьянин с возом, и мы, мокрые, иззябшие, покатили с драгоценной кладью по тряской лесной дороге. Теперь мы уже были в безопасности.

Окунувшись с головой в бурные волны разнообразной партийной работы, одновременно и вперемежку то работая в типографии, то набирая издания, то ведя агитацию среди рабочих, то становясь контрабандистом, я, словно в каком-то радостном сне, работал до изнеможения, удовлетворенный, чуть ли не опьяненный счастьем. Работа шла успешно... Сонное царство, сбрызнутое живой революционной водой, просыпалось, оживало.

И только от времени до времени в это счастливое, радостное настроение врывалось резким диссонансом известие об аресте то-

варищей, падавших жертвой провокации,—не шпионства, а именно провокации... В начале восьмидесятых годов появились первые ее ростки, взращенные умелой рукой «отца русской провокации» — того самого Судейкина, в убийстве которого обвиняли несчастного Загурского.

Жертвой провокации пали Генрих Дулемба, выданный провокатором Мелле, Мечислав Маньковский и многие другие... Судейкинская система: «Иметь в их комитете свой комитет!» воплощалась в жизнь.

Из Лодзи, Згержа, Белостока мы получали систематические известия о единичных провалах, явно не случайных... Но это были только единичные провалы... В Варшаве дело обстояло хуже... Здесь систематически арестовывались лица, не принимавшие участия непосредственно в партийной работе и дававшие лишь свои адреса для явок и писем. Сначала мы остановились на предположении, что это результат деятельности «черных кабинетов», перлюстрации писем... Но нет!.. Мы знали, как, не вскрывая конверта, а лишь слегка отгибая края, перлюстраторы на продетый внутрь тонкий валик наворачивают письмо и вытаскивают его из конверта... И мы приняли свои меры... Пристегивали письмо тонкой проволокой к конверту, а продетые через конверт концы проволоки плотно пригибали и заклеивали почтовой маркой. Попытка накрутить на валик таким образом прикрепленное письмо неминуемо влечет за собой разорвание и письма и конверта... Продолжая попрежнему получать письма ненарушенными, мы убедились в том, что перлюстрация тут ни при чем... В этом нас убеждало еще одно обстоятельство. Адреса и явки для Польши и для заграницы не вызывали ареста адресатов... Попадались лишь те лица, адрес которых употреблялся для сношений с Россией...

Было ясно, что именно там, а не у нас, что-то неблагополучно. Сначала мы относились хладнокровно и терпимо к этим провалам... Но по мере того как аресты начали принимать характер систематический, как проваливались один за другим все новые и новые люди, иной раз даже не знавшие, для какой цели дают свой адрес, и часто подозревавшие, что дают его для переписки... с невестой, — началось брожение.

Мы приставали к Куницкому и Дембскому с требованиями принять меры, даже съездить в Россию выяснить этот вопрос и обезопасить организацию...

Но они не проявляли в этом вопросе должной энергии, отвечали вяло, неохотно...

В их поведении было что-то для нас совершенно непонятное.

Мы волновались все более и более и в результате добились только весьма таинственного заявления:

— Не волнуйтесь! Вскоре все прекратится. Меры приняты, и вы узнаете обо всем.

И мы действительно узнали... Узнали о том, что в самом центре тогдашней русской организации, в Исполнительном комитете «Народной Воли», оказался провокатор — Сергей Дегаев, — революционер, перебросившийся на сторону правительства, ближайший сотрудник Судейкина...

О Дегаеве уже столько писалось в русской журналистике, что было бы излишним что-либо здесь еще прибавлять к этому, и я касаюсь лишь дегаевщины постольку, поскольку она отразилась на нас в Польше.

Как известно, уличенный в измене, раскаявшийся и принесший повинную, Дегаев вынужден был согласиться оказать содействие партии в убийстве Судейкина.

За неделю до этого убийства, в отсутствие Куницкого, уехавшего в Россию, приехал из Петербурга в Варшаву и явился на квартиру Выгановского новый на варшавском горизонте — по крайней мере за время моей принадлежности к «Пролетариату» — человек, резко своей наружностью и манерами отличавшийся от других. Это был Фаддей Рехневский — «Оскар Танский», как он тогда же отрекомендовался.

Белобрысый, круглолицый, немножко сутулый, но сильный и мускулистый, он поражал своей интеллигентностью, сдержанностью, немецкой флегматичностью и немецкой же систематичностью не только в деле, но даже и в разговоре.

Моложе Куницкого, Яновича и Дембского, он умел заставить себя слушать и считаться со своим мнением.

Его лицо, всегда серьезное, в исключительные моменты озарялось улыбкой, подчас даже лукавой, когда он сам готовил или слышал, что кто-нибудь готовит какой-нибудь ловкий трюк.

И на этот раз, после продолжительного серьезного разговора, он с лукавой улыбкой сообщил:

— Надо подготовиться... На-днях будет покушение на Судейкина... Я извещу вас об этом телеграммой... Вся суть будет в подписи... Если будет удача, я подпишу телеграмму фамилией, начинающейся с буквы У, а если неудача — с буквы Н...

Все слушали с напряженным вниманием...

— А вы наладьте типографию и шрифт и, как только получите телеграмму, жарьте воззвание с извещением. Вот ловко будет, если нам удастся раньше выпустить воззвание, чем «Курьер варшавский» успеет сообщить об этом событии...

Его идея показалась всем блестящей, и мы твердо решили не позволить «Курьеру» опередить нас в этом деле...

Для Рехневского, убедившегося из нашего отношения к делу, что все возможное будет сделано, вопрос был исчерпан. Он перешел было к другим вопросам, но мы заставили его вернуться к вопросу, так волновавшему нас, — о Судейкине и Дегаеве... Он начал рассказывать сухо, просто, без прикрас, и впечатление усиливала именно эта сухость и простота рассказа о том «мире мерзости и запустения», по выражению тогдашнего лидера «На-

родной Воли» Л. Тихомирова, сделавшегося впоследствии ренегатом, помилованного и редактировавшего целый ряд реакционных изданий, производила потрясающее впечатление... Перед нами развернулась картина именно мерзости... Мерзок был Судейкин, исключительно ради карьеры готовый предать на заклание революционерам и Плеве, в то время директора департамента полиции, и министра внутренних дел Дмитрия Толстого и составивший целую «программу» покушений... Его заветной мечтой был пост министра полиции. Но Плеве не давал ему ходу, и поэтому для достижения цели он решил при посредстве Дегаева организовать покушение на самого себя, с тем условием, чтобы его только слегка ранили в ногу... Это покушение должно было, по его замыслу, быть предлогом для его выхода в отставку. Недолюбливавший его Плеве не стал бы упрашивать его остаться на посту, и он, не возбуждая ни в ком подозрения, мог бы отстраниться от дел. Тогда Дегаев должен употребить все средства к тому, чтобы революционеры организовали целый ряд покушений, а прежде всего на Плеве и Толстого. Правительство, убедившись воочию, что, как только не стало Судейкина, возобновились террористические акты, несомненно, призовет его опять на службу и поневоле согласится на все условия, какие он тогда поставит...

Мерзок был Дегаев, ради спасения своей шкуры согласившийся играть подлую роль не только шпиона, но и провокатора, вовлекавший людей в кружки с исключительной целью предать их в руки полиции, пойманный полицией — выдававший революционеров, а уличенный революционерами — без колебаний предавший самого Судейкина..

Я часто впоследствии вспоминал ночь, проведенную тогда с Рехневским, и его рассказы об этих кошмарных явлениях. Я тогда в первый раз в жизни услышал, что через несколько дней должен быть убит человек, и я не был потрясен. Мысль об этом предстоящем убийстве меня не взволновала... После всего услышанного мною этот негодяй, по трупам и крови взбиравшийся на министерский стул, как бы перестал быть для меня человеческим существом...

На следующий день рано утром Рехневский уехал с курьерским поездом обратно в Петербург и немедленно по приезде туда держал выпускной государственный экзамен по юридическому факультету. Это обстоятельство имело для него впоследствии огромное значение. Один из предателей, Вацлав Гандельсман, поражавший в партийной работе своей «преданностью» и «геройством», пустой человек, неизвестно зачем и почему принявший участие в революционном движении, на допросе показал, что Рехневский был в эти дни в Варшаве и известил о предстоявшем убийстве Судейкина. Рехневский опроверг документально это по-

казание. Он представил удостоверение ректора, что он в указанный Гандельсманом день держал государственный экзамен.

— Как вы это устроили? — спросил я его уже после суда.

— Довольно просто... Это, собственно, сделалось без меня, само собою... Список экзаменующихся был разделен в алфавитном порядке на пять очередей. Я должен был экзаменоваться в третьей очереди, а экзаменовался в пятой. А так как в списке было отмечено, что третья очередь экзаменовалась в тот день, когда я был в Варшаве, то ректор и не подозревал, что я мог не держать тогда экзамена. Я и воспользовался этим.

Конечно, несмотря на такие документальные данные, суд признал факт пребывания Рехневского в этот день в Варшаве доказанным...

Дня через три или четыре после этого была получена из Питера телеграмма за подписью: «Унковский».

Суд совершился... Один из столпов самодержавия рухнул...

Мы принялись за печатание воззвания, но два часа спустя приостановили эту работу. Отправленная Рехневским телеграмма была нам доставлена с большим замедлением. «Курьер» успел раньше нас оповестить о событии...

Всемогущий Судейкин был убит, но что с Дегаевым? — вот вопрос, который волновал нас всех.

Дня через три, через четыре само правительство оповестило весь мир о судьбе Дегаева... По всей необъятной России в городах и деревнях, на вокзалах и на пароходных пристанях были расклеены обращения правительства к населению с обещанием награды в 10 000 рублей за поимку Дегаева и 5 000 рублей за указания, могущие привести к его поимке.

Из этого следовало, что он ускользнул из рук жандармов. Впоследствии мы узнали, что его увез из Петербурга Куницкий...

— Это был самый тяжелый момент в моей жизни! — рассказывал впоследствии Куницкий. — Я ожидал Дегаева в условленном месте... Он вошел, чуть не вбежал, совершенно растерянный, взволнованный. Все уже заранее было подготовлено для дороги, и мы немедленно отправились на вокзал и взяли билет в Либаву, где все было подготовлено Рехневским для дальнейшей отправки Дегаева на пароходе за границу. Я все время нащупывал в кармане заряженный револьвер. Надеяться на то, что Дегаев в случае ареста опять не выдаст всех их и все, что знал, не приходилось... Выбора не было... В случае появления жандармов мне предстояло убить сначала его, а затем себя. Дегаев знал о грозившей ему опасности... Мы не разговаривали друг с другом... О чем было говорить с ним? Малейший шорох вызывал в нем дрожь... И эта мука продолжалась несколько часов, пока я его не сдал в Либаве с рук на руки тем, кто должен был его сопровождать в дальнейшем пути. Со следующим поездом я отправился обратно в Петербург. Когда поезд подъезжал к вокзалу, сразу можно было заметить, что убийство Судейкина было обнаружено.

Вся полиция была поставлена на ноги. Шпики шныряли во все стороны, внимательно осматривая каждого отъезжающего и приезжающего... Запоздали! — улыбаясь, кончил Куницкий.

Да, запоздали! Дегаев был благополучно доставлен за границу, здесь вторично допрошен и в показаниях назвал тысячи лиц, выданных им, частью уже арестованных, частью уцелевших только благодаря тому, что убившие Судейкина Конашевич и Стародворский ухитрились уже после убийства унести из квартиры, в которой он был убит, списки лиц, указанных Дегаевым, с точным обозначением, кто и какую роль играл в партии.

С этого момента Дегаев исчез, словно в воду канул. Носились слухи, то будто он в Америке, то, что он учительствует или даже профессорствует в Австралии... Несколько лет тому назад распространилось известие о его смерти... Но этим никто не интересовался, и это известие так и осталось никем не проверенным... И только недавно некоторые газеты сообщили о том, что какой-то анархист убил его теперь в Америке...

Убийство Судейкина и ликвидация дегаевщины происходили далеко за пределами Польши и к нам имели лишь косвенное отношение. Но... то было время жестокой реакции и расправы с революционерами — время министерства Дмитрия Толстого и заведывания департаментом полиции Плеве. В Петербурге в то время созидалась система, которая, как полип, оплела всю Россию, а в особенности Польшу, исстари славившуюся как питомник будущих укротителей России... Здесь вырос и окреп знаменитый Трепов, в которого впоследствии стреляла Вера Засулич, на Польше упражнялся знаменитый шеф жандармов — Оржевский, здесь начал свою карьеру знаменитейший из знаменитейших — Плеве, а впоследствии, уже в царствование Николая II — всевозможные Клейгельсы, бароны Нолькены, Вали и проч. В описываемое время подвизались в Варшаве и во всем Царстве Польском генерал-губернатор Гурко и попечитель учебного округа Апухтин... Они задавали тон и они же при деятельном содействии начальника жандармского округа Брока «давали ход» всем тем, кто ради личной карьеры готов был пожертвовать и совестью, и честью, не считаться ни с дружбой, ни с родством, ни с велениями закона, ни со справедливостью, ни даже с интересами государства и его престижа, лишь бы угодить начальству и подняться выше по ступеням чиновничьей лестницы. В этом отношении выделялись в чиновничьем и военном мире чины жандармского ведомства и прокурорского надзора. Слава петербургского Судейкина не давала покоя товарищу прокурора Варшавского окружного суда, специалисту по политическим делам, Янкулио и жандармским подполковникам Секеринскому, — впоследствии переведенному на высший пост в Петербург, — и Белановскому... Они были в Варшаве первыми инициаторами системы провокации... По их инициативе и почину втерся в организацию резчик по дереву Барановский, изготовивший с их ведома и согласия клише

заглавия для № 5 «Пролетариата», способствовавший всеми возможными средствами террористическим актам; они развратили и сделали своими агентами многих рабочих в Варшаве, в Лодзи и Згерже. Но эти приемы не приводили к тем результатам, о которых они мечтали, — к результатам, которые могли бы обратить на них благосклонное внимание высшего начальства. Их заветной мечтой было раскрыть крупный заговор, найти его разветвление по всей России, изобразить яркими красками опасность, какую этот заговор представляет для всего государства, выставить себя в роли спасителей — и сделать крупную карьеру. Осуществление этого грандиозного плана было почти недостижимо. Центр политической борьбы был в Петербурге, работа в Польше, по необходимости, сводилась к устной и печатной пропаганде и агитации среди рабочих, почвы для такого рода заговора не было и быть не могло. Но это не смущало этих господ. Не достигнув цели при помощи провокации, Янкулио, Секеринский и Белановский, главным же образом первые два, пустили в ход другой прием. Начались повальные обыски и аресты, главным образом среди рабочих, обвинения в небывалых преступлениях. Людей запугивали, стращали, добивались нужных им показаний, а когда и это не достигало цели, просто заставляли подписывать незаполненные листы бумаги, на которых уже без допрашиваемого вносились в виде их показаний плоды жандармской и прокурорской фантазии. Многие протоколы напоминали страницы бульварных французских криминальных романов... Этот подлог совершался до того грубо, что покойный Владимир Спасович впоследствии на суде предъявил целый ряд «протоколов», не дописанных до конца. Последние строки «протокола» находились на одной стороне, а подпись допрашиваемого внизу — на другой... Эти приемы приводили рабочих в ужас и трепет... Помню одного старика-рабочего, явившегося на собрание на следующий день после того, как его освободили... Он был совершенно пришиблен. «Без вины делают человека подлецом!» — подвел он итог скорбной повести о том, как его допрашивали...

Таких пришибленных были сотни, и эти сотни наводили панику на рабочую массу. Фамилии Янкулио и Секеринского становились каким-то пугалом.

— Этому надо положить предел, — мрачно заявил на одном из собраний Куницкий...

«Надо!» Это мы все сознавали...

«Надо»... «Необходимо»... Но как?.. «Собакам — собачья смерть», — решали более горячие и пылкие. Но это не решало вопроса... Независимо от того, что мы, польские революционеры, вполне разделяли взгляд поэта-революционера Мицкевича: «У царя псарня большая... Что из того, что один пес издохнет», — ведь этим вопрос не решался... Составленные протоколы и после убийства Янкулио и Секеринского сохранили бы свою гибельную для сотни людей силу... Единственным спасением было уничтоже-

ние этих протоколов... Это было не легко... Мы совещались долго... Мучительные совещания! Сотни людей ждали от нас спасения не только их, но их честного имени, а мы — те, на которых они возлагали свои надежды, не в состоянии были помочь им...

На одном из заседаний решение было найдено... Решение фантастическое, но после взрыва в Зимнем дворце, совершонного Халтуриным, переносившим в кармане динамит во дворец и прятавшим его под постелью, на которой он спал,— разве можно было провести грань между возможным и невозможным, между миром фантазии и миром реальным!

Принятое решение было очень простое: взорвать камеру товарища прокурора... Эта камера находилась на углу Красинской площади и Длугой улицы, — в одном из самых оживленных мест в городе... Доступ туда был не из легких... Взрывчатых веществ у нас тоже не было.

Но это нас не остановило.

Мы принялись за изготовление какого-то особенного взрывчатого вещества—панкластита—по рецепту, составленному еще казненным по делу 1 марта 1881 года Кибальчичем...

Круглые невежды в этом деле, мы во время изготовления чуть не поплатились жизнью за это невежество. При вливании одной жидкости в другую совершенно неожиданно для нас последовал взрыв... Раздался оглушительный шум, штукатурка с потолка обвалилась, стекла в окнах потрескались... Никто из нас не пострадал... Но... на лестнице послышался топот шагов встревоженных соседей...

— Выйдите к ним! Успокойте их! — спокойным голосом отдал Куницкий распоряжение хозяину квартиры и главному нашему «пиротехнику» — Ставискому, студенту естественного факультета Варшавского университета...

Это поручение было мгновенно исполнено.

— Ничего! Пустяки! Химический опыт! Реторта взорвалась! — доносились до нас бросаемые Стависким соседям слова...

— А вы бы поосторожнее,— отчитывал его кто-то...

— И у профессора это может случиться!.. — огрызался Ставиский.

Волнение улеглось... Опасность миновала...

В этот момент в высшей степени характерно было поведение двух людей, принимавших участие в изготовлении взрывчатых веществ: Ставиского и Пацановского.

Ставиский сохранил полное хладнокровие, Пацановский, перепуганный насмерть, забился в угол, побледнел, как мел, и дрожал всем телом... Если бы на основании этого судить об обоих, то можно было относительно одного быть спокойным, а относительно другого питать большие опасения... На деле же, когда оба попали в руки жандармов, оба перетрусили и оба выдали... Знавший многое, Пацановский выдал больше, весьма мало знавший Ставиский выдал меньше, но оба «чистосердечно созна-

лись», оба сообщили не только все, что знали, но и то, что не знали.

Кто-то обратил внимание Куницкого на поведение Пацановского в этот момент, но он резонно возразил:

— Это физиологический страх, совершенно не зависящий от человека и не имеющий ничего общего с его нравственностью.

Впоследствии оказалось, что Пацановский не только «физиологический трус»... Исключительно благодаря его показаниям был казнен молодой двадцатилетний рабочий Ян Петрусинский...

Но в то время никто не подозревал даже возможности предательства с его стороны, и он продолжал попрежнему принимать участие в партийной работе и, в частности, — в изготовлении злополучного панкластита...

Работа туго подвигалась вперед... Днем мы работали, а по ночам втроем—Куницкий, Ставиский и я, изображая ночных кутил, подходили к зданию камеры товарища прокурора, ощупывали ржавую решетку в окнах подполья, выходящих на улицу, щупали, можно ли будет туда проникнуть... Дело оказалось легче, чем мы думали. Изъеденная ржавчиной решетка от нажима подалась и треснула. Отогнуть шест не представляло ни малейшего затруднения, и я, недолго думая, проник туда, в подполье. Осмотрев его внимательно, я выбрался обратно... Куницкий и Ставский, притворяясь подвыпившими, закрывали окно от взоров случайных прохожих.

Первый успех нас приободрил. Мы налегли на работу по изготовлению панкластита и вскоре назначили день для испытания приготовленного взрывчатого вещества...

В Варшаве, до оккупации ее немцами во время мировой войны, на одной из площадей гордо возвышался памятник в честь «поляков, павших за верность своему (!) монарху» — памятник семи изменникам родины... Этот памятник — одно из ярких явлений глумления царизма над Польшей, предмет ненависти всех в Варшаве — я и предлагал сделать объектом при испытании панкластита. Мой проект в первый момент вызвал всеобщий восторг, но... только в первый момент. Гнусный памятник взлетел бы на воздух, это — верно, но с этого момента жандармы были бы начеку, и о взрыве камеры прокурора нельзя было бы и думать... Проект был отвергнут. Для испытания было избрано глухое место за Новой Прагой. Все предосторожности были соблюдены... Ночью поодиночке мы пробирались в назначенное место... Конспирация была соблюдена полностью каждым из нас, в том числе и... Барановским, провокатором, присутствовавшим при этих опытах...

Само собою разумеется, что при таких условиях все наши планы были обречены на гибель и имели значение только для карьеры Янкулио и Секеринского. Наконец-то они добились це-

ли... Взрывчатые вещества, организованное покушение на их особы... На этом именно они рассчитывали выехать, совершенно не считаясь с тем, что за эту их систему делать карьеру их собственные агенты платились жизнью...

Один из таких агентов, Франц Гельшер, родной брат осужденного впоследствии по делу «Пролетариата» Яна Гельшера, был убит уже в то время, когда доля ответственности за дела партии падала на меня. До этого, занятый делами в своей области, я только post factum узнавал о случившемся... Известие о том, что Ф. Гельшер, член згержского комитета, — провокатор и что организация, проследившая его, настаивает на его убийстве, произвело на меня, и не только на меня одного, потрясающее впечатление.

— Я предлагаю, — заявил на собрании «Конрад» (Янович), — чтобы товарищи, выступающие с инициативой террористических актов, непременно сами же принимали участие в них...

Я немедленно присоединился к его предложению... Но большинством этот принцип был отвергнут. Инициатором обыкновенно являлся руководитель всей партийной работы в данной местности, часто просто физически неспособный на совершение террористического акта. Заставить его принять участие в таком акте значило бы и расстроить всю работу, и рисковать успехом предприятия, и, наконец, рисковать безопасностью других, принимающих участие в этом акте вместе с таким неумелым и неподходящим сотоварищем.

Предложение было отвергнуто... Было постановлено лишь до «издания приговора» проверять самым точным образом все уличающие заподозренного данные.

В случае с Гельшером докладчиком на собрании был Станислав Пацановский... Он передал со слов членов згержского комитета, как они, заподозрев Гельшера, следили за ним и установили, что он в определенные дни и часы посещает жандармское управление...

В силу принятого решения мы этим докладом Пацановского не удовлетворились. Из Згержа был вызван Поплавский, впоследствии осужденный по делу «Пролетариата». Он привел массу новых уличающих Гельшера данных, в частности со слов родного брата Франца Гельшера — Яна... Факт провокации был установлен, и участь Гельшера была решена. 6 июня (н. ст.) 1884 года он был убит выстрелом из револьвера по приговору партии.

Два дня спустя было во всех промышленных центрах Царства Польского распространено следующее воззвание Центрального комитета партии:

«С неимоверным отвращением, ибо мы еще не привыкли так, как правительство, проливать человеческую кровь, мы были вынуждены запачкать свои руки кровью одного из бывших наших товарищей — Франца Гельшера, члена згержской организации...

Нам предстояло решиться: или потерять более десяти товарищей, или обезвредить Гельшера... Кто выступает на борьбу с угнетателями рабочего класса, тот вполне сознает, что ему на каждом шагу угрожает цитадель или Сибирь. Если кто не чувствует в себе достаточно сил, чтобы бороться на жизнь и на смерть, пусть устранится от дела... Лучше, чтобы нас было меньше, чем чтобы между нами были предатели! Пусть же все помнят, что всякого, кто по каким бы то ни было побуждениям будет предавать — из страха или из-за личной корысти, на свободе или в тюрьме, — безусловно ожидает смерть».

Это воззвание — продукт коллективного творчества — самым точным образом отражало в себе настроение и взгляды всех тогдашних руководителей партии.

Но вместе с тем мы все сознавали, что наши удары обрушиваются на «слепые мечи», что направляющая эти «мечи» «рука» находится далеко от Варшавы — в Петербурге, что война с режимом может вестись только там, в центре. Это сознание постепенно привело к мысли о необходимости органически связаться с русскими революционерами для борьбы с самодержавием...

Объединиться с русскими революционерами... Русские не в состоянии понять значение этих слов для польских революционеров... «Объединиться с москалями»... Шутка ли?

Мы ясно сознавали, как это объединение будет использовано теми, кто фактически объединился с царской Россией и пользовался ее силами для подавления рабочего класса.

Мы знали, что перед темными массами мы будем выставлены как изменники «польского дела» — sprawy polskiej, что эта связь с москалями будет использована для того, чтобы отвлечь от нас симпатии масс.

Это не были преувеличенные опасения... Тридцать лет спустя польские национал-демократы обвиняли основателя социал-демократической партии в Галиции Игнатия Дашинского в том, что он подкуплен «пруссками», на том основании, что германская социал-демократия, по инициативе Августа Бебеля, ссудила галицийскую социал-демократию несколькими тысячами марок на избирательную кампанию.

Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu! [1]

Старый, но не стареющий прием. Надо сознаться, что и во многих из нас старые традиции ненависти к «москалю» еще не были изжиты... Мы не только чтили, но обожали отдельных русских революционеров, но когда на очередь дня был поставлен вопрос об альянсе между «подпольной Польшей» и «подпольной Россией», многие из нас умом понимали необходимость этого альянса, но сердцем сжиться с этой мыслью не могли...

Надо было привыкнуть к мысли о союзе с русскими революционерами.

---

[1] Это старая история, которая остается вечно новой.

Мы боролись с этим унаследованным от отцов и дедов чувством ненависти... Вспоминали декабристов — «друзей-москалей» Мицкевича, вспоминали Герцена, Бакунина, «Землю и Волю», бывшую в контакте с «Национальным правительством», руководившим восстанием 1863 года, вспоминали Потебню, расстрелянных в Модлине поручика Сливицкого с товарищами, наряду с этим воскрешали в памяти события последнего времени, геройское участие польских революционеров в русском революционном движении, вспоминали Квятковского, организатора взрыва в Зимнем дворце, Мирского, стрелявшего в генерала Дрентельна, Сенковского, покушавшегося на министра двора Черевина, Гриневицкого, геройски погибшего во время убийства Александра II...

Эта мучительная борьба с самим собою, борьба с культивированным в нас в течение целого ряда поколений национализмом кончилась победой над этим самым ужасным для движения, поистине, «внутренним» врагом. Заключение союза с «Народной Волей» было решено.

. . . . .

С момента раздела Польши русское правительство употребляло всевозможные средства для руссификации края и не добилось абсолютно никакого результата... Чем сильнее было давление, тем сильнее оказывалось сопротивление... Польский язык был изгнан из гимназии, нас заставляли изучать его так, как изучались иностранные языки: мы делали переводы с польского на русский и с русского на польский, хотя этот польский был нашим родным языком... За разговор на польском языке в стенах гимназии нас жестоко наказывали... И, тем не менее, или, вернее, именно поэтому мы настолько не знали русского языка, что по прибытии на каторгу обогатили лексикон местного жаргона такими выраженьицами, как «девичий (вместо «девственный») лес», «смотреть через пальцы», «одержать письмо» и т. п.

Даже с русскими классиками я ознакомился только в тюрьме, когда уже элемента принуждения не было...

Я упоминаю об этом потому, что то, о чем не смело даже мечтать царское правительство, вооруженное огромнейшим руссификаторским аппаратом, было помимо его воли достигнуто русской революционной партией. В сущности, между русским и польским революционным движением было весьма мало общего.

В Польше движение это базировалось на рабочем классе, в России в то время — отчасти на крестьянстве, отчасти же на «обществе». На Польше сказывалось влияние Запада, и, как я это уже упоминал, характерной чертой партии «Пролетариат» было именно судорожное использование всего, что могло бы связать партию с массами; в России стремление к массовому движению началось гораздо позже, то есть в 90-х годах, когда марксизм не только упрочился как доминирующая идеология среди наиболее революционно настроенной русской интеллиген-

ции, но банкротство народничества было доказано всем ходом развития капитализма в России. В описываемый период превалировало убеждение, когда-то формулированное Желябовым, что не крестьянское восстание повлечет за собою падение абсолютизма, а наоборот, за победой интеллигенции над правительством неизбежно тотчас последуют крестьянское восстание и крестьянская революция. Но, несмотря на все это, мы «обнародоволились»... Народовольческая идеология проникла в «Пролетариат», и он все более и более «руссифицировался»... Героическая борьба «Народной Воли» с самодержавием имела такую привлекательную силу, что основы, из которых она исходила, принимались как откровение...

В июне 1883 года в воззвании к крестьянам «Пролетариат», указав на то, что грядущая революция даст фабрики рабочим, землю крестьянам, а свободу всем, говорит: «А дабы паны не использовали ее (революцию) в свою пользу, вы должны всей своей массой принять участие и сами зорко следить за тем, чтобы вас не обидели»... Несколько месяцев спустя уже сказывается влияние «Народной Воли». «Пролетариат» в «подготовительной» политической борьбе с правительством видит вполне определенную цель: «дезорганизовать правительство», что должно ускорить общественный переворот и вынудить правительство на уступки, дающие возможность «организации социально-революционных кадров».

Мы руссифицировались. Но, в свою очередь, надо сознаться, мы столь же «удачно» «полонизировали» русских товарищей.

Польская пролетарская масса слишком сильно откликалась на призывы партии для того, чтобы и мы в Польше могли в итоге притти к таким плачевным, граничащим с отчаянием выводам, к каким пришли русские революционеры после знаменитого хождения в народ... Установление крепкой связи с массой было перманентной задачей «Пролетариата»... Но эта масса была невежественная, темная, малосознательная... А нам было некогда. Надо было торопиться... К «свободному творчеству» в истории мы еще не относились скептически, о «соотношении сил» еще не думали... Горячей кровью сердца мы готовы были подтолкнуть движение вперед и, по возможности, скорее осчастливить человечество...

«Ждать, — говорилось в одной из статей «Пролетариата», — пока весь рабочий люд усвоит научные основы социализма, пока каждый отдельный рабочий дойдет до того, что сам сможет стать зодчим и организатором нового строя, мы не можем уже хотя бы потому только, что этого момента мы никогда не дождемся...»

Повторяю, мы смутно сознавали, по какому пути должно итти движение, но нам было некогда...

И мы нашли, как нам по крайней мере казалось, выход. Можно примириться с тем, чтобы масса действовала, не озаренная лучами сознания, надо лишь, чтобы она питала доверие к

нам как партии, к своим руководителям и вождям. Это считалось вполне достижимым... Надо доказать на деле, что мы — враги угнетателей народных масс...

Из этого мы сделали совершенно ошибочный и антимарксистский вывод, что только экономический террор, проводимый в защиту осознанных текущих интересов рабочей массы, откроет ей глаза на то, кто заступник и защитник ее интересов.

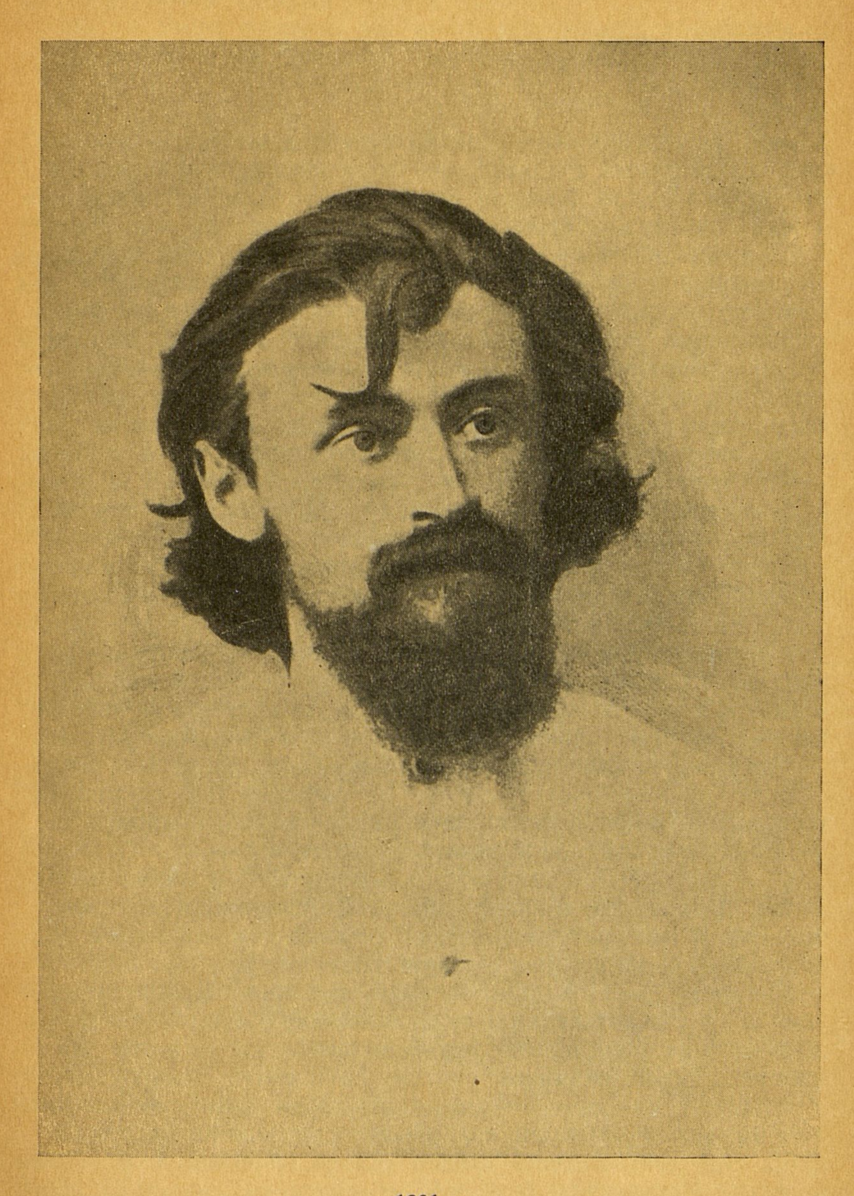
И вот эта-то своеобразная теория снискания расположения и симпатии масс была заимствована русскими революционерами от нас. Прославившийся впоследствии поэт-каторжанин Петр Филиппович Якубович (Мельшин П. Я.), автор «В мире отверженных», бывший участник «процесса 50-ти», Овчинников, Олесинов, Флеров и др. образовали фракцию «Молодой Народной Воли», настаивавшую на усилении агитации среди масс, и опять-таки для снискания симпатии этих масс выдвигали террор экономический и (в применении к русским условиям) аграрный. Это движение приняло характер довольно острой борьбы между «молодой» и «старой» «Народной Волей» и, как большинство этого рода конфликтов, кончилось взаимными уступками, не удовлетворив ни тех, ни других. Только арест, с одной стороны, Лопатина, с другой—Якубовича и Овчинникова примирил обе стороны, и на процессе Лопатина в 1887 году Якубович в произнесенной на суде речи окончательно пытался ликвидировать конфликт.

Как бы то ни было, но этот экономический, а в России и аграрный, террор и в Польше, и в России остался лишь на бумаге, в идее. Все силы сосредоточивались на политической борьбе, традиционный бланкизм делал свое, — и мало-по-малу на поверхность всплыла идея захвата власти... «Народная Воля» мыслила этот «захват власти» после целого ряда террористических актов как акт, организованный и проведенный в жизнь ею, «Пролетариат» же в этом вопросе мыслил этот ожидаемый захват скорее как «диктатуру пролетариата»...

Духовный, идейный союз был уже заключен, формальный последовал только несколько месяцев спустя, причем этот договор двух подпольных держав предусматривал не только территориальное разделение сфер влияния и право на самоопределение, но и гарантировал Центральному комитету «Пролетариата» полную самостоятельность с момента революции в проведении в жизнь социальных преобразований...

Миссия окончательного заключения и подписания договора была возложена на Куницкого, поехавшего для этого в Париж.

Как же мы волновались в ожидании его возвращения! Этим договором мы должны были действенно приобщиться к героическому народовольческому движению... Нам грезились великие, самоотверженные подвиги... Мы все еще видели в «Народной Воле» организацию, прогремевшую на весь мир в 1880, 1881 и 1882 годах, и не замечали, что ее слава уже закатывалась, что от прежней «Народной Воли» остались лишь светлые воспоми-



1891 г.

нания... Прежде чем мы успели окончательно разочароваться, мы все, почти без исключения, оказались в тюрьме... Как оказалось впоследствии, в момент самых радужных наших грез над нами уже висел меч, который жестоко и безжалостно должен был обрушиться на наши горячие головы.

Но до этого момента мы жили, действовали, готовились к предстоящим новым боям.

Через несколько дней по возвращении Куницкого из Парижа я, в связи с заключенным договором, поехал в Белосток, где должен был встретиться с членом «Народной Воли» Генриеттой Добрускиной для размежевания сфер деятельности польских и русских революционеров: рабочее движение переходило в ведение «Пролетариата», военное — в ведение «Народной Воли».

Эта поездка в Белосток произвела на меня неизгладимое впечатление... Грязный, закопченный, невымощенный город принял меня весьма негостеприимно... Я направился к Госткевичу, полурабочему, полу-интеллигенту, дельному пропагандисту, к которому начали уже в Лодзи, где он жил раньше, подбираться жандармы и вынужденному поэтому перейти на нелегальное положение и переехать в Белосток... Он жил где-то в предместьи... С трудом добравшись до его домика, я открыл калитку и был встречен презлющей собакой, которая зубами вцепилась в мои брюки и порядочно их потрепала... Выбежавшая из дому женщина отозвала проклятую собаку и на мой вопрос о Госткевиче ответила мне, что он вернется только часа через два...

Никаких других явок у меня не было... В растерзанной одежде ходить по городу было неудобно и не безопасно, и я в первый момент растерялся... К счастью, поблизости, в том же переулке оказался какой-то захудалый портной, который тут же привел мой туалет в порядок и этим дал мне возможность показаться на свет божий...

С трепетом я приближался к злополучной калитке два часа спустя... Но собака была уже на привязи, и я благополучно проник на чердак к Госткевичу.

Он был неузнаваем. Дельный, живой, энергичный в Лодзи, он в Белостоке стал каким-то вялым, неподвижным. В Варшаве и в Лодзи пролетариат воспламенялся, как спичка, и действовал на агитатора. В Белостоке этого не было, не было революционных традиций, и это действовало на Госткевича...

Он просился «домой», несмотря на грозившую опасность. Я его убеждал, усовещевал, но это возымело лишь временное действие, несколько недель спустя он сбежал-таки из Белостока...

Ознакомившись с положением дел на месте, я ему не удивлялся. В организации царила полная анархия... Все друг друга знали по-именно, по-фамильно... Никакой конспирации никто не соблюдал... Еврей-рабочий в длиннополом сюртуке при встрече

на улице с революционером-офицером преспокойно здоровался с ним за руку... Я пришел в ужас... Как их только хранил бог!

В идейном отношении — аналогичная картина. И офицеры, и рабочие не имели даже азбучного понятия о социализме, в ряды революционеров их толкало только недовольство существующим режимом, и ничего более...

Это была еще — в буквальном смысле слова—целина, не затронутая плугом пропаганды девственная почва. А между тем эту почву пытались вспахать, и были уже жертвы этих попыток... Незадолго до того был сослан в Восточную Сибирь Лубяницкий, а две его сестры продолжали энергично начатую им работу, главным образом среди еврейского пролетариата. Эта деталь меня поразила... В Польше в то время были еврейские ремесленники-подмастерья, но настоящих пролетариев-евреев не было и в помине... Здесь же в Белостоке их были сотни на суконных фабриках...

В своем отчете о поездке в Белосток я сообщил об этих евреях-пролетариях, как о специфической местной особенности...

Плачевные результаты пропаганды были неизбежным следствием всей постановки дела,— ни книг, ни брошюр, ни органа, приспособленного к потребностям рабочей массы, не было... От времени до времени получалось воззвание, от времени до времени пропагандист «своими словами» говорил рабочим о недостатках существующего и о прелестях нового строя. Работа среди рабочих была в загоне, на самом последнем плане... Все внимание было обращено на военных, и то — не на солдат, а на офицеров...

Добрускина не приехала в Белосток, и на собрание целых пяти офицеров и одного военного писаря меня повел все тот же Госткевич.

Офицеры — «забубенные головушки», горячие, немного бесшабашные, «выводили свой род прямо от декабристов», искренне возмущались всем происходившим в России, сочетали довольно наивно честь мундира с честью революционера, именно себе — офицерству — отводили главнейшую роль в борьбе с самодержавием, в военном заговоре видели единственный способ свержения власти и искренне готовы были ради этой цели пожертвовать жизнью...

Я привез с собой только что отпечатанный в Варшаве листок: «От мертвых к живым» — скорбный клич заключенных в казематах Петропавловской крепости к живущим на воле...

Мы прочитали вслух это воззвание-жалобу.

Офицеры приумолкли...

Один из них, нервно потирая лоб, все повторял:

— Ужас! Ужас! Ужас!..

Другой, смущенно потупив взор, только один раз прервал стоном:

— Как стыдно! Как страшно стыдно!

На этого офицера я обратил внимание и отдельно от других вступил с ним в беседу.

Это был поручик Тихомиров. Более я его никогда в жизни не видел, но до самой смерти не забуду его меткой характеристики его же собственного душевного состояния.

— Знаете, когда вы читали, я чувствовал себя, словно меня сквозь строй гонят. Каждое сообщение об издевательстве над заключенными воспринимается в особенности нами, военными, как удар шпицрутена...

Впечатление, произведенное привезенным мною листком, было огромное, но непродолжительное.

Молодость имеет свои права, свои законы...

Час спустя офицеры «шутки ради» решили проводить меня на вокзал. Я решительно воспротивился этому, отчитал за несоблюдение конспирации и согласился лишь на то, чтобы Тихомиров издали наблюдал, не случится ли чего-либо со мною. Но ничего не случилось. Белостокские жандармы были столь же беспечны, как и революционеры, и я благополучно покинул Белосток.

Моей поездке придавалось большое значение, и мне было поручено немедленно по приезде явиться на квартиру, более всего оберегаемую, для представления отчета. Это была квартира коронного мирового судьи, русского — Петра Васильевича Бардовского.

Когда я отрекомендовался ему своей кличкой, он, окинув меня внимательным взором чуть ли не с ног до головы, добродушно заметил:

— Ну и юнец же вы еще!.. Совсем зеленый...

Я опешил...

Проникнутый серьезностью возложенной на меня миссии, я уж никак не ожидал подобной встречи... Но ни в голосе, ни в тоне добродушно улыбающегося Петра Васильевича не было ничего насмешливого. Даже, пожалуй, наоборот. Ему, человеку, по моим тогдашним представлениям, «пожилому» — ему на вид было под сорок лет — как будто нравилась эта «зеленость». Типичнейший шестидесятник и по воззрениям, и по всему жизненному обиходу, и нигилист, и резонер, и либерал, и сочувствующий революционному движению, судья по назначению в руссифицируемой стране и искренний демократ, выучившийся польскому языку, чтобы понимать приходивших к нему клиентов, Бардовский, сам лишь пассивно содействуя революционному движению предоставлением революционерам своей квартиры, хранением нелегальщины и т. п., как бы радовался активности принимавшегося за борьбу поколения...

Я сразу оказался у него, как дома. Он знал меня по рассказам Куницкого и Дембского, ему, повидимому, было передано и кое-что из моих разговоров с этими обоими товарищами, характеризующее меня как пылкого, увлекающегося юношу, и он добродушно подтрунивал:

— Ну, скоро вспыхнет революция в Белостоке?..

Моя поездка в этот город отнюдь не могла настроить меня оптимистически...

Я вкратце передал ему, что я там застал...

— Ну, если вы уж находите, что не скоро, то, видно, дело и впрямь скверно...

В комнату вошла его жена Наталия Поль... Более живая, более подвижная и активная, она не представляла столь ярко выраженного типа, как ее муж... Но отношение ее ко мне было такое же, как и мужа,—как хорошему, увлекающемуся юноше... И это меня не обижало... Бардовские не подавляли своим превосходством, наоборот, как бы завидовали моей юной вере.

Вскоре пришел Куницкий, встреченный ласково не только хозяевами, но и собакой, с которой он еще в передней начал шалить.

— А ты что же? Еще с Милкой не познакомился?—бросил он мне вопрос, входя в кабинет, где мы находились...

— С нашей «крестной», — сострила Поль.

— «Крестной»?

Куницкий захохотал в ответ:

— Да! Да! «Крестной», из-за которой ты когда-то на собрании попал впросак...

— Я?

— А помнишь, как ты налетел на меня, зачем я называю при всех фамилию Милковских...

Я недоумевал...

— Вот она, Милка, — торжествовал Куницкий, — а от нее они — Милковские...

Хорошо было у Бардовских... Это было единственное место, где нелегальные бездомные могли хоть на час согреться у домашнего очага, отвлечься от революционных дел, хлебнуть нормальной спокойной жизни. У Бардовских было и уютно, и безопасно. Безопасно, несмотря на то, что у них хранился и партийный архив, и все, чем партия более всего дорожила, что в этом архиве хранилось и то воззвание к военным, которое, по настоянию Куницкого, составил Бардовский и которое впоследствии стоило ему жизни.

Эта безопасность обусловливалась служебным положением Бардовского. Он был уверен, что ни прокуратура, ни жандармы не решатся так, с бухты-барахты, нагрянуть к нему с обыском... И это было верно... Но они сделали это не с «бухты-барахты».

Там, в десятом павильоне Варшавской цитадели, при помощи умалишенного Загурского уже плелась та петля, которая должна была захлестнуть нас всех... За квартирой Бардовского было установлено наблюдение... Показания лишившегося рассудка подтвердились, и жандармы нагрянули на квартиру Бардов-

ского не «по подозрению», а в полной уверенности, что тут их ждет огромная добыча.

В то время, когда мы в этой квартире так весело и беззаботно балагурили, наша судьба была уже решена.

11 июня (н. ст.) 1884 года Бардовский был арестован...

Я, по тогдашней терминологии, не «дожил» до этого момента и превратился в живого покойника за девять дней до этого на основании показаний арестованного в Вильне члена партии «Народной Воли» Янчевского, который раза два у меня на квартире ночевал, а впоследствии, когда его арестовали, не колеблясь указал на меня, как на содействовавшего «Народной Воле».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

АРЕСТ И СЛЕДСТВИЕ

1. АРЕСТ И ПЕРВЫЕ ДНИ В ТЮРЬМЕ

— Паныч, вы уже никуда сегодня не пойдете? — остановил меня вопросом дворник, когда я входил в ворота, направляясь в свою квартиру.

Было начало одиннадцатого. Мне не раз приходилось в это время возвращаться домой и никуда больше не уходить, но дворник никогда не ставил мне таких вопросов. Я насторожился.

— А что? Почему вы спрашиваете?

— Околоточный велел, как только вы вернетесь, немедленно дать знать в участок,— с эпическим спокойствием ответил дворник. — Я вот и не знаю: сейчас в участок сбегать или подождать? Может быть, вы еще уйдете, а околоточный придет и вас не застанет.

Я взглянул на него. Ни один мускул не дрогнул на его лице. И только по глазам, слегка прищуренным и как бы насмешливо улыбавшимся, можно было заключить, что дворник не по наивности ставит эти вопросы.

Опыт насаждения в Варшаве петербургских приемов слежки и превращения варшавского сторожа дома в дворника-шпика положительно жандармам не удался. Польские Мацеки и Бартеки мало годились для такой роли.

— Нет, Ян, я еще уйду и вернусь только через час, через полтора.

— Ладно.

Я быстро поднялся по лестнице в свою студенческую комнату.

Вот поживились бы жандармы, если бы не Ян! Чего, чего в этой комнате не было! Номера «Пролетариата» и «Народной Воли», брошюры, воззвания, начатые статьи для следующего номера «Пролетариата» и шрифт, только в этот день полученный через одного типографского рабочего для пополнения наших

скудных запасов. Часть этих сокровищ пришлось сжечь, другую навьючить на себя, нагрузить карманы, спрятать под одеждой.

Только через час, управившись с чисткой квартиры и нагруженный, как верблюд, я спустился по лестнице.

Ян дожидался меня в воротах, быстро открыл калитку, выглянул на улицу и, пропуская меня, бросил на прощание:

— С богом, паныч, с богом!

Повидимому, он был уверен, что я уже больше не вернусь к себе на квартиру.

Но для меня этот вопрос еще не был решен. Занятый лишь тем, чтобы по возможности скорее и тщательнее очистить квартиру, я еще не останавливался на выводах, какие предстояло сделать из «любознательности» околоточного. А после того, как за мной закрылась калитка и я очутился на улице, я думал лишь об одном, как незаметно пройти по соседнему кварталу, где меня знали и могли проследить, а то и задержать шпики, и кому и как сплавить нелегальную кладь, которой я был навьючен.

Сравнительно недалеко от моей квартиры жила учительница Розалия Фельзенгардт, впоследствии, после нашего ареста, игравшая в партии вместе с Марией Богушевич и Константином Стржеминским весьма видную роль и так же, как и двое последних, погибшая во время этапного пути в Восточной Сибири. В то время она еще только начинала свою революционную деятельность. За ней еще не могли следить. Я и решил направиться к ней, тем более что сторож дома, где она квартировала, большой любитель получаемых от меня при всяком удобном и неудобном случае гривенников, был весьма ко мне расположен.

Заметая за собой следы, делая круг в сторону, проходя по самым пустынным улицам, я благополучно добрался до квартиры Фельзенгардт. Сообщив ей, что меня к ней привело, я быстро разгрузился и уже налегке направился в ресторан Бедржицкой — обычное место наших партийных совещаний. В этом ресторане, находившемся в самой многолюдной части Варшавы, на Краковском Предместьи, недалеко от бывшего королевского дворца, мы чувствовали себя в большей безопасности, чем в каком-либо другом ресторане.

Как постоянным посетителям, по мнению кельнеров — «бесшабашным кутилам», нам всегда отводили отдельный кабинет, и мы могли там беспрепятственно говорить о наших делах. Это было наше любимое место для встреч, и каждый день, часов в 10—11 вечера, мы собирались там и для сообщения о сделанном в течение дня, и для обсуждения намеченных для будущего работ, и для того, чтобы своим присутствием удостоверить, что человек еще «жив», что жандармы его не захватили.

У Бедржицкой все уже были в сборе: бывшие тогда членами Центрального комитета — Станислав Куницкий и Людвиг Янович и агенты: Станислав Пацановский, Бронислав Славинский. Я сильно запоздал, и это вызвало у всех беспокойство, вследствие

чего мое появление было встречено радостными восклицаниями и упреками.

Я вкратце сообщил, чем было вызвано мое запоздание, и мы сразу приступили к обсуждению вопроса, как мне быть: позволить себя арестовать или же перейти на нелегальное положение и по крайней мере на некоторое время покинуть Варшаву. Мнения разделились.

Люди, испытавшие на себе всю тяжесть нелегального существования, положение человека, не имеющего своего угла — сегодня ночующего в одном месте, завтра — в другом, отрезанного от всех родных и близких, всегда одинокого, всегда преследуемого, как травленный зверь, — проявляли весьма малую склонность советовать кому бы то ни было легкомысленно расставаться с легальностью.

Мне переход в нелегальные казался неизбежным, но нельзя сказать, чтобы я с легким сердцем решался на это. Не касаясь личных привязанностей, из-за которых я рад бы был остаться «самим собою», несмотря на мое нерасположение к нелегальному существованию, на меня повлияло одно происшествие, свидетелем которого мне пришлось быть.

Приблизительно за месяц до моего ареста я шел вместе с Куницким по одной из аллей Саксонского сада (в Варшаве) на какое-то собрание. Вдруг Куницкий, бледный, как полотно, шарахнулся в сторону, а шедшая навстречу дама грохнулась в обмороке на землю.

Я подбежал к ней, помог привести ее в чувство. «Что с вами?» — участливо спрашивали ее обступившие прохожие. «Ничего, ничего. Просто голова закружилась», — смущенно ответила дама и медленно поплелась дальше, озираясь беспокойно по сторонам.

Я оглянулся, ища Куницкого, но его и след простыл. И только несколько минут спустя, когда я решил уже один продолжать путь, он откуда-то вынырнул. На нем лица не было.

Бледный, взволнованный, он спросил, задыхаясь:

— Ну, что с нею?

— Ничего, оправилась...

— Это моя мать! — как бы оправдываясь, бросил Куницкий.

Оказалось, что мать Куницкого, знавшая, какая опасность угрожает сыну, была уверена, что он, вняв ее слезам и мольбам, уехал за границу, и не подозревала, что он, рискуя жизнью, продолжает оставаться в пределах досягаемости жандармов. Только неожиданная встреча с сыном открыла ей глаза на действительность. Материнское сердце не выдержало, и она лишилась чувств. А он не мог даже подойти к ней... И только из-за кустов следил за тем, как совершенно посторонние, чужие люди возятся около нее!

Это происшествие не выходило у меня из головы, и отказ от легальности не мог меня привлекать.

Юнцы Славинский и Пацановский волновались. Им казалось диким, как можно даже обсуждать вопрос о том, отдаваться ли добровольно в руки жандармов. Янович внимательно прислушивался ко всему, что говорили другие, и лишь под конец присоединился к мнению Куницкого.

А Куницкий? Все были уверены, что он-то будет энергично настаивать на немедленном переходе в нелегальные. Случилось, однако, обратное. «Для этого нет никаких оснований и никакого смысла, — начал свои возражения Куницкий. — Если бы дело было мало-мальски серьезным, жандармы не действовали бы так опрометчиво — не предоставили бы умному околоточному делать глупости, а нагрянули бы сами ночью, врасплох. Да и что может угрожать Фису (моя тогдашняя кличка)? Все арестованные — люди надежные. Нет опасений, что кто-нибудь из них может его «засыпать». Все дело, следовательно, сводится к какому-нибудь перехваченному письму или где-нибудь случайно найденному его адресу. Если его и арестуют, а может быть, все ограничится только обыском, то он просидит недельки две-три, не больше... Но есть еще одно важное соображение. После ареста Длугого (Варынский) и Малого (Дулемба) порвались связи с некоторыми рабочими. Фис может в цитадели снестись с ними, получить эти связи и по выходе из тюрьмы восстановить «прерванную работу».

Это был чуть ли не единственный случай, когда Куницкий говорил деловито, спокойно, «рассудительно», не впадая в свойственный ему по натуре агитационный тон.

Я как свидетель сцены встречи Куницкого с матерью в Саксонском саду смутно чувствовал, что он руководствуется не только партийно-деловыми соображениями, а что ему не чуждо и желание уберечь других от тех тяжелых переживаний, которые выпали на его долю. Но остальные товарищи и не подозревали, что Куницкий, всегда горящий огнем революции, всегда жизнерадостный, бодрый и готовый броситься в огонь и воду, может мучиться и страдать из-за того, что у него никогда нет крыши над головой, нет своего угла, что он отделен целым отрядом шпиков от родных и близких, от родного отца и матери. Всего этого другие товарищи не знали, и для них уже одно то, что даже Куницкий высказывается против моего перехода в данный момент на нелегальное положение, было весьма веским аргументом.

Янович первый согласился с Куницким, а за ним уже присоединились и другие. Роковое решение, — из-за которого впоследствии я и каждый из них делали себе горькие упреки, — было принято.

Некоторое время в обычно шумливой и радостно настроенной нашей компании царило угрюмо-подавленное настроение. У всех на душе скребли кошки.

Я поднялся первый.

— Уже идешь? — печально улыбнувшись, спросил Куницкий.

— Пора.

Расцеловавшись на прощание со всеми, я медленно поплелся навстречу новой — увы! — на многие годы подневольной жизни.

Было уже далеко за полночь, когда я приближался к своей квартире, где, — в чем я уже не сомневался, — меня ожидало лишение свободы.

Тяжелое чувство! Добровольно отдаваться в руки врагу!

Все время меня подмывало не итти домой, скрыться, поступить наперекор партийному решению. Но чувство партийной дисциплины брало верх над инстинктом самосохранения, и я все приближался и приближался к роковому месту. Оставалось еще только завернуть за угол и пройти половину квартала, а там уже не я буду решать свою судьбу... Еще всего минут пять колебаний и душевных мук... Но сердобольные жандармы пожалели меня и сократили мои муки. Я еще не дошел до угла, как был схвачен за обе руки вынырнувшими откуда-то из темноты жандармами, полицейскими и шпиками, в миг ощупавшими мои карманы и доложившими приблизившемуся к нам приставу: «Оружия нет».

А начальство, осклабившись и отдав распоряжение отпустить мои руки, приложившись к козырьку, объявило:

— Вы арестованы!

— На каком основании? Вот мой студенческий билет. Можете взять его для установления личности, но арестовывать меня не имеете права.

В то время «матрикула» — студенческий билет — была своего рода «Habeas corpus act» — документ неприкосновенности, и мои заявления не были так безосновательны, как они могут показаться в настоящее время. Но пристава они не смутили.

— Да вы же арестовываетесь по политическому делу, — возразило начальство, снисходительно улыбаясь. — Впрочем, мы отведем вас к вам же на квартиру, а там уж не наше дело.

Сказав это, пристав стал рядом со мною, «нижние чины» отступили на несколько шагов назад, и мы двинулись к моей квартире.

У ворот дома стоял Ян. Я не разглядел его лица, но вряд ли в этот момент на нем отразилось лестное обо мне мнение.

Улыбнувшись, что я в сохранности доставлен «по месту назначения», пристав удалился доложить по начальству о моем задержании, а жандармы, околоточные и прочие штатские и нештатские полицейские агенты вошли со мной в комнату.

Только в этот момент я обратил внимание на тот живописный, но вместе с тем предательский беспорядок, какой царил в моей комнате после произведенной мною чистки. Конечно, уже

было поздно, да вряд ли и стоило удалять следы этого беспорядка. Но тут я обратил внимание на нечто горшее этого беспорядка, что составляло уже не косвенную, а прямую улику моей причастности к конспиративным делам. Это были два небольшие пузырька с жидкостями. В одном находилась разведенная желтая соль, которой мы писали между строками письма, написанного обыкновенными черными чернилами, в другом — раствор полуторахлористого железа, которым мы выявляли конспиративные строки, написанные этой не оставлявшей видимого следа солью. После смазки раствором в письме между строк выступали синие буквы. Жандармам был известен этот способ тайной переписки, и эти два злополучных пузырька, о которых я, произведя чистку квартиры впопыхах, совершенно позабыл, могли стать для них уличающим меня вещественным доказательством. К счастью, я не растерялся.

— У вас есть чернила для составления протокола? — с самым невинным видом обратился я к околоточному.

— А у вас разве нет? — смутился околоточный. — Я думал, идем к студенту, чернила найдутся.

— Нет у меня чернил... Но ничего... Я сделаю. — И прежде, чем околоточный успел сообразить, в чем дело, я быстро вылил в стакан жидкость из обоих пузырьков и по какому-то наитию бросил в стакан кусок сахару. Размешав, я обмакнул перо и для пробы написал на бумаге несколько слов.

— Сойдет? — бросил я вопрос околоточному.

— Сойдет, — успокоил он меня.

Сфабрикованные так быстро чернила заинтересовали жандармов. Они тоже рассмотрели написанное и также одобрили их. А когда начальство часа два спустя составляло протокол обыска, ему и в голову не приходило, какими оно пишет чернилами.

Это начальство недолго заставило себя ждать. Не успел я еще в душе досыта нарадоваться по поводу успешного проведения за нос полиции, как оно явилось в лице моего «старого знакомого» Секеринского (производившего вместе с Плеве у нас обыск еще в 1878 г., когда арестовали мою сестру и мать) и незнакомого мне товарища прокурора Петербургского окружного суда Арсеньева.

Секеринский, войдя в комнату, окинул ее быстрым взором и, обращаясь к Арсеньеву, громко заявил:

— Тут уже был обыск до нас.

Товарищ прокурора кивком головы подтвердил верность наблюдения своего коллеги.

Я пропустил мимо ушей это рассчитанное на известный эффект замечание Секеринского и обратился к нему с вопросом, на каком основании у меня производится обыск.

— По предписанию прокурора Петербургской судебной палаты, — гласил сухой ответ жандармского подполковника.

У меня отлегло от сердца. Куницкий был прав. Я принимал такое незначительное участие в «Народной Воле», что ничего серьезного против меня в руках жандармов не могло быть. Я даже возмечтал, как щедринский заяц, о том, что, быть может,— ха! ха! ха! — «меня помилуют» и дело кончится только обыском. Мне, конечно, и в голову не приходило, что жандармы могут быть осведомлены о моей деятельности в «Пролетариате» и лишь по одним им известным соображениям до поры до времени не возбуждают об этом вопроса.

Заняв место за столом и распорядившись, чтобы жандармские чины приступили к обыску, Секеринский, любезно улыбаясь, спросил:

— А ваша сестренка как поживает? Уже вернулась из Сибири?

— Да вы же знаете, что вернулась, — ответил я вызывающе.

— Конечно, знаю... Вся семья такая! — отрекомендовал он меня Арсеньеву.

Товарищ прокурора не поддерживал разговора в этом тоне, и зевающему от скуки Секеринскому ничего не оставалось, как приступить к составлению протокола, причем молчавший до этого товарищ прокурора позволил себе весьма либерально пошутить.

На вопрос Секеринского, не был ли я под судом, я ответил:

— Ведь я студент. Если бы судился, то меня исключили бы.

— А могли же вы судиться за нанесение оскорбления действием? — лукаво улыбаясь, вдруг выпалил Арсеньев.

Незадолго до этого в Варшаве судился студент Жукович за нанесение пощечины попечителю Варшавского учебного округа Апухтину. Последний своей руссификаторской деятельностью превзошел всех своих предшественников. Его ненавидели в Польше больше, чем генерал-губернатора Гурко. Известие о полученной им пощечине с быстротой молнии разнеслось по всей Польше, вызывая повсюду бурю восторга. И хотя Жукович рассчитался с Апухтиным пощечиной по каким-то личным делам, но разными слоями Польши это событие было использовано, чтобы нанести ретивому руссификатору моральную пощечину.

В университете начались крупные волнения в первый раз после восстания: аудитория, в которой находились студенты, была окружена войском; присутствовавшие на сходке были переписаны, а впоследствии многие арестованы и исключены. Наряду с этим в газетах начали появляться сведения о пожертвованиях на всевозможные благотворительные цели с припиской: «в ознаменование получения радостного и желанного известия». Один из таких жертвователей, сын крупного варшавского банкира, по распоряжению генерал-губернатора Гурко, был выслан в 24 часа в северную губернию России. Но репрессии не действовали. Варшава ликовала. Все были уверены, что Польша избавится наконец от Апухтина. Случилось наоборот: пощечина эта

укрепила его положение; Александр III строго держался правила, что «за битого двух небитых дают», и, узнав об отношении Польши к нанесенному попечителю округа оскорблению, наградил ревностного исполнителя своих предписаний орденом Александра Невского при соответствующем рескрипте.

Это только подлило масла в огонь. Остротам не было конца. В один прекрасный вечер в цирке Чинизелли на арене появились три клоуна. Один из них хлопнул другого по лицу. Тот, держась за щеку, начал жалобно голосить. Тогда третий клоун чинно и важно подошел к нему и прикрепил на его груди орден. Весь цирк завыл от восторга. А на следующий день все три клоуна-иностранца были высланы за границу.

Слухами об этих событиях была полна вся Варшава, на это-то и намекал Арсеньев.

— Вы бы знали об этом, — ответил я прокурору.

Секеринскому весь этот разговор был не по душе. Он прервал его вопросом, обращенным к обыскивающим:

— Ничего не нашли, конечно?

— Так точно, ничего!

Внеся этот ответ в протокол, Секеринский взглянул на часы и, обращаясь ко мне, сказал:

— Уже поздно! Сегодня нельзя будет вас допросить. Придется вам переночевать в десятом павильоне.

Надежда на то, что дело кончится одним обыском, рухнула.

— Извозчик заготовлен? — спросил Секеринский старшего жандарма.

— Так точно!

Два жандарма приступили ко мне:

— Пожалуйте!

И я «пожаловал» вниз, к извозчику. В ушах прозвучало печальное «прощайте, паныч» совсем ошеломленного всем происшедшим Яна. Один жандарм уселся рядом со мной на переднем сиденьи, другой на скамейке против меня, и извозчичья пролетка быстро покатилась по направлению к Варшавской цитадели — месту заключения, душевных мук и физических страданий целых поколений мечтателей, целой огромной плеяды борцов.

Я не раз до ареста бывал на свиданиях с заключенными родственниками в Варшавской цитадели, в знаменитом десятом павильоне, предназначенном исключительно для политических. Но то было днем. Нельзя сказать, чтобы и днем крепость и мертвая тишина производили «хорошее» впечатление. Что же говорить о ночи?

Когда мы подъехали к цитадели, мост перед воротами был поднят. Нас окликнул часовой; старший жандарм соскочил с пролетки и, повидимому, сказал пароль. Часовой свистнул; откуда-то вынырнул заспанный разводящий; опять куда-то нырнул,

и мост стал медленно опускаться. Ворота крепости гостеприимно разверзлись.

С лишком тридцат лет спустя я присутствовал в Цюрихе при сжигании тела профессора Эрисмана в местном крематории. Последний момент похоронного обряда производит потрясающее впечатление. Под траурные звуки гроб с телом катится бесшумно по рельсам к дверцам печи. Эти дверцы распахиваются, гроб движется медленно все дальше и дальше в глубь печи, и дверцы закрываются. Все кончено.

И вот этот момент похорон живо напомнил мне распахнувшиеся тогда и поглотившие меня ворота цитадели. Часовые, шагавшие внутри крепости перед различными зданиями, не обращали на нас никакого внимания. Для них эти пролетки с арестованными и жандармами были обычным, повседневным явлением. Вряд ли хотя один на тысячу из них останавливался на вопросе: за что арестуют этих провозимых мимо них студентов? А если и находился ставивший себе этот вопрос, то решал его по-солдатски: «приказано».

Уже начало рассветать, когда мы подъехали к десятому павильону. Дежурный жандарм доложил старшему; тот ввел нас в огромнейшую слабо освещенную канцелярию, а сам побежал будить заведующего.

Прошло еще несколько минут, и в канцелярию вошел заведующий капитан Александрович — типичная тюремная крыса. Маленький, щупленький, на кривых ножках, — он казался карикатурой на человека. Внешнему его виду вполне отвечало внутреннее содержание. Он и в этом отношении смахивал на карикатуру. Врал артистически, не моргнув глазом, лебезил перед начальством, либеральничал перед заключенными, «экономил» на арестантских желудках, заботясь лишь о том, чтобы все было «шито-крыто». До остального ему не было никакого дела. Если он взяток не брал, то лишь из трусости, как бы не влопаться. Жандармов ненавидел всей душой, сознавая, что именно они постоянно за ним надзирают; но не пылал любовью и к заключенным, «подводившим» его то своим перестукиванием, то «внутренней корреспонденцией» друг с другом, то «внешней» перепиской с волей.

С возмущением и негодованием он при всяком удобном и неудобном случае рассказывал заключенным и их родным, приходившим к ним на свидание, как жестоко его подвели заключенные еще в 1878 году. Они не только издавали в десятом павильоне журнал «Голос узника», но ухитрялись отправлять его и на волю; в результате он был захвачен за границей в Кракове во время обыска у арестованных по делу первых польских социалистов в Галиции.

Александрович рассматривал этот вопрос только под углом зрения тех неприятностей, какие были ему этим уготованы заключенными. Более интересные и существенные детали его не

интересовали. А между тем этот издававшийся в десятом павильоне всего в двух экземплярах «Голос узника» является одним из интереснейших документов социалистического движения. Выходил он под редакцией Иосифа Плавинского, год спустя умершего, и Максимилиана Гейльперна — известного педагога в Варшаве. В нем наряду с сентиментальным народолюбием, получившим яркое выражение в стихотворении, подписанном «Мацек» («Ведь я не имел в виду себя, когда я брал в руки знамя «за народ»; я хотел, народ, бороться за тебя и стать на защиту твоих прав»), — появилось знаменитое, до сих пор весьма популярное в среде польского рабочего класса стихотворение тогда еще социалиста Вацлава Серошевского: «Чего они хотят?», противопоставлявшее идеалы и стремления буржуазии идеалам и стремлениям рабочего класса, шествующего под красным знаменем. Здесь впервые начал писать Вацлав Свенцицкий, будущий автор знаменитой «Варшавянки», отхлестывая бичом сатиры либералов, моливших царя дать конституцию. Его же перу принадлежало юмористическое стихотворение «Папа Педро» на мотив «Мамы Анго», в котором он дает стихотворный шарж на Александровича.

Журнал действительно впервые был обнаружен в Краковской тюрьме... А так как и тогда уже был воплощен в жизнь лозунг: «Жандармы всех стран, объединяйтесь!», то прокурор-поляк предупредительно сообщил о результатах обыска варшавскому прокурору-москалю. Последний, — прокурор Варшавской судебной палаты, известный либерал Трохимовский, печатавший свои статьи в «Вестнике Европы», — задетый в своем полицейско-прокурорском самолюбии, произвел тщательный обыск во всех камерах. В то время как жандармы вскрывали половицы, рылись в печах и разрывали тюфяки, либерал-прокурор жаловался как раз инициатору и редактору журнала Иосифу Плавинскому:

— Войдите в мое положение! Как на меня смотрят за границей? У меня в тюрьме издается журнал, и об этом мне ничего не известно. Только из-за границы меня извещают об этом. Каково!

— Если только за этим дело стало, — хладнокровно заявил в ответ Плавинский, — то этому горю не трудно пособить. Вот вам издающийся в Краковской тюрьме «Скрежет узника»... Можете отправить его краковскому прокурору и получите реванш...

Плавинский знал, что по окончании обыска в камере жандармы приступят к личному обыску. Карманы его были набиты номерами «Скрежета узника», редактировавшегося в Краковской тюрьме сидевшими там Людвигом Варынским, Станиславом Мендельсоном и другими. Ему терять было нечего, и он с любезным жестом вручил Трохимовскому исписанные листки этого журнала. Прокурор заржал от радости и нервно схватил заветный листок:

— Благодарю вас! От души благодарю!

— Не стоит благодарности, — не удержался Плавинский.

«Обрадовавшийся» прокурор не сообразил, что «реванш»-то он получит, но суть дела от этого не изменится. Факт оставался фактом и сводился к тому, что заключенные поддерживали из крепости связь с заграницей, получали оттуда журналы и отправляли туда свои.

Александровичу тогда серьезно влетело и до оставления им поста заведующего он постоянно вспоминал об этом событии. На его образ действий при приеме вновь арестованных это все же не подействовало. Меня обыскали довольно небрежно и отвели в камеру. Я дьявольски устал. Помню лишь, что приведший меня в камеру старший жандарм Фомин сунул мне в руку составленные в стиле Данте правила: «Попавший сюда, — гласит один из этих пунктов, — должен забыть, кем он был, и помнить лишь то, что он арестант». Я наскоро прочитал эти правила и, как только жандармы ушли из камеры, бросился, не раздеваясь, на койку и уснул, как убитый.

II. В ВАРШАВСКОЙ ЦИТАДЕЛИ

— Извольте одеться!

Я открыл глаза и увидал перед собою старшего жандармского унтер-офицера Фомина, который принимал меня гостеприимно накануне в число обитателей десятого павильона и наставлял на путь арестантский, а ныне почему-то не давал мне спать.

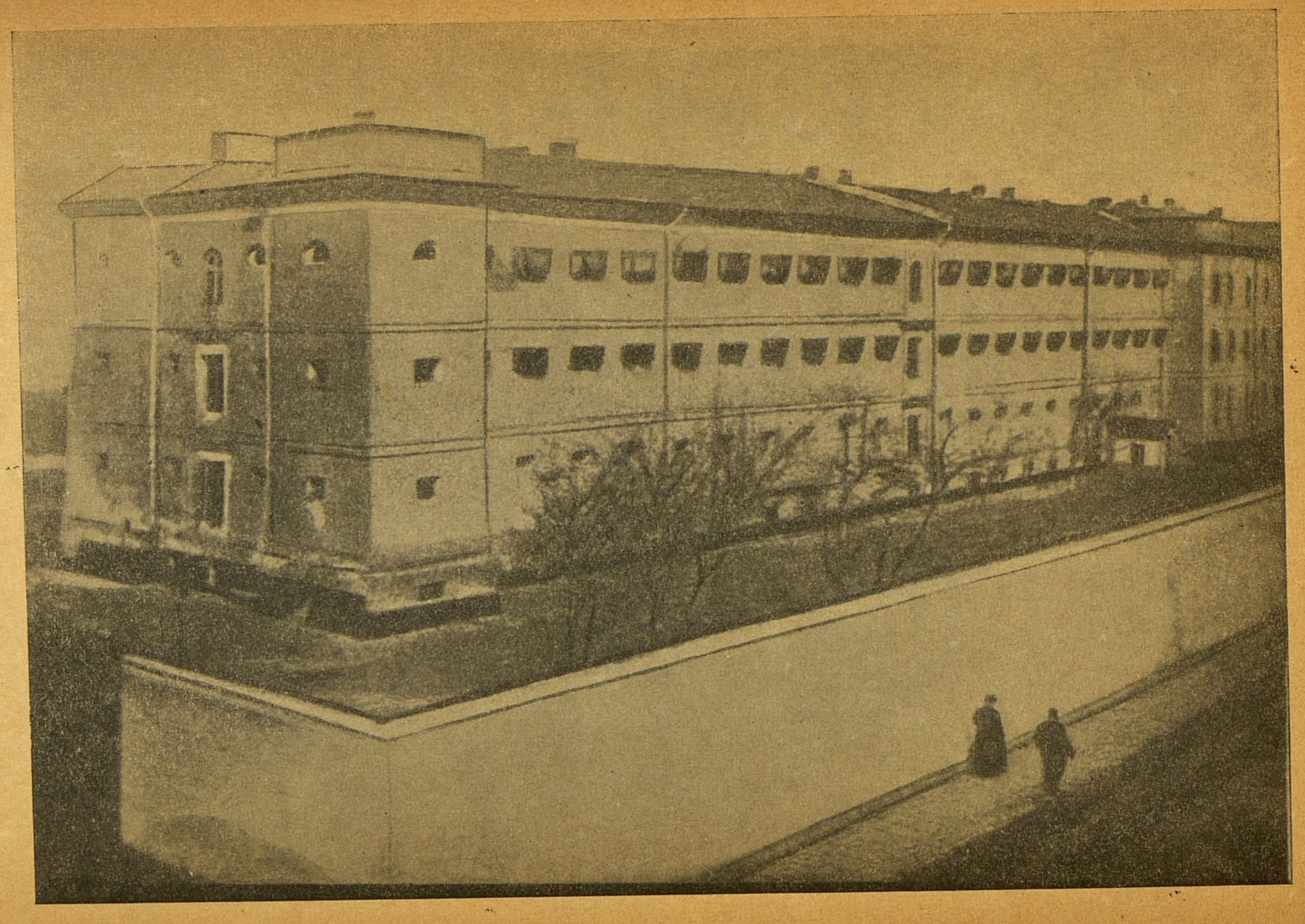
— Извольте одеться. Вас повезут на допрос.

— Сейчас.

Он этим удовлетворился. Но обещанное мною сейчас превратилось в свою полную противоположность. Я проспал все. И воду для умыванья, которую приносили в камеру в девять часов утра, в то время как меня разбудили только в двенадцатом часу, и уборку камеры, и кипяток для чая. Только благодаря тому, что мне предстояло ехать на допрос, мне удалось настоять на том, чтобы мне принесли хотя бы только воду для умыванья, но переговоры об этом длились довольно долго. Фомин суетился, прибежал и заведующий. И для того, и для другого произносимое ими с трепетом «там ждут» было как бы достаточным аргументом, чтобы я, не умывшись, ехал на допрос.

Надо сознаться, что и я поторапливался. Я все-таки верил в глубине души, что меня допросят и выпустят. Только эта надежда побудила меня отправиться на допрос натощак.

О самом допросе я начал думать только тогда, когда мы уже выехали на извозчике из крепости и по знакомым улицам направлялись к той самой камере прокурора, которую мы собирались взорвать. Перебрав в уме фамилии всех арестованных, я вновь и вновь приходил к заключению, что никто из них не мог



Варшавская Тюрьма „Павиак“

меня выдать, но, тем не менее, я не был спокоен. Было что-то, заставившее жандармов арестовать меня, а что именно — я не знал.

«Спокойствие и самообладание, что бы ни случилось!» — решил я, поднимаясь уже по лестнице в злополучную «допросную» камеру.

Меня уже ждали. И Секеринский и Арсеньев были приторно приветливы, словно я пришел к ним в гости. Меня пригласили сесть, предложили папиросы, — и начался допрос.

Мицкевич характеризует такой допрос, как нечто худшее, чем палочные удары. И он безусловно прав. Нет и не может быть ничего хуже той дуэли, в которой одна сторона, вооруженная целым государственным аппаратом сыска, пользуется уже имеющимися в ее распоряжении данными для того, чтобы выудить новые сведения, уличающие как допрашиваемого, так и его товарищей, а другая, не зная даже, в чем ее обвиняют, должна отбивать удары, рискуя тем, что малейшая неосторожность может повлечь за собою потерю не только жизни, но и чести.

Ужасная дуэль, в которой нападающей стороной являются матерые, набившие руку в сыске инквизиторы, а обороняющейся — юнцы, горячие и пылкие, весьма легко выбиваемые из равновесия.

К счастью, я знал, с кем имею дело. За шесть лет с момента ареста первых социалистов Секеринский успел себе завоевать достаточно громкое позорное имя. И я был настороже.

Секеринский начал издалека. Спросил, бывал ли я в России, не случалось ли мне встречаться с русской молодежью. На мой отрицательный ответ он бросил новый вопрос:

— И к социал-революционной партии «Народной Воли» не принадлежали?

— Нет.

— И ничего о ней не слыхали?

Не слышать в то время о «Народной Воле» нельзя было. О ней постоянно попадались известия даже в легальных газетах: то о совершонных ею террористических актах, то о расправах правительства с членами этой партии. Вопрос Секеринского имел, повидимому, лишь проверочный характер желания узнать, намерен ли я давать отрицательные ответы на все предлагаемые мне вопросы или же готов кое-что и подтвердить. Он, повидимому, еще только изучал меня.

— Нет, слыхал.

— От кого?

— В газетах не раз читал отчеты о процессах.

— Из газет, значит, знаете о ней... Так. А членов партии никогда не встречали?

— Нет.

— Наверное?

Он взял со стола нанизанную на проволоку связку фотографических карточек.

— А ну, посмотрите. Может быть, все-таки кого-нибудь узнаете?

Я внимательно просмотрел всю коллекцию. Лиц, предательства которых можно было опасаться, в коллекции не было. Янчевского я считал вполне надежным.

— Нет.

— Нет? — с изумлением в голосе вновь переспросил Секеринский. — Удивительное дело! А этого тоже не знаете? — сунул он мне в руку карточку Людовика Варынского.

— Нет.

— Даже понаслышке?

Секеринский не назвал фамилии Варынского. Не знать понаслышке Варынского, пользовавшегося тогда легендарной популярностью не только в революционной среде, нельзя было. Секеринский рассчитывал, что я тут-то и попаду в расставленные им сети, так как и утвердительный и отрицательный ответ уличил бы меня в сознательной лжи. Как я мог знать, знаю ли я или не знаю понаслышке человека, которого фамилия не была мне названа? Но я не попался на эту удочку.

— А как фамилия этого господина? — спокойно отпарировал я этот удар.

Секеринский даже не соизволил ответить.

— А Янчевского тоже не знаете? — обрушился он на меня новым вопросом, за которым очень быстро один за другим посыпались другие. — Задунайского, который у вас на квартире ночевал, который убеждал вас примкнуть к «Народной Воле». Чахоточный такой?..

— Нет.

— Вот как? Не видали его и не слыхали о нем? И писем от него не получали?.. И адреса своего для писем ему не давали?.. И насчет ключа для переписки с ним не уславливались? — продолжал он сыпать вопросами, как бы не желая дать мне опомниться.

Каждый из этих вопросов отвечал действительности.

Я действительно был повинен в этих «ужасных» преступлениях... И, тем не менее, все заряды Секеринского пропали совершенно даром. До тех пор, пока меня обвиняли в участии в «Народной Воле» и не касались моего участия в «Пролетариате», — мне нечего было волноваться ни за себя, ни за других.

— Что вы, что вы? — ответил я спокойно. — Какой ключ? Какие адреса? Тут какое-то недоразумение. Вы меня, должно быть, принимаете за кого-нибудь другого?

Секеринский умолк, может быть, придумывая, чем бы меня еще ошарашить. В допрос вмешался Арсеньев.

— Зачем вы все отрицаете? Ведь Янчевский сознался во

всем и указал на вас. Иначе ведь мы бы ни с того, ни с сего к вам не приставали.

— Какой Янчевский? Я не знаю никакого Янчевского...

— А он вас знает. Я вам повторяю: это он указал на вас.

Арсеньев не врал, как оказалось впоследствии. Янчевский принадлежал к довольно распространенному в то время типу революционеров-крикунов, пускавших простецам пыль в глаза, выдававших себя чуть ли не за главарей революции, все критиковавших, всем недовольных. Но эти герои, попадая в руки жандармов, сразу превращались в «кающихся Магдалин». Таким был Янчевский, этими же чертами отличался и его сподвижник Вацлав Гандельсман и многие другие. Янчевский с первого же момента начал выдавать, точно указывая лиц и их роль в партии.

В числе указанных им был и я. Но я держался в стороне от него и он мог сообщить обо мне весьма немногое.

— Этого быть не может! — ответил я Арсеньеву. — Я фамилии Янчевского даже не слыхал.

— Полноте, что же он ни с того, ни с сего все на вас выдумал?..

— Должно быть...

— Сами себя топите, — вмешался Секеринский. — Вы человек больной. Во время обыска у вашей матери мы нашли свидетельство о вашей болезни. У вас недавно было воспаление легких. Вам надо ехать лечиться, а вы своим отрицанием всего и вся заставляете нас держать вас в тюрьме.

— Не врать же мне из-за этого!

— Вот что, — опять начал Арсеньев, — Я не скрываю. Серьезного обвинения против вас нет... но вы сами осложняете дело...

Я не ответил.

Арсеньев и Секеринский удалились на несколько минут в другую комнату, повидимому, посовещаться, а затем, выйдя оттуда, объявили мне, что я как заподозренный в участии в «Народной Воле» и подлежащий за это участие наказанию, связанному с лишением прав, должен быть содержим под стражей, но, принимая во внимание мое болезненное состояние, они сделают представление прокурору Петербургской судебной палаты об освобождении меня под залог.

— Когда же я могу быть освобожден?

— Недельки через две, через три. Как только получится ответ из Петербурга.

Соображения Куницкого оказались верными.

Я возвращался в десятый павильон в самом радужном настроении.

Едва жандарм успел закрыть за мною все засовы в дверях, как стены и потолок моей камеры ожили. Отовсюду раздавался стук, напоминающий телеграф.

Ключ для перестукивания мне был известен, но, тем не менее, я вследствие быстроты стука не был в состоянии ничего разобрать. Я отстучал сигнал непонимания и систематически, медленно, с расстановкой простучал 2—5—4—4—3—4— короткое, но для меня весьма важное словечко: к т о? После минутного перерыва стены опять затрещали. Я внимательно прислушивался: 3—5 это — *о*, 4—5 это — *с*. Вместе *ос*.

В этот момент дверь моей камеры с шумом открылась, и на пороге остановился всегда напоминавший мне гнома заведующий Александрович.

— Что это вы? Со мной перестукиваетесь?

Я с недоумением взглянул на него.

— Иду по лестнице, а вы тут ко мне в стену и лупите, — продолжал язвить Александрович. — Вот я и пришел.

Оказалось, что одна стена моей камеры выходила на лестницу. Первый блин комом. Но я не смутился.

— Спасибо за указание. Не премину им воспользоваться.

— А вы знаете, что нельзя перестукиваться?!

— Знаю.

— То-то же.

С этими словами Александрович ушел, а я перекочевал к другой стене и повторил лаконическое «к т о».

После долгих мытарств я разобрал ответ:

— Ост-рей-ко.

Лучшего соседа я и не мог желать.

Старый партиец, прошедший русскую школу, осторожный, тихий, степенный, флегматичный литвин, Острейко, уже не в первый раз попавший в тюрьму, мог оказать солиднейшую помощь в моей миссии разыскать и завязать связь с Варынским и Дулембой. На воле слабой стороной Острейко было отсутствие инициативы. Но он выделялся своей необыкновенной аккуратностью и исполнительностью. В тюрьме гораздо большее значение, чем инициатива, имели конспиративность, осторожность и опыт, и о лучшем соседе, чем Острейко, нельзя было и мечтать.

Узнав, кто я, и расспросив, при каких условиях я арестован, Острейко, прежде чем ответить на мои вопросы, проверил, действительно ли это я или только выдаю себя за такового. Он потребовал указаний, где я его видел в последний раз, а для того, чтобы убедить меня, что и он подлинный, а не поддельный Острейко, простучал мне длинную повесть о том, где и когда мы с ним познакомились.

Эти предосторожности были необходимы. Жандармы часто прибегали к тому, что сажали шпиона в соседней камере для того, чтобы выманить нужные им сведения у сидящего рядом с ним. На этой почве случались и курьезные столкновения.

Арестованный по нашему делу и впоследствии сосланный на каторгу на Сахалин Поплавский, как только его привезли из

Лодзи и посадили в десятый павильон, простучал соседу обычный вопрос:

— Кто?

— Поплавский, — последовал ответ.

Предположив, что сосед уже знает, кто он, Поплавский подтвердил:

— Да, а ты кто?

— Поплавский.

— Я Поплавский, а ты?

— Поплавский, — последовал вторичный ответ.

Не подозревая даже существования другого Поплавского и усматривая во всем этом какой-то подвох со стороны жандармов, возмущенный Поплавский простучал:

— Со шпионами не разговариваю! — и больше не откликался на стук соседа.

А между тем рядом с ним был посажен другой, тоже неподдельный Поплавский, сочувствовавший тогда «Пролетариату», затем инициатор и организатор социалистически-народнического органа «Голос», в котором сгруппировались все элементы, недовольные тогда «Пролетариатом», — Потоцкий, Венцковский, Гласко-Семенецкий, Геринг, Гейльперн и др. С течением времени орган этот все более и более принимал и националистический, и антисемитский характер, а затем главные столпы этого органа — Поплавский, Семенецкий, Балицкий — сделались основоположниками ныне прогремевшей своей реакционностью национал-демократической партии.

Убедившись в том, что, — как мы впоследствии шутили, — «я — это я, а он — это он», мы условились с Острейко насчет специального ключа для перестукивания, которого жандармы не знали и, следовательно, не могли подслушивать нашей беседы, и отложили дальнейший разговор до сумерек.

Я был радостно возбужден. Дело налаживалось. Я с нетерпением ожидал сумерек и, как только в камере начало темнеть, стукнул в стену. Острейко немедленно откликнулся и начал стучать.

— С левой стороны печки, на аршин от пола... тоннель, — вот его первые слова.

Такого приятного сюрприза я не ожидал.

Я осторожно подошел к указанному месту, ощупал стену, но — увы — совершенно безрезультатно.

Никакого «тоннеля» не нашел, и должен сознаться, и не нашел бы его, если бы Острейко стуком с той стороны, в том месте, где он находился, не указал мне его, до того искусно он был замаскирован. «Тоннель» был плотно заткнут пробкой из хлеба, снаружи забеленной известкой.

Я вынул пробку и услышал немного сдавленный голос Острейко:

— Здравствуй!

«Тоннель» не был сквозной. Он был пробуравлен только с обеих сторон сквозь штукатурку до тростника. Но голос был слышен. Мы разговорились.

Оказалось, что Варынский и Дулемба сидят вместе в одной камере и что им можно переслать письмо через «почтовое отделение» — место, по природе своей весьма мало предназначенное для почты, но зато такое, куда жандармы не могли не вести заключенных. В этом не совсем благовонном «почтовом отделении» каждый имел свой «почтовый ящик», то есть место, где складывалась или, вернее, приклеивалась адресованная на его имя корреспонденция. Острейко дал мне указания, как надо заделать «почтовый пакет», как его прикреплять и в каком именно месте, чтобы он дошел до Варынского и Дулембы.

Дело было далеко не легкое. Надо было, стоя на корточках на доске, опустить руку в отверстие и хлебным мякишем прикрепить миниатюрный пакетик с запиской снизу — к доске. Все это приходилось проделывать чуть ли не на виду у жандарма, который и в этом злачном месте не переставал наблюдать за заключенным. Но зато «поймать с поличным» жандарм физически не был в состоянии. Стоило ему только шевельнуться в сторону заключенного, как «почтовый пакетик» улетал туда, откуда даже ни перед чем не останавливавшийся жандарм его не мог достать.

В этот день уже ничего нельзя было сделать.

В сумерки и вечером уже не выпускали заключенных из камер. На следующий день утром Острейко должен был предупредить Варынского о том, что я ему напишу ключом, которым он переписывался с Острейко, и только тогда мог и я приступить к выполнению возложенных на меня товарищами на воле поручений.

Я торопился, не пропускал никакой ни «легальной», ни «нелегальной» возможности, уже собрал было даже кое-какие сведения, но вся эта работа была оборвана на полуслове... Незачем было ее продолжать.

В течение нескольких дней все изменилось, и двери моей тюремной камеры оказались наглухо заколоченными на целый ряд лет.

С того времени, как меня допрашивал Секеринский, прошло дней одиннадцать. Я с минуты на минуту ждал обещанного освобождения из тюрьмы. Неудивительно поэтому, что я несказанно обрадовался Секеринскому, когда он вошел в мою камеру. Но достаточно было взглянуть на него, чтобы перестать обольщаться какой бы то ни было надеждой.

Секеринский обдал меня враждебным взглядом; явившийся вместе с ним его громкий сподвижник во всех гадостях товарищ

прокурора Янкулио уставился на меня своими косыми, напоминающими монгольские, глазами.

Я сообразил, что произошло что-то рокогое, но не подал виду и, притворяясь наивным, спросил как ни в чем не бывало:

— Видно, получился ответ из Петербурга?

Глаза Секеринского засверкали злым огнем.

— Да! — прошипел он в ответ. — Надо только еще получить ответ на некоторые вопросы.

— Пожалуйста!

— Признаете ли вы себя виновным в том, что вы были агентом Центрального комитета социал-революционной партии «Пролетариат»? — был первый вопрос, а затем, придерживаясь своей системы огорашивания, он начал палить, как из пулемета: — Вели ли вы агитацию среди рабочих в Варшаве и Лодзи, печатали ли газету «Пролетариат», принимали ли участие в подготовлявшемся взрыве камеры прокурора, участвовали ли в собраниях в ресторане Бедржицкой?..

Система Секеринского оказалась весьма плохой. Первый вопрос меня действительно огорошил, но последовавшие в таком обилии следующие вопросы сыпались слишком долго... Я успел очнуться и при последнем уже только иронически улыбался... Уткнувшийся глазами в меня Янкулио, человек гораздо более умный и хитрый, чем Секеринский, сразу сообразил, что пулеметные заряды последнего пропали даром, и сухо, холодно, с подчеркнутой официальностью сунул мне в руки лист бумаги, сказав:

— Напишите все то, что имеете сказать...

Я взял бумагу и уселся писать. Оба инквизитора сзади меня через мое плечо следили за каждой выводимой мною буквой.

Я понял из предложенных мне вопросов, что моя песенка спета, что при наличии таких сведений у жандармов не выкрутишься, и поэтому каллиграфически начертил:

«Я имею честь быть членом социал-революционной партии «Пролетариат» и поэтому никаких показаний давать не буду...»

Инквизиторы рассвирепели.

— Вот как? — прошипел Янкулио.

— Это мое право как обвиняемого, — напомнил я блюстителю закона, — и я им пользуюсь...

— Да, да! Это ваше право. Но и у нас есть кое-какие права, которыми мы воспользуемся, — бросая на меня свирепый взгляд, ответил Янкулио. И тут же обратился к сопровождавшему их новому заведующему десятого павильона жандармскому поручику Фурса, заместителю Александровича. — Все книги отобрать, переписку с родными воспретить, строго изолировать от остальных заключенных

— Слушаю-с!

Секеринский все время молчал. Привыкший все делать нахрапом, он совершенно не ожидал такого эффекта своего прие-

ма, растерялся и предоставил поле сражения Янкулио. Последний, отдав заведующему распоряжение, взял со стола протокол с моими «показаниями», вложил его в портфель и, величественно повернувшись, вышел из камеры. За ним последовала вся его свита.

Только после их ухода мною овладел ужас, граничащий с отчаянием. Из предложенных мне Секеринским вопросов было очевидно, что все пропало, что жандармам известно если не все, то почти все...

Откуда?! — Этот вопрос не давал мне покоя. Я буквально, как зверь в клетке, метался по камере. Было ясно, что кто-то предает, кто-то весьма осведомленный, иначе жандармы знали бы одно, другое, но не все.

Я перебирал в памяти всех ответственных товарищей и при каждой фамилии с возмущением отвергал подозрение. Как это ни странно, но только несколько часов спустя я остановился на вопросе: кто арестован, кто уцелел? Я припал к стене соседней камеры.

У Острейко уже были кое-какие, хотя и неполные, сведения. Оказались арестованными: Куницкий, Бардовский, Поль, Крживоблюцкий, Пацановский, Остерлоф, Геринг, Гейльперн и многие другие.

Последние два не имели никакого отношения к «Пролетариату», и мне не трудно было сообразить, что они арестованы только как бывшие уже в ссылке мои родственники.

— А Олек (Дембский), Конрад (Янович), Фацетик (Славинский), Матуля (Дзянковская)?

— Дзянковская арестована на квартире Бардовского... Остальные, кажется, скрылись.

Не все, значит, пропало!

Я начал передавать Острейко об учиненном мне допросе, но наш разговор был прерван. Вошел жандарм и «пригласил» меня на прогулку.

Ничего не подозревая, я пошел. Оказалось, однако, что это был подвох. Пока я гулял, у меня в камере перерыли все вещи, забрали все книги и перевели в один из дальних коридоров, где никого, кроме меня, не было.

Фурса в точности исполнил приказание Янкулио.

Я постучал в одну стену, в другую. Мертвая тишина. Попросился в «почтовое отделение», тщательно прощупал все места, годные для «почтовых ящиков». Ничего. Вернулся в камеру. Заняться нечем. Книг не было. Я не сомневался в том, что мне придется просидеть в таких условиях до окончания дела, но, по свойственному мне оптимизму, тут же определил, что это продолжится не более полутора лет, «всего» каких-нибудь пятьсот дней, и со следующего же дня начал отсчитывать дни, проведенные уже в этих условиях.

Но, как оказалось, жандармы не оставили меня в покое. По



(Слева направо) Дулембо Генрих, Кон Феликс, Рехневский Фаддей, Луори Николай, Маньковский Мечислав. По процессу „Пролегариата“ в 1886 г. в Варшаве

всей вероятности, Янкулио, бывший тогда товарищем прокурора Варшавского окружного суда, сообщил по своему начальству о неумелом подходе к моему допросу Секеринского, в результате чего ошибку последнего решил исправить прославившийся впоследствии на всю Россию, но тогда еще только товарищ прокурора Варшавской судебной палаты — Турау.

— Разрешите войти... — мягко кланяясь, стоя в ожидании «разрешения» на пороге, спросил он.

— Пожалуйста!

Он вежливо отрекомендовался, попросил разрешения присесть, а затем начал:

— Я к вам, собственно говоря, не официально, а совершенно частным образом. Хотя я и прокурор, но я же понимаю, что нельзя требовать от человека, чтобы он только потому, что его арестовали, изменил делу, ради которого вчера еще жертвовал всем — и карьерой, и имуществом, и даже жизнью.

Я не перебивал его ни единым словом.

— И я отлично понимаю, почему вы отказались от показаний. Я перестал бы уважать вас, если бы вы поступили иначе, хотя я совершенно не разделяю ваших убеждений. И если бы дело касалось только вас, я бы даже не беспокоил вас своим посещением. Убеждения — вещь святая! Но дело касается не только вас. Мне очень тяжело вам сообщать об этом, но я должен это сделать. Не как прокурор, а как человек. Вы ведь знаете, что ваш дядя (Гейльперн), ваша сестра и зять (Геринги) недавно вернулись из ссылки. На них падает подозрение... И они арестованы. Я вам обязан сообщить еще более тяжелое известие. На вашу мать падает подозрение, что она была кассиром партии... И ей придется сидеть до тех пор, пока вы не выясните ее роли в «Пролетариате».

Мне трудно передать, что я перечувствовал тогда. Я даже точно не помню, что последовало дальше. Знаю только, что тюремная табуретка оказалась у меня в руке, а почтенный прокурор кинулся, как ошарашенный, к двери с криком:

— Сумасшедший!

Дверь с шумом захлопнулась за ним, а несколько минут спустя ввалилась в камеру целая орава жандармов, схватила меня и потащила в темный карцер.

В карцере я просидел только одни сутки, а затем потянулись скучные, однообразные, серые, как тюрьма, дни. Без жизни, без впечатлений. Все мысли сосредоточены только на одном: что погибло, что уцелело? Обсуждая все обрушившиеся на меня за последние дни события, я в конце концов пришел к более утешительным выводам: не все погибло. Кое-какие ответственные работники уцелели, а затем нетронут рабочий резерв (Адам Серошевский, Форминский, Кмецик, Словик и др.) и интелли-

гентский (Богушевич, Фельзенгардт, Стржеминский, Разумейчик и др.). Но самым главным было то, что уцелел Дембский. У него были связи с Россией, с находившимися в России «пролетариатцами», бывшими членами «Рады Секретной» («Секретного Совета»). Оттуда приедут новые руководители, и работа вновь закипит. Я знал, что «Шмуль» (граф Зубов) не раз выражал желание работать в Польше. О нем и Куницкий, и Дембский выражались весьма одобрительно. Приедут и другие.

Я приободрился.

На деле оказалось, что я был прав только отчасти. Дембскому (к слову сказать, сделавшемуся ныне, на старости лет, ура-патриотом типа Пилсудского) пришлось скрываться, Янович попался в руки жандармов, Славинскому пришлось бежать за границу. Оставались только рабочий и интеллигентский резервы. Но связи между одними и другими не было, и уцелевшей почти полностью рабочей организации пришлось разыскивать интеллигента, который составил бы воззвание по поводу приведенного в исполнение приговора над каким-то шпионом. С течением времени связь между рабочими и интеллигентами при посредстве Дембского наладилась, и работа возобновилась. Но первое время после июльских массовых арестов положение было отчаянное.

Я в то время об этом не знал, и мысль о том, что на воле продолжается работа, придавала мне бодрости. А эта бодрость была нужна. Я был как бы замурован в мертвом склепе, куда не доносился другой звук, кроме лязга засовов в моей же камере. Было невообразимо скучно. Однажды в сумерки я не вытерпел. Взобрался на окно и посмотрел в верхнее, не матовое стекло. Окно выходило на дворик, куда нас водили ежедневно на десятиминутную прогулку. Мысль о том, что тут же внизу за окном гуляют близкие мне люди-единомышленники, быть может, так же тоскующие по мне, как я по ним, не давала мне покоя. Я уже собирался, несмотря на безумие всей этой затеи, взобраться на окно днем и крикнуть гуляющим, что я здесь. На следующий день я внимательно осмотрел окно, и вдруг отражавшееся в открытой внутренней форточке солнце словно осенило меня. У меня было небольшое зеркало. Я схватил его, с ловкостью кошки взобрался на окно и прикрепил зеркальце сверху между двумя оконными рамами. Секунду спустя я уже сидел в задумчивой позе на кровати и глядел вверх по направлению к зеркалу. Я был счастлив. В зеркале я увидел гуляющих по тропинке садика Варьнского и Дулембу... Скуку как рукой сняло. Каждые десять минут в зеркале появлялись другие знакомые и незнакомые лица. Я уже размечтался о составлении полного списка сидевших, но, увы, уже на следующий день жандарм проследил меня в глазок, зеркало было у меня отобрано, а я вновь попал в карцер.

Но и этот короткий «дивертисмент» повлиял на меня весьма

благотворно. Гулявшие были бодры. Сидевшие по-двое весело разговаривали друг с другом. Я убедился, что дом заключения не так мертв, как могло казаться мне, «изолированному» по распоряжению Янкулио.

Несколько дней спустя во время прогулки я совершенно машинально поднял валявшийся на земле кусочек ветки. Он оказался вымазанным чем-то липким, и я бросил его на землю с отвращением. Но когда я вытирал руку носовым платком, я обратил внимание на то, что «липкое» — мокрый хлебный мякиш, каким мы обыкновенно заклеивали почту. Секунду спустя брошенный мною с отвращением кусок ветки уже оказался у меня в кармане, и, как только прогулка кончилась и я вновь очутился в своей камере, я принялся за «расследование». Оказалось, что это не ветка, а обмотанная ободранной с ветки тонкой корой записка, написанная ключом. Концы коры были прикреплены к записке хлебным мякишем. Оказалось, что я стащил чужую корреспонденцию. Это меня мало смущало. Я принялся за изучение ключа и уже на следующий день утром открыл, что записка написана ключом «Дарвин». Прочитав ее, я этим же ключом написал свою записку, в которой объяснил, где и при каких условиях сижу, почему забрал чужую записку, и просил прислать мне этим же путем ответ. Обе записки были готовы, но не во что их было завернуть. На следующий день я сорвал во время прогулки довольно большую ветку и только двадцать четыре часа спустя, когда меня вновь повели на прогулку, я незаметно бросил записку приблизительно в том самом месте, где поднял конфискованную мною записку.

Только два дня спустя я нашел ответ... за подписью «Григория» (Куницкого). Он сообщал мне об огромном массовом провале, предупреждал, что кто-то выдает, и высказал мнение, что мне недолго придется сидеть изолированным, так как аресты продолжаются и мест в десятом павильоне нехватает. Жандармам придется разместить заключенных по всем коридорам.

Читая записку Куницкого, я буквально воскресал. Вновь установилась связь с людьми.

Я уж больше не один.

А на следующий день предсказание Куницкого сбылось. В камере надо мной кто-то зашагал. Это оказался член партии «Солидарность» — Пашке, — тот самый, который когда-то смутил меня своей сознательностью и начитанностью. В тюрьме я узнал его с совершенно другой стороны. Узнав, что у меня отобраны книги и что я по целым дням слоняюсь по камере, он решил развлечь меня и, шагая по камере, простукивал мне... всевозможные, иной раз довольно сальные анекдоты. Я, лежа на койке, слушал, иной раз смеясь вслух, а жандармы недоумевали, почему я вдруг повеселел.

Через Пашке я связался с другими товарищами, и сидение

в тюрьме становилось все более и более интересным. Я постепенно узнавал не только, кто и как провалился, но и об основной причине провала — о сумасшествии Загурского. Тем не менее многое продолжало быть и неясным, и весьма подозрительным. В Лодзи и Згерже был арестован целый ряд лиц, причастных к убийству провокатора Франца Гельшера: его брат Ян, Поплавский, Дегурский, Блиох, Петрусинский. Их Загурский не знал. Жандармам было известно об опытах за Новой Прагой с панкластитом и об участвовавших в этих опытах. Этого тоже не мог им сообщить Загурский. Были, следовательно, еще другие провокаторы, шпионы и предатели. Но кто? Вскоре рассеялись и эти сомнения.

— Оденьтесь, за вами приехали, поедете на допрос, — сообщил мне всегда сиявший новый заведующий Фурса.

Это был жандарм недавней формации. До этого он служил в уланах, но там, по его заявлению, карьеры не сделаешь, а в жандармах сразу его произвели в поручики. Карьера была для него и совестью, и принципом, и самой жизнью. Ради нее он старался и готов был на все.

— Незачем мне ехать, — ответил я ему. — Я не даю показаний.

Он был поражен. Как это можно не ехать, если начальство приказало ехать.

— Не поеду, вот и все.

— Как это так? Мы вас тогда силой возьмем!

— Возьмите!

Это была чушь, которая только Фурсе могла притти в голову. Нельзя было везти связанного по улицам Варшавы.

Фурса сообразил, переменил тон, стал просить, но было уже поздно — я наотрез отказался ехать.

Он пожаловался на меня коменданту цитадели генералу Унковскому.

Этот генерал Унковский был единственным из всех власть предержащих — человеком. Высокий, стройный, седой, как лунь, старик поражал всех нас своей гуманностью, внимательностью и пониманием психики и нужд заключенных. Независимый по своему положению, он не стеснялся распекать жандармов всевозможных чинов и рангов и всегда заступался за заключенных.

Весьма неумный Фурса, твердо усвоив все заповеди для заключенных, запретил жандармам и солдатам отдавать честь заключенным офицерам на том основании, что всякий попавший в павильон должен забыть, кем он был. Арестованный по нашему делу капитан-инженер Николай Адольфович Люри, не признававший на допросах своей принадлежности к партии, поднял из-за этого бучу и начальнически прикрикнул на Фурсу.

Тот вызвал коменданта.

— Я не был, а я есть офицер, — притворно горячился Люри, — и мне, капитану, поручик позволяет себе делать замечание. На каком основании? — Суда еще не было... Офицерского звания, чинов и орденов я не лишен. Я этого не допущу.

Унковский признал Люри правым, Фурсе влетело.

В другой раз Фурсе попало за несвоевременный вызов врача к больному заключенному, за недоброкачественную пищу, за недостаточно опрятное содержание камер. Унковский просто недолюбливал жандармов и с большой симпатией относился к заключенным вообще, к учащейся молодежи в частности.

Час спустя после моего объяснения с Фурсой ко мне в камеру вошел Унковский.

— Почему вы отказыватесь ехать на допрос? — мягко спросил он меня.

Я объяснил, что показаний я не даю, а с людьми, которые прибегают к таким приемам, как Янкулио и Турау, я встречаться не желаю.

Он спросил, какие это приемы. Я объяснил. Тогда он вызвал Фурсу.

— Почему вы не донесли, что у господина Кона отняты книги и ему воспрещена переписка с родными?

— Это по предписанию прокурорского надзора, ввиду отказа от дачи показаний, — наивно отрапортовал Фурса.

— Сегодня же вызвать в канцелярию и дать возможность написать письмо, а книги я вам сам пришлю, — обратился он ко мне. — Можете итти, — отпустил он Фурсу.

Тот щелкнул шпорами и ушел.

Унковский как будто передумал и позвал его обратно.

— А теперь уж не он, а я вас попрошу поехать на допрос. Сделайте это для меня.

— Для вас? Ладно! Я поеду.

Старик просиял.

— И если вас обижают, обращайтесь всегда ко мне, — добавил он.

Я вышел одновременно с ним. Он проводил меня до извозчика, где уже дожидались меня жандармы.

Всю дорогу я недоумевал, зачем меня, отказавшегося от показаний, могут звать на допрос.

В конце концов решил, что мне это безразлично. Оказалось, что это было для меня далеко не безразлично.

Меня ввели в знакомую уже мне огромную канцелярию. Весь стол был завален всевозможными бумагами, но живого существа в канцелярии не было. Я оглянулся раз, другой. Никого! Тогда я развязно сел на первый попавшийся стул, придвинул к себе лежавшую на столе бумагу и начал читать.

В этот самый момент дверь с шумом распахнулась, в комнату вбежал Янкулио и грубо выдернул у меня из рук бумагу.

— Как смеете читать?

— А зачем оставляете меня одного?..

Он не возражал, умолк, и как будто из-за его спины высунулся Пацановский.

С Станиславом Пацановским я учился вместе, начиная с пятого класса гимназии. Это был человек, который в гимназии не пользовался любовью товарищей, хотя в отношениях и с товарищами, и с преподавательским персоналом он всегда был корректен. Он всегда готов был многое сделать для товарища, многое он и делал, но в том, что он делал, не чувствовалось души, наоборот, чувствовалось то, что называют манерностью. Но в течение пяти лет я не заметил в нем расхождения между словом и делом. Он считал себя поэтом, писал стихи, иногда недурные, но стихи эти никого не трогали. Было время, когда он считал себя патриотом, и его нельзя было ни в чем упрекнуть: он делал все, что полагается делать патриоту. Будучи в восьмом классе, он как-то вдруг, без всяких переходов, объявил себя социалистом.

Я, пожалуй, лучше других относился к нему. Мне было его жаль. Видя его дела, я считал, что его недооценивают. Но, тем не менее, этот переход меня поразил, и, когда он обратился ко мне с просьбой рекомендовать в наш кружок, о существовании которого он смутно догадывался, я отказал. Это его не смутило. Он обратился к Савицкому. Данных не доверять ему не было никаких, и он попал в кружок. Совершенно так же «безболезненно» он совершил переход от «Солидарности» к «Пролетариату», совершенно не смущаясь вопросом о терроре. Но и при этих переходах он не совершал никакой некорректности. В «Пролетариате» он равным образом корректно исполнял все поручения, иной раз даже отстаивал самые решительные террористические акты, хотя по натуре не принадлежал к храбрым. Но искреннего увлечения в нем не чувствовалось. Как бы там ни было — он был всегда вне каких бы то ни было подозрений и при Куницком сделался «агентом второй степени» Центрального комитета.

— Зачем вы сидите? — обратился ко мне Янкулио. — Ведь вы же больны?

Этот вопрос вывел меня из состояния оцепенения, в каком я находился с момента появления в канцелярии Пацановского.

— Себя об этом спросите! Ведь не я себя посадил, а вы меня.

— Да! Но вы напрасно сами себя губите. Ведь мы и без вас все знаем.

— Все знают, — по-польски подтвердил громко Пацановский.

Я так еще был далек от мысли о возможности предательства с его стороны, что совершенно невольно крикнул:

— Стась! Что ты!

— Я все говорю... — последовал ответ.

— Вот видите, — торжествовал Янкулио, — пора и вам подумать о себе.

— Я не подлец! — вызывающе глядя на него, бросил я ему в ответ. — Если вы для этого меня вызывали, то можете отправить обратно в павильон.

— Нет! Вы будете присутствовать при допросе Пацановского и убедитесь, что нам все известно и что мы вовсе не нуждаемся в ваших показаниях.

И тут же Янкулио и жандармский подполковник Шмаков приступили к допросу.

Пацановский действительно говорил «все» то, что знал и чего не знал, о чем только догадывался. Говорил подробно, доходил в своих показаниях до таких подробностей, как цвет одежды женщин, принимавших участие в наборе газеты «Пролетариата», говорил о личных интимных отношениях товарищей и т. д. и т. п.

Я слушал молча. Когда он кончил, его увели, а ко мне подсел Шмаков, глупый, ограниченный человек, которого весьма скоро убрали за негодностью.

— Вы думаете, мы вас не понимаем или вам не сочувствуем... Но это все еще преждевременно... Народ еще темный... Давно ли отменено крепостное право?

Я был взбешен всем проделанным надо мной и менее всего расположен слушать жандармские благоглупости.

— Побеседуйте об этом с Пацановским, а меня оставьте в покое.

Меня увели в другую комнату, а затем отвезли в павильон.

О предательстве Пацановского еще никто не знал. Надо было как можно скорее всех оповестить. Тотчас по возвращении я попросился в «почтовое отделение» и написал на стене: «Пацановский выдает», а затем по возвращении в камеру простучал об этом Пашке, который должен был сообщить дальше.

Но моему сообщению не поверили, и несколько часов спустя я нашел в «почтовом отделении» надпись: «Кто смеет клеветать на Пацановского?»

Я повторил сообщение и подписался. Только тогда поверили, и, как после сознался Фурса, узнавший от жандармов о сделанном мною сообщении, меня должны были посадить в карцер, но этому помешало непредусмотренное ни жандармами, ни мною обстоятельство.

Все это время я чувствовал, что у меня жар, что я еле держусь на ногах, но я приписывал это потрясшему меня впечатлению от предательства Пацановского. Оказалось, что дело серьезное. Я крепился только до тех пор, пока нужно было пере-

дать роковое известие об измене. Но как только это было сделано, я окончательно расхворался. Что было дальше, не знаю. Повидимому, вечером у меня бросилась кровь к горлу, так как наутро жандармы нашли меня в бессознательном состоянии в луже крови.

III. ПРЕДАТЕЛИ

Больше года прошло с момента моей встречи с Пацановским в камере прокурора, когда я его увидел вновь. Это было уже во время суда. Мы, все двадцать восемь человек, преданных военному суду, смотрели на процесс, как на момент схватки с врагом, были оживлены, возбуждены. Он один был пришиблен, сидел с опущенными долу глазами, бледный, запуганный. Мы встретили жестокий приговор — я бы сказал — даже радостно, уже тогда сознавая, что этим приговором царское правительство возбуждает против себя рабочие массы. Он как бы еще более согнулся... Жестоко с ним поступили жандармы. Выжав из него все, бросили, как выжатый лимон. Он был приговорен к каторге, подал прошение о помиловании, и ему каторгу заменили поселением и отправили в Степной край, куда не ссылали политических. По рассказам, там он и оставался до революции 1917 года один, оторванный от того мира, с которым был связан в дни юности.

Благодаря этой его изолированности останется навсегда неразрешенным вопрос, что побудило его стать на путь предательства. Семья ли воздействовала, как утверждали одни, знавшие ее ближе и еще до ареста Пацановского выражавшие удивление, как мог член такой семьи примкнуть к революционному движению? Убедили ли его жандармы, что он при его способностях и талантливости может принести много пользы на другом поприще, а отказываясь чистосердечно сознаться, он, губя себя, не помогает нисколько другим? Струсил ли он перед виселицей?

На все эти вопросы нет и никогда не будет ответа. Остается только факт жесточайшего предательства, в результате которого погиб на виселице молодой дельный рабочий — Ян Петрусинский, о котором жандармы до ареста Пацановского ничего не знали и которого арестовали по его указанию.

Я немного дольше, может быть, чем бы следовало, остановился на вопросе о предательстве Пацановского, но вопрос о психологии предателей до сих пор совершенно не изучен. А между тем типы предателей настолько разнообразны, так же, как и моменты, побудившие их к предательству, что следовало бы серьезно заняться этим вопросом.

Я не говорю о тех, которые, «не соразмерив сил с дорогой трудной», охваченные массовым увлечением, приняли участие в движении, а затем, арестованные, перетрусили и, спасая свою шкуру, выдавали. Но даже по одному нашему процессу было несколько человек совершенно другого рода.

Я уже упоминал о Янчевском и Пацановском. Приходится остановиться еще на одном. Это — Вацлав Гандельсман. В гимназии это был неудачник, хотя его нельзя было назвать неспособным. Не буян и не авантюрист, он, тем не менее, не мог кончить гимназии и все готовился держать на аттестат зрелости экстерном, но по слабохарактерности и неусидчивости намерения этого не осуществил. На революционный путь вступил довольно рано, без особых колебаний, тоже, наподобие Пацановского, как-то сразу и неожиданно. Тем не менее его участие в партии не было ни для кого тайной: его выдавала та напускная таинственность, какой он себя сразу окружил. Получалось впечатление, что он сам любуется таинственностью и рисуется ею перед другими. Сказав что-нибудь кому-нибудь, он непременно предупреждал, чтобы тот этого никому не передавал. Часто сообщал фантастические небылицы, еще чаще намекал на свою громаднейшую и ответственнейшую роль в партии. Все его самолюбие сводилось к стремлению прослыть среди своих великим революционером. В действительности это была довольно мелкая сошка, весьма умело втиравшаяся в среду действительных и крупных революционеров.

Встречи с крупными революционерами были ему нужны для того, чтобы пускать пыль в глаза непосвященным людям. Не дело, а эта пыль его прельщала.

Арестованный, он начал с первого же момента пускать пыль в глаза жандармам, рисуясь перед ними совершенно так же, как рисовался на воле. Янкулио его сразу раскусил и дал ему возможность развернуть во-всю его фантазию. У Пацановского в показаниях можно встретить заявления: «Не знаю, но думаю и т. д.», — у Гандельсмана — никогда. Он все знал. Кому же знать, если не ему? Он «знал» ключи для сношений и в доказательство излагал целый ряд систем ключей, он «знал» организационное строительство и чертил схему организации, он «знал» людей и называл их. До поры до времени жандармы притворялись пораженными его величием, но когда крохи того, что он действительно знал, были из него выжаты, когда жандармы добились от него подтверждения нужных им данных, для того чтобы законопатить людей на каторгу, и когда Гандельсман, для того чтобы как можно дольше сохранить свой престиж, пустился в область чистейшей фантазии, им не для чего было продолжать комедию. Последовал резкий разрыв. Что именно произошло — трудно сказать, но в одно прекрасное утро Гандельсман очутился в карцере и оттуда и стуком, и записками оповещал всех, что жандармы подделали его протокол и что он, возмущенный этим, этот протокол разорвал на куски.

Зная приемы Янкулио, все поверили этому, и только после приезда из Киевской тюрьмы Фаддея Рехневского, сообщившего, что жандармы знают кое-какие вещи, которые могли узнать только от Гандельсмана, усомнились в его честности. В это

время Гандельсман был уже выслан административно в Сибирь. В десятом павильоне оставались лишь преданные военному суду. Вскоре после этого все сомнения рассеялись. Мы перед судом получили возможность ознакомиться с делом. Оказалось, что все протоколы, не исключая и разорванного, были написаны Гандельсманом собственноручно и что в своем предательстве он строго придерживался определенной системы: выдавал загородных товарищей, сводя до минимума показания о находящихся в десятом павильоне. Этим объясняется то обстоятельство, что к нему до самого последнего момента относились с доверием, так как каждый из нас мог привести данные, известные Гандельсману и не известные жандармам. Вся эта «хитрая механика» рухнула, когда мы прочитали его показания. Этот негодяй не предвидел только того, что мы сами прочтем его показания. Разорванный им протокол, якобы подделанный, в действительности же собственноручно им написанный, должен был служить и, к несчастью, продолжительное время служил для него оправданием. Ссылкой на этот разорванный протокол он сбил с толку даже жену Фаддея Рехневского, Витольду Викентьевну, высланную административно из Киева в Сибирь и встретившуюся с партией варшавян в Москве. Даже она ему поверила. Благодаря всем этим обстоятельствам он с незапятнанной репутацией приехал в Сибирь и здесь, напуская на себя важность, начал юнцам пускать пыль в глаза, пытаясь проникнуть в местные конспиративные организации помощи ссыльным в побегах. Известие об этом было получено нами уже после суда, в Москве, по пути в каторгу. Пришлось предупредить товарищей, и мы впятером, Рехневский, Дулемба, Маньковский, Люри и я (Варынский и Янкович были отправлены в Шлиссельбург, остальные же на Сахалин), разослали в целый ряд пунктов ссылки за своей подписью письма с предупреждением. Гандельсману волей-неволей пришлось сократиться. Но не надолго — всего на несколько лет. Изобличенный, он по окончании срока ссылки не мог оставаться в Польше и отправился в Париж. Здесь он опять втерся в местные кружки и как опытный интриган весьма умело использовал заграничную склоку. Когда в Париже очутился бывший ранее в ссылке в Ишиме вместе с Рехневской Людовик Савицкий, член партии «Солидарность», о котором я упоминал в первой главе своих «Воспоминаний», — человек, знавший все подробности его предательств, и стал уличать его, Гандельсман ухитрился и это отнести на счет эмигрантской склоки и нашел наивных сторонников, которые его поддержали в этом. Но Савицкий, человек кристаллической честности и немного сентиментальный, не мог примириться с тем, чтобы предатель вновь играл руководящую роль, это не могло не казаться ему кощунством. Он боролся с ним на собраниях и в прессе, клеймя его на каждом шагу. Тогда Гандельсман, подкараулив его в одном из закоулков Парижа, нанес ему пощечину. Савицкий не перенес этого. Он

вернулся домой, написал последнее письмо, изобличающее Гандельсмана, умоляя всех поверить ему мертвому, если не поверили живому, и отравился.

Только тогда колония парижских эмигрантов поняла, с кем в лице Гандельсмана имела дело, и он сошел с политической сцены.

Перед началом империалистической войны ко мне во Львове явился брат Гандельсмана, врач Бронислав Гандельсман, с просьбой опубликовать письмо о том, что Гандельсман не был злостным предателем и что поступок его вызван легкомыслием.

Воскрешая теперь, после стольких лет, в памяти все сделанное им, я и теперь не могу усмотреть в этом только легкомыслие, а смерть честного, правдивого, идейного Савицкого только еще более усугубляет его преступление. Брат указывал на то, что он мучается... Пусть мучается...

IV. ИНКВИЗИТОРЫ

Известие о моей серьезной болезни, повидимому через врача, проникло и на волю. Переходя из уст в уста, оно искажалось, и по городу распространился слух о моей смерти, дошедший до моей матери, которая, кстати сказать, вовсе не была арестована. За границей в познанских польских газетах появились мои некрологи.

Моя мать, встревоженная этими слухами, добивалась свидания со мной, но в этом ей отказывали. Тогда она обратилась к варшавскому генерал-губернатору Гурко уже не с просьбой, а с требованием, ссылаясь на то, что она в праве знать, жив ли ее сын или умер.

— Я уверяю вас, что он жив.

— Не верю: если бы он был жив, вы бы его мне показали.

Гурко опешил.

— Ладно, приходите завтра в десятый павильон... Вы его увидите...

И действительно мать «увидала» меня.

Само собой разумеется, что я понятия не имел о распространившихся по городу слухах и о всех хлопотах матери.

На следующий день меня вызвали в канцелярию. Я уже выздоравливал и ходил даже на прогулку. Ничего не подозревая, я пришел в канцелярию. Оттуда меня повели в комнату с двумя решетками и с деревянными внутренними дверками, отделяющими решетки от остальной комнаты. Меня и сопровождавших меня двух жандармов поместили за второй решеткой и затем закрыли деревянную дверь.

Я недоумевал, что все это может значить.

«Должно быть, будут показывать шпикам», — мелькнуло соображение.

Этот прием практиковался. Когда арестовали Варынского, его в ратуше показывали всем шпикам и дворникам, чтобы установить, где он жил и где бывал.

Недолго меня продержали жандармы в неизвестности; вскоре за деревянной дверью раздался шум шагов, деревянная дверь внезапно распахнулась, и я увидел свою мать, окруженную целой сворой всевозможного начальства...

— Вот ваш сын, жив и здоров, — прошипел Янкулио.

Дверь захлопнулась, свидание кончилось. Минуту спустя меня увели обратно в камеру.

Долго я недоумевал, что сей сон значит. И только после того как мне было разрешено получение посылок из дома, мне об этом сообщили в письме, написанном химическими чернилами.

Впоследствии я имел уже регулярно один раз в неделю свидания, правда, через две решетки, но уже без таких фокусов, как первое.

Этих свиданий я добился не скоро. Янкулио и Белановский, сменивший Секеринского, еще долго не давали мне покоя. Два допроса были более оригинальны, и о них следует упомянуть.

Первый допрос происходил в канцелярии десятого павильона. Здесь был собран весь генералитет: известный своей жестокостью начальник варшавского жандармского округа генерал Брок, прокурор Варшавской судебной палаты Бутовский, какой-то важный чин из Петербурга, Янкулио, Белановский, еще несколько человек штатских и жандармских персон. Меня пригласили сесть за общий большой стол. Допрашивал Бутовский. Он сразу оговорился, что им важно установить лишь одно, что побуждает университетскую молодежь и, в частности, меня примыкать к революционному движению.

— Вы человек зажиточный, способный, перед вами вся жизнь, и хорошая жизнь, была впереди... Что же вас побудило всем этим пожертвовать?..

Все это было сказано грустным, задушевным, вкрадчивым голосом.

Мне эти вопросы до смерти надоели, а сладенький голос Бутовского меня все больше и больше раздражал.

— Что меня побудило? — повторил я и затем с соответствующим жестом выпалил: — Окружающая мерзость.

Сидевший рядом со мной Янкулио с шумом отодвинулся со стулом от стола и этим как бы резче подчеркнул, о какой окружающей меня «мерзости» я говорил.

Начальство рассвирепело, и в результате я попал в карцер...

Другой допрос тоже кончился для меня карцером. Он происходил в моей камере. В момент прихода следователей я вел через тоннель разговор с Варпеховским.

Я сидел в первом этаже, он — во втором, не надо мной, а над соседней с моей камерой. Тоннель был весьма искусно пробуравлен наискось в мою камеру у самого потолка над печкой,

Когда ключ щелкнул, я сильно ударил кулаком в стену, что обыкновенно служило у нас сигнальным знаком тревоги.

В этот раз жандармы пожелали выведать хоть что-нибудь об Александре Дембском. У меня были точные сведения, что он убежал и находится «за пределами их досягаемости». Поэтому я в ответ только подтрунивал над ними...

— Чего вы пристаете? Добро бы он был еще у вас, а то человек убежал, а вы пристаете...

— Нет, он у нас...

— Рассказывайте.

В доказательство они показали мне две карточки Дембского, которые я видел еще на воле. Одна была копией с группы, на которой Дембский был снят в полулежачем положении, боком...

— Что же он так развалился? — заметил я, ехидно улыбаясь.

— Он не хотел сниматься и его насильно снимали...

— Вот как... Кто же его заставлял на воле насильно сняться? Я ведь эту карточку видел на воле...

Это не смутило ретивых следователей. Они настаивали на том, что Дембский арестован.

— Да что вы мне рассказываете, — не сдержался я. — Если бы он был арестован, у меня давно были бы от него записки...

— Это раньше так было, при Александровиче, — самоуверенно заявил Янкулио, — но с тех пор, как заведует павильоном поручик Фурса, этого нет.

— Блажен, кто верует.

Допрос еще некоторое время продолжался. Убедившись, что никакого толку из этого не выйдет, Янкулио велел старшему жандарму принести перо, чернила и бумагу для составления протокола.

Дверь открылась и вновь с шумом захлопнулась.

Слушавший все время в тоннель Варпеховский решил, что следователи ушли... И вдруг, неожиданно для всех, в камере раздался его голос:

— Феликс! Эти обезьяны уже ушли?

Я невольно громко расхохотался, а Янкулио, Белановский и Фурса вскочили, как ошпаренные, с мест с криками:

— Где тоннель?

— Ищите.

Голос раздался сверху, и все начальство ринулось наверх в камеру надо мной.

В этой камере сидело двое рабочих, стариков, арестованных в Згерже в связи с делом об убийстве провокатора Гельшера, а затем сосланных по нашему процессу на каторгу на Сахалин. Это были Дегурский и Блюх. Они ни с кем не переписывались — один из них был неграмотный — и не перестукивались. Жандармы перерыли у них все вверх дном, требовали указания тоннеля,

но они, бедняги, даже не подозревали возможности существования тоннелей. Тогда вся жандармская орава вновь вернулась в мою камеру...

— Укажите, где тоннель?

— Ищите! Я вам не обязан указывать.

— Вы поплатитесь за это. Ведь вы же слышали?

— А вы не слышали?

Жандармы все-таки не нашли тоннеля, а всю свою злобу выместили на мне: я был посажен в карцер на трое суток на хлеб и воду.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«ПРОЛЕТАРИАТЦЫ»

I. ЛЮДОВИК ВАРЫНСКИЙ

Десятый павильон Варшавской цитадели в 1883—1885 годах приютил в своих стенах лучшие в то время силы польского революционного движения, лучших представителей весьма разнообразных течений и направлений внутри единой партии «Пролетариат», а сверх того — представителей рабочей партии «Солидарность» и несколько ксендзов, арестованных за деятельное участие в униатском движении.

Самым выдающимся среди «пролетариатцев» был Людовик Варынский. Он сыграл огромнейшую роль в движении и не перестает быть даже теперь, с лишком тридцать лет после его смерти в казематах Шлиссельбурга, источником для изучения корней люксембургианства.

Роль и значение Людовика Варынского в рабочем движении в Польше могут быть осознаны лишь после ознакомления с движением, предшествующим его выступлению на политическую арену.

В Польше так же, как и в России, до того, как она вошла в фазу капитализма, социалистическое движение носило утопический характер. Прогремевшее на весь мир восклицание Адама Мицкевича, брошенное папе на аудиенции в 1848 году: «Знай, что дух божий ныне обитает в блузах парижских рабочих», так же как лозунг утопического социалиста ксендза Петра Сцегенного: «Шляхта — это плевелы, крестьяне — это зерно»—были выражением индивидуального настроения отдельных личностей, оторванных от массы и до того не отдававших себе отчета как в соотношении сил, так и в социальных стремлениях отдельных слоев общества, что Сцегенный во главе свободных крестьянских общин думал поставить... ксендзов в качестве опекунов и правителей. Мицкевич, Сцегенный и многие другие, в частности Ворцель и Лелевель, фактически додумались до всевозможных

социалистических мистических утопий, ища средств «спасения отчизны», и от патриотизма переходили к этому своеобразному социализму. Восстание 1861—1863 годов и наделение польских крестьян землею русским царизмом, парализовавшее на продолжительное время всякие утопические мечты о вовлечении крестьянских масс в какое бы то ни было движение, возглавляемое выходцами из шляхетской среды, толкнуло польскую эмиграцию 60-х годов на другие пути. В 1866 году в Женеве появляется первый социалистический орган «Gmina» («Община»), один из участников которого, Валериан Мрочковский, личный друг Бакунина, следующим образом формулирует на съезде «Лиги мира и свободы» в 1868 году в Берне задачи польской социалистической партии:

«Я выступаю перед вами, граждане, от имени новой партии, от имени польской социал-демократии, со знаменем народной Польши, со знаменем социальной революции, гласящим, что вся земля должна принадлежать тем, кто ее собственными руками обрабатывает, а орудия труда — рабочим ассоциациям. Мы не требуем восстановления прежнего государства, не требуем исторических прав Польши, мы стремимся основать свое национальное право, право на самостоятельность и право свободного распоряжения своей судьбой на принципе справедливости и свободы. Не ставя вопроса о границах будущей народной Польши и уважая права всякой национальности, независимо от того, входила ли она или не входила в состав прежней Речи Посполитой, мы заявляем, что будем вести неумолимую борьбу против всех врагов нашей отчизны».

На это сочетание весьма туманного социализма с весьма определенным национализмом мы обращаем особое внимание читателей, так как именно с этими заявлениями и приходилось бороться Варынскому, так как именно в этой области ему удалось достигнуть огромных результатов.

Я не останавливаюсь на дальнейшей эволюции взглядов тогдашней польской демократической эмиграции, так как эта эволюция была прервана величайшим событием того времени — Парижской коммуной.

Все, что было лучшего в эмиграции, приняло участие в Коммуне: Ярослав Домбровский, Валерий Врублевский, Околович, известный поэт Карл Свидзинский, Чарновский, Барановский, Теофил Домбровский, Бабинский и др. Многие из них пали в борьбе, многие расстреляны (Каменецкий, Верницкий, Микульский и др.), многие сосланы на каторгу, в том числе Казданский, обвиненный в убийстве генералов Леконта и Тома.

Парижская коммуна и участие в ней искренних демократов с оттенком утопического социализма не могли не отразиться на идеологии предвозвестников социализма в Польше, хотя, само собой разумеется, не могли сразу способствовать исчезновению националистического элемента. Возникшее в 1872 году «Поль-



Карийская каторга. Снято в 1888 г. на Каре. На крылечке одиночек. 1. Маиэр, 2. Дейч, 3. Ф. Кон, 4. Нагорный, 5. Рехневский, 6. Преображенский, 7. Якубович, 8. Маньковский.

ское социал-демократическое сообщество» в своей программе признавало труд «единственным регулятором роста и распределения благ, капитал — исключительной собственностью производителей и землю — общим источником благосостояния сообщества и общин, обрабатывающих эту землю». «Воля народа, — гласит программа, — выраженная в том, что каждая община должна считаться с голосом каждого ее члена, а голос каждой общины должен быть уважаем более широкой организацией, и является единственным фактором, решающим судьбу этих отдельных коллективов в вопросах их международного сожительства с соседями».

Эта вычурная и туманная формулировка бакунинских идей в польском преломлении вполне уживалась с патриотическими тенденциями. «Первой, — гласила программа, — и неукоснительной обязанностью является свержение и уничтожение чужеземной опеки над землями, силой захваченными Россией, Австрией и Пруссией. Эта цель может быть достигнута лишь путем социальной революции». Окончательной целью своей деятельности «Сообщество» ставило преобразование условий в странах, входивших в состав Речи Посполитой — в Польше, Литве и Украине, и введение таких, которые не оскорбляли бы ни разума, ни совести, ни справедливости.

В этом «Сообществе» принимал участие и Бакунин, вскоре разорвавший с ним связь по вопросу о государственности, которая в понимании членов «Сообщества» простиралась до границ 1772 года. Само это «Сообщество» существовало весьма недолго. Его окончательной гибели способствовал Адольф Стемпковский, шпион, проникший в организацию, прославившийся впоследствии тем, что предал Нечаева в руки швейцарской полиции.

После подавления Парижской коммуны уцелевшие от разгрома эмигранты-поляки не свернули социалистического знамени. В частности, самый выдающийся среди них, генерал Коммуны Валерий Врублевский, бежавший в Лондон, сблизился здесь с Марксом и Энгельсом, вошел в состав Главного совета Первого интернационала в качестве представителя Польши и основал в 1872 году новую социалистическую партию: «Люд польский», так же, как и прежние партии, усматривавшую в социализме не ц е л ь, а с р е д с т в о. Во время празднования в 1876 году годовщины восстания 1831 года Врублевский в речи подчеркнул, что «в настоящее время только социал-демократическое знамя может быть знаменем нашей дорогой отчизны». Более четким выразителем «патриотизма в социализме» был Болеслав Лимановский, лассалианец, с которым, как увидим, также приходилось Варынскому вести в течение многих лет упорную борьбу.

Все эти идейные течения, о которых мы говорили до сих пор, имели лишь постольку значение для рабочего движения в Польше, поскольку будущие инициаторы и руководители движе-

ния могли, подчинившись их влиянию, перенести их в рабочие массы. Эти рабочие массы в то время переживали только первоначальный период капитализма в Польше и, с одной стороны, под влиянием реакции, наступившей после подавления восстания 1863 года, с другой—продолжая находиться под влиянием националистических и религиозных течений, еще не созрели для революционной классовой борьбы. Этим парализовалась опасность занесения «социал-патриотизма» в ряды польского пролетариата, не говоря о затруднениях полицейского характера, устранявших в то время почти всякую возможность общения между эмиграцией на Западе и рабочим классом в Польше.

В этом отношении в несравненно лучшем положении находилась «эмиграция» на Востоке — польская молодежь, учащаяся в русских учебных заведениях. Эта молодежь в своем большинстве именно в России попадала в среду тех «патриотов» для домашнего обихода, но на деле чистокровнейших карьеристов, о которых я уже говорил в первой главе своих «Воспоминаний», которая ее, по тогдашнему питерскому выражению, «объезжала» — обрабатывала по своему «образу и подобию». Но и среди этой молодежи не могли не найтись революционные «уроды», без которых и семья не обходится, а что уж говорить о группах молодежи, сталкивавшейся на каждом шагу с революционно настроенной русской молодежью. Неудивительно, что в силу этого, начиная с 1874 года, в русских университетских городах появляются кружки польской революционной молодежи, принимающие участие сначала в русском революционном движении, а затем вынужденные проводить такую же революционную работу и в Польше. У этой молодежи, само собой разумеется, не могла не рассеяться ненависть к «москалю». Одним из самых выдающихся среди этой молодежи был Людовик Варынский.

Исключенный в 1875 году вместе с Александром Михайловым из Технологического института в Петербурге за участие в студенческих беспорядках и высланный на год на родину, на Украину, он по истечении срока высылки переехал в Варшаву.

В это время в Варшаве среди более революционно настроенной молодежи превалировало патриотическое направление, возглавлявшееся Адамом Шиманским, приобревшим впоследствии громкую известность своими очерками из жизни повстанцев в Сибири. Варынскому как идеологу социальной революции, противопоставляемой им национальным восстаниям, пришлось столкнуться с Шиманским. Победа осталась за Варынским, чему способствовало то, что действительный патриотизм в то время не находил уже отклика в массах, а Шиманский, Поплавский и другие участники этой группы еще не додумались до лозунга Пилсудского: «Пролетариат для независимости, а не независимость для пролетариата».

Варынский, державший с первого же момента своего появления в Польше курс на рабочий класс, поступает в качестве

слесаря на фабрику «Лильпоп и Рау» в Варшаве и здесь впервые входит в контакт с рабочими, знакомится с их жизнью и впервые же испытывает свои силы в качестве пропагандиста. Эту работу ему пришлось прервать на полуслове. Он подлежал воинской повинности. Для того чтобы избегнуть солдатчины, Варынский бросает фабрику и поступает в Пулавский (Ново-Александрийский) земледельческий институт. Но работа только среди молодежи его не удовлетворяет, он бросает институт, переходит на нелегальное положение, поселяется в Варшаве под фальшивым паспортом «слесаря Яна Буха» и принимается за работу.

Отдавая себе ясный отчет в том, что рабочие массы вначале могут быть вовлечены в движение только на почве их текущих повседневных интересов, Варынский, знакомый с западно-европейским рабочим движением, пытается положить в Польше начало обсуждавшимся тогда на съездах Интернационала «кассам сопротивления» («caisses de résistance», Widerstandkassen), предтечам профессиональных союзов. В эти основываемые Варынским кассы сопротивления входило не свыше пятнадцати человек рабочих, плативших копеечные взносы в забастовочный фонд для борьбы с капиталом. Каждая такая касса избирала «представителя». Эти «представители» на заседаниях обсуждали дела.

Идея Варынского нашла живой отклик среди более развитых рабочих. В сравнительно короткий промежуток времени число членов этих касс достигло трехсот. Это по тому времени, несомненно, большое число не могло, конечно, по своей мизерности играть какой бы то ни было роли в борьбе труда с капиталом, вследствие чего фактически кассы сопротивления превратились в кружки пропаганды. В этих кружках проводилась дискуссия по вопросу об организационном строительстве, в частности по вопросу о централистической или федералистической организационной системе, но она была прервана в августе 1878 года жандармами, нагрянувшими на этот раз безуспешно на квартиру Буха-Варынского, где должно было происходить собрание рабочих. Варынский и его квартиранты Людовик Кобылянский и Ян Томашевский скрылись.

Уцелевший от ареста и остававшийся еще полтора месяца в Варшаве Варынский, по настоянию товарищей, переезжает во Львов.

Здесь он застает кружок социалистов, в состав которого входили наборщик Антон Маньковский, известный поэт Болеслав Червинский (автор «Красного знамени» — известной революционной песни, переведенной на русский язык) и Иосиф Данилюк — украинец, наборщик, редактор еженедельника «Труд» (« Praca »)—профессионального органа наборщиков. Варынский принимает участие в этом издании, изменяет его характер и направление, преобразовывает его в орган, «посвященный интересам трудящихся классов», пытается «революционизировать»

львовских социалистов, грешивших чрезмерной осторожностью и в своей деятельности считавшихся на каждом шагу с «законом», «конституцией» и т. д.; но слишком деятельный для львовских условий, он обращает на себя внимание полиции и во избежание ареста переезжает в Краков.

Здесь он является первым сеятелем социализма на еще совершенно не тронутой девственной ниве и для своей излюбленной идеи «международной социальной революции» он и здесь находит горячих борцов, но так же, как и во Львове, ему приходится недолго работать. В феврале 1879 года он попадает в руки «конституционной» польско-австрийско-патриотической полиции. Следствие продолжается целый год, но Варынский и в тюрьме не остается бездеятельным. Он издает здесь рукописный журнал «Скрежет узника».

В феврале 1880 года начался суд над Варынским и тридцатью четырьмя сообвиняемыми, продолжавшийся два месяца и сильно способствовавший популяризации социализма не только среди галицийских, но и вообще среди польских рабочих. Во время судебного следствия и в речи на суде Варынский, сразу и здесь выдвинувшийся в качестве лидера, формулирует свои тогдашние взгляды, не лишенные бакунистского налета:

«Наша программа намечает целью экономическое освобождение трудящихся масс, оставляя в стороне политические вопросы, которые будут решены уже после решения экономической проблемы». «Что касается политического строя будущего общества, то этого столь отдаленного вопроса предрешать нельзя, но я полагаю, что это будет союз свободных общин». Относительно грядущего социального переворота Варынский высказывает мнение, что он не может быть произведен в каком-нибудь одном государстве. Политический переворот, по его словам, может при известных условиях быть произведен и в одном государстве, но экономический (!), к которому мы стремимся, немыслим в одном государстве уже хотя бы потому, что соседние государства этому воспрепятствуют. Такой переворот может быть только всеобщий.

Оправданный судом присяжных, но изгнанный из пределов Австро-Венгрии, Варынский переселяется в Женеву и здесь на столбцах «Равенства» («Ṕównosc»), вместе с Казимиром Длусским (ныне социал-патриотом), Станиславом Мендельсоном (после многих лет революционной деятельности изменившим социалистическому знамени и кончившим жизнь на посту редактора еврейской националистической газеты на польском языке) и другими, ведет ожесточенную борьбу с социал-патриотизмом, уже тогда, под руководством живущего еще поныне Болеслава Лимановского, разъедавшим ряды социалистов.

Здесь не место воспроизводить все перипетии этой борьбы. Я остановлюсь лишь на одном моменте, вызвавшем в то время необыкновенное возбуждение.

В Польше было весьма распространено празднование всевозможных исторических годовщин: «конституции 3 мая», всех восстаний и т. п. Пепеэсовцы доселе оскверняют память «Пролетариата» своим празднованием годовщины казни «пролетариатцев».

Само собой разумеется, что пятидесятилетие восстания 1830—1831 года праздновалось, в особенности эмигрантскими кружками за границей, с особым торжеством.

Этот именно момент был избран Варынским и его единомышленниками для того, чтобы противопоставить социализм патриотизму, интернационализм — шовинизму.

Было организовано торжество в Женеве, на которое были приглашены социалисты всех национальностей и государств. «Долой патриотизм и реакцию!», «Да здравствует Интернационал и социальная революция!» — вот лейтмотив всего торжества, всех речей, произнесенных польскими социалистами на этом торжестве.

На приглашение польских товарищей откликнулось до пятисот иностранных социалистических деятелей. Маркс, Энгельс, Лафарг и Лесснер прислали письмо с приветствием, в котором, между прочим, было сказано:

«Ныне, когда пролетарская борьба ведется и самим польским народом, пусть эта борьба поддерживается пропагандой и революционной прессой, пусть она объединится с усилиями наших русских братьев. Это будет еще одним поводом для того, чтобы повторились прежние возгласы: «Да здравствует Польша!»

Варынский, как и другие интернационалисты, не понимал того, что «национальный вопрос», как это формулировал товарищ Сталин, — есть часть общего вопроса о диктатуре пролетариата, как в более позднее время не понимала этого Роза Люксембург и ее последователи. Приветствие Маркса его встревожило.

Прекрасно изучивший патриотическую и социал-патриотическую среду и ее приемы, опасаясь, что противники интернационального течения пройдут мимо содержания приветствия Маркса и ухватятся только за приведенный им *прежний* лозунг, Варынский в речи своей обратил специальное внимание на этот лозунг и отверг его целиком. В Польше возглас «Vive la Pologne!» сочетается с возгласом «Pereat Môsqua!» Собравшиеся же на торжество находят, что лозунг «Да здравствует Польша!» растворился и исчез в горниле классовой борьбы, они не признают и лозунга ненависти по отношению к России.

В отчете о праздновании этот момент, долго тяготевший над революционным движением в Польше, оттенен еще более четко.

«Не независимость Польши, — гласит отчет, — нужна народу, а *орудия труда*, и он получит их не от московского, прусского, австрийского или польского правительства, а завоюет их, защищая свои интересы». Если бы польскому рабочему

народу ныне бросить лозунг: «Да здравствует Польша!» хотя бы и «демократическая» и даже «социальная» (социалистическая), — то содержание и значение этого лозунга будет понятно разве только горсточке рабочего люда, масса же увидит в этом лозунге лишь новый призыв к восстанию. Движение углубляется и принимает широкие размеры. И тогда наши привилегированные классы, у которых начнет колебаться почва под ногами, постараются захватить движение в свои руки. «Ведь и они — поляки, и им польская отчизна дорога...» И из нашего лозунга сначала исчезнет слово «социалистическая», а затем и «демократическая». И все это во имя «общего блага», во имя «общего отечества».

Для характеристики взглядов Варынского и его тогдашних единомышленников необходимо обратить внимание и на характерное противопоставление требований «независимости Польши» и «орудий труда». В этом противопоставлении сквозит не только отрицательное отношение к борьбе за освобождение от чужеземного ига, но и вообще к политике. Это и отвечало действительности, и сближало этот лагерь польских социалистов с «Черным переделом», с Плехановым, Аксельродом, Дейчем, Верой Засулич и Стефановичем. В журнале «Равенство»[1] мы находим следующий отрывок: «В наших отчетах о социалистическом движении в России мы говорили до сих пор почти исключительно о деятельности партии «Народная Воля». А между тем нельзя себе составить полной картины движения, если оставить в стороне деятельность другой партии («Черного передела»), которая остается на почве социализма и считает главнейшей целью своей деятельности овладение землей и орудиями производства».

Эта характеристика совпала с моментом расцвета деятельности «Народной Воли», геройская борьба которой не могла не поколебать миросозерцания польских социалистов. Мендельсон и Длусский весьма скоро переменили фронт; Варынский, по свидетельству Мендельсона, дольше других не мирился с «политикой».

Объясняется это в значительной мере тем, что в то время Варынский, так же, как и знаменитый автор брошюры: «Кто чем живет», Дикштейн-Млот, еще окончательно не отрешились от анархизма, на что указывает отправленное ими приветственное письмо съезду анархистов в Лондоне 14 июля 1881 года.

Но и это письмо, и это отгораживание социалистической партии от участия в политике были уже последними отголосками прошлого, если не считать антимарксистского отношения к национальному вопросу, которое не было изжито Варынским.

Чуть ли не месяц спустя, когда группа Лимановского сплотила воедино все оттенки социал-патриотизма и ею было издано

---

[1] Двойной номер 6—7 за март и апрель 1880 г.

программное воззвание социалистического общества «Люд польский», Варынский упрекает «Люд польский», что он «ставит в одной плоскости национально-политическое и экономически-социальное освобождение». Первое было бы допустимо только как ближайшая цель, как программа-минимум. Но даже и в этом понимании ложна вся постановка вопроса: «Формулируемая социалистами программа-минимум, исходя из повседневной борьбы с капиталом, ставит себе целью не национальное возрождение, а расширение политических прав пролетариата, создающих почву для массовых (разрядка моя) организаций для борьбы с буржуазией как политическим и социальным классом. А если условия и у нас заставят социалистов выдвинуть какую-нибудь ближайшую цель, как, например, в Галиции, то основным принципом, которым следует руководствоваться, является: обособленность классовых интересов пролетариата, ежедневная борьба с капиталом, организация во имя интересов пролетариата».

Эти же мысли развивает Варынский на международном конгрессе в Хуре (в Швейцарии) 2 октября 1881 года, но в речи его на этом съезде уже чувствуется отражение влияния «Народной Воли»:

«Если в Польше существует исключительный политический гнет, то его влияние может сказаться исключительно на характере борьбы, вызывая террористическую деятельность в борьбе с деспотическим правительством. Однако польский пролетариат, вступив на путь социализма, имеет перед собою другую цель: подготовиться не к национальному восстанию, а к социальному перевороту путем пропаганды, агитации и организации сил в области как политической, так и экономической».

Усилия Лимановского отстоять свою позицию не увенчались успехом на конгрессе. Принятая тогда резолюция гласила:

«Принимая во внимание, что борьба за освобождение является классовой, а не национальной борьбой, конгресс переходит к очередным делам по вопросам, возбужденным польскими делегатами».

Еще меньшим успехом мог похвастаться «Люд польский» в самой Польше. В то время как интернационалисты, резко выдвигая классовые антагонизмы, пустили глубокие корни в рабочие массы, социал-патриоты, сглаживая углы классовой борьбы, могли найти сочувствие только среди горсточки интеллигенции. Всему этому периоду подвела окончательный итог партия «Пролетариат», во главе которой как ее идеолог, вождь, организатор и трибун является все тот же Людовик Варынский.

Переживший все первоначальные фазы рабочего движения в Польше и поддерживавший вместе с тем контакт с международным движением на Западе и с народовольческим и чернопередельческим движением в России, Варынский приехал в Польшу в декабре 1881 года с готовым уже решением создать строго

централизованную организацию, способную воздействовать на массы и вести борьбу в интересах рабочего класса.

С его появлением в Варшаве курс на массы проявляется на каждом шагу. Варынский немедленно после приезда разыскивает уже ранее привлекавшихся по делу о социалистической пропаганде рабочего-мыловара Генрика Дулембу, кандидата прав Казимира Пухевича и других выдающихся рабочих и интеллигентов, устанавливает через них связь с фабриками, получает ежедневно известия о малейших столкновениях рабочих с фабрикантами и стремится все эти столкновения направить в определенное русло.

В первой главе своих «Воспоминаний» я уже говорил о столкновении на Варшавско-Венской железной дороге в апреле 1882 года. Сгруппировавшимся тогда вокруг Варынского кружком было издано воззвание, из которого мы приводим лишь самые характерные места:

«Наше коллективное выступление имело целью устранить самые яркие злоупотребления дирекции железной дороги. Мы требовали изменения устава кассы, более справедливого страхования, восстановления прежнего уровня заработной платы, удаления служащих, вызывавших озлобление своим грубым и бесчестным обращением с нами, принятия вновь на работу уволенных товарищей».

В момент конфликта и управление железной дороги, и власти обещали удовлетворить все эти требования, но после того, как рабочие вернулись на работу, эти обещания не были выполнены.

Указав на необходимость длительной и упорной борьбы, авторы воззвания, выражаясь современной терминологией, призывают к использованию «легальных возможностей», к участию в выборах в кассы страхования, указывают, кого следует выбирать в эти кассы, останавливаются на вопросе о шпионах, пробирающихся в рабочую среду и заблаговременно сообщающих врагу о всех намечаемых рабочим классом мерах борьбы.

«Со шпионами и со всеми теми, которые действуют нам во вред, надо управиться потихоньку, без свидетелей, устраиваясь так, чтобы не было никаких улик, и тогда не мы их будем опасаться, а они нас».

Авторы воззвания ограничиваются этим указанием, не возводя пока в принцип террора ради самообороны. Это был лишь ответ на требования данной группы рабочих.

Эту группу гораздо более смущало отношение к инциденту польской прессы, всегда оппозиционной, между строк жаловавшейся на тиски цензуры, насквозь проникнутой любовью к отчизне и выдававшей себя за защитницу интересов «всего народа», без различия сословия и классов.

«Мы видели, — отвечает воззвание на недоумение рабочих, — как подло обрушились на нас наши газеты за то, что мы не

давали себя грабить и унижать. Повидимому, совесть этих господ, подобно телу проститутки, принадлежит тому, кто за нее заплатит. Мы и не желаем, и не можем ее купить. Ответим же им тем презрением, какого они достойны».

Посредником в конфликте между польским капиталом и польским трудом явились русские жандармы, пытавшиеся было разыграть роль стража справедливости и блюстителя интересов угнетенных.

Воззвание предостерегает рабочих и от этой опасности.

Лицемерная роль жандармов не могла нас ввести в обман. «Мы знаем, сколько людей из нашей среды они угнетали в тюрьмах и тундрах Сибири только за то, что они так же, как и мы в настоящее время, призывали трудящихся на борьбу с эксплоататорами. Кнут — это их отличительная черта, это цель их существования».

Здесь мы уже видим наряду с воздействием на массы в текущей жизни и попытку использовать все «легальные возможности» в виде выборов во все доступные для рабочих учреждения и — в отличие от «Народной Воли» — проведение грани между рабочим классом и буржуазией.

С классовой почвы «Пролетариат» никогда не сходил, и это именно вызывало перегибы в борьбе с патриотизмом, выступавшим под лозунгом «национального единства», возглавляемого господствующими классами.

В программном воззвании «Пролетариата», составленном Варынским при участии Пухевича, изданном сначала в Варшаве в виде гектографированного листка, а затем в сентябре 1882 года перепечатанном за границей, мы находим следующие характерные места:

«Наше (польское) общество носит на себе характерный отпечаток буржуазно-капиталистического строя, но отсутствие политической свободы придает ему изможденный и болезненный вид».

«Национально-политическая зависимость нашей страны от завоевателей наряду с экономическими и общего характера политическими условиями способствовала тому, что в рабочем классе Польши, вовлекаемом в национальные движения с целью свержения чужеземного ига, путем обмана лозунгом «национального движения» убивалось классовое самосознание».

Ослепленные национально-религиозной ненавистью, рабочие шли под знаменем привилегированных классов, совершенно упуская из виду свои собственные классовые интересы.

В то же самое время крестьянство, наделенное землей, по политическим соображениям, в целях ослабления шляхты щедрее, чем русское крестьянство, позволило обмануть себя правительству, которое лицемерно выступило в качестве защитника его классовых интересов. «Освобождение от влияния привилегированных классов, правительства и национальных традиций» —

вот первейшие задачи, намеченные этим программным воззванием.

Для характеристики совершившихся перемен во взглядах Варынского приводим еще один отрывок, свидетельствующий о том, что прежний анархический налет совершенно рассеялся. Программа гласит: «Земля и орудия производства должны быть изъяты из частных рук и перейти в общую собственность трудящихся, в собственность социалистического государства».

Не останавливаясь на дальнейшем развитии миросозерцания Варынского и на значении его как идейного руководителя партии «Пролетариат», я позволю себе интересующимся этим вопросом рекомендовать весьма ценную в этом отношении работу покойной Розы Люксембург: «Памяти «Пролетариата» и перехожу к обрисовке других характерных черт Варынского.

Прекрасный организатор, быстро ориентирующийся и каким-то чутьем улавливающий и массы, и отдельных лиц, чутьем же узнающий людей и умеющий подобрать для каждого дела соответствующих работников, Варынский за все время своей деятельности не упустил ни одного момента, которым можно было воспользоваться для воздействия на более широкие массы рабочих. Я уже говорил о роли «Пролетариата» и, в частности, о роли Варынского в тот момент, когда власти в Варшаве издали распоряжение о санитарном осмотре всех женщин, работающих на фабриках. В тот момент Варынский предстал перед нами в совершенно другой роли — в роли вдохновенного вождя, за которым мы, рядовые революции, готовы были ринуться в бой, не считаясь ни с чем, даже не думая о том, следует или не следует поступать так в тот момент. Варынский в такие моменты, не отдавая себе отчета в этом, становился диктатором.

Александр Дембский, после ареста Варынского один из лидеров партии, сказал мне после одного из таких выступлений Варынского: «Если бы он позвал итти сейчас же вместе с ним на баррикады, я бы не колеблясь пошел».

И это отношение к Варынскому замечалось не только в людях, находившихся в непосредственном общении с ним. Мне приходилось видеть Варынского на собраниях молодежи и рабочих, в первый раз видевших и слышавших его... Он с первых же слов приковывал к себе внимание всех и после десяти — пятнадцати минут уже настолько овладевал вниманием слушателей, что мог делать с ними буквально что угодно. Впоследствии, в десятом павильоне Варшавской цитадели, мне пришлось наблюдать отношение к нему прокуратуры, жандармских офицеров, простых жандармов... И они все склоняли головы перед ним. То же повторилось и на суде. И председатель суда генерал-лейтенант Фридрикс, и член суда — кровожадный Стрельников, родной брат убитого русскими революционерами Стрельникова, и военные прокуроры, и даже палач Польши генерал-губернатор Гурко

относились к Варынскому весьма почтительно, не позволяя себе по отношению к нему ни резкого слова, ни замечания. Это в особенности бросалось в глаза во время речи Варынского на суде. Все, не исключая Гурко, словно замерли на месте. Варынский говорил более полутора часов:

«Мы не стоим над историей, а подчинены ее законам. На переворот, к которому мы стремимся, мы смотрели, как на результат исторического развития и общественных условий. Мы предвидим этот переворот и делаем все, чтобы он не застал нас неподготовленными».

Теперь это старо, шаблонно, хотя еще многими не осознано.

В то время — в декабре 1885 года, когда еще происходили горячие споры «о роли личности в истории», о «героях и толпе», к этим словам внимательно прислушивались все три присутствовавшие на суде элемента: и подсудимые, и представители польского общества в лице адвокатуры, и присутствовавшие при его речи высшие представители русских властей в Польше с Гурко во главе.

О подсудимых говорить не приходится. Для нас Варынский в то время был обожаемым вождем. Адвокатура на момент как бы забыла о том, что нас отделяет от нее не только решетка, но и глубокая пропасть классового антагонизма; она бросилась к нему, жала ему руки, чуть не выражала солидарность.

А власти учли его мощь и силу и сделали соответственный вывод. Отправка его в Шлиссельбург на верную смерть — у него было начало туберкулеза — была решена.

Варынский знал о грозившей ему участи. Но это его не смущало. «Лишь бы давали курить», — шутил он, когда кто-нибудь затрагивал этот вопрос.

Казнь Куницкого, Бардовского, Оссовского и Петрусинского — казнь, совершонная через сорок два дня после вынесения судом приговора, подействовала на всех нас, как удар грома. В Варынском в первый же момент она вызвала возбуждение борца. Когда мы собрались и составили получившее широкую огласку второе письмо осужденных к товарищам на волю (первое было написано немедленно по окончании суда), Варынский повторил свое знаменитое когда-то, еще на воле произнесенное:

— Желают борьбы? Будут ее иметь!

Он уже тогда предсказал, что воздвигнутые царизмом четыре виселицы станут знаменем для пролетариата Польши.

Неделю спустя нас всех перевели из десятого павильона в уголовную тюрьму Павиак.

Здесь нас заковали, обрили нам полголовы...

Варынский, побрякивая кандалами, запел написанную им еще в десятом павильоне «мазурку кандальщиков», другие подхватили... И понеслась вдаль, как предсказание будущего, песня, которую, придет время, как гласило ее содержание,—должна запеть

«половина Польши», бросая «вместо венков... головы палачей на могилы погибших».

Прошла еще неделя — и Варынского и Яновича увезли в Шлиссельбург. Там он после нескольких лет мук и страданий погиб; там же, где-то на берегу Ладоги, похоронен под грудой щебня.

Царизм пытался спастись Шлиссельбургом от Варынского. Не спасся. И память о Варынском и его идеи живы в пролетариате Польши.

Роль Варынского в польском социалистическом движении настолько велика, что данную мною характеристику я считаю необходимым пополнить статьей шлиссельбуржца же, осужденного по делу «Пролетариата», Людовика Яновича, напечатанной в 1898 году в «Przedswit'e» — органе ППС. При этом необходимо оговориться, что Янович, по освобождении из Шлиссельбурга, благодаря оторванности от жизни в течение двенадцати лет весьма плохо ориентировался в событиях, а редакция могла внести в его статью и «редакционные» исправления.

Статья, не подписанная Яновичем, носит заглавие:

Л. КОБЫЛЯНСКИЙ и Л. ВАРЫНСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦА

«В 1884 году, по инициативе министра юстиции (внутренних дел?) гр. Толстого, была устроена в Шлиссельбургской крепости тюрьма для приговоренных по политическим делам к тягчайшим наказаниям, главным образом для лиц, осужденных за участие в покушении на царя. Тюрьма была предназначена для терроризирования террористов. Высшая администрация совершенно не скрывала того, что ее целью было сделать из тюрьмы могилу и похоронить в ней еще живых людей до тех пор, пока смерть не захватит уготованную для нее жертву.

Этот план проводился в течение нескольких лет твердо и последовательно. Заключенные умирали один за другим словно по заранее составленному плану: одни от туберкулеза, другие от цынги, третьи от жандармских пуль, еще иные от самоубийства. В течение первых двадцати месяцев из 37 человек, отправленных в Шлиссельбург до марта 1886 года, умерло 13. Эта краткая статистика является содержанием продолжительной и страшной трагедии, когда живых, полных сил людей насильственно вгоняли в могилу.

Я не берусь описывать этой трагедии. Я хочу рассказать товарищам только о последних годах жизни Кобылянского и Варынского.

Кобылянский и Варынский — два старейших представителя социалистического движения в Польше. Оба родом из Киевщины, где они были друг с другом знакомы. В 1876 году оба очутились

в Варшаве, где жили и работали вместе в качестве слесарей на фабрике Лильпопа на Праге. В их квартире был произведен первый в Варшаве обыск по социалистическому делу. Об этом обыске Варынский рассказал следующие подробности.

В квартире Варынского и Кобылянского должно было состояться рабочее собрание. Узнав, что на собрание приглашено лицо, к которому он относился недоверчиво, Варынский отменил это собрание и созвал его в другом месте, без этого лица. Опасения Варынского оправдались. Назначенную для собрания квартиру окружила полиция. Как назло, в этот момент подъехал к своей квартире на извозчике возвращавшийся с фабрики Кобылянский. Заметив шпионов, он велел извозчику проехать дальше, но стоявший перед воротами шпион остановил извозчика, задержал Кобылянского и повел его через двор к жандармскому офицеру, руководившему облавой. Во дворе Кобылянский выхватил из кармана револьвер, отданный ему в починку, и на глазах испуганного шпиона вспрыгнул на забор. Услышав крик шпика, из квартиры выбежали жандармы, и один из них в момент, когда Кобылянский собирался спрыгнуть с забора на другую сторону, ранил его шашкой. Рана, оказавшаяся несерьезной, не помешала Кобылянскому улепетнуть.

С этого момента Кобылянский и Варынский уже не могли жить под своими фамилиями.

На подмогу жандармам к обыску были привлечены и казаки, как это было в Польше во время восстания 1863 года, благодаря чему обыск получил широкую огласку.

После этого Кобылянский и Варынский уже недолго оставались на работе в Варшаве, так как с конца 1877 года начались аресты, принимавшие постепенно все более и более массовый характер. В 1878 году пришлось скрыться и немногим уцелевшим от разгрома. Варынский уехал в Галицию, Кобылянский в Россию. С тех пор им не пришлось больше встретиться, их объединила лишь общая могила в Шлиссельбурге.

В России уже началась эпопея террора, и Кобылянский всей душой примкнул к террористической партии. Во время покушения на царя в 1879 году Кобылянский предлагал свои услуги в качестве главного исполнителя, но это предложение было отклонено, так как тогда признавалось неудобным, чтобы покушение на царя совершил поляк. Вскоре Кобылянский принимает участие в покушении на Кропоткина. Отчет о его процессе был напечатан в газетах, я поэтому на нем не останавливаюсь и ограничиваюсь лишь указанием на его беззаветную и беспредельную преданность делу революции. Приговоренный к каторжным работам на всю жизнь, он сначала был сослан на Кару (Забайкальская область), а после «бунта» на Каре был перевезен в Петропавловскую крепость, откуда его перевели в Шлиссельбург, где он и умер в январе 1886 года в камере № 36.

Единственным проявлением жизни в первые годы существо-

ния Шлиссельбургской тюрьмы была борьба с Соколовым — помощником коменданта и заведующим тюрьмой. Физическая победа всегда оставалась на стороне Соколова, но сломить дух протеста ему не удалось.

Кобылянский принадлежал к непримиримым. Когда Соколов согласно инструкции «тыкал» его, Кобылянский отвечал этим же. Шлиссельбуржцы шутили по этому поводу, спрашивая Кобылянского, когда он выпил на «брудершафт» с Соколовым.

Варынского привезли в Шлиссельбург 1 марта 1886 года уже после смерти Кобылянского. К этому времени издевательство жандармов уже несколько ослабело, заключенным весной 1886 года отвели огородные грядки для обработки. Весьма трудно передать, какую это вызвало радость среди заключенных. Но это была еще только первая ласточка; до «весны» было еще очень далеко. Шлиссельбуржцы были лишены всего, что хоть сколько-нибудь могло скрасить жизнь. Никакие известия из внешнего мира, не только из области общественной жизни, но даже известия о семье не проникали за тюремную решетку. Заключенные не могли сохранять в камере даже зубочистки. Жандармы ухитрялись все подметить и все конфисковать. Некоторое время спустя, когда жандармы уже не усматривали преступления в кормлении воробьев крошками хлеба, Варынский, находивший для себя в этом кормлении большое развлечение, бережно сохранял остатки несъеденного хлеба. Это не ускользнуло от внимания жандармов. Однажды двери камеры с шумом распахнулись, несколько жандармов набросились на хлеб и победоносно унесли из камеры захваченную добычу. Этот факт весьма характерен для системы, которая проводилась в Шлиссельбурге. Все было рассчитано на то, чтобы все время будоражить заключенных, держать их постоянно в возбужденном состоянии мелкими уколами и неприятностями. Соколов мастерски выполнял это задание. Никто из заключенных ни на один момент не мог иметь уверенности в том, что в следующий момент его спокойствие не будет нарушено. Эта система была рассчитана на то, чтобы измучить заключенных и вынудить их морально капитулировать. Весьма характерно то, что считалось протестом, если кто-либо отказывался обращаться к Соколову с какою бы то ни было просьбой.

Пища была прескверная и, что важнее, в весьма недостаточном количестве. Соколов, правда, заявлял, что хлеба можно получать вволю, но в действительности заключенным выдавали весьма мало хлеба и вечером приходилось просить прибавки. Но и тогда, словно в насмешку, отпускали весьма крохотный ломтик.

Варынский с момента появления его в Шлиссельбурге вел себя в высшей степени спокойно; он не вел войны с жандармами, но и не обращался к ним ни с какой просьбой. Этого было достаточно, чтобы его считали «протестантом».

Благодаря его впечатлительности на нем в высшей степени болезненно отражались все жандармские фокусы и лишали его

спокойствия, столь необходимого для него как для больного человека. Здоровье Варынского еще до заточения его в Шлиссельбург было сильно расшатано в Петербурге, когда он был слушателем Технологического института: Варынский, столовавшийся в дешевых кухмистерских, нажил катар желудка. Впоследствии к этому присоединилась легочная болезнь; продолжительное сидение в Варшавской цитадели тоже не могло способствовать улучшению его здоровья. Не трудно догадаться, как отразился Шлиссельбург на его здоровьи. Когда по истечении девяти месяцев со дня его прибытия в Шлиссельбург ему разрешили три раза в неделю ходить на прогулку вместе с Яновичем, у него была уже цынга, опухли ноги, и он с трудом ходил. В течение зимы цынга усилилась, в марте уже жандармы должны были его выводить на прогулку, поддерживая под руки. К этому присоединялся усилившийся катар желудка и невыносимая зубная боль. Приходилось ему рвать зубы, но и это не помогло: начала портиться челюсть. Мигрень, невралгия глаз, астма, удушье и бессонница довершали картину. Варынский был доволен, если ему удавалось проспать четыре-пять часов в сутки. Обыкновенно он спал не более трех часов, а весьма часто и эти три часа с перерывами. Особенно донимала его боль зубов. В этих случаях он не мог ни спать, ни есть. Это его еще более изнуряло. После этого у него являлся сильный аппетит, вызываемый еще и несварением желудка. А пищи было весьма мало, и Варынский голодал. Много времени прошло, прежде чем ему увеличили порцию каши. И вот в таком состоянии у Варынского, больного, изнервничавшегося, кроме книг, не только нечем было занять двадцать часов времени в сутки, когда он не спал, но нельзя было даже прилечь, так как железная кровать опускалась только на ночь, в течение же дня была заперта на замок.

Присесть отдохнуть можно было лишь на неподвижной железной скамейке. Если бы Варынский возбудил ходатайство, Соколов немедленно сделал бы распоряжение, чтобы кровать не запирали, отменил бы постную пищу по средам и субботам и улучшил бы ему пищу. Но Варынский оставался верен себе и ни с какой просьбой ни к кому не обращался. Впрочем, он с таким терпением переносил все невзгоды и был настолько нетребователен и невзыскателен, что, когда впоследствии ему увеличили порцию каши, а затем, когда туберкулез стал уж очевидным для всех и ему начали давать мясные котлеты, Варынский был весьма доволен доставляемой ему пищей. Достаточно было — и это для Варынского весьма характерно — того, чтобы перед самой его смертью жандармы проявили к нему хоть кое-какое участие, и он забыл о всех их преследованиях и издевательствах. Чуткость Варынского была поразительна. Тюремный врач Нарышкин, вырывая ему зуб, сломал его и оставшийся в десне корень вызывал гниение ее. Рассказывая об этом, Варынский просил держать это сообщение в тайне, так как зуб был сломан

не по вине врача, а кто-нибудь из товарищей мог упрекнуть врача в этом. При этом надо добавить, что врач — скотина на редкость — отнюдь не заслуживал такого отношения.

Эти страдания Варынский переносил в течение трех лет. Обыкновенно летом он себя чувствовал лучше. Он становился живее и оживленнее, с увлечением занимался своей грядкой, разводил капусту, огурцы и т. п. В 1887 году заключенным были доставлены семена цветов. Он их очень любил, и это доставило ему огромное удовольствие. Цветы напоминали ему прошлое, отцовский дом, мать, с любовью ухаживавшую за цветами.

В тюрьме у него зрение до того ослабело, что он не мог читать; сиденье без дела в камере становилось еще более томительным и невыносимым, он всеми силами добивался, чтобы ему дали хоть какую-нибудь работу. После удаления Соколова, когда обращение администрации с заключенными стало более приличным, Варынский при каждом посещении «начальства» настойчиво добивался этого. В конце концов ходатайство его было удовлетворено. 15 ноября 1888 года Варынского провели с прогулки в здание старой тюрьмы, где в одной из камер был сооружен детский столярный станок. Ему было предоставлено несколько дощечек из поломанного ящика и инструменты. Хотя ему было разрешено заниматься этой работой раз в неделю и то только несколько часов, но он был очень доволен, так как эта работа не только развлекала его, но и благотворно действовала на его нервы. Он чувствовал себя лучше.

К несчастью, ему недолго пришлось этим наслаждаться. В январе 1889 года он перестал выходить на прогулку. Туберкулез принял скоротечную форму. Кашель, повышенная температура, удушье сказывались на нем мучительно. Силы истощались. В конце января он уже все время проводил в кровати.

Начиная с ноября 1886 до конца 1888 года Варынский ходил на прогулку с товарищами: сначала три раза в неделю, а впоследствии ежедневно. Все это время товарищем Варынского по прогулке был Янович, за исключением нескольких недель, когда он гулял с Мартыновым, а затем с Панкратовым. Когда Варынский уже не мог выходить из камеры, Янович обратился с просьбой к коменданту крепости разрешить ему посещать Варынского в камере, но в этом ему было отказано. Единственное, чего он добился, это то, что его перевели в соседнюю с Варынским камеру № 13. Это дало им возможность перестукиваться.

С точки зрения администрации это был верх либерализма. По этому поводу врач заявил Яновичу: «Вам оказали такую милость!»

В конце января дни Варынского были уже сочтены. Кашель и удушье усилились, он уже не мог встать с кровати, не мог даже повернуться с боку на бок... А при нем не было ни души. Двери заперты на замок... Тишина... Слышны только шаги жандармов, подкрадывающихся к «глазку» в дверях... Когда Варын-

скому становилось невмоготу от удушья или от боли, он стучал Яновичу: последний подходил к двери и звал жандарма. Жандарм медленно, размеренным шагом подходит к окошку в дверях Варынского, смотрит, а затем не торопясь вызывает дежурного. После этого продолжается некоторое время наблюдение за тем, что происходит с больным, и затем уже открываются двери, и больному оказывается помощь.

Врач посещал Варынского ежедневно.

За неделю до смерти Варынского посетил комендант и спросил, не желает ли он получить улучшенную пищу. Результатом этого было то, что ему несколько раз дали компот, конечно, весьма неважный. Несмотря на крайнее истощение, Варынский перестукивался с Яновичем все время... 11 февраля он поздравил еще Буцинского с днем рождения, на следующий день передал Яновичу свою последнюю волю, причем просил его передать привет товарищам. Перестукивание доводило его до крайнего утомления. Утром между 9 и 10 часами следующего дня, когда все товарищи находились на прогулке, Варынский скончался.

Так умер один из самых выдающихся представителей социалистического движения в Польше!

Я никогда не забуду того впечатления, какое он произвел на меня при первой моей встрече с ним. В июне 1883 года на скамейке в Лазенковском парке (в Варшаве) Варынский в беседе со мной начал развивать свою программу борьбы. Ни до, ни после этого я не встречал человека, который сразу внушал бы такую веру в себя. Я был совершенно очарован. Чувствовалось, что этот человек знает, к чему стремится, и обладает волей для проведения того, к чему стремится.

Перед приездом Варынского в Варшаву в Польше боролись друг с другом два течения: социалистическое международное и социалистическое национальное. Интернационалисты ставили себе целью организовать польских рабочих для борьбы с капитализмом на экономической почве, для чего они стремились к созданию единой социалистической партии в пределах этнографической Польши с общей программой борьбы для всех трех частей Польши. Государственным границам они не придавали никакого значения, так как весьма мало значения придавалось ими политическим условиям. Пропаганда социализма, организовывание рабочих и забастовки составляли сущность их программы. Национал-социалисты были идейными наследниками Демократического общества 1848 года. Социалистическая окраска была с их стороны лишь данью времени. Поэтому-то они гораздо более внимания уделяли привилегированным классам, чем рабочим.

Варынский подвергал резкой критике оба направления. «В процессе борьбы за освобождение рабочего класса нам приходится иметь гораздо больше дела с правительством, чем с буржуазией. В действительности, на практике политическая борьба всегда будет составлять главную часть программы,—говорил Ва-

рынский. — Да и политические условия имеют первостепенное значение для тактики. По этим соображениям социалистическая организация в Царстве Польском должна быть обособлена от социалистических организаций в других частях Польши. А так как, с одной стороны, у нас общий с русскими революционерами враг в лице царя, то мы должны объединить свои силы с силами русских революционеров. Центр тяжести борьбы находится в Петербурге. Там «Народная Воля» напрягает все силы в борьбе. Наша обязанность — помогать ей всеми средствами». Впоследствии, в Шлиссельбурге, Варынский сознался, что он уже подготовился было к отъезду в Россию для того, чтобы организовать покушение на царя, и только неожиданный арест разрушил этот план. С другой стороны, Варынский враждебно относился к забастовкам. «Даже в Западной Европе, — говорил он, — где рабочие пользуются всеми гражданскими правами, где у них широкие организации, забастовки весьма редко приводят к победе рабочих, и поэтому последние весьма неохотно прибегают к ним. В России забастовка считается бунтом. Рассчитывать на успех забастовки в России весьма трудно как из-за вмешательства полиции, так и из-за наличности в рядах рабочих большого количества сельского пролетариата. На каждое освободившееся место на фабрике фабрикант может найти десять кандидатов. Ввиду этого шансы борьбы неравны. Весьма трудно также вести в широких размерах социалистическую пропаганду, так как для того, чтобы подготовить солидное число сознательных социалистов, необходимо дать рабочим хотя бы элементарное образование в области политической экономии, новейшей истории и т. п. Поэтому-то приходится ограничиться подготовкой отдельных, более способных и развитых рабочих». По мнению Варынского, при существовавших тогда условиях главным средством борьбы должна была быть агитация. Необходимо было овладеть массами, популяризуя среди них знамя «Пролетариата» и его лозунги. Надо было дать понять польским рабочим, что существует партия, которая ведет борьбу за их экономическое и политическое освобождение и зовет на борьбу всех трудящихся, и что этой партией является «Пролетариат». Для того, чтобы отметить свою классовую позицию и отгородить себя от всевозможных патриотических течений, были выдвинуты такие лозунги, как: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Свободы, фабрик и земли!» Эти лозунги фигурировали на всех изданиях «Пролетариата» с целью придать им самое широкое распространение. «Пролетариат» должен был проявить активность во всех случаях, когда рабочие являлись жертвою эксплоатации или гнета со стороны фабриканта или правительства. Варынский подходил к массам не с экономической теорией, а с поддержкой словом и делом. Прекрасный пример применения этой тактики представляет отношение «Пролетариата» к распоряжению обер-полицмейстера о медицинском санитарном освидетельствовании фабричных работниц в Варшаве.

На это распоряжение, приравнивавшее работницу к проститутке, «Пролетариат» ответил воззванием, призывавшим рабочих к сопротивлению хотя бы ценой кровавых жертв. Была проведена агитация, поднявшая на ноги всю Варшаву. Весь город был засыпан воззваниями. Прокламации разбрасывались на улицах совершенно открыто. Никто тогда не думал о грозившем аресте. Нужно было выиграть битву. И она была выиграна! Полиция не посмела выполнить распоряжения обер-полицмейстера, оно было отменено, причем обер-полицмейстер получил выговор и был переведен из Варшавы. Шум по этому делу не ограничился одной Варшавой. Аксаков перепечатал в газете «Русь» воззвание «Пролетариата» с комментариями, весьма нелестными для варшавской полиции. Излишне добавлять, что душой этой агитации был Варынский.

Несколько лет спустя, когда он был уже заключен в Варшавской крепости, жандармы часто возвращались к этому делу, говоря, что все можно было бы ему простить, только не эту агитацию. Агитация словом и делом, популяризация лозунгов и знамени «Пролетариата» должны были объединить всю рабочую массу в одной организации, а рабочие комитеты в момент, когда созреет в России революция, должны были призвать эти массы к оружию.

Я слышал на своем веку много как умных, так и фантастических программ, но все они оставались на бумаге... На этот раз я слышал человека, каждое слово которого было чревато делом. В нем чувствовался человек дела, и этим объясняется то производимое им сильное впечатление, о котором я говорил. Я с первого же момента готов был отдать всего себя в его распоряжение. Впоследствии, уже в Шлиссельбурге, говоря о деятелях Великой французской революции, Варынский, большой поклонник Дантона, заявил: «Если бы у нас в момент переворота нашелся такой человек, как Дантон, который сумел бы ориентироваться среди бури, разжигать массы и объединять их для общей борьбы!» Этот взгляд смахивает на якобинизм. И все же я думаю, что в Варынском мы могли иметь именно второго Дантона».

II. СТАНИСЛАВ КУНИЦКИЙ

Признанный вождь партии «Пролетариат» Людовик Варынский настолько выделяется из общей среды, что не только исследователи, как покойная Роза Люксембург, теперь отводят ему совершенно особое место в польском революционном движении, но и сорок лет тому назад товарищи по делу отводили ему такое же особое место. Об этом необходимо упомянуть, так как при сопоставлении с Варынским как бы стушевывались и блекли такие весьма видные, талантливые и самоотверженные деятели, как Куницкий, Янович, Рехневский, Маньковский.

По сравнению с Варынским это были вожди низшей категории.

Несомненно, первое место среди этих вождей второй степени занимал Станислав Куницкий.

Поскольку Людовик Варынский в течение всей своей деятельности хотя с колебаниями и уклонами, но неукоснительно приближался к революционному марксизму, постольку в Станиславе Куницком превалировало романтическое, заговорщическое, народовольческое течение. По отцу поляк (сын военного врача), по матери грузин, Куницкий до поступления в Институт путей сообщения в Петербурге жил на Кавказе. Впечатлительный, импульсивный, он вскоре после приезда в Петербург в 1881 году примыкает к народовольческому движению, на первых порах увлекаясь гораздо более формой, чем сутью, внешней стороной, чем внутренней: таинственностью, конспиративностью, всеми аксессуарами заговорщичества. Только в процессе партийной работы Куницкий усваивает под руководством погибшего впоследствии в Шлиссельбурге Грачевского основы тогдашнего революционного движения.

В Петербурге же Куницкий примкнул к польскому революционному движению, вступив в так называемую «Польско-Литовскую социально-революционную партию», образованную в конце 1881 года польской революционной молодежью в Петербурге.

Термин «партия» весьма мало подходил к этой организации. Эта своеобразная партия не имела собственной программы, была фактически лишь одной из народовольческих организаций, по отношению же к Польше составляла запасный резерв. В случае провала в Польше члены этой организации приезжали в Польшу на смену арестованных.

В главе этой организации стоял «Секретный Совет» («Rada Sekretna»), в состав которого входили Александр Дембский, Эдмунд Плосский, Тадеуш Рехневский, Станислав Михалевич (в 1905—1906 г. один из видных социалистов-революционеров) и Станислав Куницкий. Последний был связующим звеном между этой группой и партией «Народной Воли», но с польским движением почти не имел ничего общего и с характером его ознакомился значительно позже, познакомившись с Варынским и подчинившись его обаятельному влиянию. В правительственном издании: «Материалы для истории революционного движения в Царстве Польском с 1877 по 1885 год» сообщается, что «Варынский сразу приковал к себе Куницкого; первый объяснил ему программу так, что он сразу с нею согласился и только не разделял его взгляда о близости революции, но когда Варынский повел его на сходки (рабочих), он пришел в такой восторг, что чуть ли не сейчас готов был лезть на баррикады». Но это было значительно позже, уже в 1883 году, во время Виленского съезда, о котором, кстати сказать, до сих пор весьма мало известно как в России, так и в Польше и о котором состави-

телям обвинительного акта по делу «Пролетариата» пришлось сказать, что «место и участие съезда не обнаружены». Этот съезд был созван по инициативе «Секретного Совета», причем основными вопросами съезда были: «объединение всех польских соц.-революционных сил, определение взаимоотношений между польскими социалистами и партиями трех государств, в состав которых вошли отдельные части Польши (России, Германии, Австрии), и, наконец, определение взаимоотношений между Центральным комитетом партии «Пролетариат» и Исполнительным комитетом «Народной Воли».

Делегатом «Секретного Совета» на этом съезде был Куницкий. Съезд не оправдал возлагавшихся на него надежд. Русские группы польской революционной молодежи (в Петербурге, Москве, Киеве) объединились с «Пролетариатом» и признали его программу, но значительное ядро варшавской университетской молодежи, возглавляемое выдающимся социологом Станиславом Крусинским, отстаивало на съезде необходимость исключительно пропагандистско-культурной работы и противопоставляло себя выставленной «Пролетариатом» необходимости организовать рабочий класс и крестьянство на почве повседневной борьбы с эксплоататорами и правительством, необходимости руководить этой борьбой и этим завоевать себе право представителя интересов этих масс. С группой Крусинского, вскоре переставшей играть какую бы то ни было роль в движении, соглашения не было достигнуто.

По второму вопросу тоже окончательного решения не было принято. Сторонники образования в каждой из частей Польши польского отделения единой общегосударственной партии обосновывали свой взгляд тем, что политические условия в каждой из этих частей тождественны с политическими условиями во всем государстве-поработителе, в то время как эти условия в русской, прусской и австрийской Польше различны, и поэтому в интересах борьбы необходимо польским социалистам войти в состав общегосударственных социалистических партий этих стран.

Этот взгляд отстаивал Куницкий.

Противники этого взгляда ссылались главным образом на то, что при тех скудных технических ресурсах, какими располагает социалистическая партия, пропаганда путем печати в каждой из этих частей Польши должна будет вестись самостоятельно, что может весьма сильно осложнить работу.

В итоге не эти аргументы, а не созревшие в то время еще условия повлияли на то, что в общем вопрос был оставлен открытым и только по вопросу об отношениях к «Народной Воле» было решено установить самый тесный контакт между руководящими центрами обеих партий.

Для Куницкого, отстаивавшего слияние, в высшей степени характерно то, что, когда он втянулся в польскую работу, он

не придерживался проводившегося им на Виленском съезде взгляда и активно вмешивался в социалистическое движение в Галиции, применяя и там систему террора. Бомба, брошенная в здание полиции в Кракове в 1884 году, была делом рук «пролетариатца» Маланкелевича.

Эта черта в высшей степени характерна для Куницкого.

У Варынского отдельные эпизоды его деятельности были звеньями в общей цепи, частное было подчинено общему... Куницкого захватывал текущий момент, на который он реагировал немедленно, весьма часто из-за частичной цели теряя из виду общую. Варынский весьма часто, наметив что-либо, сознательно мешкал с исполнением, выжидая момента, когда условия созреют для реализации намеченного; Куницкий от слов немедленно переходил к делу.

Варынский был арестован 29 сентября 1883 года, Куницкий — 11 июля 1884 года. Он немедленно же после ареста Варынского очутился в Варшаве. За время своего руководства партией он ездил на довольно продолжительное время и в Россию и за границу, но, несмотря на это, ухитрился издать, кроме нескольких воззваний, три номера «Пролетариата» (от третьего до пятого), организовать покушение на провокаторов Сиремского (два раза), Франца Гельшера, Скржипчинского, на товарища прокурора Янкулию и жандармского подполковника Секеринского и подготовлять взрыв камеры прокурора. Одновременно с этим он приводит в исполнение решение Виленского съезда и заключает от имени ЦК «Пролетариата» знаменитый договор с «Народной Волей».

В течение этих девяти с половиной месяцев Куницкий работает до изнеможения... Но если проследить эту лихорадочную деятельность детально, то приходится отметить, что она носит по преимуществу исполнительный характер и что великая идея, все время отстаиваемая Варынским — воздействие на массы и вовлечение их в движение, — Куницким не проводилась. Внешний эффект его больше увлекал, чем основательная, не рассчитанная на немедленные результаты внутренняя работа. Ради этого внешнего эффекта Куницкий готов был пожертвовать многим.

Это увлечение внешним эффектом доходило у Куницкого до крайних пределов. Я уже упоминал, с каким презрением иногда он относился к Дегаеву, но, несмотря на это, однажды, когда я уже сидел с ним в одной камере в десятом павильоне Варшавской цитадели, он в разговоре с увлечением заявил:

— Если бы Дегаев выдавал ради того, чтобы создать условия для убийства Судейкина, ему можно было бы все простить.

На мои горячие возражения он с увлечением сослался на мицкевичевского Валленрода. И эта ссылка на Валленрода не была случайной. Он действительно увлекался валленродизмом. Самым крупным русским революционером, чуть ли не идеалом он считал Клеточникова. Впрочем, это увлечение могло объясняться

и тем, что для выполнения той функции, которую взял на себя Клеточников, нужна была необыкновенная выдержка, уменье подавлять свои чувства, хладнокровие, осторожность, то есть именно те черты, отсутствие которых в Куницком бросалось в глаза, в чем он отдавал себе отчет и всегда завидовал тем, которые обладали этими чертами.

Горячий, вспыльчивый, весьма быстро выходящий из себя, он на суде стал для прокуроров мишенью нападок, рассчитанных на то, что задетый он выскочит из оглобель и выпалит такой ответ, который уже неминуемо поведет его на виселицу. Но эти расчеты не оправдались. На суде Куницкий был все время в обществе друзей и товарищей, встречавших всякую вылазку против него ироническими улыбками. Это влияло на него, он сдерживался и только в последнем слове дал прокурорам горячую отповедь.

«Позвольте мне, господа судьи, в последнем слове очиститься от той грязи, которой забросали меня прокуроры, а отчасти и некоторые из защитников. Я представлен ими на суде как человек, алчущий человеческой крови. По высказанному моими обвинителями мнению, всюду, где я ни появлялся, проливалась или должна была пролиться человеческая кровь. Мои убеждения признаны вредными для общества, мои поступки признаны преступлениями. Для того, чтобы еще более повлиять на вас, господа судьи, прокурор подчеркивал, что я во всем солидарен с «Народной Волей», совершившей акт 1 марта. Да! Я солидарен с «Народной Волей», я был членом этой партии, я подписываюсь под всем, совершонным ею. Это — не преступление, а исполнение священной обязанности. Вся моя вина, это — моя любовь к народу, за освобождение которого я готов отдать свою кровь до последней капли. На путь террора нас заставила вступить необходимость. Уберите от нас таких людей, как Янкулио и Белановский, людей, которые торгуют человеческой жизнью, прекратите бесчеловечные преследования, и тогда борьба примет менее острый характер. (В этих словах Куницкий повторяет лишь сказанное в письме Исполнительного комитета «Народной Воли» Александру III.)

Вы слышите плач и рыдание присутствующей на суде публики? Это наши родственники: отцы, матери и жены. Их спросите: преступники ли мы. Они нас знают. А вы — можете нас судить, можете и осудить. Мы умрем, сознавая, что исполнили свой долг».

Куницкий в числе шести был приговорен к смертной казни, а в числе четырех казнен 28 января 1886 года.

Приговор не был для него неожиданностью.

Перед смертью 23 декабря 1885 года он отправил прощальное письмо к рабочим:

«Братья рабочие! Пользуюсь подвернувшимся случаем, чтобы перед смертью написать к вам несколько слов.

Вскоре меч палача обрушится на наши головы, но чувство страха нам чуждо. Мы знаем, ради чего мы гибнем и за что мы отдали жизнь свою.

Теперь от вас, братья, зависит, чтобы наша жертва не была бесцельна.

Мужество и выдержка. Не забывайте, что мы только собственными усилиями сможем завоевать права, которых нас лишали в течение стольких веков, что только в себе самих мы должны искать силу и бодрость в борьбе, которую мы ведем.

Пусть не пугают вас те жестокие приговоры, которые обрушились на нас.

Если бы не предательство, не было бы стольких жертв. И в этом отношении, следовательно, зависит от нас, чтобы жертв было как можно менее. Будьте осторожны в своей деятельности. Не доверяйте первому встречному. Но не ослабляйте при этом своей энергии, не отступайте от нашего знамени, держите его высоко, — и победа будет за вами.

Это, братья, мои последние слова, мое завещание, которое пересылаю вам.

А теперь, мои более близкие друзья, если кто из вас сохранил хоть частичку той привязанности, которою вы меня удостаивали, тот поймет, что этими немногими словами я желал бы влить в вас всю мою любовь к делу, за которое я гибну, и выразить вам, людям, с которыми я вместе работал, те чувства дружбы, какие я к вам питаю.

Посылаю привет и сердечные рукопожатия вам, знающим и помнящим меня, братское рукопожатие товарищам по оружию.

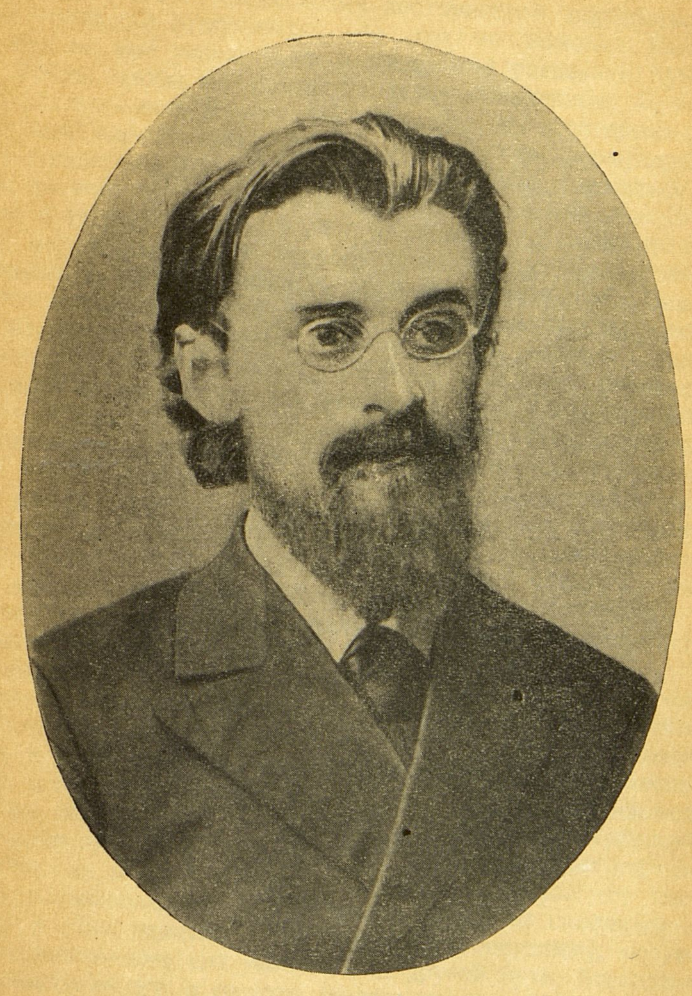
Сердечно обнимаю вас всех в последний раз. Будьте счастливы и не забывайте «рыжего Григория».

Станислав Куницкий».

Тридцать шесть дней спустя с возгласом на устах: «Да здравствует пролетариат!» Куницкий погиб на виселице.

III. ЛЮДОВИК ЯНОВИЧ

Людовик Янович — «Конрад», как мы его называли, — представлял весьма оригинальный тип в нашей среде. Крайне молчаливый, застенчивый, производивший внешне впечатление робкого, он изменялся до неузнаваемости, когда какой-нибудь вопрос задевал его за живое. Он был заика... Но в такие моменты он говорил плавно, горячо, с увлечением. Представляя собой тип — уже в то время редкий — революционера-моралиста, подходящего ко всем вопросам с точки зрения морали, он проявлял особенную настойчивость именно в этой категории вопросов. Мне пришлось быть свидетелем следующего случая. Происходило заседание Центрального комитета, на котором несколько товарищей, не входивших в состав ЦК, давали отчет о сделанном и,



1895 г.
Иркутск

получив необходимые указания, удалились. В числе товарищей, представлявших отчет о своей деятельности, был и хозяин квартиры, который, не сообразив, что ему следует покинуть собрание, остался. Куницкий просто, не делая из этого никакого вопроса, попросил его удалиться. При этом Янович больше сконфузился, чем удаленный товарищ, а когда двери за ним закрылись, Янович напустился на Куницкого: как можно так бесцеремонно, не считаясь с человеческим достоинством, обращаться с людьми. Куницкий отшучивался, но это не помогло. Янович долго еще не мог успокоиться и продолжал распекать Куницкого, требуя, чтобы он извинился перед обиженным. В этой мелочи сказался весь Янович. По убеждению он в то время был типичнейший народоволец-террорист, но, когда он формулировал свои террористические взгляды, трудно было удержаться от улыбки: до того это не вязалось с представлением о нем. Но и в вопрос о терроре он вносил свое отношение. Человек, предлагающий партии совершить террористический акт, сам должен его выполнить. Нельзя посылать другого на убийство. Только тот, кто сознает необходимость данного террористического акта, может взять на свою ответственность жизнь человека, приговариваемого партией к смерти. Когда он отстаивал эту идею, ни для кого не подлежало ни малейшему сомнению, что этим он не отклоняет террор и что если он будет убежден в необходимости убить какого-нибудь шпиона или провокатора, то, ни минуты не колеблясь, сам выполнит террористический акт. Когда в момент ареста Янович оказал вооруженное сопротивление и ранил провокатора Гузарского и когда известие об этом проникло к нам в десятый павильон Варшавской цитадели, многие, не знавшие его хорошо, отнеслись весьма скептически к этому, между тем как мы все приняли это известие, как нечто вполне естественное. Иначе и быть не могло.

Это последовательное проведение в жизнь проповедуемых идей, полная согласованность слова с делом, при беззаветной преданности делу, огромная требовательность к себе и снисходительность к другим, кристаллически чистое и душевное отношение и к делу, и к товарищам по работе — все эти черты выделяли Яновича из общей среды. Варынскому подчинялись. Куницкий увлекал своим энтузиазмом. Янович был живой совестью партии, во всех спорных и мало-мальски щекотливых вопросах его мнение было решающим, хотя было время, когда он склонялся к марксизму и даже наметил соответствующую программу, но геройство народовольцев его увлекало на другой путь. Благодаря этому идейного вклада в партию Янович не внес. Но благодаря своей душевной чистоте и обаянию, благодаря вдумчивому отношению к каждому явлению он в партии был одним из полезнейших руководителей. Эта вдумчивость, это стремление проанализировать во всех деталях явление было у него толчком для изучения статистики. Он ею занимался и на воле и после

ареста, в десятом павильоне. Но и к статистике он подходил по-своему. Он искал в ней подтверждения того, что им a priori признавалось правильным и неоспоримым. В этом отношении в высшей степени характерна его работа по статистике, составленная им в Якутской области уже после отбытия срока каторги в Шлиссельбурге. Подходя к национальному вопросу с этической точки зрения и считая незыблемым право каждой нации на самостоятельное существование, Янович не мог примириться с выводами Розы Люксембург в ее статье об экономическом положении Царства Польского. Он заранее решил вопрос, а подобранные им субъективно в высшей степени добросовестно цифры только должны были доказать то, что для него и без цифр было несомненно.

Если бы судьба его столкнула с марксистами, если бы он после выхода из Шлиссельбурга получил возможность ближе изучить марксистскую теорию, если бы он приучился рассматривать вопросы с точки зрения не желательности, а необходимости, результаты его труда были бы другие. Но он вышел из Шлиссельбурга с тем багажом, с каким он был арестован, и совершенно невольно сыграл наруку пепеэсовцам, ведшим в то время отчаянную борьбу с социал-демократами и не преминувшим использовать имя шлиссельбуржца для борьбы с своими политическими противниками.

Я уже упоминал о том, что Янович в десятом павильоне занимался статистикой. Это было уже в тот период, когда следствие близилось к концу и мы уже сидели в камерах не в одиночку, а по-двое. До этого времени Янович при его нервности абсолютно не был в состоянии чем-либо серьезно заниматься. Все его мысли сосредоточены были на одном: как бы какимнибудь невольным движением или жестом, неосторожным словом или даже выражением своего лица при допросе не повредить делу и товарищам. Это сделалось его манией. Он только об этом и думал. Под влиянием этого ему начало мерещиться, что жандармы по биению пульса на шее, по методу перестукивания могут прочитать его мысли и что благодаря этому он может невольно сделаться предателем. Это его буквально терзало. Товарищи употребляли все усилия, чтобы его успокоить, но это не помогало... Он, как сумасшедший, бегал по камере, держась одной рукой за шею, другой закрывая висок, чтобы жандармы не могли прочитать его мысли. Но другой висок оставался открытым, а жандармы подсматривали в «глазок»... Этого он не мог вынести и решил покончить с собой... Разбив бутылку, он осколком стекла начал резать себе шею. К счастью, наблюдавшие за ним жандармы заметили это и отобрали у него осколки стекла. На следующий день, по настоянию товарищей, ему разрешили сидеть в камере с другим товарищем, но выбор этого товарища жандармами оказался очень неудачным. Его посадили вместе со Шмаусом, которого он лично не знал и который тоже

страдал шпиономанией. В результате они друг друга заподозрели в шпионстве, разругались и потребовали от жандармов, чтобы их опять рассадили по разным камерам. Только после того как его посадили вместе с Куницким, Янович пришел в себя.

Если сопоставить этот факт с тем, что этот же Янович провел впоследствии десять с лишком лет в Шлиссельбурге и, один из немногих, вышел из этой тюрьмы, откуда, по выражению шефа жандармов Оржевского, «не выходили», а откуда «выносили», то опять не может не броситься в глаза одна из характерных черт Яновича. Когда дело касалось других, когда он мучился мыслью, что может невольно повредить другим, нервы его не вынесли; когда же всевозможные репрессии и преследования обрушивались на него лично, это на него мало действовало. В этих воспоминаниях о пребывании в Шлиссельбурге он спокойно, объективно описывает все пережитое и волнуется и негодует лишь при упоминании об издевательствах над другими. Выступал он с протестом тоже только тогда, когда дело касалось других. Эту же черту его характера можно проследить за весь период его пребывания в Колымске, куда его сослали по выходе из Шлиссельбурга. И к этому зверскому решению жандармов сослать его после Шлиссельбурга на крайний северо-восток Сибири он отнесся спокойно. В присланном мне уже из Колымска письме он сообщал, что остался верен прежним своим идеалам, прежним привязанностям и прежним любимым занятиям. Но спокойная жизнь в Колымске была жестоко нарушена местными самодурами: местный заседатель Иванов оскорбил и избил ссыльного Калашникова. Тот застрелился. Другой ссыльный Ергин при встрече застрелил Иванова. Эти события до того подействовали на Яновича, что он, по прибытии в Якутск, куда был вызван в качестве свидетеля по делу Ергина, решил покончить с собой.

В оставленном им письме к товарищам-ссыльным он пишет: «18 лет тюрьмы и ссылки в конец издергали мои нервы. Я утомлен и чувствую крайнюю необходимость в отдыхе, но единственный для меня способ отдохнуть — это умереть. У вас может возникнуть вопрос, почему я решил именно теперь покончить с жизнью. Мне не легко дать ясный ответ на этот вопрос. В душе моей борются сильные и определенные, но вместе с тем противоположные друг другу чувства. Мои душевные силы до того ослабели, что необходимость напрячь волю, для того чтобы решить томящие меня вопросы, была последней каплей, ускорившей развязку.

Перед смертью я думал о том, чтобы отправить к Сипягину (на тот свет) одного из самых преданных его слуг, но решил не делать этого. Вице-губернатор (якутский) Миллер — мерзавец.

Это верно. Но таких мерзавцев — несметное количество. А террористические акты должны иметь определенный смысл, должны быть ответом на возмутительные насилия со стороны администрации и ни в коем случае не должны исполняться только потому, что представился случай убрать мерзавца. Лично же я к нему не питаю дурных чувств.

Прощайте, товарищи. От всей души желаю вам увидеть красное знамя на Зимнем дворце».

IV. ФАДДЕЙ РЕХНЕВСКИЙ

О Фаддее Рехневском мне уже приходилось говорить в первых главах этой книги. Он резко отличался от всех других товарищей. Крайне сдержанный, в самые критические моменты жизни сохраняющий хладнокровие, систематический в работе, конспиративный, — он производил впечатление «немца». Рабочие часто в шутку называли его «швабом» (презрительное название немца). Он был, как мы это определяли в своей среде, «революционной машиной». Что бы ни случилось, как бы ни изменились обстоятельства, Рехневский, — в этом все были уверены, — выполнит возложенное на него поручение, останется на посту, пока его не снимут с него. По своему мировоззрению Рехневский ближе всего подходил к Варынскому. Когда я с ним познакомился, в конце 1883 года, он уже склонялся к марксизму и был большим поклонником немецкой социал-демократии. Лодзинские рабочие-немцы, с которыми он на собрании беседовал о рабочем движении в Германии,—а, кстати сказать, как воспитанник Либавской гимназии он прекрасно владел немецким языком, — были глубоко убеждены, что он делегат немецкой социал-демократической партии, присланный партией к ним для установления сношений, хотя он, конечно, отнюдь не выдавал себя за такового. Я упоминаю об этом для того, чтобы исправить некоторую неточность в воспоминаниях Л. Дейча, который себе приписывает заслугу обращения Рехневского в марксисты. Это совершенно неверно. Я не хочу сопоставлять Дейча с Рехневским и решать довольно щекотливый для Дейча вопрос, кто на кого мог влиять, и отмечаю лишь, что со стороны Дейча это — самообольщение. Уже по дороге на Кару, когда мы на барже плыли по Волге и Каме, читались вслух первые издания «Освобождения Труда», и на долю Рехневского выпала защита проводимых «Освобождением Труда» взглядов от нападений со стороны народников (в лице Макаренко и Диаталович), «милитаристов» (супруги Аргуновы и Осташкина), народовольцев (Баранов и др.), «молодых народовольцев» (Флеров, Олесинов) и даже «пролетариатцев» (Трушковский).

На Кару Рехневский приехал уже как убежденный марксист. Он не делал в тюрьме из этого определенных практических выводов, я бы выразился, не был боевым марксистом, проводя це-

лые дни за книгами, только изучая судьбы капитализма в России, но уже и тогда на нас, более молодых (Маньковского и меня), воздействовал совершенно определенно и весьма часто помогал нам разбираться в «Капитале», который мы тогда штудировали.

Я уехал из Кары в декабре 1890 года, Рехневский оставался еще там, «в вольных командах». Встретились мы снова только в 1903 году на частном съезде ссыльных-поляков в квартире Рехневского в Иркутске. И он и его жена Витольда Викентьевна, урожденная Карпович, уже были социал-демократами. Рехневский, в отличие от многих ссыльных, зорко следил за движением как в России, так и в Польше и уже тогда, сопоставляя заграничные издания ППС с издававшимися в Польше, указывал на существование двух взаимно исключающих друг друга течений в этой партии и предсказывал необходимость раскола. Сам он склонялся к лево-социалистическому течению. В 1905 году он принял активное участие в революционном движении в городе Иркутске, был арестован и предан суду. По освобождении на поруки он переехал в Польшу, примкнул к «левице» ППС и все время при самых трудных и тяжелых обстоятельствах редактировал легальный популярный марксистский журнал: «Wiedza» («Знание»), продолжая издавать его и во время германской оккупации и отстаивая в нем интернационалистическую позицию. К несчастью, дни его уже были сочтены. У него был катар или язва желудка (точно не знаю), ему сделали операцию, после которой он заболел воспалением легких и в несколько дней скончался.

V. МЕЧИСЛАВ МАНЬКОВСКИЙ

«Пролетариат», как я уже упоминал, и по социальному составу своих членов резко отличался от «Народной Воли».

В организации «Пролетариата» превалировали рабочие, среди которых было много таких выдающихся, как Генрих Дулемба, мыловар, прекрасный организатор и замечательный конспиратор, ухитрявшийся в самые трудные моменты проникнуть на фабрику и вести агитацию среди рабочих. Убежденный, стойкий, он с 1878 года в течение пяти лет то сидел в тюрьме, то снова брался за работу. Варынскому как идейному вождю он был предан до самозабвения и был его правой рукой.

Через Дулембу Варынский проникал к рабочим. Но на каторге Дулемба отстал от века. В 1905 году он принял участие в движении, был арестован Ренненкампфом в Чите, каким-то чудом спасся и приехал в Польшу. Мы тогда ежедневно издавали нелегально «Работник».

Движение приняло массовый характер. Привыкший только к кружковой работе, Дулемба был ошеломлен, огорошен. Попытался было втянуться в работу, но не мог. После двадцати двух

лет уже иные песни и иные речи раздавались в рабочей массе... Он не мог понять движения, а рабочие не могли понять его. И он отстранился от работы, уехал обратно в Читу, а оттуда несколько месяцев спустя в Люблинскую губернию, где вскоре после этого, уже в пожилом возрасте, умер.

Совершенно другой тип представлял рабочий-столяр галичанин Мечислав Маньковский. Ему было всего шестнадцать лет, когда он был в первый раз арестован в Галиции в 1878 году по делу Варынского. Живой, увлекающийся, романтик, он во многом напоминал Куницкого. Движение в Галиции, мирное, пропагандистское, втиснутое в определенные рамки законности, ему было не по душе. Он переехал в Царство Польское и здесь увлекся террором, весьма скоро попав в сети провокаторов. Спохватившись, он решил покончить с провокатором, но и тот понял, что он обнаружен и вовлек Маньковского в засаду. Он был окружен полицией и шпиками, защищался при аресте отравленным стеклянным кинжалом, но отбиться от шпиков не мог и был арестован.

Что представлял собою Маньковский, можно заключить из двух документов: из его речи на суде и из его письма к рабочим уже после осуждения.

«Господа судьи! Мне был поставлен вопрос, признаю ли я себя виновным, и я ответил: нет. Теперь я хочу обосновать этот ответ. Причиной нашей деятельности были нищета и страдания рабочих. Я не буду здесь говорить об этой нищете: это знакомая картина, но я должен пояснить, что я понимаю под словом «нищета». Если не обеспечен рабочий и его семья, то я считаю его нищим. Не думайте, судьи, что мы предъявляем при этом чрезмерные требования. Одежда, пища, квартира, воспитание детей и свет науки для всех людей — вот наши требования, вот требования миллионов рабочих. Неудовлетворение этих потребностей уподобляет человеческую жизнь жизни животных. Под влиянием этого неудовлетворения в людях просыпаются дурные инстинкты и страсти, как зависть и другие, деморализующие как эксплоатируемых, так и эксплоататоров. Только социалистический строй может спасти человечество и вывести его из того болота, в которое его столкнула господствующая ныне социальная система. У угнетенных открываются глаза, они ищут причины своего несчастья. Они уже видят то, к чему иными путями доходят люди науки, проводящие целые годы над статистическими исследованиями. Мы, рабочие, ясно сознаем недостатки нынешнего строя и смотрим на устранение отживших форм, как на вопрос жизни для всего общества. Все правительства отдают себе отчет в важности этого вопроса, а между тем портфели министров заполнены только проектами того, как выжать из народа последнюю копейку. Произносится много пустых, испещренных звучными фразами речей, но никто не думает о серьезных средствах борьбы с этим злом. Господин прокурор признает

совершенство социалистического строя, но только в теории; по его мнению, он не может быть на практике осуществлен, так как «люди остаются людьми». Из этого следует, что пороки, по наследству переходящие из поколения в поколение, что недостатки, прививаемые капиталистическим строем, должны, по мнению прокурора, быть той скалой, о которую разобьются усилия ввести социалистический строй. Но мы и надеемся на то, что эти препятствия будут преодолены под дуновением социализма. Социалистический строй даст возможность людям сделаться людьми, обеспечит удовлетворение их духовных и материальных потребностей, разбудит благородные чувства и положит предел дурным. И разве тогда общество не сможет придать еще более совершенную форму своей организации? Но, не углубляясь в столь отдаленное будущее, я хотел бы сосредоточить ваше внимание на вопросе, могут ли проникнуться более идеальными и благородными стремлениями люди, имеющие такие недостатки, о каких говорил господин прокурор. Я думаю, что да. Их побудит к этому важность дела. Я не удивляюсь, что господин прокурор, вращаясь в тесной среде привилегированных и испорченных людей, сомневается в возможности построить общественное здание из такого кирпича. Но ведь не они будут составлять фундамент здания будущего. Голодные люди, люди в отрепьях, объединенные общим гнетом, воспримут социалистическое учение, которое нравственно возвысит их и сделает их достойными основателями будущего строя. При существующей хозяйственной системе мы ежедневно являемся свидетелями того, что в тех случаях, когда товары не находят сбыта вследствие того, что они произведены в чрезмерном количестве, современные Крезы выбрасывают на улицу тысячи рабочих, оставляя их без хлеба и одежды. Такое явление может прекратиться только тогда, когда производство и распределение не будут зависеть от конкурирующих друг с другом эгоистических интересов отдельных лиц, когда руководящую роль в хозяйстве будут исполнять общественные учреждения, ставящие себе целью лишь благо всех. Это основная мысль нашей программы. Мы организовали рабочие массы, подготовляя их к грядущей революции, которую мы считаем неизбежной. Если это преступление, то я спрашиваю, что может произойти, если в момент переворота рабочие будут лишены сознательности и организации? Тогда взволнованные массы будут руководиться отчаянием, а отчаяние возбуждает дикую жажду мести и вызывает кровожадные инстинкты. С общечеловеческой точки зрения мы вполне оправданы. Наше движение прекратится только тогда, когда будут устранены вызывающие его причины. Во всех европейских странах наше движение существует легально, а в случае столкновения его с существующими законами социалистическим деятелям угрожают мелкие наказания. Но здесь — другой взгляд на это дело, и прокурор требует для нас смертной казни. Если

вы меня приговорите к смерти, я умру без страха, умру убежденный, что я погибаю за правду и справедливость!».

23 декабря 1885 года, то есть немедленно после объявления приговора по делу «Пролетариата», Маньковский, по поручению осужденных рабочих и от их имени, обратился к польским рабочим со следующим письмом:

«Братья рабочие! Мы уже давно выбыли из ваших рядов. Нас выхватили из вашей среды, заточили в тюрьмы и долго, весьма долго в них держали.

Шесть месяцев тому назад часть из нас, около 60 человек, без суда сослана в Сибирь или заключена в крепость и тюрьмы. Остальные 29 человек преданы военному суду, по приговору которого (20 XII 1885 г.) шестеро осуждено на смертную казнь, восемнадцать в каторжные работы на 16 лет, двое на 10 лет 8 месяцев, один на 8 лет 10 месяцев и двое на поселение в Сибирь. Все — с лишением всех прав состояния. К этому кровавому сообщению мы должны присовокупить, что приговоренный к смерти Петрусинский и приговоренные к 16 годам каторги: Биох, Дегурский, Гельшер, Домбровский, Словик и Томашевский совершенно невиновны и что большинство остальных принимало в работе столь незначительное участие, что дело их могло быть решено административным порядком. Но прокуратура их привлекла, а суд осудил по 249 ст. Улож.

Мы, братья, понимаем, насколько вы поражены этим.

Не удивляйтесь. Приговор имеет в виду вас, он рассчитан на то, чтобы вас запугать, чтобы вы не решились продолжать борьбу.

Ради этого прокуратура искала дыры в целом, но не нашла. Никто из нас не сказал и не сделал ничего такого, что уполномочивало бы прокурора требовать для всех нас смертного приговора. А суд признал основательными доводы обвинения, не считаясь с доказательствами невиновности, не считаясь со степенью участия в революционной деятельности каждого в отдельности из обвиняемых. Ко всем была применена одна и та же мера: веревка или 16 лет каторги.

Братья! Мы знаем, что одним из чувств, возбужденных известием о приговорах, должна быть жажда мести. Поэтому-то мы и торопимся, чтобы именно мы первые вам сообщили это горестное известие и одновременно дали вам совет, как вам поступать в дальнейшем и как осуществить эту месть.

Месть принадлежит к тем чувствам, которые должны замереть из-за отсутствия жертв и которые со временем должны быть совершенно искоренены.

Это утверждение, высказанное нами, закованными в кандалы, должно удержать вас от неосмотрительной мести.

Не расточайте зря сил, братья. Преодолевайте все препятствия на вашем пути и смело двигайтесь вперед.

Наше рабочее дело ныне окончательно выяснилось. Приго-

вор суда прямо указывает на то, что нас постигла такая жестокая кара за то, что мы стремились к изменению экономического строя. Из этого ясно, что правительство защищает эксплоататоров, не заботится об искоренении нищеты, наоборот, делает все, чтобы ее сохранить.

Но оно не сохранит ее. Зло должно погибнуть. И поэтому мы спокойно отнеслись к решению правительства, смехом встретили приговор, и никто из нас не дрогнул в момент, когда закрылись перед нами двери свободы.

Мы не думаем, братья, вас призывать к усиленной деятельности. Реальные условия, в которых вы живете, являются вполне достаточным побуждением для этого. Вы не можете не бороться, но, ведя борьбу, руководствуйтесь не увлечением, а разумом, так как одно увлечение весьма часто ведет к печальным последствиям. Строгость приговоров может кое-кого отпугнуть от работы. Не делайте попыток удержать их в своей среде. Пусть каждый из вас будет готовым на все, но помните, что каждый имеет право жертвовать только собою... Берегите семейных, чтобы дети не оставались сиротами.

Огромное поле деятельности перед вами... Сейте, а обильный урожай, который в будущем соберет человечество, будет и для вас, и для нас щедрой наградой.

Прощайте, братья... Быть может — навсегда...

Не один, а тысячи из вас так же погибнут, как мы гибнем. Пусть это будет для вас поощрением, пусть будет побудительным моментом для того, чтобы заменить выбывших из строя товарищей.

Работайте изо всех сил, пользуйтесь всякой возможностью. Помните, что когда поймают вас, то не будут смотреть, что вы сделали, и все равно засудят, виновен ли кто или нет.

28 декабря (1885 г.) нам объявят уже конфирмированные приговоры. Мы тогда столкнемся лицом к лицу с нашими палачами. Мы — веселы, они — угрюмы. Мы горды, — горды тем, что выполнили перед обществом свой долг, — они подавлены своей подлостью.

Кто в этом случае победитель?

Не они. Торжествуют жертвы, торжествует правда.

Обнимаем вас сердечно и желаем успеха...»

Я привел и речь Маньковского, и его письмо почти полностью как документы, весьма для него характерные... Романтик, не без сентиментальности он предостерегает от увлечения местью...

Какой же злой иронией звучат в настоящее время эти слова!

Жизнь зло посмеялась над Маньковским. Попав на Кару, Маньковский, как и многие другие юноши, набросился на книги и буквально поглощал их. Весьма способный, он во всех областях приобрел довольно много знаний, но эти знания он воспри-

нимал весьма своеобразно. Он, например, не мог не думать о том, что каждое его движение, каждый его шаг, даже вздох лишает жизни миллионы хотя простым глазом и невидимых, но все же живых существ. В тюремных условиях он мог легко стать на этой почве маниаком, но привычка к работе увлекла его в сторону физического труда... Он увлекся горшечничеством, сделал станок и выделывал чашки, миски, горшки... Было время, когда он по целым часам мастерил... деревянные часы, которых ему так и не удалось сделать. Но вскоре, когда начались протесты, вся его жизнь перевернулась. Особенно тяжко он переживал период самоотравления на Каре. Он решил, что слишком много жертв, запасся ядом и заявил: «Не отравлюсь, если выдержу».

Он выдержал. Не отравился ни морфием, ни опием, но от яда, горшего, чем все опиаты, от яда мести не спасся... «Месть, месть, месть врагу, с богом, а то и помимо бога», — повторял он слова Мицкевича. Перевод в Акатуй довершил дело...

Я вновь встретился с Маньковским только в 1905 году. Он был неузнаваем. От прежнего марксистского уклона в нем не осталось и следа. Он в России примкнул к социалистам-революционерам максималистам, а в Польше душой и телом слился с правой ППС. Он не был националистом, но он не был и социалистом... Правая ППС прельщала его лишь тем, что давала ему возможность осуществить свою месть. Во время «кровавой среды» в Варшаве, организованной правой ППС с целью терроризовать полицию, когда в один день от рук боевиков пало на улицах Варшавы несколько десятков полицейских, — Маньковский руководил этим массовым убийством и многих полицейских убил собственноручно. С течением времени, когда уже после раскола в ППС правая, принявшая название «фракции революционной» («фраки»), забросила террористическую деятельность и принялась за военно-повстанческую, Маньковский организовал оппозицию и вместе с другими в 1914 году отказался от этой фракции. Когда вспыхнула война, многие оппозиционеры с Феликсом Перлем во главе принесли повинную Пилсудскому и вернулись в организацию. Маньковский не последовал их примеру... Национализм ППС ему претил. Я видел его в последний раз в Кракове в конце августа 1914 года, когда волна шовинизма захлеснула многих. Маньковский не поддался общему настроению. Он устранился от политики и все время посвящал, с упорством маниака, усовершенствованию аэропланов, не имея для этого ни достаточно знаний, ни опыта. Продолжал ли он эту работу и после или перебросился в другую область открытий и изобретений, к чему у него всегда была склонность, не знаю, но к политической деятельности он уже не вернулся. Умер он в 1922 году в Кракове. Его смерть была с рекламными целями для своей партии использована ППС.

VI. КОНЕЦ ДОЗНАНИЯ

Жандармское дознание тянулось бесконечно долго. Каждый новый арест затягивал дело, причем при каждом новом аресте жандармы были убеждены, что это уже последний, что «крамола» с корнем вырвана, а несколько дней спустя новый арест убеждал их в противном. Первые аресты были произведены в половине 1883 года, последний в конце 1884 года. Жандармы совсем было уже успокоились, но в 1885 году последовала новая волна арестов, причем в числе арестованных были такие крупные деятели, как Мария Богушевич, Розалия Фельзенгардт, Константин Стржеминский, Разумейчик и др. Волей-неволей пришлось кончить «одно дело» и начать другое, иначе дознание могло затянуться до бесконечности. Жандармы скрепя сердце должны были принять такое решение и приступили к завершению следствия.

В этот период дознание носило другой характер. Порядки в десятом павильоне изменились до неузнаваемости. Перестукивание и перекрикивание из камеры в камеру было уже легализовано, переписка друг с другом происходила беспрепятственно, малейшая попытка со стороны жандармов изменить этот режим вызывала протесты: голодовку, вышибание стекол в окнах и в «глазке» и т. п. Весьма часто дело доходило до курьезов. Помню случай, когда в одной из соседних камер кто-то жарил изо всех сил каблуками в дверь. На мой вопрос, что случилось, последовал ответ:

— У меня нет табаку. Два раза звал заведующего, а он не приходит, хотя уже прошло полчаса.

Заведующий мог уехать в город, и этим могла быть вызвана задержка в его приходе. Учитывая это, я предложил стучавшему, что я ему сейчас пришлю табаку.

На это он мне простучал:

— Дело не в табаке, а в принципе...

Его стук мог вызвать, по доверию к стучавшему, коллективный протест, который мог поставить в смешное положение нас всех, и поэтому я ему ответил:

— К сожалению, принципа я вам прислать не могу.

Это его образумило. Стук прекратился.

За все это время и товарищ прокурора Янкулио, и жандармский подполковник Белановский, ввиду господствовавшей тогда вольницы, уже избегали заходить к нам и выпускали, быть может просто для упражнения, мелких сошек вроде жандармского поручика Фурсы, заведующего десятым павильоном.

По закону Фурса именно как смотритель тюрьмы не имел права принимать участия в дознании, но для жандармов закон не писан, и Фурса подвизался во-всю. Узнав, что одна из заключенных, Софья Плосская, урожденная Онуфрович, заболела, лежит в бессознательном состоянии и в жару бредит, он вошел в ее комнату, представился товарищем ее мужа «технологом Брониславом», вступил в беседу с ней и записывал ее ответы.

Когда Плосская поправилась, он ее вызвал на допрос и добивался разъяснения, кто такой Дюма и Агасфер, имена которых она упоминала в бреду...

Подвергся и я допросу умного Фурсы. Он все добивался, что бы я сделал, если бы меня выпустили на свободу. В то время такой вопрос был вполне равнозначащ вопросу, что бы я сделал, если бы попал в рай. Шансы на то и на другое были одинаковы. Я ответил, к великому удовольствию тщательно записывавшего мои ответы Фурсы, что вновь принялся бы за работу. «А что бы вы сделали, если бы партии уже не было?» — последовал вопрос. «Создал бы новую». Фурса был в восторге. А когда впоследствии военный прокурор привел этот отрывок моих показаний в обвинительном акте, Фурса возомнил о себе, что он блестящий следователь.

Таких курьезов было много. Всех — не перечтешь.

В конце концов изобретательность и умных и тупоумных жандармов иссякла, и следствие кончилось. Из арестованных 7 человек отправлено административно в В. Сибирь на пять лет, 8 — на такой же срок в З. Сибирь, 9 — на четыре года в З. Сибирь; 1 — как иностранный подданный выслан за пределы России; 2—осуждено на 1 год 4 мес. крепости; 2—на 1 год 4 мес. тюрьмы; 3 — на 1 год крепости; 6 — на 1 год тюрьмы; 2 — на 10 мес. крепости; 5 — на 10 мес. тюрьмы; 5 — на 9 мес. тюрьмы; 2 — на 8 мес. тюрьмы; 1 — на 7 мес. тюрьмы; 1 — на полгода крепости; 2 — на 6 мес. тюрьмы; 9 — на 5 мес. тюрьмы; 5 — на 4 мес. тюрьмы, 1 — на 3 мес. крепости; 9 — на 3 мес. тюрьмы; 3 — на 2 мес. тюрьмы; 6 человек отдано под надзор полиции; 12 человек приговорено к аресту от 15 дней до 3 месяцев; 19 — засчитано предварительное заключение, и они освобождены из-под стражи; одной (предательнице) сделан строгий выговор. Относительно двух дело прекращено за смертью, относительно 23 — за отсутствием состава преступления. Относительно 16 — дело приостановлено «впредь» до разыскания» и, наконец, 29 преданы военному суду.

На основании этих данных нельзя себе составить представления о числе привлеченных по делу «Пролетариата». О перечисленных 190 привлеченных дело решалось в Петербурге. Но, кроме этих 190 человек, было несколько сот человек, которые были освобождены из тюрьмы собственной властью местных жандармов.

Все решение дела относительно административных и отправка их в Сибирь и по тюрьмам предвещали скорую расправу и с 29 «обреченными». И действительно: в августе 1885 года нам объявили о предании нас суду, а в ноябре нам был вручен обвинительный акт.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СУД НАД ПАРТИЕЙ «ПРОЛЕТАРИАТ»

I. ПЛАН ПОБЕГОВ

Разделение жителей десятого павильона на две категории: административных и преданных суду ставило перед последними на очередь вопрос о побеге, возникавший не раз, но не принимавший до этого реальных форм осуществления.

Статья 249 Улож. о нак., на основании которой мы были преданы военному суду, если не всем, то во всяком случае многим грозила смертью. В частности, относительно Станислава Куницкого ни у кого из нас не было ни малейшего сомнения, что ему смерти не миновать. Примириться с этим и ожидать событий было нельзя, и мы, не дожидаясь даже отправки административных в Сибирь, принялись за обсуждение возможных планов, в большинстве случаев более или менее фантастических. Правду говоря, не фантастических планов и быть не могло. Десятый павильон находился в крепости—в знаменитой Варшавской цитадели, построенной специально на борьбу с Варшавой, всегда вызывавшей беспокойство царских властей. Вход и выход из крепости был обставлен тысячами затруднений. Мосты на ночь поднимались, и без пароля никто не мог ни войти в цитадель, ни выйти из нее. Днем равным образом без пропуска никого не впускали и не выпускали. На крепостной стене караулили и днем, и ночью часовые... Выбраться из десятого павильона, окарауливаемого изнутри жандармами, а извне солдатами, в высшей степени трудно, труднее, чем из любой другой тюрьмы, так как все соседние здания, принадлежавшие военному ведомству, тоже окарауливались солдатами. Но, если бы даже удалось преодолеть все эти трудности, все же оставалась бы самая трудная задача — выход из крепости.

При таких условиях обязательно всякий план был фантастичен. Несмотря на это, сознание необходимости претворить

фантазию в реальность делало свое, — и мы составили план. В то время я жил в одной камере с Куницким на втором этаже. Окна нашей камеры выходили на крепостную стену со стороны Вислы, возле крепостных ворот, где находился довольно многочисленный караульный пост. Из этой камеры не представлялось возможности убежать, так как окно было, так сказать, на глазах у многих часовых. Надо было во что бы то ни стало перебраться в другую камеру. Самой подходящей для побега была камера № 1 на первом этаже. Это была крайняя камера и, по наведенным нами справкам, часовой тратил на обход своего участка, начинавшегося именно с этой камеры, более полминуты до возвращения на место. Камера эта представляла еще одно удобство: окно выходило на дорогу, по ту сторону которой находился довольно густой сад офицерской больницы, где, перебежав дорогу, можно было спрятаться. Для того чтобы добиться перевода в эту камеру, я воспользовался тем, что у меня сосудистая опухоль на ноге. За час до вызова врача я перевязал ногу в колене, а минут за пять до его прихода снял повязку. Опухоль вздулась и налилась кровью. Невежественный врач глубокомысленно ощупывал опухоль, не зная, что предпринять, и осторожно выведывал у меня, бывали ли у меня раньше такие воспаления и что я в этих случаях предпринимал. Я налегал главным образом на то, что это — болезнь затяжная и что, находясь на втором этаже, я лишаюсь возможности воспользоваться даже тем получасом прогулки в садике, какой предоставляется в наше распоряжение. Доктор внял моим настояниям, велел смазать опухоль иодом и сообщил заведующему о необходимости перевести меня в нижний этаж. Начало было сделано... Так по крайней мере нам тогда казалось. В действительности и тут в самом начале встретилось затруднение. Заведующий Фурса меня соглашался перевести в первый этаж, но без Куницкого.

— Что?! — возмутился Куницкий. — Когда он был здоров — я с ним сидел, а теперь, когда он болен, вы хотите, чтобы я его подбросил другим? За кого вы меня принимаете? Ни за что!

— Я без Куницкого не перейду в другую камеру, — в свою очередь заявил и я... — Вы это знаете! Скажите прямо, что вы отказываетесь меня перевести в нижний этаж. Это будет прямее и честнее. Зачем эти жандармские выкрутасы?!

Фурса смутился...

— Что вы? Что вы? Я не возражаю... Я не думал, что господин Куницкий пожелает уйти с коридора, где вся ваша компания.

— Господин Куницкий пожелает, — иронически улыбаясь, заявил Куницкий, — если болезнь господина Кона этого требует...

Фурса ушел.

Мы ждали терпеливо следующего дня, когда должен был состояться перевод в нижний этаж. Мы боялись, что за ночь

Фурса раздумает, и все полетит прахом. Он не раздумал, но зато придумал весьма ядовитую комбинацию... На следующий день он объявил нам, что переводит нас в восьмой номер. Возле этого номера происходила встреча двух соседних часовых, тут же находилась будка часового. От окна до дороги было не менее пятидесяти шагов, а по ту сторону дороги была открытая площадь.

Я обиделся и наотрез отказался.

— Не хочу! Ничего другого я от вас не ожидал...

— Почему?

— Почему?! Вы знаете, что мне очень трудно шевелиться, что не всегда удастся воспользоваться прогулкой, и вы меня сажаете в камеру, окна которой выходят на вечно пыльную дорогу, в то время как у вас есть камеры с окнами в больничный сад... Я очень жалею, что, зная, с кем имею дело, согласился на увещевания врача и поднял этот вопрос. Но теперь — будет. Я не хочу больше об этом говорить и остаюсь здесь.

Фурса, бывший улан, в то время еще чувствовавший себя не совсем удобно в жандармском мундире и из кожи лезший, лишь бы доказать, что он в душе не жандарм, смущенно поглядывал то на меня, то на Куницкого, не зная, что ответить, а присутствовавший при этом разговоре хитрый и продувной старший жандарм Фомин ядовито улыбался.

— Ладно, я подумаю, — уходя, заявил Фурса...

На следующий день мы были переведены в первый номер.

Мы не сразу приступили к делу. Ядовитая улыбка Фомина заставила нас быть настороже. Я продолжал «хворать», мы ничего не предпринимали, несмотря на то, что у нас уже была тонкая английская пилочка, и ограничились лишь тем, что поручили Марии Богушевич и Розалии Фельзенгардт, находившимся на воле и поддерживавшим с нами все время переписку химическими чернилами, разыскать человека из бывших солдат, знающих хорошо все условия цитадели, и возложить на него поручение вывести Куницкого, а при благоприятных обстоятельствах и меня за пределы крепости. Некоторое время спустя нас известили, что такой человек найден и что насчет выхода из цитадели беспокоиться нечего.

Этот ответ нас приободрил, и мы принялись за дело. Как только часовой отправлялся в обход, один из нас принимался за перепиливание решетки, в то время как другой заслонял собой «глазок». Работа была утомительная, ее приходилось часто прерывать, а все же дело, хотя и медленно, но подвигалось вперед. Прерывая работу, мы темным воском замазывали пропиленную щель. Отправляясь на прогулку, мы брали пилочку с собой.

Эта предосторожность оказалась не лишней. Однажды, вернувшись с прогулки, мы застали все в камере перевернутым вверх дном. Мы, понятно, обеспокоились. Обыск был произведен только в нашей камере, но так как мы своим поведением не

могли вызвать никакого подозрения, — я продолжал «хворать» и от времени до времени вызывал «для верности» врача, — то этот обыск был приписан нами временному воздействию более сообразительного, чем Фурса, старшего жандарма Фомина.

— Отложить на некоторое время всю затею, — советовали некоторые из товарищей.

— Пустое! — возражал Куницкий. — Теперь-то именно и работать. После обыска жандармы окончательно убедились в неосновательности их подозрений...

И мы продолжали работу... Но весьма недолго... Прошло всего три дня, как под нашим окном раздался стук... Обеспокоенные этим, мы в один момент очутились на окне и с одного взгляда поняли, что все наши планы рухнули. Перед самым нашим окном строили будку для специального часового. Полчаса спустя перед нашим окном уже торчал, как пень, солдат и не спускал глаз с нашего окна. Надеяться было не на что, но мы так сразу не хотели сдаться. Появились новые планы: усыпить часового, угостить его соответственно приготовленными папиросами. Но это была уже чистейшая фантазия...

План провалился. Причины провала были продолжительное время для нас непонятны. Между тем жандармы продолжали так действовать, словно они знали о готовившемся побеге и именно о нашем — о моем и Куницкого. Когда нас неделю спустя вновь перевели в верхний этаж, специальный часовой перекочевал вслед за нами со своей будкой.

Только после ареста Богушевич и Фельзенгардт — 29 сентября 1885 года — обнаружился секрет жандармской проницательности. Помощь извне, в частности переход через крепостную стену, должен был организовать некто Пинский — псевдоним «Перина», — оказавшийся провокатором и проваливший почти всю с таким трудом восстановленную организацию. На этого провокатора в 1886 году было устроено покушение, но он был лишь легко ранен. Обвинявшийся в организации этого покушения Ковалевский был приговорен к смертной казни и казнен, другой соучастник этого дела — Гюбшер — отделался 14 годами каторги на Сахалине.

Провал плана побега на время до окончания суда по делу «Пролетариата» заставил нас оставить мысль о побеге... Да и приближавшийся суд направил мысли всех в другую сторону.

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

Объявление приговора административным предвещало их скорую отправку и, как мы тогда считали, разлуку навсегда с товарищами, с которыми до сих пор и работали вместе, и вместе сидели в тюрьме. Особенно тяжело отразилась эта разлука на парах, супружеская связь которых не была освящена браком.

«Законной жене» Эдмунда Плосского — Софье Плосской, урожденной Онуфрович, приговоренной административно к ссылке на четыре года в Западную Сибирь, было разрешено остаться с мужем даже в одной камере до решения его судьбы, а затем последовать за ним на Сахалин, хотя в то же время отправленной из Киева и приговоренной к такому же наказанию жене Фаддея Рехневского — Витольде Рехневской, урожденной Карпович, это не было разрешено, — она была отправлена по месту назначения и только несколько лет спустя последовала за мужем на Кару. Что же касается «незаконных жен» — Александры Ентыс — жены Варынского, Софьи Дзянковской — жены Янковича и Наталии Поль — жены Бардовского, то об оставлении их с мужьями даже и не возникло вопроса... Им разрешили лишь попрощаться с ними и... отправили.

Самая выдающаяся из этих «жен», Александра Ентыс, была членом Центрального комитета, принимала весьма деятельное участие в работе и не была предана суду, как тогда носились слухи, лишь потому, что генерал-губернатор Гурко не счел удобным судить в Варшаве женщину, непосредственно не замешанную в террористических актах. В ссылке Ентыс вышла замуж за Булгакова, с которым впоследствии вернулась в Россию, где примыкала к партии социалистов-революционеров. В 1917 году я встретил ее в Харькове. От прежней Ентыс не осталось и следа. Вялая, апатичная старушка брюзжала на всех и вся... Продолжая себя считать социалисткой-революционеркой, она фактически ничем не отличалась от кадетов и даже правых — и во время деникинщины перебралась за границу, где и умерла.

Софья Пласковицкая — по первому мужу Дзянковская — в первый раз привлекалась вместе со своей сестрой Филиппиной Пласковицкой еще в 1878 году. В «Пролетариате» она активно участвовала только с июля 1884 года и как старый и испытанный партийный товарищ была кооптирована в ЦК, но уже месяц спустя была арестована на квартире Бардовского. Дзянковская отличалась выдержкой и хладнокровием, но из-за отсутствия инициативы не могла претендовать и не претендовала на роль руководителя. По отбытии ссылки она переехала к брату — врачу — в Кяхту и никакого участия в движении более не принимала.

О Наталии Поль я уже упоминал. Известие о казни Бардовского ее окончательно подкосило, она как бы сразу осунулась и вскоре, еще до возвращения из ссылки, умерла.

Ентыс и Дзянковская как-никак принадлежали к выдающимся, и, тем не менее, их хватило весьма не надолго, а о других административных почти и говорить не приходится. В этом отношении у жандармов оказалось необыкновенное чутье. Из 160 человек, дело которых было решено административным порядком, включая в это число и тех, дело о которых приостановлено за неразысканием, вновь участвовало в работе только

шесть: Ян Выгановский, Болеслав Ендржеевский, Ян Поплавский, Александр Дембский, Бронислав Славинский и Витольд Иодко. Но из этих шести человек, несмотря на то, что один из них, Александр Дембский, был одним из руководителей партии, — ни один не пошел по линии, намеченной «Пролетариатом».

Ян Выгановский по возвращении из ссылки принял участие в партии «Народное право», фактически свернувшей знамя социализма. Арестованный вскоре, он умер в тюрьме.

Болеслав Ендржеевский эмигрировал, был одним из основателей ППС (Польской социалистической партии), в которой все время представлял правое — националистическое крыло. До 1905 года жил по преимуществу за границей. Во время VIII съезда ППС громил левое крыло, осмелившееся назвать герб Польши «белого орла» — «белым гусем». На следующем съезде вместе с Пилсудским был исключен из партии и принял активное участие в образовании так называемой «революционной фракции ППС». Арестованный в ноябре 1906 года на одном из собраний, на которых происходило размежевание между правой и «левицей» ППС, а затем освобожденный под залог, Ендржеевский бежал за границу и здесь, освободившись от «левого баласта», развернул полностью свою националистическую программу в наделавшей много шуму статье под заглавием «Координация дома», в которой он задолго до войны, в противопоставление отстаиваемой «левицей» координации с русским революционным движением, настаивал на координации действий всех «смежных» отечественных партий, в том числе и национал-демократии. Это было провозглашение «бургфридена» — гражданского мира — задолго до империалистической войны. До полной реализации своих лозунгов, до вступления во время войны польских социалистов в Галиции с Дашинским во главе в состав «Польского Коло» — объединения всех польских партий в венском парламенте — организации, связанной дисциплиной и не допускавшей никаких отступлений от решений, принятых большинством, причем это большинство было обеспечено за буржуазно-шляхетскими партиями, — Ендржеевский не дожил. Он умер в 1913 году.

Еще ярче фигура Яна Поплавского. Он фактически принимал в «Пролетариате» лишь косвенное и то весьма незначительное участие; был скорее «сочувствующим», чем активным членом. Но все же он «сочувствовал» «Пролетариату», резко выступавшему против националистических настроений. На следствии он вел себя далеко не безукоризненно. На вопрос, откуда взял найденные у него брошюры, он указал на Сонсендского, но, когда ему предъявили Сонседского, сказал, что это не тот. В действительности другого Сонседского не было, и жандармы не преминули воспользоваться этим его показанием.

По выходе из тюрьмы Поплавский сразу переменил фронт или, точнее, возвратился на старые свои позиции — национа-

листа, еще во время русско-турецкой войны 1877—1878 года подготовлявшего вместе с Адамом Шиманским восстание в Польше. Оживленная деятельность «Пролетариата» указывала другим партиям на ту силу, которая в состоянии бороться с царизмом: на пролетариат и крестьянство. Прежние националистические лозунги уже расшевелить массы не могли, а без масс — это националисты уже поняли — о серьезном движении нельзя было и думать. Это было осознано Поплавским. Сочетание демократизма с национализмом — вот то знамя, которое было им развернуто по выходе из тюрьмы. В 1886 году им был основан еженедельник «Glos» («Голос»), в котором под одной крышей ухитрились работать: и марксист—Людовик Крживицкий, и народоволец — Александр Венцковский, и «демократ» — антисемит Гласко Семенецкий... В этом органе, из которого вскоре Крживицкий ушел, Поплавский играл главную роль. Хотя современная национал-демократия до сих пор продолжает видеть в нем своего духовного отца, но всякий, хотя мало-мальски знакомый с русским революционным движением, не может не заметить во всех статьях Поплавского, напечатанных в «Голосе», рабского подчинения русскому народничеству, вначале — народничеству Н. К. Михайловского, а впоследствии... Юзова... Дальнейшая эволюция Поплавского привела его в лагерь звериного национализма, представляемого ныне национал-демократией, где он и оставался до своей смерти, борясь всевозможными средствами с социалистическим движением.

Но, как мы уже упоминали, Поплавский не играл в «Пролетариате» серьезной роли, он лишь на короткое время примазался к партии, и переход его в лагерь национализма не вызвал ни в ком удивления.

Не такова была роль Александра Дембского. Он был не только одним из лидеров, но продолжительное время подвизался именно в борьбе с «патриотами». К нему можно было предъявить другие требования, чем к Поплавскому: на него возлагались большие надежды, как на самого крупного деятеля из уцелевших «пролетариатцев». В первые годы после процесса «Пролетариата», когда еще свежо было «пролетариатское» предание, Дембский высоко держал прежнее знамя: он делал попытки, более или менее успешные, восстановить организацию вместе с Станиславом Мендельсоном и Янковской (женой Мендельсона), руководил из-за границы движением. Фактически более «народоволец», чем «пролетариатец», он в 1888 году начинает принимать деятельное участие в попытках Софьи Гинзбург восстановить народовольческую организацию и возобновить террористическую деятельность. Эта его деятельность совершенно случайно получила широкую огласку. Дембский, вместе с Исааком Дембо (Бронштейном) по дороге на Цюрихберг (под Цюрихом), куда они отправились, чтобы испытать изготовленные ими взрывчатые снаряды, случайно уронил один из этих снарядов.

Последовал взрыв. Смертельно раненный осколками снаряда, Дембо скончался, как только его привезли в госпиталь, Дембский же, легко раненный, с трудом дополз до Цюриха. Здесь ему была оказана медицинская помощь, и он вскоре выздоровел. Ждавшее с нетерпением этого выздоровления швейцарское правительство немедленно выслало его из Швейцарии.

В 1891 году мы встречаем Дембского на международном конгрессе в Брюсселе, где он вместе с другими проводит идею единой польской социалистической партии во всех трех частях Польши: русской, прусской и австрийской. Уже в это время в Дембском проявляется характерный уклон. Прежняя вера в революционную Россию сменяется скептицизмом, прежнее увлечение народничеством превращается в явно враждебное отношение к нему. Принятая на конгрессе польской делегацией резолюция, под которой красуется и его подпись, предостерегает, с одной стороны, от «политически несознательного и весьма часто сомнительного народничества», а с другой — от «российского либерализма». Дембский, как и многие его сверстники, разочаровался в прошлом. Критическое отношение к русскому революционному движению того времени, приведшее многих к революционному марксизму, толкнуло его на путь национал-социализма. 21 ноября 1892 года он принимает участие в съезде польских социалистов из русской Польши, на котором выработана программа польской социалистической партии, в которой в качестве первого и главного пункта было выставлено требование: «самостоятельной польской демократической республики», причем эта «демократичность» иллюстрируется тут же требованием: «прямого, всеобщего и тайного» голосования, но о «равном» умалчивается.

С этого момента Дембский, перекочевавший в Америку, скатывается все более и более на путь национализма. В 1906 году он после раскола ППС примыкает к группе Пилсудского, в 1917 году поддерживает «легионеров», в 1918 году возвращается в «освобожденную» Вильгельмом II Польшу и позволяет ППС использовать себя как «ветерана революции» для вящшего посрамления «предателей-интернационалистов». Sic transit gloria mundi! Так гибнет слава некогда честных революционеров.

Менее ярка эволюция Бронислава Славинского... Он не был вождем. В 1884 году он только начинал свою революционную деятельность. Увлекающийся, горячий, он все же легко подчинялся влиянию других. После удачного вооруженного сопротивления, оказанного им вместе с Дембским и Яновичем, он бежал за границу. Два с половиной года спустя Славинский был арестован в Прусской Польше и за социалистическую пропаганду приговорен к тюремному заключению. Выданный после отбытия наказания прусскими властями России, он был в 1892 году приговорен военным судом за вооруженное сопротивление к смерти, замененной при утверждении приговора царем пожизненной ка-

торгой. Отправленный в Акатуй, он оттуда бежал, очутился в Америке, где попрежнему подчинился влиянию Александра Дембского. В 1905 году он вернулся нелегально в Польшу. Но это уже был не прежний Славинский. Все пережитое им наложило на него свой отпечаток. Он сделался вялым, нерешительным и так и не решился до войны стать ни на сторону «фраков», ни на сторону «левицы». Война, увлекшая многих, столкнула и его с занятой им позиции: «и нашим и вашим». Он стал на сторону пилсудчины, но без веры, без энтузиазма. Что с ним дальше произошло — не знаю.

Из всех перечисленных самым деятельным был Витольд Иодко, но эта его «деятельность» довольно своеобразна, если даже не касаться ее направления. Иодко в «Пролетариате» играл десятистепенную роль: был руководителем какого-то кружка, не то студенческого, не то гимназического. Арестованный жандармами и по окончании следствия приговоренный административно к нескольким месяцам крепости, Иодко по выходе из тюрьмы эмигрирует за границу. Материально обеспеченный, не испытавший на себе и десятой доли тех невзгод, какие приходилось переживать выброшенным за рубежи России политическим эмигрантам, Иодко первые годы эмиграции посвящает окончанию высшего учебного заведения, а затем, с патентом доктора в кармане, выступает на политическую арену, главным образом на литературном поприще, где выступал под псевдонимом Вронского... Родовитый шляхтич, барчук, симпатизирующий социализму, ухитрившийся сочетать марксизм с национализмом и революционность с бонвиванством, Иодко с момента основания ППС стал сателлитом Пилсудского, его сподручником, выполнявшим по его заказу в один присест программы, организационные и тактические директивы и т. д. и т. п. Только от времени до времени, когда кутежи доводили его до «небольшого» нарушения революционной (и не только революционной) этики, наступал перерыв в его работе. «Зюк» (псевдоним Пилсудского) устранял его от работы. Но не надолго. Его амнистировали, и он с новой энергией принимался за прежнюю работу... до нового скандала...

Все этапы эволюции Пилсудского от социализма до бурбонского национализма проделаны и Иодко... И Пилсудский, сделавшись «начальником», не забыл своего верного слуги... Он направил его по дипломатической части... Одну из своих полемических статей против «левой» Иодко озаглавил «Nec locus ubi Troja fuit» (Нет и места, где была Троя). Говоря об этом «пролетариатце», невольно приходится применить эти слова к нему. От идеологии «Пролетариата» в нем ничего не осталось, если вообще когда-либо было. И лишь больно и обидно, что и такие, как он, сохранили почетное звание «бывших пролетариатцев». Он умер в 1924 году, и пепеэсовцы с шумом и треском его хоронили.

Жандармы не допустили «долгих проводов и лишних слез». Административные были очень быстро собраны в путь-дороженьку по «Владимирской дальней сибирской дороге», а нас, 28 человек,—предателя Пацановского все время держали вдали от нас, — перевели в изолированный от других коридор десятого павильона. Трудно сказать, чем это было вызвано: предсудебным ли церемониалом вручения обвинительного акта или же подготовкой помещения для намеченных жандармами к аресту новых обитателей крепости. Быть может, и одним, и другим одновременно.

Первые дни после отправки административных было скучно и тоскливо... Десятый павильон как бы замер. Но заботливое начальство не преминуло доставить нам вскоре новое и довольно оригинальное развлечение. Не помню точно, когда именно, в десятом павильоне, в одной из камер, раздалось пение марсельезы на французском языке, затем карманьолы и других...

— Кто поет? — спрашивали мы через двор поющего....

— Андрей Банькович, — последовал ответ.

Это имя ничего не говорило нашему уму и сердцу.

На последовавшие после этого вопросы Банькович уже не отвечал. Повидимому, жандармы стащили его насильно с окна и перевели в другую камеру. Каким чудом он недели две спустя ухитрился очутиться в одной из камер, выходящих окнами на тюремный двор, не знаю, — но он вновь запел, и мы смогли на этот раз лишь узнать, что он арестован за участие в демонстрации рабочих перед дворцом генерал-губернатора Гурко...

В первый момент мы ему не поверили... Попытались было добиться каких-нибудь подробностей, но не тут-то было. Банькович понимал по-польски, что называется, «пятое через десятое»... Заговорили с ним по-французски — та же история, по-русски — то же самое. Впоследствии оказалось, что он серб, анархист, побывавший уже в тюрьмах Франции и России.

В Варшаве он остановился проездом за границу и случайно наткнулся на первую демонстрацию рабочих в Польше, организованную «Пролетариатом» в связи с разразившимся тогда в Польше кризисом... Увидев на площади перед дворцом генерал-губернатора толпы возбужденных рабочих, Банькович обратился к ним с речью на смешанном польско-русско-сербско-французском языке, а когда, по настоянию рабочих, к ним вышел Гурко, Банькович на ломаном французском языке объяснялся с ним от имени рабочих...

Тут же на площади его не решились арестовать, но, когда демонстранты разошлись по домам, с Баньковичем не поцеремонились и поволокли его сначала в участок, а затем уже и в десятый павильон. Сколько времени он просидел в Варшавской

цитадели, не помню, во всяком случае еще до новых массовых арестов и до начала процесса по делу «Пролетариата» он был выслан административно за границу.

Известие о первой в Польше рабочей демонстрации произвело на нас огромное впечатление. Брошенное в пролетарскую землю зерно социализма начало давать ростки, а «Пролетариат», несмотря на все разгромы, стойко и твердо вел рабочий класс на борьбу... Стойко и твердо, но умело ли? По этому поводу велась в десятом павильоне оживленная дискуссия. Все преклонялись перед энергией ЦК, сумевшего и организовать демонстрацию, и два дня спустя выпустить воззвание к рабочим, что при тогдашних условиях граничило с геройством. Но содержание воззвания, сводящегося к тому, что только социальная революция избавит рабочий класс от кризисов и что поэтому капиталистический строй должен быть разрушен, — в то время не могло найти широкого отклика в массах.

Надо было формулировать конкретные требования, понятные для рабочих и осуществимые, — горячился Варынский. — Отказ в их удовлетворении толкнул бы рабочих на борьбу...

Эта критика все же не ослабляла впечатления, произведенного демонстрацией...

Мы отправили Богушевич коллективное поздравление и приветствовали всю организацию...

Насколько помню, мы не получили, а может быть, и не успели уже получить ответ (после стольких лет трудно установить точные даты событий), так как Мария Богушевич, Розалия Фельзенгардт, Константин Стржеминский и целый ряд других товарищей, всего около 60 человек, очутились под одной крышей с нами. Новоарестованных изолировали от нас и мы лишь с большим трудом установили с ними связь.

Эти аресты произвели на нас впечатление, противоположное тому, какое произвел арест Баньковича. Мы отдавали себе отчет в том, что это полный разгром организации и что потребуется немало сил и труда, прежде чем удастся ее восстановить. До ареста Богушевич и других можно было надеяться, что партия сумеет использовать наш процесс для популяризации социалистических идей среди рабочего класса, теперь уже этой надежды не было.

Между тем время суда приближалось. В одно весьма мало прекрасное утро нас посетил председатель Варшавского окружного военного суда генерал Фридрикс в сопровождении прокурора этого суда полковника Моравского, — того самого, который обвинял Ивана Юльевича Старынкевича в Москве, — и, вручив нам печатный экземпляр обвинительного акта, предупредил нас, что он дается нам лишь для ознакомления, но что впоследствии, еще до открытия судебных заседаний, мы должны будем его

возвратить. Это неслыханное требование вызвало общее возмущение. Мы наотрез отказались его исполнить.

Тучный, пожилой, привыкший к точному исполнению своих приказаний, генерал не без удивления посматривал на нас, недоумевая, как ему быть с этими «не признающими никакой дисциплины бунтовщиками». Он охотно расправился бы с нами «по-генеральски», но ведь дело происходило в Варшаве... На следующий день известие о расправе может уже проникнуть за границу, а тогда... еще не известно, как на это посмотрит Петербург, признающий беззакония, но под условием, чтобы все происходило «шито-крыто».

Обменявшись многозначительным взглядом с Моравским, Фридрикс попробовал было убедить нас, что всякое неисполнение требований может отразиться на нашей судьбе, чего он бы, конечно, не желал, тем более, что ведь не исключена возможность оправдания кое-кого из обвиняемых...

Получив несколько колких ответов, Фридрикс замял вопрос заявлением:

— Ну, об этом будет еще время поговорить и позже...

Не будучи уверенными в том, что у нас не отнимут обвинительных актов насильно, мы немедленно принялись за работу, в 24 часа сняли копию и отправили ее на волю.

Председатель суда, исполнив обряд вручения обвинительного акта, удалился, но прокурор не последовал за ним. Повидимому, он больше всего интересовался Куницким и остался, чтобы ближе его узнать. Моравский первое впечатление производил по сравнению с жандармами и прокурором Янкулио — хорошее. Он скорее напоминал забулдыгу-офицера, чем прокурора. Ограниченный, но развязный, невежа, но не без внешнего лоска, он вступил в полемику, главным образом с Куницким, по поводу того, можно ли вести борьбу за ниспровержение существующего строя, не зная его во всех деталях...

Куницкий настаивал на том, что можно. Достаточно лишь знать общие основания этого строя...

— В чем же, по-вашему, состоят эти общие основания? — вызывающе спросил прокурор.

— В том, чтобы «тащить и не пущать»,—брякнул Куницкий.

Моравский был ошарашен...

— Вас не переспоришь, — заявил он, уходя.

Первое впечатление, произведенное Моравским, было гораздо лучше, чем он того заслуживал. Он не был бесшабашным забулдыгой. Нет. Это был человек, готовый ради карьеры поступиться всем... и совестью, и честью, если совесть и честь когда-либо вообще гостили в этом поганом создании. На процессе Старынкевича он настаивал на применении 249 ст. Улож. о нак., иллюстрируя это требование жестом палача, закидывающего намыленную веревку на шею своей жертвы. На процессе «Пролетариата», после того как он добился применения ко всем обви-

няемым в принадлежности к партии этой же статьи, он вбежал в буфет со словами: «Наконец-то» и хлопнул на радостях рюмку водки.

IV. ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Как только захлопнулись двери за Моравским, мы набросились на объемистый обвинительный акт, заранее предвкушая, какие перлы свободного прокурорского творчества мы в нем найдем. Действительность превзошла все наши ожидания. Обвинительный акт состоял из двух частей: общей, касающейся всей организации, и специальной, формулирующей конкретные обвинения каждого из подсудимых в отдельности.

В начале 1886 года в Москве, по дороге на Кару, Рехневским при моем содействии и при содействии Н. А. Люри был составлен на польском и русском языках отчет о нашем процессе. На польском языке этот отчет издан в том же году в Женеве под заглавием: «Z pola walki» — «С поля борьбы». Из этого издания мы заимствуем более точные данные о содержании этого произведения Моравского. «В общей части, — читаем в этом издании, — приведена история партии «Пролетариат», принципы партии и связь с «Народной Волей», организация партии и ее деятельность. Мы обращаем внимание читателей на то, что история партии в обвинительном акте изображена неверно, а цитаты из партийных изданий тенденциозно искажены».

Обвинительный акт сообщает, что после ареста в 1881 году большинства членов существовавшей тогда «Польской социально-революционной общины» в Петербурге было создано тайное сообщество, принявшее название «Польско-Литовской социально-революционной партии», издавшей свою программу. Во главе этого сообщества стояла более спаянная организация «Rada Sekretna» — «Секретный Совет», впоследствии принявшая название «Ognisko»—«Очаг». Членами «Секретного Совета» были: Станислав Куницкий, Станислав Михалевич, Фаддей Рехневский, Александр Дембский, Эдмунд Плосский и др.

Одновременно с этим в Варшаве возник «Рабочий комитет», издавший свою программу. Руководителем этого комитета был Людовик Варынский. Партия, во главе которой стоял «Рабочий комитет», носила название «Пролетариат» и вела пропаганду и агитацию среди рабочего населения. Затем в 1883 году после переезда Плосского в Варшаву последовало сближение «Очага» с «Рабочим комитетом».

В январе 1883 года происходил съезд. Ни место съезда, ни участники его следствием не обнаружены [1]. На этом съезде были выработаны следующие, весьма важные документы:

1. Протокол съезда представителей различных социально-революционных групп.

---

[1] Об этом съезде, происходившем в Вильно, я уже упоминал.

2. Общие основания программы и организационной деятельности партии «Пролетариат».

3. Конфиденциальный договор Центрального комитета («Пролетариата») с Исполнительным комитетом («Народной Воли»).

Тогда же был создан Центральный комитет, агентом которого стал Варынский. Вскоре после этого из партии «Пролетариат» выделился кружок людей, не сочувствовавших террористическому направлению этой партии, который создал рабочую партию «Солидарность» и издал два воззвания к рабочим. Центральный комитет, членами которого сделались в марте 1883 года Куницкий и Рехневский, организовал в некоторых городах России так называемые «колонии», распространяя агитацию среди рабочих в более крупных промышленных центрах Царства Польского, и вступил в связь с «Народной Волей».

В следующей главе говорится о принципах партии и приводятся отрывки из некоторых партийных документов, носящих программный и организационный характер. Между прочим, приводится отрывок из «общих основ программы и организационной деятельности партии «Пролетариат», а также отрывки из конфиденциального договора Центрального комитета с Исполнительным комитетом.

Переходим к организации и деятельности «Пролетариата», как она представлена в обвинительном акте.

Во главе партии стоял Центральный комитет, который руководил конспиративной деятельностью при помощи агентов различных степеней, в зависимости от доверия, каким они пользовались. Рабочим движением в Варшаве руководил «Рабочий комитет», у которого также были свои агенты. Такие же комитеты были в Лодзи, Згерже, Белостоке и других городах. Рабочая организация состояла из большого числа отдельных кружков, представители которых были связующим звеном между ними и «Рабочим комитетом». Кроме того имелись кружки среди интеллигенции, различные группы со специальными функциями и колонии в некоторых городах России. Для террористических целей была организована «Боевая дружина». Денежные средства собирались путем периодических сборов и взносов, обязательных для членов рабочей организации. Более крупные суммы вносились более зажиточными членами, сочувствующими партии, и колониями.

Собрания, на которых обсуждались дела партии, были четырех родов: 1) собрания Центрального комитета, 2) собрания «Рабочего комитета», 3) собрания кружков, входящих в состав рабочей организации, 4) собрания членов партии.

У партии «Пролетариат» была в начале 1883 года своя типография, которая первоначально находилась в Валицове (предместье Варшавы) в квартире необнаруженного лица, проживавшего под фамилией Эйбенщиц. В декабре, ввиду опасений

обыска, типография была отсюда вывезена и передана на хранение крестьянину Василевскому, проживавшему в тринадцати верстах от Варшавы за Маримонтской заставой. У Василевского был устроен склад типографских материалов.

Впоследствии, в марте 1884 года, была оборудована новая типография в магазинах мыла и свечей «Яна Гоха и сына», на углу Францисканской улицы и ул. Налевки. Там печатался № 5 «Пролетариата»[1], но во время обыска типографии там уже не оказалось. Все остальные типографские материалы были найдены в октябре 1884 года у Василевского. Партия сверх того пользовалась так называемой «летучей типографией», устраивая ее в различных квартирах.

Располагая такими средствами, партия имела возможность напечатать следующие издания: 1) большое воззвание «Рабочего комитета», составляющее программу партии; 2) воззвание к рабочим по поводу волнений в мастерских Варшавско-Венской железной дороги; 3) воззвание по поводу изданного варшавским обер-полицмейстером распоряжения о санитарном осмотре женщин, работающих на фабриках и заводах, призывающее рабочих к сопротивлению; 4) воззвание к работницам, извещающее от отмене распоряжения благодаря сопротивлению, оказанному рабочими; 5) воззвание к гражданам по поводу коронации; 6) манифест Центрального комитета к крестьянам на польском, литовском и немецком языках; 7) воззвание Красного Креста (о помощи заключенным и их семьям); 8—12) пять номеров газеты, являющейся органом партии под названием «Пролетариат»; 13) несколько брошюр для рабочих и молодежи; 14) воззвание к рабочим по поводу производимых обысков и арестов; 15) воззвания по поводу убийств заподозренных в шпионстве Скржипчинского, Гельшера и др. и т. д. и т. п.

Все эти издания были распространяемы в огромном количестве; они расклеивались на улицах, рассылались в разные города, раздавались на ярмарках и богомольцам в Ченстохове и в других городах. В частности, «Манифест к крестьянам» и воззвание по поводу коронации были распространены в огромном количестве среди крестьянского населения Польши и Литвы.

Независимо от этого партия привозила из-за границы в большом количестве книги и брошюры пропагандистского и агитационного содержания. Летом 1882 года в окрестностях Ченстохова были обнаружены приготовления к перевозу через границу транспорта книг, часть которых попала в руки властей. В марте 1884 года был арестован в Верушове (Калишской губернии) Вацлав Гандельсман, у которого найден полученный из-за границы транспорт революционных изданий.

---

[1] Жандармская фантазия: № 5 «Пролетариата» печатался на Золотой улице, в квартире Славинского.

Нуждаясь для своих целей в конспиративных квартирах и складах для хранения вещей, партия устраивала их в квартирах Выгановского, Варпеховского, Остерлофа, Крживоблоцкого, Кона, мирового судьи Бардовского и других.

Признавая одним из пунктов своей программы террористическую деятельность, партия «Пролетариат» обзавелась револьверами, кинжалами, кастетами и ядами; организовала «паспортное бюро», занималась изготовлением взрывчатого вещества панкластит посылала предостережения фабрикантам, грозила смертью шпионам и предателям, а также лицам, желавшим выйти из партии (жандармская выдумка), постановляла и печатала приговоры к смерти и, наконец, совершила целый ряд тяжелых убийств и покушений на частных (!!!) лиц и чиновников, а именно:

1. В октябре 1883 года было произведено покушение на жизнь рабочего Сиремского, заподозренного в предании властям членов партии («частное лицо!»).

2. В марте 1884 года вторично произведено покушение на этого же Сиремского в Згерже.

3. В мае 1884 года убит в Згерже Франц Гельшер, обвиненный в предательстве (тоже частное лицо).

4. В августе 1884 года убит в Варшаве кондуктор Скржипчинский (шпион-провокатор).

5. Обнаружено подготовлявшееся покушение на товарища прокурора Янкулио и жандармского подполковника Секеринского.

6. Обнаружено подготовление к взрыву панкластитом камеры прокурора с целью лишить жизни производивших дознание.

Этим кончается общая часть обвинительного акта. На конкретных обвинениях каждого из подсудимых в отдельности мы не останавливаемся.

В заключение этой главы приходится сделать лишь одно замечание. Перед составителем обвинительного акта стояла нелегкая задача. Ему предстояло, с одной стороны, представить рабочее движение в самых минимальных размерах, так как под сенью царской опеки никакого недовольства быть не могло и все население блаженствовало и молилось на царя, как на отца и благодетеля. Но, с другой стороны, ему предстояло воздвигнуть виселицы и, следовательно, представить это движение как грандиозное и угрожающее опасностью существовавшему государственному строю. Этим объясняются поразительные противоречия в обвинительном акте, которые в обыкновенном суде могли бы быть так использованы защитой, что если бы обвиняемые дали на это свое согласие, то от обвинения не осталось бы камня на камне. Но это был суд над политиками, и эти политики не позволяли защитникам умалять размеров и значения движения, а затем — это был военный суд — суд, в котором приказ сверху: «быть по сему» является «эрзацом» судейской совести.

Как только мы ознакомились с обвинительным актом, перед нами встал вопрос о защитниках. Варынский заявил, что он не возьмет защитника, но одновременно с этим настаивал, чтобы все остальные обратились к помощи защиты.

— Ведь если не считать нескольких человек родных, защитники будут единственными свидетелями всего, что будет происходить на суде... А нам нужна огласка... Если мы хотим, чтобы в галицийской и познанской прессе появились отчеты о суде, то без защитников этого не достигнем, а они по патриотическим соображениям постараются разгласить на весь мир, как деспотическое русское правительство расправляется с польскими рабочими и с польской молодежью.

Это был веский аргумент, но не единственный. Из числа 29 подсудимых был 1 мировой судья, 2 окончивших юридический факультет, 5 бывших студентов, 1 конторщик, 3 военных и 17 рабочих. Обвинение против многих из подсудимых было настолько шатко, что уже после объявления председателя об окончании судебного следствия защита обратила внимание суда, что за все время судебного разбирательства фамилия обвиняемого городского рассыльного Словика ни разу не упоминалась. При таких условиях оставлять без защиты многих рабочих, относительно которых еще не исчезла надежда, что их удастся вырвать из цепких рук жандармов, было бы преступлением. Не подозревая в то время еще того, что приговоры были заранее постановлены и что весь суд—это только комедия, мы на целом ряде заседаний составили планы, как спасти Петрусинского, Блиоха, Дегурского и Гельшера — рабочих г. Згержа, обвиняемых в убийстве провокатора Гельшера только на основании показаний предателя Пацановского. Один из обвиняемых в косвенном участии в этом убийстве, Поплавский, по неосторожности на дознании косвенно подтвердил показания Пацановского. Это его мучило, и он настаивал на том, чтобы ему разрешили заявить на суде, что он при содействии Пацановского убил Гельшера. Ввиду того, что Поплавский был из-за своего неосторожного показания близок к помешательству и совершенно не скрывал того, что если ему не позволят взять на себя «вину» Петрусинского и Петрусинского приговорят к повешению, то и он покончит с собою, то в конце концов ему это было разрешено. Но и в этом вопросе нельзя было обойтись без помощи защиты, которая могла предусмотреть всевозможные вопросы, какие будут ему поставлены такими опытными инквизиторами, как постоянный член суда Стрельников, родной брат знаменитого Стрельникова, убитого по приговору Исполнительного комитета «Народной Воли» Халтуриным и Желваковым.

Вопрос о приглашении защитников обсуждался, но никем не оспаривался, хотя у многих из нас были сомнения, не попытается ли защита использовать суд для своих политических

целей. В конце концов было принято решение, по которому каждый из нас должен был поставить своему защитнику ультимативное требование не выходить в защите за пределы поставленных нами рамок.

В этом решении мы не предусмотрели одного. Кроме нас в вопросе о приглашении защитников принимали участие наши ближайшие родственники, встревоженные тем, что нас ожидало. Мы были в тюрьме, а они — на воле. Они имели возможность подбирать защитников, а мы могли лишь отвергнуть избранных ими. При таких условиях в приличную в общем семью защитников не могли не пробраться и уроды. Таким уродом оказался выписанный отцом Куницкого откуда-то из России присяжный поверенный Городецкий, личность бездарная, но нахальная, невежественная, но самоуверенная. В его речи фигурировал и «гнилой Запад», и «молодящаяся, красящаяся, затягивающаяся в корсет Европа, заражающая молодую мощную Россию ядом социализма», и многое другое. Многие из наших защитников искупали политическое невежество глубоким изучением дела и блестящим юридическим анализом. Городецкий был невеждой и как юрист, с делом не был знаком и всю свою защиту основал на опечатке в обвинительном акте... Во время его речи Куницкий рвал и метал, пока наконец угрозой покинуть зал судебного заседания он не приостановил этот брызжущий грязью и невежеством фонтан адвокатского красноречия.

Совершенно другую опасность, правда, нам тогда неизвестную, представлял знаменитый адвокат — Владимир Спасович. Он, не считаясь с требованием своих подзащитных, придерживался вполне определенной системы: представлять все революционное движение как раздутый мыльный пузырь. На «процессе 17-ти» (Грачевского, Богдановича-Кобозева и др.) он, защищая Прибылевых, коснувшись в защитительной речи организации партии, заявил: «Исполнительный комитет «Народной Воли» напоминает Великую Римскую империю. Она не была «великой», не была «римской» и не была «империей». Названный комитет не был «Исполнительным», не был «комитетом» и уж, конечно, не выражал воли народа».

На нашем процессе, анализируя ст. 249, он доказывал, что она применима к Стеньке Разину или Пугачеву... «Большому кораблю — большое плавание... Но разве «Пролетариат» был хотя бы маленьким корабликом?»

Но этим не ограничивалась опасность со стороны Спасовича. Он представлял в Польше вполне определенное политическое направление и вместе с другими коллегами того же направления использовал процесс для своих политических целей. Городецкий доказывал, что виной распространения социализма является «гнилой Запад», Спасович — валил на Россию. «Посмотрите, господа судьи, на скамью подсудимых, — восклицал он с пафосом, — Варынский, Куницкий, Плосский, Рехневский, Бардовский, Лю-

ри — все это воспитанники русских учебных заведений... Кто же остается? Предатель Пацановский и первокурсник Кон». После этого патетического восклицания следовало указание на связь с «Народной Волей», отречение от всех национальных идеалов и вывод: «К стремлениям подсудимых можно применить знаменитое восклицание: «Finis Poloniae» (Конец Польше). Наряду с этим Спасович весьма остроумно доказывал, что русское правительство отнюдь не пострадало от деятельности подсудимых, что пострадавшим является польское общество, а оно не представлено на суде... Это был намек на то, что этот суд военный, что за судейским столом нет присяжных, которых вообще Польша была лишена.

Другие защитники, поддерживая в общем Спасовича, весьма ловко оттеняли сочувствие подсудимым, как жертвам русского правительства, от враждебного отношения к проповедуемым ими идеям. «Накажите наших детей, — воскликнул один из защитников, — но возвратите их нам», то есть не предавайте их казни...

Это сочувствие «отцов-защитников» к «детям-подсудимым» особенно четко вылилось в речи бывшего повстанца, каторжанина Краевского, седого, как лунь, старика, — быть может, действительно страдавшего оттого, что «дети» изменили традиции и пошли по другому пути. В этом отношении он резко отличается от другого знаменитого польского адвоката — Пепловского, который наотрез отказался принять участие в защите «изменников идеи патриотизма».

Из других защитников следует упомянуть приобревшего впоследствии весьма незавидную славу, депутата первой и других Дум Франца Новодворского и московского присяжного поверенного Харитонова. Новодворский в то время был еще юным, только что выдвигавшимся из серой адвокатской среды защитником. Он чуть ли не единственный из защитников изучил и понял во всех деталях программу «Пролетариата» и, возражая прокурору, упорно стоявшему на том, что мы «делали революцию», представил следующую картину.

«По синим волнам океана корабль одинокий несется. Буря бросает его из стороны в сторону... Кораблю грозит неминуемая гибель. В это время на берегу моря жители запасаются лодками, баграми, веревками и распределяют между собою роли, как завладеть всем находящимся на корабле. Можно ли этих людей обвинять в том, что они творили бурю? Так и партия «Пролетариат». Она предвидит гибель капиталистического строя и готовится использовать момент крушения капиталистического корабля... и только».

В то время нам казалось, что один Новодворский нас понял и сочувствует нам не только как жертвам царизма, но и как носителям определенной идеи. В действительности, Новодворский пошел по совершенно другому пути, и, когда я возвратился в 1904 году из Сибири, я застал его в стане тех, кто организовал

боевые дружины против социалистов. Он был тогда активным национал-демократом и ухитрился наживать политический капитал на борьбе с социалистическим движением.

Харитонов на процессе «Пролетариата» играл весьма положительную роль. В то время как варшавские защитники, запуганные постоянными гласными и негласными замечаниями председателя Фридрихса, держали себя «тише воды, ниже травы» и не рисковали вскрывать все проделки жандармов, только Харитонов и отчасти Спасович выводили жандармов, а косвенно и прокурора на чистую воду. Они вытащили и предъявили публично суду целый ряд протоколов с подписью допрашиваемого не под протоколом, а... на следующей странице. Белановский и Янкулио не церемонились. Они заставляли запуганных рабочих подписывать чистый лист бумаги, а затем уже сами заполняли лист собственным творчеством, причем неряшливость их в этом творчестве доходила до того, что они не заполняли листа до самой подписи. Публичное изобличение этих господ имело огромное значение. И в этом — несомненная заслуга Харитонова. Защита его тоже была смелая и продуманная. Он, не стесняясь, разделывал жандармов за все их проделки... Все мы сохранили о Харитонове самое лучшее воспоминание.

VI. СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Я остановился на характеристике защитников. Их участие в суде имело в том отношении значение, что на суде впервые встретились лицом к лицу все три боровшиеся друг с другом элемента: царское правительство, представленное и судьями, и прокуратурой, по-царски расправлявшееся в завоеванной стране, польское «общество» в лице защитников и представители интересов рабочего класса.

И в то время как роли правительства и подсудимых были ясны и несложны, роль защиты, как мы уже указали, была неимоверно трудна: ей приходилось проплывать между этими двумя скалами с риском пострадать как от одной, так и от другой...

У судей — трех майоров, которым был придан в качестве «дядьки» матерый палач Стрельников и строго выполняющий все приказания «свыше» председатель — генерал Фридрикс, не говоря уже о прокурорах, не было таких затруднений. Им приказывали, и они строго и точно выполняли приказ.

Это было заранее известно, хотя никто не предполагал, что этот суд превратится в такую явную пародию на самого себя, каким он в действительности оказался... Несмотря на это, все подсудимые без исключения отстаивали необходимость участия в суде, — необходимость через головы судей в последний раз обратиться к рабочим массам с призывом к борьбе, использовать суд для агитационных целей.

Это придавало суду специфический характер. Подсудимые, признавшие свою принадлежность к партии, с первого же момента фактически выступили в роли обвинителей. При опросе о виновности Варынский, который задавал тон всему процессу, резко подчеркнул, что в политических процессах о виновности не может быть и речи, и если мы посажены на скамью подсудимых, то только потому, что в России существует самодержавно-полицейский режим и люди привлекаются к суду за то, что свободно проповедуется в других странах. С другой стороны, никто из признавших себя членами партии не делал никаких попыток опровергнуть факты, приписываемые ему, если только эти факты не находились в противоречии с идеями партии... Во многих случаях происходило как раз наоборот. Более всего отягчающим вину подсудимых обстоятельством был заключенный с партией «Народной Воли» боевой союз. Очень многие были арестованы до заключения этого союза, другие по конспиративным соображениям до своего ареста не знали о его заключении, и, тем не менее, на суде каждый из признавших себя членом партии заявлял о своей солидарности с «Народной Волей».

— Даже с убийством государя императора? — ловил Стрельников или прокурор...

— Да! — следовал ответ.

Заметив это, инквизиторы пытались ловко построенными вопросами выпытать то, что, несмотря на все усилия жандармов, осталось нераскрытым, но на это следовал краткий, но решительный ответ:

— Не желаю отвечать!

Благодаря такой постановке вопроса все следствие было сосредоточено на том, чтобы вырвать из цепких рук жандармов тех, против которых улики были весьма шатки, и опровергнуть показания провокаторов, предателей и лиц, которые сошли с ума и показаниями которых пользовались жандармы и прокуратура для того, чтобы предать казни или сослать на каторгу оговоренных лиц.

Это была борьба за жизнь товарищей—борьба, исход которой был заранее предрешен приказаниями «свыше».

Обвинение основывалось главным образом на показаниях провокаторов, шпионов, предателей и косвенно на документах, найденных во время обысков, и на некоторых неосторожных показаниях обвиняемых, как Поплавского, о котором я уже упоминал.

Его показание было одним из самых драматических моментов во всем процессе. На вопрос, что вы знаете об убийстве Гельшера и об участии в нем Петрусинского, Поплавский ответил: «Петрусинский невиновен. Я убил Гельшера»... Жуткая тишина воцарилась в суде. Судьи, прокурор, защита, присутствовавшая на суде, горсть родственников, жандармы — были ошарашены. Первый очнулся Стрельников. Он спросил:

— С какой стороны вы стреляли?

Поплавский, подумав, ответил:

— С правой.

Так оно и было. Но то, что он не сразу ответил, а лишь подумав, дало возможность Стрельникову ослабить впечатление сделанного им показания.

Палачи с облегчением вздохнули. Благодаря этим нескольким секундам раздумья можно было подвергнуть сомнению показание Поплавского и этим спасти достоверность показаний предателя Пацановского.

Не менее трагичен был момент опроса Бардовского по поводу найденной у него рукописи воззвания к военным. Бардовский не был членом партии; он лишь как старый либерал, шестидесятник, сочувствовал всякому движению против самодержавия. Этим партия воспользовалась, и так как он был коронным мировым судьей, то квартира его считалась вполне безопасной, и у него хранились самые важные документы. При обыске у него наряду с этими документами была найдена рукопись воззвания к военным.

Я присутствовал при том, как это воззвание составлялось. Бардовский часто брюзжал по поводу того, что воззвания не так пишутся, как бы это следовало. Куницкий, отражая этот упрек, подзадоривал:

— А ну покажите нам, как надо, напишите сами...

Бардовский тут же сел и написал.

Это было за две недели до рокового дня его ареста. Воззвание не было напечатано и до обыска покоилось в бумагах Бардовского. Одной из причин этого было то, что у Бардовского был до невозможности неразборчивый почерк и, независимо даже от конспиративных соображений, воззвание необходимо было переписать для того, чтобы его можно было разобрать при наборе.

Захватив это воззвание, жандармы оказались в весьма затруднительном положении. Из отдельных слов они могли заключить, что содержание его «в высшей степени преступно», но установить это содержание они не могли.

На суде это воззвание фигурировало как уличающий Бардовского документ... Председатель предложил Бардовскому прочитать его... Бардовский не счел возможным отклонить это предложение, вышел на середину зала и прочел...

Воззвание было составлено прекрасно... Бардовский, читая его, увлекся и по залу разнеслись слова:

«А буде понадобится царю поставить виселицы по всему лицу земли русской, назначаются три майора, которые беспрекословно выполняют волю пославшего их...»

Эти «три майора» сидели за судейским столом и при звуке этих слов опустили глаза долу...

Весь зал замер... Подсудимые, публика, защитники... Только

Стрельников ехидно улыбался, почуяв, что намеченная жертва от него не уйдет.

Окончив чтение, Бардовский среди всеобщей тишины возвратился на свое место... В этот момент и он и мы все сознавали, что участь его решена, что он сам себе прочел смертный приговор.

Другие эпизоды следствия уже не были столь драматичны, а иные были настолько комичными, что вызывали взрывы смеха на скамье подсудимых...

Самым комичным было показание какого-то офицера пограничной стражи, который, напав на след контрабанды книг через границу, принял все меры к поимке виновных... Он расставил в разных пунктах караулы, оставил в определенном месте часть транспорта на приманку, каким-то чудом раздобыл адрес и выслал телеграмму с сообщением, что «товар уже готов», продавец ждет, необходим срочный приезд и т. д. и т. п. Все это было ретивым офицером рассказано с апломбом, самоуверенно. Он рисовался перед начальством своей распорядительностью. Но, — тут храбрый воин снизил тон, — «приманка» таинственным образом исчезла, и никто не приехал...

— Из скольких слов состояла телеграмма? — с явной насмешкой задал ему вопрос Варынский.

— Из шестидесяти! — последовал ответ.

— Многовато! — съязвил Варынский.

Даже судьи не могли удержаться от смеха при этом ответе, поняв, что эта длинная телеграмма и предупредила нас о провале и из-за нее были приняты все меры, чтобы спасти и часть транспорта, и людей.

Комичны были и провокаторы, тут же, на суде, сочинявшие целые воззвания, якобы изданные «Пролетариатом», но не попавшие в руки жандармов... По их заявлениям, они их якобы зазубрили наизусть и теперь перед судом воспроизводили...

Но ход следствия на каждом шагу выявлял то, что решение по делу было заранее принято и весь допрос подгонялся под это решение. Ради этой цели показания зарезавшегося в припадке умоисступления Загурского были признаны заслуживающими доверия, жандармы и прокуроры допрашивались под присягой в качестве свидетелей по вопросу о нормальности ими же допрошенных, несмотря на то, что допрос ненормальных карается по закону, и т. д. и т. п.

И по мере того как веденное таким образом следствие подвигалось вперед (а длилось оно около месяца), для всех становилось ясным, что все это только комедия, что приговоры давно предрешены...

ПРЕНИЯ СТОРОН

Как только председатель объявил об окончании следствия, начались обвинительные речи четырех военных прокуроров при

очень торжественной обстановке. Зал заполнился генералами, посредине зала было поставлено кресло, на котором восседал генерал-губернатор Гурко, как коршун впившийся глазами в подсудимых...

Речи прокуроров были шаблонны... В них на каждом шагу подчеркивалась «мученическая кончина царя-освободителя» — «убийство священной особы государя императора», совершонное той партией, с которой партия «Пролетариат» вступила в союз... Прокурор Моравский выбивался из сил, чтобы подвести под ст. 249, предусматривающую смертную казнь, тех подсудимых, которые были арестованы до заключения союза с «Народной Волей» и до каких бы то ни было террористических актов, и доказывал, что они как основоположники партии ответственны за все, что совершено партией.

На этот способ обвинения Спасович в своей защитительной речи очень остроумно возразил, что в таком случае Христа можно привлечь за скопчество... Но для суда, конечно, никакие доводы не существовали. Он применил ко всем 249 статью.

Более оригинален был другой прокурор, но он здорово поплатился за эту оригинальность. Обрушиваясь на подсудимых громовой речью, он с пафосом выпалил:

«Они выступают против самодержавия... Да они — хуже всякого самодержавия...»

Гурко при этом заерзал на стуле и через адъютанта послал не по уму ретивому защитнику самодержавия: «Дурак».

О речах защитников я уже говорил. Юридически они разбивали в пух и прах обвинение, не оставляя в нем камня на камне и доказывая, что о применении ст. 249 не может быть и речи...

Прокуратуры это не смутило. Моравский встал и нагло заявил, что, поскольку ему известно, «высшие сферы» разделяют его взгляд и настаивают на применении этой статьи. Этого было для суда достаточно.

Но судебный обряд требовал, чтобы подсудимым было предоставлено «последнее слово», а не имевшему защитника Варынскому — слово для защиты...

Предупрежденный о том, что предстоит речь Варынского, в суд явился генерал-губернатор Гурко. Личность Варынского импонировала и ему...

А Варынский, предупредив, что фактическая сторона обвинения его весьма мало интересует, в блестящей речи развил программу партии, обрисовал положение рабочего класса в Польше, с цифрами в руках доказал, что условия работы рабочих таковы, что процент раненых на производстве превышает процент раненых во время русско-турецкой войны. Он коснулся вопроса о терроре, указал, что убийства шпионов и провокаторов не могут подойти под понятие террора, так как это только акты самообороны, вызванные существующим режимом, сталкиваю-

щим партию в подполье и заставляющим ее действовать тайно. «Тайные общества, — напомнил Варынский, — в которых принимали участие короли и даже папы, тоже смертью карали за предательство». Но из этого не следует, что можно партию «Пролетариат» обвинять в стремлении насильственным порядком низвергнуть в данный момент существующий строй. Мы — не утописты, не питаемся иллюзиями. Мы — не вне истории, а, наоборот, подчинены ее законам. И поэтому мы не производим революции, а лишь готовимся к ней, организуем массы для революции. Мы отдаем себе равным образом отчет в том, что нет правительства в мире, которое бы находилось вне зависимости от существующих в данном государстве классов. Рабочий класс, распыленный, неорганизованный, никакого воздействия на политический режим не производит, в то время как эксплоатирующие его классы полностью используют свое положение для отстаивания своих классовых интересов. Наша цель — организовать рабочие массы и этим поднять их удельный вес в государстве и заставить правительство считаться с его требованиями, считаясь одновременно и с тем, что строй, покоящийся на эксплоатации и гнете миллионов, удержаться не может и что пролетариат к этому моменту должен быть организован и проникнут классовым сознанием, чтобы с честью выполнить возложенную на него историей миссию могильщика капитализма.

Я не привожу дословно речи Варынского и ограничиваюсь лишь изложением краткого содержания ее, но не могу не отметить, что речь эта, выслушанная не только всеми подсудимыми, но и всеми присутствовавшими на суде буквально с замиранием сердца, произвела потрясающее впечатление.

Взволнованный Спасович, как только умолк Варынский, подбежал к нему и долго жал ему руки.

По-своему реагировал на эту речь генерал-губернатор Гурко. Обращаясь к защитнику Харитонову, он сказал:

— Умный шельма!

«Умный», — и поэтому его насмерть замучили в Шлиссельбурге...

Речь Варынского, которую он закончил заявлением, что он не только солидарен, но полностью берет на себя ответственность за все, что совершено партией после его ареста, должна была дать понять суду, что, за исключением предателя Пацановского, нельзя ждать ни от кого из подсудимых раскаяния или просьбы о смягчении участи...

И, тем не менее, суд ждал этого.

Последнее слово было предоставлено подсудимым, каждому в отдельности, в расчете на то, что в отсутствие товарищей, поставленный один-на-один с теми, в чьих руках была его судьба, тот либо другой подсудимый, чтобы спастись от виселицы, принесет повинную, покается, попросит о снисхождении. Но никто не дрогнул.

Подсудимые один за другим входили в зал, громили существующий режим гнета и эксплоатации, и если выражали раскаяние, то только в том, что слишком мало успели сделать для достижения цели, и гордо заявляли о своей солидарности с героическими русскими революционерами.

Это было настолько внушительное выступление, что суд не решался ни перебивать, ни останавливать подсудимых. Один раз только он попытался это сделать во время речи Куницкого, когда он начал клеймить жандармско-полицейский режим, но когда Куницкий крикнул: «Не забывайте, судьи, что это в полном значении этого слова м о е п о с л е д н е е с л о в о!» — председатель смутился и сказал: «Продолжайте».

И Куницкий продолжал клеймить...

VII. ПРИГОВОР

Суд удалился для обсуждения вопроса о ст. 249. Это был главный и основной вопрос. Эта статья, предусматривающая только одно наказание — смертную казнь, не предусматривает никаких смягчений, и применение ее было равносильно присуждению всех, признанных виновными, к смертной казни. Защита наивно надеялась на то, что это удержит суд от применения этой статьи, так как ей казалось чудовищной возможность воздвигнуть в то время двадцать девять виселиц... Она не учитывала того, что надо же царю предоставить возможность широкой «милости»...

Суд не внял голосу защиты. 249 ст. была применена.

С этого момента дуновение смерти пронеслось по залу суда. Основное было решено. Оставалось — лишь воздание каждому из подсудимых по заслугам.

Суд, повидимому, боялся демонстрации со стороны подсудимых и для объявления приговора разбил их на группы...

Опасаясь, что нас после приговора изолируют друг от друга, мы заранее условились, что каждый при входе во двор десятого павильона цитадели громко прокричит свой приговор.

Объявление приговора происходило в первом часу ночи...

Мы все насторожились...

И среди мрака и тишины ночи раздались один за другим сообщения:

— Куницкий — смерть!

— Бардовский — смерть!

— Люри — смерть!

Тут последовал перерыв. Мы думали, что этими тремя ограничились смертные приговоры... Кое-кто выразил надежду, что идет расправа с интеллигентами, но что рабочие будут спасены.

Эти надежды очень скоро рассеялись.

Перерыв был вызван уводом одной группы и приводом другой. И минут через десять вновь раздались мрачные сообщения:

— Петрусинский — смерть!

— Оссовский — смерть!

— Шмаус — смерть!

Вновь воцарилась тишина, жестокая, тягостная.

Но суд ограничился этими шестью жертвами...

Следующие 18 человек были приговорены к 16 годам каторги. Это были все остальные, за исключением меня, в то время несовершеннолетнего и потому приговоренного одной степенью ниже—к 10 годам и 8 месяцам каторжных работ, Бугайского—еще более молодого—к 6 годам, предателя Пацановского—к 10 годам 8 месяцам и не обвинявшихся в принадлежности к партии офицеров Игельстрома и Сокольского, приговоренных на поселение с лишением прав.

Приговоры эти объявлялись в отсутствие публики. Присутствовали лишь защитники, из которых многие не могли удержаться от слез. Приговоренные отнеслись к приговору «деловым образом»... Они решили использовать этот приговор в интересах движения и обратились с письмом к «братьям рабочим на воле» (в то время термин «товарищ» только начинал входить в употребление). В этом письме сообщалось, что все подсудимые приняли спокойно приговор и жалеют лишь о том, что им не удалось сделать большего, чем сделали, и что они надолго будут оторваны от работы.

«Правительство просчиталось, — говорилось дальше в этом письме. — Оно думало запугать, а в действительности оно возбудило лишь во всех чувство возмущения и негодования. Даже непонимающие, за что мы боремся, поймут, что не может быть дурной идея, ради которой люди жертвуют жизнью.

И поэтому, да здравствует суд, позаботившийся о том, чтобы наше дело стало популярным. Мы должны быть благодарны Гурко, что он нашим процессом укрепил созданный нами фундамент».

Вслед за этим следовал призыв: «Принимайтесь же, братья, за работу в том же направлении, дабы все рабочие наконец поняли, что улучшение судьбы рабочих возможно и что оно зависит от объединенных усилий всех трудящихся. Когда все это усвоят и пожелают руководствоваться этим принципом, наступит желанный день. Прощайте, братья. Да здравствует рабочее дело! Да здравствует социальная революция!»

К этому письму присоединили еще частные письма к рабочим Куницкий и Маньковский.

Приговор был объявлен 20 декабря 1885 года.

Несколько дней спустя нас вновь вызвали группами в суд для объявления приговора в окончательной форме, а затем приговоры были отправлены в Петербург на утверждение царя.

День 27 января 1885 года навсегда будет памятен всем, осужденным по делу «Пролетариата».

Со времени объявления приговора прошел уже сорок один день. Всем казалось ясным, что все ухищрения военной прокуратуры и военного суда не привели ни к чему. Петербург, повидимому, не поддался на аргументы, по которым выходило, что члены польской социалистической партии «Пролетариат», заключившей союз с «Народной Волей», — с той партией, которая совершила «ужасное злодеяние» 1 марта 1881 года, все подлежат смертной казни через повешение.

Для суда, получавшего прямые предписания от Гурко, такие аргументы не только были, но и должны были быть убедительными, но казнить в то время 29 человек в Варшаве было немыслимо... Военному суду пришлось поэтому отделить козлов от агнцев, для последних изобрести «смягчающие вину обстоятельства», в некоторых случаях до того нелепые, что вызывали улыбку: старикам вина смягчалась «по молодости лет» (случай с Блиохом, Дегурским, Форминским и др.); организаторам, вдохновителям, многолетним борцам, как Варынский, Дулемба и др. — «по легкомыслию» и т. д.

В итоге такого отбора получилось, как мы уже говорили, всего шесть смертных приговоров. Приговоры эти имели определенную цель — терроризирование соответственных общественных сфер: для устрашения университетской молодежи приговорили к смерти студента-путейца Станислава Куницкого; смертный приговор, вынесенный русскому коронному мировому судье Петру Васильевичу Бардовскому, должен был устрашить чиновничью среду; приговор над военным инженером, капитаном Николаем Адольфовичем Люри, преследовал ту же цель относительно военной среды. Наконец для устрашения рабочих были избраны жертвы в лице Яна Петрусинского — рабочего-ткача из Згержа, Михаила Оссовского — рабочего из Варшавы и Иосифа Шмауса — рабочего из Лодзи. В этих трех городах рабочее движение было особенно сильно.

Я не стану описывать того впечатления, какое произвели эти приговоры на нас остальных, которых «чаша сия» миновала. Скажу только, что мы опасались главным образом за участь Куницкого: он принимал деятельное участие в «Народной Воле», он в свое время увез из Петербурга разыскиваемого жандармами Дегаева, за поимку которого была даже назначена награда; он был одним из деятельнейших участников «Пролетариата»; он, наконец, сыграл немаловажную роль при заключении союза между «Пролетариатом» и «Народной Волей»... На него не мог не обрушиться гнев жандармов вседержителей...

Но остальные?.. Бардовский — типичный шестидесятник-конституционалист, в минуту глубокого негодования и возмущения поведением военных, расстрелявших в Жирардове безоружных

рабочих (в Польше это практиковалось в 1883—1884 гг.), составивший прокламацию к военным, найденную у него в рукописи, но нигде не напечатанную, никогда не принадлежавший к партии, о чем и жандармы и судьи знали... Он, этот заваленный с утра до вечера служебной работой судья, — чем он был опасен? За что его было казнить? За что было казнить Люри, относительно которого даже военный суд не нашел других обвинений, кроме того, что он давал средства для оказания помощи семьям арестованных рабочих? Можно ли было верить в исполнение смертной казни над обремененным семьей рабочим Шмаусом, обвинявшимся в неудачном покушении на жизнь шпиона? Или над несовершеннолетним Оссовским, убившим провокатора? Или над юношей Петрусинским, тоже несовершеннолетним, обвиненным в убийстве провокатора, несмотря на то, что на суде, как я уже упоминал, товарищ Поплавский прямо заявил: «Петрусинский невиновен. Я убил Гельшера».

Нет, даже теперь, по истечении стольких лет, после того как пришлось быть свидетелем таких зверств, что при одном воспоминании о них волосы становятся дыбом; даже теперь, когда картины давно минувшего прошлого вновь воскресают в памяти, я нахожу вполне естественным, что в то время мы беспокоились главным образом о судьбе только Куницкого.

Первые дни были невыносимо тяжелы... Приговоренных к смерти нельзя было оставлять одних, и мы так разместились по камерам, что на одного приговоренного к смерти приходилось двое неприговоренных.

Со мной и с Адамом Серошевским (двоюродный брат известного этнографа и беллетриста Вацлава Серошевского) сидел Петрусинский...

На всю жизнь запечатлелась в моей памяти одна короткая фраза, случайно, не помню уже, по какому поводу, сказанная им: «Как бы я хотел полюбить... Никогда еще я никакой женщины не любил и совершенно не могу себе представить этого чувства...»

Бедное, замученное дитя! Ему так и не пришлось испытать этого чувства!

Но такие моменты тоски и угнетения случались редко... Мы прилагали все усилия к тому, чтобы устранять малейшие поводы к ним, и нам это удавалось блестяще. Мы организовали лекции для рабочих, общие чтения, отвоевали себе право общих прогулок, устраивали хоровое пение, и за занятиями, за развлечениями время шло быстрее. К тому же всех бодрило сознание, что наша роль еще не сыграна до конца; что наше слово, слово обреченных на смерть и на каторгу, может еще сослужить службу рабочему делу; что это слово должно быть сказано.

И вот вскоре было составлено письмо-завещание к товарищам на воле, о котором я уже упоминал, — письмо, напечатанное впоследствии в десятках тысяч экземпляров. Заживо погре-

бенные призывали на борьбу живых, и слово их было подхвачено на лету. Мы еще находились в десятом павильоне Варшавской цитадели, наши товарищи, приговоренные к смерти, не были еще у нас похищены, а уж известие о том влиянии, какое имело наше письмо, проникло к нам за решетку.

О, как оно скрасило наше пребывание в душных казематах...

А время шло... Прошла неделя, прошла другая... Мы понемногу начали успокаиваться, даже насчет Куницкого... Ранее, в первые дни, мы употребляли всевозможные меры, чтобы устроить побег обреченным на казнь: раздобыли напильники, достали даже револьвер. Чудеса изобретательности проявлял при этом Мечислав Маньковский: он пропилил в потолке камеры отверстие, через которое можно было пробраться на чердак, а оттуда на крышу; он сам вылезал туда и, убедившись в крайней рискованности этого пути ввиду расставленных часовых, задумал с чердака пробуравить выход на парадную лестницу, ведущую в квартиру заведывающего... Но и это было рискованно, да при этом являлся вопрос, как выбраться из крепости, если и удастся благополучно выбраться из камеры на лестницу...

Пока опасность угрожала, в первые дни, в первую неделю работа кипела, но, по мере того как время шло, у всех являлась уверенность, что смертной казни не будет, так как невозможно же держать людей под угрозой смертной казни целые недели, больше месяца и в конце концов казнить их. А при такой уверенности риск побега таким путем выступал ярче, и на смену прежним планам являлись новые, менее рискованные, планы побега с пути...

А время шло... Прошла третья неделя, четвертая, пятая... Уже была на исходе шестая... Тяжелый кошмар, давивший нас столько времени, рассеялся... Все были веселы, шутили, шалили, как школьники...

Такое настроение царило в десятом павильоне и 27 января... Нас позвали на прогулку. С юношеским гиком, смехом, шутками побежали мы на тюремный двор.

День был морозный, светлый. Скованный морозом, играющий на солнце снег так и манил к себе. Кто-то схватил ком снега и бросил в другого... Тот ответил тем же. Пример заразительно подействовал на других, и мигом все эти обреченные на смерть и каторгу, словно дети, забыли обо всем и с головой ушли в игру в снежки. Шум, визг, хохот привлекали на окна товарищей, недавно арестованных и еще ожидавших решения своей участи. Мрачный тюремный двор стал неузнаваем... Даже серьезный Янович и сравнительно пожилой Бардовский увлеклись этим весельем и прервали бесконечную беседу об общине и росте капитализма в России, о В. В.[1].

---

[1] Воронцов — автор «Судеб капитализма в России».

Полтора часа прогулки промелькнули, словно одна минута. С таким же шумом мы вошли обратно в тюрьму и разбились по камерам. Вскоре человек десять собралось в камере Куницкого, который должен был читать лекцию об электричестве. Короткий зимний день близился к концу. Начало смеркаться. Куницкий уже кончал урок, как вдруг в камеру вошел старший жандарм и пригласил его в канцелярию...

В таком приглашении не было ничего подозрительного. Нас часто вызывали для подсчетов с заведующим, для проверки расходов, для выдачи писем и т. д.

Минут через десять после этого вызвали Бардовского...

Мы насторожились. Чудилось что-то недоброе. Одно-единственное слово как бы винтом сверлило мозг... «Шлиссельбург».

Пришли за Оссовским...

Это путало, сбивало: в Шлиссельбург обыкновенно отправляли особенно «опасных», влиятельных, авторитетных... Восемнадцатилетний Оссовский таковым не был, не мог быть... Дошла очередь и до Петрусинского... Он, как и те, ушел за жандармом, даже не попрощавшись с нами, без шапки, без пальто... Мы терялись в догадках... Кто-то высказал предположение, что, вероятно, объявляют о конфирмации и смягчении приговора и для этого вызывают в канцелярию...

Да, да, конечно, это так. Иначе это необъяснимо...

Все волновались, в особенности же Шмаус и Люри, тоже приговоренные к смерти...

Минуты казались часами... Ни за кем более не приходили... Это становилось подозрительным...

Время шло. Уведенные жандармами не возвращались. Мы стучали в двери, спрашивали жандармов, но, кроме мертвящего душу: «не могу знать», не могли добиться никакого ответа.

Так прошло полчаса... Целая вечность...

Во всех камерах все стихло, застыло, замерло...

Пахнуло смертью...

Мы лежали без движения на койках, не решаясь даже в мыслях строить ужасные предположения.

Вдруг заржавленный засов камерной двери заскрежетал, щелкнул замок, и в камеру вошел старший жандарм...

— Где вещи Петрусинского?

Мы накинулись на него с вопросами. Он не отвечал, и мы, чтобы заставить его что-нибудь сказать, отказались выдать вещи Петрусинского без него самого.

— Он все равно сюда не придет больше...

— Как? Почему?

Опять молчание.

Это заявление нас сразило. Мы больше не сопротивлялись. Жандармы беспрепятственно унесли вещи.

То же повторилось и в других камерах...

Страшное подозрение прокралось в душу.

Шлиссельбург или смерть?

О, как мы желали, чтобы это было только Шлиссельбург.

«Только Шлиссельбург»... Мы тогда уже знали, что такое Шлиссельбург, и все-таки молились в душе, чтобы это было только «Шлиссельбург».

Но нет, у нас украли, буквально украли товарищей, чтобы их предать смерти... Нам даже не дали попрощаться с ними.

Жандармы — дальновидные психологи. Они боялись столкновения и предпочли воровски увести от нас жертвы, обреченные на заклание...

Об участи товарищей нам сообщил заведующий десятым павильоном жандармский поручик Фурса, решившийся только полтора часа спустя явиться к нам в камеры и то под прикрытием солдат и жандармов. Но и под этим прикрытием он трусил и в разговоре будто вскользь упомянул о том, что в павильоне удвоены караулы на случай протеста с нашей стороны. Мы впоследствии проверили это сообщение. Оно оказалось верным. Жандармы даже заготовили веревки, чтобы вязать нас...

Фурса говорил грустным голосом, как бы сочувствуя жертвам, жалея их. Но слова его звучали фальшью. Мы не могли с ним говорить...

Совершенно другое впечатление производил комендант цитадели генерал-лейтенант Унковский. Этот честный, благородный старик, не раз воевавший из-за нас с жандармами и лакейски послушной им прокуратурой, явился к нам такой печальный, такой пристыженный, пришибленный, что его отношение к совершившемуся позорному преступлению было для всех очевидно... Он не смел поднять на нас глаз, словно чувствуя себя соучастником этого преступления. А когда несколько часов спустя этому убеленному сединами старику было дано приказание присутствовать при казни, он наотрез отказался. Говорили даже, что он немедленно подал в отставку, но она не была принята...

Многие жандармы тоже искренно были опечалены. Но Фурса и «старший» жандарм Фомин — те только трусили, ясно сознавая, что нам терять нечего...

Но нас этот удар на момент сразил... Мы не думали ни о каком бунте, протесте, сопротивлении... мы ни о чем не думали. В голове вдруг стало пусто... Мозг отказывался работать...

А наших мучеников тем временем отвели в другой конец десятого павильона, посадили сначала в одиночные камеры, но затем на время разрешили видеться друг с другом...

Верны ли эти сведения — не знаю. Так сообщили нам впоследствии некоторые жандармы, другие сообщения которых оправдались. Они же сообщили, что у Куницкого было свидание с родителями, у Петрусинского — с родными.

На рассвете их казнили...

Руководивший следствием по нашему делу жандармский подполковник Белановский не утерпел и явился на место казни, чтобы насытиться им же уготованным зрелищем.

Но и самая казнь производилась варварски, как будто с целью насытиться муками казнимых. Первым казнили Куницкого.

Он, убежденный революционер, преданный до самозабвения делу, непоколебимый и стойкий, был казнен первым. Вторым казнили Бардовского, а двух юношей, почти детей, оставили напоследок.

Но расчеты палачей не оправдались: им не удалось ни исторгнуть из груди убиваемых стона, ни увидеть страха. Все четверо геройски встретили смерть и, перед тем как им заслонили лица капюшоном, громкими восклицаниями приветствовали свободу и революцию...

Оссовский оборвался. Присутствовавшие при казни жандармы, по их рассказам, были уверены, что это его спасет... Не спасло... Палач вторично принялся за дело...

Четверть часа спустя крепостной врач, присутствовавший при казни, констатировал смерть всех четверых... Их похоронили тут же у крепостной стены, шагах в пятидесяти — шестидесяти от крепостных ворот, на берегу Вислы...

Было часов семь, четверть восьмого утра... Один из нас, не помню уж кто, влез на окно, желая открыть форточку... Мы помещались во втором этаже, с окна был виден берег Вислы...

— Смотрите! смотрите! — ужасным голосом закричал открывавший форточку.

В мгновение ока мы были рядом с ним...

У крепостной стены возились люди, зарывали могилу, разбирали эшафот.

Жандармы готовили нам страшное зрелище...

Наших мучеников казнили перед нашими окнами.

Если мы не видели самой казни, то это уже не по их вине. Они сделали все, что от них зависело, чтобы мы могли ее видеть. Мы не подозревали возможности такого зверского издевательства, и это нас спасло...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЭТАПОМ НА КАТОРГУ

1. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ВАРШАВЕ (1886 г.)

Сразу все изменилось. Павильон Варшавской цитадели, где мы провели полтора года шумных и бурных, стал неузнаваем. Все как будто стихло, замерло... Словно по павильону пронеслось дуновение смерти... И только от времени до времени, словно молния в темную ночь, пронизывает сознание одна мысль, одно желание...

Месть!

Месть! Безжалостная, страшная месть!

До этого времени чувство мести было нам чуждо. Мы отталкивали мысль о мести, сознавая, что она может нас сбить с правильного пути... Мы всегда приводили сотни аргументов против мести...

А теперь... Все доводы и все рассуждения против мести сразу исчезли...

Четыре виселицы... Четыре трупа...

Мы только об этом и были в состоянии думать, и чем дальше мы думали, тем сильнее сверлило мозг решение:

Месть!

Но это было только чувство, которого при всем желании мы не могли воплотить в дело...

Подавленные сознанием своего бессилия, мы беспомощно метались по камере, лишенные возможности хоть кому-нибудь сообщить о совершонном злодеянии...

Наше настроение передалось и караулившим нас жандармам. И они делали все возможное, чтобы не нарушать воцарившейся тишины. На них особенно сильное впечатление произвела одна сцена, которая запечатлелась и в нашей памяти.

В десятом павильоне содержались не только социалисты, но и ксендзы — униаты, ведшие пропаганду среди насильно обра-

щенного в православие украинского крестьянства в Люблинской губернии. В обычное время мы с ними не поддерживали никаких сношений. Но в этот памятный день, когда мы увидели, что они, повидимому, не зная о том, что произошло, преспокойно вышли на прогулку, мы не выдержали и сообщили им о случившемся...

Пораженные и потрясенные этим известием, ксендзы остановились, как вкопанные... А секунду спустя обнажив головы и перекрестившись, начали читать молитву.

Жандармы молча глядели на них, не мешая, а затем, когда ксендзы, отказавшись от дальнейшей прогулки, попросили отвести их обратно в камеры, жандармы все так же молча, беспрекословно исполнили их просьбу...

Об этой сцене жандармы впоследствии неоднократно вспоминали и, что весьма характерно, не донесли о ней начальству...

После ухода ксендзов вновь вернулось прежнее настроение... Мне трудно теперь восстановить по памяти, сколько дней и, что важнее, сколько бессонных ночей оно продолжалось. Во всяком случае долго, очень долго, как нам тогда казалось — целую вечность.

Из этого состояния оцепенения вывело нас новое беспокойство... Если власти решились казнить четырех, то, несомненно, за этими четырьмя последуют новые жертвы и несколько человек будет обречено на гибель в Шлиссельбурге. Несколько!.. Трудно себе представить, до какой степени угнетало нас это короткое, неопределенное слово. Вопрос: «сколько» и «кто»? От правительства, сорок два дня держащего людей под смертным приговором, можно было всего ожидать. Предателя Пацановского и двух офицеров, Сокольского и Игельстрома, как приговоренных к поселению, мы, конечно, не принимали в расчет. Оставалось еще двадцать два... Относительно некоторых, как Варынский, Янович, мы были уверены, что правительство не выпустит их живыми из своих когтей. Но что будет с такими, как Рехневский, Плюсский?

Варынский не обманывал себя относительно ожидающей его судьбы, но верил в свои силы и шутил, что, если ему не будет запрещено курить, он выдержит весь шестнадцатилетний срок. Янович, наоборот, был уверен, что сойдет с ума, не выдержав и года. Этого он больше всего боялся, в этом убеждении его поддерживал опыт прошлого. Будучи арестован, он не мог вынести несколько-недельного одиночества: его преследовали ужасающие галлюцинации. Он постоянно видел перед собой жандарма, тщательно считающего его пульс на висках и на шее и таким образом читающего его мысли. Напрасно он заслонял одной рукой висок, а другой шею... жандарм устремлял взгляд на другой висок и считал, считал, считал... Этот счет приводил Конрада (кличка Яновича) в отчаяние. Днем и ночью он думал только о том, как прекратить это невольное предательство. И вот в одну

ночь он придумал средство: он разобьет бутылку и осколками перережет себе артерию... На другой день он принялся за осуществление этого плана. К счастью, жандармы заметили это и, по совету тюремного врача, посадили его вместе со Шмаусом Но это мало помогло делу. Янович раньше не знал Шмауса и был уверен, что его посадили со шпионом. Да и Шмаус не слишком дружелюбно встретил этого подозрительно на него поглядывающего сожителя, недвусмысленно заявившего ему, что считает его шпионом. Нервное состояние Яновича еще ухудшилось. Он выздоровел, только когда его посадили в одну камеру с Куницким. Но воспоминание об этих нескольких неделях одиночества заранее отравляло ему жизнь, заставляя предвкушать то, что его ожидает в Шлиссельбурге. И все-таки он ошибался, он не знал самого себя... Когда дело касалось других, когда его мучили опасения, что из-за него кто-нибудь может попасть в руки мучителей, — его нервы не выдерживали напряжения, но когда он, и только он, был и мог быть жертвой царской инквизиции, у него хватило сил в течение двенадцати лет выдерживать ужасы Шлиссельбурга... Он мужественно переносил все, чтобы потом поведать миру, какими средствами царизм борется с революцией... Он совершил это... Через двенадцать лет он один из первых описал Шлиссельбург... Но у него уже не было больше энергии и сил к жизни. Шесть лет спустя он застрелился на далеком Севере, не будучи в состоянии снова научиться жить.

Все мы думали об угрожающей Яновичу и Варынскому опасности, но не говорили об этом между собой. В камерах воцарилось мрачное молчание. Все мы мечтали как можно скорее покинуть десятый павильон, где провели столько времени, и в то же время все дрожали при мысли, что для нескольких из нас покинуть десятый павильон означает погребенье живьем в Шлиссельбурге. Никто из нас не имел ни малейшего понятия о том, когда это может случиться. Сведения такого рода мы обыкновенно получали или в частных разговорах с представителями власти, или через родных во время свиданий. Но в данном случае у властей хватило такта не показываться нам на глаза, а разговоры с родными на свиданиях шли через пень в колоду. Родные дрожали за нашу судьбу, их волновали сибирские снежные пустыни, работы в шахтах, кандалы... Наши мысли от могил на склонах цитадели на берегу Вислы, от могил, уже получивших свои жертвы, переходили к могиле над Ладогой, еще подстерегающей новые жертвы... О себе тогда никто не думал. Что значила самая свирепая каторга в сравнении с Шлиссельбургом, где люди разучивались говорить!

Наконец в половине февраля нам объявили, что нас немедленно перевезут в другую тюрьму. В павильоне должны были остаться только три офицера — Люри, Игельстром и Сокольский, над которыми, как сообщил нам заведующий жандармский поручик Фурса, должна была еще быть произведена церемония

лишения чина и орденов. Мы собрались в одной камере и, не отдавая себе отчета в том, что делали, начали прощаться.

Это может показаться странным и непонятным: ведь мы должны были ехать все вместе и в одну тюрьму... Если бы кто-нибудь спросил нас об этом, мы не могли бы объяснить... И все-таки это сердечное прощание имело глубокий смысл. Мы стояли на пороге новой жизни, жизни людей, лишенных прав, отданных в руки палачей, с единственным оружием против насилия в руках — собственной жизнью, которую во всякое время можно будет бросить в лицо царским опричникам... В лице товарищей мы прощались со свободной жизнью.

— Скорей, скорей, господа, — каждую минуту мешали нам жандармы.

«Скорей!» Мы не слишком торопились вступать в эту новую жизнь... Мы взобрались на окна и криками «до свиданья» попрощались с теми, дело которых еще не было доведено жандармами до конца и которые еще долгие месяцы должны были провести в десятом павильоне.

— До свиданья! До свиданья!..

— Скорей, скорей! — не давал нам покоя дежурный жандарм.

Мы уложили вещи и пошли в канцелярию. Из темной комнаты на нас смотрел через приоткрытые двери жандармский полковник Белановский — человек с сердцем шакала, который не мог усидеть дома, если представлялась возможность насладиться человеческой кровью, человеческими страданиями.

Взволнованные, слегка возбужденные, мы не обращали на него внимания и через несколько минут, с вещами в руках, спустились за жандармом по лестнице к ожидающим нас внизу тюремным каретам, конвоируемым конными жандармами. Едва мы уселись, кареты и сопровождающая их кавалькада жандармов рванулись, и мы сломя голову помчались по городу. Сквозь маленькие решетчатые окна карет мы глядели на улицы родного города. Случайные прохожие останавливались, пораженные необыкновенным зрелищем, но ничего не могли рассмотреть; через момент мы бешеным галопом исчезали вдали.

Через десять минут перед нами гостеприимно раскрылись ворота Павиака: кареты остановились, жандармы соскочили с лошадей, и нас ввели в тюрьму. Пока присутствовал заведующий десятым павильоном, начальник Павиака возился с формальностями по приемке заключенных, к нам лично почти не обращаясь. Но когда Фурса, получив квитанцию в получении нас, уехал, он (фамилии его я не помню) любезно поздоровался с нами, предложил в случае какой-либо надобности обращаться непосредственно к нему, обещая делать все, что будет в его силах. По первым же словам, по тону, каким они были сказаны, по всему мы почувствовали, что имеем дело с добрым, честным человеком, и это первое впечатление не обмануло нас. Этот ста-

рик не прибавил ни одной капли горечи к нашей чаше. Наоборот. Каждый из нас, вероятно, помнит, как он в момент нашего отъезда из Павиака крестил нас, напутствуя словами: «Да хранит вас, бог, господь с вами!»

Через минуту нас ввели в тюрьму по длинному коридору, темному и мрачному, «как дело измены, как совесть тирана», в небольшие камеры с маленькими решетчатыми окнами почти под самым потолком. Яновича поместили в одной камере со мной, Варынского с Дулембой.

Перемена места хорошо повлияла на перемену нашего настроения, хотя опасения за товарищей, которым грозил Шлиссельбург, не исчезли.

На следующий день с самого утра к нам в камеру пришел начальник тюрьмы и сообщил, что получил приказ заковать нас в кандалы и обрить половину головы, усы и бороду, но что на бритье он не может решиться и велит просто остричь нас.

Несчастный! Быть может, в его памяти еще с дней юности уцелело стихотворение Мицкевича о голове, «с которой волосы насилье рукой бесстыдной сорвало», и он не хотел принимать участия в этом насилии.

Этот вопрос мы уже заранее обсуждали и решили не протестовать против этого издевательства. Нам остригли левую половину головы, усы и бороду и заковали в кандалы. Это последнее не произвело на нас никакого впечатления и было только неудобно, страшно мешая одеваться. Цепь, соединяющая оковы на ногах, очень затрудняет натягивание штанов, и надевание этой части туалета каждый раз доставляло нам массу хлопот. Натянув одну штанину, надо было через это же кольцо протащить вторую и потом только натянуть на вторую ногу.

Когда, проделав все эти процедуры, мы вышли в коридор уже в новом мундире, многих бородачей — особенно Варынского, Форминского и Томашевского — совершенно невозможно было узнать. Только я почти совершенно не изменился, ибо за отсутствием бороды и усов их невозможно было сбрить...

Совершонное над нами насилие не могло не повлиять на общее настроение. Заметив это, Варынский, когда мы вышли на прогулку, схватив за руку ближайшего соседа и с пением:

Эй, мазурку запляшите
Бутовской семьею!
Веселее в пляс спешите,
Варшава с Карою!

Враг грозит нам кандалами,
Каторгой, тюрьмою.
Но звенят нам наши цепи
Мазуркой лихою... —

повел веселую мазурку; за ним полетели остальные, и «кандальная мазурка», которую когда-нибудь, как Франция карманьолу, запоет вся Польша, огласила тюремный двор, привлекая к окнам обитателей соседней улицы, с изумлением и любопытством смотревших на этих закованных в кандалы первых борцов за рабочее дело, свободные души коих не в силах были сковать ни цепи, ни царские тюрьмы...

Оживленно, с переполненными отвагой сердцами вернулись мы в камеры, где нас вскоре навестил товарищ прокурора. Он ничего не спрашивал, ни о чем не говорил... Мы были уверены, что, охваченный любопытством, он пришел взглянуть на людей, о которых на весь мир трубили польские, русские и заграничные газеты. Мы глубоко ошибались. Опытного бюрократа л ю д и никогда не интересуют, для него представляет глубокий интерес «бумага». Этот молодой, но талантливый ученик Плеве[1] пришел проверить, наказан ли порок и точно ли исполнено «предписание». Снисходительность начальника тюрьмы не ускользнула от его внимания, и на следующий день начальник получил новую грозную «бумагу» с запросом, почему нас только остригли, когда инструкция предписывает бритье каторжан.

Не знаю, как отписался в свое оправдание добряк-начальник, очутившись между молотом «бумаги» и наковальней собственной совести, но не подлежит сомнению, что исполнение приказа стоило ему немало мучений. Он пришел к нам угнетенный, пришибленный, с опущенной головой, предлагая нам самим разрешить этот вопрос. Мы успокоили его заявлением, что были к этому готовы и поэтому не видим надобности сопротивляться совершению над нами этой варварской операции. Он еще колебался, но видно было, что перевешивает полученный приказ. И действительно, на следующий день нас вызвали в канцелярию, где уже ожидал цырюльник...

Мы сказали начальнику, что были готовы к бритью голов...

Мы действительно думали, что были готовы... Неправда! Только когда цырюльник начал скоблить нам головы, мы почувствовали весь ужас, всю омерзительность совершаемого над нами насилия, и понадобилась вся сила воли, чтобы не броситься на этих добродушных исполнителей отвратительных распоряжений...

Утверждают, что можно привыкнуть ко всему. Нет! Есть вещи, к которым нельзя привыкнуть, с которыми невозможно примириться. Таково это мерзкое бритье головы. Пять лет надо мной проделывали эту операцию каждые две недели, но и в последний раз, как и в первый, все во мне кипело во время этой процедуры, и я всем существом чувствовал, что издеваются над

---

[1] Плеве с 1881 по 1884 год директор департамента полиции; поднимаясь по государственной лестнице, дошел в 1902 году до министра внутр. дел. Убит 15 июля 1904 года эсером Сазоновым.

моим человеческим достоинством. То же самое чувствовали и другие мои друзья по несчастью. День бритья на Каре был самым скверным днем. Многие, желая избежать этой процедуры, заранее брили себе головы. В Павиаке мы, конечно, не могли сделать этого сами, и на некоторое время всех снова охватило угнетенное настроение, которое мы всячески старались рассеять, особенно, когда сталкивались с людьми «с воли». При свиданиях с родными это было прямо необходимо. Родственники, видя нас в арестантских халатах, с обритыми головами, в тремящих при каждом движении кандалах, не помнили себя от горя. Их необходимо было ободрить.

Огорченные, пришибленные, они на лету подхватывали все распространяющиеся слухи об ожидающей нас судьбе и упорно, упрямо верили в их истинность. Согласно одному из таких слухов в Шлиссельбург должны были выслать Варынского, Яновича, Люри, Маньковского, Рехневского, Дулембу и меня.

Нам сообщили этот слух, но никто из нас не поверил. Оказалось, однако, что дым без огня не бывает: ошибка состояла лишь в том, что соединили в одну группу шлиссельбуржцев и карийцев.

Наконец ожидаемый удар последовал. Через неделю нашего пребывания в Павиаке вечером в нашу камеру и камеру Варынского и Дулембы вошел начальник тюрьмы и объявил, что приехали за Варынским и Яновичем.

— Кто приехал?

— Жандармы.

Сомнения исчезли, но в глубине души еще шевелилась надежда, что, может быть, это только группами вывозят в Москву... Мы попрощались с ними... Опять навсегда.

Варынский был бодр, шутил, взял с собой папиросы, уверяя, что жандармы, благороднейший народ под луной, наверняка позволят ему курить в дороге.

Утром мы узнали от начальника тюрьмы, что их отвезут на петербургский вокзал, следовательно в Шлиссельбург.

Ужасное чувство прощаться с людьми, идущими на верную смерть, тем более ужасное, когда известно, что агония будет продолжаться целые годы, ибо, хотя генерал Оржевский еще не высказал тогда знаменитого изречения, что из Шлиссельбурга не выходят, а выносят, мы не были настолько наивны, чтоб питать какие-либо иллюзии. И чем лучше нам было на Павиаке,— а нам было хорошо,—тем более мы чувствовали какие-то угрызения совести, тем неприятнее нам была разница между нашим положением и положением тех, кого мы считали лучшими, благороднейшими, самыми преданными делу в своей среде. Снова прошла неделя, и снова в наше отделение пришел начальник, объявляя, что приехали за Рехневским, Маньковским, Дулембой и за мной.

— Кто?

— Казаки!

Значит, не в Шлиссельбург.

Мы пошли по камерам попрощаться с остающимися, но с нами не хотели даже прощаться. Ведь через несколько дней мы увидимся в Москве, к чему чувствительные сцены?

Никого из оставшихся мы больше не видали. Всех их сначала выслали в Белгородский централ, а затем на Сахалин.

Забрав пожитки, мы последовали за начальником канцелярии. Опять нас одна сторона «сдала», другая «приняла», затем нас усадили в тюремную карету и под конвоем полусотни казаков отвезли в арсенал — в пересыльную тюрьму на улице Длугой. Здесь нас всех четырех посадили в одну огромную камеру с нарами посредине.

На следующий день родственники на свидании известили нас, что являются к каждому отходящему в Москву поезду, опасаясь, чтобы нас не увезли потихоньку. Они инстинктивно чувствовали, что жандармы что-то затевают, и эти предчувствия полностью оправдались.

Через несколько часов привезли офицеров Люри и Сокольского.

Игельстром по болезни остался в десятом павильоне.

Оказалось, что комедию лишения чинов и орденов выдумал по собственной инициативе Фурса. Он надел парадный мундир, выстроил жандармов и, вызвав в канцелярию наших офицеров, торжественно потребовал, чтобы они отдали ему эполеты и ордена.

— И не подумаю, — ответил Люри, — я купил их на собственные деньги...

Этот ответ сбил Фурсу с толку. Торжественный тон оборвался. Начался обыденнейший спор и ссора из-за этих эмблем. Но Люри уперся, и Фурса принужден был совсем неторжественно сдаться.

При этом случае дело не обошлось без комизма: Люри до самого момента утверждения приговора получал свое жалованье. Расписку в получении последнего жалованья он подписывал, уже будучи приговорен к двадцати годам каторжных работ. Хорошо зная, с кем имеет дело, и притворяясь наивным, он спросил, как должен подписаться: как военный инженер или как «каторжник».

— Как каторжник, как каторжник, — поспешно ответил Фурса.

— Как это? Ведь я получил жалованье не как каторжник, а как инженер?

— Правда... Так подпишитесь как военный инженер.

— Я уже не военный инженер. Если я так подпишусь, вы привлечете меня к ответственности за присвоение уже не принадлежащего мне звания.

Фурса обалдел, а Люри, ничтоже сумняшеся, подписался «ссыльно-каторжный инженер-капитан». За этого «каторжного капитана» Фурса получил хорошую головомойку.

Над Люри произвели в арсенале ту же операцию переодевания, бритья и заковки в кандалы, которую мы перенесли в Павиаке. Он изменился до неузнаваемости и чувствовал себя очень смущенным в этом новом мундире.

Последний поезд в Москву отходил в половине четвертого дня. До трех часов мы вскакивали каждый раз, как открывалась дверь, но, когда это время прошло, мы успокоились, уверенные, что нас не увезут раньше следующего дня. Так же рассуждали и наши семьи. Но эта уверенность нас обманула. Около часу ночи, когда мы все уже спали, в камеру вошли начальник тюрьмы Васютинский, военный начальник, несколько стражников и несколько солдат; нас разбудили, обыскали наши вещи, проверили кандалы, не перепилены ли они, и, объявив, что мы немедленно выезжаем, повели на тюремный двор, где нас уже ожидала окруженная жандармами тюремная карета.

Зная, что в это время нет никакого поезда, мы не особенно верили заявлению начальства, но на этот раз власти не солгали.

Нас повезли по Длугой, Медовой и Сенаторской улицам, через Замковую площадь, мост и Прагу[1], на Тереспольский вокзал.

На улицах было пусто и тихо. Грохотала тюремная карета, вокруг нас галопировала сотня казаков, вооруженная пиками и нагайками... Таково было наше последнее прощание с Варшавой. Казалось бы, что такой выезд должен был подействовать на нас угнетающе. Наоборот, он ободрил нас. Могучий, грозный царизм не смел открыто провести по улицам Варшавы шестерых приговоренных им к каторжным работам революционеров и, как преступник, похищал их тайком ночью... Когда мы приехали на вокзал, он был уже переполнен войсками. Карета проехала между шпалерами солдат, после чего дверцы ее открыли и нас по одному вывели.

— Один, два, три, четыре, пять шесть! один два и т. д. — считал нас офицер всю дорогу от кареты до вагона, дорогу в каких-нибудь десять шагов. Шпалеры смыкались за нами. На ступеньках вагона уже ожидали офицер и фельдфебель, которые должны были сопровождать этап.

Нас снова сосчитали и ввели в вагон.

— Готовы? — спросил кто-то офицера.

— Готовы!

Локомотив тотчас двинулся. Оказалось, что нас вывезли экстренным поездом. В вагоне нас, кроме офицера и фельдфебеля,

---

[1] Названия варшавских улиц.

сторожили шесть солдат; вагон был заперт, перед дверьми с обеих сторон стояли жандармы. На окнах были решетки.

Через час поезд остановили, наш вагон поставили на запасный путь, и здесь, в поле, охраняемые солдатами внутри вагона и жандармами извне, мы стояли до одиннадцати часов утра, пока не пришел вышедший в десять часов из Варшавы поезд. Этим поездом нас отвезли в Брест, где мы снова несколько часов ожидали поезда, выходящего из Варшавы в половине четвертого, с которым привезли партию уголовных.

С ними приехала жена офицера Сокольского... Наши семьи собрались в половине четвертого на вокзале и здесь только узнали, что нас увезли накануне ночью...

Всю дальнейшую дорогу в Москву мы проехали в обычных условиях. Вне территории так называемого Царства Польского мы уже не были опасными для правительства.

II. В МОСКВЕ

В Москву мы приехали около 11 часов утра. Нас вывели из вагона, окружили солдатами и пешком повели по улицам города в тюрьму... Вся торжественная таинственность, с которой нас вывозили из Варшавы, сразу пропала. Там царизм боялся ответственности за свое преступление, скрывал его в ночной тьме, прятался от этой ответственности под прикрытием пик, штыков и нагаек... Эта опасность была воображаемой... Польша того времени не была способна ни к какому активному сопротивлению. Это была эпоха унижения, соглашательства. Царизм пугали прежние традиции... Но здесь, в Москве, он был уверен в себе и с равнодушием уверенного в своем могуществе вседержителя вел своих пленников по улицам столицы. Кое-где прохожие, удивленные необыкновенным видом этих гремящих кандалами арестантов, поглядывая на них сквозь пенсне, останавливались, иногда укоризненно качали головами, иногда, охваченные жалостью, хватались за кошельки, чтобы подать нам милостыню. Никто им в этом не препятствовал, солдаты подпускали их к нам довольно близко.

Я первый раз очутился в России, и эти условия покоя, не нарушенные даже геройской борьбой «Народной Воли», производили на меня страшное впечатление. Даже солдаты были здесь не те: добродушные, любезные.

Мы шли долго: час, может быть — больше. Когда нас наконец привели в пересыльную тюрьму, мы снова заметили разницу между Россией и Польшей, между Москвой и Варшавой.

В Варшаве наши отношения к властям были вполне определенные: мы представляли два враждебных лагеря, каждый момент готовые к борьбе. Ни мы от власти, ни власти от нас никогда ничего, кроме враждебных выступлений, не могли ожидать. Отношения были холодные, официальные. Жандарм, солдат или

стражник только тогда выходил из своей роли, когда всецело становился на нашу сторону. Таков был жандарм Пономарев. Распропагандированный нами в десятом павильоне, он стал нашим почтальоном, и за эти оказываемые нам услуги был приговорен к трем годам арестантских рот. Другие являлись властью, враждебной нам, следящей за нами и преследующей на каждом шагу.

В Москве сразу бросались в глаза совершенно другие отношения. И начальник тюрьмы, и его помощник, и стражники были вежливы, добродушны, любезны в обращении... Я не хочу, конечно, этим сказать, что они пощадили бы нас в случае получения какого-нибудь соответствующего приказа от начальства. Нет! Но сами по себе они не питали к нам враждебных чувств. В этом отношении тюремная стража в Москве напоминала знаменитого солдата Глеба Успенского. Спрошенный о поляках, он рассыпался в похвалах этому «чистому» народу, но в свое время, когда ему приказывали, колошматил этот «чистый» народ без пощады.

Даже обыскивающие нас стражники ни на минуту не переставали информировать нас о тюремных порядках, о том, какие хорошие камерки для нас приготовлены, как нам здесь будет хорошо и как они рады нашему приезду, потому что уже привыкли к «порядочным господам»...

«Порядочные господа», разумеется, поняли, к чему это их обязывает и в первый раз с момента ареста подкрепили это лестное мнение о себе звонкой монетой. На лицах стражников засияла блаженная улыбка. С необыкновенной легкостью монета из порядочных рук перешла в менее порядочные, чтобы затем исчезнуть в недрах серой шинели.

И тут опять разница... Взяточничество в то время уже расцвело пышным цветом во всех учреждениях Царства Польского. Но политические дела вызывали такой страх, такое трепетное почтение даже у властей, от нижних до самых высоких чинов, что никому и в голову не приходило взять или дать взятку. В Москве наоборот: взятки брали все, — брали стражники, брал помощник, брал начальник. Не брали только те, кому не давали. Когда мне в тюрьму принесли сигары, помощник начальника так рассматривал их, расхваливая и облизываясь, что невозможно было не дать ему несколько. Он взял, поблагодарил, а через четверть часа пришел узнать, не нужно ли мне чего. Как каторжан нас поместили отдельно от остальных политических.

Тюрьма, где нас поместили, — одна из самых больших в России[1], устроена таким образом, что огромное здание, представляющее собою уголовное отделение, окружено с четырех сторон высокой стеной. Четыре четырехэтажные башни по углам этой стены служили тюрьмой для политических.

---

[1] Бутырская, пересыльная.

Одна из этих башен носит название Пугачевской, ибо в ней провел последние минуты перед четвертованием Емельян Пугачев.

В этой башне тогда сидели женщины. Другая башня называлась Северной. Там сидели административные. Это была настоящая Запорожская Сечь, с которой тюремные власти никак не могли справиться. Административные выделывали, что им только приходило в голову, не исключая экскурсий в другие башни. Как-то мы в шутку пригласили их письмом «на чашку чая»... Через несколько дней кто-то вдруг громко позвонил у ворот Полицейской башни, где нас поместили. Стражник, думая, что это кто-нибудь из властей, поспешно отворил ворота. Прежде чем он разобрал, в чем дело, его оттолкнули, и три товарища — Трушковский, Гофман и Баранов — влетели по лестнице в нашу башню, требуя обещанного чая. Перепуганному стражнику только при помощи униженных просьб удалось склонить их к возвращению.

Четвертую башню занимали подследственные.

Наша башня была разделена на небольшие камеры, предназначенные для одного человека. Но днем нас не запирали, и весь день мы проводил вместе. Жизнь проходила довольно монотонно, если какие-нибудь необыкновенные события не нарушали обычного положения.

В моей памяти осталось несколько таких «выдающихся событий». Первое — это прибытие в нашу башню Станислава Михалевича — одного из членов «Секретного Совета» в Петербурге, близкого друга Плосского и Рехневского. Молодой, энергичный, полный жизни и веры в будущее, он помогал нам строить всевозможные воздушные замки на тему о побеге. Согласно одному плану, идя на свидание, мы должны были так устроиться, чтобы в общетюремных воротах встретиться с административными, которые бросятся на стражников, обезоружат их, а нас вытолкнут за ворота, где нас уже будут ожидать русские товарищи. Или же мы собирались чудесным образом выбраться наружу через подвалы, где находились центральные печи, отопляющие башню. Или еще как-нибудь... И мы готовились к нападению на стражников, спускались в подвалы, готовили парики на бритые головы.

Неограниченна, о молодость, твоя фантазия и твоя... вера!..

Эти мечты о побеге сокращали время и окрашивали в розовый цвет серую тюремную жизнь, и нам было хорошо. И мы забывали о прошлом и о будущем... Это странно, но так было.

Мимо нашей башни вели вновь прибывших товарищей, женщин, в Пугачевскую башню. Одна из них в первую минуту не могла не предположить, что имеет дело с сумасшедшими, одаренными еще вдобавок ясновидением... Когда, после громогласных приветствий с нашей стороны, на наш вопрос о ее фамилии она ответила: «Чернова!» — мы в один голос закричали: «Любовь Давыдовна?»

Она ответила утвердительно, изумленная неожиданной популярностью...

— Стойте, стойте, дайте на себя посмотреть!

Она остановилась пораженная, а мы в нескольких словах объяснили ей причину своего любопытства.

До сих пор мы считали эту Любовь Чернову мифом. Варшавские жандармы каждого из нас в отдельности спрашивали о ней. Никто из нас понятия не имел, кто это такая, но жандармы были так уверены, с такими ироническими улыбками принимали наши заявления о незнакомстве с нею, что ее фамилия стала в Павиаке анекдотической. Когда на одном из окон, выходящем в сад, появлялся какой-нибудь незнакомый нам бородач, Стах Куницкий с серьезнейшим лицом высказывал предположение:

— Может быть, это — Любовь Давыдовна Чернова?

А жандармы выбивались из сил, придумывая способы заставить нас признаться в этом знакомстве.

Мы были уверены, что они стали жертвой какой-то мистификации, и можно себе представить поднятый нами шум, когда вдруг в тюрьму вошла настоящая, живая Чернова. Оказалось, что в бумагах, забранных у Бардовского, был найден ее зашифрованный адрес, который жандармам удалось расшифровать, и из-за этого и поднялась вся эта буря. Вероятно, мы получили этот адрес через десятые руки. Никто о нем не помнил. После предательства Дегаева мы не были уверены ни в одном адресе, так что его не употребляли и забыли о нем, а бедная Чернова поплатилась за все это путешествием на несколько лет в Восточную Сибирь, но зато на пороге тюремной жизни была встречена нашей овацией...

Иногда, чтобы развлечься и хотя издали повидать других товарищей, мы ходили в воскресенье в церковь.

Это была воистину «царославная» церковь. Публика располагалась в ней сообразно занимаемому в жизни положению. Впереди и посредине — власти по чину, с обеих сторон — заключенные: спереди с обеих сторон политические, сзади — уголовные. Как бы для довершения этой картины в церковке от времени до времени раздавались окрики стражников: «Стой, не толкайся, не вылазь на середину!..» Им вторил звон цепей, на попа глядели изможденные люди с полубритыми головами, которые даже здесь не сдерживали языка, и знаменитая российская словесность оглашала церковь. Поп также понимал свои обязанности и главное внимание обращал на власти, которым с рабской покорностью подавал просфоры.

Впрочем, иногда эта церковка принимала совсем другой вид. Это было в минуты, когда ее захватывала в свои руки «Запорожская Сечь» административных во время венчания политических заключенных с женщинами с воли или также административно приговоренными. Тогда тюремную церковь невозможно было узнать. Кроме политических, попа, дьячка и нескольких

стражников, в церкви никого не было и царило совершенно другое настроение. Поп венчал быстро, пропуская все формальности, озирался кругом, как испуганная птица в клетке, считая секунды, когда ему наконец удастся избавиться от этой ватаги, не признающей ни власти, ни попа и здесь, в церкви, диктующей ему свои законы.

Свадьбы в тюремной церкви являются самым приятным воспоминанием многих административных ссыльных. Но нас, каторжан, ни под каким видом не допускали на эти свадьбы. Это возмущало товарищей, и они решили отомстить. Они добились у начальника, чтобы он после венчания дал двум молодым парам свиданье с нами в канцелярии, а когда мы пришли, вся Сечь тоже втиснулась в канцелярию. Мы не были посвящены в заговор и, неожиданно очутившись в многочисленном обществе товарищей, возбужденные, увлеченные разговором, не обращали внимания на то, что товарищи возятся с нашими кандалами. А они каждое звено заворачивали в носовые платки, тряпки, шарфы... Другие в это время подливали вина помощнику. Через полчаса, когда помощник пьяным голосом начал бормотать, что пора расходиться, товарищи стащили с нас шапки и арестантские халаты, накинули на нас штатское пальто и шляпы и, подхватив под руки, потащили за собой. Не успели стражники и помощник оглянуться, как в канцелярии никого не осталось. Каторжане исчезали вместе с административными. Перепуганные власти кинулись в погоню, мы же, тогда молодые и ловкие, мчались, как ветер...

— Не пускай! Не пускай! — кричали преследователи стоявшему у ворот Северной башни стражнику.

Со двора еще можно было надеяться вернуть нас, но из самой Сечи...

— Не пускай! Не отпирай!

Слишком поздно. Ворота с шумом распахнулись, и мы очутились в безопасности. Отсюда нас можно было увести только просьбами, ни в коем случае угрозами. Грубой силы в Москве в то время не применяли, в данном же случае в интересах местной власти было по возможности избежать огласки. Помощник, хотя и пьяный, отдавал себе ясный отчет в положении... Он сразу начал с упрашиваний. Товарищи слушать не хотели.

— А в церковь пустили вы их, когда мы просили?..

Он принужден был сдаться, и благодаря этому мы провели всю ночь в логовище Сечи.

Трудно описать это логовище. Только тот, кто видел университетскую аудиторию в момент студенческих беспорядков, когда студенты только что покинули ее, когда скамейки сдвинуты в угол, пол заплеван, засыпан окурками, может иметь некоторое понятие о камере административных в Северной башне. Здесь было грязно, дымно, но весело. Полная сил и жизнерадостности, молодежь и не думала об ожидающем ее изгнании, но

зато малейшее революционное проявление на свободе вызывало в этой душной камере взрыв энтузиазма, и громкие возгласы оглашали своды тюрьмы.

То было время, когда слава «Народной Воли» еще сияла полным блеском благодаря убийству знаменитого инквизитора Судейкина в его собственной квартире, а особенно благодаря заключенному договору с польской партией «Пролетариат».

Лозунги «освобожденцев» (группы «Освобождение труда», первых пионеров социал-демократии: Плеханова, Дейча, Засулич, Аксельрода) отскакивали от сознания революционеров, как горох от стены, и они вызывали страстные обвинения в желании внести раскол в ряды «Народной Воли». Мы, «пролетариатцы»,— эти союзники «Народной Воли», сумевшие благодаря организационной и боевой гибкости объединить под пурпуровым знаменем революции сотни рабочих, — возбуждали в русских революционерах огромный интерес. Народовольцы признавали в нас борцов за политическую свободу, социал-демократы — людей, которые в своей деятельности опираются на сознательные выступления масс; народники ценили в нашей деятельности стремление к пропаганде среди широких крестьянских масс, хотя единственным выражением этого стремления явилось издание программного воззвания к крестьянам и распространение его, впрочем без сколько-нибудь значительных результатов, по всей стране. Но больше всего льнули к нам так называемые «молодые народовольцы», горячие поклонники «фабричного» и «аграрного» террора. «Пролетариат» в то время признавал экономический террор, и фракция «Молодой Народной Воли» искала в нем опоры.

Как только власти покинули башню административных, началась оживленная дискуссия. Нас расспрашивали со всех сторон по самым разнообразным вопросам, и уже во время этой первой дискуссии с довольно широким кругом русских революционеров нам бросалась в глаза некоторая, так сказать, национальная близорукость этих революционеров. Русских революционеров часто обвиняют в шовинизме. Это совершенно неправильное обвинение. Но как сыновья народа, с которого никогда не сдирали живьем национальной шкуры, как сытые, которые никогда не понимали голодного, они совершенно не отдавали себе отчета в значении национального гнета, не реагировали на него и не понимали вопля, вырывающегося из души вследствие этого гнета. Мы чувствовали себя очень странно. На родине мы беспощадно боролись против тех, которые пользовались социалистическими лозунгами только как средством, чтобы втянуть массы в борьбу за совершенно чуждые им патриотические цели. Это послужило поводом обвинять нас в антинационализме, в измене делу родины: известный адвокат Спасович, как я уже упоминал, не постеснялся даже перед лицом военного суда, как напутственное слово и итог всей нашей деятельности, бросить обвинение:

— Стремление подсудимых можно определить известным возгласом: «Finis Poloniae! (Конец Польше!)»

Здесь же, ввиду полного равнодушия русских товарищей к деятельности Гурко и Апухтиных, мы принуждены были бороться с этой глухотой, греметь так, чтобы они услышали стоны людей, угнетаемых и насильственно руссифицируемых.

Изумленные, словно разбуженные от летаргического сна, они прислушивались, долгое время даже не понимая, по какому случаю крик, и чуть не считая нас шовинистами, патриотами, националистами... Мы не сразу взяли эту крепость равнодушия. Только после долгих совместных скитаний с этапа на этап, постоянно цитируя факты, рисуя положение Польши, знакомя их с плачевными результатами руссификации, приводящей в конечном результате к углублению национальных противоречий, нам удалость пробить эту стену равнодушия...

Но как раз благодаря этой близорукости и вытекающему из нее равнодушию наша первая дискуссия не приняла возбужденного, раздраженного тона. Мы спорили, как люди, доверяющие друг другу, но, к сожалению, совершенно друг друга не понимающие.

Конечно, немалую часть ночи, проведенной в башне административных, заняли рассказы о процессе «Пролетариата», о прокурорах, выставляющих в качестве свидетелей вменяемости Загурского тех негодяев, которые сознательно, видя, что он — сумасшедший, допрашивали его; о судьях, которые отказывались подписывать смертные приговоры, но совесть которых умолкла, как только председатель военного суда Фридрикс показал им письменное приказание Гурко, и которые ради чинов и орденов выдали людей на смерть; об адвокатуре, в своем большинстве больше занятой защитой Польши от подозрений, что в ней существуют условия для развития социализма, чем защитой подсудимых. Даже Гурко-вешатель сделал замечание, что на скамье подсудимых 29 человек, а слышит он защиту тридцатого — Польши.

Только на рассвете мы покинули гостеприимных товарищей и вместе со стражниками вернулись в свою башню...

Как скучно нам здесь теперь стало! Нам уже нехватало этих пылающих лиц, этих блестящих глаз, этих горячих голов... Быть может, если бы мы пробыли там подольше, нас быстро утомил бы этот хаотический беспорядок, этот вечный шум, и наши чистые уединенные камеры показались бы нам более привлекательными, но после одной ночи, проведенной в таком многочисленном, симпатичном кругу, от нашей башни на нас повеяло пустотой.

К счастью, мы должны были еще исполнить лежащую на нас обязанность написать подробный отчет о деле «Пролетариата», и это помогло нам незаметно провести время пребывания в

тюрьме. Этот долг мы исполнили коллективно, но, к сожалению, и этот труд не избег редакторского карандаша. Через несколько лет мне попалась заключающая этот отчет брошюра «С поля битвы», и я убедился, что некоторые места изменены до неузнаваемости. В русское издание тоже введены значительные изменения.

Но как-никак эти брошюры сделали свое дело, — имена первых мучеников социализма в Польше стали известными миру рабочих, а вместе с этими именами загремели и лозунги, во имя которых люди так смело и гордо пошли на смерть.

Время летело. Дни становились все длиннее. Прошла и русская пасха с ее всеобщим, равным, явным и непосредственным взаимным целованием всех, без различия пола, возраста и положения. Снег на нашем дворе таял и исчезал. На тюремных стенах, кроме их завсегдатаев — голубей, стали появляться перелетные птицы. Весна, воспеваемая поэтами весна, заглянула под своды тюрьмы. Тюремный мир ожил, зашевелился и... стал собираться в путешествие на далекий Север. Никто не знал и не мог знать, когда мы двинемся, — все зависело от движения льда на Волге и Каме, от начала навигации.

Мы были приговорены к каторжным работам. Срок их считали нам с момента утверждения приговора. Было бы вполне логично, если бы мы старались оттянуть отъезд и как можно позже прибыть на место... Но эта мысль ни на минуту не приходила нам в голову. Наоборот, этот далекий Север влек нас к себе, мы спешили выпить до дна уготованную нам чашу. К тому же было сильно желание перемен, выхода из тюрьмы.

За несколько дней до отъезда власти предупредили нас, чтобы мы готовились в дорогу...

Две пары портянок
И пара котов,
Кандалы надеты,
И в Сибирь готов.

Так характеризует русская арестантская песня эти приготовления. Наши приготовления были лишь немного сложнее. Немного собственного белья, полушубок, сапоги, подушка, одеяло и несколько книжек составляли весь наш багаж. Начальство обыскало его, проверило кандалы. Дулембу, который жаловался, что они тесны, перековали, и мы были готовы в дорогу, которая должна была продолжаться полгода.

19 мая мы двинулись в путь.

Нас вывели в огромный широкий коридор, в котором уже собрались высылаемые административно и два-три человека из остающихся, которые пришли с нами попрощаться. В числе их был Максимилиан Гофман, который впоследствии застрелился в Архангельске или Вологде. Это была впечатлительная и экзальтированная натура. Когда нам объявили, что пора в путь, он,

прощаясь, расплакался, как ребенок, а когда мы стали его успокаивать, в каком-то забытьи упал на колени и нервно, спазматически припал к нашим цепям. Всхлипывая и сам стыдясь этих всхлипываний, он целовал и обливал слезами холодное железо, в которое мы были закованы.

В коридоре воцарилась могильная тишина... Смущенное начальство отошло в сторону.

— Довольно, довольно, успокойся, — уговаривали мы.

— Правда, довольно! — И ни на кого не глядя, он поднялся и, как безумный, выбежал из коридора.

Я оглянулся кругом. У одних были слезы на глазах, другие мрачно молчали... Теперь это была уже не та Сечь, беззаботная, молодая, веселая и задорная... Нет! Это были уже люди, всем существом чувствующие совершающееся насилие и, как некогда мы после казни наших мучеников, клянущиеся в душе отомстить.

— Выходите, выходите, господа! — прервал эту мрачную тишину начальник.

Тюремные ворота распахнулись, и мы вышли на окруженную сотнями солдат улицу.

Уголовные были построены впереди, нас разместили сзади.

— Каторжане, ведите дам! — скомандовал кто-то из товарищей.

Это всем понравилось. Мы подтянули кандалы, чтобы они громче звенели, и, к изумлению добродушных москвичей, с удивлением глядящих на баричей в арестантских халатах, чуть не танцующих под звон своих цепей, начали шествие. Это шествие продолжалось долго: час, а может быть, и больше. Кроме случайных прохожих, на тротуарах останавливались и предупрежденные о нашем отъезде товарищи и знакомые. Нам кланялись. С нами прощались — быть может, навсегда.

На вокзале ожидали семьи некоторых товарищей, но их не допустили к нам, пока мы не были посажены в вагоны. Тогда, к сожалению, только через решетки мы могли в последний раз попрощаться со всеми... Через четверть часа поезд двинулся, и из всех грудей, как по команде, вырвалась песня:

Славься, свобода, честный наш труд!
Пусть нас за правду в темницу запрут...

III. ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ И НА БАРЖЕ ДО ТОМСКА

Пели недолго; я сказал бы, что только исполнили обряд, а может быть, просто хотели показать и родным, и всему свету, что свободный дух нельзя сковать... Вскоре пение смолкло, в переполненном вагоне воцарилась мрачная тишина... Только теперь, вдали от глаз родных и равнодушных зрителей, люди могли дать волю своим чувствам, попрощаться в душе с близкими без

деланной улыбки, без показной удали. Лица потемнели. Каждый видел перед собой скорбные глаза матери, жены, невесты, оставленной надолго, — быть может, навсегда. Мы уже перенесли это состояние в момент выезда из Варшавы, теперь наступила очередь русских товарищей.

«Гей, ну же, хлопці, славні молодці...» — вдруг прервал молчание Макаренко, один из последних могикан народнического направления, наборщик из Харькова, интеллигентный, сердечный парень, один из лучших певцов, каких мне приходилось слышать.

«Чом ви смутні, не веселі...» — подхватили остальные, и... молодость сделала свое дело: печаль и забота улетели. Вывозимая в Сибирь революционная молодежь, как достойная представительница борющихся за свои права трудящихся масс, снова мужественно глядела в глаза своей судьбе... Кто мог бы тогда подумать, что из пятидесяти так полных веры в свое дело людей едва десять — пятнадцать сохранят свою уж не революционность, а просто человеческую личность. Однако многие уже в Сибири «поумнели» и со снисходительной улыбкой говорили о «заблуждениях молодости», другие спились, третьи сохранили об этом времени только приятные воспоминания и вступили сначала на столь соблазнительный путь «культурной деятельности», чтобы потом уже без резких скачков стать опорой и подпорами строя, который некогда хотели разрушить... Были такие, которых убило бездействие... Они не вынесли пытки этого бездействия и в волнах сибирских рек или в револьверной пуле искали и нашли спасение. Небольшая группа, очутившись в совершенно неизвестной стране, с оригинальным социальным строем, населенной кочевыми племенами, ушла в изучение и исследование, и в настоящее время их имена, как, например, имя Алексея Макаренки, сверкают брильянтом в стенах науки. И только крохотная горсточка победоносно прошла через сибирскую тайгу, через бюрократические болота и, с неугасшим факелом свободы вернувшись на родину, с верой в успех понесла этот факел в темные массы.

«Велики, о молодость, твои жертвы», — сказал польский поэт. Велики были жертвы тогдашней молодежи, но увлечения большинства хватало не надолго. Первое дуновение противного ветра задуло освещающий тьму жизни факел. Свет погас, в воздухе остался лишь дым и чад. На фоне этого дыма и чада развивались столкновения, которыми изобиловали сибирские колонии.

Но в то время никто еще этого не предвидел.

Соединенные в одном вагоне, скованные друг с другом общим несчастьем, мы чувствовали себя братьями, не признающими никаких различий положения, сословия, имущества, образования и воспитания. Еще в вагоне была организована артель. Что у кого было, поступало в общее пользование. Все получали одинаковую пищу, пользовались одинаковыми правами, несли одинаковые обязанности. Нас, каторжан, и женщин попробовали

было поставить в более привилегированные условия, но мы этому воспротивились и наравне с другими несли все обязанности в артели: мыли посуду, чистили картошку, убирали каюту, в которой спали, и т. д.

Путешествие из Москвы в Нижний-Новгород продолжалось сутки. За это время мы едва успели познакомиться с товарищами, хоть приблизительно наметить различные, до сих пор нами почти не виданные типы.

Вот мрачный семинарист... Слушает, что-то ворчит под нос. Из него слова вытянуть невозможно, невозможно расшевелить сенсационнейшей новостью, немыслимо рассердить. Веселый или грустный, сердитый или спокойный — он всегда одинаков. Он «бунтует» с таким же спокойным и мрачным выражением лица, с каким поглощает, почти не прожевывая, кашу или пьет чай в прикуску.

А вот другой — его живой контраст. Впечатлительный, экспансивный, каждое чувство моментально отражается на лице и в глазах: сейчас он печален, несчастен, в отчаянии, — через минуту весел, счастлив, полон веры и надежд на будущее. Каждая мелочь выводит его из равновесия, малейший успех приводит в энтузиазм.

Рядом — серьезная, замкнутая в себе натура. Грустная, слегка ироническая усмешка. Добродушно усмехаясь, он снисходительно слушает энтузиастов. Говорит редко и мало, без риторических фраз: коротко, ясно, по существу.

Разговор ни на минуту не умолкает. Административные хорошо познакомились друг с другом еще в Северной башне, так что все их внимание направлено на нас и на женщин... Бесконечные расспросы. Мы в этом отношении тоже не отстаем от них... А вагон мчится, все дальше унося нас от тех, с кем до сих пор мы жили, мыслили, боролись, от тех, кто в то время, как мы бодро готовились к новой жизни, быть может, оплакивали нас, прощаясь с нами чуть не на смерть. И кто знает, не были ли они правы? Они проводили гордых, свободных, неукротимых людей, а через годы... это были уже согбенные, разбитые жизнью изгнанники.

Разговоры продолжались до поздней ночи. Но понемногу в вагонах делается все тише и тише. То тот, то другой укладываются на покой. По примеру других и я растягиваюсь на жесткой скамье, но проклятые цепи своим звоном не дают мне заснуть.

— Вам тяжело в кандалах, — нагибается ко мне товарищ Осташкина с таким сочувствием в голосе, словно знает меня десятки лет и нас соединяют узы многолетней дружбы... Бедняжка! Она не знала еще тогда, что ее старший брат, якутский вицегубернатор Осташкин, навеки сделает эту фамилию страшной и ненавистной всем порядочным людям. Только в царской России были возможны такого рода явления: сестра принимает уча-

стие в революционной работе, а брат устраивает кровавую баню политическим ссыльным, чтобы по свежим трупам убитой, по его приказанию, молодежи взобраться ступенькой выше по бюрократической лестнице.

— Нет, товарищ, я уже привык...

Она отходит, слегка смущенная этим невольным проявлением чувства. Это тоже характерная черта русских. Они скрывают свои чувства, не любят проявлять их. Где-то в уголке вагона долго еще слышится шопот. Это молодая, недавно поженившаяся пара хоть таким образом пользуется относительным уединением.

К полдню следующего дня мы были уже в Нижнем-Новгороде. С вокзала нас перевели на палубу баржи, окруженную с четырех сторон и сверху решетками. На палубу нас вводили по одному, после предварительной проверки чиновниками комиссии, которая производила эту формальность на пристани, за поставленным тут же столом. Не обошлось без маленького недоразумения.

— Снимите шапку, — обращался к каждому из нас один из чиновников.

Так как все чиновники были в шапках, то это предложение все мы воспринимали как дерзость и соответственно на него реагировали.

— И не собираюсь! Снимите сначала сами! Выдумайте что-нибудь поумней, — сыпались ответы в зависимости от темперамента и остроумия данного товарища.

Если бы этот чиновник был подвержен распространенной в России болезни чиновничьего величия, могло бы получиться столкновение только потому, что глупый чинуша не догадался объяснить, что нас фотографировали без шапок и что он требует этого не как выражения почтительности, а для проверки тождественности личности.

На барже нас поместили в двух каютах, оборудованных в смысле меблировки совершенно так же, как обыкновенные тюремные камеры. Вообще вся баржа представляла собою пловучую тюрьму. Вне нашей клетки на палубе было оставлено лишь небольшое пространство для стражи, которая днем и ночью нас стерегла.

Все же в одном отношении эта тюрьма на воде была лучше тюрьмы на суше: никто не мешал нам выходить на палубу, и после долгих месяцев, проведенных среди четырех стен тюрьмы, мы могли, хотя и через решетки, любоваться горами, полями и лесами, дышать свежим воздухом и без вечной помехи со стороны жандармов слушать чудесное пение или трогательные рассказы о Стеньке Разине, который на одном из волжских утесов поклялся вечно бороться с насилием, гнетом и рабством. И народ бросился в бой по его призыву, и долгие месяцы ручьями лилась кровь, пока побежденный могучим врагом великий народный герой не поплатился жизнью за свое стремление к свободе.

Баржа тихо плывет по реке; иногда кажется, что она стоит

неподвижно. Над дремлющими в ночном тумане прибрежными деревушками несется великолепная трогательная песня, полная тоски и скорби, стон, а не песня погибающего в неволе народа, в многовековой дремоте мечтающего о герое, который, по примеру Разина, сумеет взобраться на легендарный утес и там обдумает план, как разбудить к жизни сонное народное царство.

Иногда этой несущейся по волнам песне человека вторит соловьиная песня, сливаясь вместе с шумом волн в один гармонический аккорд. Но это случалось все реже. Мы плыли по Волге и Каме на север, и вместо соловьиных трелей слух стал улавливать скрежет ломающихся друг о друга льдин. Мы снова догоняли зиму. Кое-где на берегах тысячами брильянтов горел снег, придавая горам вид меловых гор; иногда на хвойных деревьях и желтой прошлогодней траве сверкал иней. Мы вступали в страну льдов, где под снежным саваном должны были найти приют сердца, которые слишком горячо бились любовью к народу... Минуя города и деревни, мы наконец остановились в Перми, на границе Азии. Нас снова торжественно перевели с пристани на вокзал и поместили в маленьких вагончиках узкоколейной железной дороги. Знаменитого пограничного столба между Европой и Азией, с которым связано столько воспоминаний у наших предшественников, мы даже не видели. Поезд вез нас за Урал. «За Урал»... Из года в год поколение за поколением отдавало сотни людей в жертву современному дракону, из года в год все наиболее смелое, наиболее благородное гибло в его железных объятиях. Из года в год, как океан речные струи, поглощала Сибирь эти кровавые волны, повидимому, не меняясь даже от этого... но только повидимому. В глубине страны изгнания не пропали даром ни одна капля крови, ни одна капля страданий, и в момент, когда все государство стало грозно потрясать сковывающими его цепями, Сибирь не осталась позади. Эта кровь, пролитая в борьбе сибиряками, — это величайшая награда тем, кто бросил первые зерна свободы в эту, тогда еще не обработанную землю...

— Екатеринбург!

Вот мы в Азии. Жадно выглядываем сквозь маленькие решетчатые окна вагона. Полное разочарование! Такой же жандарм на станции, такой же вокзал, такие же люди... Звонок, двигаемся дальше. Раньше отсюда ссыльных везли до Тюмени на лошадях. Это была тогда самая приятная, самая поэтическая часть путешествия. Бешеная езда сломя голову на нескольких тройках упоительно действовала, особенно на молодежь. Население, охваченное жалостью к этой молодежи, оторванной от семейных очагов и высылаемой, куда Макар телят не гонял, гостеприимно встречало изгнанников на станциях и часто обильно снабжало их съестными припасами в дальнейшую дорогу.

Мы были первой партией, которая ехала здесь по железной дороге.

После выезда из Екатеринбурга все наши мысли сконцентрировались на Тюмени. В этом уездном городе находился так называемый «приказ о ссыльных» — управление делами о ссыльных. Здесь происходила проверка, здесь часть партии, отправляющаяся в административную ссылку в Западную Сибирь, должна была узнать о месте своего назначения; здесь, наконец, многие оставались, чтобы ехать к месту назначения другой дорогой. Здесь, стало быть, должна была произойти первая разлука. Независимо от этого, Тюмень, как и всякий другой этап, имела свои традиции, о которых партия обыкновенно узнает заранее. Дело в том, что бывали этапы, начальство которых было очень доброжелательно настроено по отношению к политическим ссыльным, некоторые офицеры в большой чистоте содержали камеры для политических, даже украшали стены еловыми и сосновыми ветками. Бывали и такие, которые угощали прибывших политических завтраками...

Но были и такие этапы, на которых систематически разыгрывались из-за всякого пустяка столкновения, на которых офицеры оскорбительным обращением со ссыльными желали доказать свой патриотизм.

Тюмень принадлежала к таким, если можно выразиться, «воинственным» этапам; кроме того, там столкновения выходили вследствие неприличного обращения с нашими женщинами, то есть на самой опасной почве... Это было возможно благодаря тому, что в городах женщин от нас отделяли, помещая их в здании, предназначенном под женскую тюрьму. Обсуждая ожидающее нас в Тюмени столкновение, мы решили разрубить этот гордиев узел и не допустить отделения от нас женщин.

С вокзала в Тюменскую тюрьму мы шли пешком. Здесь уже бросались в глаза некоторые чисто сибирские особенности. Солдатский конвой был весьма немногочислен и все же почти не обращал на нас внимания, словно поддразнивая: «Попробуй, убеги!» На грязных тротуарах группы людей высматривали земляков из своей губернии, чтобы расспросить, что слышно в той или другой, десятки лет назад покинутой ими деревушке, чтобы дать немного денег на дорогу. Была здесь и группка наших земляков — поляков, а среди них повстанец 1863 года, владелец мелочной лавочки в Тюмени, который горячо нас приветствовал. Ожидающие нас в Тюмени неприятности испортили нам момент встречи с этим первым повстанцем. Мы приближались к тюрьме, готовясь словно к бою. Женщины шли посредине, мы окружали их тесными рядами. Наш артельный староста — необыкновенно симпатичный «молодой народоволец» Олесинов, спокойный и решительный, шел впереди. Когда мы остановились перед тюрьмой, к нам вышел начальник и объявил, что женщины будут отведены в другое отделение. Олесинов от имени всех спокойно заявил, что этого мы не можем допустить, так как знаем от своих предшественников, что там они не гарантированы от оскорбле-

ний со стороны властей. Начальник оторопел и, не сказав ни слова, ушел обратно в тюрьму. Несколько минут мы ожидали возбужденные, готовые ко всему. Он вышел снова и стал нас мягко уговаривать, что не может исполнить это требование, что он ручается, что наших товарищей никто не осмелится оскорбить. Староста решительно повторил наше требование, и начальник сдался. Мы поставили на своем. В другое время это вызвало бы удовлетворение, может быть, радость... Но разве мы могли праздновать победу? Сколько еще таких побед мы должны будем одержать, прежде чем дойдем до каторги, этой нашей «земли обетованной»?.. А если хоть раз мы потерпим поражение, сколько крови оно будет нам стоить? Нет, мы не праздновали победы, ибо грустная, очень грустная была эта победа. Почти тотчас по прибытии в тюрьму мы узнали, что нескольких товарищей отправляют в Березов и Обдорск на самом берегу Ледовитого океана.

Эти люди были приговорены к ссылке в Западную Сибирь, следовательно сами власти признавали, что наказание должно быть относительно очень мягким, а им назначили такие места жительства, подобных которым не много найдется во всей Сибири. Чем при этом руководствовалась администрация, действительно трудно понять. В Обдорск должен был итти товарищ Савко, в Березов — Флеров и Калениченко. Савко жандармы совершенно сознательно, как в нашем деле Загурского, ложно обвиняли в убийстве Судейкина, отлично зная, что это покушение было произведено Конашевичем и Стародворским, но рассчитывая, что он в чем-нибудь проговорится. Варшавским жандармам этот фокус удался, и пораженный безумием Загурский, защищаясь от кажущейся ему неизбежной веревки, указывал десятки лиц, которые могли показать, где он находился в момент убийства Судейкина. За этот жандармский фокус Загурский поплатился жизнью, — он зарезался по выходе из цитадели. Савко не позволил обмануть себя. Он молчал, и за это молчание жандармы заплатили ему Обдорском.

Флеров был одним из наиболее серьезных деятелей, вместе с Якубовичем (Мельшиным — поэтом и бытописателем каторги) и Олесиновым он стоял у руля «Молодой Народной Воли». Трудно допустить, что это было причиной высылки его в Березов. Прежде всего в таком случае туда же должен был быть сослан и Олесинов и, во-вторых, — и это главное — «Молодая Народная Воля» упрекала старую в том, что эта последняя слишком концентрирует силы на политической борьбе, вследствие чего страдают другие отрасли работы, следовательно, с точки зрения царского правительства, она была менее опасна, и репрессии по отношению к ее членам не должны были граничить с жестокостью.

Еще менее понятной была высылка в Березов Калениченки, одного из немногих принимавших участие в движении филоло-

гов. Это был обыкновеннейший пропагандист, немного сентиментальный и приторный, очень склонный к культурной работе, даже не агитатор.

Но... это были только факты, административные же приговоры меньше всего опираются на доказанные факты. Наоборот! Факты всегда играли в этих приговорах только третьестепенную роль, главный же вес имели отчеты шпиков. А что может сравниться с фантазией шпика, жаждущего получить к праздникам наградные! Ведь было постоянным явлением, что перед праздниками революционеры на всем пространстве российского государства развивали энергичнейшую деятельность, чтобы... дать заработок бедным шпикам. Доказанный факт, что самое большое число арестов приходилось на предпраздничное время. Об этом знали революционеры, знали жандармы, прокуроры и другие охранители порядка: свой своему поневоле брат. Когда шпионы получают на праздник иудины серебреники, кое-что на этой иродовой спекуляции зарабатывают и их начальники. Я называю эту спекуляцию иродовой потому, что опытные революционеры считались с этим, как с постоянным явлением, а в сети торговцев человеческой жизнью обыкновенно попадала неопытная молодежь или люди, ни сном, ни духом не причастные к движению. Затем фантастические доносы с соответственными комментариями строящих на человеческой крови свою карьеру чиновников посылались в Петербург, где на их основании облеченные царским доверием сановники приговаривали людей к смерти в ледяных тундрах северной Сибири.

Этот первый удар, обрушившийся на наших товарищей, угнетающе повлиял на общее настроение. Воцарилось мрачное молчание, гробовая тишина, которая рассеялась только благодаря одному маленькому событию. На другой день нас должны были в Тюмени сфотографировать. (Уже четвертый раз. До того нас раз снимали во время следствия, другой раз перед выездом из Варшавы, третий раз в Москве. Потом нас снимали еще раз в Красноярске.)

Фотограф, веселенький немец, неизвестно какими судьбами попавший в Тюмень, был слегка смущен своей официальной ролью, а мы, заметив это, еще подливали масла в огонь.

— И не стыдно вам, гражданину конституционного государства, снимать людей для шпионских целей?

— Меня не касается, для каких целей. Я простой ремесленник. Мне заказывают, я делаю, а зачем — это не мое дело.

— Неправда, правительство заказывает вам снимки, чтобы ловить нас, если мы убежим... А вы, зная об этом, продаетесь правительству. Если бы мы заказали снимки для себя, вы бы никогда не согласились.

— Неправда! Согласился бы!

— Нет!

— Но я вас уверяю!

— А вот увидим! Садитесь, товарищи, пусть снимает!

В одну минуту нас, пятерых каторжан, усадили, и прижатый к стене фотограф волей-неволей сделал снимок.

Ему немедленно сунули в руки задаток и заказали сто экземпляров. Часть снимков при пересылке попала в руки полиции, но штук пятьдесят разошлось по России, Сибири и Польше. Их всюду переснимали, и через несколько лет эта фотография пяти каторжан, обритых, в арестантских халатах, в кандалах, стала одним из наиболее распространенных снимков этого рода.

Этого маленького успеха было достаточно, чтобы вернулось хорошее настроение, веселье и жизнерадостность, эти единственные бесценные сокровища нашей юности. На следующий день в значительно меньшем количестве (десятка полтора товарищей осталось в Тюмени, чтобы ехать дальше другой дорогой) мы отправились из тюрьмы на палубу такой же, как раньше, баржи, чтобы на ней плыть в Томск. От Тюмени до Томска больше 3000 верст. Тюмень расположена на берегу реки Туры, по которой мы плыли до Тобола, затем Тоболом до Иртыша, Иртышом до Оби, Обью до Томи и по Томи, на которой стоит столица Западной Сибири — Томск.

Баржа медленно двигается между плоских берегов... Становится все холоднее... Иногда сыплется снег, иногда, приставая к берегу, мы разбиваем тонкий слой льда, который с серебристым звоном рассыпается в куски, тотчас же уносимые волнами далеко, далеко, туда, где уже ни солнце, ни люди не нарушат их ледяного покоя... Иногда, среди снежной дымки, молочную поверхность реки пересекает маленькая, узкая, остроносая лодка. Это остяк или самоед, увидя пароход, мчится изо всех сил, чтобы в обмен на тайменей, осетров или стерлядей получить горсть заплесневевших сухарей или немного махорки... Привыкшие к таким визитам солдаты пускают их на палубу баржи. Через минуту рядом с солдатом появляется живой желтый скелет с широкими скулами, приплюснутым носом и косыми черными глазками и, добродушно улыбаясь, маленькими грязными руками просовывает сквозь решетки свой товар. Хитрец! Он знает по опыту, что этим посаженным за решетку людям он выгоднее продаст свой товар, чем тем, кто свободно плывет на пароходе... И действительно почти все прильнули к решетке, с любопытством рассматривая этого первого местного жителя. Ему дают сахар, чай, хлеб, табак, сухари, расспрашивая, есть ли у него жена, дети... Остяк отвечает, но, хотя он говорит по-русски, солдат, очевидно, уже привыкший к этому, переводит нам его ответы. Да! У него есть жена, ребенок, юрта, ружье, собака... Он охотится, ловит рыбу. Раньше ему жилось не плохо, теперь все хуже. Пароходы пугают зверя, он убегает, шум колес прогоняет рыбу. Все хуже! Голод, оспа... Остяк разговорился... Нас уже не раздражают гортанные звуки его речи, в нас не вызывают отвращение явные следы «русской болезни» (общее для всех

сибирских племен название сифилиса) на его лице. Мы слышим только страшную жалобу представителя обреченного на вымирание племени. «Обреченного»... Такого закона нет... Но есть социальные, а вернее, антисоциальные законы, те законы, в силу которых европейцы некогда подбрасывали дикарям снятые с оспенных больных рубашки, чтобы тем легче победить их; законы, которые во имя цивилизации и культуры обрекают на гибель племена туземцев. Во имя этих законов гибнут сибирские туземцы, спаиваемые обычными пионерами культуры — безграмотными купцами, прогоняемые на север, уступая веками принадлежащие им земли русским пришельцам, гибнут от голода и холода, от венерических болезней, занесенных удивительными носителями культуры — казаками. Кипит борьба за существование, за право на жизнь. По обыкновению в ней погибают более слабые, гибнут все без остатка, не оставляя даже следов своего существования, ибо пепел юрт, сожженных соплеменниками после смерти обитателей для прекращения заразы, развеет ветер...

Горе побежденным! Вечный железный закон.

Остяк разговорился, и дикое лицо монгола приобрело совершенно другое выражение. Грусть и мысль удивительно красят человеческие лица. Он приехал — и мы встретили его как странный экземпляр человеческой породы, он оставил нашу баржу — как одна из жертв нашей культуры, нашей цивилизации. Опять маленькая, сшитая из коры лодочка режет волны огромной реки, управляемая опытной рукой привычного к борьбе со стихиями туземца... Слышно пение, печальное, глухое, как глуха и печальна жизнь поющего... Он поет, вернее, плачет над своей долей, над долей всего своего племени, долей своих старых, некогда могучих, а теперь совершенно бессильных богов... Исчез из глаз... несколько минут еще слышится его песня, потом и она замирает, заглушенная шумом пароходных колес... Культура и тут побеждает...

Мы плывем, плывем все дальше — вечные скитальцы!

Встреча с остяком произвела на всех нас сильное впечатление. Задумавшись, я хотел спуститься в каюту, забыл на минутку о кандалах; они зацепились за лестницу, и, не заметив этого, я всей тяжестью грохнулся вниз.

С этими кандалами была любопытная история, весьма характерная для русской бюрократии.

Варшавские врачи заявили, что на железной дороге кандалы мне не могут мешать, другое дело — дальше. Московские решили, что и на барже они не могут причинить вреда. Обычные бюрократические отписки!..

За эту благонадежность варшавских и московских врачей я поплатился двухнедельной болезнью, а главное двухнедельными опасениями, что товарищи убегут без меня, не дождавшись моего возвращения... На смену фантастическим московским планам пришли планы бегства с баржи... Присмотр здесь слабый, никто



1897 г.

не обращает на нас внимания, перепилить решетку в окне не трудно, снять кандалы еще легче и вылезть ночью при помощи товарищей в окно — уже совсем пустяки. Переплыть Тобол тоже было бы не трудно, если бы не холод... Один из нас, чтобы приучиться к этому холоду, уже обливался два раза в день водой со льдом... Все было так легко, так просто, а я благодаря глупому воспалению в ноге мог опоздать и остаться на барже... Это волновало и раздражало меня. Но напрасно: баржа, хотя и медленно, все подвигалась вперед, и то, что было фантазией на Тоболе, становилось безумием на Иртыше и Оби.

Рухнул и этот план, как рухнули многие до и после него.

Приближался Томск. Снова предстояла разлука с частью товарищей навсегда. Все имеющие приговоры в Западную Сибирь должны были в Томске остаться. «Что ни край, то обычай, что ни город, то норов», — говорит пословица. Мы на своей шкуре убедились в ее справедливости. Каждый город имеет своих, по-своему норовистых чиновников... Каковы они в Томске? Что нас там ожидает? Мы будем там только завтра, но уже на каждом шагу чувствуется, что мы приближаемся к большому городу. Попадаются нагруженные товарами пароходы; с берега все чаще на нас смотрят купцы в характерных, стянутых у пояса чуйках; деревни все большие, издалека красуются двух- и трехэтажными домами и характерным для Сибири огромным количеством окон и белыми с зеленой каймой ставнями.

Удивительное впечатление производят эти деревни, как удивительна вся эта страна изгнания. Польские, русские, украинские деревни обладают собственным, только им присущим стилем. Дома разнятся друг от друга в зависимости от состоятельности хозяев, но стиль один. Здесь, в Сибири, рядом с украинской белой мазанкой под соломенной крышей красуется великорусская изба, крытая тесом, с традиционным петухом, вырезанным из дерева; дальше купеческий дом, плохая подделка городских зданий, с балконом на втором этаже вдоль всего дома...

В каждой деревне суета, движение. Нагружают и разгружают барки, складывают на возы товары и с жаром поминают матерей друг друга.

На нашей барже тоже чувствуется близость Томска. Ссыльные выбирают, «в каком городе Томской губернии они желают поселиться». О Томске никто мечтать не смеет...

Солдаты чистят оружие и шинели. Завтра они должны предстать перед начальством. Короткая июньская ночь прошла довольно быстро, а утром издалека уже виднелись куполы церквей, крупные здания, только что построенный университет, тогда еще не открытый. Мы плывем медленно. На реке все теснее, у обоих берегов стоят барки, пароходы.

Пароход, буксирующий нашу баржу, гудит, заворачивает, останавливается. Пассажиры с парохода сходят, но нас никто и не думает выводить.

Ожидаем властей. Пока что на пристань приходят встретить нас старые ссыльные: Феликс Волховский, впоследствии известный редактор «Free Russia», Злобин, Соломон Чудновский, участники громких «процессов 50-ти и 193-х»,—одни из первых пионеров социалистического движения в России. От них мы узнаем, что в пересыльной тюрьме свирепствует сыпной тиф, и вследствие этого нас, по всей вероятности, поместят в арестантские роты.

— Хорошо там? — спрашивает один из молодых товарищей.

— Великолепно, — иронизируют старики.

Странно! Мы смотрим друг на друга и не знаем, что сказать. Они уже успели потерять всякую связь с Россией, нас еще ничто не связывает с Сибирью. Даже идейно мы стоим на разных точках зрения: они миссионеры-народники, мирные пропагандисты, почти культурники, мы — революционеры и — теперь уже можно признаться — бланкисты. Нас объединяет только общность чувства, общность кандалов, символических и действительных...

Кому-то помешало наше взаимное рассматривание друг друга, их отогнали от решеток...

— Увидимся в тюрьме! — крикнули они, уходя.

— Ну, дело обстоит не так уж плохо, раз в тюрьме можно увидеться.

Пришли власти. Опять произошла церемония проверки количества и тождественности заключенных. Опять нас окружили войском и по людным, оживленным улицам повели в наш обычный отель.

Занятые своим делом, люди не обращали на нас ни малейшего внимания. Политические заключенные под конвоем были, повидимому, постоянным явлением на здешних улицах. Только изредка кто-нибудь из прохожих останавливался и снимал шапку, приветствуя нас. Это были знакомые раньше живших здесь ссыльных.

Мы так давно не видали уличного движения, что с любопытством смотрели и на улицы, и на дома, и на толпу на тротуарах, так что даже не заметили, как подошли к тюрьме.

Как обычно, при приемке нас построили в несколько рядов. Из тюремного здания по каменным ступеням к нам приблизился начальник тюрьмы.

— Административные пойдут в одну камеру, каторжане в другую!

Такое распоряжение явилось для нас полнейшим сюрпризом. Староста партии Олесинов выступил вперед и начал объяснять, что, не предвидя этого распоряжения, мы не разделили ни денег, ни съестных припасов, что до сих пор мы шли вместе, дальше тоже пойдем вместе, и поэтому нет никаких причин разъединять нас.

Начальник тюрьмы спокойно выслушал и, словно раздумы-

вая, вернулся в тюрьму, оставив нас на улице. Через минуту из тюрьмы выскочил какой-то господин в чиновничьей фуражке — как потом оказалось, чиновник губернского правления Перепеляев — и, не вдаваясь в долгие разговоры, топнув ногой, закричал:

— Каторга, вперед!

Это было первое оскорбление, на которое мы наткнулись. Никто не двинулся с места, но молодая, горячая кровь начинала уже закипать. Мы чувствовали, что еще момент, и мы не в состоянии будем сдержаться, а тогда...

— Каторга, вперед! — второй раз грозно крикнул Перепеляев, топая ногами и грозя кулаком.

Этого было довольно. Мы бросились все вперед, но с таким бешенством, что храбрый чинуша удрал, крикнув солдатам: «Взять их!»

И нас «взяли». Солдаты окружили нас, раздались удары прикладов, так что грудь гудела. Мы отвечали кулаками. Нас втолкнули в сени, но дальше мы не двинулись. Толкать по лестнице прикладами невозможно. Мы стали плотной массой и не давали вести себя.

Перепеляев опомнился. Он вышел из канцелярии, хотел что-то сказать, но ему не дали...

— Долой! Подлец! Мерзавец!

Он удрал. Его заменил старик — начальник тюрьмы.

— Ведь не можете же вы стоять здесь, господа! Идите в камеры... Как-нибудь все устроится...

— Нет! Пока не придет губернатор, не пойдем!

Дали знать вице-губернатору. Губернатор в то время был в отъезде.

Он приехал. Начал очень сурово, но, получив не менее суровый отпор, понизил тон, стал мягче и нашел воистину бюрократический выход.

— Ведь две камеры не значат еще, что вы будете отделены друг от друга китайской стеной. Наоборот. Вы будете в одном коридоре, и камеры будут целый день открыты. Вам будет еще удобнее, чем если бы вы сидели в одной камере...

— Честное слово?

— Ну, конечно! Честное слово!

Он сдержал слово, но этим дело не кончилось. Перепеляев хорошо запомнил «подлеца» и «мерзавца» и, желая подтвердить правильность этого мнения о себе, подал жалобу в суд на всю партию, обвиняя каждого в отдельности в оскорблении его при исполнении служебных обязанностей. Вызванные свидетелями солдаты получили приказ от губернатора давать о каторжанах наилучшие отзывы — нам грозило бы иначе строгое наказание,— те охотно исполнили это, и дело кончилось приговором административных к двум неделям ареста, которого большинство не отсидело.

Опять тюрьма... Такая же, как столько предыдущих, такая же серая, такая же монотонная. Товарищи по путешествию давно уже стали обыденными. Планы побега после стольких разочарований перестали опьянять... Отсутствие жизни, отсутствие впечатлений. Единственным развлечением являлись свидания. Вице-губернатор Петухов, словно желая загладить неприятное впечатление, какое на нас произвел инцидент с Перепеляевым, охотно давал разрешения на свидания. Старые ссыльные пользовались этим, и в канцелярии начальника тюрьмы в Томске целыми часами велись оживленные споры о социализме, о терроре, о политической борьбе.

— Вы боретесь в интересах вековых врагов трудящегося народа,— с грустью в голосе говорил один из стариков...— Пока вы не будете иметь опоры в народе, пока не организуете могучую народную партию, всяким ослаблением и ограничением самодержавия воспользуются только имущие классы для еще большего угнетения и эксплоатации народа...

На этой точке зрения они стояли раньше, на этой точке зрения остались, несмотря на то, что царь-батюшка был очень усердным акушером и нянькой нарождающейся тогда русской буржуазии, что эта буржуазия находила в царе защитника своих интересов против пролетариата и что в случае сопротивления этого пролетариата царь никогда не жалел патронов в защиту буржуазии.

Другие, зараженные эпидемией апатии и бездеятельности, склонили головы под игом гнета и, найдя в известном толстовском «непротивлении злу насилием» оправдание своему нравственному и политическому падению, занялись моральным «самоусовершенствованием», искали в области этики разрешения социальных задач, бросились в культурную работу и эту точку зрения защищали.

Еще другие, по натуре более революционные, преимущественно бывшие бакунисты-бунтари, упоенные великолепным поединком горсти героев — народовольцев с царизмом, — хотя и платонически, все же стали под знамя «Народной Воли».

Только теперь, сравнивая «стариков» с нашими товарищами по путешествию, мы поняли, какими огромными шагами шло вперед русское революционное движение. И кто знает, не согласились ли бы мы тогда с определением Маркса, что тогдашние русские революционеры представляли авангард революции всего Запада. Мы с увлечением защищали свою точку зрения, противопоставляя знаниям и начитанности «стариков» сильнейшее в таких спорах оружие — молодую веру...

Кто же из нас тогда сомневался, что через несколько лет царизм рассыплется в прах? Кто из нас не был уверен, что в сотую годовщину взятия Бастилии (1789 г.) твердыни самодержавия будут разрушены до основания?

Эти свидания произвели на нас глубокое впечатление. К сожалению, на некоторое время они прервались. Один из «стариков», брат знаменитого анархиста Петра Кропоткина, князь Александр Кропоткин, застрелился. Много лет спустя мне много рассказывал о нем известный основатель Минусинского музея, умерший в 1904 году, Н. М. Мартьянов.

Кропоткин был ученым естествоиспытателем, человеком огромных познаний и одним из активнейших помощников Мартьянова. Ему Минусинск обязан основанием библиотеки и метеорологической обсерватории, он разработал устав музея, он, наконец, в минуты, когда неутомимого Мартьянова охватывали сомнение и нерешительность, словом и делом его поддерживал... Лишнее спрашивать, за что он был выслан, хотя не был, кажется, революционером. Он был братом Петра... В глазах русского правительства такой вины всегда было достаточно. Что толкнуло его на самоубийство — тоже излишний вопрос: общие условия, которые почти всю Сибирь усеяли трупами ссыльных-самоубийц. Оторванные от родной почвы, от родной среды, брошенные в совершенно чуждую атмосферу — не все ссыльные сумели акклиматизироваться на новом месте, многие поплатились жизнью. Жертвой такой пересадки на чужую почву пал и Александр Кропоткин, оставив жену и двух детей.

Это самоубийство было уже не первым в Томске. Еще раньше застрелилась жена Феликса Волховского. Поэтому на томскую колонию эта неожиданная смерть произвела потрясающее впечатление. Когда через несколько дней они снова пришли на свидание, их трудно было узнать. Оживление исчезло. По их апатичным, почти неохотным ответам на наши вопросы было видно, что они теряют время на свидание с нами, имея в виду главным образом нас, а не себя, в то время как раньше они приходили, чтобы узнать что-нибудь от нас.

С эгоизмом молодежи, не понимая еще тогда, впрочем, их состояния, мы требовали от них помощи в предполагаемом нами побеге: нас должны были вынести в корзине с книгами. Они отказались, советуя сделать это в Красноярске и обещая заранее предупредить тамошнюю колонию... О, как мы негодовали на них за этот отказ, как презирали их за то, что, опасаясь высылки из Томска, они отказывают нам в помощи и этим «приговаривают» нас к каторге.

С этого момента Томск нам опротивел. Мы ничего не имели против того, чтобы как можно скорее покинуть этот город, который встретил нас прикладами, дал потом несколько приятных минут, чтобы в конце концов снова влить горечь в душу. Но выезд, вернее «выход», так как дальнейшее путешествие нам предстояло совершать преимущественно «по образу пешего хождения», зависел не от нас.

Партии ссыльных из Томска на восток обыкновенно отправляли раз в неделю. Один раз в неделю выходила «холостая»

партия, состоящая исключительно из уголовных мужчин, холостых или женатых, оставляющих семьи в России, другая—«семейная» партия, в состав которой входили отцы семейств с женами и детьми и незамужние женщины или женщины, мужья и дети которых не пожелали разделить судьбу приговоренной. К политическим эти правила не применялись, так как они представляли буквально партию в партии, шли вместе с общей партией, но сзади ее, пользовались некоторыми привилегиями: политическим давалось некоторое количество телег, чтобы они могли ехать, наконец, на этапах, — строениях, служащих тюремными станциями,— они имели отдельные помещения. Зато к политическим применялось другое ограничение: к общей партии разрешали присоединять не больше десяти политических, зная по опыту, что чем больше политических путешествуют вместе, тем труднее властям с ними справиться. Политические ссыльные женщины обыкновенно шли с холостыми партиями. Присутствие товарищей защищало их от неприличных выходок уголовных и в то же время избавляло их от необходимости видеть оргии, которые происходили на этапах, когда туда приходили так называемые незамужние уголовные.

Из Томска дальше на восток из всей нашей партии должно было отправиться всего человек 25. Мы разделились на две группы, выхлопотали разрешение, чтобы каждая партия состояла не из 10, а из 12 человек, и первая группа двинулась в путь. Ввиду того, что каторжанам за помощь товарищам в побеге грозило суровое наказание, а мы трое — Рехневский, Маньковский и я— все еще не расставались с мыслью о побеге, мы упросили Дулембу и Люри, чтобы они вошли в состав первой группы. После их ухода в Томске сделалось еще тоскливее. Как сонные мухи, бродили мы по просторной тюрьме, ожидая своей очереди. Местная колония не забывала о нас, но прежняя прелесть этих свиданий рассеялась, содержание исчезло, остался только обряд, ритуал. С радостью встретили мы наступивший наконец день отъезда. Пришел унтер-офицер с двенадцатью солдатами (по одному солдату на каждого ссыльного), подъехали телеги для вещей, нас вывели из арестантских рот и повели в пересыльную тюрьму. От солдат мы узнали, что они назначены специально для нас и должны нас конвоировать до самого Красноярска, где их заменят другие до Канска. Это было очень удобно для нас. Солдаты обыкновенно бывали тем более вежливы, чем дольше общались с нами, а при более продолжительном общении их можно было приручить. Так и случилось. Через два-три дня солдаты уже помогали нам перетаскивать вещи на этапах, приносили воду и т. д., взамен за что получили от нас немного пищи в пути и несколько рублей по прибытии в Красноярск.

В пересыльной тюрьме произошла обычная церемония проверки личностей, с меня сняли кандалы, после чего нас построили сзади уголовной партии.

Странную и любопытную картину являла собой эта партия. Впереди около сотни людей, закованных в кандалы, с полуобритыми головами, в арестантских халатах, среди них несколько женщин в таких же халатах, но... в белых платках на голове и десятка полтора крестьян в самых разнообразных костюмах. Крестьяне были высылаемы административно, по приговорам своих волостных сходов. Были среди них хитрые мошенники, которых никогда невозможно было поймать с поличным, но были и совершнно честные люди, высылаемые по проискам кулаков, как пауки оплетавших своими сетями бедноту. Горе тому, кто смел выступать против них. Богатые и вследствие этого сильные, они при помощи волостных писарей и старост умели показать такому смельчаку свое могущество. «С сильным не борись»,— гласила русская пословица... Те, кто не умел преклоняться перед этим рабским катехизисом, признавались преступниками на основании обильно политого водкой нравственного убеждения участников волостного схода и ссылались в Сибирь... Несчастные! Они еще не привыкли к своим спутникам, профессиональным ворам и убийцам, и озирались кругом, как затравленные звери.

Сейчас же за пешим авангардом стояли телеги с больными, женщинами и детьми, по четыре человека на телеге. Дальше десятка полтора телег с вещами и в самом конце мы: три женщины и девять мужчин. Партия еще не двигалась, ожидая офицера, который заканчивал в канцелярии какие-то формальности. Солдаты шутили с незамужними женщинами, дети орали во все горло, другие бегали между телегами; стоящие впереди арестанты о чем-то горячо спорили. Их уговаривал и успокаивал один, как и другие, закованный в кандалы, широкоплечий мужчина лет тридцати на вид, который с видом вождя суетился среди ссорящихся арестантов. Это был староста. Такой староста есть в каждой партии. Обыкновенно это человек бывалый, уже не первый раз идущий в Сибирь, отлично знающий условия путешествия по этапу, знающий офицеров, понимающий, где можно сопротивляться приказаниям начальства, где не стоит и пытаться и следует подчиняться беспрекословно. Это вождь и опекун партии, исполняющий свои обязанности по выбору общего собрания, ответственный перед своими избирателями, но ответственный также перед начальством за все, что происходит в партии. Одни стараются выбиться на этот пост из самолюбия, другие, имея в виду прибыли, которые можно отсюда получить. Честный староста — а такие бывали — старался блюсти интересы партии, и арестантская честь не позволяла ему торговать интересами своих избирателей; нечестный—за взятку соглашался на меньшее количество телег для партии, смотрел сквозь пальцы на испорченные продукты, приносимые на продажу местными торговками, присваивал часть собранной для партии милостыни.

В холостых партиях выбрать старосту было не трудно. В

рядах такой партии всегда находилось несколько «Иванов» — арестантов, завоевавших некоторую специфически тюремную славу, окруженных ореолом героев тюремного мира, которые неоднократно при чрезвычайно эффектных обстоятельствах бегали из тюрем, которые прошли тысячи верст пешком через леса и горы, убегая с каторжных работ, которые, наконец, считают тюремный мир единственным, где они могут жить и где собираются умереть. Такой «Иван», разбойник, убийца, негодяй во всех других отношениях, часто готов был пожертвовать жизнью за товарища по несчастью, спасти его в опасности, освободить из неволи... Иногда единственным преступлением такого «Ивана» являлось то, что он опоздал родиться на несколько сот лет... Если бы он жил во времена Стеньки Разина или даже Пугачева, он был бы, быть может, почитаемым народным героем, воспеваемым потомством, теперь же он был только «Иваном» — бродягой.

Совсем иначе обстояло дело в семейной партии. «Иванов» в такой партии или совершенно не бывало, или же, если и были, то совершенно лишенные ореола и блеска. Это уже были люди, которым надоели наконец многолетние скитания, которых сломила кочевая жизнь, которым захотелось иной, спокойной жизни. Такой «омещанившийся» бродяга за несколько рублей, данных кому-нибудь из тюремных писарей в каком-нибудь уездном городе, без попа заключает законный союз со своей возлюбленной, ибо писарь в его статейный список, «при котором» его высылают, вписывает имя его жены, и с этих пор как легализованный отец семейства он покидает холостую партию и в семейной отправляется на место ссылки. Но в этой партии он лишен всего своего обаяния. Вообще «Иван» был велик только там, где мужество, смелость, а до некоторой степени и самопожертвование не переставали еще по традиции уважаться. В семейной партии нет таких традиций. Входившие в состав ее преступники были элементом больше случайным, чем профессиональным, и «Иван» являлся там скорее объектом ненависти как угнетатель серой арестантской массы, чем почтения. Женатый «Иван», это — павшее величие, это — лишенный силы лев, предмет шуток для последних из последних...

И такой бродяга употреблял обыкновенно все силы, чтобы как можно меньше отличаться от массы. Иногда только, когда ему уже слишком надоедают, прежний норов вырывается со страшной силой. В пришибленном, сломленном арестанте просыпается прежний герой, и горе тому, кто вызвал его гнев... В мгновение ока у него окровавлено лицо, подбиты глаза, и удары градом сыплются на его голову... Трусливая «шпанка» — так называется серая арестантская масса — пугливо поглядывает на этого разбуженного льва и целые недели после такой вспышки не смеет коснуться его не только словом, но даже оскорбительным взглядом. В семейной партии никогда не выбирают в ста-

росты «Ивана». Здесь другие требования. Не волчий зуб, так лисий хвост. Там, где холостая партия оказывает сопротивление, там семейная откупалась взятками—деньгами или живым женским товаром, доставляемым старостой офицеру, фельдфебелю или унтер-офицеру из числа незамужних женщин. Дело старосты было устроить это так ловко, чтобы были довольны и начальство и партия. Обыкновенно в семейных партиях роль старосты играл какой-нибудь бывший кабатчик, осужденный за мошенничество, лавочник и т. п. Может показаться странным, что такой одаренный змеиной хитростью муж почитался в этой партии не меньше, чем холостой «Иван»: все его слушались, и только незамужние женщины, привыкшие к совсем другой среде, часто сопротивлялись и осыпали его градом площаднейшей, циничной брани, слушая которую, краснел не один мужчина.

Издали мы с любопытством наблюдали этот совершенно неизвестный нам мир преступников, который каждую неделю в огромном количестве заливал собой огромные пространства Сибири, прививая язву преступности окружающему населению.

На пороге тюремной канцелярии появился офицер с фельдфебелем.

К ним подбежали унтер-офицеры и, получив приказание сосчитать арестантов, кинулись, как сумасшедшие, крича: «Становись, становись!»

Женщины, каждая окруженная детьми, слезли с телег, мужчины построились в ряды, и начался счет. Только больные остались на телегах да мы, образуя отдельную группу, издали глядели на партию. Офицер, увидя нас, подошел и, поздоровавшись, начал обычный разговор о партии, об этапах, о неудобствах для интеллигентных людей путешествия такого рода. Воспользовавшись этим, мы сразу выговорили себе традиционное право политических выходить с этапа несколько позже партии, а затем опережать ее за несколько верст до нового этапа.

Это имело для нас существенное значение. Обыкновенно по приходе на этап партии, состоящей из нескольких сот людей, весь этапный двор бывал занят арестантами: здесь раскладывают костры, чтобы сварить немного пищи, там на разложенных на земле халатах группами пьют чай или обедают, еще в другом месте группа женщин воркует с заигрывающими с ними солдатами или нежная супруга бьет вшей в лежащей у нее на коленях голове мужа. Настоящая арестантская идиллия. Все это время не могло быть и речи о том, чтобы выйти на двор: политические ссыльные сидели в душных камерах, ожидая сумерек, когда после поверки уголовные входят на ночь в камеры, чтобы пройтись по двору, помечтать, попеть. Более раннее прибытие на этап имело и более существенное значение. Партия обыкновенно ураганом влетала на этап и, как голодная саранча, набрасывались на лотки торговок, на приготовленные для костров дрова и щепки, на приготовленный в котлах кипяток. Каждый раз, как мы приходили

на этап вместе с партией, мы платились голодом и холодом, ибо соперничать с уголовными в этом безумном расхватывании продуктов, воды и дров мы не могли и не хотели.

Офицер охотно согласился на наше предложение.

Это был тип добродушного офицера. Как вьючное животное, запряженное в работу, изо дня в день повторяющее одни и те же движения, этот офицер бессмысленно, как машина, целые годы делал одно и то же: отводил и приводил арестантов. Сначала такая служба тяготила этого сына Марса. Он не мог примирить рыцарских мечтаний молодости с этой скорее палаческой деятельностью, но с течением времени проза жизни изгнала из его души идеалы молодости, и он тянул свою лямку, как миллионы других. Таких офицеров мы встречали десятки. Они не злы и не добры—машина и только. Только бы довести партию до следующего этапа, только бы все обошлось тихо, без скандалов, только бы можно было доложить по начальству, что «все благополучно»... и других желаний нет... А что из-за этого его «благополучно» кто-нибудь хоронит свои мечты о свободе, о дальнейшей работе, что за это его «благополучие» из года в год платится жизнью несколько десятков людей, это не его дело, об этом он не думает, а если и подумает, то это не помешает ему спать спокойно. Про запас всегда есть готовый ответ всех посредственностей: «Не я, так другой... Не все ли равно!»

«Все равно», и на этом основании миллионы людей исполняли свое гнусное ремесло на службе у правительства.

Это тот же тип солдата у Успенского, который колошматил «чистый» польский народ... Но тип этот для идущих по этапу был в общем менее вреден.

Хуже была несколько иная разновидность офицеров, очень удачно охарактеризованная словами одного из товарищей-карийцев: «издали медведь, вблизи теленок». Неуверенный в себе, такой тип, желая подбодрить себя, начинал орать еще издали, но, когда этот стратегический маневр не помогал, обыкновенно сразу сдавался. Эта разновидность была хуже потому, что благодаря напряжению нервов всякий крик вызывал общее возбуждение, и часто, вопреки воле обеих сторон, выходили скандалы, ликвидировать которые уже было невозможно, несмотря на обоюдное желание. Тогда такой тип озирается кругом, как теленок, не поможет ли ему кто-нибудь, и часто отвечает дисциплинарно за свой телячий характер.

Кроме этих двух типов, среди офицеров часто попадались и крайние типы: сочувствовавших нам оппозиционеров и ультра-патриотов. Последние устраивали скандалы по убеждению, рассматривали ссыльных чуть ли не как своих личных врагов; такие офицеры искали предлога к столкновению и часто получали головомойки за чрезмерный даже в глазах русского правительства патриотизм. Это были так называемые «бурбоны». Они рассматривали себя как власть, а ссыльных как преступников,

держались сурово, решительно, не считаясь с законами и считая законом для арестантов каждое свое слово. «Я для тебя царь и бог»—вот был их обычный окрик, который в применении к политическим подвергался только тому изменению, что вместо «ты» употреблялось «вы». Но и царь, и бог, конечно, очень бы обиделись, если бы к ним отнеслись так, как обыкновенно относились к такому господину не только политические ссыльные, но и партия уголовных. Пустить в ход последний аргумент — оружие они не решались и часто осмеянные покидали поле битвы... Иногда они мстили доносами, но и это мало помогало: в губернском правлении, зная такого патриота по предыдущим доносам, обыкновенно бросали их в корзину.

Менее четкий тип представляли так называемые «сочувствующие». Это были большей частью бесхарактерные, сентиментальные, слезливые люди, вздыхающие при виде молодежи, «лучшей молодежи», как они обыкновенно выражались, ведомой на гибель, но тщательно охранявшие, чтобы «лучшая молодежь» не дала стрекача, приносившие ссыльным газеты, устраивавшие для них иногда завтраки, но с большими опасениями высылавшие частные письма этих ссыльных к семьям с извещением о здоровьи, — люди, почти одинаково впечатлительные к страданиям ссыльных и неудовольствию начальства.

Бывали, конечно, как исключения личности более сознательные, но их судьба бывала самая печальная, ибо пропасть между совестью и службой они заливали водкой и только тогда показывали, что собою представляют. Много было таких несчастных, и все это были погибшие люди: или они окончательно спивались и, выгнанные со службы, пропадали, или «жизнь делала свое» — они начинали, честно вздыхая и причитая, делать совсем нечестные поступки.

Среди этапных офицеров мы встречали и поляков. Один из них особенно врезался в мою память: это был уже немолодой капитан Романовский. Любезный, вежливый, тактичный, он содержал в большой чистоте камеры, но, когда мы отправились в баню, лично сопровождал и присматривал за нами, лично проверял кандалы. Уже на Каре мы узнали от потерпевшего за два года до нашего прибытия Дзвонкевича, приговоренного к 20 годам каторжных работ в Одессе, что, когда он пробовал бежать с этапа, Романовский приказал беспощадно бить его, раненного и впавшего от боли в бессознательное состояние, прикладами.

— Трогай! Трогай! — крикнул офицер, заметив, что ссыльных уже посчитали...

И партия пустилась в путь, поднимая клубы пыли и звеня кандалами...

Я оглянулся. В тумане пыли тонул Томск, равнодушный к этой волне, из года в год катящейся по улицам, равнодушный ко всему, что не касалось шкурных интересов.

V. ПЕШИМ ЭТАПОМ ДО ИРКУТСКА

Первые дни путешествия по этапу доставляют некоторое удовлетворение: видишь новый мир, видишь совершенно до сих пор чуждую жизнь, много удовольствия доставляют ребятишки, болтающиеся между взрослыми и играющие в «партию» или в конвоирующих ее солдат. Эти маленькие наблюдатели часто раньше взрослых подмечают многие характерные черты. Один мальчуган лупит другого, как солдат арестанта; другой заигрывает с девочкой; третий артистически подражает сниманию кандалов. Но маленькие артисты, увлекаясь подражанием, употребляют иногда такие слова и выражения, что уши вянут... а старшие, слыша это, только смеются.

Вообще арестанты часто смеются в таких случаях, когда культурный человек буквально извивается от боли. Офицер требует живого женского мяса, — арестанты смеются; товарищ по несчастью проигрался до нитки, проиграл не только несколько копеек, выданных ему на покупку пищи на весь день, но и казенные вещи — полушубок, халат, коты, даже шапку, за что его ожидают розги, — арестанты смеются; ревнивая жена подерется с одной из незамужних женщин, обе горстями вырывают друг у друга волосы и ругаются самым ужасным образом, — арестанты опять смеются; «сухарник», несчастный, всегда голодный, всегда мечтающий о сухарях, худой и высохший, как настоящий сухарь, меняется за несколько рублей судьбой и личностью с другим, приговоренным к каторжным работам, и, пропивши эти несколько рублей, заливается горькими слезами над своей несчастной долей, — и снова арестанты смеются до упаду. Иногда они смеются даже, когда солдат так трахнет кого-нибудь прикладом, что тот валится с ног.

Впрочем, битье прикладами — явление довольно редкое... Вообще говоря, солдаты, конвоирующие партию, привыкают к арестантам, видят в них людей и удовлетворяются... руганью. Особенной симпатией среди солдат пользуются бывшие солдаты, так же как среди офицерв бывшие офицеры. Очень часто мы получали на этапе офицерские визиты только потому, что с нами ехал, вернее, шел офицер Люри. К нему относились очень хорошо и фельдфебеля и не раз громко высказывались весьма характерно: «Все-таки это капитан, хотя сейчас и попал в беду».

Медленно подвигалась в первый день партия. По инструкции она должна проходить четыре версты в час и не больше 25—30 верст в сутки. В последующие дни, когда партия уже привыкла, а особенно потом, зимой, когда подгонял трескучий сибирский мороз, арестанты проходили и по пяти верст в час, но в первый день партия еще не разошлась, многие быстро уставали после долгого пребывания в тюрьме.

Нас не раздражало такое медленное путешествие. Мы знали заранее, что после двух дней ходьбы наступает день отдыха, потом опять два дня пути, снова день отдыха и так до прихода на

благословенную Кару, речку в Нерчинской области за Байкалом, над которой находилась знаменитая каторжная тюрьма для политических. Пятьсот верст от Томска до Красноярска мы должны были пройти в месяц, следующие пятьсот до Нижнеудинска снова в месяц и так далее.

Спеши медленней! Эта медленная спешка была выдумана специально для уголовных, идущих в Сибирь. Они всегда торопились. В дождь или засуху, в жару и мороз летят, как на ярмарку. Почему? А просто так, это в их натуре. На полпути, обычно на берегу ручья или реки, партия останавливалась на четверть, на полчаса на отдых. Кто имел что-нибудь съедобное, наскоро закусывал, запивал водой и снова в путь.

Тут уже партия начинала ускорять шаги: люди были голодны, минутный отдых только увеличивает и без того прекрасный аппетит всегда голодного арестанта. Мы обыкновенно со второй половины дороги садились вместе со своими солдатами на телеги и опережали партию. Офицер в своем тарантасе сопровождал нас.

Партия ничего не имела против этой привилегии и выговаривала только, чтобы мы не переплачивали торговкам, а то они потом запрашивают. Этого мы строго придерживались, торгуясь из-за каждого гроша.

Часов в пять партия обычно приходила на этап.

Художнику, который желал бы нарисовать борьбу за существование, следовало бы изобразить этот момент. Построенные в ряды и пересчитанные арестанты напряженно глядят на запертые ворота этапа. Проходит минута, другая. Ворота распахиваются, и вся эта толпа закованных и незакованных в кандалы людей бросаются вперед, толкая по дороге всех, так или иначе задерживающих этот натиск. Человеческий поток рвется и ревет. Некоторые падают, одни перескакивают через них, другие бегут прямо по лежащим телам, иногда на дороге образуется целая гора живых тел, но это никого не удерживает. Все скачут, бегут, только бы первыми ворваться в этапное помещение и занять место на нарах. Среди этих борющихся за лучшее место, за лучшие условия сна людей преобладают молодые мужчины, но, как и в настоящей борьбе за существование, за лучшие условия борются и наиболее смелые, наиболее ловкие женщины. Таких не много, но разве в действительной жизни их больше? Женщины, дети, старики и менее сильная, менее оборотистая молодежь обыкновенно остаются позади. Победители в этой борьбе вскакивают на нары и в знак своей победы расстилают на них свои халаты. Но и эти самые энергичные, которые с такими усилиями, с такой отвагой завоевали свои логовища, находят лучшие места уже занятыми. Ибо и здесь, как и в обычной жизни, инициативе, хитрости, умению и силе противопоставляется сила... капитала. За несколько грошей солдаты еще перед открытием ворот занимают для «богачей» более удобные места.

И пусть бы кто-нибудь попробовал усомниться в этом праве богачей. В тюрьме они не хуже, чем в действительной жизни, сумели бы доказать и обосновать свои права. Но запыхавшиеся, усталые победители не могут еще почить на лаврах. Их ожидает еще одна, не менее важная и не менее трудная борьба — борьба за хлеб, за пищу. Торговки ожидают на этапном дворе уже в момент прихода партии и, чтобы места у лотков не заняли те, кто не принимал участия в борьбе за место, нужно торопиться. Едва человеческий поток успел влиться в этапное здание, как уже с той же силой рвется обратно, снова прокладывая себе дорогу кулаками и локтями. И снова побеждает сила, побеждают мускулы. В этом случае арестанты выше обыкновенных смертных своим пониманием «классовой солидарности». Прокладывать себе дорогу локтями, кулаками можно, но пусть бы кто-нибудь попробовал дать на грош дороже за крынку молока или за булку, сотни кулаков обрушились бы на такого арестанта.

Когда эти ловкие отцы семейств заканчивают эти наиболее существенные для них дела, начинается, конечно, только летом, уже описанная мною выше идиллия на этапном дворе.

Мы пользуемся этим, чтобы присмотреться к этому новому миру, чтобы приподнять хоть кончик скрывающей его от света завесы... Полное разочарование! Романтически настроенное вооображение хотело бы в каждом из этих людей увидеть по крайней мере демона зла, с сильным характером, с черной душой.

Действительность рассеяла эти иллюзии. Все эти «женатые» преступники были скорее люди слабые, легко поддающиеся искушению, жадные, но трусливые, часто орудия в чужих руках, иногда даже в руках мегер-жен. Лакейские, рабские души... Когда мы начинали с ними разговор, они не могли усидеть на месте, постоянно вскакивая, чтобы вытянуться, как перед «начальством». Для них мы были «господами», несмотря на арестантские халаты и кандалы. Они видели, что мы хотим с ними познакомиться, и пользовались этим «барским капризом», чтобы пожаловаться на недостаток хлеба и выманить несколько грошей. Они были отвратительны.

Менее назойливы были незамужние женщины. Они на этом грязном этапном дворе оставались собой, цинично, почти вызывающе цинично затрогивая не только солдат, но и нас, они открыто и всенародно занимались своим ремеслом, но они не пресмыкались перед богатыми и сильными. Те торговали душой, эти только телом...

Разительный контраст с остальной партией представляли высылаемые в силу приговоров волостных сходов и жертвы семейных драм. Из этой категории преступников особенно обращала на себя внимание одна супружеская пара. Она была приговорена к каторжным работам за покушение на жизнь мужа; он — тот самый муж, за которого закон мстил преступной жене,

разделил ее судьбу и следовал за ней добровольно. Следствие продолжалось несколько лет. Обвиняемую выпустили на свободу, она помирилась с мужем, быть может, даже они поняли друг друга после этого покушения, ибо с тех пор мир и любовь воцарились в семье, через год у них родился сын, а через два года жена была снова арестована и приговорена... В партии они обращали на себя всеобщее внимание трогательной гармонией, какая между ними царила. Она словно старалась доказательствами любви загладить следствия своего ужасного поступка, а он как настоящий врач ее наболевшей души заботами о ней и ее ребенке на каждом шагу давал ей почувствовать, что в его отношении к ней ничто не изменилось, что он не помнит и не хочет помнить нанесенной ему когда-то несправедливости. Эта пара «преступников» странно выделялась на сером фоне «невинно» приговоренных людей...

«Невинно»... Большинство семейной партии состояло из «невиновных». Это напоминало известный анекдот о Николае I. Он якобы посетил уголовную тюрьму и каждого из заключенных в отдельности спрашивал, за что он сидит.

— Невинно, ваше величество! — отвечали один за другим заключенные.

Только один-единственный во всей тюрьме признался в совершонном преступлении.

— Украл, ваше величество!

— Так убирайся же отсюда скорей, жулик, — заявил Николай. — Здесь только порядочные люди сидят, ты их еще испортишь...

Наших «преступников» не выгнали, испортить порядочных они, конечно, были не в состоянии, но быть жертвами жесточайших пыток могли и были.

— Смотрите-ка на них, как воркуют! — обращал кто-нибудь внимание на сидящих в стороне и разговаривающих супругов.

— А ну-ка, тетка, поцелуй его еще раз топором по голове, может, он еще лучше станет!

Они не отвечали. Что же можно было ответить?.. А арестантская толпа, довольная, сделав свое, шла в другое место, чтобы снова облить кого-нибудь помоями своего остроумия.

Нет, ни симпатии, ни малейшего сочувствия не вызывала семейная партия. Наоборот, она была отвратительна своей трусливостью, мелочностью и не поддающимся описанию отсутствием достоинства.

Совершенно иначе выглядела холостая партия, к которой нас присоединили в Нижнеудинске, уездном городе Иркутской губернии. Здесь были преступники, убийцы, но помнящие о своем человеческом достоинстве. Нарушая законы и общепринятую мораль, они руководствовались, однако, собственными понятиями о праве и этике, в их душах тлела искра чести, и кто знает, не стали бы ли они в других социальных условиях полезными

членами того самого общества, которое теперь выбрасывало их в сибирскую мусорную яму. Чтобы убедиться в этом, довольно увидеть отношение арестантской массы в целом и каждого арестанта в отдельности к так называемым «отцам». Так называют людей, приговоренных за кровосмешение, преимущественно за соблазнение собственных дочерей... Они идут отдельно. Никто с ними не разговаривает, никто не протянет им руки. Над другими подшучивают, но если кто затронет этих, на него обрушатся остальные. Вся партия чувствует к ним какое-то физическое отвращение. Арестантская совесть не мирится с такого рода преступлениями.

Зато были типы, которыми арестанты гордились. Таков был некий Голиков. Высокий, хорошо сложенный, он с гордостью носил серый арестантский халат с желтым тузом на плечах, шапку набекрень и вызывающе побрякивал ручными и ножными кандалами. Он сразу обращал на себя всеобщее внимание.

— За что он осужден? — спросил я старосту.

— Одиннадцать раз бегал,—с обожанием в голосе ответил арестантский сановник. — В железной клетке, как зверя, перевозили его из Орла в Москву. Убежал...

Восторг и упоение звучали в каждом слове старосты.

Я подошел к этому тюремному герою и начал с ним разговор.

Он держался с достоинством. Не подлаживаясь, не стараясь поддакивать каждому слову, он, однако, и не хвастался. Его специальностью были церкви. Он ограбил их великое множество.

«Господу богу деньги не нужны».

Частных лиц он не трогал, помогал нуждающимся, но стоило ему увидеть церковь, как его тотчас охватывало стремление ограбить ее, и он как виртуоз, как мастер своего дела начинал строить планы ограбления. Сегодня у него тысячи — завтра ни гроша: гроши тратил на себя, сотни рублей раздавал нуждающимся.

Арестанты обращались к нему не иначе как по имени и отчеству. Без его совета ничто в партии не делалось. Он отвечал подумавши, с сознанием лежавшей на нем ответственности, был очень осторожен, на сопротивление решался только в крайних случаях. Но зато, когда по тем или другим причинам столкновение с властями начиналось, Голиков всегда стоял в первых рядах, холодный и решительный, и не раз солдатские приклады опускались на грудь этого героя-преступника.

Таких, как Голиков, в партии не много, но все-таки они есть и придают партии известный колорит. Характерным в этом смысле является то, что еще сорок лет назад чуть ли не с каждой партией шли в ссылку крестьяне—мстители помещикам или даже отдельным чиновникам за народные обиды. Это были стихийные аграрные террористы, темные, несознательные, но искрен-

но любящие и уважающие свой «мир» и всей душой угнетенных рабов ненавидящие господ в мундирах и без мундиров. Тихие, кроткие и покорные, как рабы, и до и после совершения мести, они шли в ссылку, считая, что должны нести посланный им крест за «мир», шли в страну льдов, приговоренные царским правительством; шли, глубоко убежденные, что если бы им удалось дойти до царя и рассказать ему о народном горе, царь выступил бы на защиту. Они шли, проклиная чиновников и прославляя царя, отца и покровителя крестьян. Шли и гибли с этой верой, не дождавшись момента, когда заря революции осветила истинное лицо этого царя и покровителя и рассеяла эту веру.

Этих распятых за «мир» людей арестанты чтили и уважали. «Мирской человек», — с почтением говорили о них. Эти люди напоминали арестантам их собственные деревни, осиротевшие пашни, покинутые семьи. Они готовы были целыми часами слушать их и, слушая, как мне казалось всегда, давали выход чувству своей тоски, иногда искуственно подавляемой.

Гораздо менее популярны были в партии сектанты, изгоняемые из родных сторон как «инако верующие». В России верить иначе, чем приказывало правительство, запрещалось... И вот из года в год сотни честнейших людей, дельных земледельцев и наиболее культурных крестьян, приговоренных царским правительством за сектанство, населяли Сибирь. Свирепейшие преследования сыпались на головы сект, которые я назвал бы религиозно-социальными, стремящихся к воплощению в жизнь учения Христа в полном объеме. Помню свое изумление, когда много лет спустя, встретив на пасху духобора и поздоровавшись с ним словами «Христос воскрес», — я вместо ответа «воистину воскрес» услышал «во истинных воскрес».

Этих сектантов арестанты терпели. Религиозные вопросы были им чужды, не интересовали их, и они скорее для развлечения слушали диспуты между представителями различных сект. Эти диспуты были весьма любопытны в смысле формы. Люди, иногда совершенно не умевшие читать, цитировали наизусть целые отрывки из священного писания, немилосердно перевирая тексты и еще чаще сами не понимая многих употребляемых в цитатах древнеславянских выражений. Лучшие ораторы отличались изумительными способностями к... рифмованию. Когда один из диспутирующих что-нибудь скажет, другой отвечает ему в рифму.

Один, например, говорит: «Это сделал бес».

Другой отвечает: «Смотри, чтоб в тебя не влез».

Эти рифмованные ответы чрезвычайно нравились арестантам, и долго потом они рассказывали друг другу об ораторе, который так умело «подковал» противника. Но, кроме этого восхищения формами, к содержанию диспута они оставались совершенно равнодушными, как бы считая все эти споры не своим делом.

Единственное исключение в этом отношении представляли скопцы, которые внушали арестантской массе отвращение и часто подвергались нападениям со стороны отдельных арестантов. Мне всегда казалось, что арестантов враждебно настраивает внешний вид скопца, налитый жиром, с бессмысленным выражением на лице. Впечатление дополнял пискливый голос скопцов, просто раздражающий при их невероятной толщине. Несмотря, однако, на это отвращение, случаи избиения скопцов арестантами были исключением.

На первый взгляд покажется странным, что я перейду теперь к взаимоотношениям между политическими и уголовными арестантами: без нескольких пояснительных слов эти отношения были бы непонятными.

Хотя все мы, политические, были социалистами, но по многим вопросам у нас были принципиальные разногласия. Одни из нас разрешали вопрос об уголовных преступлениях коротко и ясно: каждый преступник является продуктом социальных условий и как пассивная жертва условий является таким же человеком, как всякий другой гражданин российского государства, может быть только более несчастным и, следовательно, более достойным сожаления. Другие шли гораздо дальше, видели в уголовных преступниках стихийных оппозиционеров против существующего строя и были недалеки от взгляда на них, как на народных вождей вроде Стеньки Разина... Третьи, наконец, грешили другой крайностью и считали уголовных отбросами общества, не признавали в них никаких человеческих достоинств, считая их, так сказать, олицетворением преступности.

При таком разнообразии взглядов не легко было установить нормальные отношения с уголовными, поэтому сначала большинство из нас держалось пассивно, выжидательно. Но с течением времени, по мере того как мы ближе знакомились с этим миром, отношения стали более определенными и укладывались в знаменитую формулу: «Они сами по себе, мы сами по себе», причем каждая сторона старалась не становиться поперек дороги другой, не вызывать в ней недовольства. Мы следили за собой, чтобы не вставать слишком поздно и этим не задерживать партии; при ограниченном количестве телег не требовали их для себя, в ущерб им. Наконец принимали значительное участие в расходах, производимых всей партией. Они с своей стороны никогда не становились на сторону власти, даже в тех случаях, когда последствия наших столкновений с начальством непосредственно отражались на них. Наоборот, они, особенно холостая партия, относились к нам с некоторой симпатией, видя, как мы, небольшая группа, иногда в пять-шесть человек, оказываем сопротивление начальству и принуждаем его исполнять наши требования. Кроме того, как я уже упоминал, они смотрели на нас, как на людей, из которых можно было извлечь некоторую пользу. Случалось, что нас будили ночью к боль-

ным. Конечно, мы охотно шли по первому зову, хотя среди нас не было врача. Арестанты понимали и ценили еще другую сторону этой помощи. Врачи, которые были только на этапах, находящихся поблизости от крупных сел, иначе обращались с больными, когда за последними ухаживали политические, чем когда действовали без всякого контроля. За эту помощь партия была нам от души благодарна и неоднократно эту благодарность доказывала. Не менее охотно помогали мы всем, кто собирался бежать.

Для людей, которые никогда не сидели под замком, эта помощь, оказываемая нами преступникам, будет совершенно непонятна. Ведь облегчать им побег значит облегчать возможность дальнейшего совершения преступлений.

Об этой стороне вопроса мы даже и не думали. Для нас это были прежде всего люди, лишенные драгоценнейшего для человека сокровища — свободы. Арестантская солидарность, быть может, и то, что мы сами были лишены этой свободы, заставляли нас помогать тем, которые желали из этого плена вырваться. В этом отношении и они, эти бессовестные, бесчеловечные преступники, не пожалели бы ничего, чтобы облегчить нам побег. Мы могли оказывать им только материальную помощь — главным образом деньгами. Они неоднократно подтверждали свою готовность помочь активно с опасностью для себя лично. Поэтому, когда бы они к нам ни обращались, предлагая принять участие в складчине на бегущего, не было случая, чтобы мы отказали им в этом.

Совершенно иначе обстояло дело в отношении так называемой «сменки», о которой я уже упоминал — замены одной личности другой. Об этой сменке как о явлении, возможном только на почве условий старорежимной России, я должен сказать несколько слов.

Партия, отправляющаяся в Сибирь, состояла из арестантов самых разнообразных категорий: административные без всякого лишения или ограничения прав; так называемые «житейцы», приговоренные к поселению в Сибири с ограничением некоторых прав и привилегий; поселенцы, лишенные всех прав; наконец, приговоренные к каторжным работам на различные сроки, от двух-трех лет до бессрочных включительно. Самые суровые наказания применялись обыкновенно к профессиональным преступникам, то есть к упомянутым уже выше «Иванам», которые верховодили партией и образовывали чуть ли не организованную группу. Каждый такой «Иван», конечно, днем и ночью мечтал о том, чтобы вырваться на свободу. Одним из средств к достижению этой цели был обмен личностью и фамилией, а вместе с тем и наказанием с одним из поселенцев или даже приговоренных к двум или трем годам каторги, ибо, имея на шее не слишком много лет каторги, можно было второй раз поменяться с поселенцем. Конечно, желающих пойти на такой

обмен находилось не много, но голод принуждал к этому «сухарников», особенно когда они проигрывались в карты и «майданщик» — арестант-лавочник, торгующий съестными припасами и держащий напрокат карты, натравленный «Иванами», прижимал беднягу к стене и отказывал ему в кредите. И вот за некоторое вознаграждение, за 20—30 рублей, собранных в партии и в течение трех-четырех дней выигрываемых у него шулерами, несчастный соглашался на обмен. Но этим жертва только начиналась, а не кончалась. Меняющиеся не всегда были похожи друг на друга. Иногда у «Ивана» был шрам на лбу, перебитый нос или у него недоставало нескольких зубов. И вот для придания сходства над сухарником производились «специалистами» всевозможные варварские, невероятно болезненные операции: ему первобытнейшим способом вырывали зубы, перебивали нос, разрезали кожу. Не раз в ночной тишине мы слышали заглушаемые наброшенными халатами стоны этих истязуемых людей. Было бы ошибкой предполагать, что жертва этих истязаний вызывала потом сочувствие в арестантской массе. Нет! С того момента, когда у него вынудили согласие, до момента расставания с ним как те, кого он избавлял от долгих лет каторжных работ, — «Иваны», так и вся партия терпели его, но потом зато его третировали хуже, чем прежде, попрекая его на каждом шагу, что он за сухари продал свободу. И пусть бы этот парень попробовал слишком рано признаться властям в совершенном подлоге — его ожидала верная смерть. Бывали случаи, когда, зная, какая судьба его ожидает, такой «сменщик» оставался в уездном городе и с согласия властей скрывался в секретных камерах, но карающая рука «Иванов» и там его достигала. «Сменщик» никогда почти не решался на такое вероломство, тем более, что по прибытии на место назначения ничто не мешало ему через два-три месяца признаться в подлоге. Начальство проверяло его показания, виновный наказывался розгами, — а в этой среде только первые розги производят впечатление, — справедливость торжествовала, а продавшийся снова становился собой. Тот же, которого он при помощи партии спас, давно уже гулял по свету в качестве «не помнящего родства» бродяги, брел через горы и леса по направлению к Уралу, к далекой России.

Смеркается. Группы арестантов постепенно исчезают с этапного двора... Их созвали на поверку, сосчитали и заперли в грязном этапном помещении... На деревянных нарах нехватает места и для половины заключенных, значительное большинство располагается на отдых под нарами, несколько десятков на полу, даже в коридорчике около знаменитой вонючей параши, иногда еще вдобавок протекающей. Мужчины, женщины, дети спят вповалку, чуть не толкаясь при переворачивании

с боку на бок. А в углу при свете сальной свечи шулера и страстные игроки до поздней ночи обыгрывают друг друга в карты, мошенничая, заглядывая в карты противника и ругаясь на чем свет стоит... Незамужние женщины ночевали в другой камере. Здесь было гораздо больше места, словно правительство принимало во внимание «потребности» конвоирующих партию солдат и оставляло для них место рядом с высылаемыми женщинами. Во всех случаях, когда предназначенная для политических камера находилась в непосредственном соседстве с камерой незамужних женщин, мы проводили бессонные ночи, не будучи в состоянии сомкнуть глаз от шума происходящих там оргий. Иногда камера уже не может вместить такой оргии в своих границах, она разливается по всему зданию этапа... Начинается оглушительный шум и крик. Одна из таких оргий навсегда врезалась в мою память. Дело было под Канском в Енисейской губернии. Начальник этапа, молодой офицер, лет двадцати пяти, тотчас по прибытии партии потребовал дани в форме женского тела. Незамужние женщины заволновались. Каждая считала себя наиболее достойной такой чести. Заварилась крупная перебранка, дело чуть не дошло до драки... Дело тут было не в заработке, не в сладком куске, а в «чести». Шутка ли, сам начальник этапа... Выбор наконец падает на молодую, едва достигшую восемнадцатилетнего возраста бродяжку Сашу. Последней инстанцией является староста, и конкурентки волей-неволей принуждены уступить. С высоко поднятой головой, гордясь победой, одержанной ее красотой, с сознанием своего превосходства глядя на товарок, Саша отправляется в комнату офицера... На уходящую с почтительным восхищением смотрят и замужние женщины, крестьянки, которые еще несколько месяцев назад, у себя в деревне, были бы готовы побить такую Сашу камнями; смотрят тринадцати-четырнадцатилетние девочки, смотрят маленькие дети. Саша является героиней не только в собственных глазах, но и в глазах всей семейной партии.

Примеру офицера следуют фельдфебель, унтер-офицеры, солдаты, с той только разницей, что, не полагаясь на выбор старосты, они выбирают сами. Служебные обязанности мешают тотчас же отдаться наслаждению. Солдаты торопятся, поверка происходит раньше, чем обычно. Едва начинает смеркаться, как все уже под замком. Грязное этапное здание превращается в огромный публичный дом. Солдаты угощают дам сердца водкой, слышны звуки балалайки, топот танцующих.

Вдруг раздается звон бубенчиков, свистки сторожащих по ту сторону ограды солдат... Приехала «дворянская партия».

Несколько слов об этой партии, как о своего рода «редкости».

Русский кодекс, стоя на точке зрения, что «благородство обязывает», более сурово карал за разные преступления (кра-

жа, убийство) представителей привилегированных сословий, чем плебеев. Но, когда бумажная справедливость уже на бумаге торжествовала, правительство, помня, что эти преступники (дворяне и чиновники) его плоть от плоти и кость от кости, освобождало их от наиболее тяжелого наказания, обычного пешего путешествия с этапа на этап. Эти «господа преступники», как их называли солдаты и уголовные, ехали на лошадях по 45—50 верст в день, получали в полтора раза бо́льшую сумму на пропитание и только на ночлеги заезжали на этапы.

Ругаясь, как умеют ругаться только русские солдаты, доблестные воины срываются с постелей и выходят встречать партию, но при встрече подавляют неудовольствие и принимают вновь прибывших довольно любезно. Для них они не потеряли обаяния... «господ». Солдаты торопятся принять дворян... Возвращаются в покинутую камеру... Но этапные красавицы исчезли... Привлеченные ореолом барства, они в объятиях «господ преступников» ищут утешения в перенесенной при выборе офицера обиде.

Этого уже солдаты стерпеть не могли. Возмущенные, они насильно вталкивали женщин в их камеру. Те, подвыпившие, возбужденные, вырывались из рук, ругались на чем свет стоит, прятались в камерах под нарами... Их вытаскивали оттуда, они снова вырывались и прятались... Вся партия живо заинтересовывалась этой борьбой. Симпатии на стороне женщин. Но солдаты не уступают. Пылкие любовники в один момент превращаются в начальство. Ссылаясь на закон, они требуют от женщин возвращения в предназначенную им камеру. Те, не понимая этой внезапной метаморфозы, сопротивляются. В коридоре собирается большее число солдат, начинается избиение, приносят ручные кандалы, и прежние возлюбленные, окровавленные, в разорванных одеждах, побежденные, закованные в кандалы, возвращаются в свою камеру.

Крики и ругательства трехсот человек в остальных камерах, плач детей, разбуженных этим шумом, проклятия шулеров, которым помешали играть, — все это вторит «восстановлению порядка»... Возбуждение еще долго царит на этапе, а на следующий день партия должна быть готова к отправке уже к пяти часам утра... Невыспавшиеся, раздраженные арестанты... Надутые, нервные солдаты... Каждую минуту вспышки то с той, то с другой стороны... Стычки, столкновения...

Зато офицер «немного развлекся»...

VI. НА КАТОРГУ

Долго, долго, целую вечность продолжается этапное путешествие... Проходят дни, недели, месяцы... Товарищи мало-помалу покидают нас, оставаясь в попутных городах... От Красноярска дальше на восток из политических идем уже только мы

одни — трое каторжан... Меняются партии, с которыми мы идем, меняются местности, меняется конвой, неизменны только мы и... наше убежище — этап, на всех станциях одинаковый, построенный еще во времена Екатерины по одному плану, молчаливый свидетель мучений и пыток в течение целого столетия...

На этих нарах, на которых мы укладываемся отдыхать после утомительного перехода, отдыхали еще «военнопленные» 1831 года, повстанцы 1963 года [1]. Они шли с верой в святость дела, во имя которого восстали, с верой в победу... И с этой верой умирали в сибирских тайгах и тундрах, на берегах бурного Байкала, в нерчинских шахтах... Счастливые... Они умерли с верой. В сто раз несчастнее те, которые уцелели, которые остались живы, но в которых умерла вера. Мы часто встречали их и во время путешествия по этапу, и потом в Сибири. В смысле материального положения они все были не плохо устроены, но тяжелый осадок разочарования и горечи чувствовался почти в каждом. Они тосковали по родине, долгие годы собирали гроши на путешествие в родные края. Как легкомысленные мальчики, они бросали свои занятия, службу, ехали, а через несколько месяцев, исполненные горечи, возвращались: «Для нас уже нет места на родине... Польша поумнела, отрезвела!» И они возвращались добровольно в Сибирь, чтобы здесь, на чужбине, укрыться со своей скорбью...

Некоторые фамилии повстанцев 1863 года еще сохранились на грязных этапных стенах... Сохранились некоторые сделанные ими надписи, свидетельствующие о том, что правительству не удалось согнуть свободных сердец борцов за свободу. Но разве с течением времени не удалось сломать или согнуть этих людей? Увы! Жизнь, более сильная, чем цари, впрягла в свою колесницу тех, кого не в состоянии был покорить царь. Жизнь медленно, постепенно охлаждала их пыл... Погоня за куском черного хлеба довершила дело. В наше время эти прежние безумцы уже занимали должности в полиции, эксплоатировали туземцев, торговали водкой... Были и худшие... Но были и такие, которых даже жизнь не согнула, которые сохранили свой молодой энтузиазм и теперь были готовы выступить с оружием в руках, как некогда... Приходя на этап, мы всегда тщательно разыскивали эти дорогие надписи, несмотря на то, что рядом с этими почтенными фамилиями, рядом с дышащими верой надписями нередко красовались грязные, циничные надписи уголовных...

Мы шли в Сибирь через двадцать лет после повстанцев и, встречая на этапах их фамилии, часто думали о том, что будет через двадцать лет с нами... и ставили себе мучительный вопрос: быть может, и для нас по возвращении на родину не найдется места?..

---

[1] Польские восстания.

Это не было простое малодушие... Разве мы не встречали уже более позднего поколения русских революционеров—народников, для которых все политическое движение, начатое «Народной Волей», было совершенно чуждым, которые тоже не возвращались на родину, ибо им «не к чему» было вернуться. Но такие минуты невеселых размышлений были редки. Чем дальше мы подвигались на восток, тем чаще встречали сосланных представителей уже нового направления, и мысль чаще работала в сфере современности, чем в сфере загадочного будущего. Эти встречи с товарищами всегда доставляли нам огромную радость.

Лишенные по целым месяцам каких-либо известий из внешнего мира, лишенные даже газет, от них мы узнавали о событиях, получали журналы, газеты, иногда даже письма. В течение нескольких дней после такой встречи мы жили воспоминаниями о ней, но монотонная жизнь вскоре затягивала серой паутиной эти светлые проблески, и снова единственным содержанием жизни становилось лишь однообразное перехождение с этапа на этап.

В конце августа мы прибыли в Иркутск, где в течение целой недели ожидали партии, с которой должны были двинуться на Байкал. Это был первый отдых после двух месяцев путешествия. Здесь нас уже ожидали письма с родины, желанные известия от близких. Здесь же, в Иркутске, мы впервые получили от сидевших тут двух русских товарищей более точные сведения об условиях пребывания на Каре. Оба они провели в этой тюрьме по нескольку лет и постоянно получали от возвращавшихся с Кары сведения о происходящих там с течением времени переменах. Благодаря этому их сведения были совершенно точны. Это были Мария Ковалевская и Мария Кутитонская. Первая была приговорена в 1879 году за вооруженное сопротивление при аресте на 14 лет и 10 месяцев каторжных работ и за бунты и протесты ее временно перевели в Иркутскую тюрьму. О ней мне придется еще говорить, так как она впоследствии сыграла выдающуюся роль во время знаменитого карийского протеста и поплатилась жизнью. Вторая — одна из сибирских героинь — мстительница за издевательства над политическими заключенными на Каре. Приговоренная в 1879 году к четырем годам каторжных работ, она была в 1882 году выпущена и сослана на поселение в один из городков Забайкальского края. Здесь к ней дошли слухи об истязаниях политических на Каре, произведенных генералом Ильяшевичем по следующему поводу. В половине мая 1882 года с Кары убежало восемь политических (Мышкин, Хрущев, М. Диковский, Левченко, Баламез, Юрковский, Крыжановский и Минаков). Они бежали не все сразу, а постепенно, по-двое, с перерывами в несколько дней между побегами каждой пары. Для того чтобы побег был незаметным, оставшиеся сделали, говорят, необыкновенно искусно сидящие и лежащие чучела, которые начальство во время утренней и вечер-

ней поверки тщательно считало. Все это проделывалось так ловко, что побега не заметила даже высшая власть в лице главного директора тюремного управления Галкина-Врасского и губернатора Забайкальской области генерала Ильяшевича, которые в это время совершенно неожиданно для заключенных осчастливили Кару своим посещением. Эти добросовестные контролеры низших чиновников похвалили тюремное начальство за усердное выполнение службы и уже покинули Кару, когда случился факт, который сразу обнаружил побег. Один из бегущих в последней паре, уже после отъезда сановников, каким-то неосторожным шагом обратил на себя внимание часового. Солдат выстрелил и этим сразу всполошил и власти, и заключенных. В мгновенье ока все манекены были уничтожены и в момент, когда власти ворвались в тюрьму, чтобы проверить, кого нехватает, от них не осталось уже и следа. Начальство не верило собственным глазам... Нехватало восьми заключенных... Нет! Не может быть. Считали один раз, другой, третий... Наконец поверили, но предположили, что все бежали в тот же день, что они тут где-нибудь поблизости и их будет очень легко поймать... Бросились в погоню, мобилизовали окрестных жителей, а первая пара беглецов в это время уже приближалась к Владивостоку... Один-два лишних дня спасли бы хотя этих двоих, ибо они были арестованы, когда уже садились на английский пароход. Но все были переловлены и несколько человек поплатилось за попытку побега многолетним пребыванием в Шлиссельбурге и смертью в каземате этой ужасной тюрьмы. Известие о побеге привело в бешенство высоких сановников. Как? Они проверили чиновников, признали, что все в порядке, даже похвалили смотрителя, а теперь вдруг этот побег раскроет перед петербургскими властями всю их небрежность в исполнении служебных обязанностей... Им дали знать, и уже на следующий день они примчались обратно на Кару, чтобы стать во главе «карательной экспедиции».

Заключенные знали, с кем имеют дело, и не питали никаких иллюзий относительно того, что их ожидают жесточайшие издевательства со стороны всяческого начальства. Было решено защищаться. Заключенные забаррикадировались в тюрьме, расставили на крыше часовых и в течение нескольких дней внимательно следили за каждым движением во вражеском лагере. Власти не решались взять тюрьму штурмом, ожидали подходящего момента и нашли его. Через несколько дней, когда заключенные уже относительно успокоились, на рассвете внезапно в тюрьму ворвались солдаты и бросились на спящих. Людей за волосы стаскивали с нар, бросали на землю, топтали ногами, били прикладами по голове, вязали... Долгие годы карийцы не могли без дрожи слышать об этой «майской истории», как называют ее в истории Кары. Руководителем всей этой деятельности был генерал Ильяшевич. Ему и решила Кутитонская ото-

мстить за истязания товарищей, за попрание человеческого достоинства. Она бежала из предназначенного ей для поселения городка, приехала в Читу и здесь, в собственной квартире губернатора, выстрелила в него... Она промахнулась, но, несмотря на это, ее отдали под военный суд и приговорили к смертной казни, «милостиво» заменив ее потом пожизненными каторжными работами. Ее заперли совершенно одну в крохотную сырую камеру в Верхнеудинской тюрьме, строго следя, чтобы она не имела никаких сношений с внешним миром, чтобы никто не мог оказать ей даже материальной помощи... Кроме нее никого из политических в этой тюрьме не было. Она была одна среди уголовных, что должно было окончательно сломить ее. Оказалось, однако, что ожесточившиеся в преступлениях уголовные были гораздо человечнее поставленных во главе целой области генералов. Арестанты Верхнеудинской тюрьмы отрывали у себя лучшие куски, чтобы доставить «мученице», как они ее называли, немного хорошей пищи, газеты, даже марки, чтобы она могла послать письмо. С каким чувством благодарности рассказывала Кутитонская об этих своих благодетелях!

Но их заботливость не спасла ее. Истощенная прежним сидением в тюрьме, Кутитонская в Верхнеудинске заболела чахоткой. Ее перевезли в Иркутскую тюрьму, но и это не помогло. Во время нашего пребывания в этом городе смерть уже наложила свою печать на ее молодое, невыразимо милое лицо, а полгода спустя Кутитонской уже не было в живых.

Кутитонская и Ковалевская были первыми встреченными нами каторжанками, и обе произвели на нас очень сильное впечатление. Первая привлекала мягкостью, добротой и «любовью к ближним» в самом широком значении этого слова. Она напоминала христианских мучениц, жила своей верой и за эту веру готова была на все. Ковалевской, которая была лет на пять старше Кутитонской, когда мы ее встретили, было уже 36 лет. Она была одной из первых пионерок революционного движения в России и своим образованием, особенно в области социальных наук, значительно превосходила всех виденных нами до сих пор революционерок. «Бунтарка», бакунистка по убеждениям, она удивительно умела согласовать убеждения с делом, до последней минуты жизни не признавая никаких компромиссов, идя к цели напролом, грудью ломая и уничтожая препятствия, на каждом шагу рискуя в борьбе собственной головой. Десять лет, с момента ее осуждения на каторжные работы до момента смерти, были целым рядом ни на минуту не прекращающихся боев.

С ними мы, конечно, тоже говорили о польском вопросе, о национальном гнете, о насильственной руссификации. Они нас сразу поняли. Как могли они, протестующие против гнета по отношению к отдельным личностям, не понять, что чувствует двадцатимиллионный союз таких личностей, спаянных в одно неделимое целое? Они понимали нашу точку зрения, солидари-

зировались с ней и шутили над теми, которые хотели живой организм народа подчинить организму искусственному — государству. Будучи немного анархистками, они вообще не слишком заботились о государстве.

— Но когда вы потребуете Польши от моря до моря, о, тогда мы с вами посчитаемся! Поссоримся, а может быть, даже и подеремся...

Мы не питали таких захватнических намерений, и ничем не нарушимый мир и согласие сохранились между нами в продолжение всей этой проведенной под одной крышей недели. Мы встречались с ними только во время их прогулок и переговаривались через окна коридора и, таким образом, отделяемые друг от друга тюремной решеткой, мы болтали по три-четыре часа в день. Ввиду состояния здоровья Кутитонской им позволяли дольше гулять в тюремном саду.

Однажды Ковалевская, конечно, наученная уже опытом, задала нам вопрос:

— А есть ли у вас теплая одежда для дальнейшей до роги?

Мы рассмеялись. Мы едем в Сибирь. О сибирских морозах мы немало слышали, как же могли поехать без теплой одежды? У нас есть сапоги на теплой подкладке, еще варшавские, полушубки до колен, меховые рукавицы. Это не убедило, а рассмешило Ковалевскую. Она почти силой заставила нас купить валенки, меховые шапки и башлыки из верблюжьей шерсти.

— Вы не знаете, что такое наши сибирские морозы.

Впоследствии мы часто ее вспоминали. Если бы мы ее не послушались, если бы она не вспомнила о том, что нас следует спросить об одежде, мы поплатились бы по крайней мере отмороженными ногами, руками и ушами. Много лет спустя мне пришлось пережить морозы в 66° по Цельсию, мороз, во время которого слышно, как замерзает дыхание, но тогда мы уже привыкли к этим морозам, уже акклиматизировались, были соответственно одеты. Но эти первые морозы за Байкалом, по дороге на Кару, показались нам чем-то страшным. Душа дрожала от холода. Ни на минуту мы не присаживались на телеги, все время идя пешком по пяти-шести верст в час, и все-таки не могли согреться... К счастью, мы прибыли на Кару еще до наступления самых сильных морозов. Не знаю, что с нами было бы в противном случае.

Печально было наше прощание с оставшимися в Иркутске товарками.

Относительно Кутитонской мы не сомневались, что никогда уже больше ее не увидим. Что касается Ковалевской, трудно было что-нибудь предвидеть. В тюрьме никогда никто не уверен не только в завтрашнем дне, но даже и в следующем часе. Мельчайший, наиболее пустячный факт может всегда превратиться в нечто до того ужасное, что падают десятки жертв.

Мы попрощались обычным «до свиданья» и, как в тысяче других случаев, больше их никогда в жизни не увидели.

Дальнейшее путешествие вшестером, так как в Нижнеудинске Иркутской губернии мы соединились с Дулембой, Люри и женой последнего, которая добровольно следовала за ним в Сибирь по этапу, было несколько иным, чем до сих пор.

Мы проходили самые прекрасные места Сибири, по берегу Ангары. На товарной барже нас перевезли через бурный Байкал. Мы шли по дороге, выкованной в скалах повстанцами. От конвоирующих нас офицеров и солдат мы услышали страшную повесть о «забайкальском бунте», так мало известном, но таком кровавом и поучительном.

Один этап особенно врезался в мою память... Сверху над Байкалом нависла грозная скала, почти на самом берегу — этап. Между скалой и морем едва сто шагов. Скала нависла над этапным домом, в котором ищут отдыха несколько сот закованных в кандалы арестантов. Ужас охватывает при этом зрелище... Моментами кажется, что скала обрушится и столкнет в море и нас, и стерегущих нас солдат. И в этих условиях сосланные повстанцы провели целые годы... Можно ли ввиду этого удивляться, что они «предпочли смерть неволе», что с оружием в руках бросились на солдат и начальство, разоружили их, заперли и отправились на юг, чтобы через Китай пробраться во Францию, к «братьям над Сеной», с которыми они еще мечтали вместе ударить на врага, — к французам, которые много лет спустя действительно пришли в страну царей, пришли, но не за тем, чтобы защитить истекающую кровью Польшу, а на поклон, чтобы вымолить у России согласие на союз.

Побег не удался. Одних поймали буряты, другие, умирая с голоду, решились сами отдаться в руки врага, многие погибли в тайге или на виселице. По этой напоенной кровью героев земле мы шли в течение недели, все дальше подвигаясь на восток. Исчезли горы, исчезло русское население, мы вступили в бесконечные степи, то тут, то там пестрящие бурятскими аулами... Слыша звон кандалов, буряты выходили из своих войлочных юрт, садились по-монгольски на корточки рядами и смотрели на нас с любопытством и испугом. Они были отвратительно грязны, жирные, почти круглые монгольские лица с приплюснутыми носами и маленькими, узкими, как щели, косыми глазами вызывали отвращение, дышали каким-то животным довольством уже самым фактом существования... Женщины, как и у всех монгольских племен, были в подчинении. Ни одна из них не смела сесть в одном ряду с мужчинами, которые и по отношению друг к другу занимали места соответственно положению: сначала садилось духовенство и чиновники, потом уже плебс. Духовенство в желтой и красной одежде отличалось от обыкновенных смертных тем, что брило волосы на голове, в то время как остальные носили длинные косы, тем длиннее, чем

богаче или благороднее был владелец косы, ибо эту длину в значительной степени обусловливал черный китайский шелк, вплетенный в волосы...

Мы почти не разговаривали с ними. Они смотрели на нас, как на заморских дьяволов, мы на них — как на полулюдей... Мы не знали еще их в то время, не знали, что они представляют чуть ли не единственный из сибирских народов, успешно борющийся с потопом руссификации, и уже хотя бы одним этим заслуживают внимания. Мы видели в них только дикарей, от руки которых пало много повстанцев во время «забайкальского бунта», много других, бегущих с каторги. Это отталкивало нас от них.

Целый месяц шли мы по их земле, пока не дошли до Читы, столичного города Забайкальской области.

Здесь мы встретили многочисленную колонию бывших карайцев и, между прочим, знаменитого рабочего Обнорского, который вместе с Халтуриным, организатором покушения на Зимний дворец в 1880 году, основал «Северно-русский рабочий союз» — первую организацию в России, которая стояла на чисто социалистической платформе и обосновывала неизбежность ведения политической борьбы как необходимой части борьбы за освобождение рабочего класса.

В читинской колонии уже чувствовалось, если можно так выразиться, карийское воспитание. Ссыльные жили коммуной, имели общую столярную мастерскую, в которой работали, держались все вместе и не порывали связи с Карой. Наоборот, за все время существования Кары читинская колония служила живой связью между Карой и внешним миром.

Каждую проходящую на Кару партию здесь встречали, информировали о положении, более состоятельным партиям указывали, что в данный момент карийцам необходимо, и пользовались случаем, чтобы переслать письма на Кару. Уже в Москве, на общем собрании перед высылкой, административные постановили вводить всяческую экономию, чтобы как можно больше доставить тем, которые уже провели и еще проведут целые годы на Каре. Согласно этому решению и мы были очень экономны. Всю дорогу мы пили отвратительный кирпичный чай, курили скверную махорку и т. д. Благодаря этому у нас было в запасе несколько сот рублей.

— Купите в подарок карийцам чаю и сахару. Этим вы всем доставите огромное удовольствие.

Конечно, мы купили это, купили кроме того еще несколько фунтов табаку и действительно вызвали этим большую радость.

По дороге из Читы в Нерчинск мы встретили на этапах еще несколько возвращавшихся с Кары товарищей — Каленкину, Фриденсона, Трощанского. После дневного путешествия «по образу пешего хождения» мы проводили целые ночи в разговорах с ними... Но мы не жалели об этом. Возвращающиеся

были попрежнему молоды душой, живо интересовались всем, что происходило в мире живых. Вид этих «юнцов» (всем было больше 30 лет), полных энтузиазма, придавал нам сил. Мы верили, что и нас каторга не сломит, что мы дождемся момента, когда вырвемся из тюремных стен и покажем кому следует, как нужно любить свободу.

В Нерчинске мы встретили еще одного из бывших карийцев — Алексея Кузнецова. Это был один из участников процесса Нечаева[1]. Мнение общества об этом процессе складывалось на основании романа Достоевского «Бесы». И сам Нечаев, и все товарищи слыли за демонов зла, за олицетворение людей, быть может и развитых, но без сердца и совести. Кузнецов в то время, как мы его встретили, уже почетный гражданин города Нерчинска, представлял собой живое опровержение этого мнения. Высокообразованный, благородный, полный самопожертвования, торопящийся на помощь всякому, кто только в ней нуждался, Кузнецов вскоре после прибытия в Нерчинск завоевал всеобщее уважение. Страстный естествоиспытатель, он основал музей и подарил его городу, руководя им и в дальнейшем. Когда мы проезжали через Нерчинск, он был уже одной из популярнейших личностей в городе. С течением времени он перебрался в Читу, где был одним из основателей Географического общества Забайкальской области. Казалось бы, что эта вызывающая всеобщее уважение непрестанная работа на благо страны, в которую забросила его судьба, гарантирует ему неприкосновенность от всевозможных выходок властей... Некоторое время так и было, но после так называемых «дней свободы», уже во время «конституционного» правительства Витте, Кузнецов, тогда уже глубокий старик, попал в руки Ренненкампфа. Он был приговорен к смертной казни, а затем помилован и отправлен в пожизненную каторгу...

От Нерчинска до Кары «уже очень близко», каких-нибудь 350—400 верст, не больше. После стольких месяцев путешествия это действительно казалось очень близко. Еще каких-нибудь две недели, и мы будем на месте. Мы радовались. За всю дорогу нас только раз избили прикладами, никто из нас не болел в дороге, никто не упал духом, наоборот, мы приближались к этой жизненной пристани с верой в свои силы. Как же было не радоваться?

---

[1] Нечаев — руководитель заговорщической организации 70-х годов прошлого столетия. Пытался создать заговор и сплотить людей чисто искусственными мерами, несмотря на то, что почва для этого была мало подготовлена. Был человек исключительной энергии и силы революционного темперамента. Погиб в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В КАТОРГЕ НА КАРЕ

Короткий ноябрьский день уже близился к концу, когда мы,— пять человек, осужденных по делу «Пролетариата»,—Рехневский, Маньковский, Дулемба, Люри и я, подходили к заброшенному среди сопок зданию «Карийской тюрьмы для государственных преступников».

Снаружи эта тюрьма ничем не отличалась от тысяч других тюрем и даже от этапов, в которых мы в течение чуть ли не целого года находили на ночь гостеприимный приют. Такие же серые, высокие, у верхушки заостренные пали[1], такие же небольшого роста, как вообще сибиряки, в которых заметна примесь крови туземцев, караульные солдаты, тот же глухой, но все же издали слышный шум голосов сжатого на небольшом пространстве большого числа людей.

Тихо и пусто. Никто не пройдет и не проедет. Мрачные, молчаливые сопки со всех сторон словно кандальным кольцом охватывают «мертвый дом»... Эта знакомая, не раз виденная картина перестала уже на нас производить впечатление. Но на этот раз мы не без волнения глядели на эти пали. Они отгораживали от всего живого мира лучших и благороднейших людей, доказывающих всей своей жизнью готовность «отдать жизнь свою за други своя».

Я в то время был еще безусым юнцом: только благодаря случайно сложившимся обстоятельствам я занял в партии совершенно не соответствующее моему возрасту положение. И теперь, стоя перед этим живым архивом русской революционной мысли, я был ужасно смущен... Я чувствовал, что пройдет несколько минут, ворота этого «архива» откроются, меня поведут туда и мне придется в течение многих лет жить под одной крышей и одной жизнью с людьми, которых мое юношеское воображение окружило блеском славы, ореолом мученичества, му-

---

[1] Так в Сибири называют ограду из обтесанных деревьев, поставленных вертикально и плотно прилегающих одно к другому.

жества и благородства. И, сопоставив в душе их величие со своим ничтожеством, я не мог не ставить себе вопроса: как я буду принят этой средой великих революционеров и как я буду себя чувствовать в этой среде? Я успокаивал себя тем, что встреченные на пути уже возвращавшиеся с каторги карийцы ни разу не дали мне почувствовать своего превосходства, но это не помогало. Я сознавал, что это лишь мимолетные встречи с отдельными личностями, а в тюрьме мне придется жить целые годы со всей массой карийцев, олицетворявшей собою русскую революционную мысль того времени. Мысль о том, что через несколько минут тюремные ворота захлопнутся за нами на целые годы, даже не приходила нам в голову. Наоборот, мы были до некоторой степени довольны, что мы наконец «достигли цели». Меняющиеся изо дня в день условия странствования по этапам в зависимости от состава конвоя и личности начальника этапа; мучительная дорога и весьма часто совершенно непредвиденные, обрушивающиеся, как снег на голову, столкновения со всяким, мнящим себя начальником; постоянное соседство и общение с уголовными; шум, грязь, зловоние, вши и, наконец, продолжавшееся от января по ноябрь странствование из тюрьмы в тюрьму, с этапа на этап до того утомили нас и довели нервную систему до такого состояния, что «мертвый дом» на Каре казался нам чуть ли не земным раем. Только Н. А. Люри был угнетен. С ним ехала жена. Прибытие на Кару разлучило его с нею.

Сопровождавший нас конвой уведомил местное начальство о нашем прибытии. Вскоре явились жандармы, а еще несколько минут спустя — довольно пожилой жандармский ротмистр. Небольшие хитрые глаза, любезная, но явно неискренняя улыбка; голос, слегка сдавленный, с явным намерением его владельца придать ему тон интимности, мягкие кошачьи движения ни на минуту не оставляли в нас уверенности, что это не кто иной, как «Кот» — комендант тюрьмы Николин, уже успевший завоевать себе славу своими доносами на всех, без различия чинов и рангов.

По отношению к заключенным «Кот» отличался необыкновенным лицемерием. Любезный, предупредительный, идущий во всем навстречу на словах в беседе с заключенными, на деле он чуть ли не с каждой почтой отправлял по начальству «рапорты», в которых предлагал всякие меры против заключенных.

Карийцы отдавали себе отчет в отношении к ним «Кота» и поэтому, за исключением официальных представителей тюрьмы — старосты и библиотекаря, никто не вступал с ним ни в какие разговоры, и всякое отступление от этого осуждалось тюрьмой. На Николина это не производило никакого впечатления: до последнего дня своего пребывания на посту коменданта он не изменил своего поведения.

КАРИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1889 ГОДА.

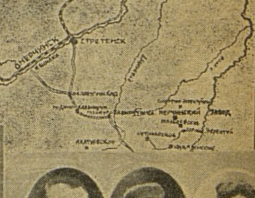


ЛИСТОВКА, НАПИСАННАЯ ПОСЛЕ НАСИЛЬСТВЕННОГО УВОЗА КОВАЛЬСКОЙ.

Е. КОВАЛЬСКАЯ.

САМОУБИЙСТВА В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ ТЕЛЕСНОГО НАКАЗАНИЯ.





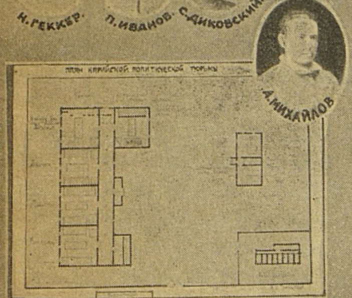


КАРИЙСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА.

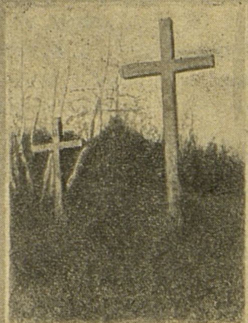


Н. ГЕККЕР. П. ИВАНОВ. С. ДИКОВСКИЙ.

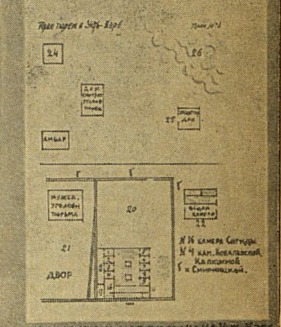
А. МИХАЙЛОВ.



ПЛАН МУЖСК. КАТОРЖН. ТЮРЬМЫ В 2-х в. ОТ Н. КАРЫ, В КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛИ ТРАГИЧ. СОБЫТИЯ 1889 Г.



МОГИЛЫ ПОКОНЧИВШИХ САМОУБИЙСТВОМ. 1—С. БОБОХОВА, 2—КОВАЛЕВСКОЙ, КАЛЮЖНОЙ, СМИРНИЦКОЙ И КАЛЮЖНОГО.



ПЛАН ЖЕНСК. КАТ. ТЮРЬМЫ НА УСТЬ-КАРЕ, ГДЕ ПРОИЗОШЛИ ТРАГИЧ. СОБЫТИЯ 1889 Г.

Демонстративно-враждебно относилась к Николину и чиновная среда, на которую он доносил, хотя бы человек, на которого он доносил, занимал самый высокий, ответственный пост...

— А вы все пишете, ротмистр? — однажды демонстративно спросил его в присутствии заключенных приамурский генерал-губернатор.

Это Николина не смутило. Приложив руку к козырьку и склонив голову, он ответил:

— Точно так, ваше высокопревосходительство.

В этот же день Николин донес в Петербург об этом вопросе генерал-губернатора.

Нас, «пролетариатцев», Николин принял с особенной предупредительностью и любезностью. Когда-то он служил, насколько я помню, в сыскном отделении в Варшаве и рассчитывал нас расположить к себе рассказами о Польше, об этом, как он выразился, «чудесном крае», куда бы он желал попасть вновь и отдохнуть после «морозной» и «неприветливой» Сибири.

Мы имели точное представление о нем, и на все его заигрывания отвечали холодно и строго официально.

Это ему не понравилось. Он прекратил разговоры и приступил к официальной приемке нас, спросил, неизвестно почему, есть ли среди нас ремесленники, и ушел, поручив «старшему» отвести нас в тюрьму.

А в это время, по ту сторону ограды, заключенные буквально прилипли к щелям между палями, с нетерпением ожидая нашего прихода, известий и новостей из мира живых.

Как только кончились связанные с приемкой формальности, нас поодиночке отвели в тюрьму. Ворота гостеприимно на секунду открылись с тем, чтобы немедленно захлопнуться за нами на долгие годы.

Когда я вошел на тюремный двор, меня со всех сторон окружили заключенные, на лицах которых многолетнее сидение уже успело наложить свой отпечаток...

— Здравствуйте! здравствуйте! — слышались отовсюду приветствия... — Дайте свой мешок... Это — Кон, — сообщали один за другим... Его назначили к нам в «Якутку».

Эта окружавшая меня масса товарищей, забрасывавшая меня уже на тюремном дворе целым ворохом вопросов, произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я отвечал то тому, то другому, механически следуя за ним в тюрьму, уловив из этого хаотического разговора лишь то, что меня назначили в самую буйную камеру, носившую название «Якутки».

В «Якутке» уже горела висячая лампа. С двух сторон стола стояли узкие длинные скамьи. Стены камеры блестели белизной, чистота нар и полок над ними поражала. Камера была большая, в три больших окна, пол и вся мебель поражали чистотой. В камере этой, когда я вошел, было двенадцать че-

ловек постоянных жильцов и несколько человек «гостей» из других камер, в которые не попал никто из новичков...

Несколько минут спустя в «Якутку», бряцая кандалами, вошел Люри, назначенный в эту же камеру.

— Вышел номер «Народной Воли»? — обратились к нам с вопросом «якутяне»...

— Вышел. Мы его привезли...

Общее ликование.

Прошло еще несколько минут, и гостей пригласили вернуться в свою камеру, так как наступило время поверки, после которой камера запиралась на всю ночь, а ключи относились к коменданту. В случае пожара или какого-нибудь несчастья за ключами посылали... Так водилось во всех тюрьмах. Высшая власть не доверяла низшей, та в свою очередь еще более низшей. Вся система покоилась на недоверии.

Только после ухода гостей начались расспросы. Одни перебивали других... Мы отвечали, но лишь много лет спустя я понял значение вопросов, которые нам тогда ставились, и их формулировки.

Дело в том, что здесь в одной камере, за одним столом сидели представители всех оттенков тогдашней русской революционной мысли. Здесь были и народники-«землевольцы», все еще не мирившиеся с тем, что их преемниками была отодвинута на более дальний план работа в народе; были «бунтари», признававшие террористическую борьбу, но выражавшие сомнение специально относительно политического террора как системы борьбы; были выдающиеся деятели «Народной Воли», с большой иронией относившиеся к злободневному пункту тогдашней тактической программы — к пункту о «захвате власти»; были члены «Народной Воли», с пеной у рта отстаивавшие этот пункт; были, наконец, революционеры только по чувству и настроению, недовольные существовавшими порядками, отдававшие себе отчет в его недостатках, но сами не выработавшие и не имевшие никакой положительной программы.

И все эти люди, насильно оторванные от жизни, воспринимавшие впечатления извне и лишенные возможности реагировать на них, в каждом нашем ответе на поставленные ими вопросы лихорадочно хватались за то, что, как им казалось, подтверждало правильность их взглядов или усиливало надежду на то, что движение вновь пойдет по пути, который они считали более всего отвечающим интересам трудящихся масс.

С этой точки зрения, мы как поляки, как люди, которые вели свою деятельность в среде, им совершенно незнакомой, в стране, которая ярко отличалась от крестьянской России, с ее общиной, артелями и миром, не представляли для них особенного интереса. Из наших ответов они не много могли вынести, в особенности для того, чтобы притти к каким-нибудь определенным выводам.

Но мы были для них интересны в другом отношении. Мы были первыми поляками, осужденными за социалистическую пропаганду в Польше. Это не значит, что мы были первыми поляками на Каре. Нет. На Каре уже побывали Богданович, Багряновский, Студзинский, Мирский, Красовский, а впоследствии прибыл и Пашковский, но их как уроженцев Украины, Литвы и южной России карийцы не признавали «настоящими» поляками.

Вообще у них было весьма слабое представление о Польше и о поляках... Одни имели о них представление, как о пресловутых «полячках» Достоевского, другие, как о людях вспыльчивых, сварливых, готовых на авантюру по самому незначительному поводу.

О внутренней жизни Польши, о новой Польше, народной, просыпающейся от векового сна и вступающей на историческую арену, — у них не было ни малейшего представления. Ввиду этого неудивительно, что Кара встревожилась, когда получилось известие об осуждении на каторгу по делу «Пролетариата» более двадцати человек, главным образом рабочих... Заключенные опасались, чтобы это «нашествие иноплеменников» не разрушило в корне с трудом выработанных норм жизни и чтобы они не опрокинули всего карийского строя.

О том, что громадное большинство осужденных на каторгу отправлено на Сахалин, а двое в Шлиссельбург, и что нас всего пять человек сослано на Кару, они узнали только от нас.

До какой степени они, несмотря на то, что тогдашнее Царство Польское считалось лишь провинцией Российской империи, не имели понятия о том, что происходило в Польше, свидетельствует их удивление, когда они услыхали и убедились, что мы владеем русским языком... А между тем в то время в Польше свирепствовала руссификация, языком преподавания во всех учебных заведениях был русский, а польский язык был в полном загоне.

Наши рассказы об отношениях в Польше, о пролетарском движении, о сравнительно мощной организации рабочих выслушивались карийцами с огромным интересом.

Далеко за полночь продолжались эти разговоры. Волны вольной жизни, словно бурный поток, ворвались в тюремную жизнь и сразу разрушили весь установившийся жизненный порядок.

Первое время пребывания на Каре произвело на всех нас неизгладимое впечатление.

Опрятные камеры, относительный уют, определенный для каторжной тюрьмы более чем сносный режим, возможность читать, учиться — все это с первого же момента, как яркий контраст тому, что пришлось перенести во время странствова-

ний по этапам, не могло не поразить приятно вновь прибывших.

Хорошо было на Каре... Хороши были и отношения товарищей... Хороши были, конечно относительно, условия заключения.

И, усталые, измученные, добившиеся этих условий целыми годами борьбы, дорожили ими, часто даже не отдавая себе ясного отчета в этом, готовые поступиться многим, лишь бы эти условия заключения сохранить в неприкосновенности. И чем дольше существовал этот режим относительного благополучия, тем более им дорожили, тем больше «дух обывательщины» проникал в ряды заключенных.

Говоря это, я не исключаю и себя из числа тех, на которых наложила свое клеймо эта обывательщина. Празднование пасхи и рождества, развлечения, игры, удерживания друг друга от вспышек и выпадов по отношению к власти «из-за мелочей», стремление установить корректные отношения с властями без уклонений в ту или иную сторону, раздражение против тех, кто своим резким выступлением мог вызвать репрессии по отношению ко всей тюрьме, возмущение против перегибающих палку в другую сторону и допускавших амикошонское отношение к властям, — вот в общих чертах то, что мы застали на Каре, чему механически, пассивно, даже не вникая в суть явлений, подчинились. И только впоследствии, когда власти перешли в наступление, перед многими стал вопрос: для того ли рисковали жизнью, шли на каторгу, чтобы в заброшенной среди сопок «каторжной тюрьме для государственных преступников», в Нерчинском округе, на Каре, найти тихую, спокойную пристань и здесь ждать того момента, когда сердобольному начальству заблагорассудится переменить гнев на милость и заменить каторгу Якутской областью?

Деятельное участие многих карийцев в революции 1905 года красноречиво свидетельствует о том, что революционное пламя не потухло в душах первых пионеров революции и что лишь условия не давали вырваться этому пламени наружу. Одним из главных в этих условиях было опасение, как бы другие — «вся тюрьма» — не пострадала за то или другое действие протестантов. Это заставляло сдерживаться.

Указывая на эти особенности, я отнюдь не думаю обобщать их на всю тюрьму, на всех заключенных. С момента ликвидации Карийской тюрьмы прошло 45 лет. Теперь уже есть возможность объективно отнестись к тому, в чем приходилось быть и свидетелем, и активным участником. О Каре уже не только можно, но и должно сказать всю правду, не прикрашенную, но и не очерненную личными счетами или желанием обелить себя...

Достаточно было пробыть на Каре несколько месяцев, чтобы отличить в карийцах четыре категории:

Первая — в революционном отношении совершенно отпетые

люди, которые либо по недоразумению попали на каторгу, либо, «не соразмерив сил с дорогой трудной», вступили на тернистый путь революции и согнулись. Это, по карийской терминологии, так называемые «колонисты», люди, подавшие прошение о помиловании. Для этих осквернителей знамени не было места в тюрьме... Не смея взглянуть на оставшихся, они покидали тюрьму, селились вместе в вольной команде и ждали решения своей участи Петербургом, весьма милостиво относившимся к кающимся ренегатам.

Вторую категорию составляли люди уставшие, слишком честные и гордые для того, чтобы унизиться до подачи прошения о помиловании, но уже настолько обессиленные продолжительной борьбой и пережитыми мытарствами, что грезили лишь о том, чтобы спокойно дожить до выхода на поселение, где они смогут зажить личной жизнью и выйти из зависимости от тюремного коллектива; это — люди, которых увлекла борьба, люди, которых хватило на благой порыв, на минуту увлечения, но затем вспыхнувшая фейерверком искра потухла, и, очутившись в тюрьме, они уже не в состоянии были поддержать в своей душе священный огонь революции.

Третья категория, в состав которой входили, я бы сказал, «самые солидные» заключенные, готова была в тюрьме со многим мириться, многому подчиниться, лишь бы сохранить себя для революции. Погибнуть в тюрьме «из-за пустяков» и потерять возможность вновь взяться за дело было, с точки зрения этой группы, легкомысленной и непростительной растратой сил. Она не ставила себе вопроса, не выест ли роса очей, прежде чем взойдет солнце освобождения из тюрьмы? Сроки каторги для нее как бы не существовали. Принцип консервирования себя для будущего перевешивал все. В душу не закрадывалось сомнение, может ли пригодиться для дела тот, кто в течение ряда лет «консервировал себя», избегая всякого активного выступления; может ли революционная энергия сохраняться и накопляться в течение целого ряда лет для приложения ее в будущем...

Наконец последнюю группу составляли те «неугомонные крикуны и буяны», которых коробило тюремное благополучие, которые «жаждали» бури, находя, что именно «в буре есть покой», — те, девизом которых было: действуй там, где тебя судьба поставила, которые реагировали на всякое проявление гнета и унижения и, скованные поневоле внутренней солидарностью, бились в тенетах ее, отравляя существование более «благоразумным» товарищам по заключению.

Когда я пишу эти строки, передо мной вырисовывается фигура незабываемого Сергея Бобохова... Щуплый, невзрачный, одетый чуть ли не в лохмотья, истощенный и изможденный, он ни на волос никогда не отступал от принципа и малейшее отступление от такового клеймил беспощадно, кто бы ни провинился в этом отступлении: друг или недруг, товарищ по тюрьме,

простой часовой или жандарм, комендант или высший орган власти в крае. Его любили немногие, но уважали все.

Вырисовывается передо мной фигура и другого протестанта — Сенковского, осужденного на вечную каторгу за выстрел в Черевина... Ни по умственному развитию, ни по принципиальности подхода к вопросу он не мог сравниться с Бобоховым. Но роднило их, хотя они и жили не в ладах, одно: врожденный дух бунта и протеста. Трудно себе представить Сенковского не разносящим кого-либо или чего-либо...

Тут же рядом приходится поставить Петра Волошенко, стегавшего путем сарказма всякое проявление обывательщины как в отдельных лицах, так и в тюремных коллективах в целом...

Таких протестантов, когда мы прибыли на Кару, было десятка два... Несносные в общежитии, но твердо стоящие на своем, они почти все собирались в одной камере, носившей название «Якутки», в которую я и попал, камере изгнания, приютившей под своей крышей всех, не уживішихся по тем либо другим причинам в других камерах.

Эта камера протестантов, неугомонных буянов в нормальное, спокойное время была мишенью острот для остальных камер, третировавших ее немного свысока; но как только обычное течение жизни нарушалось, менялось и отношение к «Якутке». Одни взирали на нее со страхом и ненавистью: «Доведут до истории, а ты расхлебывай»; другие считались с нею, хотя и употребляли средства, чтобы умерить ее воинственный пыл; наконец, третьи все свои упования возлагали на «Якутку»: «Якутка» не выдаст, поддержит честь тюрьмы»... И «Якутка» не выдавала.

Совместное пребывание в одной камере 10—15 человек не могло не привести к необходимости установить определенные нормы общежития. Не будь этого, одни мешали бы другим, ни о каких серьезных занятиях не могло быть и речи, и тюремная жизнь превратилась бы в сплошной ад. Это именно и привело к установлению определенных норм.

Несколько человек в каждой камере вставало ночью, между 2 и 3 часами, когда звезда «Сириус» всходила над палями. Их поэтому и называли «сириусами». Эти «сириусы» занимались до утренней поверки. В течение этих пяти часов, от 2 до 7 часов, всякие разговоры были воспрещены. Просыпавшийся первым ставил самовар и будил других. Сохраняя возможную тишину, люди одевались, умывались и садились за книгу, отрываясь от чтения лишь на короткий момент, чтобы заварить или выпить чаю... В первый раз, когда, проснувшись, я увидел этих углубившихся в книги людей, они на меня произвели впечатление каких-то древних мудрецов...

Для того чтобы проснуться в столь ранний час, «сириусы» ложились спать в 8 часов вечера. В этот час другая группа ве-

черников приступала к занятиям и продолжала их до 1—2 часов ночи. До 10 часов вечера в камере еще велись разговоры, но не громкие; после 10 часов воцарялась полная тишина.

Зато в течение всего дня в камере царила полная свобода, шум, говор. Само собою разумеется, что ни о каком серьезном чтении в это время не могло быть и речи; впрочем, с самого утра начиналась уже тюремная жизнь, а это не особенно благоприятствовало умственному труду.

В 5 часов утра на коридоре появлялись жандармы и, звякая ключами, выпускали из камер пять человек — дежурных по кухне, которых заблаговременно будили «сириусы». В 7 часов утра эти дежурные разносили по камерам кипяток и горящие угли для самовара, а вслед за ними «хлеборез» разносил хлеб... Начинался тюремный день. Ставили самовар, пили чай...

В 8 часов утра происходила утренняя поверка... Нас не стесняли. Кое-кто еще спал... Иные чаевали... Жандармы, посчитав заключенных, уходили.

Три часа спустя в камерной форточке появлялось лицо старосты, и изо дня в день раздавался один и тот же вопрос:

— Кому что надо?

В ответ на это делались заказы на чай, сахар и т. д., которые выдавались старостой еще до обеда.

Не делавшие в этот день заказов, бывало, отвечали шутливо:

— Ничего, кроме вашего расположения!

Вслед за старостой у дверей камер появлялся библиотекарь и принимал заказы на книги.

О книгах и библиотеке необходимо сказать хотя несколько слов.

По карийской «конституции» заключенные все материальные средства, получаемые ими от родных или знакомых, передавали в общее пользование. Была создана коммуна. Каждый член коммуны получал хлеб, обед и ужин, а на удовлетворение всех других потребностей выдавался так называемый «эквивалент» — определенная сумма денег в месяц, которой он распоряжался по своему усмотрению.

Эта сумма, в зависимости от финансового положения тюрьмы, колебалась от 75 к. до 1 р. 50 к. в месяц. Этого должно было хватить на сахар, чай, табак, спички, бумагу, карандаши и т. д. Расходы на почтовую и телеграфную корреспонденцию принимала на себя коммуна, абсолютно в этом никого не стесняя и всецело полагаясь на добросовестность каждого.

Из материальных средств, обязательно передаваемых в коммуну, формально исключались получаемые из дому посылки, как могущие составлять предмет памяти, вроде рубашки, вышитой матерью или женой, и книги.

Фактически посылки передавались в общее пользование, и не раз бывало, что из присланного родными фунта или двух

табаку получивший посылку получал щепотку на одну или две папиросы.

Что касается книг, то по «конституции» они составляли личную собственность того, кому они присланы, и, уходя из каторги, он был в праве взять их с собою, но, пока он был в тюрьме, полученные им книги должны были сдаваться в библиотеку для общего пользования.

Устанавливая такую «конституцию», карийцы исходили из того, что книги специалистам так же, как и орудия труда рабочим и ремесленникам, по выходе из тюрьмы могут быть настолько необходимы, что без них врач, юрист, инженер и т. п. могут быть лишены возможности заняться своей профессией.

Этим правом уходившие из тюрьмы пользовались лишь в исключительных случаях, а так как «литературные новинки» выписывались сообща, вскладчину из «эквивалентов», то наша библиотека увеличивалась с недели на неделю (почта на Кару приходила только раз в неделю) и под конец состояла из нескольких тысяч томов, после ликвидации Кары подаренных карийцами читинскому Географическому обществу.

Библиотека была весьма солидной не только по количеству. Были, конечно, пробелы, многие отделы были неполны, но, как это ни странно, в этой столь оберегаемой от «крамольных» идей тюрьме был и Маркс, и Энгельс, и Чернышевский... Правда, заглавная страница «Капитала» была заменена заглавной страницей Чичерина: «Государственное право», и этим Маркс был забронирован от конфискации; на других книгах тоже были скрывающие их сущность заглавные листы, но от этого... сущность не менялась, а поднималось лишь настроение в тюрьме, и сыпались ядовитые остроты, когда царские жандармы передавали под видом Чичерина Маркса из одной камеры в другую или относили его в женскую тюрьму.

«Должности» старосты и библиотекаря были выборные. Перевыборы происходили каждые шесть месяцев. Выборам библиотекаря не придавалось особого значения. В его обязанности не входили сношения с властями. Он должен был лишь в порядке содержать библиотеку, наблюдать за очередями на новые книги и журналы — и только. Библиотекарем за все время пребывания на Каре был осужденный по делу В. Н. Фигнер — Вл. Ив. Чуйко.

Совершенно другое отношение было к избранию старосты. Фактически он должен был быть представителем тюрьмы в ее сношениях с начальством. Это был своего рода министр иностранных дел — должность в высшей степени ответственная. Сношения с начальством должны были вестись так, чтобы, с одной стороны, не ронять престижа тюрьмы и твердо отстаивать ее интересы, но, с другой — не вызывать конфликтов и столкновений из-за пустяков; наряду с этим староста должен был быть хорошим «хозяйственником», беречь копейку, но вме-



1888 г. Кара, кухня

сте с тем не подвергать тюрьму ради экономии чрезмерным лишениям, которые могли бы отразиться крайне отрицательно на физическом состоянии и без того истощенных обитателей Кары.

Среди заключенных было немало хороших хозяйственников, не было равным образом недостатка в людях, которые могли бы с достоинством выполнить роль представителей тюрьмы, но заключенных, сочетающих в одном лице и хозяйственные и представительные способности, было весьма немного. Этим объясняется то, что выборы старосты были событием в тюрьме и в критические моменты тюремной жизни принимали бурный характер. По поводу намеченных кандидатов спорили, вели агитацию...

Подсчет голосов сосредоточивал на себе внимание всей тюрьмы, все толпились перед камерой, в которой вскрывались свернутые записки и производился подсчет. Выбором старосты были заинтересованы и власти. Избрание в старосты того, а не другого заключенного было симптомом сохранения мирной политики или же перехода к боевой.

Других выборных должностей в тюрьме не было, все работы выполнялись по очереди дежурными по камере, убиравшими камеры и следившими за порядком в них, дежурными по бане, по топке печей, по кухне. От этих работ, кроме старосты и библиотекаря, освобождались только больные.

Самым тяжелым и самым ответственным было дежурство по кухне, происходившее раз в шесть недель в течение недели. В состав кухонных дежурных входило пять человек: «главный повар» — «спец» по кулинарному искусству, он же руководитель всей группы; «больничный повар», приготовляющий пищу специально для слабых и больных согласно указаниям, получаемым от товарища-врача, два физически сильных товарища для более тяжелых работ, как таскание ушатами воды, дров и т. п., и один более слабый, исполняющий функции «мальчика», которого главный повар посылал к старосте за продуктами, к врачу за указаниями и которому поручались более легкие работы, как чистка лука, моркови и проч.

Между главными поварами происходило соревнование, кто лучше прокормит публику в течение недели, и некоторые из товарищей завоевали себе на этом поприще большую славу.

Дежурство по кухне не только как единственный физический труд, но и по целому ряду других обстоятельств было своего рода развлечением не только для дежуривших, но и для всей тюрьмы. Дежурить приходилось людям, менее всего для этого пригодным: юристам, инженерам, даже поэтам. Это несоответствие между способностями человека, его специальностью и его работой на кухне весьма часто вызывало «плач и смех».

Вот несколько примеров.

Дежурили на кухне осужденный по делу «Пролетариата» серьезный, вдумчивый Ф. Ю. Рехневский и Л. Дейч. За работой они все время решали вопрос, в то время актуальный, должна ли Россия вывариться в котле капитализма или ее может миновать сия чаша. Оба собеседника горячо спорили друг с другом, приводя цифры, ссылаясь на авторов.

А работа по кухне идет своим чередом. Главный повар суетится, мечется. Близится час обеда. Мешкать нельзя... Все наконец готово...

— Разносите кипяток,— раздается команда главного повара.

Тут уже не до разговоров. Один из дежурных бросается к котлу с ковшом, два другие подбегают с кубышками, которые быстро наполняются и разносятся по камерам... Все же вопрос о капитализме в России слишком серьезен и, понятно, приостановить его решение нельзя. Но один спорщик должен отнести кипяток в одну камеру, другой в другую, а затем, не теряя времени, бежать за следующими кубышками... Это прерывает беседу, но не приостанавливает ее... При встрече друг с другом на коридоре и на дворе обмениваются восклицаниями:

— Вы не правы...

— Нет, прав! — и бегут дальше.

Кипяток роздан по камерам. Очередь за наполнением котла... Спорщики хватают огромный пятиведерный ушат, выбегают с ним во двор к кадке с водой, наполняют его, бегом возвращаются в кухню и, не переставая спорить о судьбах России, поднимают крышку котла и выливают в него воду...

Крик ужаса, вырвавшийся из труди главного повара, приводит их в себя... Вода влита в соседний котел... с супом...

Известие об этом моментально проникает во все камеры... Одни ругаются, другие смеются. Несчастные спорщики чувствуют себя чуть ли не преступниками... Главный повар мечется, как угорелый... Но — опытный «спец» — он вскоре находит выход...

— Побольше дров под котел.

Тут уж не до разговоров. Приказание исполняется немедленно и беспрекословно... Раздача обеда откладывается на час... Но выпарить пять ведер воды не легко, и суп в этот день никому не пришелся по вкусу.

В данном случае главный повар своей распорядительностью выручал проштрафившихся. Обыкновенно бывало наоборот. От скуки повара потешались над чересчур ретивыми горе-работниками, главным образом над новичками, которые, по неопытности, выполнив поручение, приставали с вопросами:

— А что теперь?

В этом подтрунивании побил рекорд Павел Иванов, типичный украинец, отличавщийся подлинным украинским юмором...

— Что теперь?..

— Надо заправить суп... Идемте...

Он подошел к столу, смахнул пыль, высыпал из бумажного

мешка два фунта пшена, дал ретивому дежурному большой кухонный нож в руки и велел мелко порубить...

Дежурный приступил к выполнению этого поручения, а Иванов подмигнул другим дежурным, те созвали публику, и минуту спустя вся тюрьма сбежалась смотреть на рубящего... пшено...

Другому товарищу тот же Иванов на вопрос: «А теперь что делать?» — сказал:

— Посмотрите, поднимаются ли пироги на печке, а затем возьмите тонкое полено и покараульте, как только вылезет из щели таракан — бейте его и не пропускайте к пирогам...

И тот бедняга встал с поленом на караул...

Жертвой шуток Иванова сделался и я. Дело было накануне пасхи.

Иванов не только хороший повар, но и прекрасный пекарь, готовился попотчевать тюрьму куличами.

Я по обыкновению выполнял род «Mädchen für alles», то есть «прислуги за все».

— Вскипятите молоко, — отдал распоряжение Павло, — возьмите у старосты четыре фунта сахару, мелко разотрите и всыпьте в молоко, когда это сделаете — скажите, тогда я вам скажу, что проделать дальше.

Я тотчас же выполнил приказание, хотя это было не легко. Ступки и пестика у нас не было, и приходилось разбивать сахар деревянным валиком. Я натер себе мозоль. Исполнив все, я доложил о сделанном Иванову.

— А вы не знаете, что сахар обладает свойством растворяться в молоке? Незачем было растирать, — невозмутимо сказал мне Павло.

Об этих «надувательствах» новичков рассказывали нам еще встреченные на этапах возвращавшиеся с Кары товарищи. Об этом был предупрежден и прибывший на Кару после нас осужденный по делу Лопатина, уже тогда известный поэт Петр Якубович, получивший впоследствии широкую известность своими очерками «Из мира отверженных», печатавшимися им за подписью «Мельшин». Он был настороже и хвастал, что его не подведут... И его не подвели, но он, бедняга, сам себя подвел. Когда главный повар велел ему наполнить казанок картошкой, а затем налить водой дополна, он хвастливо заявил:

— Меня не подведете... Куда я воду налью, если наполню казан картошкой...

На Каре этот ответ никого не поразил, Якубович был до того «не от мира сего», что однажды с испугом вбежал в камеру с сообщением, что самовар течет... Оказалось, что он налил воду... в трубу...

Таких примеров можно было рассказать многое множество...

Но наряду с этими неопытными и непрактичными многие заключенные усовершенствовались в поварском искусстве, и без преувеличения можно сказать, что многие из нас их заботли-

вости и умению обязаны жизнью... Они выбивались из сил и достигли многого... Но и их усилия не предотвратили смерти довольно большого числа заключенных.

Пища была скудная, многие голодали... Главная основа нашего существования — ржаной хлеб в большинстве случаев был недопечен, что делалось сознательно уголовными арестантами, выгадывавшими при этом на весе.

При таких условиях цынга, характерная болезнь во всех тюрьмах, проникала, в особенности весной, и в нашу тюрьму, и многие болели ею. Мы делали все возможное, выделяли из тех скудных средств, какие у нас были, часть на улучшение питания слабосильных, но это было недостаточно, число больных возрастало.

На «казенную» врачебную помощь не приходилось рассчитывать. Мы завели свою аптечку... Наш врач во время моего пребывания на Каре — А. В. Прибылев — и днем и ночью ходил за заболевшими товарищами, но, тем не менее, смерть все чаще и чаще выхватывала их из наших рядов.

Гибель товарищей в большинстве случаев вызывалась явным нарушением закона, по которому ссыльно-каторжные, отбывшие срок «испытания и исправления», должны были выпускаться из тюрьмы в вольные команды, то есть жить вне тюремных стен. По отношению к «государственным» ссыльным этот закон применялся с большими ограничениями. Число выпускных было раз навсегда установлено вне зависимости от того, сколько человек окончило указанные сроки, и было ограничено 15—16. А так как в вольную команду к моменту нашего прибытия на Кару было уже выпущено 15 человек и все они были долгосрочными, то в течение первых двух лет никого больше в вольные команды не выпускали... В этом отношении положение «государственных» было гораздо хуже положения уголовных, по отношению к которым закон соблюдался.

Зато в других отношениях, к великому огорчению властей, мы были в лучшем положении. Как начальство ни старалось, но общеуголовного режима ему не удалось к нам применить. Внутри тюрьмы — мы были хозяевами... Организовали хор, и, случалось, долго после поверки раздавалось пение, а так как хор был прекрасный, то всевозможное начальство с женами гуляло по ту сторону палей и слушало... В большом ходу были шахматы, устанавливались турниры, иногда одна камера коллективно играла с другой камерой. Процветала от скуки и карточная игра — «винт», — несмотря на то, что официально карты были воспрещены. Однажды в неурочное время комендант пришел в тюрьму... Дежурный жандарм подбежал к камерной форточке и предупредил:

— Спрячьте карты, комендант здесь.

— Ничего, — сострил Иван Калюжный, — мы его запишем «входящим».

Особенно увлекались городками. Состязание одной камеры с другой привлекало внимание всей тюрьмы.

Власти примирились с этим установленным нами режимом и в мирное, нормальное время вели себя корректно, не выходя за пределы необходимого соблюдения формальностей. Письма, книги, посылки просматривались, контролировались, но долго не задерживались. Из вещей, присылаемых родными, не пропускалось лишь верхнее платье — штатское — из опасений, чтобы это не облегчило побега, но белье не задерживалось.

Каждые две недели происходило самое гнусное, что пришлось испытать — бритье полголовы — тоже во избежание побега. От этого были освобождены лишь страдающие эпилептическими припадками.

Лучше обстояло дело с кандалами. Они у нас хранились в мешке... Начальству не удалось заставить нас носить их, и оно капитулировало, настаивая лишь на том, чтобы мы их надевали на время посещения высшего начальства.

С этим мы однажды чуть было не провалились. Один из нас, не помню уж кто, не успел как следует надеть кандалы и засунул лишь оковы за голенища валенок. Какое-то петербургское сердобольное начальство, повидимому, впервые увидевшее людей в кандалах, склонилось над цепью и хотело попробовать, не тяжела ли она... Потянув, он мог бы выронить оковы и тогда... скандал... Но не успел он слегка потянуть, как находчивый заключенный крикнул:

— Ай, ай!..

Начальство отдернуло руку...

— Я вам больно сделал?.. Извините...

— Ничего... — последовал великодушный ответ.

Хохоту по этому поводу было немало.

Вообще же приезжее из Питера начальство, регулярно удостоивавшее нас своей заботливой опекой, не вызывало в нас добрых чувств по отношению к себе. Местное начальство к этому времени подтягивалось и нажимало на нас, опасаясь нагоняя за поблажки, а самый приезд питерского начальства, обыкновенно какого-нибудь высокого чина из департамента полиции, и возмущал, и расстраивал.

В самом деле, когда болезни валили с ног заключенных, когда люди сходили с ума и оставались в одной камере с здоровыми, когда местные власти бомбардировали Питер сообщениями о крайне тяжелых условиях на Каре, сердобольное начальство во главе с царем-«миротворцем» Александром III и его министрами ограничивалось констатированием этого печального явления, и все оставалось в прежнем состоянии. На докладе губернатора, в котором тот подчеркнул, что условия за-

ключения прямо невыносимы, Александр III «собственноручно начертал»:

«Печальная, но знакомая картина».

И только. Все осталось в прежнем виде, никто даже не подумал об изменении этих условий...

Высокое начальство было озабочено другим: как бы нас с «преступного» революционного пути направить на путь благонадежности. Это имелось в виду при командировке высших чинов на Кару, ради этой цели им платились прогоны, суточные и т. д., ради этого посланцы царя совершали путешествие на почтовых, — тогда еще железной дороги не было, — буквально на край света, так как расстояние между Питером и Карой составляло более десяти тысяч верст.

На такого сановника возлагалась обязанность лично ознакомиться с настроением заключенных и повлиять на ослабших — принести повинную и подать прошение о помиловании.

При посещении тюрьмы такое начальство отличалось всегда внимательностью, предупредительностью, обращалось к заключеным всегда задушевным, грустным голосом и подробно каждого в отдельности расспрашивало о здоровьи, о сроке каторжных работ и т. п.

Ответы: «бессрочно», «тридцать лет», «двадцать лет», — вызывали вздох, и сановник что-то отмечал в своей книжке.

Такая процедура повторялась при всяком посещении, все мы ее знали, что называется, наизусть. И она не могла не вызывать в нас и омерзения, и раздражения, благодаря чему было весьма трудно удержаться от резкого ответа.

При мне таким посещением «осчастливило» тюрьму какое-то департаментское превосходительство — некто Русинов. Помню его разговор с Павлом Ивановым...

— Как вы себя чувствуете?

Иванов был тяжело болен. Он неоднократно делал по дороге на Кару попытки к побегу. Разъяренные солдаты при поимке его чуть не растерзали. Сдавили ему грудную клетку, прикладами разбили голову. С тех пор он болел туберкулезом и эпилептическими припадками.

— Великолепно! — ответил Иванов.

— Он болен, очень болен, — вмешался комендант.

Лицо Русинова приняло грустное выражение.

— А долго ли вам еще предстоит сидеть?

— Нет...

— Сколько же?

— Сорок пять лет.

Нормально к такому сроку нельзя приговорить. Закон предусматривал бессрочную каторгу, срочная же ограничивалась двадцатью годами. Русинов был уверен, что Иванов подтрунивает над ним, но, хотя из всех ответов было ясно, что Иванов посылает к чорту почтенное сановное лицо, он, тем не ме-

нее, в своем последнем ответе назвал действительный срок каторги, к которому был приговорен. Сначала его действительно приговорили только к 20 годам, но затем за три попытки к побегу ему прибавили еще 25 лет.

Русиновы не отличались храбростью. Поняв, что выведенный из терпения Иванов может ответить ему в конце концов не словом, а действием, он ретировался и, уже стоя у самых дверей, заявил, что он приехал специально, чтобы ознакомиться с положением в тюрьме, удовлетворить заслуживающие удовлетворения требования...

— А если бы, — сказал он в заключение, — кто-нибудь пожелал поговорить со мной наедине, я в любой момент готов его принять.

В этих словах заключалась цель его приезда. Это был призыв более слабых к раскаянию, к отречению от всего прошлого.

Глухое молчание и иронические улыбки были ответом на этот развязный вызов. Господа из департамента полиции не понимали даже того, что такое раскаяние в расчете на помилование даже в глазах тех, которых сломила или согнула тюрьма, является позором и что у них не может хватить храбрости публично, в присутствии тех, с которыми когда-то вместе шли на смерть, объявлять об этом и «припадать к стопам» монарха.

Этого Русиновы не понимали и не могли понять. Им, способным продать и честь, и совесть ради малейшего передвижения по службе, даже в голову не приходило, что такие раскаяния должны происходить тайком, так как в противном случае даже в самых слабых может проснуться личное достоинство и в самый решительный момент они могут с негодованием отвергнуть гнусное предложение искусителей.

Может показаться странной забота департамента полиции о том, чтобы возможно большее число заключенных выразило раскаяние. Но у него была своя цель: доказать, что его система и вытекающие из этой системы приемы в состоянии согнуть и сломить даже самых дельных, самых преданных делу революционеров. Поэтому-то «милости» департамента, казалось, не было пределов, и после подачи прошения о помиловании даже осужденные за участие в цареубийстве немедленно же выпускались из тюрьмы, а затем восстанавливались в правах, им даже разрешалось селиться в Европейской России. Опасений, что помилованный вновь примет участие в революционном движении, у жандармов не было. Они знали, что, кто раз осквернит знамя, для того нет места в рядах революционных борцов.

Жандармов, конечно, не останавливало и то, что такие раскаявшиеся за момент слабости иной раз расплачиваются годами угрызений совести, мук и страданий. До этого им не было никакого дела. Это не «по их части». Их даже не интересовало, искренне ли человек раскаялся. Для них важно было лишь то,

чтобы иметь возможность сообщить по начальству, что такое-то число революционеров обращено ими «на путь истины», что свидетельствует об их рвении и умении, а следовательно, должно быть вознаграждено соответственным повышением по службе. Только этим руководствовались господа охранители существовавшего строя.

До какой степени форма иной раз заедала сущность, свидетельствует одно необыкновенное «изобретение» заправил департамента полиции.

По закону сосланным в каторжные работы воспрещалась всякая переписка с внешним миром. Коменданту каторжной тюрьмы вменялось в обязанность сообщать ближайшим родственникам о здоровьи заключенных. При этих условиях заключенный давно уже мог пребывать на том свете, а комендант мог «по политическим соображениям» периодически сообщать родственникам о том, что он «жив и здоров». Само собой разумеется, что родственники, зная, с кем имеют дело, постоянно тревожили департамент требованием разрешить заключенным самим сообщать о своем здоровьи. Независимо от этого, при большом числе заключенных коменданту приходилось держать целый штат служащих для этих оповещений родных...

Казалось бы, что раз такой закон существует, то выхода нет... Но не для департамента... Он нашел выход... Нам было предоставлено право самим писать о себе, но в третьем лице и от имени коменданта.

Каждый писал: Ваш сын (брат, муж) такой-то жив и здоров, такую-то посылку получил, просит о том-то. Под этим красовалась подпись: «Отдельного корпуса жандармов подполковник» и фамилия.

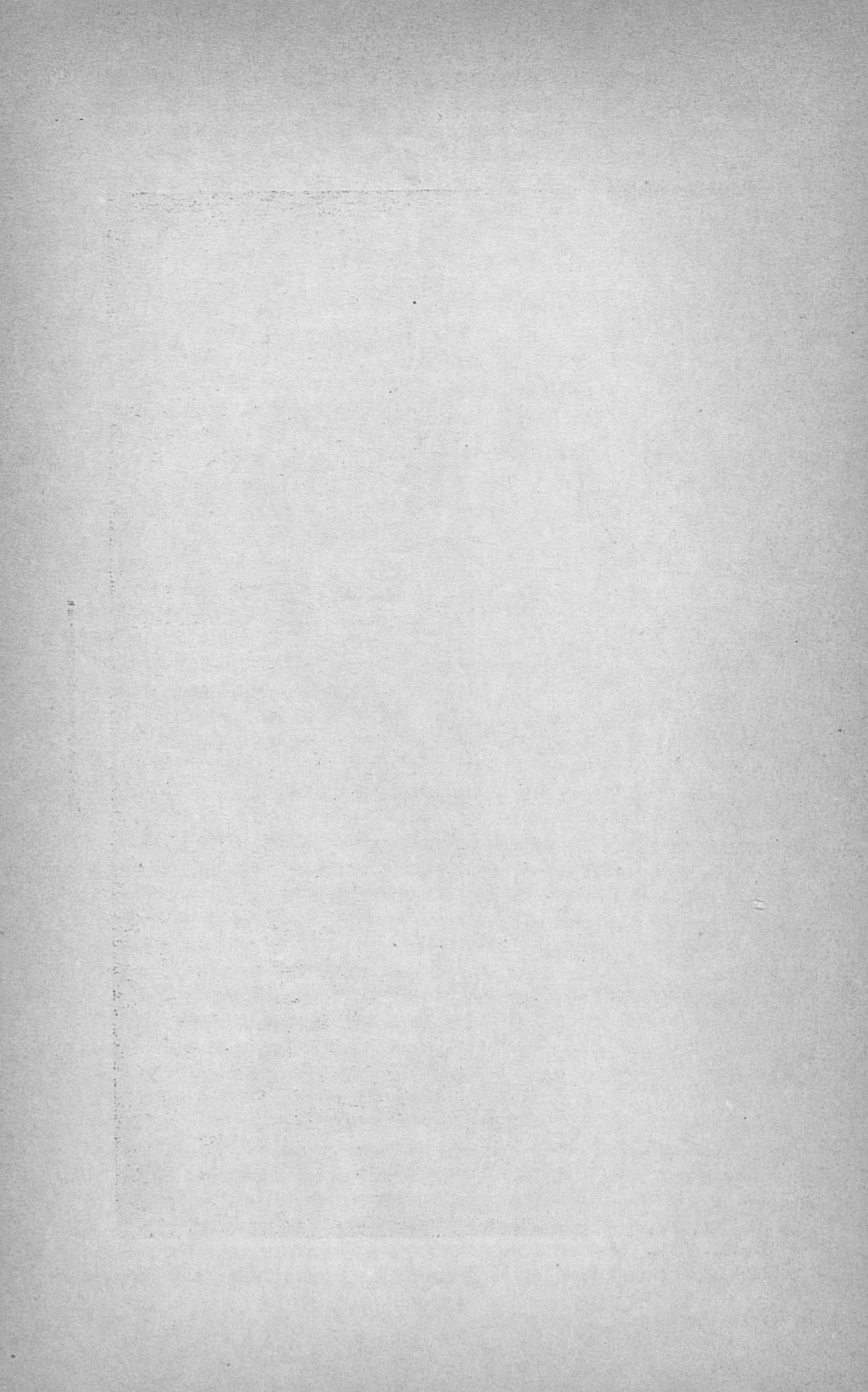
Жандармам казалось, что это их гениальное изобретение делает и департаментских волков сытыми и каторжных овечек целыми. Они упустили из виду лишь одно, что политические каторжане не овечки... Мы очень быстро применились к новому способу переписки, и, например, мои родственники к столетию французской революции получили письмо следующего содержания:

«Ваш сын Феликс Кон, жив и здоров. Посланные вами книги он получил. Эту открытку вы получите приблизительно 14 июля, а поэтому ваш сын вас поздравляет, поздравляет и еще раз поздравляет. Отдельного корпуса жандармов подполковник Масюков».

Этот «Отдельного корпуса жандармов подполковник» и не подозревал, с чем он поздравляет.

Но этой перепиской мы пользовались и для более серьезных сообщений. После отравлений на Каре, о которых будет речь ниже, мною была за подписью коменданта отправлена родным открытка, в которой я просил прислать мне книги на английском языке и привел их список. Называя известных английских

Карийская мужская тюрьма



авторов, я при помощи Рехневского в заглавиях сообщил о случившемся:

«Телесные наказания введены», «наказанная отравилась», «14 человек сделало то же», «6 умерло», «я уже здоров».

Вскоре комендант начал получать отовсюду от родных телеграммы с запросом о заключенных, понял, что это находится в связи с отравлениями и недоумевал, откуда, несмотря на принятые им меры, это стало известным. Воображаю, что с ним случилось бы, если бы обнаружилось, что сообщение сделано за его собственной подписью.

Питерские превосходительства, являвшиеся на Кару, как я уже упоминал, с тем, чтобы побудить ослабевших подать прошение о помиловании, пользовались успехом по преимуществу среди тех, которые еще на следствии вели себя недостойно. Такие, к несчастью, были и на Каре. Царское правительство не всегда относилось так благосклонно к предателям, как по нашему делу — к Пацановскому, которому в награду за четыре выставленные при его содействии виселицы каторга была заменена ссылкой на поселение в Степной край. Необыкновенны были заслуги Пацановского перед жандармами, а поэтому необыкновенна была и награда. Обыкновенно же к предателям, за которыми ухаживали, пока продолжалось следствие, жандармы, выжав из них все, что им было нужно, по окончании следствия относились с презрением, и предательство не избавляло предателей от каторги. Жил, например, на Каре Андрей Баламез, арестованный в Одессе по делу Чубарова, Лизогуба и др. Он был не только предателем. Переодетый околоточным, он ходил по городу и опознавал революционеров, указывая на них жандармам. Это его не спасло. Его приговорили к 20 годам каторги...

Жестокость жандармов по отношению к этим людям, на предательстве которых они строили свою карьеру, доходила до того, что они предателей и ими преданных отправляли в одну и ту же тюрьму... Можно себе представить, как себя чувствовали и одни, и другие...

В первые годы существования Кары, когда туда появились первые предатели, вопрос об отношении к ним стоял весьма остро. Одни, не только негодуя по поводу их предательства, но и питая к ним чуть ли не физическое отвращение, настаивали на том, чтобы по отношению к предателям проводился полный бойкот, чтобы никто не поддерживал с ними никаких отношений. «Пусть чувствуют себя в тюрьме,—говорили они,—как на безлюдном острове. Никто не должен с ними говорить. Они не должны для нас существовать, что бы с ними ни делали. Кроме презрения, другого отношения к ним быть не может».

Такая постановка вопроса не могла найти сочувствия в среде тогдашних революционеров-романтиков, готовых жертвовать

собою, но весьма чутко относившихся к страданиям других. Они указывали, что такое отношение создаст каторгу в каторге, что это хуже смерти, так как изо дня в день, с часу на час оттолкнутые должны были чувствовать питаемое к ним презрение; каждое движение, взгляд, жест должны были им напоминать о совершенной ими подлости. «А разве мы в состоянии, — говорили они, — равнодушно смотреть на них, если они будут голодать, а мы будем сыты и будем иметь возможность предоставить им пищу? Или другое еще: на наших глазах власти будут посвоему расправляться с ними, зная, что они беззащитны, а мы, что же, будем равнодушно смотреть на эти издевательства?»

Выдвигались и другие мотивы, указывалось на то, что и они — жертвы условий...

В результате решено было их оставить на Каре, на равных правах с другими допустить их в коммуну.

Но, несмотря на это формальное решение, предатели не чувствовали и не могли чувствовать себя хорошо. Прошлое тяготело над настоящим. О близких отношениях с ними не могло быть речи, и, чувствуя это, они сближались друг с другом, но, не будучи в состоянии с уважением относиться друг к другу, они чувствовали себя весьма неважно.

При таких условиях политика департамента полиции, дававшая им возможность вырваться из этого пекла, была этой группой принята с восторгом и в сравнительно короткий промежуток времени они, один за другим, подали прошение о помиловании и избавили нас от своего присутствия.

Но круг лиц, подавших прошения о помиловании, к сожалению, не ограничивался предателями. Были и другие, честные, убежденные, но не выдержавшие многолетней каторги. Они, «припадая к стопам царя», сознавали, на какую гнусность решаются. Подавая прошение о помиловании, они сами терзались этим. В них происходила страшно тяжелая борьба духа с телом, инстинкта самосохранения с совестью.

«Я тоже хочу жить, — гласило письмо одного из них, пожалуй, самого несчастного и самого честного среди них, — ведь я еще не пользовался жизнью...»

Честность не позволяла ему искажать действительности, ссылаться на «возвышенные» мотивы вроде перемены убеждений. Он писал о том, что он чувствовал и переживал... Он рвался на свободу, как бабочка тянется к свету, и не учитывал того, что угрызения совести омрачат всю прелесть этой свободы, что воспоминания о задушенных на виселицах товарищей, с которыми он вместе шел на борьбу, не могут не отравить этой свободы... Жажда жизни приводила к тому, что он забывал и о том, что в тюрьме остаются такие, как и он, юноши, тоже не жившие еще, имеющие такое же право пользоваться жизнью, как и он, но не поступающиеся своей революционной честью ради жизни. Об этом он в тот момент не помнил, а это впоследствии тоже

не могло не отравлять ему существования. Обо всем этом он не думал, не помнил, подал прошение, унизился, а когда очнулся,— было уже поздно... Где он теперь, жив ли даже, не знаю... В 1905 году он со своим позором не решился вернуться на родину и оставался где-то на Дальнем Востоке...

Когда он после подачи прошения уходил из тюрьмы, он рыдал, как ребенок:

— Простите, простите.

Но никто не ответил, хотя все и сознавали, что он переживает страшную драму.

Иначе и быть не могло. Веденная нами борьба поглотила уже много жизней... Социализм, ради которого пало уже много жертв, был для нас не только делом убеждения... Он был для нас всем по тогдашним понятиям: верой, религией, освященной мученической смертью погибших на виселицах. И поэтому отступничество от знамени, обагренного мученической кровью борцов,—было преступлением, которое мы простить не хотели и не могли.

Не все ренегаты поступали так открыто и честно, как тот, о котором я только что говорил. Наоборот. Большинство из них пыталось выставить себя в лучшем свете перед нами и, может быть, и перед собою и ссылалось на перемену убеждений, на потерю веры...

Они никого не убедили, не исключая и самих себя. В условиях, когда за убеждения людей вешали или держали десятки лет на каторге, объявлять по начальству о перемене убеждений и этим вымолить себе прощение было не только преступлением. Это было как бы заявлением, что не переменивших убеждений и не раскаявшихся можно и должно преследовать.

Этим объясняется то, что один из действительно разуверившихся в правильности избранного им пути не допускал даже мысли о подаче прошения.

Судьба этого человека была ужасна. Продолжительное пребывание в тюрьме отразилось на нем очень тяжело. Он был ненормален. И в его больном мозгу социализм уживался с самодержавием. Он был «царистом» в буквальном смысле этого слова, преклонялся перед Александром III и одновременно сохранял преданность трудящемуся люду. Он горевал по поводу положения, в котором находились трудящиеся, готов был применять жесточайший террор по отношению к чиновникам, якобы искажавшим распоряжения царя, пекущегося, как отец, о благе народа.

Но он не только сам не подал прошения о помиловании, но такое прошение считал оскорбительным для себя... А ведь ему было тяжелее в тюрьме, чем другим, так как ему на каждом шагу приходилось наталкиваться на оскорбления его «святая святых» — обожаемого им «царя-батюшки», которого карийцы честили по заслугам.

Он волновался, порой даже бросался с кулаками и не только с кулаками на товарищей по заключению, но, если бы кто-нибудь предложил ему подать прошение, он избил бы его.

Где он теперь, не знаю. Несколько лет тому назад я получил от него коротенькую записку, из которой нельзя было заключить, выздоровел ли он и убедился ли наконец, чем был в действительности этот когда-то им обоготворяемый «царь-батюшка». Но как бы там ни было, этот «царист» внушал к себе уважение, в то время как «колонистов», как мы их называли на Каре, так как их после подачи прошения немедленно уводили из тюрьмы и они в так называемых «вольных командах» жили в обособленной «колонии», — мы все презирали.

У многих из них нехватало гражданского мужества выступить явно и они тайком подавали заявления о раскаянии.

Относительно число этих раскаявшихся было небольшое. Даже департамент полиции, заинтересованный в том, чтобы щегольнуть возможно большим числом обращенных, приводит в официальных отчетах всего — 25 человек на 217 заключенных. Весьма характерно, что в их числе не было ни одной женщины. Но и это число было фактически раздуто, если принять во внимание, кто включен в состав этих 25 человек.

В этот состав входил Баламез, о котором я уже упоминал, а затем:

Козакевич, бывший полицейский пристав в Польше, один из усмирителей польского восстания, неизвестно почему причисленный к революционерам.

Мельников, бывший уголовный, приговоренный к 20 годам каторги за совершенно незаметное участие в покушении на Черевина.

Овчинников, тоже уголовный, осужденный за убийство шпиона.

Оссовский Степан — уголовный, перечисленный в политические за то, что в пьяном виде публично ругал царя.

Цыплов — уголовный.

И несколько человек предателей.

Но среди раскаявшихся были, к сожалению, и подлинные революционеры, даже такие, имена которых сохранит история революционного движения.

Был среди них Емельянов, один из участников покушения на Александра II, который должен был вслед за Гриневицким бросить бомбу, если бы царь и на этот раз уцелел. Емельянов тогда действовал настолько хладнокровно, что, очутившись в толпе, окружавшей место убийства царя, и приглашенный тут же полицией в участок дать показание о случившемся, преспокойнейшим образом с бомбой в кармане последовал за приставом и ни в ком не возбудил подозрения в том, что и он участник цареубийства.

Среди подлинных революционеров был и Николай Бух, один

из выдающихся деятелей периода «хождения в народ», а затем — один из видных членов «Народной Воли», приговоренный к 15 годам каторги за вооруженное сопротивление при аресте подпольной типографии.

И одного, и другого сломило многолетнее заключение.

Излишне говорить о том, что каждая такая измена знамени на долгое время отравляла нам настроение. Нам было не только больно, но и стыдно, стыдно за них, стыдно за себя. За них — как унизившихся, за себя — за то, что мы не сумели их предохранить от этого позора.

К этому присодинялось еще одно горькое чувство... обидное для окружающих... являлась подозрительность: «Кто теперь? Кто следующий?..»

Многих мы тогда оскорбляли в душе своим подозрением.

Но зато те, которые были вне подозрений, теснее сближались друг с другом, словно ища в этом сближении опоры в дальнейшей борьбе с врагом. Ненависть к этому врагу от этого унижения им когда-то самоотверженных революционеров еще более усиливалась, и мы, теряя на числе, фактически выигрывали на качестве.

Правительство недолго торжествовало.

Во время ближайшего протеста оно убедилось, что Кара в целом высоко держит знамя, что отдельных слабых людей оно может совратить, но в массе карийцев оно имеет заклятого врага...

Но прежде чем разразился этот протест, Кара переживала тяжелые нравственные муки.

Было ясно, что, пока жизнь в тюрьме более или менее нормальна, ослабевшие еще держатся, но как только начнется какой-нибудь протест, а вслед за ним и репрессии, слабые не выдержат, склонят выю в момент боя, а это может стать сигналом для правительства еще более нажимать в расчете на то, что этот нажим сломит революционное упорство заключенных. Мы поэтому в душе по адресу этих ослабевающих посылали мольбу: «Что имеешь делать, делай поскорей!»

К счастью, кроме одного Буха, который подал прошение уже после протеста и мотивировал его семейными условиями, все остальные покинули нас раньше.

Наслаждаться спокойствием нам, «пролетариатцам», прибывшим на Кару в конце 1886 года, пришлось недолго — всего полтора года. То была эпоха царствования Александра III — период злейшей реакции, сказывавшейся и в отношении к уже обезоруженным революционерам. Опытом было установлено, что судьба политических заключенных находилась в строгой зависимости от политики правительства в каждый данный момент. Во время политической «оттепели» с заключенными обращались по-

человечески, даже с некоторой предупредительностью и уважением. Но как только из Петербурга начинал дуть ветер реакции, — немедленно, даже в отдаленнейших медвежьих углах необъятной Сибири, происходила внезапная перемена без малейших переходов, сразу, буквально врасплох.

Еще накануне ссыльные в данной местности свободно ходили на охоту, иной раз по два, по три дня не возвращались... Местные власти относились к этому не только терпимо, но в частных разговорах сами отмечали, что нелепо в Сибири обращать внимание на такие отлучки или придерживаться буквы закона и не разрешать ссыльным пользоваться охотничьим ружьем. Вдруг все сразу меняется, словно по мановению волшебного жезла. Ссыльному не разрешается даже кратковременная отлучка за пределы города или села, назначенного ему для жительства. Устав о ссыльных, накануне еще хранившийся в архиве, покрытый пылью забвенья, вдруг снова обретал силу закона, начинаются скандалы, протесты, высылки все дальше и дальше на север и восток, иной раз дело доходит до кровавых столкновений.

В тюрьмах практиковалась такая же система. Все узаконения, правила, инструкции, циркуляры, признаваемые в нормальное время нелепыми и неисполнимыми, вдруг обретают силу закона.

Отрезанные от всего живого мира узники, конечно, не могли быть в курсе политики правительства, и эта внезапная перемена заставала их врасплох. Привыкшие к другому обращению, заключенные весьма часто приписывали эту перемену тому или другому жандарму, смотрителю или коменданту и тотчас же реагировали на грубость, не подозревая, что это была только провокационная выходка, рассчитанная на ответ, который даст формальный повод к репрессиям. В результате в тюрьме начинались, с одной стороны, грубые, ничем не вызванные проявления жандармского и чиновничьего усердия, с другой — протесты, голодовки, самоотравления.

В официальных и неофициальных сообщениях царское правительство после такого рода протестов, нередко завершавшихся кровавыми жертвами, взваливало вину на заключенных. Если бы этим заявлениям поверить, то пришлось бы заключить, что бес противоречия внезапно опутывал заключенных всех тюрем России, находившихся иной раз одна от другой на расстоянии десятков тысяч верст, и что бес этот начинал орудовать как раз в момент самой тяжелой реакции, действуя одновременно и в мертвом доме Шлиссельбурга, и во всевозможных каторжных централах, и на Каре, и на Сахалине, и на всем протяжении необъятной Сибири, от Урала до Великого океана, и от берегов Ледовитого моря до подножья Алтайских и Саянских гор.

Всюду кровь лилась струей без всякого повода либо по самому пустячному поводу, всюду несчастное царское прави-

тельсво «защищалось», а заключенные и ссыльные гибли десятками.

Местные власти играли в этих провокациях лишь роль «кнута в руках палача», — по образному выражению Мицкевича. Но этот «кнут» не всегда оправдывал возлагаемые на него надежды. Местные власти, не подстегиваемые из Питера, предпочли бы не вызывать скандалов и протестов. Но приказ из Питера сразу превращал глупых, добродушных ослов в свирепых тигров. Мне пришлось встретиться с вице-губернатором Осташкиным, виновником якутской бойни, в марте 1889 года. Видел я и офицера Карамзина, храброго предводителя отрядов, расстрелявших толпу безоружных ссыльных... Первый по шею выкупался в крови ссыльных, сознавая, что только этим путем удержится на месте и что карьера его навсегда будет испорчена, если он не выполнит волю пославших его. Второй—представлял собою тип обычного этапного офицера, неразвитого, тупого и бездарного, не свирепого, а скорее добродушного. И, тем не менее, оба вписали свои имена в историю как кровавые звери.

Здесь, однако, нельзя не отметить следующее: то, что легко было проделать в Сургуте, Якутке, на Сахалине, — было не легко на Каре. Кара уже пережила 1882 год, десятидневную голодовку, только потому не закончившуюся смертью многих заключенных, что правительство струсило и уступило. На Каре были не только свои боевые традиции, но и выработанная многими годами и внутренней, и внешней борьбы система отношений к власти. Я уже вскользь упомянул об этом выше. Там, где сотни отвечают за опрометчивый или неосмотрительный шаг одного, люди приучаются к осторожности, выучиваются владеть собой, не позволяют себя втянуть в расставленные провокационные сети; долго, а иной раз и бурно, обсуждают вопрос о протесте, прежде чем начать; но, раз начав, доводят протест до конца и или побеждают, или гибнут. Внутри тюрьмы могли быть прения и трения, но, как только дело доходило до внешних выступлений, тюрьма была едина, по крайней мере наружно. Крайние правые не смели нарушить это наружное единство; жители «Якутки», до решения тянувшие тюрьму влево, с момента решения подчинялись ему, отдавая себе ясный отчет в силе и значении такого единства во время протеста.

Местные власти, знавшие Карийскую тюрьму ближе и лучше, чем питерские и хабаровские сатрапы, не решились провоцировать столкновения, и миссию провокатора пришлось на себя взять высшему начальству края, приамурскому генерал-губернатору барону Корфу. Он посетил Кару 15 августа 1888 года по пути в Хабаровск из Петербурга, где ему были даны соответствующие наставления и распоряжения.

«Почему заключенные не в халатах?» — вот чуть ли не первые слова генерал-губернатора во время этого исторического посещения.

Это была явная, прямо в глаза бросавшаяся придирка. И до и после этого посещения карийцы всегда ходили в серых костюмах, ими же перешитых из халатов. Никто никогда против этого не возражал, никто из властей никогда не вспоминал о букве инструкции, предписывающей ношение именно халата.

Корф громко выражал свое неудовольствие, но, кроме беспомощно метавшегося запуганного коменданта Масюкова, никто на это баронское неудовольствие не реагировал. Для всех было ясно, что он ищет предлога для скандала. И не его вина, если ему не удалось этот скандал спровоцировать. Он «добросовестно» исполнил данное ему Петербургом поручение, но наткнулся на выработанную годами систему, и ему пришлось спасовать. Сухо, официально отвечали заключенные на его вопросы короткими «да», «нет», не обращаясь к нему ни с какими просьбами, заявлениями или жалобами, не меняя тона ни при перемене гнева на милость, когда он трогательно и любезно расспрашивал о нуждах, ни тогда, когда он в нашем присутствии бранил местное начальство за распущенность тюрьмы. Корфу не к чему было придраться, и он вынужден был на этот раз уйти, не выполнив возложенной на него Петербургом миссии.

Но то, чего ему не удалось достигнуть в мужской тюрьме, он достиг в женской.

Одна из заключенных, Елизавета Ковальская, приговоренная Киевским военным судом в 1881 году к бессрочной каторге и уже неоднократно подвергавшаяся всевозможным репрессиям со стороны властей и за побег, и за протесты, желая избегнуть встречи с хабаровским сатрапом, ушла в построенный на тюремном дворике шалашик и там легла. Случайно ли забрел Корф в этот шалашик или кто-нибудь из его свиты указал ему на него, — неизвестно. Как бы там ни было, но он зашел в этот шалаш и... гроза разразилась из-за того, что Ковальская не встала при его появлении.

Этого было достаточно. Он тут же отдал распоряжение перевести Ковальскую в наказание в Верхнеудинский централ...

Перевод заключенных из одной тюрьмы в другую никогда не вызывал протестов со стороны заключенных. Считая, что весь суд и назначенное наказание есть лишь проявление грубого насилия, нелепо было добиваться той, а не другой тюрьмы, — принимать активное участие в «выборе» места заключения для себя или для других, голодать для того, чтобы добиться «смягчения»... Этим объясняется то обстоятельство, что, даже когда людей переводили с Кары, как казалось, на верную смерть в Петропавловскую крепость (Щедрин, Волошенко и др.), Кара не протестовала.

Кара не протестовала бы против перевода Ковальской в Верхнеудинск, если бы этот перевод не сопровождался оскорблениями и унижениями человеческого достоинства Ковальской. А именно это и произошло.

На рассвете жандармы вошли в женскую тюрьму, заперли камеры, в которых сидели Ковалевская, Калюжная и Смирницкая, и, обеспечив себя таким образом от вмешательства этих трех «протестанток», ворвались в камеру еще спавшей Ковальской. «Операцией» увоза руководили: начальник уголовной тюрьмы Бобровский, казачий сотник Архипов и комендант «Карийской каторжной тюрьмы для государственных преступников» подполковник Масюков. К делу были привлечены уголовные арестанты. По приказанию названных лиц уголовные арестанты набросились на Ковальскую, схватили ее и в одной рубашке вынесли из тюрьмы.

По сообщениям, полученным нами тогда, проснувшаяся Ковальская лишилась сознания. Это не остановило ретивых исполнителей приказаний Корфа. Находившаяся в обмороке Ковальская была перенесена в какую-то избушку на берегу реки Шилки; здесь, в присутствии мужчин и названных трех чиновников, отпускавших цинические остроты, она была переодета в арестантскую одежду, после чего ее немедленно в сопровождении трех казаков отправили в Верхнеудинск.

Известие о насилии над Ковальской немедленно проникло в женскую тюрьму, и трое заключенных: Ковалевская, Калюжная и Смирницкая реагировали на него голодовкой.

Мужская тюрьма находилась на расстоянии 15 верст от женской; этим объясняется то обстоятельство, что известие об издевательствах над Ковальской было получено мужской тюрьмой только четыре дня спустя в письме Ковалевской, написанном в весьма возбужденном тоне, что вызвало сомнение в точности известия. Само собой разумеется, что это сомнение могло послужить предлогом, чтобы уклониться от протеста, лишь для определенной категории заключенных. Тюрьма в целом стала перед другого рода затруднениями. Заключенные женщины уже голодали четыре дня, требуя наказания виновных и удаления их с занимаемых должностей, на что правительство сразу, без натиска со стороны заключенных, не могло пойти, не роняя ревниво оберегаемого им престижа власти. Присоединение мужской тюрьмы к голодовке ставило ее в нелепое положение протестантов за счет голодавших уже четыре дня заключенных женщин, которые при упорстве со стороны властей были обречены на гибель, в то время как мужская тюрьма ничем не рисковала, так как для всех в то время казалось ясным, что при первых жертвах правительство пойдет на уступки.

Найти выход из этого положения было весьма трудно, тем труднее, что точных данных об обстоятельствах, сопровождавших увоз Ковальской, не было, а сведения, переданные из женской тюрьмы, проходили через фильтр расположенных к нам жандармов и уголовных.

— Все раздуто, преувеличено, — раздраженно заявляли одни.

— Надо добыть точные сведения, — требовали другие.

— Надо немедленно же присоединиться к протесту, — настаивали третьи...

Победила по обыкновению золотая середина и победила тем легче, что «присоединение к протесту» при данных условиях не могло дать никакого удовлетворения.

Немедленно были отправлены письма в вольную команду с требованием собрать все сведения об увозе Ковальской и немедленно же сообщить в тюрьму.

А женщины все продолжали голодать; малейшая проволочка грозила им неминуемой гибелью.

Положение ухудшалось со дня на день, с часу на час.

Вдруг неожиданно для нас вызвали Ивана Калюжного, брата голодавшей Марии Калюжной, на свидание с сестрой...

Комендант тюрьмы, Отдельного корпуса жандармов подполковник Масюков, бывший уездный предводитель дворянства, человек бесхарактерный, трус, абсолютно не отдававший себе отчета в том, как можно и должно вести себя с политическими заключенными, всегда колеблющийся, всегда отражавший ту среду, в какую его забрасывала судьба, циник в среде циников, картежник и мот в среде сибирского чиновничества и военного мира, узнав о голодовке, совершенно растерялся и, следуя совету старшего жандарма Голубцова, решил через Калюжного повлиять на его сестру, а через нее — на остальных женщин, и этим путем добиться прекращения голодовки.

Чуть ли не со слезами на глазах рассказал Масюков Калюжному о том, что произошло в женской тюрьме; клялся и божился, утверждая, что известия, полученные женской тюрьмой, неверны и раздуты, уверяя в своей невиновности, предлагая представить нужные для этого доказательства; наконец, утверждал, что голодовка бесцельна, что она не может привести к желанным результатам и что он готов в любой момент уйти с занимаемого поста. Но на все это нужно время, а при настоящем положении всякое замедление опасно... Необходимо голодовку прекратить, и вот он вызвал Калюжного для того, чтобы он как брат и товарищ повлиял на голодавших...

Калюжный отклонил от себя эту миссию, заявив коменданту, что его заявлениям и объяснениям он не доверяет, но что о своем разговоре с комендантом он сообщит товарищам, а от сестры узнает, насколько заслуживает доверия тот источник, откуда получены сведения об увозе Ковальской.

Во время свидания с братом М. Калюжная подтвердила все сообщенные ранее Ковалевской сведения, указав на то, что эти сведения получены от жандарма, присутствовавшего при увозе Ковальской и не раз до этого оказывавшего заключенным всевозможные услуги.

Немедленно после возвращения Калюжного со свидания с сестрой заключенные собрались на совещание в «Якутке».

Если бы женщины не начали голодовки до соглашения с нами и этим дали бы нам возможность участвовать в протесте на равных и одинаковых с ними началах, решение вопроса о протесте не встретило бы никаких затруднений. Насилие и издевательство над Ковальской было достаточным поводом для протеста... Но женщины уже голодали четыре дня, и это заставляло нас искать другого выхода.

После продолжительного и бурного обсуждения этого вопроса было решено: 1) потребовать от коменданта свидания без посторонних свидетелей с находившимися в вольной команде товарищами и поручить им произвести всестороннее следствие; 2) отправить двух делегатов в женскую тюрьму и при свидании с ними, равным образом без посторонних свидетелей, настоять на прекращении голодовки до выяснения нами всех обстоятельств дела, причем взять обязательство от имени всей мужской тюрьмы в случае подтверждения факта насилия и издевательства приступить к совместному с ними протесту, в случае же неподтверждения дело прекратить.

Само собой разумеется, что все эти свидания с товарищами в вольной команде и в женской тюрьме были явлением совершенно незаконным, не говоря уже о следствии, производившемся лишенными всех прав состояния каторжными над их тюремным начальством... Но, несмотря на это, комендант безоговорочно согласился на все.

«Высшие власти были далеко». Высшей политики этих властей в этот наступательный период Масюков не понимал, политические же заключенные были тут же, ему с ними ежедневно приходилось иметь дело, а террористическое прошлое этих заключенных и вся традиция Кары заставляли его их бояться. Комендант трусил, и этому приходится приписать невиданное зрелище следствия заключенных над комендантом.

Если бы в этом публичном предании следствию коменданта мы могли найти удовлетворение, если бы можно было этим ограничиться, тогда бы мы могли торжествовать. Но положение было другое.

Женская тюрьма согласилась прервать голодовку и ждать результатов следствия. Ждал результатов следствия и комендант, согласившийся на все условия и громко заявивший, что он вполне спокоен за свою судьбу, что он нам доверяет безоговорочно и что ждет от нас приговора.

Это обязывало... На основании собранных нами данных мы должны были вынести приговор. «Подсудимый» с «полным доверием» ждал этого приговора.

Принимая решение произвести следствие, мы считались с двумя возможностями: следствие или подтвердит прежние данные, или их опровергнет. В то время нам казалось, что ничего

третьего быть не может. В действительности же получилось нечто третье: следствие не дало конкретных результатов. Допрашиваемые давали или уклончивые или противоречивые показания...

Перед нами вновь предстал вопрос: что делать?

«Оставить в подозрении» — по формуле дореформенных сибирских судов?

Оправдать за отсутствием доказательств виновности?

Осудить, несмотря на отсутствие данных?

Осудить — после того, как мы не политически, а судейски подошли к делу. А ведь вопрос состоял не в судебном, а только в политическом решении дела...

А комендант ждал; ждала и женская тюрьма, которая вняла нашим доводам и прекратила голодовку... Комендант ждал судебного решения; женская тюрьма, не говоря уже о нас самих, — политического.

Вновь было созвано совещание. Одни находили, что дело должно быть прекращено, так как комендант Масюков уже достаточно наказан тем, что вынужден был согласиться на унижающее его следствие.

Эта группа судейски подходила к вопросу и всякое сомнение толковала в пользу «подсудимого», совершенно упуская из виду, что за спиной этого «подсудимого» торчит весь государственный аппарат с розгами, плетьми, штыками и виселицами и что этот аппарат может быть приведен в движение в любой момент.

Другие настаивали на отправке требования генерал-губернатору и жандармскому управлению с описанием происшедшего во время увоза Ковальской, с указанием на допущенные беззакония. Эта группа, привлекшая на свою сторону большинство, пыталась, с одной стороны, ликвидировать то нелепое положение, в какое мы поставили себя, соглашаясь на производство следствия над комендантом, а с другой — в ответе власти найти предлог либо для протеста, либо для ликвидации всего дела.

Несмотря на продолжительные и бурные прения, самым ловким карийским дипломатам не удалось добиться компромиссного решения, и наши делегаты отправились в женскую тюрьму с двумя предложениями. Женщины не согласились ни с одним, ни с другим решением, заявили нашим делегатам, что сохраняют за собой свободу действий и, со свойственной им стремительностью, уже на следующий день известили нас, что ими отправлено в губернское управление в Чите требование устранить Масюкова с должности коменданта. При этом Ковалевская в частном письме поясняла, что намерена направить протест против той власти, от которой зависит это удаление. Калюжная и Смирницкая в своих письмах не делали никаких добавочных указаний, но ни

для кого не подлежало ни малейшему сомнению, что и они последуют за Ковалевской.

Решение женской тюрьмы заставило нас вновь собраться на совещание, вынесшее решение: обратиться в жандармское управление с заявлением, в котором, обходя молчанием вопрос об удалении Масюкова, выразить требование, чтобы власти расследовали дело, наказали виновных и приняли меры к предотвращению на будущее время такого рода прискорбных явлений.

На два различных заявления получилось два различных ответа. Женской тюрьме ответило губернское управление, что правительство сохраняет за собой право назначать, удалять или оставлять на месте чиновников... Мужской тюрьме ответил начальник жандармского управления в Иркутске, что он вскоре сам лично посетит Кару и расследует дело.

Впоследствии мы получили сведения, что оба эти ответа были лишь бюрократическими отписками и что как губернское, так и жандармское управление обратились в Петербург за инструкциями и указаниями. Но это было только впоследствии, а в момент получения этих ответов положение опять было «хуже губернаторского». Формально наше требование было удовлетворено, и нам не к чему было придраться, в то время как женская тюрьма получила вызывающий ответ. Но и женщинам возобновить голодовку, ввиду обещания начальника жандармского управления фон-Плотто приехать и расследовать дело, не имело ни малейшего смысла.

Приходилось ждать, буквально не зная, «что день грядущий нам готовит». И сторонники протеста, и противники, и правые, и левые, и центр — все объединились в одном: «Скорее бы!»

Но начальство не торопилось. Тогда мы предполагали, что оно делало это в расчете на то, что время сделает свое, заключенные по истечении полугода забудут о случившемся, и инцидент будет изжит без урона для престижа власти. Но этот расчет был неверен. Томительное полугодовое ожидание довело всех заключенных до такого нервного состояния, что когда фон-Плотто наконец приехал в феврале 1889 года, то все без исключения требовали удаления Масюкова, находя в этом единственный выход из создавшегося положения.

В женской тюрьме состояние заключенных было хуже. Заключенные применяли по отношению к Масюкову полный бойкот. Его не пускали на порог тюрьмы. Но этот бойкот всей силой обрушивался на самих заключенных. Пришлось отказаться от писем, посылок и денег, проходивших через Масюкова, обречь себя на полное отсутствие сведений о родных, близких и о всем внетюремном мире. Напряжение нервов заключенных женщин дошло до предельных границ, и этим приходится объяснить, что фон-Плотто на требование удалить Масюкова ответил женщинам торжественным обещанием исполнить это требование.

И опять началось томительное, бесконечное ожидание. Опять вся жизнь тюрьмы свелась к счету дней, недель, месяцев, — к мучительному стону: «Когда же?» Но начальство не торопилось. Миновал месяц, другой, третий, а Масюков все продолжал оставаться на своем посту. Власти как будто сознательно игнорировали душевное состояние заключенных, не замечая происшедшей в заключенных перемены.

А эта перемена бросалась в глаза. Обычные занятия были заброшены. Ранее уравновешенные, спокойные, владевшие собой заключенные превратились в нервных, по малейшему поводу выходивших из себя людей.

Состояние выжидания было опять прервано женской тюрьмой, возобновившей голодовку. Без споров, без обсуждений, не видя другого выхода из положения, к этой голодовке примкнула и вся мужская тюрьма. Женщины возобновили требование удалить Масюкова. Мужская тюрьма не выставляла никаких требований. Она примкнула к голодовке потому, что голодала женская тюрьма, сознавая, что ее участие в протесте может повлиять на ускорение дела, на скорейшее выполнение начальником жандармского управления принятого на себя обязательства.

Известие о начавшейся голодовке вызвало переполох среди местных властей, в частности, сильно встревожило Масюкова. Он вызвал к себе в канцелярию нашего врача, товарища Ал. Вас. Прибылева, и выразил ему сожаление по поводу голодовки, утверждая, что он ни в чем не повинен, что им уже давно возбуждено ходатайство о переводе его на другое место и что независимо от того, будут ли заключенные голодать или нет, он со дня на день ждет нового назначения; закончил он уверением, что при таких условиях, когда задержка вызвана лишь канцелярскими и почтовыми затруднениями, голодовка не имеет смысла.

Это заявление Масюкова не возымело действия: голодовка продолжалась.

Тогда был пущен в ход новый прием.

На следующий день после разговора с Прибылевым комендант вызвал к себе тюремного старосту и сообщил ему, что он в состоянии наконец представить доказательства искренности своих заявлений, так как им получена желанная телеграмма из Иркутска об освобождении его от должности коменданта.

— Покажите.

Масюков предъявил телеграмму за подписью адъютанта начальника жандармского управления, извещающую его о назначении на должность коменданта Карийской тюрьмы ротмистра Яковлева.

Жандармский ротмистр Яковлев до назначения Масюкова ис-

полнял временно обязанности коменданта и оставил после себя очень хорошую память. О лучшем коменданте нельзя было и мечтать.

Сообщенное комендантом известие подтвердили два жандарма, прибывшие на Кару из Верхоленска, сообщившие якобы со слов Яковлева, что он назначен комендантом Кары.

Можно ли было ввиду этого сомневаться в достоверности этого известия?

Голодовка была прекращена в обеих тюрьмах.

Но миновал май, июнь, июль, а Масюков все оставался на должности коменданта. Было ясно, что, желая прервать голодовку, власти прибегли к подлогу и обману. Никакая провокация не могла бы более способствовать усилению раздражения, чем этот подлый обман.

«Если узел нельзя распутать, то надо его разрубить»—этим уже начинала все более и более проникаться «Якутка» и отдельные заключенные, разбросанные по другим камерам. Вскоре образовался кружок людей, решивших тем или другим путем освободить тюрьму от того кошмара, который навис над ней.

Но вопрос был гораздо сложнее, чем можно было предполагать. Как поднять руку на такую личность, как Масюков, — человек унижающийся, трусливый, тряпичный... Рука буквально опускалась, несмотря на то, что мы все сознавали, что за спиной этой тряпки и на защиту ее торчат штыки, нагайки, розги, плети и виселицы. С этой, я бы сказал, брезгливостью мы бы все-таки справились, но было другое затруднение — своего рода круговая порука, ответственность всей тюрьмы за действия каждого из заключенных. А среди этих заключенных были и «поумневшие», и уставшие, и больные, были и люди «на отлете»— краткосрочные, считавшие дни и часы до выхода на поселение.

Если меня не обманывает память, то от Павла Иванова исходила идея: дать пощечину Масюкову и «отравиться». «Смерть обезоруживает». Один падет искупительной жертвой, Масюков вынужден будет уйти, и репрессии не обрушатся на тюрьму.

Но эти планы не выходили еще за пределы интимнейшего обсуждения в очень тесном кружке лиц (Павел Иванов, Сенковский, Ив. Калюжный и Спандони). А время шло. Наступил август, лучшее в Сибири время года. Заключенные выползли из душных камер и, словно звери в клетке, метались по тюремному двору. Кое-кто прильнул к щелям в палях и любовался затюремным миром.

Вдруг раздался крик: «Привезли кого-то».

Все бросились к щелям. Действительно кого-то привезли. Вскоре одаренные хорошим зрением сообщили, что привезли какую-то женщину и повели в канцелярию коменданта.

Несколько минут спустя уже вся тюрьма была на ногах. Что-то случилось... Наблюдавшие в щели рассказывали, будто Масюков выпрыгнул в окно, а привезенную женщину отвели в караулку.

Было несомненно, что случилось что-то роковое, но что именно — никто не знал. Только несколько часов спустя через солдат, жандармов и уголовных арестантов, привозивших воду в тюрьму, стало известно, что одна из недавно прибывших на Кару, Надежда Сигида, вызвалась к коменданту и то ли дала пощечину Масюкову, то ли лишь замахнулась на него, то ли, наконец, под угрозой пощечины заставила его составить протокол о нанесении ему оскорбления действием.

Источник этих сведений был весьма ненадежен, полагаться на него было весьма трудно, и, что важнее всего, не было известно, действовала ли Сигида организованно или самочинно, с ведома и согласия остальных женщин или без такового, — поддержат ли женщины каким-либо выступлением ее действия или нет...

Опять приходилось ждать. На все эти вопросы мы могли получить разъяснения лишь из писем товарищей, находившихся в вольной команде. К несчастью, в этот день «почта» провалилась из-за измены Степана Оссовского, уголовного, о котором я уже говорил выше. Этот негодяй выбрал как раз такой роковой момент для того, чтобы подать прошение о помиловании, а для того, чтобы «слово» подкрепить «делом», указал коменданту на путь, по которому заключенные сносились с внешним миром.

Почта была перехвачена, и мы были отрезаны на продолжительное время и от вольной команды, и от женской тюрьмы.

Только недели четыре спустя мы узнали о кошмарных ужасах, происходивших в женской тюрьме.

Сигида, знавшая о том, что Калюжная и Смирницкая вместе с вновь прибывшими на Кару осужденными по делу Лопатина (1887) Саловой и Добрускиной решили возобновить голодовку и продолжать ее до тех пор, пока либо уберут Масюкова, либо первых трех переведут в другую тюрьму вне ведения Масюкова, — решила ускорить колебания начальства и нанесением коменданту «оскорбления действием» механически заставить его наконец уйти. Изолированная от других после выполнения своего плана, Сигида тоже присоединилась к голодовке.

Повидимому, целый ряд прежних сорванных голодовок убедил начальство, что это орудие борьбы менее страшно, чем ему раньше казалось, и поэтому оно решило не обращать никакого внимания на голодающих, быть может рассчитывая на то, что женская тюрьма, не поддержанная ничего не знавшей об этих событиях мужской каторгой, сама прекратит голодовку. Только по истечении восьми дней, повидимому опасаясь, чтобы обреченная на квалифицированную смертную казнь Надежда Сигида

в случае смерти от голодовки не ускользнула из их цепких рук, власти отдали приказ местному тюремному врачу — Гурвичу или Гуревичу, не помню — произвести искусственное кормление Сигиды.

Сравнительно недавно осужденная и поэтому менее других истощенная, Сигида лучше некоторых других выносила голодовку. Но ее жизнь в этот момент была дорога царскому правительству, и поэтому только к ней было применено искусственное кормление. Гурвич, типичный тюремный врач, смотревший на медицину, как на ремесло, даже не останавливался на вопросе, почему ему приказывают спасать Сигиду, в то время как другие были в большей, чем она, опасности. Впоследствии он объяснял, что в Сигиде видел лишь опасную больную и оказал ей помощь, не думая о том, что он сохраняет ей жизнь для того, чтобы она не избегла уготованной ей во сто крат горшей смерти.

Он сознался, что не ведал, что творил, и поэтому исполнил полученное распоряжение...

Известие о примененном к Сигиде искусственном кормлении с быстротой молнии проникло в женскую тюрьму. Это был уже десятый день голодовки. Многие из заключенных не в состоянии были подняться с постели.

Это новое насилие, новая угроза борьбы при помощи искусственного кормления, угроза выбить из рук последнее оружие борьбы, вызвали жесточайшее возмущение у всех заключенных. Одна из них — Мария Ковалевская — под каким-то предлогом вызвала к себе врача и нанесла ему пощечину. Несчастный исполнитель приказаний начальства только тогда прозрел и, будучи честным по натуре, не только не питал за это злобы к Ковалевской, но всегда выражался о ней с величайшим почтением.

После этого инцидента Ковалевскую перевели в уголовную тюрьму. Ее цель выйти из-под ведения Масюкова была достигнута. В тюрьме оставались еще Калюжная и Смирницкая, добивавшиеся того же, но не достигшие цели. Поэтому Ковалевская продолжала голодать. Продолжали голодать и четверо остальных, оставшихся в женской тюрьме для политических.

Власти не уступали.

На двенадцатый день голодовки врачу было предписано ежедневно телеграммой сообщать в губернское управление о состоянии голодающих. На тринадцатый день врач телеграфировал губернатору о том, что состояние всех голодающих внушает серьезные опасения; на четырнадцатый — что у одной из заключенных им констатировано изъявление желудка, на пятнадцатый — что он снимает с себя всякую ответственность, что всякое промедление грозит заключенным неминуемой гибелью.

А власти попрежнему обольщали себя надеждой, что заключенные испугаются смерти и по собственному почину прекратят голодовку. Они ошиблись. Голодовка продолжалась, и только на

семнадцатый день, когда уже стало очевидно, что другого выхода, кроме смерти, не может быть, последовало из Читы распоряжение перевести Калюжную и Смирницкую в уголовную тюрьму. «Сердобольное» начальство упустило из виду сообщить об этом переводе изолированной от других Ковалевской, и только острый припадок умопомешательства как результат голодовки напомнил ему о ней, и она была переведена в камеру, в которой находились Калюжная и Смирницкая.

Власти уступили... Почему и зачем?.. На этот вопрос весьма трудно ответить. Испугались смерти злейших своих врагов? Нет, все последовавшие за этим события доказывают, что правительство отнюдь не пугалось мысли обагрить руки в крови безоружных заключенных. Повидимому, на этот шаг не решались лишь местные власти; что же касается центрального правительства, во главе которого стоял в то время Дурново, то оно неукоснительно держало твердый курс, с которым нам пришлось вскоре ближе ознакомиться.

В первое время мужская тюрьма, узнавшая обо всех этих событиях лишь после того, как голодовка была прекращена, думала, что хоть на некоторое время будет дана «передышка» и в тюрьме водворится спокойствие. Этим предположениям не суждено было сбыться.

24 октября (5 ноября нового стиля) 1889 года все камеры обошел жандармский писарь, вахмистр Помелов, и предложил от имени коменданта всем заключенным собраться в коридоре, чтобы выслушать полученное от генерал-губернатора Корфа распоряжение. Едва мы успели выйти из камер, как дежурные жандармы заперли их на ключ... Это нас поразило. Но мы не успели еще сообразить, «что сей сон значит», как ворота тюрьмы распахнулись настежь, и во двор стройными рядами вошли солдаты. Часть из них со всех сторон окружила здание, в котором находились кухня и баня, другая — заняла посты в разных пунктах во дворе, а затем человек тридцать вошло в коридор.

«Будут развозить по разным тюрьмам», — шопотом поделился со мной впечатлениями стоявший рядом со мной Иван Калюжный. Другие, глядя на эти военные приготовления, мрачно молчали. Такую отправку в другие тюрьмы Кара уже испытала в 1883 году. Тогда храброе карийское воинство бросалось на заключенных, хватало за что попало — за голову, за бороду, вырывая клочьями волосы, било, толкало ногами. Пережившие уже раз этот кошмар заключенные инстинктивно плотно прижимались друг к другу, словно в этой сомкнутости было их спасение и опора.

Между тем в коридор, бряцая шпорами, вошло десятка два жандармов с обнаженными шашками и выстроилось в два ряда.

Все находившиеся на Каре военные силы царизма были мо-

билизованы, недоставало только начальства, которое повело бы на «врага» это храброе воинство. Минуту спустя вновь открылись тюремные ворота, в тюрьму, в сопровождении двух офицеров, вошел Масюков и, заняв место сзади за солдатами и жандармами, заявил взволнованным, дрожащим, то-и-дело прерывавшимся голосом:

— Мною получено в запечатанном конверте предписание генерал-губернатора Приамурского края, которое мне приказано вскрыть и огласить в вашем присутствии.

Он предъявил нам издали конверт для удостоверения, что печати не повреждены, затем вскрыл пакет и, вынув из конверта четвертушку бумаги, передал ее для прочтения одному из сопровождавших его офицеров.

Гробовая тишина воцарилась в коридоре. Все — и заключенные, и власти, и жандармы, и даже полудикие казаки — инстинктивно почувствовали, что вот сейчас случится нечто такое, что не может не оставить после себя кровавого следа...

И это предчувствие оправдалось.

Распоряжение генерал-губернатора на всю жизнь запечатлелось у нас в памяти. Я привожу его хотя и по памяти, но почти дословно: «Ввиду постоянно повторяющихся нарушений порядка в мужской и женской тюрьме для государственных преступников поручаю вам объявить заключенным, что на будущее время за всякое нарушение тюремной дисциплины они будут наравне с уголовными подвергаться телесному наказанию. В случае сопротивления со стороны заключенных при аресте кого-нибудь из них для применения к нему телесного наказания предписываю вам употреблять военную силу, не опасаясь за последствия».

После прочтения этой бумаги последовала минута молчания, а затем дрожащим голосом, как бы сознавая, что необходимо поскорее кончить эту сцену, Масюков пробормотал:

— Больше ничего!

Еще бы, чего же больше!

Словно пристыженные той миссией, какая им выпала на долю, первые тронулись с места офицеры, сопровождавшие Масюкова, за ними поплелся и он, а затем тронулись с места солдаты и жандармы. Щелкнули замки, и вновь наши камеры открылись настежь. Но еще продолжительное время никто из нас не двинулся с места, несмотря на то, что храброе воинство уже покинуло тюрьму и было отведено в казарму.

Удар был правильно рассчитан. Правительство понимало, что оно переходит через Рубикон, и, опасаясь, чтобы заключенные с места не реагировали на нанесенное оскорбление, отгородило их от своих агентов стеной штыков.

Решаясь на этот шаг, правительство не могло не считаться с первой попыткой применения телесного наказания к «государственным» заключенным в 1878 году. Тогда, по приказанию гра-

доначальника Трепова, был наказан розгами Боголюбов. В ответ на это раздался выстрел Веры Засулич, а затем вердикт суда присяжных, оправдавший ее. С того времени прошло одиннадцать лет. Все это время правительство не решалось в борьбе с социалистами прибегать к этому позорному средству... И только в конце восьмидесятых годов, когда лучшие борцы «Народной Воли» погибли на виселицах и в Шлиссельбургской тюрьме, а «сливки народа», так называемое «общество», рабски пресмыкались перед всевозможными Треповыми, Дмитриями Толстыми, Деляновыми, Дурново и Плеве, — царское правительство вновь решилось прибегнуть к этому средству борьбы.

Это было неожиданностью даже для карийцев, не питавших никаких иллюзий относительно царизма. Эта неожиданность огорошила всех.

Правительство совершенно напрасно прибегало к мобилизации всех военных сил на Каре... Я должен сознаться, что мы были настолько ошарашены, что вряд ли кто-либо был способен в этот момент на какой-нибудь активный протест. Наоборот. Все как-то съежились и приумолкли. В камерах водворилась гробовая тишина. Едви ли кто-либо в этот день спал ночью. Одни лежали молча на нарах, другие, более нервные, метались из угла в угол по камере.

И только на следующий день публика очнулась.

Первый, как обычно в таких случаях, высказался Бобохов.

Повидимому, он в течение ночи все обдумал, взвесил и с самого утра наметил план действия.

В этот момент, за исключением двух-трех человек, никто не предполагал, чтобы угроза правительства была применена на деле. Но мы боялись, чтобы эта висевшая над нами угроза не повлияла на наше поведение и не толкнула нас на компромисс... Мы боялись обычных в таких случаях рассуждений: стоит ли из-за того или другого «пустяка» подвергать себя риску быть наказанными розгами?

Мы больше боялись этого скользкого компромиссного пути, чем самой розги, не сомневаясь в том, что каждый из карийцев покончит с собой, прежде чем его накажут телесно, а застигнутые врасплох покончат с собой немедленно после наказания.

План Бобохова заключался в следующем:

Заключенные отправляют министру внутренних дел заявление с требованием немедленной отмены распоряжения Корфа, указывают, что ответа будут дожидаться в течение пяти месяцев (в то время еще не было Сибирской железной дороги, и приблизительно столько времени требовалось на сношение с Петербургом и обратно), и подчеркивают, что в случае отказа, не соглашаясь жить под угрозой розги, подписавшиеся под заявлением заключенные лишат себя жизни.

Копию этого заявления Бобохов предполагал напечатать в революционных и заграничных изданиях и этим путем призвать весь культурный мир в свидетели нашей борьбы с царизмом за свое человеческое достоинство.

В тюремных вопросах я в большинстве случаев соглашался с Бобоховым, перед которым я, в то время еще зеленый юнец, прямо преклонялся. Но на этот раз намеченный Бобоховым путь борьбы казался мне и неверным и опасным. Это объяснялось тем, что я как польский революционер знал многое такое из прошлых расправ царизма с польскими повстанцами, о чем русским революционерам не было известно.

У меня на всю жизнь запечатлелась в памяти угроза, брошенная представителем царизма повстанцам 1831 года: «Если вы и здесь (в Сибири) будете продолжать строить козни против правительства, то знайте, что вас ожидает не пуля и не виселица, а кнут...»

Я помнил также об истинно мученической смерти ксендза Сероцинского, упавшего замертво тут же на месте после того, как его прогнали сквозь строй, где ему было нанесено 6000 ударов шпицрутенами.

Помнил я и наказание доктора Шокальского, павшего под ударами без сознания, приводимого в чувство и вновь прогоняемого сквозь строй...

Я помнил многое... и потому-то я не мог не опасаться за судьбу Сигиды и Ковалевской.

Я убеждал Бобохова в необходимости начать немедленно протест при помощи самоубийств, причем для экономии сил я предлагал бросать жребий и еженедельно двоим кончать с собою до отмены распоряжения о телесных наказаниях. Со мной соглашался только один — Спандони, бывший член Исполнительного комитета «Народной Воли». Бобохов не соглашался.

— Вы поляк, — возражал он мне, — и вам повсюду мерещится муравьевщина. Вы не знаете России. Даже царское правительство никогда не решится применить телесное наказание к женщине. Этого нечего опасаться, и поэтому с предлагаемыми вами мерами можно еще не торопиться.

Бобохов не верил в то, чтобы правительство решилось применить телесное наказание к женщине. Другие заключенные были еще более оптимистически настроены. Они были уверены, что после выстрела Веры Засулич правительство не решится применять розги ни к кому из политических заключенных. По их мнению, в самом прочтении бумаги о телесных наказаниях правительство искало для себя удовлетворения за необходимость пойти на уступки по вопросу о переводе женщин в другую тюрьму. Из этого они делали вывод, что не следует писать никаких заявлений, так как именно эти заявления могут показаться

правительству вызовом и оно для сохранения своего престижа может быть вынуждено прибегнуть к розгам...

«Не надо провоцировать правительство. А если, паче чаяния, оно решится на применение телесного наказания, тогда надо без всяких заявлений покончить с собой, по возможности всем».

Товарищи, отстаивавшие этот взгляд, не считались с тем, о чем я говорил уже выше: угроза телесного наказания, висевшая над нами, как дамоклов меч, могла нас толкнуть на весьма скользкий путь компромиссов, лишь бы избегнуть этой худшей из смертных казней... До этого нельзя было допустить.

Разнообразие мнений осложняло вопрос и замедляло решение. Жертвуя жизнью, каждый хотел провести свой взгляд, казавшийся ему самым верным и целесообразным. В конце концов все «протестанты» сошлись на предложении Бобохова. Дело оставалось за редакцией официального заявления, которое должно было быть и нашим политическим завещанием. Прием борьбы был настолько необыкновенный, что малейшая неточность выражения могла совершенно исказить действительный характер протеста. Живые духом, мы как революционеры избрали лучший, как нам казалось, и самый целесообразный способ борьбы: в заявлении необходимо было ясно подчеркнуть и оттенить, что это был именно акт борьбы, а не акт отчаяния. При таких условиях редакция заявления не могла пройти скоро и гладко. Но в тот день, когда было назначено последнее редакционное совещание, в тюрьму проникли глухие известия, что Сигида уже наказана.

Это известие было сообщено одним из солдат. Но он, повидимому, испугался того впечатления, какое он произвел этим сообщением, и тут же начал добавлять отсебятину, рассказывая, что Сигиду наказали в одежде, что не было больно и т. д. и т. д.

Мы не верили, не хотели верить...

Все было пущено в ход для получения известий из вольной команды, и на следующий день мы получили коротенькую записку, которая гласила: «Сигида наказана. Умерла. Калюжная, Ковалевская, Смирницкая отравились. Все трое при смерти. Геккер (находившийся в вольной команде) дважды стрелял в себя, легко ранен, переведен в лазарет».

Сомнения были рассеяны. Факт был налицо. Но многое для нас было неясно. По уставу всякий, приговоренный к телесному наказанию, подлежал предварительному медицинскому освидетельствованию, а затем наказание должно было производиться в присутствии врача. Мы недоумевали. Неужели врач удостоверил, что Сигида в состоянии выдержать наказание, и сам присутствовал при экзекуции?

Только несколько месяцев спустя все наши недоумения разъяснились. Приказ о наказании Сигиды был передан управляющему уголовной каторги Гомулецкому, но и этот поседевший на

тюремной службе «управляющий» не решился на такое преступление. Он обратился к врачу с официальным требованием освидетельствовать Сигиду. Врач официально же удостоверил, что наказание не может быть применено ввиду того, что Сигида страдает сердечными припадками. Это не подействовало. На Кару был вызван тот самый Бобровский, который издевался над Ковальской, когда ее, по приказанию Корфа, увозили в Верхнеудинск. Он велел привести Сигиду в тюремную канцелярию и тут же безапелляционно заявил врачу: «Пустяки. Выдержит». Врач заявил в ответ, что он не может взять на себя ответственности и поэтому отказывается присутствовать при экзекуции. «Обойдемся и без вас».

Врач ушел, хлопнув дверьми, как он после рассказывал, в полной уверенности, что ввиду прямого указания на этот счет в законе в его отсутствие наказание не может быть произведено.

Но что значит закон, коль скоро был приказ?

Сигиду наказали.

В полуобморочном состоянии ее отвели в камеру, в которой находились Калюжная, Ковалевская, Смирницкая и еще несколько человек уголовных арестанток.

Вся камера замерла...

— Мама!.. Дети!.. — раздавались всю ночь всхлипывания Сигиды, а на следующий день утром ее уже не стало.

Несколько человек заключенных продолжительное время настаивали на том, что смерть Сигиды последовала вследствие нравственного потрясения. Это предположение весьма мало вероятно, хотя оно и основано на заявлении врача. Но в интересах этого врача было доказать, что он не руководствовался ни политическими, ни этическими соображениями, а исключительно деловыми, медицинскими, и что его предсказание о том, что Сигида не выдержит наказания, оправдалось. Однако, считаясь с условиями, в каких Сигида находилась с момента наказания до самой смерти, трудно предположить, чтобы она не воспользовалась ядом, находившимся в женской тюрьме, тем более, что в течение ночи, приходя в сознание, она долго разговаривала с тремя окружавшими ее товарками.

За Сигидой последовал черед ее сокамерниц. Яд был приготовлен. Оставалось его только проглотить. Несколько часов спустя Калюжная уже была в агонии. Ковалевская, сохраняя сознание до последнего момента, лежала без движения на кровати, а Смирницкая еще долгое время держалась на ногах и переходила от кровати умиравшей Калюжной к кровати Ковалевской. Вечером не стало Калюжной, а Смирницкая слегла.

Сильно страдавшая Ковалевская попросила воды. Смирницкая уже не в состоянии была поднести ей стакан с водой. В этот момент вошедший в камеру врач попытался под видом воды дать противоядие, но Ковалевская сообразила, в чем дело, и с

негодованием оттолкнула стакан. На следующий день утром умерла Ковалевская, а вечером — Смирницкая.

Наступила наша очередь.

Если бы вся тюрьма согласилась на самоубийство, тогда вопрос разрешился бы легко. Можно было забаррикадировать все выходы, облить стены тюрьмы керосином, поджечь и сгореть. Но мечта о том, чтобы вся тюрьма приняла участие в самоубийствах была утопией. Одни не были уже способны на такую жертву, другие принципиально не соглашались на столь большое количество жертв, иные принципиально отрицали пассивную форму протеста, совершенно не считаясь с тем, что о другой форме не могло быть и речи, так как удар по тому или другому чиновнику был «ударом по оглобле», а не по «коню»—не по действительному виновнику в лице правительства Александра III. Планированный нами пассивный протест хоть до некоторой степени достигал цели, указывая всему миру на действительных виновников совершонного на Каре кровавого преступления.

При вышеуказанных условиях об участии всех заключенных в протесте не могло быть и речи. Приходилось устанавливать, кто согласен принять участие. Но и это было не легко. Предложенный вопрос уже сам по себе производил давление на опрашиваемого, так как этот вопрос исходил от решившегося уже на самоубийство. Считаясь с этим, мы прибегли к другому приему. По камерам было пущено заявление приблизительно следующего содержания: «Товарищам, желающим принять участие в протесте путем самоотравления против гнусного издевательства над Сигидой, предлагается собраться в «Якутке» на совещание по поводу «последнего письма» к товарищам на свободе и оставляемого заявления правительству. Для установления числа участников протеста желающим предлагается написать свои фамилии на этом листе».

Под этим заявлением подписалось 14 человек[1].

[1] 1. Алексей Преображенский, студент Харьковского университета, был приговорен в 1881 г. к смертной казни в Киеве Казнь была ему заменена двадцатилетней каторгой. Вышел на поселение в 1896 г., умер в Иркутске в 1903 г.

2. Адриан Михайлов, студент Московского университета, приговорен к смертной казни за участие в убийстве шефа жандармов Мезенцова в 1880 г. Смертная казнь заменена двадцатилетней каторгой. Вышел на поселение в 1896 г. Десять лет спустя попал в Чите в руки знаменитой ренненкампфской карательной экспедиции и благодаря стечению счастливых обстоятельств приговорен только к одному году тюремного заключения. По возвращении из Сибири жил в Одессе, откуда уже во время революции 1917 г. переехал в Петербург, затем в Ростов, где и умер в 1929 г.

3. Афанасий Спандони приговорен в Петербурге в 1884 г. по процессу Веры Фигнер к 15 годам каторжных работ. Вышел на поселение в 1894 г., умер в Одессе в 1908 г.

Как только участники протеста были установлены, мы немедленно принялись за редакцию писем к товарищам на свободе и заявления правительству. На этот раз редакция не заняла у нас много времени. Решившим немедленно покончить с собою

---

4. Сергей Бобохов — анархист-народник — за «хождение в народ» был выслан административно в Архангельскую губернию, откуда бежал; когда его настигла погоня, он, противник террора, выстрелил в воздух для того, чтобы обратить внимание на ужасное положение ссыльных в северных губерниях Европейской России. Обвиненный в вооруженном сопротивлении, он был приговорен к 20 годам каторги. Отравился в ноябре в 1889 г. на Каре во время описываемого нами протеста.

5. Иван Калюжный, студент Харьковского университета, приговорен к 15 годам каторги по процессу Грачевского, Богдановича и других в 1882 г. Отравился в 1889 г. во время протеста на Каре.

6. Иннокентий Волошенко, студент Одесского университета, приговорен в 1879 г. в Киеве к 10 годам каторжных работ. За побег из тюрьмы в Иркутске, по пути на Кару, ему добавили еще 11 лет каторги. За участие в протестах отправлен в 1882 г. из Кары в Петропавловскую крепость, откуда, возвращен обратно на Кару в 1884 г. Вышел на поселение в 1896 г. Умер несколько лет тому назад в России.

7. Никита Левченко, наборщик, приговорен в Киеве к 15 годам каторги. Пробыл на Каре до 1890 г., затем в числе 13 карийцев переведен в Акатуй, откуда вышел на поселение в 1895 г. В 1905 г. я его встретил в Петербурге. О дальнейшей его судьбе у меня нет сведений.

8. Сергей Диковский, студент Одесского университета. Осужден на 20 лет каторги в Киеве в 1880 г. Вышел на поселение в 1892 г. Застрял в Сибири. О дальнейшей его судьбе сведений нет.

9. Павел Иванов, студент Киевского университета, судился в Киеве в 1884 г., приговорен к 20 годам каторги; за побег из Красноярска ему прибавили 15 лет каторги. За вторичный побег из Забайкалья — еще 10 лет. В 1890 г. переведен в числе 13 в Акатуй, затем в Алгачи, где и умер.

10. Феликс Кон, студент Варшавского университета, осужден в Варшаве по делу «Пролетариата». Приговорен к смертной казни, с ходатайством о замене ввиду несовершеннолетия 10 годам и 8 месяцами каторги. Приговор смягчен до 8 лет. Вышел на поселение в 1891 г. Вернулся в Польшу в 1904 г.; вновь арестован по делу ППС «левицы» в 1906 г. Бежал за границу, откуда вернулся в 1917 г. Член ВКП(б).

11. Николай Сенковский, акцизный чиновник, судился в 1881 г. в Петербурге за покушение на министра двора Черевина. Приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Переведен в числе 13 из Кары в Акатуй, где вскоре после прибытия отравился.

12. Тит Пашковский судился в Петербурге в 1887 г. по делу А. Ульянова, Генералова и др. Приговорен к 10 годам каторги. Вышел на поселение в 1893 г. Год спустя застрелился в Якутской области.

13. Самуил Майер приговорен в 1883 г. в Одессе к бессрочной каторге. Вышел на поселение в 1899 г. С 1905 г. живет в Одессе.

14. Иосиф Нагорный, вольнослушатель Петербургского университета, приговорен в Петербурге в 1881 г. к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Два года содержался в Петропавловской крепости, а затем отправлен на Кару. В 1890 г. в числе 13 перезеден в Акатуй; в 1894 г.—в Зерентуй. Вышел на поселение в 1889 г. Застрял в Сибири.

гораздо легче формулировать свои требования, чем тем, у которых самоубийство зависит от того или другого поворота дела. Ранее мы в письмах к товарищам на воле могли констатировать свою готовность умереть в борьбе. Эти письма весьма легко могли произвести впечатление не боевого лозунга, не призыва к борьбе, а крика отчаяния, просьбы о помощи. Именно этот момент представлял затруднение, заставлял взвешивать, а в случае разногласия отстаивать каждое слово, каждую букву. С момента наказания Сигиды положение коренным образом изменилось. Мы прежде всего бросали на чашу весов свою собственную жизнь. Призывая товарищей к борьбе, мы для себя ничего от них не требовали, ничего не ожидали. Это нам расковывало уста, и мы в течение получаса составляли «свое последнее слово», свое «политическое завещание», над составлением которого ранее бились в течение нескольких дней.

Покончив с этим, одни занялись подготовкой к отравлению, развешивая опий и распределяя его между участниками протеста; другие же принялись за прощальные письма к родителям, родственникам и друзьям.

В тюрьме воцарилась гробовая тишина, напоминающая тишину в комнате тяжело больного. Только кое-где, в укромных уголках тюрьмы, был слышен сдавленный шопот,—тяжелое прощание людей, которые целые годы провели друг с другом на воле и в тюрьме. В момент этого прощания не принимавшие участия в протесте старались оправдать себя, приводили мотивы, удерживавшие их от рокового шага. Это была искренняя, не искаженная никакими житейскими соображениями исповедь перед людьми, которые через несколько часов унесут эти тайны с собой в могилу.

Время тянулось бесконечно долго. До поверки было весьма рискованно принять яд. Дежурившие в коридоре жандармы могли обратить внимание на то, что в камере происходит что-то неладное, и по аналогии с женской тюрьмой сообразить, в чем дело, вызвать врача и своевременно принять все нужные меры. Пришлось, по необходимости, ждать целый день, в то время как с минуты на минуту грозила опасность, что нервы оставшихся в живых не выдержат этого дьявольского напряжения и что в любой момент может произойти нечто такое, что заставит тотчас же принять яд без малейших шансов на успех.

Эти опасения не были лишены основания. Среди нас были душевнобольные, жившие в одних камерах с нами, что лишало нас возможности скрыть все от них. Никакой гарантии не было, что они, руководствуясь самыми лучшими намерениями, желая спасти нас, не поднимут тревоги и не сообщат властям о затеваемом нами.

Один из них, тогда несомненно душевнобольной (ввиду того, что он здравствует поныне, я не называю его фамилий), не мог примириться с тем, что нам, сумасшедшим, по его мне-

нию, никто не чинит препятствий в осуществлении явно сумасшедших планов, и он приставал и к нам, и к оставшимся в живых товарищам, угрожая отправиться к Масюкову и заставить его принять те меры, от которых отказываются более благоразумные, чем мы, товарищи. Его насилу уговорили; но кто мог гарантировать, что через час, через два, он, не будучи в состоянии примириться с происходившим, не поднимет тревоги... Мы ждали поверки, как спасения.

Она пришла наконец желанная. Мы прилипли к дверям камеры и прислушивались с напряженным вниманием, проходит ли она благополучно в других камерах.

Прошла... Беспечность властей превышала все ожидания. Те самые власти, которые в течение нескольких дней подряд вынесли из женской тюрьмы четыре трупа, были настолько уверены в том, что мы изолированы от всего мира и ничего не знаем о происшедшем, что на нас не обратили ни малейшего внимания. Пришли, пересчитали нас и ушли. Их не удивило даже то, что я и Павел Иванов не ночуем в своей камере. Мы оба жили тогда в камере, носившей название «Дворянка». В этой камере не было, кроме нас двоих, никого из участников протеста. Желая уберечь сокамерников от кошмарной сцены, когда у них на виду люди глотают яд, а они должны пассивно наблюдать за этим, мы с Ивановым перешли в «Якутку», где, кроме нас, было еще шесть человек участников. Проверявшим нас жандармам мы сообщили, что в «Якутке» собирается хор певчих и что мы поэтому останемся ночевать в этой камере. Они приняли наше заявление к сведению и ушли.

Мы вздохнули с облегчением. Никто и ничто уже не сможет нам помешать.

Согласно условию все участники самоотравления должны были принять яд одновременно, по сигналу. Этим сигналом должно было быть пение хора в «Якутке».

И вот это пение раздалось.

Мы не предусмотрели, какое это произведет действие на не принимавших участия в протесте. В одной камере раздались громкие рыдания. Мы заволновались. Эти рыдания могли выдать нас с головой.

— Громче, ребята, громче, — скомандовал Павел Иванов.

Он был прав. Рыдания можно и должно было заглушить пением. И песнь все громче и громче звучала в тюрьме.

Несколько минут спустя не выдержавший товарищ взял себя в руки. Рыдания смолкли. Мы успокоились, но не надолго.

В соседней с «Якуткой» камере, по названию «Харчевка», началось какое-то подозрительное движение, беготня, а затем тревожный крик: «Александр Васильевич, Александр Васильевич!»

Мы серьезно обеспокоились: звали Прибылева, нашего тюремного товарища, врача. Нам показалось несомненным, что

товарищи не выдержали и зовут Прибылева оказать помощь отравившимся. Мы нервно начали лупить кулаками в стену соседней камеры. «Что случилось? Что у вас происходит?» — «Ничего, ничего, успокойтесь,— ответил нам один из участников самоотравления, Адриан Михайлов:—Дейч съел кусочек хлеба, лежавший на столе, на котором Стефанович рассыпал при развешивании какие-то реактивы для фотографии. Повидимому, порошок прилип к хлебу, и Дейч слегка отравился. Прибылев дал ему противоядие... Никакой опасности нет...»

Мы успокоились, но не надолго. Прошел час, затем — другой, а яд не действовал. Проклятая тюрьма крепко держала заключенных в своих когтях. Получалось впечатление, словно выход из тюрьмы замурован даже на тот свет.

Кроме принятого опия, у нас еще был в запасе морфий. Но он был запрятан. Держать его открыто было рискованно. Жандармы во время обысков могли его обнаружить. И поэтому он был плотно заделан в стене одной из камер. Ночью его добыть было нельзя, и приходилось вновь ждать утра, а затем весь день до поверки, чтобы вечером вновь принять яд.

Немыслимо представить себе тогдашнее наше душевное состояние. Опыт предыдущего дня не оставлял в нас никакого сомнения насчет того, что ожидает нас в течение следующего дня. Действительность превзошла самые мрачные ожидания. Товарищи встретили наш неуспех не только с чувством облегчения, но даже с радостью, и употребляли все средства для того, чтобы убедить нас не повторять самоотравления. Я не делаю им упрека по этому поводу. Их душевное состояние было, пожалуй, тяжелее нашего. Но это не меняло дела. Чем горячее они настаивали, тем более душевных страданий они причиняли нам. В качестве одного из самых тяжелых против нас аргументов они выдвигали тот, что кое-кто тянется за нами из ложного стыда, что, прекрати мы протест, и другие не лишали бы себя жизни. И пять человек они убедили. Нас осталось всего девять. По временам нам казалось, что этот проклятый день будет тянуться бесконечно. Мы избегали встреч с товарищами, разговоров с ними. Нервы не выдерживали ни их слез, ни их мольбы.

Мы были уже совершенно измучены, когда пришла поверка. Тихо, без пения, торопясь, с каким-то горьким чувством раздражения и нетерпения мы проглотили морфий. Минут десять спустя мы уж почувствовали действие яда: стучание в висках, холодный и какой-то липкий пот, сонливость. Мысли начали совершенно путаться в голове. Мы попрощались друг с другом и направились к нарам. Переход от стола к постели стоил нам весьма многих усилий, и, если бы не Мечислав Маньковский, который бегал от одного к другому, помогая пройти эти несколько шагов, многие из нас грохнулись бы на пол.

Сам Маньковский не принимал участия в отравлении. Он находил, что гибнет слишком много жертв. Но он запасся ядом на случай, если нервы не выдержат, и делал все, чтобы они не выдержали. Всю ночь он возился с нами...

Я потерял сознание, как только добрался до постели. Когда я очнулся несколько часов спустя, я увидел склонившегося надо мной Маньковского.

— Все спят, никто не умер, — сообщил он мне шопотом.

«И морфий не действует!» Это бессилие и беспомощность вызвали во мне бешенство. Я соскочил с постели и при поддержке Маньковского добрался до стола, где лежали запасные порошки морфия. Схватив один из них, я с каким-то остервенением проглотил его и тут же потерял сознание.

Проснулся я только под утро.

В камере раздавалось предсмертное хрипение Бобохова.

Я приподнялся на постели и увидел перед собой Прибылева.

— Что ты тут делаешь? — напустился я на него.

Он жил в другой камере, и его присутствие не могло не показаться мне подозрительным.

— Ничего, ничего,— внимательно всматриваясь в мои зрачки, ответил Прибылев.— Как ты чувствуешь себя?

— Живу, — ответил я с отчаянием. — А другие?

У него были слезы на глазах... Сначала он ничего не ответил, а затем шепнул: «Бобохов и Ванька (Калюжный) кончаются... Жандармы уже знают».

В тот момент я недоумевал, почему Бобохов и Калюжный умирают, а мы все живы.

Впоследствии я узнал, что после того, как я проснулся в первый раз, проснулись Бобохов, Калюжный, Сенковский и Иванов. Последние два последовали моему примеру, приняли по второму порошку и тотчас же уснули. Для Калюжного же и Бобохова развешенного морфия нехватило. Еле держась на ногах, они взобрались на печку, добыли заветную склянку и с каким-то ожесточением, горстями, стали глотать морфий. Только таким путем им удалось осуществить свое намерение. Но для других морфия не осталось.

Известие о том, что жандармы уже узнали об отравлениях, магически подействовало на всех травившихся и к этому времени очнувшихся. С минуты на минуту мог появиться врач для оказания непрошенной медицинской помощи. Этого нужно было во что бы то ни стало избегнуть. Мы соскочили с нар и при помощи товарищей перебрались в другие камеры. Морфий вызвал, оказалось, временный паралич мочевого пузыря, и мы все еще обманывали себя надеждой, что в конце концов яд сделает свое дело. Но уже на следующий день исчез и этот последний луч надежды...

Пред нами стоял жесточайший вопрос: Что же дальше? Продолжать немедленное самоубийство? Для чего? Протест имел

вполне определенную цель: отмену распоряжения о телесных наказаниях. Шесть трупов, брошенных на весы в этой борьбе, явно указывали и правительству, и всему миру на нашу решимость бороться до конца. Если бы мы отказались теперь совсем от вторичной попытки к самоубийству, а правительство продолжало бы упорствовать, у него всегда оставался бы аргумент: было, мол, несколько человек неугомонных, но тюрьма в целом слишком благоразумна, чтобы последовать зову этих буянов... Этого нельзя было допустить. Мы решили, что борьба должна быть продолжена, тем более что правительство попало в неудобное положение... Оно рассчитывало на активное выступление, которое ему дало бы возможность расправиться по-своему с заключенными. В данном случае физической силы к протестантам нельзя было применить, а, лишенное возможности физической расправы, правительство было бессильно.

Самоубийство необходимо было только отсрочить и борьбу вести дальше, но детали этой борьбы должны были быть предварительно обсуждены. Это представляло большую трудность. Возникал вопрос: кого и как пригласить на совещание? Если после первой неудачи пять человек отказались от дальнейших попыток, то после второго отравления желавших участвовать в протесте могло оказаться еще меньше... Ведь нас осталось всего семь человек...

Ясно, что никакого опроса делать было нельзя, тем более, что такой опрос ставил всю тюрьму в известность о подготовляемых в будущем новых выступлениях, а тюрьма и без того была совершенно измучена. Приходилось обсуждать вопрос лишь в тесном кружке. Адриан Михайлов, Сергей Диковский и я после обсуждения вопроса пришли к заключению, что необходимо ожидать, какие результаты дадут уже имевшие место самоубийства, а если бы оказалось, что они результатов не дали, то по истечении намеченных еще Бобоховым пяти месяцев — приступить вновь к самоубийству. В первую очередь должны были отравиться Сергей Диковский и я, а затем — через две недели, как менее издерганный, а следовательно, легче могущий пережить эти две недели, — Адриан Михайлов.

С момента ноябрьских отравлений ни один представитель власти как местной, так и губернской не осмеливался входить в тюрьму без усиленной стражи из 20—30 человек, которая его сопровождала на каждом шагу. Это было даже в первый момент, когда тела усопших товарищей еще находились в тюрьме... Не врач явился в этот момент, а комендант Масюков. Сопровождавшие его солдаты заняли посты перед дверьми камер и заполнили весь коридор...

В первый момент у многих зародилось подозрение, что нас думают развозить по разным камерам. Но вскоре обнаружи-

лось, что армия мобилизована исключительно для охраны драгоценной жизни Масюкова.

Кто-то, возмущенный, упрекнул его в этом.

— Это не я... Я получил такое распоряжение, — оправдывался Масюков.

Это распоряжение касалось не только охраны его особы. Ему было приказано немедленно отобрать у нас аптечку.

Бюрократия оставалась верной себе. Все зло — в аптечке.

— Пока гнусное распоряжение не будет взято назад, — крикнул вышедший окончательно из себя Маньковский, — самоубийства не прекратятся. Конфискация аптечки не поможет.

Перепуганный насмерть Масюков вновь сослался на полученное приказание, клялся и божился, что он ни в чем не виноват, что такое уже выпало стечение несчастных обстоятельств.

Никто ему не ответил ни слова.

Аптечка была конфискована, комендант вместе с солдатами покинул тюрьму и в тот же день, по его словам, отправил в департамент полиции известие об отравлениях, присовокупив к нему слова Маньковского о том, что самоубийства не прекратятся до тех пор, пока распоряжение Корфа не будет отменено.

На следующий день прибыл на Кару начальник иркутского жандармского управления фон-Плотто и товарищ прокурора из Читы. Опять были мобилизованы все военные силы, и власти, сопровождаемые и охраняемые ими, вошли в тюрьму. Большинство заключенных встретило их гробовым молчанием. Но несколько человек не выдержало и страстно набросилось на них по поводу пресловутого распоряжения. Особенно горячился Мирский. Как юрист он колол глаза прокурору отдельными абзацами корфовского распоряжения.

— Что значит приказ: «употреблять военную силу, не опасаясь за последствия?» Если употребление вооруженной силы законно, тогда никто не будет бояться последствий; если же упоминают о том, что не надо опасаться последствий, то косвенно поощряют к незаконному употреблению вооруженной силы.

Прокурор молчал; фон-Плотто отделывался бормотанием:

— Я все расследую...

Он ничего, конечно, не расследовал и ограничился официальным рапортом о случившемся департаменту полиции. Более активным оказался товарищ прокурора, который, по дошедшим до нас слухам, возбудил было дело о расследовании наказания Сигиды без соблюдения предписываемых при таких наказаниях правил, но был немедленно, по предписанию из Петербурга, отозван не только из Кары, но и из Забайкалья.

На следующий день, неизвестно по чьему предписанию, во всей тюрьме был произведен самый тщательный обыск. В качестве трофеев производившие обыск унесли состряпанный Стефа-

новичем фотографический аппарат и несколько книжек легальных, но в тюрьме запрещенных журналов.

Повидимому, обыск был сделан для обеспечения безопасности читинского губернатора, казачьего генерала Хорошхина, который несколько дней спустя изволил пожаловать на Кару.

«Гром не грянет, — мужик не перекрестится». Три недели до этого вся эта, с позволения сказать, чиновничья сволочь писала распоряжения, отдавала приказы, посылала людей. И цель казалась достигнутой. Политические приравнены к уголовным; телесное наказание к ним применено. Что же случилось?.. Зачем этот шум и эти массовые посещения Кары? Ведь все обсуждалось раньше? Это весьма характерно для царизма, который всегда проводил систему жестокости, одновременно опасаясь изза этой жестокости прослыть варваром. Узнав, что намеченная система осуществлена, царизм не должен был смущаться тем, что шесть человек «каторжных» умерло. Наоборот, тут-то и должна была бы раздаться песнь победы и торжества: «Гром победы, раздавайся». Одно из двух: или совершонное над Сигидой преступление отвечало требованиям и велениям закона, и тогда суров закон, но все же — закон, надо мириться с его последствиями; или это — беззаконие, тогда зачем же было его допускать? Но бюрократия тем именно отличалась, что стремилась всегда и «невинность соблюсти» — щеголять перед Европой своим либерализмом, гуманностью, «и капитал приобрести» — кровью залить революционный пожар.

Задача приехавшего на Кару Хорошхина была не из легких. Ему предстояло объяснение с людьми, которые формально не ставили никаких требований и не поднимали бунта, они ограничились лишь тем, что сами кончали с собою; бросали в лицо палачам единственное, что у них еще оставалось — свою жизнь. Но тут-то и обнаружилась Ахиллесова пята царской бюрократии. Эта смерть заключенных в Карийской тюрьме, заброшенной где-то на краю света, среди сопок, была для них хуже бунта. Она получала огласку и срывала с лица палачей маску гуманности. Для нас было ясно, что Хорошхин либо должен сообщить об аннулировании распоряжения, либо, не считаясь ни с жертвами, ни с тем впечатлением, какое они производят, заявить, что оно остается в силе и что никакие протесты ничему не помогут. Хорошхин избрал третий путь.

Мы были опять собраны в коридоре к приходу губернатора, и уже с первых его слов для нас стало ясно, что им получено распоряжение успокоить заключенных, но вместе с тем ни под каким видом не ронять престижа власти. Старая, постоянно повторяющаяся картина. Царское правительство, случалось, брало назад сделанные нелепые распоряжения, но оно никогда не допускало и мысли о возможности сознаться в этом.

Губернатор начал свою речь с дурацкой выходки. Он сообщил, что, «будучи случайно на Каре», пользуется этим «случай-

ным» обстоятельством, чтобы рассеять некоторые недоразумения и разъяснить некоторые превратно нами истолкованные вопросы.

Это было более, чем глупо. Всем нам было доподлинно известно, что он лжет, что приехал он на Кару специально в связи с разыгравшимися событиями и что выдвигаемая им с первых же слов мнимая «случайность» только еще больше подчеркивает именно не случайный характер его приезда. Было ясно, что он стремится убедить нас, что правительство нисколько не встревожено, что оно нисколько не испугалось. В дальнейшей речи он подчеркнул, что испугалось, конечно, не правительство, а мы, заключенные, и что испугались и встревожились совершенно напрасно. Разве правительство когда-либо думало посягать на наше достоинство? Правительство всегда заботится о жизни людей. Мы не составляем исключения. В этом отношении все наши опасения совершенно лишены всяких оснований. Но это вовсе не значит, что объявленное нам распоряжение может быть отменено. Ни в коем случае. Оно исходит не от генерал-губернатора, ни тем более от военного губернатора... Оно исходит свыше и отменено быть не может. Правительство должно защищаться от таких актов, как тот, который совершила Сигида.

— Оставьте неосновательные опасения, — в течение своей речи несколько раз повторил Хорошхин.

Фактически это был отбой. Как мы указали выше, распоряжение Корфа угрожало нам телесным наказанием «наравне с уголовными за всякое нарушение тюремной дисциплины»; со слов же Хорошхина следовало, что это наказание угрожает нам только в тех случаях, если кто-либо нанесет оскорбление действием кому-нибудь из представителей власти.

— Может быть, кто-нибудь желает задать какой-нибудь вопрос, — любезно, по окончании речи, предложил Хорошхин.

Никто ему на это не ответил.

Он сначала не понял этого молчания и вновь повторил свое предложение, но наткнулся на такое же гробовое молчание.

Надо было найти какой-нибудь выход из положения. Хорошхина окружала довольно многочисленная свита. Даже перед ней было неловко после такой речи и таких вопросов просто повернуться и уйти.

— Я здесь пробуду еще несколько дней, — объявил он уже более сухо и официально. — Если кто-нибудь пожелает явиться ко мне, пусть сообщит об этом через коменданта.

Но никто этого не пожелал. Повидимому, это путало его карты. В частном разговоре всегда легче кое-что сгладить и смягчить, чем в официальной речи. Из разговора можно сделать и кое-какие заключения о возможности повторения протеста, о дальнейших намерениях заключенных... Отклонение разъяснений с ним лишало его этой возможности.

Для того чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить себя за

это, губернатор отдал приказание коменданту произвести дознание по поводу отравления и предложить травившимся два вопроса: «Каким ядом травились заключенные и откуда взяли этот яд?»

К дознанию было привлечено только пять человек: Иванов, Левченко, Сергей Диковский, Сенковский и я, то есть только те, которые были замечены жандармами в тот момент, когда они во избежание встречи с врачом переходили из «Якутки» в другие камеры.

Мы отказались ответить на эти вопросы, и тогда был прибавлен третий вопрос: «Что побудило заключенных принять яд?»

Мы опасались, что правительство попытается тенденциозно представить наш протест и поэтому в своих показаниях резко подчеркнули, что с нашей точки зрения убийство Сигиды было заранее обдумано, причем правительство учитывало то, что мы в тюрьме; в противном случае оно не решилось бы совершить это убийство, зная, что мы бы ответили так, как ответила Вера Засулич, то есть с оружием в руках. Сознавая свою безнаказанность, правительство набралось храбрости, но оно просчиталось. Будучи в тюрьме, мы не можем быть активными борцами, но своей смертью мы побудим находящихся на воле товарищей к активности, а смерть Сигиды и попытка попрать человеческое достоинство заключенных без различия пола не останутся безнаказанными.

Масюков, читая эти показания, дрожал, как в лихорадке.

— Что скажет на это губернатор? — метался он беспомощно.

А губернатор потребовал, чтобы мы изменили свои показания. Мы, конечно, отказались, и ему пришлось уехать, довольствуясь и этими.

После отъезда Хорошхина в течение нескольких дней еще велись разговоры о его посещении, а затем все, на первый взгляд, вошло в нормальную колею. Но только — на первый взгляд. В действительности вся тюремная жизнь была перевернута вверх дном. Прежде единая, цельная и сплоченная, тюрьма превратилась в два неравных по величине лагеря. Один огромный лагерь тех, которые по тем либо другим причинам не принимали участия в самоотравлении, другой — крохотный, состоявший всего из нескольких человек, участников протеста. И одни и другие всей душой рады были бы возвращению к прежним искренним отношениям. Но самый факт протеста воздвиг между одними и другими преграду, которой нельзя было устранить. Этой преградой явилась та исповедь, которая происходила перед самоотравлениями. Исповедывались перед людьми, которые должны были унести с собою в могилу тайну этой исповеди, а те, перед которыми исповедывались, оставались в

живых. Это создавало страшно напряженную атмосферу. Самое незначительное слово, движение, жест истолковывались превратно, люди обижались, взаимное недоверие возрастало.

Из этого состояния могло вывести тюрьму только какое-либо чрезвычайное событие. Таким событием стало огорошившее тюрьму известие о том, что горсть заключенных намерена вновь повторить ноябрьское отравление.

Как я уже упоминал, наученные прежним горьким опытом, мы — Адриан Михайлов, Сергей Диковский и я — решили скрыть все от остальной тюрьмы, причем Адриан Михайлов уже после нашего отравления должен был объяснить тюрьме, что нас побудило и принять яд и скрывать от тюрьмы свое решение.

Эта связывавшая нас тайна, заставлявшая часто шептаться друг с другом, причиняла нам тоже много огорчений. Это шептание вменялось нам в вину товарищами, и не подозревавшими, о чем мы шепчемся.

А шептаться нам приходилось все чаще и чаще, и не только по вопросу о предстоящем акте самоубийства, но и о тех душевных переживаниях, которые были связаны с кошмарным решением, определяющим день самоубийства за несколько месяцев вперед. В первые два месяца только изредка, от времени до времени, мелькала мысль о том, что через столько-то недель предстоит умереть, и в большинстве случаев мы ловили себя на грезах об отдаленном будущем уже по выходе из тюрьмы, но с течением времени это настроение меняется, и мысль о висящем над головой решении не выходит из головы. Полученное письмо от матери заставляет считать, сколько получится еще таких писем... Такое же отношение ко всевозможного рода периодическим дежурствам. В отношении к товарищам — такое же явление. На резкости не возражаешь из опасения, что после твоей смерти наговорившему тебе резкости товарищу будет сугубо тяжело.

Одновременно с этим происходит мучительное подведение итогов жизни, укоры себе за то, что не использовал с должной интенсивностью истекшую кратковременную жизнь.

Значительно легче было пережить последние недели. Все надежды на «чудесное избавление» похоронены, все существо человека поглощается мыслью о предстоящем акте протеста. Психология меняется. Пассивное состояние сменяется активной подготовкой к борьбе. Мысли менее сосредоточиваются на смерти, более — на выступлении...

Совершенно другая была психология Адриана Михайлова. Ему предстояло отравиться только две недели спустя после нас... Его могла спасти наша смерть. Правительство могло отменить свое решение — и тогда его смерть могла оказаться лишней. Еще одно: Диковский и я решали только о себе, Михайлову в силу сложившихся обстоятельств, как ему субъективно казалось,

приходилось решать и относительно нас. Это его страшно тяготило. За неделю до назначенного срока самоотравления Михайлов не выдержал: «Или отравимся втроем, или придется посвятить в наши планы участников ноябрьского протеста. Вы поймите... ведь они будут упрекать меня в том, что я вас не удержал от этого шага; будут утверждать, что им удалось бы отговорить вас».

Долго мы спорили с ним, но в конце концов пришлось уступить с тем условием, однако, что он сообщит обо всем только участникам ноябрьского протеста, но обяжет их соблюдать строгую тайну и никому из других товарищей ни под каким видом об этом не сообщит.

Мы заранее знали, какое впечатление произведет на товарищей сообщение Михайлова, но мы не предусмотрели того, что оно вызовет своего рода панику. Это был канун срока отравлений. Одни просто сочли нас за сумасшедших, другие, как бешеные, метались по тюрьме, не зная, что делать: присоединиться ли к нашему протесту или же отговорить нас; еще иные просили отсрочить отравление хотя бы на один день и дать им возможность ориентироваться: «Быть может, мы согласимся с вашими доводами и бросим жребий относительно очереди».

Обусловив для себя первую очередь, мы согласились на отсрочку.

Но тут произошло нечто неожиданное: Павло Иванов не соблюл тайны. Огорошенный сообщением Михайлова, он побежал в камеру и сообщил: «Сегодня два товарища собираются повторить ноябрьский протест. Мне это сообщено под строжайшим секретом, но я не могу молчать. Может быть, кто-нибудь из вас сумеет их убедить и спасти».

Вся наша пятимесячная конспирация сразу рухнула. В тюрьме происходило что-то ужасное. Один из моих ближайших друзей и сопроцессников, ныне уже покойный Фаддей Рехневский, буквально терзал меня, рисуя картину ужаса и отчаяния моей матери при известии о моей смерти. Лучшие товарищи, а Рехневский, несомненно, принадлежал к лучшим, пускали все средства в ход, лишь бы добиться своего, терзая нас «для нашего же блага и спасения» и не ставя себе даже вопроса о том, можно ли переубедить людей, проверявших свое решение чуть ли не изо дня в день в течение пяти месяцев.

Только вечерняя поверка прекратила эти терзания. Но уже на следующий день переживаемые нами тогда пытки возобновились. Во время утренней поверки Павло Иванов заявил старшему жандарму, что ему необходимо переговорить с комендантом, и требовал, чтобы его вызвали к нему.

Мы об этом узнали случайно.

— Зачем ты вызываешься к коменданту?— зная, что это не спроста, обратился я с вопросом к Иванову.

Он вызывающе взглянул на меня и ответил:

— Какое тебе до этого дело?.. У тебя свои секреты, у меня свои...

Иванов не принадлежал к людям, бросающим слова на ветер. Он вместе с тем не принадлежал к тем, которые способны даже для спасения нас на такие меры, как предупреждение властей о нашем намерении. Повидимому, он в течение ночи пришел к какому-нибудь определенному решению. Зная его, мы могли опасаться самых отчаянных поступков с его стороны.

— Послушай, Павло, — заявил я ему холодно, но решительно, — в тот момент, когда ты отправишься к коменданту, я проглочу морфий. Ответственность за последствия вызванного этим среди других переполоха и за их необдуманные шаги падет исключительно на тебя.

Это мое заявление возымело свое действие.

Он смутился.

Оказалось, что он решился дать пощечину коменданту и этим убедить нас, что телесное наказание по отношению к нам отменено, так как его повесят, а не подвергнут телесному наказанию.

— Но ведь это сумасшествие! — возразил я ему. — Ты страдаешь эпилепсией, и если бы тебя и не подвергли телесному наказанию, то это вовсе не свидетельствовало бы об отмене распоряжения.

— А вы разве не сумасшедшие? — напустился он в свою очередь на меня. — Распоряжение, по всей вероятности, уже давным-давно отменено, а вы собираетесь травиться.

Несмотря на это, Иванов из опасения, чтобы я не исполнил своей угрозы, решил отказаться от своего намерения.

— Хорошо, я не пойду...

Эта опасность благополучно миновала, причем она, как оказалось, была гораздо меньшей, чем можно было предполагать. Комендант слишком хорошо знал Иванова, чтобы решиться его принять, в особенности ввиду полученных им от жандармов сообщений о том, что в тюрьме не совсем благополучно и заключенные почему-то волнуются.

Вместо Иванова Масюков вызвал к себе тюремного старосту. Последний немедленно отправился к нему, так как вся тюрьма на этом настаивала, уверенная, что Масюковым получено распоряжение, отменяющее прежнее. Старосте было поручено во что бы то ни стало настоять на предъявлении этого нового распоряжения.

— За что Иванов хочет меня бить? — встретил Масюков вопросом старосту.

Никто, конечно, ему не сообщал о намерениях Иванова, но уже одно то, что Иванов выразил желание объясниться с ним, было для Масюкова вполне достаточным доказательством намерений Иванова.

Конечно, староста отверг это предположение и заявил, что он

пришел по тому же делу, по которому Иванов вызывался к коменданту, после чего он потребовал предъявления распоряжения. Комендант не сразу удовлетворил это требование. Сначала он ответил уклончиво, ссылаясь на то, что если и есть такое распоряжение, — то оно «секретное», а потому и не подлежит предъявлению. Но после того как староста сухо объявил ему, что он возлагает на него ответственность за весьма серьезные последствия, какие могут произойти вследствие его отказа предъявить бумагу, Масюков испугался, стал убеждать, что у него есть такое распоряжение и что он ему предъявит его. И это обещание было исполнено.

Новая бумага оказалась шедевром бюрократического искусства. В ней сочеталась отмена телесного наказания с его сохранением. Сущность бумаги составляло «дополнительное разъяснение», сводящееся к тому, что от телесного наказания освобождаются все женщины и из мужчин—все окончившие высшее, среднее или начальное учебное заведение, словом — все карийцы, так как не получивших хотя бы элементарного образования на Каре не было.

С этим радостным известием староста вернулся в тюрьму. Опасаясь, что староста из желания спасти нас не совсем верно и точно передал содержание бумаги, мы поставили требование, чтобы этот документ был предъявлен пяти представителям камер. Комендант в этом отношении пошел на уступки. Содержание бумаги было точно передано старостой. Распоряжение, стоившее стольких страданий и крови, было отменено...

Мы рассчитывали, что после отмены позорного распоряжения о телесных наказаниях жизнь на Каре вновь войдет в норму. Длительная борьба утомила всех, и мы буквально жаждали спокойствия. Но этого спокойствия не последовало. Каждые несколько дней в камеры врывались жандармы и производили обыск.

Обыски бывали и прежде, но они производились формально. По инструкции «полагалось» их делать — и они делались.

Но на этот раз обыски приняли совершенно другой характер. Жандармы проявили необыкновенное усердие, просматривали каждую бумажонку, залезали во все щели.

Мы недоумевали, чем это могло быть вызвано, и не подозревали, что жандармы всполошились, да и не только они одни, а и Питер, получив донос все того же Оссовского о том, что на Каре (за 10 тысяч верст от центра) в самом здании тюрьмы изготовляются взрывчатые вещества на потребу революции.

Узнав о содержании этого доноса, мы начали подтрунивать над жандармами, но это их не смутило...

— А о покушении на царя вас разве не извещали заблаговременно?.. — последовал ответ... — Знаем, все знаем...

Они «все знали», но мы не только ничего не знали, но даже не могли сообразить, что их навело на такие нелепые предположения. И только после того, как нас попытались «уличить», мы поняли, до каких пределов может дойти глупость охранителей драгоценной жизни царя-самодержца.

Оказалось, что жандармами перехвачена телеграмма, адресованная нам, которая поставила на ноги и департамент полиции и местных жандармов.

Телеграмма эта гласила:

«Дяденька приехал. Операция будет в сентябре».

Проницательные жандармы сразу же сообразили, что «дяденька» — это царь, а операция, это — покушение, и приходится только удивляться тому, что, имея такие доказательства, они нас не предали суду.

Когда нам стало об этом известно, остротам и насмешкам не было конца... Мы воздали также должную дань удивления изобретательности Оссовского, который, для того чтобы выманить несколько рублей от коменданта Масюкова, воспользовался телеграммой, действительное содержание которой ему было известно.

В действительности встревоживший жандармов «ларчик» открывался весьма просто.

Материальное положение тюрьмы было очень тяжелое. В течение последних трех лет оно еще более ухудшилось.

Время делало свое. По мере того как оно шло, многие начали забывать о заброшенных на край света революционерах... Мы начали испытывать последствия этого, становилось голодно. Для того чтобы хоть сколько-нибудь увеличить свои средства, мы воспользовались связями родственников П. Ф. Якубовича с издательствами и перевели на русский язык Уффельмана «Гигиену ребенка».

Большущий том мы переводили артелью, переведенный лист переходил в коллегию редакторов, а оттуда в переписку... С работой мы справились быстро и благополучно отправили рукопись в Питер. Все это делалось нелегально, и потому, понятно, мы сильно беспокоились, дойдет ли рукопись по назначению.

Она дошла, и нас известили об этом той телеграммой, которая при буйной фантазии Оссовского и граничащей с идиотизмом глупости и подозрительности жандармов превратилась в извещение о покушении на царя.

Для этих умников не было вопроса, зачем нас извещать о готовящемся покушении. Повидимому, они думали, что у нас такой «революционный чин», что никак невозможно не докладывать нам о таком событии.

В случаях, когда исключительно из-за слабоумия жандармов мы подвергались неприятным и, что еще важнее, будоражившим нервы репрессиям, мы, как это ни странно, добром

поминали Николина. Он был — негодяй, но не дурак и никогда не вел борьбы... с ветряными мельницами.

Не то Масюков. Он буквально олицетворял собой старорежимное: «прикажут, так и акушером будешь», причем приказывавшие совершенно не считались с тем, что станет с роженицей при таком акушере.

Таким приказом можно лишь объяснить то, что Масюков — осел, трус, бесхарактерный, никудышный человек и вдобавок ко всему картежник — сделался комендантом. Он не справлялся со своей обязанностью, делал глупости на каждом шагу, унижался, подличал... Но его упорно держали на этом ответственном посту исключительно для того, чтобы «поддержать престиж власти».

Кончилось его правление тем, что он растратил наши деньги, что обнаружилось уже после, когда власти начали осуществлять ликвидацию Карийской тюрьмы.

Ликвидация Карийской тюрьмы и связанный с ней перевод политических каторжан на общеуголовное положение состоялись в сентябре 1890 года.

Это не было для нас неожиданностью. Слухи о переводе карийцев в Акатуй проникли в тюрьму еще до нашего прихода на Кару. Но с осуществлением этого перевода правительство медлило.

В 1890 году эти упорные слухи начали подтверждаться, с воли нами было получено известие о том, что Акутуевская тюрьма ремонтируется и что все убеждены, что перевод в эту тюрьму состоится еще в этом году.

Мы не сомневались в достоверности этих слухов, сознавая, что правительство под влиянием ноябрьских событий решилось на эту и с его точки зрения весьма рискованную меру.

Для нас было ясно: и почему правительство решилось и почему так долго колебалось. Дело состояло в следующем.

На Каре мы находились в специальной тюрьме для политических заключенных под непосредственным наблюдением жандармов и под их управлением. У нас не было никаких принудительных работ, в нормальное время с нами обращались довольно вежливо, но правительство знало, что при малейшей попытке изменить условия к худшему оно натолкнется на дружный и солидарный отпор.

Это обстоятельство и составляло камень преткновения, и все усилия власти были направлены на то, чтобы тем либо другим образом сломить эту непреодолимую для нее силу сопротивления. Все прошлое Кары убеждало ее в том, что это ей не удастся до тех пор, пока она не переведет заключенных в другую тюрьму и не растворит политических заключенных в массе

уголовных, уничтожив все их привилегии и сравняв их в правах или, вернее, в бесправии с уголовными.

На эту меру правительство решалось с большой опаской, так как политические заключенные могли оказать влияние на уголовных и в результате, вместо того чтобы заставить политических подчиниться установленному им режиму, оно могло натолкнуться на сопротивление и со стороны уголовных. Колебание правительства вызывалось еще одним моментом.

До тех пор, пока политические пользовались некоторыми привилегиями, у правительства были хотя бы призрачные основания лишать их тех привилегий, какими пользовались уголовные, как своевременный выпуск в вольные команды, оставление по окончании каторги в Забайкальи, в то время как политические ссылались в Якутскую область, и т. д. и т. д. После уравнения политических «в правах» с уголовными не было никаких оснований не применять этих привилегий к нам.

Этим не исчерпывалось беспокойство властей... Они боялись так называемой «сменки», о которой я упоминал, описывая путешествие по этапам, и побегов, которые могли бы, по их мнению, стать чаще в связи с отменой жандармского караула.

Но вынужденное отступление после ноябрьских событий вынудило правительство прекратить колебания, и оно решилось.

Для объявления нам об этом прибыл на Кару тот самый приамурский генерал-губернатор Корф, который в свое время провоцировал столкновение с Ковальской. Нас пригласили выйти во двор, окружили солдатами и жандармами, после чего в сопровождении целой свиты чиновников явился Корф и объявил и о переводе в Акатуй и об установлении общеуголовного режима.

«Правительство будет строго придерживаться инструкции, не уклоняясь ни в сторону «льгот», ни в сторону «обострений».

Все это было сказано неуверенным голосом.

Его высокопревосходительство явно трусило. Быть может, он чувствовал, какая опасность ему угрожает, если не со стороны Кары в целом, то от отдельного человека — того «цариста», о котором я упоминал.

Последние события сильно подействовали на него. Он изнервничался вконец. Его поместили в лазарет, но, после того как перед его окнами подвергли телесному наказанию двух уголовных, он в худшем, чем прежде, состоянии вернулся в тюрьму.

Когда он услышал слова Корфа об уравнении с уголовными, он вспомнил об истязании уголовных... Это его взволновало. Он незаметно пробрался в коридор, вооружился поленом и уже направился во двор с тем, чтобы тут же расправиться с Корфом, «нагло извращающим намерения царя». Только благодаря тому, что один из товарищей, заметив полено, преградил ему дорогу, увел в камеру и успокоил, Корф избег смерти.

Генерал-губернатор, окончив речь, ждал несколько секунд, рассчитывая, что с нашей стороны последуют вопросы. Но никто не проронил ни слова. Это его смутило. Он вновь заговорил и начал оправдываться, что он невиновен в происшедших переменах...

Никто не реагировал и на это... Все попрежнему молчали.

Тогда он спросил, нет ли вопросов.

Никто не ответил и он, смущенный, собрался уже уходить, но один из заключенных, Мирский, нарушил это молчание и поставил какой-то вопрос...

Мы были возмущены, но Корф обрадовался и начал подробно и обстоятельно отвечать...

— Мы никогда не допустим до сравнения нас с уголовными, — перебил его кто-то, — и вам не удастся применить к нам телесного наказания.

— Да кто же об этом думает? — не без смущения ответил Корф.

— А Сигида?

На минуту воцарилось гробовое молчание, а затем, заикаясь, Корф пробормотал что-то о том, что он невиновен в деле Сигиды, и скорбным голосом предложил забыть о том, чего уже нельзя вернуть...

Ему легко и выгодно было это предлагать. Мы были поражены, глядя на него... Ведь это был генерал-губернатор, наместник царя в огромном крае, один из основных столпов царского режима... Вся гниль этого режима отразилась в нем и в этом его историческом выступлении. Он вызывал в нас чувство гадливости. Но сам-то он был доволен: ему удалось то, чего другим не удавалось. С ним говорили...

Он ушел... Мы вернулись в камеру...

Несколько часов спустя, в сумерки, когда мы уже в камерах ждали вечерней поверки, в коридоре поднялся какой-то шум, беготня, суета.

— Что случилось? Что случилось? — раздавались голоса из разных камер.

Ответа долго не было... Мы видели лишь, что кого-то понесли в камеру, где жил наш врач А. В. Прибылев...

Нервы были напряжены до невозможности.

— Успокойтесь! Успокойтесь! — подошел к форточке после долгих ожиданий староста...

От него мы узнали, что тот «царист», которого удержали от покушения на Корфа, хватил поленом по голове смотрителя тюрьмы Пахорукова. Тот свалился, а испуганные жандармы с криком «наших бьют» бросились бежать к тюремным воротам, и если бы старосте не удалось их остановить и успокоить, они подняли бы тревогу, вызвали бы караул и тогда многих бы мы не досчитались в тюрьме...

— Да ведь это сумасшедший, — успокоились жандармы и

вернулись обратно в коридор. Здесь уже Пахорукова не было. Прибылев оказал ему первую помощь, а затем его унесли в квартиру, где он пролежал несколько недель.

Виновник этого события спокойно ждал своей участи. Он заявил жандармам официально, что это он нанес удар Пахорукову, что никто в тюрьме о его намерении расправиться с Пахоруковым не знал и что он расправился с ним, так как это он велел в тюремном лазарете подвергнуть телесному наказанию двух уголовных.

Его отвели на испытание в лазарет, признали ненормальным и дело замяли. Но как грозное предостережение его покушение сыграло свою роль.

Несколько дней после описанных событий началась «новая эра». Три семейных товарища: Рехневский, Сухомлин и Люри, жены которых последовали за ними на каторгу, были выпущены в вольную команду.

Корф выполнил обещание.

Прошло еще три дня, и нам было объявлено, что 17 человек, в том числе и я, как окончившие срок «испытания» и «исправления», тоже на следующий день выйдут в вольные команды.

Это известие нас не обрадовало: одновременно с этим нам было сообщено, что 13 человек — Березнюк, Чуйко, Моисей Диковский, Павло Иванов, Якубович, Левченко, Маньковский, Нагорный, Сенковский, Спандони, Зунделевич — будут отправлены в Акатуй.

Кто бы когда-либо мог предположить, что наступит момент, когда перед многими из нас откроются ворота тюрьмы, и мы не только не будем рады этому, но будем себя чувствовать весьма тяжело.

А между тем это так и случилось. Нас освободили, но 13 человек, с которыми мы столько времени провели вместе, отправляли в Акатуй, обрекали на сожительство в одних камерах с уголовными, чтобы их, уже измученных многолетним заключением, окончательно сломить...

— Скорее, скорее, господа, — торопили нас жандармы...

Это «скорее» звучало в наших ушах как приговор над этими тринадцатью...

«Скорее», чтобы могла начаться расправа над ними...

Многие из нас плакали, прощаясь с ними.

— Скорее, — торопило и новое общеуголовное начальство, явившееся в тюрьму, чтобы «принять» отправляемых в Акатуй.

Мы воспользовались тем, что нас старались убрать поскорее, и ушли с условием, что нам разрешат на следующий день проводить отправляемых.

Мы ушли. А дня через два, когда мы подходили к тюрьме, уже издали до нас доносился звон кандалов...

Отправляемых заковали...

Мы вошли в тюрьму... В ней все изменилось... Жандармы исчезли... По коридорам шныряли казаки и тюремные надзиратели...

Мы попрощались... Их выстроили, окружили казаками, и они двинулись в путь... Нас уже к ним не допускали, и мы могли лишь издали смотреть, как их уводят...

Еще минуты три, и товарищи исчезли на повороте, и лишь звон кандалов указывал на то, что они идут дальше... к новой судьбе...

Прошло еще несколько минут, замер и этот звон, а вместе с ним прекратилось существование знаменитой «Карийской тюрьмы для государственных преступников».

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОТ КАРЫ ДО ИРКУТСКА

Я был первым из тех, которым предстояло выйти на поселение после перевода Карийской тюрьмы в Акатуй и пресловутого уравнения «государственных преступников» с уголовными. Для выходящих на поселение этот перевод на общеуголовное положение юридически был равносилен избавлению от ссылки в Якутскую область. Все уголовные оставались на поселении в Забайкальи. Повидимому, начальник нерчинского каторжного управления Томилин именно так толковал это уравнение, так как 18 декабря 1890 года я был вызван в контору и мне была предъявлена полученная от него телеграмма следующего содержания: «Запросите Кона, где желает поселиться после окончания срока каторги».

Я уклонился от ответа, ограничившись лишь указанием на приобщенное к статейному списку свидетельство военной комиссии врачей, устанавливавшее, что я нуждаюсь в постоянной медицинской помощи.

Эта телеграмма вызвала среди вольнокомандцев на Каре большие споры. Одни меня поздравляли, предсказывая, что меня поселят в Нерчинске или в Чите, другие только посмеивались над оптимистами.

Последние оказались правы.

Несколько дней спустя получилась вторая телеграмма от Томилина: «Отправьте Кона первым этапом в Якутскую область в распоряжение якутского губернатора».

Ближайший этап отправлялся в сочельник, 24 декабря. Товарищи уговаривали меня задержаться до следующего этапа и провести праздники на Каре, но я решил ехать. «Долгие проводы — лишние слезы». А с Карой мне не легко было расставаться. Как это ни странно, но именно на каторге я провел лучшие годы своей жизни. Здесь я пополнил свои знания, здесь испытал свои силы в длительной, упорной борьбе, здесь в по-

стоянном общении с другими заключенными я научился отличать громкую фразу от дела, прочные и стойкие убеждения от мимолетного увлечения. Здесь, наконец, я научился оценивать и свою жизнь и жизнь других со стороны пользы для дела.

Я решил ехать немедленно и к назначенному сроку явился на сборный пункт.

Обратный этап резко отличался от этапа, отправляемого из России. В последнем тон в партии задают всевозможного типа «буйные головушки». Обратная партия в своем большинстве состояла из людей, уже «обломанных», осевших, успокоившихся, мечтавших лишь о том, чтобы их поселили в таком месте, где можно было бы жить и век свой дожить. Ими помыкают, но они не дают отпора из опасения, чтобы это не отразилось на назначении им места поселения. Вдобавок к этому обратная партия, обычно весьма немногочисленная, отправляется не в установленные дни, а по мере накопления в разных пунктах лиц, подлежащих отправке. Это имеет немалое значение, в особенности зимою. Уже ближайший этап оказался неотопленным, и его начали топить уже после прихода партии.

На мне после многих лет тюрьмы эти условия сказались и скоро и тяжело. Я расхворался. Уже на четвертый этап, в Сретенск, меня привезли в полубессознательном состоянии. Лазарета на этапе не было. Камера для политических оказалась неотопленной. И этапный офицер Галицкий, большой либерал на словах и немеоньший казнокрад на деле, поместил меня в казарме вместе с солдатами.

Описывать казармы нет надобности. Но, несмотря на обычные для казармы вонь, ругань и кутерьму, я был доволен. Мне впервые пришлось столкнуться с русским солдатом в его, так сказать, домашней обстановке, когда он, не стесняясь присутствием начальства и свободный от исполнения служебных обязанностей, дает волю своим чувствам и выявляет себя не как солдат, а как человек. Вынесенное мною тогда впечатление осталось на всю жизнь. Грубые при сопровождении этапа, разыгрывающие из себя начальство в отношении к арестантам, орудующие во-всю прикладами, сыплющие матерщиной, в казарме по отношению ко мне как к больному они выказывали необыкновенную мягкость и чуткость. За мной ухаживали, останавливали друг друга, когда в казарме поднимался шум, справлялись, не нужно ли мне чего-либо. А когда я начал выздоравливать, они собирались вокруг моей койки и по целым часам либо слушали чтение Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо», либо расспрашивали о том, что довело стольких хороших людей до каторги.

Эти мои собеседования с солдатами не понравились либеральному казнокраду. Он вызвал меня к себе и, не подавая виду,

что знает о том, что делается в казарме, предложил ввиду моей болезни отправить меня на почтовых в Нерчинск, в лазарет. У меня не было ни повода, ни предлога отказаться, и я поехал. Но и в Нерчинске и врач и смотритель тюрьмы не были в восторге от моего пребывания в обкрадываемом ими учреждении. В Нерчинске жил в то время бывший кариец, осужденный по процессу Нечаева, Кузнецов, основатель нерчинского местного музея, за заслуги по отношению к городу избранный в почетные граждане Нерчинска. Он меня посетил в больнице, и этот его визит вызвал еще большую тревогу в казнокрадах. Они боялись, чтобы я не сообщил о своих наблюдениях Кузнецову, который мог дать соответственный ход делу. Не изменяя по отношению ко мне до приторности угодливого поведения, они оба от себя возбудили ходатайство о переводе меня в Читу под тем предлогом, что в казарме, занимаемой одним мною, они могли бы поместить несколько человек больных.

Ввиду того, что временное пребывание «государственного» ссыльного в какой-нибудь местности всегда сопряжено с известными хлопотами и тревогами для начальства, и в данном случае окружный начальник и местный прокурор проявили необыкновенную гуманность, лишь бы меня поскорее сплавить подальше. Они оба явились ко мне в камеру, в ярких красках представили тот рай, какой меня ожидает, если я соглашусь ехать, в читинской больнице, и, ссылаясь на испытываемое ими чувство неловкости из-за того, что они не могут предоставить мне надлежащих условий для лечения, предложили отправить меня на почтовых до Читы.

В Чите в то время жила целая группа бывших каторжан (Предтеченский, Фриденсон с женой, Морейнис-Муратова и др.); в самой Читинской тюрьме, по слухам, должны были находиться арестованные по первому сибирскому революционному делу учителя и учительницы. Мне было очень приятно променять Нерчинск на Читу, и я, несмотря на то, что чувствовал себя неважно, охотно на это согласился.

Ехать приходилось и днем и ночью... Мороз был трескучий... Местами приходилось бродить по полынье (выступавшей поверх льда воде); местами лед проламывался под копытами лошадей. Кибитка, тряская до невозможности, с шумом катилась по замерзшей, но совершенно обнаженной от снега дороге, а непрекращавшийся хиус (ветер с реки) еще усиливал действие мороза. Короткие остановки на станциях весьма мало помогали. Не успеешь отогреться, как подают новых лошадей и приходится дальше трястись только потому, что сопровождающий тебя казак думает выгадать на этой бешеной скачке день-другой и съездить к себе в станицу повидать семью. Неудивительно, что такой своеобразный курс лечения не мог не отразиться на моем здоровьи. Я приехал в Читу еле живой и слег «всерьез и надолго».

Только по истечении недели я настолько оправился, что мог на несколько часов вставать с постели, чтобы пойти в канцелярию на свидание с посещавшими меня читинскими товарищами или пробраться через двор в отделение, где сидела арестованная по делу сибиряков Ал-дра Федоровна Черкасова.

Много лет с тех пор прошло, много протекло не только воды, но и крови... За эти сорок два года мне приходилось встречать многих преданных делу революционеров... И, тем не менее, эта встреча с Черкасовой занимает в моих воспоминаниях совершенно особое место.

На Каре я просидел целый ряд лет с людьми, которые уже прошли через огонь, воду и медные трубы. Жизнь многим сломила крылья, энтузиазм выветрился. Это были стойкие, убежденные революционеры, готовые на жертву, на борьбу.

При встрече с Черкасовой на меня пахнуло той молодостью, которую жизнь еще не успела отравить колебаниями и сомнениями, той свежестью, какая присуща только молодежи. Я как будто сам молодел, несмотря на то, что она, по натуре замкнутая и молчаливая, только изредка высказывалась, причем наружно как будто и не проявляла ни увлечения, ни энтузиазма. Она не была социалисткой даже в тогдашнем значении этого слова, но она олицетворяла в себе все накопившееся в молодежи недовольство существующим режимом, и в каждом ее слове звучало молодое желание бороться с этим злом. Она же, природная сибирячка, первая приоткрыла предо мною дверь той Сибири, в которой мне пришлось прожить столько лет, ввела в курс текущих событий Читы и окрестностей.

Может показаться странным, что я в своих воспоминаниях останавливаюсь на таких мелочных обстоятельствах. Но ничего удивительного в этом нет. Ведь на Каре мы жили исключительно тюремной жизнью, варились исключительно в своем собственном соку.

В Чите я впервые, хотя и не непосредственно, начинал входить в жизнь. Да и жизнь тогдашней «сибирской Калифорнии», несомненно, стоит того, чтобы на ней остановиться хотя бы мельком.

Злобой дня в Чите была в то время казнь трех человек, осужденных за систематические ограбления почты. В числе этих казненных был бывший читинский городской голова Алексеев. Он долго был неуловим. Нападения на почту производились на дороге между Верхнеудинском и Читой. После каждого нападения нападавшие исчезали бесследно, и самые ловкие забайкальские Шерлоки-Холмсы не могли напасть на след до тех пор, пока к слежке не были привлечены окрестные «инородцы» — буряты. Отправившись немедленно после нападения на место происшествия и тщательно исследовав следы конских копыт, один из этих бурят, сам огорошенный своим открытием, смущенно сообщил:

— Лошадь городского головы Алексеева.

Это была лошадь, на которой, кроме Алексеева, никто не ездил. Наблюдение бурята было встречено насмешками. Но один из агентов полиции, заподозрев, что кто-нибудь без ведома Алексеева мог по ночам пользоваться этой лошадью, установил слежку за домом городского головы. Это не дало результатов. Никто из подозрительных лиц не проникал во двор Алексеева, лошадью его, кроме него самого, никто не пользовался... Оказалось, однако, что «на всякого мудреца довольно простоты». Шныряя по двору около дома Алексеева, агент возле сорной ямы нашел конверт денежного пакета; начал копаться в сорной яме и нашел в ней десятки таких конвертов.

Алексеев жил в особняке. Во всем доме, кроме него, других квартирантов не было. Вывод был ясен: в ограблении почты принимал участие кто-нибудь из прислуги или из служащих Алексеева. Сам Алексеев оставался вне подозрений. Он бывал у «самого» губернатора (если не ошибаюсь, Барабаша). Губернатор был частым гостем у него.

Долго полицмейстер не решался произвести обыск у городского головы и, когда наконец решился сообщить губернатору о том, что следы ограбления привели к квартире городского головы и что, по его мнению, обыск неизбежен, губернатор ответил:

— Делайте, но под вашу личную ответственность.

Полицмейстер, понуждаемый из центра во что бы то ни стало обнаружить преступников, рискнул. Обыск был произведен в момент, когда городской голова был в гостях у губернатора, и дал совершенно неожиданные результаты. В письменном столе городского головы оказались еще не вскрытые денежные пакеты из последней ограбленной почты.

Во время моего пребывания в тюрьме вся Чита, не исключая и обитателей тюрьмы, была поглощена этим ограблением и этой казнью городского головы.

Даже смотритель тюрьмы Кубасов, бывший раньше смотрителем Карийской тюрьмы, один из многочисленных смотрителей сибирских тюрем, которые то сидели в тюрьме в качестве арестантов по обвинению в казнокрадстве, то вновь получали свои старые должности, и тот не мог удержаться, чтобы не поделиться со мной впечатлением об этом сенсационном событии. О нем же сообщили мне и посещавшие меня товарищи-читинцы, но они, конечно, не были всецело поглощены им, у них были и другие интересы, хотя и не общеполитические. Особенностью читинской колонии была тесная связь с Карой, постоянные заботы о ней, неостывший интерес ко всему, что происходило на Каре.

Ко мне как к уцелевшему участнику карийского протеста читинцы отнеслись с особым вниманием и, видя, в каком я состоянии после Кары и путешествия в Читу, выдумывали все-

возможные планы оставления меня в их среде. К ним откуда-то проникло известие, что и губернатор по какому-то поводу, в связи с моей болезнью, заявил о возможности оставления меня в Чите.

Но губернатором оставался тот самый Хорошхин, который обессмертил свое имя как палач Надежды Сигиды, и, понятно, я к нему ни прямо, ни через посредство врача не обращался ни за чем. Он, повидимому, ждал ходатайства с моей стороны, но когда «гора не пришла к Магомету, Магомет пришел к горе». Быть может, впрочем, это было лишь проявлением психологии преступника, которого неведомая сила влечет к месту преступления. Я же был одной из жертв преступления.

Как бы там ни было, но вскоре по всей тюрьме поднялась сутолока, суматоха, надзиратели бегали по коридорам как угорелые, в камерах, обыкновенно открытых, защелкали замки, стих обыкновенный шум, и по камерам надзиратели шопотом сообщали заключенным:

— Губернатор приехал.

На меня это известие подействовало весьма тягостно. Предстояла встреча в одиночку лицом к лицу с тем, кого мы на Каре считали одним из главных виновников ноябрьских событий 1889 года. На Каре мы отклонили всякие объяснения с ним. Я решил и в данном случае соблюдать принятое Карой решение, прислонился к оконной стене, чтобы не вставать при его появлении в моей камере, и ждал. Несколько минут спустя он явился в сопровождении смотрителя Кубасова и многочисленной свиты.

— Феликс Кон, — отрапортовал смотритель губернатору.

Он слегка кивнул головой и бросил в пространство вопрос:

— Поправляется?

Я не ответил. Минутное напряженное молчание всех присутствующих, а затем короткий ответ смотрителя:

— Так точно.

Еще минута выжидательного молчания.

— Нет ли каких-либо просьб, требований, жалоб?

Я во второй раз не ответил.

Находчивый Кубасов вывел Хорошхина из неловкого положения:

— Не заявлял-с!

Щелкнув шпорами, губернатор удалился, а час спустя ко мне явился Кубасов с сообщением, что губернатор распорядился отправить меня с первым этапом в Иркутск, так как из Петербурга получено предписание ввиду предстоящего проезда через Сибирь «наследника-цесаревича» очистить весь путь от «государственных» ссыльных. Я заявил, что до полного выздоровления по этапу не поеду и, если меня насильно повезут, буду сопротивляться и меня придется везти связанным до самого Иркутска.

Кубасов знал меня еще по Каре и серьезно отнесся к моему заявлению.

На следующий день, повидимому по поручению Хорошхина, явился в мою камеру для переговоров местный товарищ прокурора. Он объяснил, что «местные власти тут ни при чем», что они получили предписание не оставлять никого, даже на самое короткое время, на пути будущего следования наследника, но что, «снисходя к моему положению, его превосходительство поручил ему предложить мне поехать на свой счет на почтовых, но тогда придется уплатить так же прогонные на обратный путь казаков, не считая суточных».

Я отказался. Прокурор удалился, но на следующий день вновь пришел и начал торговаться, как на базаре. Соглашался отправить только с одним казаком, затем еще сбавил, но в конце концов, когда убедился, что уступок с моей стороны не будет, через несколько дней официально сообщил, что ввиду моего болезненного состояния меня отправят на почтовых. Уже на следующий день я вновь оказался в кибитке.

Эта часть Забайкалья отличается особенно бешеной ездой. Полудикие бурятские лошади, управляемые полудикими ямщиками-бурятами, несутся с бешеной быстротой, с разбегу поднимаясь на самые высокие горы, не замедляя бега на крутых коротких спусках.

Во время этой скачки буквально душа замирает. Время от времени разгоряченные лошади начинают нести; ямщик сворачивает с дороги, ногами крепко упирается в передок козел и хлещет длинным кнутом по всем трем лошадям... Бывало, минут десять несутся так кони, прежде чем рассвирепевший бурят не успокоит своих нервов и не начнет закручивать вожжи, чтобы остановить коней.

Сопровождающий меня казак, молодой еще паренек, съежившись в комок, буквально прилипает к уголку кибитки и при всякой встряске, хватаясь за край повозки, причитает и крестится:

— Убьют, убьют... Господи помилуй...

А бурят и в ус себе не дует. Остановив лошадей минуты на две, три, он поворачивает на дорогу и уже гонит взмыленных лошадей попрежнему.

Мой казак снабжен «подорожной», в которой сказано, что мы едем «по государственной надобности», и поэтому на каждой станции мигом запрягают лошадей и перекладывают вещи из одной кибитки в другую.

По мере приближения к Байкалу ветер крепнет, ямщики-буряты сменяются русскими ямщиками, степенными мужиками, солидность и серьезность которых сразу исчезают, как только они садятся на козлы и берут в руки вожжи. То ли это специальное ямщицкое самолюбие, то ли это нежелание ударить

лицом в грязь перед бурятами, но дикая скачка от этой перемены ямщиков не становится менее дикой.

Мчимся необыкновенно быстро. Природа меняется прямо на глазах. Горы становятся все круче, а при въезде на лед Байкальского озера прямо уже нависают скалистыми утесами на берег. По Байкалу уже едем на санях. Время от времени лошади с разбегу перескакивают через образовавшиеся во льду на пол-аршина шириной щели. Иногда эти щели гораздо шире: сажень, а то и несколько... Перед нами разверзается зияющая пропасть. Испуганные лошади останавливаются... Такую щель нельзя объехать: она тянется иной раз на несколько верст. Но бывалый и опытный ямщик не смущается. Он отбивает захваченным из дому ломом сзади саней льдину, на которой мы остановились, от ледяного материка, а затем отталкивается и как на плоту переправляется к другому краю щели. Эта «маленькая» задержка в пути на него не производит ни малейшего впечатления. Он мчится дальше, до новой, такой же остановки.

Теперь это уже давно минувшее прошлое, по берегу Байкала проложены стальные рельсы, мчатся поезда, и никому уже дела нет, остановился ли Байкал, большие ли горы льда нагромоздились в момент замерзания, есть на нем щели или нет...

Но тогда по ледяному хребту Байкала шли обозы, шли арестантские партии, мелькали кибитки проезжавших вольных и невольных обитателей Сибири.

Меня, знавшего этот путь страдальцев по Сибири, скорая езда лишила возможности ближе осмотреть места, кровавыми строчками записанные в летописях страны изгнания. Ведь именно здесь, на берегах Байкала, разыгрался знаменитый «забайкальский бунт» сосланных сюда на каторгу польских повстанцев в 1863 году. В тайге, покрывающей нависающие над Байкалом скалы, они бродили, пытаясь пробраться к границам Китая, и в этой же тайге их настигали буряты, которым была обещана денежная награда за доставление живого или мертвого «бунтовщика».

Погибли все: одни от пуль бурятских, другие от голода, еще иные на виселицах или на каторге.

Об этом бунте память почти не сохранилась, и лишь католические кресты на скалах, каким-то чудом сохранившиеся в течение четверти столетия, напоминали проезжавшим о происходившей когда-то на этих скалах драме.

Переезд с одного берега Байкала на другой составлял всего 70 верст. На другом берегу, начиная с устья Ангары, жизнь уже бьет ключом, уже чувствуется близость столицы Сибири — Иркутска.

Не помню уж точно, но, кажется, на второй станции от Лиственичной, когда мы подъезжали к ней, мое внимание привлекло необыкновенное скопление народа, шум, говор, хохот. Крестьяне толпились около какого-то странного сооружения,

назначения которого я никак не мог понять. Оказалось, следующее: навстречу будущему повелителю России, Николаю II, тогда еще только наследнику, была отправлена из Петербурга парадная коляска. А так как правителям в центре Сибирь была известна как страна льда и снега, то коляска эта была поставлена на специально сооруженные для этого сани, на которых благополучно пропутешествовала до берегов Байкала. Как и подобает в таких случаях, коляска была привинчена к саням, и места прикрепления, дабы никто не дерзнул святотатственной рукой прикоснуться к царской коляске, были скреплены казенными печатями. Все было бы хорошо, если бы не одно маленькое, не предусмотренное центральными правителями обстоятельство. За Иркутском благодаря сильным ветрам снега нет ни крупинки. Провезти такую махинищу не оказалось никакой возможности, и все сооружение застряло. Встревоженные местные власти, почтительно сопровождавшие священную коляску, решили заставить крестьян привезти в коробах снег и проложить для нее санную дорогу. Но увы, не подчиняющийся и не подведомственный исправнику ветер в один миг слизнул весь снег. Тогда находчивый исправник остроумно вышел из затруднения. Он соорудил огромнейшую телегу, на телегу поставил сани с коляской и пятеркой лошадей поволок эту драгоценную кладь по направлению к Байкалу под охраной десятка крестьян, ведших с собой запасных лошадей на смену запряженным в эту махинищу. Повсюду появление этой «Эйфелевой башни» вызывало небывалую сенсацию среди крестьян, и вот на одно из скопищ, воздававших дружным хохотом заслуженную дань уму царских прислужников, я и наткнулся.

На этой станции меня ожидала еще другая, пожалуй, еще более пикантная встреча.

Уже начало темнеть. Ямщики, привлеченные небывалым зрелищем, замешкались. Я, сидя за кипящим самоваром, терпеливо ждал, когда мой казак доложит, что лошади поданы. Вдруг к почтовой станции подлетел почтовый возок, из него выкатились две с ног до головы укутанные в меха фигуры и вскочили в почтовую станцию. Приезжие промерзли, что называется, до мозга костей. Вылезая из дох, они топали ногами, фыркали, сопели, терли руки, лицо. Заметив на одном из них вицмундир, а на другом жандармское облачение, я не проявил по отношению к ним обычной в таких случаях любезности и не предложил им чаю, несмотря на то, что они бросали тоскливый взгляд в сторону самовара.

Но, повидимому, соблазн был слишком велик, и штатский первый взмолился:

— Позвольте присоседиться к вашему самовару...

— Пожалуйста.

«Присоседились», и начался разговор.

Дорогой они были недовольны, морозом также... То один,

то другой давали волю накипевшему огорчению французскими восклицаниями. Предвкушая, какой получится эффект, когда мои собеседники узнают, с кем их столкнула судьба, я в беседе проявил не менее лингвистических познаний, чем они. Это их поразило. Видя суетившегося возле моей кибитки казака, они, повидимому, пришли к заключению, что я один из сибирских чинушей. Но лишенное всяких холопских заискиваний отношение к ним и вскользь брошенные французские фразы сбивали их совсем с толку.

Выручил и их и меня мой казак.

Он доложил, что лошади поданы.

— Ладно. Дайте шубу.

Он меня укутал, и я уже совсем собрался было легким кивком головы распрощаться со своими любезными собеседниками, как они, из чувства благодарности за предоставленный им горячий чай, шаркая ножками, отрекомендовались:

— Позвольте представиться... свиты императорского высочества чиновник особых поручений такой-то.

— Отдельного корпуса жандармов подполковник такой-то...

Фамилии я не разобрал.

— Очень приятно. Возвращающийся из каторги государственный ссыльный Кон.

Мои милые собеседники отшатнулись, а я, кивнув им «элегантно» головой, вышел из станции, ввалился в кибитку и помчался в сторону Иркутска.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ИРКУТСКОЙ ТЮРЬМЕ

С некоторым волнением я по пути с Кары в Якутскую область подъезжал к Иркутску. Это был последний пункт, с которого можно было бежать, а по выходе с Кары планы побегов, как всегда фантастические, вновь воскресли... Тянуло к жизни, к деятельности, а Якутская область представлялась ледяной могилой, из которой не могло быть выхода... Еще с дороги я написал письмо с просьбой о содействии Станиславу Лянды, осужденному в 1879 году в Варшаве вместе с Вацлавом Серошевским по обвинению в «вооруженном сопротивлении», оказанном ими в десятом павильоне Варшавской цитадели во время протеста в связи с убийством часовым Бейте.

Но эта мысль о побеге принадлежала к области «бессмысленных мечтаний». И время было неподходящее: в связи с ожидаемым проездом «наследника-цесаревича» через Сибирь власти были настороже. И иркутская колония ссыльных, весьма дорожившая своим пребыванием в столице генерал-губернаторства Восточной Сибири, отнюдь не проявила склонности активно содействовать фантазерам-мечтателям в их рискованных планах.

В этом мне пришлось убедиться, как только я переступил через порог гостеприимной Иркутской тюрьмы, из разговора с товарищами, которых я там застал.

Их было немного: три «балаганца» — Кранихфельд, Грабовский, Ожигов — и пересылаемый административно в Якутскую область Галкин.

В этой же камере находился еще какой-то довольно подозрительного типа субъект, переведенный из уголовных в политические за произнесенную им на суде «речь». Он вызубрил наизусть заключительный отрывок речи Мышкина на «процессе 193-х» и выпалил им в судей.

В качестве «служителя» при политических жил в этой же камере и колонист-немец, осужденный за сожительство с род-

ной дочерью. Эта категория арестантов была во всех тюрьмах париями среди париев. Арестантская среда к ним относилась с омерзением, их били, плевали им в лицо, глумились и издевались над ними. И во многих тюрьмах администрация, учитывая это отношение, принимала меры к тому, чтобы их изолировать от остальных арестантов. Иркутская тюремная администрация в целях изоляции этого немца отрядила его в «служители» в камеру для политических.

Присутствие посторонних в камере не стесняло нас. Никаких конспиративных дел не было, а в наши беседы, переходившие довольно часто в бурные и страстные споры, они не вмешивались.

Эти споры возгорелись в первый же день.

«Балаганцы» были арестованы за коллективный протест ссыльных г. Балаганска против «истории 22 марта 1889 года» в Якутске.

Слухи об этой истории проникли и на Кару. Мы знали о ней приблизительно то же, что было напечатано в «Социал-демократе», изданном в Лондоне в феврале 1890 года. По этим слухам, на пост исполняющего должность якутского губернатора был назначен П. П. Осташкин, типичнейший выскочка-карьерист, создавший «бунт» для того, чтобы по трупам политических ссыльных взобраться на следующую ступень по карьеристской лестнице — на должность губернатора. Для этой цели он, как впоследствии сообщал «Социал-демократ», в половине марта сделал распоряжение о немедленной высылке 16 человек ссыльных в Верхоянск и Средне-Колымск. Перевозка ссыльных в эти отдаленные «города» должна была совершиться при таких условиях, которые грозили этим жертвам административного произвола не только страшными лишениями, но прямо смертью от голода и холода. Это знали ссыльные, знал и Осташкин, но именно на этом и был построен весь его расчет. Ссыльные, как назначенные, так и не назначенные к дальнейшей высылке, стали делать ему свои представления и наконец обратились к нему, каждый от себя, с формальными прошениями. Полицмейстер Сухачев, принявший эти прошения, сказал ссыльным, чтобы на другой день они собрались все в квартире одного из них, именно Ноткина. На следующее утро, 22 марта, они действительно собрались туда в числе 31 человека. Вскоре к ним явился полицейский надзиратель Олесов и потребовал, чтобы они все шли в полицейское управление. Ссыльные отказались сделать это, ссылаясь на вчерашнее распоряжение полицмейстера. Надзиратель скрылся, а немного спустя после его ухода явились солдаты, подкрепленные полицейскими и казаками. Как значительны были силы «христолюбивого воинства», показывает то обстоятельство, что одних солдат с заряженными ружьями было более 100 человек (по некоторым известиям—140). Вся эта комнада ворвалась в довольно обширную

квартиру Ноткина и принялись «брать ссыльных». «Брали» их так усердно и так удачно, что немедленно же некоторые из них были избиты прикладами и ранены штыками. У некоторых ссыльных были револьверы. Доведенные до крайности, они стали отстреливаться. Храбрые начальники только этого и ждали. Что могут сделать несколько револьверов против солдатских ружей? Ссыльные, разумеется, были побеждены. Шестеро из них были убиты: Подбельский, прибывший на квартиру Ноткина, услышав перестрелку, Пик, Софья Гуревич, Ноткин, Шур и Муханов; девять человек оказались тяжело ранеными, всех остальных жестоко избили. На Каре была известна и фамилия отличившегося при этой перестрелке офицера — Карамзина.

Повторяю, такая версия проникла и на Кару. Но впоследствии, когда разразилась карийская история, когда к нам проникло известие о сургутском протесте, о расправе на Сахалине и т. д., — якутская история расценивалась нами иначе — как одно из звеньев в цепи предписанных из центра репрессий, в связи с чем к протесту «балаганцев» я относился как к серьезному политическому акту.

Этот протест был переслан и в центральные государственные учреждения, и во многие редакции газет, и в колонии ссыльных по всей Сибири. Подписавшиеся под этим протестом Улановская, Новаковская, Кранихфельд, Грабовский и Ожигов были арестованы и преданы суду. Другие балаганские ссыльные избрали иной путь протеста. «Пролетариатец» Лонцкий отправился нелегально в Якутск с твердым намерением убить виновника якутского расстрела — вице-губернатора Осташкина. Он благополучно добрался до Якутска, но тут наткнулся на препятствия, которых не предусмотрел и не мог предусмотреть.

Якутская ссылка отнеслась к якутскому протесту далеко не так, как балаганская. Многие из ссыльных осуждали протестантов, а некоторые из них в этом осуждении доходили до пределов, весьма мало отвечавших их революционному прошлому.

К последним принадлежал ныне пользующийся широкой известностью польский писатель Вацлав Серошевский.

Иначе реагировал на якутские события Владимир Бурцев, также отбывавший ссылку в Балаганске. Он в виде протеста совершил побег.

По вопросу об этом побеге у нас возник спор. «Балаганцы», в особенности же Кранихфельд, находившийся в то время под сильным влиянием Бурцева, считали этот побег лучшим ответом на происшедшее. Мне такая постановка вопроса казалась недопустимой. Делать из побега протест против жестокостей условий ссылки — значило признавать ссылку без жестокостей нормальным явлением, не могущим повлечь за собой побега. Можно и должно совершать побеги, но нельзя им придавать

характера протеста не против ссылки, а против режима в ссылке.

Спор был горячий, страстный... Из жителей камеры в нем не принимал участия один только Галкин. Он безучастно слушал, не вмешиваясь в спор, несмотря на то, что я его несколько раз провоцировал на вмешательство. Только на следующий день я узнал от Кранихфельда, что на Галкине отразилось продолжительное сидение в «Крестах», что врачи опасаются, чтобы его состояние не превратилось в меланхолию, и рекомендуют всеми доступными средствами его развлекать.

Худшей обстановки для Галкина нельзя было придумать: молчаливый и замкнутый в себе Ожигов, сентиментальный поэт Панько-Грабовский, не сумевший сдержать рыдания, когда я ему передал подробности карийского протеста, и единственный живой среди них, но сохранивший старые офицерские привычки, коробившие в революционной среде, — Кранихфельд.

Галкина могла спасти живая среда, идейно близкая ему. В его мировоззрении происходил тогда перелом. Я как «пролетариатец», связанный с рабочим движением, идейно был ближе других к нему, и рассказы о деятельности «Пролетариата» его заинтересовали. Он начал слушать, задавал вопросы... Впоследствии, когда мы с ним вместе на паузке направлялись по р. Лене в Якутку, он часто повторял:

— Ваш приезд меня спас... Я чувствовал, что погибаю... Вы своими рассказами о польских рабочих меня вернули к жизни...

Только в 1918 году мы встретились вновь... Он продолжал меня считать своим «спасителем»... Но старая болезнь вновь начала сказываться, и на этот раз ни я, ни кто-либо не мог его спасти...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ЯКУТКУ

Партия уголовных в Якутскую область была отправлена из Александровского централа. Нам предстояло ее догонять, и за нами тремя — Галкиным, Стефановичем и мною — приехали в тюрьму жандармы, старые знакомые по Каре, и на почтовых покатили нас на какую-то станцию, названия которой уже не помню. На этап мы явились уже поздно вечером. Нары были заняты уголовными и нам пришлось бы лечь под нарами, если бы уголовные по предложению жандармов не очистили нам места на нарах. Наутро мы обычным порядком отправились на следующий этап, а дня через два пришли в Качуг — обычное место погрузки арестованных на паузки.

Об этих паузках я в феврале 1897 года напечатал статью в «Новом слове», отрывок из которой привожу:

«Великая вода» (улакан-у), как называют якуты Лену, — это единственный путь, по которому провозятся в Якутскую область всевозможные блага нашей культуры... Как только река вскроется в верховьях, в Качуге спускаются на воду так называемые «паузки», нагруженные всевозможными товарами: хлебом, водкой и т. д. Наступает оживление, ярмарка... Среди этих паузков, разукрашенных флагами, манящих к себе своим богатством, останавливающихся для торговли во всех более зажиточных селениях, угрюмо подымается вперед несколько других паузков, похожих по строению на первые, но нагруженных совсем другим грузом... Это — паузки арестантские.

Далеко отсюда, за горами, за лесами, на выставке в Нижнем, была представлена только лицевая сторона нашей цивилизации; на Лене ежегодно рядом с ней фигурирует и ее изнанка. На одних паузках нагружены изделия, выработанные во всех концах земли русской, на других — собранные отовсюду жертвы невежества и нищеты.

Шум, говор, суета, плач и ругань, смех и залихватская песня то-и-дело раздаются на этих паузках. Кого-кого тут только

нет!.. В одном углу скопцы, с их обезображенными заплывшими лицами, тоненькими женскими голосами пытаются перекричать, переспорить других сектантов — духоборов, штундистов; в другом — кучка бродяг, не освобожденных от кандалов и на этой пловучей тюрьме, азартно «режется»в карты; здесь горсть конокрадов — башкир, татар, черкесов; там отбывший срок каторжанин; в другом месте — истасканнная, видавшая на своем веку всякие виды каторжанка.

Молодые и старые, женщины и дети, фанатики до изуверства и безбожники до цинизма без толку, без разбора и смысла свалены в одну кучу и направляются все в один приемник — в якутский острог, откуда словно «культурные» ручьи потекут в глухие захолустья якутских наслегов[1].

В числе пассажиров такого именно паузка в мае 1891 года были и мы трое.

Встретил нас очень любезно и приветливо офицер, сообщив, что отвел нам помещение на том же паузке, на котором он сам будет находиться с женой, что здесь нам будет удобно и уютно и мы можем находиться на палубе сколько захочется.

В тот же день он нас познакомил со своей женой, которая не преминула в разговоре упомянуть, что она — племянница казненного в Иркутске Неустроева.

В течение нескольких дней наше путешествие не оставляло желать ничего лучшего и оно, пожалуй, было бы таким до самого Якутска, если бы не случайность. На одной из остановок уголовные, размещенные на других паузках, перепились и начали скандалить. Офицер велел более буйных связать... Один из буйствовавших вырвался из рук конвоя, выбежал на палубу и, прежде чем его успели вновь схватить, разразившись руганью по адресу офицера, крикнул:

— Может быть, господин Карамзин, стрелять будете, как расстреливали политических в Якутске?

Мы были ошарашены. Фамилия Карамзина как ретивейшего офицера во время якутской бойни нам была известна.

Мы справились, и оказалось, что столь любезно и приветливо встретивший нас офицер — палач, расстреливавший наших товарищей. А мы, не зная этого, говорили с ним, как с человеком, знакомились с его женой.

Положение наше было не из завидных. Мы решили поступить решительно. Отправили Карамзину за подписью всех трех письмо, в котором сообщали, что только по незнанию, кто он, мы с ним разговаривали, и что с данного момента мы прекращаем с ним всякие отношения.

Он реагировал на это письмо только тем, что приостановил выдачу нам кормовых денег, что при наших скудных средствах было довольно ощутительно.

---

1 Часть улуса.

Кроме этого инцидента за всю дорогу никаких других не было, и мы благополучно добрались до Якутска, где нашли помещение в обычной для нас гостинице — местном остроге, но не сразу, конечно, а после длиннейшей процедуры с приемкой, проверкой, сдачей конвою и т. д.

Во время нашей стоянки на пристани на берегу толпились люди поглядеть на нас, узнать о знакомых. Нашлись знакомые и у меня. Из них я запомнил лишь одного — Леонадра Френкеля, сосланного административно на 8 лет в Верхоянск по делу Марии Богушевич.

Об этом типе ссыльных весьма редко упоминается в воспоминаниях, и я поэтому позволю себе на нем остановиться.

Леонард Френкель никогда не принимал никакого участия в революционном движении и по своему мировоззрению был польским патриотом, как и многие другие польские «патриоты» совершенно не активным.

Постигшая его жестокая кара вызвана следующим.

Он был студентом Лейпцигского университета и на вакационное время собирался ехать в Варшаву. Узнав откуда-то об этом, Александр Дембский обратился к нему с просьбой взять от него письмо и передать Марии Богушевич. Френкель согласился. По приезде в Варшаву он явился к Богушевич и, не застав ее дома, оставил свою визитную карточку, прося ее сообщить ему, когда он может застать ее для вручения ей письма Дембского, которому он обещал вручить его ей лично. На другой день вечером он выполнил поручение Дембского, и в ту же ночь Богушевич была арестована и при обыске у нее было найдено зашифрованное письмо Дембского и злополучная визитная карточка Френкеля, указывавшая, кто доставил это письмо.

Его немедленно арестовали. Как порядочный человек и польский патриот он, несмотря на настояние Богушевич дать показание, отказался от каких бы то ни было объяснений с русскими жандармами, и это решило его судьбу.

Когда я прибыл в Якутск, куда его, по ходатайству посетившего его отца, перевели из Верхоянска, он себя чувствовал в высшей степени скверно. В ссыльной среде это был «чуждый элемент», коробивший ссыльных и своими гуттаперчевыми манишками, и брелоками на цепочке от часов, и своими манерами, и своим общением с обывателями, и своим изысканно вежливым отношением к начальству, и, наконец, обывательским отношением к каждой хоть сколько-нибудь смазливой женщине. Не было ссыльного, который бы не относился иронически к этому ссыльному, а многие не ограничивались одной иронией.

Он это сознавал, чувствовал себя одиноким, несправедливо обиженным и часто в разговоре со мной ставил вопрос: «За что?»

И субъективно он был прав... Вырванный из своей среды и не сумевший слиться со средой, в которую его бросила судь-

ба, — «ни пава, ни ворона»,— он, вернувшись из ссылки, не освободился от этого тяготевшего над ним как рок печального недоразумения. Как «бывший ссыльный» он был окружен известным ореолом, к нему льнули радикально настроенные элементы, а он попрежнему оставался обывателем. Минутное увлечение им рассеивалось и сменялось отрицательным отношением, разочарованием.

Это отравляло ему жизнь.

Я встречался с ним в 1905 году. Его жена была вовлечена в водоворот движения и была приговорена за работу среди военных к каторге, а он попрежнему оставался «чуждым элементом», сам страдал от этого, но перевоспитать себя не смог, как не смог — и это характерно — полностью вернуться в среду, из которой вышел.

Общение с революционерами все-таки оставило на нем след.

По всей вероятности таких, как Френкель, было в ссылке немало, но о них почти не упоминается в воспоминаниях.

На меня, — а надо думать, что не только на меня, — эта ссылка после той атмосферы, которая, несмотря на всевозможные внутренние столкновения, царила на Каре, произвела удручающее впечатление. На Каре, хотели ли мы этого или нет, — судьба каждого отдельного заключенного была тесно связана с судьбой всех обитателей тюрьмы. Любое выступление, любой протест, сколько бы человек ни принимало в нем участия, вызывали репрессии по отношению ко всем. Это налагало определенные обязанности на каждого, но это и связывало узами солидарности, создавая определенную атмосферу. Коллектив, вся тюрьма в целом, парализовал всякие индивидуалистические уклоны.

Уже по выходе в вольную команду начали замечаться серьезные отступления от этих установленных целыми годами норм. Получившим возможность заработка предоставлялась возможность сохранять этот заработок для себя, и в скором времени начало проявляться материальное неравенство. Ослабели и узы солидарности и взаимной поддержки в связи с исчезновением ответственности коллектива за действия отдельных лиц.

К этому присоединялось и то, что для многих в вольной команде открывалась возможность семейной жизни.

Все эти условия в гораздо большей степени существовали и в ссылке, причем старые традиции Кары, сдерживающие людей и сглаживающие более резкие шероховатости, в якутской ссылке не существовали. И если для Кары характерным был коллектив, то в Якутске преобладал индивидуальный характер; если на Каре существовал постоянный взаимный контроль, то в Якутске он проявлялся только в исключительных случаях; если на Каре не было физической возможности замкнуться в личную и семейную скорлупу, то в Якутске эта возможность была, и

нельзя сказать, что ссыльные — я не говорю об исключениях — не пользовались широко этой возможностью.

Короче говоря, в Якутске были ссыльные, но не было объединенной ссылки, не было идеологической связи между ссыльными, не было даже выработанного общественного мнения, которое бы могло повлиять на ссыльного.

Этим и объясняется, почему люди, случайно попавшие в ссылку, не сливались с нею, почему разлагавшихся ссылка не могла удержать от разложения.

Этому способствовали и другие явления, но на них я остановлюсь ниже.

ЯКУТСКИЙ ПРОТЕСТ И ССЫЛЬНЫЕ

В тюрьме, когда нас туда перевели, нас радостно встретил единственный находившийся там политический заключенный — Гейман, осужденный по «делу 22 марта», один из тех, которых суд осудил более мягко и этим уготовал ему более тяжелую кару. Другие, осужденные по этому делу на каторгу, сидели вместе в Вилюйской тюрьме, сдружились, сблизились; он был от них отделен и только путем переписки поддерживал связь с ними. Болезненный, нуждавшийся в привязанности к людям, он сильно тосковал и только с освобождением из тюрьмы Н. О. Коган-Бернштейн, регулярно его посещавшей, он немного ожил. От времени до времени к нему приходили и другие ссыльные, но ввиду выявленных ими отношений к протесту он был настороже в разговоре с ними.

Гейману было известно, что я один из участников карийского протеста, и это, как он сам сознался, было одним из моментов, побудивших его к откровенности в вопросе о якутском протесте. На такого впечатлительного юношу, как Гейман, якутская мартовская трагедия сама по себе не могла не произвести глубокого и потрясающего впечатления, но не меньшее, несомненно, впечатление произвело то, что «старая», по его терминологии, ссылка относилась к протесту в высшей степени отрицательно. Для него все те «старики», с которыми ему пришлось встретиться в Якутке, были легендарными героями, о которых он слышал на воле, которых его воображение наделяло такими чертами, каких у них и быть фактически не могло. И вот они-то осудили то действие, которое он, Гейман, считал достойным революционера подвигом. Сознание этого причиняло ему страдание.

Встречи с ссыльными и беседы по поводу мартовской трагедии мною велись позже, но для того, чтобы отношение ссылки к этой трагедии было яснее, я попытаюсь уже сейчас осветить этот вопрос.

Состав ссыльных в Якутской области был довольно разношерстный во всех отношениях. Народники — мирные пропа-

гандисты, участники «процессов 50-ти и 193-х», бунтари, народовольцы, пролетариатцы и случайные люди, сосланные административно лишь по подозрению в неблагонадежности. Были «старики», проведшие целые годы в Петропавловке, в Белгородском централе, на Каре; были поселенцы, которых за «дурное поведение» в прежнем месте ссылки постепенно передвигали на восток, пока они не очутились в Якутской области; была и молодежь, ссылаемая административно, менее мыкавшаяся по тюрьмам и сохранившая молодой революционный задор. Были люди, измученные многолетними репрессиями, не мечтавшие уже о деятельности в будущем и ограничивавшие свои стремления лишь тем, чтобы с честью дожить свой срок ссылки. Были женатые, семейными условиями вынужденные тяжело работать, чтобы прокормить семью. Были, наконец, и опустившиеся.

Самое страшное в Якутской области было то, что люди были обречены на бездействие. Не было идейной деятельности, дающей исход и разрядку накопившейся энергии. Не из любви к лингвистике занимался Пекарский в течение десятков лет собиранием материалов для якутского словаря, а десятки ссыльных начали заниматься изучением Якутского края, как бы мы все ни пытались объяснить это идейными побуждениями. Не оттого Войнаральский, а вслед за ним и кое-кто из менее выдающихся ссыльных занялись торговлей, а Ковалик строил глиняные печки, что питали особенное расположение к этого рода занятиям... Пустота жизни, невозможность вести ту работу, к которой влекло, заставляли цепляться за жизнь тем, чем оказывалось возможно, а уже после под это подгонялось идеологическое основание. Этим люди спасались от ужасов безделия, от ужасов жизни без внутреннего содержания.

Но и материальные условия не оставались без влияния. Тюрьма снимала с человека заботу о куске хлеба, о крыше над головой. В ссылке эти вопросы заедали людей.

Ссыльным выдавалось пособие — 12 рублей в месяц и 22 рубля в год так называемых «одежных денег». Не касаясь даже вопросов о дороговизне таких продуктов, как мука, сахар, не говоря уже об одежде, не трудно догадаться, что на такие средства прожить было немыслимо.

Ссыльно-поселенцы как уголовные, так и политические по закону имели право на получение 15 десятин пахотной и сенокосной земли от того наслега, к которому они были причислены. Сверх того ни на какую поддержку со стороны якутов они не в праве были рассчитывать. Разница между положением уголовных и политических состояла в том, что уголовные пользовались правом разъездов по всей области и благодаря этому могли найти себе заработок, в то время как политические были этого права лишены. Этим и объяснялось то, что политическим выдавалось денежное пособие, которого не получали уголовные. При таких условиях политическим, для того чтобы

прожить, приходилось заниматься земледелием, хотя бы они, как это иной раз бывало, не умели отличить пшеницы от ржи. Но, для того чтобы заниматься земледелием, кроме земли нужен был инвентарь, орудия. Уголовные, решившие заняться земледелием или использовывавшие мнимое желание этим заняться для того, чтобы сорвать с якутов «отступное», вышли из этого положения по-своему. Они до такой степени довели свои вымогательства, что якутский губернатор Черняев вынужден был еще 16 января 1879 года дать следующее предписание якутскому полицейскому управлению:

«В подтверждение неоднократных частных моих распоряжений о том, что ссыльные всех категорий, живущие «в якутах», не требовали бы от них безвозмездно пропитания, юрт, рабочего скота и земледельческих орудий, предписываю полицейскому управлению снова объявить якутам, через их старост, что *нет закона,* который обязывал бы общественников давать причисленным к их обществу ссыльным всех категорий какое бы то ни было вспомоществование. Но ежели бы якуты из человеколюбия пожелали помогать ссыльным в отношении их содержания, то это они могут делать, но не иначе как давая ссыльным предметы довольствия натурой и то не свыше солдатского довольствия. Всем же вообще ссыльным, живущим между якутами, строжайше воспретить, чтобы они не смели требовать от якутов пропитания или какого бы то ни было вспомоществования, которые они обязаны добывать себе собственными трудами».

«Гладко писано в бумаге»... Но уже непосредственный исполнитель этого губернаторского предписания, отдавая себе ясный отчет в «бумажности» его, собрав якутов на муньяк (сход) и прочитав предписание, заявил:

— Слышали? Ну, смотрите... Если только услышу, что отказываетесь кормить попрежнему — в бараний рог согну...

Исправник как лицо, непосредственно сталкивавшееся и с ссыльными, и с якутами, стремившийся к тому, чтобы никакие эксцессы не нарушали его исправницкого покоя и чтобы все было «шито-крыто», лучше губернатора знал условия. Эти условия изображены мною в следующем виде в упомянутой выше статье:

«Изломанные и измученные продолжительным тюремным заключением и этапной дорогой, «прелести» которой так правдиво изображены г. Мельшиным, ссыльные становятся наконец «свободными». Действительно, они «свободны» от всего, чем можно бы продлить свое жалкое существование... Паузки приходят в начале июня... В это время года воспользоваться землею, на которую ссыльные имеют право, уже нет возможности, найти заработок во время полевых работ — тоже, так как на эти работы рабочие законтрактованы или, выражаясь точнее, «закабалены» давно, и вот тут-то, что делать поселенцу,

одному среди якутов, без крова над головой, без куска хлеба. Поневоле этот «свободный человек» со вздохом сожаления вспомнит о «своем» угле под нарами в какой-нибудь каторжной тюрьме, о пресловутой «баланде» с куском ржаного хлеба...

Гостеприимный якут не отказывает ему ни в крове, ни в пище... но ни живьем зажаренная крохотная рыбка «мундушка», ни сосновая заболонь на первых порах не лезут в горло... У кого есть несколько рублей, тот постарается уйти куда глаза глядят; у кого их нет, тот постарается «достать»...

— Пришлам в наслег, — рассказывает уже немолодая бродяжка-полька, живущая в области с 1868 года. — Ни я их не розумем, ни они мне. Ну, ничего. Привели в юрту. На камине у огня — палочки, на них живые рыбки так и скачут!.. Иезус-Мария! Куда я попалам. Сняли несколько штук и мне дают, и сами кушают, так прямо з бебехами (внутренностями)... Потом (после этого) сосну дали... Ушлам в город. З дому до дому хожу, в прислуги хочу наняться... Скажу: «поселка» — никто не берет. Ну, у скопцов жилам, а там узналам, что должны (!) мне кормить. От з тех пор 20 рубли в год получаю».

Я привел этот рассказ, так как в нем несколько пунктов, характеризующих положение поселенца. Чуждый якутам во всем, начиная с языка и кончая той жалкой пищей, какой «инородец» вынужден питаться, поселенец робеет, стремится уйти куда-то в город, в русское селение, на край света, лишь бы к своим, к русским, подальше от этих страшных в первое время для него дикарей... С течением времени, подученный товарищами по несчастью или же ближе познакомившись с не менее его робеющим якутом, он узнает, что «должны» его кормить... Узнает и верит в это свято: не может же он в самом деле, невзирая на «распоряжения», поверить, что он обречен на голодную смерть... Начинаются вымогательства.

Якуты, правда, имеют, как мы видели, законное основание для отказа, но у поселенцев всегда находится в руках грозный аргумент в виде требований земли... Земля... Кто видел якутский скот в начале весны, буквально валящийся с ног, выводимый из хотонов (хлевов) при поддержке людей, тот поймет, чем является для якута каждый клок земли, с которого можно получить лишнюю охапку сена для скота... И вот эту-то землю, за которую улус с улусом, наслег с наслегом ведет нередко тяжбы по целым десятилетиям, якуты должны беспрекословно уступить в размере 15 десятин всякому из названных пришельцев. Первое пускаемое в ход средство избегнуть этого — это дать известную сумму «отступного» и навсегда избавиться от ненавистного хайлака[1]. К этому средству прибегнуть заставляет якутов еще и то обстоятельство, что раз отведенный поселенцу участок в большинстве случаев в наслег уже не возвращается. На

[1] Поселенец.

«освободившийся» надел тотчас же назначается другой ссыльный, а обычная отговорка — недостаток земли — уже не может быть выдвинута.

Эта-то борьба за землю и является пружиной всех тех нередко трагических столкновений, какие часто разыгрываются между обеими сторонами. Владимир С. прибыл на место причисления в 1884 году. Наслег тотчас же выдал ему 15 рублей «вспомоществования» и билет на золотые прииски с обязательством не возвращаться раньше года. В июне 1885 года С. возвращается, целый год живет исключительно на иждивении якутов, но, убедившись, что благодаря этому не добьется следующего ему надела земли, еще год кое-как перебивается, зарабатывая крохи чтением псалтыря над умершими, и только в 1887 году ему отводится надел, но... неполный: 7 десятин пахотной земли, 2 десятины покосной и ½ десятины усадебной. Пашня при этом граничит непосредственно с якутским выгоном, так что споры о потравах никогда не прекращаются.

Бей-Мухамед Э. прибыл в наслег в 1876 году. Общество немедленно снабдило его конем с условием, чтоб он немедленно уехал на прииски. До 1882 года незначительные подачки со стороны наслега освобождали наслег от дачи ему земли, но в этом году пришлось уже уступить. В 1885 году, после года неурожая, Э. добровольно возвращает взятую землю с тем условием, чтобы общество взяло на себя пропитание его с семейством. Последовало согласие, но два года спустя он вновь требует надела, и общество вновь вынуждено его отвести. Приведем еще один очень характерный пример.

Сирадзитын Г. с женой и двумя малолетними детьми прибыл в наслег в 1883 году, причем прибыл в марте, то есть в такое время, когда была возможность в этом же году воспользоваться землей для посева. Общество, прокормив его двадцать дней и отказав от земли на том основании, что в этом году от этого наслега отрезана земля в пользу соседнего селения сектантов, отправило его обратно в г. Якутск. Окружная полиция опять посылает его в тот же наслег. Цель, тем не менее, достигнута, время для обработки земли прошло... Целый год якуты по очереди кормят его и семью, но на следующий год опять перед началом полевых работ вновь отправляют его в город. Здесь Г. узнает об освободившемся наделе в другом наслеге и просится туда. Новый наслег, не имея законного основания для отказа в наделении его землею, соглашается отвести «надел», но... за 500 верст от места его нахождения, на самой границе Вилюйского округа, в центре проказы... Три года тянется борьба, во время которой одна из сторон продолжает жить на иждивении другой, пока наконец не наступает мир. Г. отводится надел: 3 десятины пахотной земли 1¹/₇ покосной. Пашня опять-таки рядом с якутским выгоном. До чего в этой борьбе пускаются в ход всевозможные средства, свидетельствует следующий очень любопытный

факт. В 1883 году якуты, «быв на общем сходе, имели суждение и о том, что живущие в их наслеге такие-то башкиры, известные на весь улус конокрады, отличаются безукоризненной честностью, вполне благопристойным поведением и т. д., почему вполне заслуживают применения высочайшего манифеста и возвращения на родину»... От якутского областного управления, куда был направлен этот приговор, получился самый строгий выговор; цель—освободиться хоть таким путем от незваных пришельцев — осталась недостигнутой, а когда, несколько месяцев спустя, у многих якутов оказался недочет в конном и рогатом скоте, «безукоризненные башкиры» не могли быть официально заподозрены в краже.

Мы остановились только и исключительно на самых заурядных примерах, оставив в стороне как тех горемык, которые бесследно пропадают в тинах приисковой жизни, так и тех «фартовых» удачников, которые умудряются обойти даже далеко не легковерных якутов, снискивают их доверие и, жестоко надувая их, устраивают свои делишки. До сих пор среди инородцев живет поселенец, которого якуты по собственному почину наделили землей наравне с своими самыми почетными инородцами... мало того, по собственному же почину ходатайствовали о разрешении ему сбросить позорную кличку «поселенца» и приписаться к данному роду в качестве его полноправного члена... Кое-кто из почетных инородцев-членов предлагал даже усыновить его, если это может устранить затруднения по приписке. Не прошло, однако, и года, как инородцы этого же рода, а в том числе и желавшие усыновить его, обратились к высшей администрации края с ходатайством об избавлении их от его плутовских козней, мошенничеств, кляуз и интриг высылкой его за пределы их наслега.

Такие «артисты», понятно, устраиваются прекрасно, но они не могут быть приняты в расчет, вся же масса уголовных ссыльных материально не обеспечена, благодаря чему обречена на скитание по приискам, на замену невольной работы на каторге каторжной же работой «добровольной». Целый ряд статей В. И. Семевского достаточно ярко рисует условия работы на приисках, останавливаться на этом вопросе мы поэтому не будем и ограничимся только указанием, что нравственно и физически искалеченные субъекты вряд ли могут там исцелиться от своих недугов. А между тем это участь большинства. Наделение землей, если бы оно даже не тормозилось якутами, имеет значение только для сравнительно зажиточных; у большинства же орудий производства нет и нет такого учреждения, на попечении которого лежала бы забота об этом. Грустные результаты такого положения вещей — налицо; масса ссыльных гибнет в тинах приисковой жизни, тюрьмы переполнены рецидивистами. В этом отношении сделан, несомненно, шаг назад против того, что было раньше. Вот документ, относящийся к 1846 году,

«...Как распоряжение начальства к поселению означенных ссыльных в якутские улусы есть то, чтобы усилить хлебопашество, к чему они могут быть хорошими руководителями в земледелии для незнакомых в совершенстве с этой лучшей отраслью продовольствия инородцам, которым препровождаемые ссыльные должны показывать, как заниматься хлебопашеством, то оные инородные управы обязаны оказать им всевозможные способы к посеву хлеба, отводом земель, наделением к разработке оной орудиями, лошадьми или быками и хлебными для посева семенами, в чем не может предстоять затруднения при благоразумном содействии родоначальников»[1].

Мы далеко не разделяем взгляда на ссыльных как на пионеров культуры, а в частности агрикультуры... В статье, посвященной скопцам[2], мы указали на то, что пионерство даже сектантов слишком дорого обходится инородцам, так что интересы инородцев страдали тогда так же, как и теперь, но относительно ссыльных вопрос был поставлен на более твердую почву: ссыльному предоставлялась не только земля, но и возможность действительно обработать ее и этим прокормить себя.

Документ 1846 года замечателен и в том отношении, что в нем видны и мотивы возложения на инородцев забот о поселенцах. Точка зрения тогдашней администрации была неправильная, ошибочная, но она имела в виду выгоду обеих сторон. Теперь фактически содержание и снабжение поселенцев всем необходимым не снято с якутов, но о вознаграждении за эти траты никто не заботится. В 1893 году Намским улусом, в котором мужских душ (не исключительно рабочих) 8533, потрачено на поселенцев 717 руб. 65 коп. — расходы официально утвержденные, в которые не вошли подачки натурой. Эта сумма может показаться незначительной, но если вспомнить, что якут в этом улусе за сажень дров с доставкой на место на своем быке получает 45 коп., да и те далеко не всегда, то станет ясным, что для него эта сумма не незначительна.

Мы видели выше, что, несмотря на всевозможные ухищрения, в конце концов в полном или, в лучшем случае, в урезанном размере якутам приходится отводить поселенцам и землю. Не только для обыкновенных уголовных ссыльных у якутов отрезается земля, но и для политических, и под сектантские селения, и под поселки для крестьян из ссыльных. Все это не могло расположить якутов в пользу пришельцев и, таким образом, фермент раздражения у обеих сторон — готов.

Но пришельцы — это не переселенцы, нуждой загнанные на далекую окраину. Преступные жертвы социальных условий, оз-

---

[1] Архив намской инородной управы. Дело о поселенных в Никольской слободке поселенцах. Началось 27 февраля 1846 года; кончилось 7 августа 1851 года (без номера).

[2] Известия Вост.-Сиб. отд. ИРГО, т. XXVI, № 4 и 5 «Хатын-Арынское скопческое селение».

лобленные пережитыми мытарствами ссыльные в борьбе за существование не ограничиваются легальным оружием. Кража, в частности конокрадство, грабеж, убийство рядом со спаиванием и обыгрыванием в карты — вот обычные приемы борьбы со стороны поселенцев. Ответом на них являются их «исчезновения». К несчастью, так как «свято место пусто не бывает», на место «исчезнувшего» является новый поселенец, борьба продолжается попрежнему.

Перейдем к политическим ссыльным.

Первый компромисс, на который они вынуждены были итти,— это брать землю у якутов. Без этого они не только не могли прожить, но и выстроить юрту и жить самостоятельно, а не углом у якутов. Этот шаг влек за собою другие. Взятые у якутов покосы сдавались якутам же, они их косили, отдавая ссыльному в виде арендной платы половину скошенного сена. Только на средства, добытые продажей этого сена, ссыльный мог постепенно приобрести необходимый живой и мертвый инвентарь и тогда только заняться самостоятельно сельским хозяйством. Еще на Каре нами было получено письмо Цукермана, описывающего эти условия со скорбным юмором, постоянно повторяющимся: «я даю якуту, то есть он мне дает». На Цукермана, покончившего в Якутской области самоубийством, удручающе действовали эти условия. Так же они действовали на многих других. Но большинство свыклось с ними и перестало замечать их уродливый характер.

Добившись с таким трудом возможности жить, это большинство с головой погрузилось в хозяйство, привязалось к собственному углу и, искренно продолжая себя считать революционерами, фактически погрязло в обывательской болотной тине.

Протест 22 марта, если бы он не был, так сказать, локализован, мог бы нарушить с таким трудом достигнутый покой и относительный уют. И он не встретил сочувствия.

Это несочувствие, у некоторых ссыльных переходившее во враждебность, конечно, обосновывалось соображениями принципиального характера, у весьма многих даже весьма искренно, у части действительно только этими соображениями, но несомненно, что описанные выше условия не остались без влияния на эти принципиальные отношения. Нельзя все же умолчать и о том, что сами участники якутского протеста давали обильный материал для такого принципиального суждения.

Далеко не все шли на такой протест, как вооруженное сопротивление по убеждению. «Пика я понимаю, — приходилось мне неоднократно слышать от «стариков». — Он шел на вооруженное сопротивление с открытыми глазами. Знал, на что идет, не скрывал, на что идет, и настоял на своем. Но многие другие»...— и мои собеседники пожимали недоуменно плечами...

Были такие, которые шли, будучи убеждены, что власти не решатся на крутые меры.

Но самое главное обвинение состояло в том, что до событий 22 марта идейно обосновывалась необходимость протеста и вооруженного сопротивления, а после того, как разразилась кровавая катастрофа, поглотившая шесть человеческих жизней, идейная сторона протеста была затушевана и говорилось только о жертвах.

«Старики» выдвигали, ставя эти обвинения, моральную сторону, совершенно упуская из виду политическую.

Я прибыл в Якутскую область после двух с лишним лет после мартовских событий, но и тогда еще ссылка была расщеплена на две части, и лишь весьма немногие, главным образом прибывшая уже после этих событий молодежь, относились сочувственно к «мартовцам».

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С ССЫЛЬНЫМИ

Посещавший меня в тюрьме Леонард Френкель уговаривал меня подать заявление о назначении мне местом жительства один из наслегов Намского улуса, где жил Серошевский, пользовавшийся особыми симпатиями Френкеля, и еще два поляка — Александр Сипович и Эдмунд Студзинский...

Я отказался и по принципиальным соображениям, и потому, что считал недопустимым всякое обращение к замешанным в якутской бойне, а в то время главный виновник мартовской драмы — Осташкин — продолжал занимать пост вице-губернатора и ввиду отъезда губернатора правил областью.

Возбуждал ли Стефанович ходатайство о назначении его в Намский улус, не знаю, но он был туда назначен, а мне было отведено какое-то место, от которого Гейман пришел в ужас (теперь уже названия этого места не помню). Я имел законное основание протестовать против такого назначения, так как к моему статейному списку было приложено врачебное свидетельство, удостоверявшее, что я должен отбывать поселение в местности, где есть медицинская помощь, но меня влекло навстречу новой жизни, и я отправился по месту назначения в сопровождении приехавшего в тюрьму за мной казака.

Грязный, в лоснящейся от накопившейся на ней грязи синей дабовой одежде, — такой, какую носили все якуты, — этот казак только шапкой с желтым околышком отличался от якута. Он говорил по-русски, то-и-дело вставляя якутские слова. И у него, как и у якутов того времени, глаза загорались жадностью при виде куска сахару или белой булки, и он наподобие иеранасов (якутов-нищих) попрошайничал при каждом удобном и неудобном случае. Меня с непривычки стесняло то, что он как собака глазами сопровождал каждый кусок пищи, который я клал в рот. Это делали и якуты, но они действительно голодали, и впоследствии мне не раз случалось видеть, как они отнимали у собак брошенную им кость, на которой

еще виднелись крохи мяса. Этот же казак был довольно зажиточным. У него был свой домик в Якутске, он получал казенный паек, получал жалованье, подрабатывал и мелкой торговлей с якутами при каждой командировке в улусы. От политических, которых он сопровождал к месту назначения, ему тоже перепадало «на чаек», о чем он подробно сообщал каждому вновь им сопровождаемому с определенной целью получить и от него. Ради этого «на чаек» он был очень услужлив и предупредителен.

Путешествие до Батурусского улуса, через который вел путь в назначенное мне злачное место, на тряской телеге по кочкарнику и тайге, под бренчание комариной песни, доводящей и без укусов до одурения, было очень утомительно. Переправившись через Лену, мы ехали, не останавливаясь даже на ночь, делая лишь краткие остановки для перемены лошадей.

Наскоро закусив, мы двигались дальше. И я хотел быть как можно скорей на «свободе», и казак торопился, рассчитывая выгадать на суточных. Вначале скрашивал эту нудную дорогу суровый вид страны с ее хвойными, по преимуществу лиственными лесами, с огромными озерами, со стаями диких уток и гусей, взлетающими при приближении телеги, с обнаженными до пояса якутами, косящими или вернее секущими траву своими косами-горбушами, с маленькими якутятами, бегающими нагишом, с жмущимся к дымокурам скотом, поражающим своей мелкотой, с табунами линяющих лошадей...

Но только вначале. Уже на другой день это однообразие начало утомлять, а дикое, напоминающее лай собаки пение якута-ямщика действовало угнетающе.

— Скоро подъедем к государскому, — под конец второго дня пути сообщил мне казак. — Хороший человек и хорошо живет...

Я тогда впервые услышал этот термин «государский» или, как якуты произносили, «сударский» в применении к «государственным» ссыльным — термин, как оказалось впоследствии сбивавший с толку якутов. Они его толковали в смысле «преступники государя» — самого царя. А так как этим царевым преступникам казаки, исполнявшие функции надзирателей, ежемесячно привозили деньги, и немалые — целых двенадцать рублей в месяц, — так как эти деньги были казенные и сам исправник их отправлял, то вывод напрашивался сам собой, тем более, что эти так щедро одаренные царем люди резко отличались от уголовных. Вывод довольно оригинальный. «Сударские» — это приближенные царя. Он рассердился на них за что-то и сослал, но он продолжает их любить, заботится о них, присылает им деньги. Не сегодня-завтра они, впавшие в немилость, могут быть вновь вызваны к царю и занять высокие посты в государстве.

Весьма вероятно, что эта в мое время уже отмиравшая

легенда была лишь смутным отголоском того времени, когда по цареву приказу в ссылку попадали вельможи царевы.

— Сытно живет, — продолжал восторгаться казак, — хозяйство завел, якутку взял.

Я весьма мало обращал внимания на то, что плел казак, и уловил из его болтовни лишь то, что мы подъезжаем к товарищу по судьбе.

Не прошло и получаса, как раздался лай выбежавших навстречу грохотавшей телеге собак, а несколько минут спустя показалась и построенная на возвышении юрта, а рядом с ней — целый ряд хозяйственных построек.

Из юрты навстречу нам вышел одетый в смешанную русско-якутскую одежду человек лет 32—35 и отрекомендовался — фамилии не помню. Это был один из осужденных солдат по делу Нечаева[1].

Юрта отличалась от якутской тем, что в ней настлан был пол и что она была значительно чище. Но, пожалуй, только этим да разве еще тем, что на камельке (камине) не трепыхались перед огнем надетые на колышек живьем зажариваемые маленькие рыбки-мундушки, которыми нас потчевали на всех якутских стоянках. Возле камелька возилась якутка, стряпавшая ячменные лепешки к чаю, как оказалось, взятая на время в жены-хозяйки.

Этот ссыльный, к несчастью, не представлял исключения. Очень многие ссыльные обзаводились такими временными женами, которых, уезжая из Якутии, бросали: одни — оставляя им в благодарность корову или лошадь, другие — не делая даже этого, хотя у многих были дети, делавшиеся посмешищем якутов как выделявшиеся своими белокурыми волосами и «ледяными глазами» — «мус хара», а несчастные матери этих белокурых ребят делались проститутками.

Это сожительство с временно взятыми в жены якутками

---

[1] Сергей Нечаев — одна из замечательных фигур революционного движения 60-х и начала 70-х годов прошлого столетия. Находился под сильным влиянием Бакунина, организатор общества «Народная расправа» или «Общества топора», ставившего себе целью организацию народной революции в России. Вскоре общество было разгромлено царским правительством, но Нечаеву удалось бежать в Швейцарию. В 1872 г. швейцарское правительство выдало Нечаева России. Геройски вел себя на суде и был приговорен к 20 годам каторги и заключен в Петропавловскую крепость. Отличаясь огромной волей и силой убеждения, он совершил неслыханный в истории поступок, а именно: спропагандировал карауливших его солдат и завязал связь с революционерами на воле, предложив план освобождения заключенных в Петропавловской крепости. Однако партия «Народной Воли» в это время была занята подготовкой покушения на Александра II, и Нечаев, узнав об этом, отказался от своего побега. Связь Нечаева с солдатами была раскрыта, и последние были сосланы в Сибирь.

было настолько частым, что оно перестало коробить и ни с чьей стороны не вызывало протестов...

Но тогда я в первый раз натолкнулся на это явление, и если оно меня не поразило, то лишь только потому, что оно гармонировало со всем, на что я натолкнулся у этого «нечаевца».

У него было гораздо больше общего с сопровождавшим меня казаком и ямщиком-якутом, чем со мной. Он даже не поинтересовался, кто я, откуда и куда направляюсь, но в то же время вел с ними оживленную беседу, справляясь о том, что слышно в городе, какие цены на хлеб, на товары и т. д.

Я сидел как на иголках и торопил казака, повидимому недоумевавшего, чем вызвана эта торопливость, когда хозяин не жалеет ни лепешек, ни чаю, ни даже сахару к чаю...

С тяжелым чувством покинул я «гостеприимного» хозяина, как я узнал впоследствии, окончательно разложившегося и замкнувшегося в себе до такой степени, что он не поддерживал связи даже с товарищами по процессу, солдатами, осужденными за сношение с Нечаевым в Петропавловской крепости, из которых некоторые, как Тонышев, пользовались в ссылке уважением и полностью вошли в среду ссыльных. Для данного ссыльного сношения с Нечаевым, за которые ему пришлось так жестоко пострадать, были тяжелым воспоминанием временного увлечения юности; Тонышев об этих сношениях вспоминал с восторгом и, рассказывая о них, рассказывая о Нечаеве, оживал.

Казак обратил внимание на удрученное состояние, в каком я находился, и утешал меня по-своему...

— Приедете, устроитесь, возьмете якутку, обзаведетесь хозяйством и заживете как он...

Заманчивая перспектива!

На следующий день утром мы подъехали к батурусской управе — нечто вроде волостного управления. От писаря я узнал, что в этом же поселке живет И. И. Майнов, а верстах в четырех от управы в покинутой скопцами, ранее выстроенной ими, Чурапче живет много «государских».

Я направился к Майнову.

Стройный, красивый, с умными черными глазами, Майнов поразил меня своим костюмом, если можно назвать костюмом расстегнутую и не прикрывающую грудь, а вдобавок во многих местах разорванную рубашку и не то штаны, не то кальсоны, не то белые, не то серые.

Такой «костюм» его мало смущал, и он не менял его даже при выходе из дому. Но в Майнове я сразу, с первых слов почувствовал товарища, на этот раз без кавычек.

Интеллигентный, начитанный, умный и остроумный, он сразу располагал к себе.

— Вы пообедаете у меня?

— Охотно.

Он достал с полки горсть запыленных сухарей и положил

их на стол, а затем зачерпнул ковш воды и влил в стоявший на камельке казанок с каким-то варевом.

— Готово.

Это упрощенное кулинарное искусство меня заинтересовало. Майнов пояснил.

— Просто. Кладу кусок мяса в казанок, посолю и наливаю воды. Если вся вода выкипит — у меня жаркое, если остается жидкость — суп и вареное мясо...

Действительно, просто. На этот раз должен был быть суп, и поэтому Майнов на мой пай расщедрился лишним ковшом воды.

— А теперь пойдемте купаться.

Я восемь лет уже не купался в реке, но когда-то плавал настолько хорошо, что, когда строились планы побега с баржи на Оби, я даже не задумывался над тем, доплыву ли я до берега. И тут, когда Майнов бросился с берега, я не колеблясь сразу бросился за ним, по давно усвоенной привычке нырнул и... чуть не утонул. При вечно мерзлой почве чем глубже, тем вода становится заметно и чувствительно холоднее. У меня захватило дыхание, и я еле-еле добрался обратно на берег. Но зато не только освежился, но в первый раз после стольких лет почувствовал себя свободным. Никто не следил за мной, никто не ходил по пятам...

Вернувшись, мы «пообедали» и часа два беседовали.

О чем? Как сказать... Обо всем. О Каре и о воле, об якутской ссылке и ссыльных, об общине и о терроре, о внутреннем положении в стране и о странах Запада. В беседе, как обыкновенно при таких встречах, мы прыгали с одной темы на другую, причем более интересовались тем, чтобы составить себе друг о друге ясное представление, чем разработкой темы. И я тогда же заметил в Майнове одну черту, общую у него со многими карийцами, весьма интеллигентными, начитанными и развитыми и, несмотря на это, болеющими великорусским шовинизмом. Таким был один из самых выдающихся карийцев — Павел Орлов, поклонник Южакова, тогдашнего радикала, иностранного обозревателя. Таким был и на всю жизнь остался и Иван Иванович Майнов.

Помнится, когда я года два спустя в статье о скопцах и их роли как пионеров земледелия в Якутской области осмелился написать, что якуты могут сказать скопцам: «Роль ваша сыграна, Якутия для якутов», Майнов считал это либо фразой, либо... глупостью.

Не раз мы впоследствии спорили с ним по этим вопросам, но тогда, при первой встрече, я только намотал себе на ус «великодержавность» и перевел разговор на другую тему.

— Зачем вам ехать чорт знает куда? — недоумевал Иван Иванович.— Ведь это еще далеко за Амгой... Оставайтесь на Чурапче...

— Рад бы в рай, да грехи не пускают...

— Пустое. Заявите в управе, что вы больны, вас отвезут в город, там напуститесь на исправника, дайте ему понять, что вы будете постоянно возвращаться в город, — и вас оставят на Чурапче...

На Чурапче было в то время много бывших карийцев и остаться там мне хотелось.

Я поехал на Чурапчу... Первым с краю, возле мостика, издали блестел русский дом, в котором жили Костюрины. К ним первым я явился с «визитом».

Большего контраста, чем между логовищем Майнова и этой мещанской квартирой с занавесочками, цветочками, фотографиями на стене, и представить себе нельзя. Это были два мира. Там — черствые сухари, тут — самой Марией Николаевной изготовленное мороженое. Там — отсутствие всякого намека на уют и полное нигилистическое отношение к нему, тут — забота о малейших удобствах и довольство со стороны Виктора Костюрина «своим обедом и женой» и двумя детьми — девочками, с которыми больше возился Виктор, благодушно улыбавшийся, когда девочки, взобравшись на стул за его спиной, похлопывали его по блестящей лысине.

Я за целый ряд лет успел уже «опроститься», и меня коробила вся эта обстановка. Но уйти, как мне ни хотелось, и поскорее добраться до друзей-карийцев было нельзя, и я волей-неволей поддерживал разговор с хозяевами. Виктор говорил мало, но вставляемые им время от времени замечания свидетельствовали о большом природном уме, наоборот, Мария Николаевна говорила много, очень много, самоуверенно, блистая своей начитанностью, ссылками на авторов, весьма часто без всяких для этого оснований, так как цитируемые ею авторы ничего подобного не говорили. Как «благовоспитанный поляк» я ей не давал понять этого и не уличал ее, и она все более и более оживлялась, я бы сказал, разгоралась... Но вдруг потухла, умолкла.

В комнату вошел, узнав о моем приезде, старый мой приятель по Каре В. С. Ефремов.

Застенчивый по природе, старый холостяк, особенно смущавшийся в присутствии женщин, он еще на воле отличался тем, что пуще огня боялся их присутствия на конспиративных собраниях.

По прибытии в Якутку ему пришлось переломить себя и хотя и очень редко, но все же от времени до времени заходить к Костюриным. Во время этих посещений он обыкновенно молчал. Но однажды не выдержал и, когда Мария Николаевна сослалась на Михайловского, грубо, по-семинарски брякнул:

— Ничего подобного Михайловский не говорил.

С тех пор он посещал Костюриных только после того, как удостоверялся, что М. Н. нет дома.

Мой приезд вынудил его на этот раз отступить от этого.

Мы не видались давно. За это время разразилась на Каре буря протестов (в которых я принимал участие), и он не мог устоять против соблазна поскорей повидать меня и в первый раз узнать от участника протестов подробности и детали всего пережитого и смерти Бобохова и Калюжного.

О Ефремове весьма редко кто упоминает; даже и на Каре редко кто сближался с ним. Внешний вид его составлял полный контраст с тем, чем он был в действительности. Выше среднего роста, широкоплечий, весь обросший, в распахнутой рубахе, в «котах» на босу ногу, в накинутом на одно плечо халате, он производил впечатление разбойника с большой дороги, и этому своему виду он и обязан тем жестоким приговором, который обрушился на него без всяких оснований. В действительности о нем можно было сказать: «вдали—медведь, вблизи—теленок».

Мягкий, добродушный, сердечный, отзывчивый, застенчивый до болезненности, он с этими чертами сочетал большую интеллигентность и редкую начитанность. Слабым и больным его местом была прямо невероятная неуверенность в себе и вытекающая из этого шаткость мировоззрения. На него весьма легко влияли лица, которых он часто незаслуженно ставил выше себя.

Было время, когда он был близок к марксизму, но оно длилось недолго, и он как-то даже незаметно для себя повернул обратно в сторону народничества.

Другой его слабой стороной была — выпивка. Он пил редко, но зато помногу. Его нельзя было считать алкоголиком. Нет... Чувствовалось, что гложет его какой-то червь, и он его заливает. Об этих выпивках он на фотографической карточке, данной мне им, когда мы расставались, написал следующее:

Не даром век мой долгий прожит,
Не даром небо я коптил,
Тоска по прошлому не гложет,
Страдал, работал в меру сил.
Но кто ж пророк в своей отчизне?
И я глушу тяжелый стон:
Эх, не видать венков при жизни,
По смерти — пышных похорон!
Но все ж я льщу себя надеждой —
Друзья меня помянут так:
Во всем покойник был невеждой,
Но выпить — право, не дурак...

Прошло еще несколько минут, и квартира Костюриных заполнилась. Пришел Митрошка Новицкий, наш незаменимый карийский староста, опекун и кормилец Кары в течение целого ряда лет, даже по выходе в вольную команду. Спокойный, уравновешенный, не лишенный юмора, он, казалось, совсем погряз в хозяйственных делах Кары, вытеснивших из его головы все, что не относится к кормежке заключенных. Но это только казалось.

На Чурапче я имел возможность убедиться, что он сохранил живую мысль, что он не проходит безучастно мимо явлений, пытается их осмыслить, осознать, понять...

Характерно, что мною это замечено только на Чурапче и что этой черты Новицкого не уловили и многие карийцы. Причину этого я наблюдал и на себе. Новичок на Каре изучается товарищами по заключению только в первые моменты после его прибытия. Когда процесс ознакомления закончился, устанавливался «диагноз», и проверка не делалась, какие бы изменения в человеке ни произошли, разве что он совершит уж такой поступок, что мимо него пройти нельзя. Именно благодаря этому подача прошения о помиловании такими людьми, как Бух, Позен, мичман Калюжный, поразила всех своей неожиданностью.

Я на Каре работал много, и понятно, что тот уровень развития, с которым я прибыл на Кару, сильно отличался от того, с каким я уходил.

Явился к Костюриным и Осмоловский, и я удивился только тому, что он дал опередить себя Ефремову. Ведь ему следовало ранее всех знать о моем прибытии, ранее всех добиться от меня интервью. Это был репортер по натуре, если так можно выразиться. На Каре ничто не проходило мимо него, он обо всем узнавал первый и всех оповещал.

На Каре он долгое время заведывал конспиративной почтой... Но во всем этом его занимал самый процесс. Не более. Идейно, по-моему, он давно выдохся, что особенно ярко выявилось уже по выходе его на поселение. Женившись на местной учительнице, он окончательно потерял прежний облик и дошел даже до того, что занял должность, объявленную ссыльными под бойкотом. Не помню кем, но по всей вероятности Ефремовым, по этому поводу написано стихотворение:

Ну и пошли же времена...
И как же «умны» стали!
Ведь даже не Христа
За тридцать пять продали.

Бойкотированная должность оплачивалась 35 рублями...

Кроме названных, пришли ранее не знавшие меня бывшие каторжане Горинович, Белоцветов и административный, совсем еще молодой Вадзинский.

С Белоцветовым мне так и не удалось познакомиться ближе. Он вскоре уехал. Вадзинского я также мало узнал. Помню только, что он не особенно долюбливал карийцев и объяснял это тем, что они «не понимают молодого поколения...»

После его отъезда я о нем ничего не слыхал, а «не понимавшие молодого поколения» карийцы бок о бок с молодым поколением боролись в памятные дни 1905 года...

Несколько слов необходимо посвятить и Гориновичу. Жизнерадостный, довольно-таки легкомысленный, мастер, что назы-

вается, на все руки: он и лечил якутов, и мастерил, и прекрасно пел, и за женщинами увивался, притом благодаря своей увлекательной наружности не без успеха, и не упускал случая поразвлечься. Жил — не тужил. Товарищи его любили, он любил товарищей. Но и только. Вопросы принципиального характера его весьма мало интересовали, в спорах он не принимал участия, а серьезные беседы наводили на него скуку.

Собравшиеся у Костюриных единогласно решили, что мне нет никакого смысла оправляться туда, куда Макар хоть телят и гоняет, но других ссыльных, кроме меня, наверно, не загонит, и что мне поэтому надо сказаться больным, вернуться в город, слечь в больницу и дать себя освидетельствовать, а остальное... приложится.

Так я и сделал. Доставивший меня в батурусскую управу казак уже успел уехать, и я, передохнув день на Чурапче, снова отправился в сопровождении назначенного управой якута в славный город Якутск.

ВНОВЬ В ЯКУТСКЕ

Мое возвращение в Якутск не произвело на исправника никакого впечатления. Он уже привык к такого рода возвращениям и не без иронии спросил:

— Успели уже заболеть?.. Придется вам лечь в больницу.

Я не возражал и в тот же день очутился в больничном бараке, которым заведывал врач Несмелов.

Круглый невежда, не признававший никаких лекарств кроме доверовых порошков, касторки и иода, он всю работу взвалил на столь же невежественного фельдшера, но утром обходил больницу и считал, что больше этого никто от него требовать не в праве.

Не говоря уже о больных и о врачах, но и администрация негодовала по поводу его отношения к своим обязанностям. И все-таки он продолжал нести эти обязанности благодаря протекции архиерея, которого он развлекал, играя при нем роль шута...

Когда кто-нибудь из политических ссыльных попадал к нему в больницу, он употреблял всевозможные средства, чтобы его сплавить как можно скорее и этим избавиться от нежелательных свидетелей его медицинской практики. Узнав, что при моем статейном списке имеется соответственное свидетельство авторитетных врачей, он обрадовался:

— Конечно, конечно, вам необходимо жить в городе...

— Я на это не претендую... Меня бы оставили на Чурапче.

— На Чурапче, так на Чурапче. Я так и напишу, а вас выпишу... Зачем вам оставаться в больнице... В городе веселее.

И выписал.

Я не сразу уехал на Чурапчу, а только через три дня, и использовал это время, чтобы познакомиться с товарищами.

Начал я это знакомство с Доллеров. У них на квартире всегда околачивались ссыльные. Он только в редких случаях появлялся и всегда встречал гостей какой-нибудь иронической шуткой по адресу жены. Она, живая и отзывчивая, отмахивалась от этих шуток и не только со ссыльными вела оживленные беседы о революционном движении и о затрогивающих ссылку вопросах, но ухитрялась и кое-кого из местных семинаристов вовлечь в эти беседы.

Этих семинаристов Доллер иначе не называл как «Софьины дураки», но Софья Наумовна не обращала на это никакого внимания, а впоследствии кое-кто из этих «Софьиных дураков» стал преданным делу революционером. Софья Наумовна воздействовала при этом на молодежь своим энтузиазмом и своим революционным темпераментом. Это была старого типа «бунтарка», не особенно разбиравшаяся в существовавших тогда в революционной среде разногласиях, но горячо откликавшаяся на всякое событие.

Острил над ней не один ее муж. Острили и другие. Она огрызалась, но продолжала свое дело.

Ее любила молодежь. Любили и ссыльные. Последние ценили в ней ту отзывчивость, которую она всегда проявляла по отношению к товарищам. Для «мартовцев» — так называли участников якутского протеста 1889 года — она была звеном, соединяющим их из Вилюйска, где они отбывали каторгу, с остальным живым миром.

Как только я вошел к Доллерам, Софья Наумовна учинила мне самый подробный допрос о Каре... Ее муж вошел на минутку, поздоровался, сказал несколько слов и удалился, не преминув сострить:

— Ну, Соня поймала новую жертву... Скоро от нее не отделаетесь.

В 1905 году я зашел к С. Н. в Петербурге.

Она была такой же, какой я ее знал в 1891 году. Даже смерть мужа, утонувшего в Якутске, только на очень непродолжительное время выбила ее из колеи. Она быстро овладела собой и с таким же увлечением, как и до этого, возилась с молодежью, пересылала конспиративно письма в Вилюйск, спорила и обрушивалась на тех ссыльных, которые начали погрязать в обывательщине...

У Доллеров я познакомился и с Чикоидзе, проживавшим в Намском улусе и приехавшим в город за покупками.

По характеру это был человек сродни Софье Наумовне, но в идейном отношении значительно ее превосходящий. У нее преобладал темперамент, он, не уступая ей в революционном темпераменте, был человеком определенных убеждений и весьма часто вступал в словесную драку с противниками «На-

родной Воли». Осужденный по «делу 50-ти», он бежал из ссылки, долгое время мыкался, пока установил связи с революционерами, а установив их наконец, не был использован надлежащим образом. За этот побег он не только поплатился несколькими годами каторги, но над ним и подтрунивали по поводу его «плодотворной» деятельности. Это неиспользование и его угнетало, но, как только кто-либо пробовал из-за этого затронуть организацию «Народной Воли», Чикоидзе с такой яростью набрасывался на него, что тот быстро переходил от нападения к обороне. По отбытии каторги Чикоидзе очутился в Якутской области вопреки закону, воспрещавшему уроженцев Кавказа ссылать в Якутскую область, как слишком вредную для них по климату. Чикоидзе не счел для себя возможным добиваться переселения на юг и, только по получении права приписки в крестьяне и добившись паспорта как «крестьянин из ссыльных села Доброго», выбрался в Иркутск, где и рассчитывал осесть. Он тогда уже был серьезно болен туберкулезом, но Иркутск как столица генерал-губернаторства тщательно оберегался от «крамолы»: ему не разрешили оставаться в Иркутске. Узнав об этом, Чикоидзе рассвирепел. Он явился к генерал-губернатору Горемыкину, на всю Сибирь прогремевшему своим самодурством, и напустился на него так, что тот опешил и уже примирительным тоном спросил:

— И чего же вы в конце концов хотите?

— Только того, чтобы раз навсегда избавиться от вас и уехать из вашего генерал-губернаторства.

Это подействовало. В тот же день Чикоидзе была прислана на дом соответственная бумага, и он уехал в Курган. Но было уже поздно. Несколько месяцев спустя он умер.

О нем сохранилось весьма мало воспоминаний. Он не был выдающимся деятелем, но был революционером до мозга костей...

Вслед за Чикоидзе пришли к Доллерам и другие товарищи: Н. О. Коган-Бернштейн с маленьким сыном Митей, не перестававшим удивляться тому, что «все мамины знакомые приходят к ней из тюрьмы», Свитыч, Говорюхин...

Кроме того, что все они были ссыльными, вряд ли их что-либо связывало друг с другом.

Наталия Осиповна еще не пришла в себя после обрушившегося на нее несчастья... Ее муж Л. Коган-Бернштейн был казнен по процессу «мартовцев». Раненный во время столкновения с доблестным якутским воинством, он не мог ходить. Его на носилках принесли на место казни и на лежачего надели петлю.

Свитыч, рассказ которого был напечатан в «Русском богатстве», считал себя больше литератором, чем ссыльным, и со всеми говорил только о подготовляемых им новых беллетристических очерках...

А Говорюхин, убивший по неосторожности одного из товарищей по ссылке и приговоренный за «неосторожное обращение с

оружием» к тюремному заключению на год, угрюмо слонялся по городу, с осторожкой беседуя с товарищами, словно опасаясь, что кто-нибудь затронет этот вопрос.

Оживленная беседа, разгоревшаяся с приходом Чикоидзе, по мере появления перечисленных выше товарищей постепенно замирала...

Посидев немного, говоря откровенно, тоже больше для приличия, я ушел.

ЗНАКОМСТВО С ВОЙНАРАЛЬСКИМ

В течение трех дней пребывания в этот раз в Якутске я успел познакомиться еще с целым рядом ссыльных, из которых, несомненно, самым выдающимся был Порфирий Иванович Войнаральский.

При встрече с ним я вновь испытал то чувство, какое испытывал в момент прибытия на Кару. Войнаральский для того революционного поколения, к которому я принадлежал, был легендарным революционным героем. Еще гимназистом я восторгался им. Слухи о том, что он в Верхоянске занялся торговлей, доходили и до Кары, но то ли они получались в период протеста, то ли почему-либо другому, но они не произвели большого впечатления, и для меня Войнаральский оставался героем-революционером.

Когда я приехал в Якутск, он жил в семи верстах от города по направлению к Богородцам, на ферме, которой он заведывал. Я отправился туда и уже по дороге усомнился, следует ли мне ехать на ферму. По обеим сторонам дороги в довольно большом количестве валялись бутылки из-под водки. Как оказалось, частенько-таки кое-кто из ссыльных после изрядной выпивки, запасшись несколькими бутылками водки, отправлялся на ферму, где доканчивалось начатое в городе. Но у ехавших нехватало терпения дождаться прибытия на ферму и часть заготовленных бутылок опорожнялась по дороге. Было время, когда этими выпивками бравировали. «Казачество» — как тогда называли это буйное проявление пьянства—считалось удалью, молодечеством. Я застал его уже на исходе. Оно как-то само по себе исчезало вне зависимости от влияния ссыльных, не принимавших участия в выпивках. Весьма возможно, что та атмосфера, какая воцарилась после якутской бойни и расправы с ее участниками, изменила отношение ссыльных к выпивке.

В выпивках принимал участие и Порфирий Иванович, но он не «казачил», не бахвалился этим. Но ферму для выпивок предоставлял охотно, быть может с целью хоть этим путем разогнать тоску.

А то, что его томила тоска, это бросалось в глаза при первой встрече с ним.

Меня он встретил радушно, но с каким-то особенным от-

тенком. Так встречает человек в преклонном возрасте увлекающегося юношу, а в то время ни я не был юношей, ни он — старцем. Он с какой-то снисходительной улыбкой слушал рассказ о событиях на Каре, так же снисходительно он отнесся к моему рассказу о «Пролетариате»... Вставляя от времени до времени какое-нибудь замечание, он поражал меткостью этого замечания и той быстротой, с какою он ориентировался в вопросе. Из этих замечаний я заключил, что он попрежнему оставался верным народничеству, отрицательно относился к «Народной Воле» и еще более отрицательно — к «Пролетариату»...

— Мало, мало внимания вы, пролетариатцы, уделяли крестьянству.

Но и с Войнаральским беседа очень скоро иссякла. Не о чем было говорить.

Эта встреча с человеком, которого до знакомства с ним я боготворил, оставила во мне горький осадок. Интеллигентный, умный, но в годы пребывания в ссылке мало читавший по общественным вопросам, он произвел на меня далеко не то впечатление, какого я ожидал. Этим я в настоящее время объясняю себе тот свой поступок, который не мог не причинить ему крупной неприятности.

Я уже упоминал, что Войнаральский в Верхоянске занялся торговлей. Я глубоко убежден в том, что та кипучая энергия, какой он отличался, должна была найти выход, что применить ее было не к чему и что это именно толкнуло Порфирия Ивановича на мысль о торговле. Сам он придавал этому занятию идейное обоснование. Этим он будет противодействовать обиранию якутов местными торговцами, а независимо от этого, располагая средствами передвижения, он сможет помочь собиравшимся бежать из Якутии ссыльным. И одно и другое было утопией, но заниматься просто торговлей, не украшая этого занятия соотвественной идеологией, Войнаральский, конечно, не мог. Не учел он при этом самого существенного — того, что в ссылке были люди, уже опустившиеся, и что они ухватятся за его авторитет для того, чтобы, делая то же, что и он, обезопасить себя от всяких нападок со стороны остальной ссылки. А это именно и случилось

Войнаральский стал ширмой для этих опустившихся.

Горько и обидно было за него. И несколько человек ссыльных, а в их числе и я, обратились к нему с коллективным письмом, в котором, хотя и в очень почтительной форме, но упрекали его в этом, не воздержавшись от указания, что занятие торговлей не приличествует такому революционеру, как он. Повидимому, наше письмо произвело на него тяжелое впечатление. Он нам ответил, но не по существу, а предложив те камни, какими мы его забросали, сохранить и бросить на его уже близкую могилу.

Больно было получить такой ответ. Больно и теперь вспомнить обо всем этом эпизоде.

Тут же я должен упомянуть, что при следующих встречах Войнаральский никогда не упоминал об этой переписке и наружно ничем не проявил, что был задет этим письмом.

На ферме я пробыл очень недолго и вернулся обратно в город.

ПЕШКОМ ПО ТАЙГЕ

Я не нашел в городе того, чего искал. Не нашел этого и по возвращении на Чурапчу. Чего? На этот вопрос я и сам не смог бы в то время ответить... Только гораздо позднее это стало для меня ясным. На Каре, как это ни кажется странным, было в жизни определенное содержание, была борьба, были обязанности по отношению к товарищам, была подготовка к жизни на свободе.

С прибытием на «свободное» поселение все это оборвалось, исчезло... Не знаю, как другие, но я страшно томился этим до тех пор, пока не удалось вновь уцепиться за жизнь, найти хоть какое-нибудь содержание.

На Чурапче были карийцы, но не было Кары, не было карийской, товарищеской спайки. Каждый жил своей личной жизнью. Одни с головой влезли в хозяйство, другие пробавлялись охотой, кое-кто зарылся в книгах.

Я не находил себе места...

— Пойдем в гости к Росте (Ростиславу Стеблин-Каменскому), — предложил Горинович.

Стеблин-Каменский жил в Мединском улусе в 120 верстах от Чурапчи. Лошадей у нас не было и предстояло итти пешком. Но я нисколько не колебался, и мы отправились, — если мне память не изменяет, — вчетвером: Горинович, Осмоловский, Майнов и я.

Шли по направлению к улусу по узким тропинкам, лишь изредка встречая якутов, которые давали нам указания, как пройти дальше, где переночевать. Это был важный вопрос. Якуты, как огня, боялись уголовных поселенцев, весьма часто расплачивавшихся с хозяевами за гостеприимство кражами, а то и издевательством и насилием над ними. Когда стемнело, мы постучались в торчавшую на дороге юрту, но нас туда не пустили, сообщив, что тут больные и что верстах в трех находится юрта тойона [1] — где нас охотно примут и где нам будет удобнее.

— Большая юрта, — убеждал нас чей-то женский голос из-за двери, — улахан тойон — большой богач там живет...

Делать было нечего. Мы отправились не солоно хлебавши дальше на поиски этой юрты. Дело было в начале сентября, ночи были уже холодные, и мы продрогли.

---

[1] Богач.

Якутское жилье заметно издали. Из труб поднимается столб искр, дым чувствуется на далеком расстоянии.

Мы прошли уже целый час, не заметив никакого жилья...

— Вернуться обратно, что ли? Надула, проклятая, — раздумывал Горинович.

— Не стоит. Как-нибудь набредем на жилье.

После двух часов набрели. Юрта была не заперта; мы вошли и своим появлением вызвали переполох...

— Сударские, — успокаивал жильцов Горинович, единственный из нас хоть немного владевший якутским языком

Провизию мы таскали с собою. И когда мы выложили на стол ковригу хлеба, калачи, кирпич чаю и сахар, отношение к нам сразу изменилось: хозяйка засуетилась возле камелька и поставила на таганок чайник, хозяин вступил в разговор, прежде всего расспрашивал каждого, как его звать.

— Василий — Бахилей, — по-своему тут же переделывал якут, — Иван — Уйбан, Григорий — Гергелий, Феликс — Перец.

Последняя переделка была нами встречена смехом, но якута это не смутило.

— Мама, тятя бар-ду? (Есть ли мать, отец?) — продолжал он допрос.

Мы отвечали, а тем временем вокруг низенького стола расселось довольно много народу, разлакомившись на даровое угощение. Грозила опасность, что мы останемся на дорогу дальше без продуктов, но Горинович, который уже не впервые делал такие прогулки, дал каждому по маленькому куску хлеба, а остальную часть ковриги сунул было в мешок, но из всех углов потянулись женщины и дети с протянутыми руками:

— Бэрысь (поделись).

Это «бэрысь» — самое распространенное явление в Якутии, и многие характеризуют это как попрошайничество. Это неверно... Такое же явление я отметил много лет спустя у сойот — танну-тувинцев.

Там до сих пор сохранился обычай «уджа». Каждый *должен* делиться с другим добытым им. Это один из пережитков первобытной коммуны. Требуя этого, якуты не просят, не попрошайничают, а требуют того, что им принадлежало когда-то по праву, а теперь по обычаю.

Пришлось опять залезать в мешок и наделять всех присутствующих. Якуты оживились. Потянулся к столу и едва-едва передвигающий ноги старик, как оказался — нищий, если применить русский термин. В действительности это — бедняк, а не просящий милостыню нищий. Ему нечем жить, и он кормится у соседей, переходя на день, на два из одной юрты в другую. Хозяева не в праве ему отказать в крове и пище.

В юрте было душно и смрадно. Тут же находились телята, забегали в юрту и собаки.

Было поздно. Хозяева нам отвели место на построенных возле стен низеньких нарах, как почетным гостям под образами, и вскоре в юрте воцарилась тишина.

Все уснули. Только нищий старик еще долго возился возле камелька, грея старые кости и мурлыча монотонно песню о том, как приехали «сударские», напоили его чаем и одарили не только хлебом, но и сахаром.

Чуть рассвело, мы двинулись в путь.

Только на третий день, вечером, мы подошли к юрте Стеблин-Каменского. Но только подошли. Отделяла нас от этой юрты речка. Мы знали, что где-то тут должен находиться мостик, но было темно, и мы не могли его найти.

Другого выхода не было, как начать кричать в расчете на то, что Ростя услышит, выйдет на крик и выручит нас.

Мы это и сделали.

— Ростя! Ростя! — кричали мы в одиночку и все вместе.

Но Ростя не откликался.

— Погоди, я выстрелю, — решил Горинович.

Но и это не помогло. Ростя, как оказалось впоследствии, слышал выстрелы, но только выругался:

— Какой-то дурак возле самой юрты стреляет!

Мы были у самой цели путешествия, но добраться до Рости не могли.

— Делать нечего. Надо будет переночевать у якутов...

Мы уже повернули и больше «для верности», чем в расчете на успех, Осмоловский еще раз на прощанье крикнул:

— Ростя!

— А?! — раздалось в ответ с того берега. — Кто кричит?

Оказалось, что Стеблин случайно в этот момент вышел во двор и услышал зов Осмоловского...

Он подбежал к берегу, указал где мост, и мы, измученные вконец, очутились под его гостеприимной крышей.

УБИЙСТВО ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА

Я прибыл на Кару уже после того, как Ростислав Стеблин-Каменский ушел на поселение. На свои вопросы о нем я получал в большинстве случаев довольно оригинальный ответ:

— Как вам сказать? Ростя — это... Ростя. Просто Ростя.

И вот по прибытии по образу пешего хождения в Мединский улус я, познакомившись с ним, убедился, что хоть Ростя и Ростя, но далеко «не просто Ростя».

Хороший парень, чрезмерно суетливый, неглубокий, ревниво следящий за тем, чтобы никому не дать опередить себя в революционности взглядов, Ростя производил впечатление весьма поверхностного человека. Беседа с ним не удовлетворяла. Он скользил по вопросам.

Весьма часто к нему могло быть применено некрасовское:

> Что последняя книга ни скажет,
> То на душе его сверху и ляжет.

Но такое впечатление выносилось исключительно от беседы с ним. Совсем другое впечатление получалось от его литературных работ. Написанная им биография Попко лично на меня, несмотря на предубеждение, с которым я приступил к чтению ее, произвела огромное впечатление. Это был талантливый очерк, глубоко продуманный во всех деталях [1].

Ростя увлекался работой над составлением ряда биографий погибших революционеров и в бытность нашу у него читал нам некоторые из них, весьма яркие, хотя и менее талантливые, чем биография Попко, которую он, повидимому, писал с особенной любовью.

Три дня, проведенные нами у Каменских, проскочили очень быстро, но под конец были омрачены неприятным событием.

К юрте, в которой жили Каменские, подкатил на тройке казак из батурусской управы и, кланяясь и извиняясь, вручил И. И. Майнову бумагу, «приглашавшую» его немедленно явиться в Якутск для отбытия, если не ошибаюсь, месячного тюремного заключения за участие в составлении и отправке приветствия Французской республике по случаю столетия французской революции.

Майнов уехал, а мы втроем поплелись пешком обратно в «свою» Чурапчу.

Рости мне уже больше не пришлось видеть. Он вскоре после этого уехал из Якутской области, поселился в Иркутске и там покончил жизнь самоубийством по причинам, ничего общего не имевшим с его революционной и общественной деятельностью...

Обратный путь на Чурапчу был значительно труднее путешествия в Мединский улус. Выпал снег, тропинки исчезли, мы плелись, то-и-дело скользя и спотыкаясь, пока наконец не добрели до своих изб, где надеялись порядком отдохнуть. Но отдохнуть не пришлось. Оставшиеся на Чурапче товарищи сразу огорошили нас известием об убийстве Петра Алексеева...

В Якутской области уже раньше были случаи убийств и избиений политических ссыльных, которых принимали либо за хайлаков — уголовных поселенцев, как это было с Щепанским и Рубинком, зверски избитыми, либо «по ошибке» принимая их за других, как это было с Павлом Орловым.

Петр Алексеев был первым из убитых политических ссыльных, которого убили, зная, что он политический ссыльный. Это обстоятельство, если уже оставить в стороне то, что первой такой жертвой пал именно Петр Алексеев, прославившийся на

---

[1] Очерк этот перепечатан в № 5 «Былого» за 1907 год.

весь мир своим выступлением на процессе 50-ти»[1], произвело удручающее впечатление на всю ссылку. Многие, до этого никогда не думавшие о принятии мер предосторожности, обзаводились револьверами. Были случаи, что ссыльные, ложась спать, ставили возле кровати заряженное охотничье ружье и топор, другие не отлучались ни на шаг из дому без револьвера...

Чурапчинцам в связи с убийством Алексеева пришлось пережить еще другое.

Следствие по делу об этом убийстве вел «заседатель» Атласов. Он явился к нам, опросил Новицкого и вместе с ним уехал для производства следствия в наслег, где жил Петр Алексеев, а в недалеком расстоянии от него — Пекарский, Ионов и Трощанский. Для того, чтобы добиться результатов, Атласов счел необходимым совершенно изолировать заподозренных в убийстве Сидорова и Абрамова не только от их сородичей, но и от якутов, опасаясь, что они через якутов установят связь с теми, которых еще только предстояло допросить и которые могли их уличить. Каталажка при батурусской управе не давала гарантии в этом отношении, и Атласов добился от Новицкого согласия на то, чтобы заподозренные провели несколько дней у нас на Чурапче, в наших избах...

Их привезли, и нам, только недавно вышедшим из тюрьмы, пришлось волей-неволей в течение двух-трех дней играть роль тюремной стражи...

По этому вопросу у нас возникли большие разногласия.

И не только у нас, на Чурапче, но и повсеместно в колониях ссыльных Якутского округа. Часть ссыльных настаивала на необходимости всеми мерами содействовать следственным властям в обнаружении виновных и добиться «примерного наказания» убийц, «чтобы другим повадно не было»; другая часть находила, что как ни тяжела для нас потеря такого человека, как Петр Алексеев, да и вообще каждого товарища по революционной деятельности и по ссылке, но активно содействовать следствию, играть роль тюремщиков при существовавшем режиме, способствовавшем таким преступлениям, ссыльным нельзя. После увоза заподозренных в Якутск эти споры хотя и стали беспредметными и приняли скорее принципиальный характер, но долго еще волновали ссылку, не приведя в итоге к какому-нибудь определенному решению.

Я в то время чувствовал еще себя стопроцентным «арестантом» и резко реагировал на предложение стать караульщиком

[1] Рабочий-ткач, который на «процессе 50-ти» произнес замечательную речь, закончив ее следующими пророческими словами (привожу по стенограмме, напечатанной в сб. «Речи и биографии». Изд. 1907 г.): Петр Алексеев (говорит, подняв руку): «Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...» Председатель сенатор Петерс (волнуется и, вскочив, кричит): «Молчать! Молчать!» Петр Алексеев (возвышая голос): «... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..»

арестованных. Это вызвало некоторое охлаждение между мною и Новицким и Осмоловским, которое вскоре побудило меня подумать о перемене места жительства, и я под предлогом болезни снова поехал в Якутск.

Убийство Петра Алексеева вскрыло еще одно крупное разногласие между мною и очень многими из товарищей по ссылке. Этот единичный случай был обобщен, и кое-кто поднимал вопрос в такой постановке, с которой я ни в коем случае примириться не мог: якуты убивают русских и русским необходимо принять меры самозащиты. При этом упускалось из виду, кем были русские, кроме политических ссыльных, для якутов. Под впечатлением споров по этому вопросу мною была написана новогодняя сказка, напечатанная мною впоследствии в «Сказках сибирской действительности».

Привожу ниже эту сказку, как отражающую тогдашнее мое отношение к вопросу о сибирских «инородцах», но тут же должен оговориться, что, натыкаясь на произвол администрации по отношению к якутам, политические ссыльные сразу меняли точку зрения и превращались в опекунов и защитников якутов, о чем я говорю ниже.

СОН

(Новогодняя сказка)

Был канун Нового года. Сидя перед ярко пылавшим камельком, одинокий, в чужой неприветливой стране, я почти невольно остановился мыслью на итогах уходившего в вечность старого года... Чем-то его помянут мои ближайшие соседи, обитатели убогих юрт, разбросаных по всему лицу необъятной Якутской земли.

Картина за картиной, словно в каком-то фантастическом калейдоскопе, мелькала перед глазами, и чувства «кающегося культурного человека» властно овладели мною...

Как бы ища защиты, я взглянул на лежащие на полках книги, но... на корешках переплетов только вспыхивали и опять тускнели золотые буквы, словно проблески совести у начинающего каяться грешника... Книги? Что мы со всеми нашими книгами сделаем для н и х?

В юрте становилось невыносимо. Я вышел. Мороз, грозно шикая, с шумом запротестовал против этой затеи... Я не внял его зловещему предостережению и при слабом свете луны брел все вперед и вперед по знакомой тропинке. Молчаливая, как смерть, лесная стража бесхвойными, не покрытыми снегом ветвями загораживала дорогу, словно оберегая сокровенные тайны тайги. Я то-и-дело отводил их в сторону, и резкий сухой треск ломающихся ветвей раздавался по лесу. И вновь все стихло, только сзади кто-то все продолжал шикать — то замерзало мое собственное дыхание.

Незаметно твердая укутанная тропинка исчезла, и я завяз в снегу. Только тогда властно заговорил инстинкт: скорей на дорогу, домой, к теплу, к свету, к жизни! Но... я завязал все более и более, падал, натыкаясь на скрытые под снегом пни, поднимался и опять и опять падал. Ползучие корни хватали меня за ноги, я путался в кустарниках и изо всех сил боролся с этим молчаливым, но страшным врагом, пока наконец не выбрался на тропинку и в изнеможении сел на торчащий из-под снега пень...

Луна скрылась за деревьями, и лучи ее, словно крадучись, проникали на тропинку. Густой туман стлался по снегу, по кустарникам и деревьям, мало-по-малу заслоняя собою все, и неподвижно встал передо мною. Вдруг на его молочном фоне что-то как будто зашевелилось. Я ясно, отчетливо увидел перед собою... женщину. Происходило что-то необыкновенное. Она наклонилась ко мне и, ласково улыбаясь, спросила:

— Узнаешь меня?

Только тогда я узнал ее... Да, это была она, таинственная шаманка Туаярикса-Коо-Удаган... Русые волнистые волосы ее, как алый шелк, спускались ниже пояса; лоб блестел, как отшлифованное серебро; выгнутые над черными вкрадчивыми глазами брови чернели, как хвост камчатского соболя; на обеих щеках, словно две красные лисицы, играл румянец; из-за тонких губ светились белые, как серебро, зубы, а прямой нос напоминал бедровый мозг шеститравного коня.

Сквозь одежду белела кожа, сквозь тело блестела кость, сквозь кость просвечивал волнующийся мозг [1]...

— Видишь блестящую сквозь туман маленькую звездочку? — вновь спросила шаманка. — Это та слеза, которую ты уронил, вспоминая о нашей злой судьбе... Чем чаще вы, нуччи (русские), будете такие слезы ронять, чем больше будет таких звездочек, тем счастливее будет саха (якут), тем счастливее будете и вы сами... Пойдешь со мною?

Я молча согласился.

Лес становился все реже и реже.

Мы вышли на большой луг.

— Смотри...

Перед нами была толпа людей, вооруженных только луками и стрелами, с отчаянием отбивавшаяся от стреляющих в нее из ружей и пушек. Как шишки осенью в тайге падали якуты, обагряя кровью родную землю... Стоны умирающих, плач женщин и детей, вздохи старцев оглашали воздух.

— Стойте, стойте! — кричали побежденные, бросая вороха мехов к ногам победителей.

Выстрелы прекратились. Все стихло. Только издали жалобно

---

[1] Описание красавицы заимствовано из записанной мною в Намском улусе сказки «Младенец-сирота».

стонали удары шаманского бубна да громкие восклицания занятого заклинанием оюна (шамана).

— Пойдем туда!

В юрте шаман заклинал «русскую грозную бабушку» — оспу оставить души лежавших в юрте больных... Обещал жертвоприношения... Но смерть не ждала...

Мне стало жутко.

— Это еще что?— обратилась ко мне шаманка.— Эти умрут — родятся другие, здоровые... А вот с такими что делать?

Мы оказались среди покрытых коростами сифилитиков.

— Вот где несчастье, — грустно промолвила шаманка. — Тут все погибло: и они, и дети их, дети детей... Погибли они, погибнут и все те, к которым они прикоснутся, погибнем и мы все, если...

Я не переспрашивал: «если что»?

— А это не сифилис, но такая же зараза, — вновь заговорила шаманка, указывая на новую картину.

В накуренной юрте, на разостланной на полу соне[1] играло в засаленные карты несколько пьяных якутов. Время от времени игра прерывалась, и гостеприимный хозяин-поселенец подносил играющим водку...

— Этого мы тоже без вас не знали...

И опять все бывшее в юрте исчезло, как видение, и сменилось другой картиной.

В углу, за столом, под образами сидел тойон... Рядом с ним писарь из поселенцев, а перед ними, в отрепьях из дабы, какой-то захудалый иеранас.

— Помоги, тоенум (господин), сжалься! — молил якут. — Последняя коровенка пропадает.

— Ты же не хочешь, догор (приятель). Что могу, то и делаю. Не отказываю. Бери хоть воз сена, хоть два... Сейчас и расписку напишем.

— Возьми хоть три за один... Пяти не смогу... Опять без сена останусь...

— Как хочешь... Ты же вольный человек... Твоя воля...

Я не выдержал.

— Стой! Успокойся, — догнала меня шаманка.

— Не мучь, не могу,— взмолился я.

Но она взяла меня за руку и, указывая на стоящие над нами неподвижно маленькие яркие звездочки, вновь заговорила:

— Видишь — это все те же слезы раскаяния... Ты не один... Но пока они только слезы, они нас не согреют, не спасут... Грехи не слезами искупаются. Пора приступить к делу. Пора просыпаться. Проснитесь!..

— Проснитесь же, проснитесь! — будил меня товарищ, пришедший ко мне, желая вместе провести канун Нового года.

[1] Верхняя одежда якутов.

Дело было в начале ноября. По первопутку много ссыльных съехалось к этому времени в Якутск: Кленов, Чикоидзе, Сипович, Тонышев, Гринберг — чуть ли не весь Намский или, как его шутливо называли, «дамский улус»... Из Колымска к этому же времени приехали Сосновские, из Чурапчи — Молдавский. В самом городе жили Френкель, Виташевский, Макар Попов, Говорюхин, переехала на постоянное жительство в город Н. О. Коган-Бернштейн. Жизнь буквально била ключом, не революционная, а обыденная. Люди посещали друг друга, вели оживленные беседы, посещали любительские спектакли, устраиваемые верхушкой местного чиновничества с советником областного управления Меликовым во главе.

После многих лет пребывания на каторге и в ссылке люди стосковались по культурным развлечениям и поэтому предъявляли весьма скромные требования к выступавшим на сцене актерам и только по временам, когда «театральное действо» и аксессуары этого «действа» чересчур резко напоминали, что все это происходит в Якутске, на две тысячи верст отдаленном от телеграфа, зрителей из ссыльных коробило от этого суррогата. Помнится одна курьезная сцена.

Зал полон. Публика с нетерпением ждет начала и хлопками и топанием торопит актеров. В это время занавес приподнимается... и суфлер на четвереньках пролезает в суфлерскую будку...

Кое-какое косвенное отношение к этим спектаклям имели и... политические ссыльные. Ставились пьесы Карпова. Его сестра, ссыльная Вера Павловна Свитыч, считала своей обязанностью присутствовать в театре на представлении пьес Карпова, и какой-то шутник на одной из афиш приписал:

«В антрактах сестра автора будет заливаться слезами»...

Во всем этом чувствовалась определенная беспечность. Мартовская гроза прошла, туч на политическом горизонте не было, наоборот, смутные слухи о переводе участника якутской бойни Осташкина в другое место на службу подтверждались. Публика была спокойна и спокойствием этим пользовалась.

Не нарушила этого спокойствия и неудача побега Цобеля и Багряновского, бежавших вниз по Лене, а затем пробиравшихся на лодке по Ледовитому океану, но запутавшихся в дельте р. Яны и там пойманных. Их привезли в Якутск, и они в тюрьме дожидались «возмездия» властей, в то время сверх ожидания не раздувших этого дела, а притворявшихся, что верят их объяснениям, что их унесло во время рыбной ловли течением. Административно-ссыльный Цобель, которому кончался срок ссылки, был обратно водворен по решению административных властей в Намский улус, к месту прежнего своего

жительства, а Багряновский был сослан в Верхоянск. Его кипучая натура не могла примириться с условиями верхоянской ссылки, побег из Верхоянска, как это доказал опыт Серошевского и других и собственный опыт Багряновского — по Лене, был немыслим. Багряновский затосковал и покончил жизнь самоубийством...

Я познакомился с ним... в тюрьме, в которую попал по следующему поводу.

Еще в 1884 году, когда велись переговоры между «Пролетариатом и «Народной Волей» по поводу известного соглашения между обеими этими партиями, мною как представителем центрального студенческого кружка был составлен проект воззвания студенческой молодежи, разъясняющего значение этого соглашения и призывающего молодежь всеми мерами поддерживать союз польских революционеров с русскими. Воззвание это не было в то время напечатано в связи с последовавшими в Варшаве арестами, и оно в рукописи покоилось где-то в архиве. Когда происходил суд над «Пролетариатом», властям не было известно о существовании такого воззвания. Где оно было впоследствии найдено — не знаю, но, как только оно очутилось в руках жандармов, они сразу по почерку определили, что оно написано мною, и по каким-то соображениям сообщили иркутскому генерал-губернатору Горемыкину еще об одном доказательстве моей «зловредной» деятельности.

По вине ли докладывавшего Горемыкину об этом чиновника или по вине самого генерал-губернатора, невнимательно прочитавшего полученную бумагу, но у него получилось впечатление, будто я, уже находясь во вверенном ему для наблюдения крае, из Якутской области написал такое «преступное» воззвание.

Как человек весьма решительный он тут же распорядился немедленно меня арестовать и сослать в Верхоянск.

Не имея обо всем этом ни малейшего представления, я спокойно пользовался выпавшей на мою долю «передышкой», а так как каторга основательно расшатала мое здоровье, то и лечился усиленно...

Арестовали меня на улице и собирались прямо отправить в тюрьму, но я настоял на своем, зашел на квартиру Коган-Бернштейн, где тогда временно жила и Христина Гринберг, и уже потом отправился в острог.

Мой арест вызвал среди определенной группы ссыльных волнение. Состояние моего здоровья в то время было таково, что отправка меня зимою в Верхоянск не могла не отразиться на нем весьма печально. Врачебная комиссия, явившаяся в тюрьму для освидетельствования меня, установила $n+1$ болезней, и я после одиннадцатидневного пребывания в тюрьме вновь очутился на воле и только тогда узнал — и то неофициально — о причинах ареста...

По выходе из тюрьмы я на несколько месяцев стал жителем якутской столицы... Здесь жизнь текла по-иному, чем в наслегах, но по-иному скорее по форме, чем по содержанию. Виташевский работал в статистическом комитете, Френкель — в музее, Доллер занимался своим ремеслом, кое-кто слонялся без дела... Городская колония ссыльных оживлялась лишь, когда из улусов приезжали ссыльные, но и это оживление вызывалось внешними причинами. Горожанам с горожанами уже не о чем было говорить. Все уже было переговорено... А приезжие доставляли новый материал: о своих отношениях с якутами, с сектантами, с уголовными ссыльно-поселенцами и о взаимоотношениях политиков друг с другом...

Весьма благодарную тему для всевозможных пересудов представляли и поездки некоторых улусников в с. Павловское, в котором жили сектанты-староверы, — поездки с определенными матримониальными целями. Политические ссыльные женщины были наперечет, городские «невесты» — дочери чиновников всевозможных рангов и местных обывателей — весьма мало годились в жены политикам, и эти политики пытались в с. Павловском найти подходящих для себя невест... Но эти попытки не увенчались успехом. Зато необычайным успехом пользовалась каждая политическая ссыльная, появлявшаяся на якутском горизонте. Но, как я уже говорил, этих женщин было мало, а немногие приезжавшие были уже замужем... Этим объясняются и те «браки на время» с якутками, о которых я уже упоминал, — браки, которые, по крайней мере по моим наблюдениям, хотя и должны были испортить отношения с якутами, но их не испортили. Эти отношения, если не говорить о единичных случаях, были очень хороши. В политических ссыльных якуты находили действительную поддержку в весьма трудной борьбе, какую им приходилось вести и с уголовными ссыльными и с администрацией края. Отправляемые ссыльными в газеты корреспонденции сдерживали прыть держиморд и взяточников, от времени до времени напоминая зарвавшимся администраторам о некоторых не особенно для них приятных статьях закона... Правда, ближайший орган печати — иркутское «Восточное обозрение» — находился на расстоянии трех тысяч верст от Якутска, да и этой газете при существовавшей тогда предварительной цензуре о многом не разрешалось печатать. Но в этом вопросе не раз спасала статью существовавшая во всей Российской империи своеобразная «децентрализация»... Газеты Западной Сибири, в частности издаваемая Макушкиным «Сибирская жизнь», печатали то, что не разрешалось печатать в «Восточном обозрении», а в Иркутске печаталось то, что запрещалось печатать в Томске. Помощь ссыльных якутам не ограничивалась этим. Ссыльные были и юрисконсультами их, и врачами, и учителями, и советчиками по всем делам, которые

не могли не вызывать недоумения не только у полуграмотных якутских суруксутов — писарей улусных и наслежных, но и у людей, значительно превышавших их своим развитием. Вот характерный образчик такого рода «дел».

Когда была организована получившая широкую огласку «Сибиряковская экспедиция», участники ее для того, чтобы иметь возможность передвижения, получили «звание» «сотрудников якутского статистического комитета», председателем которого был губернатор. И вот в намской управе были получены почти одновременно два предписания. Первое, за подписью губернатора, напоминавшее о том, что политические ссыльные без особого на то разрешения не имеют права отлучки из своего наслега, и обязывавшее управу не только наблюдать за этим, но и объяснить якутам, что они не должны давать ссыльным ни бесплатно, ни за плату лошадей для поездок, каковые им, ссыльным, запрещены.

Я был одним из участников экспедиции и в связи с этим этой же управе поручалось «сотруднику» статистического комитета Кону по первому требованию предоставлять лошадей. Первая бумага была подписана губернатором, вторая председателем статистического комитета, то есть тем же губернатором.

Писарь недоумевал, как же ему быть, и решил со мной же посоветоваться. Выход был мною найден. Я посоветовал ему всякий раз осведомляться, еду ли я в качестве ссыльного или по «другой линии»...

Вопросов, решение которых зависит от догадливости писаря, было много и тут помощь политических ссыльных часто выручала несчастных писарей из беды. Если принять во внимание, что ссыльные были единственным культурным элементом в улусе, то станет понятным, почему в Намском улусе был на сходе составлен «приговор» о ходатайстве перед начальством о том, чтобы политические ссыльные направлялись по возможности именно в этот улус. За этот «приговор» наивным якутам порядочно влетело.

Отношения уголовных ссыльных к политическим в то время не оставляли желать ничего лучшего. Они устанавливались еще во время шествия по этапам. Само присутствие в партии политических уже заставляло этапных офицеров вести себя по отношению к уголовным приличнее и сдержаннее. Это было осознано уголовными, они отдавали себе равным образом отчет и в том, что политические относятся к ним и как к людям, и как к жертвам существовашего тогда строя...

И немало было случаев, когда при столкновении горсточки политических с этапным офицером партия уголовных в 300—500 человек настораживалась, готовясь заступиться за политических, и только благодаря этому зарвавшемуся этапному бурбону приходилось капитулировать.

Эти хорошие отношения уголовных к политическим, просуществовавшие до 1905 года, настолько стали традиционными, что, когда политический один попал в тюрьму, в которой находились уголовные, они опекали его, часто отнимали от своего скудного пайка гроши, чтобы помочь политическому. Эту опеку в свое время испытали на себе Кутитонская, изолированная после ее выстрела в губернатора Ильяшевича, Ковальская и др.

Отношения на поселении уже носили иной характер. Уголовные, расселенные поодиночке по всему округу, развращенные вконец тюрьмой, весьма мало годные для оседлой жизни, то уходившие на работу на прииски, то возвращавшиеся в улус, чтобы сорвать несколько рублей с якутов, жалкие, весьма часто голодные, смотрели на политических, как на тех, у кого можно поживиться, а часто и пристроиться.

Среди этих уголовных были и убийцы, и грабители, и в огромном количестве конокрады, но я не знаю ни одного случая даже кражи у политического, несмотря на то, что мелкие и крупные кражи у якутов и даже убийство якутов уголовными были довольно частым явлением.

Совершали эти убийства и кражи почти исключительно молодые уголовные, всего год или два пробывшие в ссылке в Якутской области; более пожилые нищенствовали, кормились у якутов на правах нищих, а отдельные счастливчики ютились на старости лет у политических ссыльных, прекрасно разбираясь в них и заранее зная, кто им не откажет в приюте... Особенной славой в этом отношении пользовался сосланный на поселение по делу Данилова Александр Александрович Сипович, студент-медик, о деятельности которого среди якутов уже писал в «Каторге и ссылке» Никифоров [1].

Уголовные башкиры, жившие в ближайшем соседстве с ним в Мадутском наслеге, Намского улуса, приходили к нему с довольно курьезными не то заявлениями, не то вопросами:

— То ли рубль у тебя возьму, то ли два...

В том, что он «возьмет», он не сомневался, весь вопрос было только в том, сколько он «возьмет».

У Сиповича в кухне из года в год зимовал один из уголовных, старик, бывший крепостной, сосланный еще при Николае I,— тип, уже в то время исчезавший и поэтому во всех нас возбуждавший большой интерес.

Стройный, красивый, он в молодости должен был поражать своей красотой...

— Эх! — вздыхал старик, — доброе время было. Поставит это тебя барин с пятисвечным подсвечником в руке, когда бал, значит, у него, и не то пошевелиться — дрогнуть весь вечер не смей... Стоишь, как мать родила, любуются на тебя.

Он умилялся при этих воспоминаниях. Ни возмущения, ни

---

[1] «Каторга и ссылка» № 1 за 1925 год.

злобы. Барин владел не только его телом, но и душой, превратил в раба, довольного тем, что он раб...

— И любил же меня барин,— с гордостью вспоминает старик былое,— жестоко любил. Проштрафишься или что — сам присутствует при порке...

Об этом он говорил охотно, но, как только кто-нибудь из нас попытается узнать, за что он угодил в Сибирь, словоохотливость старика исчезает. Тут в нем сказывается не помнящий родства бродяга, тщательно скрывающий свое прошлое...

Это был последыш крепостничества...

В Якутской области мне пришлось натолкнуться еще на другого рода «последышей» — бывших участников польского восстания 1861—1863 годов. Многие из них вернулись на родину по амнистии 1883 года, но многие уже прочно осели в Сибири и не воспользовались возможностью возвратиться в Польшу, не желая «начать жизнь» снова, как они выражались. Но большой процент тех, которых потянуло на родину, которые часто разорялись для того, чтобы иметь возможность вернуться, разочаровались и возвратились обратно в Сибирь. Романтики, десятки лет жившие мыслью о Польше и о борьбе, в которой они принимали участие, они по возвращении были ошарашены тем, что они там застали: и примиренчеством по отношению к царскому правительству и погоней за восточными рынками, в жертву которой было принесено все...

С большой горечью вспоминали повстанцы о причинах, вызвавших их обратное возвращение в Сибирь.

— Нет там для нас места...

А в Сибири им тоже было тяжело при виде прежних товарищей по борьбе, совершенно опустившихся. Одни выплывали, разбогатели и прослыли на всю Сибирь своим эксплоататорством, другие пошли на службу в полицию, иные превратились в уголовных. С одним из последней категории мне пришлось познакомиться и под перывм впечатлением набросать очерк, напечатанный впоследствии в моих «Сказках из сибирской действительности», изданных в 1902 году в Томске, который я здесь воспроизвожу, так как по истечении сорока лет мне не воспроизвести так, как тогда, всего, что пришлось пережить.

НЕСЧАСТНЫЙ

Хороша весна в Якутской области. Солнце как бы в вознаграждение за продолжительное отсутствие почти не сходит с горизонта... Снежный саван, укутывавший окоченелую землю в течение долгих месяцев, исчезает на глазах, деревья стряхивают с себя остатки снега и выпрямляют затекшие члены; земля быстро покрывается травой и цветами; на переливающихся на солнце, недавно еще скованных льдом озерах купаются и плавают перелетные птицы...

Вчера еще царила тишина, мрак и холод, сегодня — говор, свет и тепло. В несколько дней ожило все: растения, животные и люди.

В такое время накаленные стены якутской юрты давят, как стены тюрьмы. Тянет в лес, в поле, на вольную-волюшку. Потянуло и меня. Закинув ружье за плечи и кликнув собаку, я двинулся в тайгу. Таинственный шопот леса, зелень лугов, переливающиеся в солнечных лучах ручейки, небесная лазурь, купающаяся в озерах, вызывали во мне странное чувство: так и казалось, что к этому лесному оркестру примешиваются издали плывущие звуки пастушьей свирели... В голове воскресли картины давно оставленной родины...

«Боже, что Польшу родимую нашу»...— неожиданно раздалось пение неподалеку от меня. Я вздрогнул, остановился и стал прислушиваться. Лес попрежнему таинственно шептал, птицы пели, но пения человека не было слышно... Я решил, что это галлюцинация и двинулся дальше. Собака с лаем бросилась в кусты, оттуда послышался лай другой собаки, а все это покрыл громкий голос поющего:

«Холил, лелеял столь долгие годы...»

Не помня себя, с пением: «Ныне к тебе мы возносим моления» я бросился в чащу. Невидимый земляк тоже с пением стремился мне навстречу, и несколько мгновений мы так бежали, оглашая дикую тайгу звуками родного гимна.

Но вот наши собаки встретились, и из ветвей выглянуло желтое сморщенное лицо человека с блестящими глазами. Маленькие рыжие усики и козлиная бородка, длинные темные, опускающиеся на затылок волосы странно как-то выделялись на зеленом фоне лиственичных ветвей.

Пение нас уже познакомило; мы поздоровались сердечно.

— Пан здесь давно? — спросил меня земляк.

— Два года...

Лицо его омрачилось: он смутился и умолк. Я отрекомендовался, он в ответ назвал свою фамилию:

— Войцех Комар...

Сразу выяснилось все. Это был один из тех земляков, с которыми я не хотел знакомиться. Поселенный по выходе с каторги в одной из деревень на берегу Ангары, он открыл там кабак, превратившийся впоследствии в известный в околотке воровской притон. Уличенный в скупке краденых вещей, он был сослан в Якутский округ и здесь, в одном из наслегов, продолжал прежнее ремесло: спаивал якутов и поселенцев, скупая за бесценок украденный в околотке скот.

Должно быть, разочарование помимо моей воли отразилось на моем лице, так как Комар смутился еще больше и, желая шуткой замаскировать смущение, скаламбурил:

— Видно, мало здесь комаров, прислали еще одного...

Положение мое было не из приятных: ближе знакомиться с Комаром было противно, а повернуться и уйти после того, как мы так сердечно поздоровались, было немыслимо. Я вторично протянул ему руку и пригласил к себе, но он упорно отказывался, и мне так и не удалось его убедить.

Эта уцелевшая в нем капля гордости укрепила во мне решение ближе познакомиться с ним.

Через несколько дней после этой встречи мне понадобилось съездить в город. Я воспользовался этим случаем, чтобы посетить Комара, свернул с дороги и по капризно вьющейся лесной тропинке выехал на берег большого озера, на противоположной стороне которого ютилась опрятная, аккуратно обмазанная глиной юрта Комара. Собаки залаяли; пасущиеся сытые кони заржали; мой конь ответил тем же; хозяин выбежал из юрты, отодвинул жерди, заменяющие ворота, и, привязав коня к столбу, провел меня в юрту. Два якута, сидевшие на ороне[1], с любопытством уставились на меня. Валявшийся на другом ороне сильно подвыпивший поселенец приподнялся.

Хозяин, видимо довольный, пригласил меня за стол и со словами: «С дорожки!» принес бутылку водки и закуску.

Но не успели мы и прикоснуться к ней, как к столу подошел поселенец:

— Пан, голубчик! Налей на пятак!

— Отстань...

— Налей!

— Отстань, говорят? — повышая голос, прикрикнул на него Комар.

Между якутами, скромно ютившимися в углу, происходил какой-то разговор, который, судя по часто повторявшемуся слову «аргы» (водка), касался того же предмета. Хозяин был смущен.

— Дай бог здоровие! — чокнулся он со мной, немилосердно коверкая язык.

Поселенец опять приблизился к столу.

— Налей на пятак!

Окончательно сконфуженный, Комар взял из его рук пятак, положил на стол и осторожно капнул на него из бутылки.

— Налил! — обратился он к поселенцу, смехом стараясь замаскировать смущение.

Тот разразился самой отборной бранью. Комар вышел из себя, схватил его и вытолкнул за дверь. Испуганные якуты от одного слова «баратур» (пошел вон!) бросились к дверям. Комар вернулся к столу, налил большую рюмку водки и, выпив, начал

[1] Неподвижная койка в юрте.

жаловаться на «шваль», не дающую ему никогда покоя. Во время разговора он пил довольно часто, и, по мере того как из бутылки исчезала водка, исчезало и его смущение.

— Смотрит пан на меня и головой кивает, отчего я так пью... И думает пан, что я злой человек... Знаю я это, знаю!... И я был бы добрый! Почему нет? Ой, ой, ой! Як бы мне кто так из дому присылал, як другим присылают, и я был бы добрый!.. Сиди себе дома, ничего не работай... гм... и я был бы добрый... Ой, ой!.. И другим бы давал...

Я смотрел с любопытством, не прерывая его.

— Вот пан, — начал он снова, — здесь два года — и конь есть у пана, и юрта хорошая, и двустволка, и револьвер... А я? Сколько лет на одном ржаном хлебе седзял, пока купил все, что пан здесь у меня видит... Сколько я у скопцов наработал!.. А пан знает, что значит у скопцов работать? И все жилы вытянул, и з грязью змешают, и без гроша пустят... А я у них работал. И у якутских тойонов работал... Хайлаком ругали, як скот жил, а работал. Но об этом никто не спросит, а о водке каждый. Ксендз приедет, говорит: «грех», доктор стыдит, другие поляки «кабатчика» завсем знать не хотят...

Он все больше и больше волновался.

— А як я водкой торговать не буду, бурдуку [1] никто даром не даст, харчей [2] — тоже не будет... А я достаточно наработал... Я тоже хочу жить, як человек... А пан два года здесь живет, а до мне не заехал ни разу.

Этот неожиданный поворот в мою сторону поставил меня в довольно неприятное положение. К счастью, Комар вспомнил, что я все же посетил его.

— Ну, сегодня пан приехал и за это спасибо. Другие редко бывают.

Кто-то постучался в двери. Комар открыл.

— Налей, пан! — опять вернулся поселенец.

— На! Бог с тобой! — добродушно улыбаясь, ответил Комар. — Твой фарт! Пей!

Хозяин, вернувшись к столу и посмотрев на меня испытующе, заговорил вновь.

— Пан заночует у меня? Я так давно поляков не видзал.. — прибавил он немного тише.

Послышавшаяся в его голосе тоскливая нотка побудила меня остаться. Комар не надолго вышел из юрты, позаботился о моей лошади и, вернувшись, начал расспрашивать о родине, о Варшаве, о Плоцкой губернии, откуда был родом.

Я давал подробные ответы, но, видно, они его не удовлетворяли, так как он задавал все новые и новые вопросы.

Долго за полночь просидели мы так, поглощенные воспоми-

---

[1] Хлеб.
[2] Деньги.

ниями о родине, о давно минувших делах, о печальной действительности.

На следующий день я отправился дальше. На повороте в тайгу раздавшийся неподалеку жалобный рев коровы обратил мое внимание.

Какой-то поселенец заносил уже топор над привязанной к дереву коровой, но, заметив меня, спрятался в кустах...

Я невольно обернулся в сторону юрты Комара и повторил:

— Мало, видно, здесь комаров, прислали еще одного!

Путешествие в город длилось почти два дня. Проливной дождь, тихая, навевающая какую-то грусть лесная чаща с ее спокойными, почти мертвыми озерами; густо посеянные могилы якутских иеранасов с поломанными крестами, с покосившимися от времени памятниками якутских тойонов, одиноко торчащими на холмах,— все это настраивало как-то грустно и усиливало тоску, навеянную знакомством с Комаром.

Отдохнув с дороги, по приезде в город я пошел к доктору, о котором упоминал Комар и с которым я был давно знаком.

Я в нескольких словах рассказал ему все виденное и слышанное у Комара.

Доктора это не удивило.

— Поверите ли,— обратился он ко мне, выслушав все внимательно,— этот самый Комар когда-то был одним из наиболее увлекавшихся, наиболее преданных делу. Я был в одном с ним отряде... Как дойдет до дела, глаза у него блестят, лицо горит, и он, как львица, защищающая детенышей, бросается на врага. Бывало, и ранят его, кровь бежит ручьем, а ему ничего... Выходился... В этом ведь трудно его винить. А между тем, погибни он тогда, он был бы почитаемым героем, а выходился... и стал только Комаром...

— Чем же вы, доктор, объясните такое странное превращение?

— Жизнью! — с ударением ответил доктор.— Та проза жизни, о которой мы раньше и не думали, уже в дороге напоминала нам о своем существовании. Боролись мы с ней, насколько это было возможно, но что вы сделаете, если всякий офицер, надзиратель, солдат во мне и в других, несмотря на кандалы, арестантский халат и бритые головы, видел бар и обращался почтительно, а Комара и ему подобных третировал как мужиков. Кому неизвестно, что ступени общественной иерархии сохраняют силу даже в тюрьме. Но там все-таки была возможность бороться с этим, а что было делать по выходе из тюрьмы? Нас рассеяли по такому громадному пространству, что иногда по целым годам не было сведений о товарищах...

Здесь впервые каждый самостоятельно выступал на борьбу за существование — трудную, ужасную борьбу... Чужбина... Кругом незнакомые... Многие с трудом объяснялись по-русски... А желудок, привычка — требовали своего... Сколько погибло в этой борьбе, погибло в буквальном значении этого слова, не пятная своего имени! Таких, которые выдержали победоносно эту борьбу, было не много. А остальные пали и до сих пор валяются в грязи... Ныне многие бросают в них каменьями... Я не могу... Я видел эту борьбу, я знаю этих побежденных, я знаю, как они страдают, ищут, но не находят выхода... Пусть-ка Комар попробует вести другую жизнь... Тот самый поселенец, которого вы у него видели, такое ему покажет, что он и жизни рад не будет...

Доктора позвали к больному; разговор наш был прерван, мы расстались. Неделю спустя я выехал из города. На половине дороги я наткнулся на толпу якутов, конвоировавших телегу, на которой сидел Комар.

— Аргы торгуй! Инах карапчи! (водкой торговал, коров воровал) — объяснили якуты.

Я подошел к арестованному и стал расспрашивать о поводах ареста. Комар колебался.

— Вы виноваты!.. — пробормотал он наконец.

— Я! Как же это?

— Видите ли... Вы себе отъехали, а я з моими думами остался. Вспоминалась родина, и дом, и пробощ (приходский священник), и так хорошо было человеку! А тут пришел поселенец, мясо принес. Пан знае, яке это мясо?

Кивком головы я дал утвердительный ответ.

— Ну, я не принял. Он мясо зоставил, а на меня донес.

Якуты отозвали его, и мы простились навсегда.

Доктор оказался прав. Несколько месяцев спустя Комара выслали в Колымск.

СЕКТАНТЫ-СКОПЦЫ

Совершенно особый тип ссыльных, с которыми приходилось иметь дело политическим ссыльным, представляли скопцы.

Мне лично пришлось ближе ознакомиться с ними, когда я производил подворную перепись в Хатын-Арынском скопческом селении в связи с изучением вопроса о земледелии в Якутском округе. Результаты этого изучения мною опубликованы в 1896 году в «Известиях Восточно-Сибирского отдела Географического общества» (том XXVI, № 4—5), в монографии «Хатын-Арынское скопческое селение», из которого я в этой главе воспроизвожу данные, могущие иметь историческое значение.

Самыми старыми по времени их основания были села: Мархинское, Якутского округа, Спасское и Троицкое, Якутского округа, Олекминское.

Скопцы этих селений сначала были сосланы на Алданские острова, затем в Туруханский край, Енисейской губернии, а оттуда в 1860 и 1861 году — в Якутскую область.

Первая партия (до трехсот человек) была распределена по разным улусам Якутского округа и только в 1866 году вновь собрана и поселена в 10 верстах от г. Якутска, на речке Мархе. Скопцы других партий, прибывшие в область в 1861 году, отправлены в г. Олекминск, а на следующий год поселены в местности, где теперь находятся селения Спасское и Троицкое. Из скопцов, сосланных в 1868 и 1870 годах преимущественно из Калужской и Тульской губерний (48 мужчин и 3 женщины), составлено селение Иллюнское. Прибывшие в область в следующем году 73 человека обоего пола послужили для образования селения Петропавловского. Следующая партия скопцов (в 1873 г.) была поселена в Белкучемском и Нотаро-Воскресенском селениях, но в 1877 году за негодностью для хлебопашества земель в этих селениях скопцам предложили селиться в Тататском[1] и Хатын-Арынском наслегах Намского улуса. В первом поселено 112 человек, во втором 85 человек обоего пола. Весною 1881 года основано Одейское селение; в нем поселено 69 человек. Скопцы из казаков Семиреченской области, в количестве 79 человек, были поселены в 1876 году в Усть-Чаринском селении. В следующем году основано селение Вилюйское (73 чел.), а на станциях Элькогоне и Кумаконе поселено 16 скопцов.

Такова официальная летопись поселения скопцов в Якутской области, заимствованная нами из «Доклада штаб-офицера для особых поручений Калагеоргия при генерал-губернаторе Восточной Сибири от 27 октября 1881 года за № 20 о состоянии скопческих селений, находящихся в Якутской области».

Лет четырнадцать спустя мне пришлось от самих скопцов выслушивать печальную весть об их скитаниях. Пополним же эту официальную летопись их рассказами, не забывая, однако, что рассказчики — лица заинтересованные — могли и преувеличить испытанные невзгоды.

Я привожу только типичные примеры, не желая утомлять читателя однообразными повторениями.

Домохозяин № 1. Прибыл в область в 1873 году, назначен в Петропавловское селение (Чуран). Выстроил дом. Прожил там два года. По распоряжению начальства переведен в Белкучемское селение. Выручив за дом всего 5 пудов хлеба, отправился на Марху побираться. В Белкучемском селении опять выстроил дом. И тут труды и деньги пропали даром: дом оставлен на произвол судьбы. Перепросился на Марху, где заработал 200 рублей. На эти деньги обзавелся всем в Хатын-Арынском селении.

---

[1] За негодностью земли в этом селении скопцы в 1883 г. перечислены в Кильдемский наслег.

№ 2. Прибыл в область в 1892 году, назначен на Усть-Маю. Прожил в Петропавловском селении 5 месяцев, после чего переведен в Хатын-Арынское селение.

№ 3. Прибыл в область в 1874 году, сослан в Белогурцы (Ново-Покровское). Прожил там один год, по предписанию начальства переведен в Белкучемское селение. Выстроился. Переведенный по собственной просьбе в Хатын-Арынское, за все постройки получил 10 рублей, остальное пропало.

№ 9. Прибыл в область в 1873 году, отправлен в Петропавловское селение. Не зная, что поселен временно, обстроился; переведен в Белкучемское селение. За дом не выручил ничего. На новом месте сеял (раскапывал землю капаницей); из году в год хлеба погибали от морозов. Единственное спасение представляли временные отлучки на Марху для заработка. За право проживать на Мархе приходилось платить старосте. Перед поселением в Хатын-Арынском опять работал на Мархе. На заработанные 75 рублей обзавелся самыми необходимыми для хлебопашества орудиями.

№ 13. Прибыл в область в 1874 году, назначен в 1875 году в Нотаро-Воскресенское. Выстроил дом, обзавелся земледельческими орудиями, ручной мельницей — в общем счете на 80 рублей. Прожил там 5 лет, каждый год сеял, каждый год труды пропадали даром. В 1880 году Нотаро-Воскресенское упразднено. Истратив все деньги и все обзаведение, отправляется на Марху для заработков. На заработанные 100 рублей вновь приобретает коней и земледельческие орудия на новом месте причисления — в селении Петропавловском. Живет там до 1886 года, расчищает десятину земли из-под леса и из года в год сеет. В 1886 году опять переезжает на Марху, опять поступает в работники и, переведясь по прошению в Хатын-Арынское селение, на вывезенные из Петропавловского селения деньги, а также и на заработанные на Мархе в третий раз обзаводится здесь всем нужным для хлебопашества.

Представленные нами примеры далеко не исключительны. Из всего теперешнего населения только 9 мужчин и 12 женщин назначены прямо в Хатын-Арынское, в то время как остальные попадали сюда только после продолжительных и дорого стоящих скитаний.

Бывали случаи (Андрей Смирнов), что мужа назначают в Петропавловское селение, а жену на Амгу; мужа переводят в Белкучемское селение, а жену в Нотаро-Воскресенское, и только через пять лет после прибытия в область супругам удается поселиться вместе.

Скоро сказка сказывается... Дело расселения скопцов шло далеко не с такой скоростью. Мы повсюду употребляли слово «селение». В момент поселения скопцов селений этих нигде не было. Приходит партия скопцов в глухую тайгу; сопровождающее ее должностное лицо указывает скопцам межевые знаки,

рекомендует строиться и селиться и, неоднократно повторив наставление: «с места не отлучаться» — оставляет скопцов на произвол судьбы.

Роковые скитания закончены. 19 сентября 1876 года исправник предупреждает скопцов, что не позже февраля 1877 года назначенные в Хатын-Арынское селение скопцы (53 мужч. и 26 женщ.) будут окончательно водворены на места.

В этом же 1877 году поплелись скопцы на новое место. Обыкновенная картина сплошной тайги и тут их встретила: на одну душу оказалось менее ¼ десятины открытой земли. Многие расчищали землю даже под усадьбу. Отведенную землю в присутствии представителей от десятков разделили по десяткам; каждый десяток делил между собой. Бодро, энергично принялись скопцы за работу: в первый же год выстроили 23 двора. Труду и энергии немало способствовал капитал. Курошниковы, Залепукины и другие затратили на одни жилые постройки свыше ста рублей, а одновременно с этим обзаводились лошадьми (в селении в первый же год оказалось рабочих коней 34), земледельческими орудиями, производили чистки... Впервые соха взбороздила девственное лоно таежной земли, и 10 мая начался посев.

На новую отвоеванную у тайги землю сели настоящие крестьяне-земледельцы.

Глядя теперь на отъевшихся, ожиревших скопцов, гордо заявляющих: «Как сядем вдвоем с братом, так хоть и гирь не клади,— ровно 14 пудов вытянем», с трудом веришь их рассказам о прежнем тяжелом труде. «Вышел я пахать, — рассказывает один из теперешних тузов,— моченьки моей нету... Что ни шаг, — на корни натыкаешься... Земля цельная, твердая, хоть зубами рви... Три раза отдыхаешь на одной борозде; кони в мыле... Прийдешь домой — и лежать больно: все косточки ноют...»

В 1878 году население увеличилось только на 6 женщин; домов уже выстроено — 27; число лошадей — 39. Начали сеять 8 мая; уборка — 25 июля. Вегетативный период 78 дней.

Я нарочно подольше остановился на первых двух годах пребывания скопцов в Хатын-Арынском селении, чтобы обратить внимание на одно небезынтересное явление. Официальные и неофициальные панегиристы скопцов не раз и не мало прокричали про скопческую трезвость и трудолюбие, — качества, благодаря якобы которым скопцы из года в год богатеют. Да и чем в самом деле, если не трезвостью и трудолюбием, объяснить то цветущее состояние скопческих селений, на красноречивое описание которых мы наталкиваемся у каждого из названных панегиристов, в то время как не скопческие селения еле-еле влачат мизерное существование? Утвердительный ответ сам на-

прашивается на язык, но это не будет верный ответ. Не отрицая, что в первые годы пребывания в новом месте скопцы отличались и трезвостью и трудолюбием, я думаю все-таки, что не эти качества содействовали процветанию скопческих хозяйств, а те капиталы, какими они в то время располагали... «А вы считали, что у нас в кармане?» — с пеной у рта спрашивали меня скопцы, когда я делился с ними своими впечатлениями. Нет, не считал, конечно, но сообразить это легко и без залезания в скопческие карманы.

1877 год,—год основания Хатын-Арынского селения, — потребовал, как я говорил выше, немало затрат со стороны скопцов. Урожай, хотя и хороший, дал все-таки только 390 пудов, то есть менее 5 пудов на душу (майор Калагеоргий считает только 3 пуда) в год; приходилось, следовательно, покупать даже на пищу, а между тем расчистка земель продолжалась, дома строились, количество скота увеличивалось, а посев увеличился почти в 10 раз — на 40 пудов больше собранного в предыдущем году хлеба. При чем тут трезвость и трудолюбие? Для этого нужны были деньги, и они были. Огороды тоже потребовали затрат, деньги оказались и на это: появились парники, собрано 3½ тысячи огурцов.

В этом же 1878 году начинаются первые имущественные разделы. Они еще носят мирный характер, раздел происходит на сходе, но многозначителен сам факт раздела; для нашей цели важно, что сход делил по просьбе братьев Ф. нажитое имущество (значит — оно было) между ними и «сестрами» Парасковьей Л. и Анной О.

Во время исследования я пытался собрать данные относительно сумм, какими новопоселенные располагали в момент прибытия в Хатын-Арынское селение, но, как и следовало ожидать, ответы не заслуживают ни малейшего доверия. Кое-кто, правда, давал откровенные ответы: так, далеко не зажиточные люди, как Полокайне, называли сумму 500 рублей, Павлов — 700, более зажиточные Новиковы — 700, в то время как заведомые богатеи показывали сумму в 100—150 рублей. Для нашей цели интересны были бы размеры капиталов, но факт установления самими скопцами наличности их имеет большое значение.

Вернемся, однако, к прерванному рассказу. В течение 1879 года население новой деревни увеличилось на 4 мужчины и 1 женщину. Количество дворов возросло до 34. Селение, как видно, обстроилось, приняло обычный вид скопческого: по одной стороне улицы вытянулись в ряд жилые постройки, по другую— бани, мельницы... Крепкие ворота, цепные собаки зорко оберегали домашние тайны «праведных монахов»... Стук топоров, так недавно нарушавший тишину, характерную для скопческих селений, постепенно затихал. Скопчики все чаще вылезали на улицу и, сидя на бревнах, проводили многие часы в разговорах,

рассказах о пережитых невзгодах, с нетерпением выжидая рабочей поры. И сама судьба как будто входила в их положение: весна настала ранняя, посев начался на целых 10 дней раньше прошлогоднего, то есть 28 апреля, уборка 24 июля. Вегетативный период 87 дней.

1879 год очень важен в жизни Хатын-Арынского селения. В этом году селение трудилось только для себя, для удовлетворения собственных нужд, в следующем, 1880 году, картина уже меняется, посевы уже превосходят необходимое для этого количество.

В 1880 году население вновь увеличивается на 8 мужчин и 2 женщины (всего 65 мужч. и 39 женщ.), число лошадей достигает сразу крупной цифры 70. С этого года Хатын-Арынское селение начинает все больше и больше оправдывать цели, какие преследовала, по словам исследователя Павлинова, администрация: «сделать из скопцов выгодных продавцов хлеба в магазины Якутской области» [1].

Рука об-руку с возрастающей зажиточностью прежний мир да лад, да божья благодать исчезают все больше и больше. В делах то-и-дело попадаются споры по земельным вопросам, причем инсинуации и интриги на каждом шагу пускаются в ход скопческим «миром». Так, 24 сентября 1883 года скопцы Хатын-Арынского селения, «быв на общем сходе, имели суждение между прочим и о том, что как добавочный N усадьбой ублаготворен уже пятый год, но, как видно из всего, N, ожидая всемилостивейшего манифеста, не принимался усадьбу расчищать и постройки не производил за исключением одного амбара, и тот был поставлен в нонешнее время, когда г. заседатель описывал имущество скопцов, так общественники не желают отдать N усадьбу».

В июле 1886 года один из скопцов жалуется на старосту в несозвании схода и в непринятии никаких мер против другого скопца, отрезавшего часть принадлежащей ему земли и потравившего скотом его огород.

В одном из дел наталкиваемся на одного из любвеобильных «братьев», который с «братской» любовью и с христианским забвением обид обыкновенную драку per faset nefas пытается представить в виде покушения на его жизнь и настаивает на уголовном преследовании «брата во христе».

Чем дальше углубляемся в дела, тем ярче вырисовывается внутренняя усобица с такими аксессуарами, что они смело могут соперничать с таковыми же в поселенческой среде. Негодных средств — нет. Все пускается в ход. И вот перед вами целый ряд ложных доносов в уголовных преступлениях, в тайных убийствах,

[1] Д. Павлинов. «Статистическое описание юридического быта мархинских скопцов». (Рукопись.)

наконец, в преступлениях государственных. Атакованная сторона, оправдавшись в возводимых на нее обвинениях, зло, с остервенением мстит обидчикам.

Угоняют коней, травят хлеб, нарочно ломая изгородь, разбивают парники...

Администрация не раз уже останавливалась на вопросе о будущем скопческих селений, в которых, как в скопческих, естественного прироста населения быть не может, а процент дряхлеющих и умирающих с каждым годом должен увеличиваться. Единственная поддержка этих населений — это вновь присылаемые в область скопцы, но, по мнению майора Калагеоргия, число вновь прибывающих скопцов значительно менее числа ежегодно умирающих и дряхлеющих. Соображения, высказанные майором Калагеоргием, по крайней мере относительно Хатын-Арынского селения, оправдались вполне. Население идет быстрыми шагами на убыль; процент дряхлеющих и умирающих по самой природе вещей должен с каждым годом прогрессивно увеличиваться. Через 20—25 лет Хатын-Арынского селения не станет.

Одного не предвидел, да и не мог предвидеть майор Калагеоргий,— это того, что в скопческом селении возможен... естественный прирост. Одна из скопчих незаконно прижила двух ребят (мальчику было 6 лет, девочке 3 года). Но такого рода случайность отнюдь не может влиять на продление существования селения...

Небезынтересно отношение скопцов к этим ребятам. Что мать является бельмом на глазу деревни,— понятно само собой, но характерно, что и дети подвергнуты полной опале. Ребята дальше ворот своего дома не смеют сунуться, сидят на завалинке, робко прижавшись друг к другу, забитые, загнанные. Ни у одного скопца, ни у одной скопчихи не найдется теплого слова для этих отверженных. На основании этого можно было бы неверно заключить о черствости скопцов... Нет! Мне не раз приходилось видеть скопчих, с непритворным чувством ласкающих чужих, случайно забредших в деревню ребят. Видя эти сцены, мне всегда казалось, что бедные женщины хоть частичку затаенного материнского чувства изливают на своих случайных гостей. Жалко и больно становилось за эти жертвы собственного изуверства... Из этого мы видим, что отношение к этим детям можно объяснить только местью скопческого мира за отступничество матери. Месть эта проявляется и в другом. Мать, племянница умершего в 1890 году скопца, наследовала после него хлеб, дом... Но земли, расчищенной дядей, общество ей не дает, несмотря на то, что у нее сын...

— А если она каждый год, — со злостью говорили скопцы,— будет таскать ребят, то мы ей каждый год новую землю давай?! Эдак она у нас всю землю скоро отберет!..

Познакомив читателей с историей Хатын-Арынского селения со времени его основания, я перехожу к обрисовке того состояния, в каком я нашел названное селение в начале 1895 года.

С жителями Хатын-Арынского селения я знаком несколько лет. Для меня все эти Дмитрии Платоновичи да Архипы Федоровичи (скопцы очень любят величать друг друга по имени и отчеству) с момента исследования далеко не были только «скопцами», какими они были бы для всякого другого наблюдателя. В их обезображенных по своей воле лицах, для случайного наблюдателя — однообразных, мертвых, без выражения, я научился уж замечать ничтожнейшие перемены, малейшие волнения. Внутренняя жизнь селения со всеми положительными и отрицательными ее чертами по рассказам была мне тоже знакома.

Я отмечаю это, так как это составляет положительную, но иногда и отрицательную сторону собранных мною данных. Так, например, скопцы не скрывали (об исключениях я не говорю) действительного количества собранного ими хлеба уж хотя бы по тем соображениям, что я как местный житель легко мог их уличить указанием на сложенные во дворе допрашиваемого громадные клади еще не обмолоченного хлеба. Зато, с другой стороны, близкое знакомство с ними давало возможность уклоняться от кое-каких ответов. Так, случилось, что, задавая вопрос о задолженности, я получил следующий добродушный ответ: «Ни за что не скажу... Стыдно!» Увещеваниями я добился только одного: «Запишите, что ничего не должен... Ей-богу, завтра же все уплачу!..»

Но вот я на сходе. Передо мной, как в калейдоскопе, проходят один за другим собранные со всех концов России скопцы. Все заинтересованы целью исследования и внимательно слушают объяснения. Одни действительно понимают, другие только притворяются. Начинаю опрос с более знакомых. Первый из них отвечает довольно правдиво, но не выдерживает: уменьшает количество собранного хлеба, преувеличивает расходы по обработке земли и по уборке...

— Как же это? Такое незначительное количество хлеба и вы при помощи двух рабочих на трех конях так долго молотили?..

Присутствующие хохочут; опрашиваемый смущен, изворачивается всевозможными способами, но, припертый к стене, сознается.

Другого уличаешь сопоставлением расходов с доходами: первые значительно превосходят вторые, а долгов нет.

В конце концов я, кажется, добился того, что скопцы убедились, что не разобраться им в этом лабиринте цифр и рубрик, и... сдались.

На одном из этих данных стоит остановиться:

Процент грамотных сравнительно большой — 86,6%. Грамотных мужчин — 66%, женщин — 20,6%. Такой большой процент грамотных женщин объясняется большим же процентом

сравнительно молодых женщин в данном селении; в других скопческих селениях он значительно ниже.

Приведенные цифры далеко не дают представления о степени образованности скопцов. Все эти «грамотные» с трудом читают, а пишут с такими ошибками и такими каракулями, что часто трудно разобрать их, не говоря уже о смысле, которого зачастую не доищешься. Характерно, что в целом селении не нашлось, не находится и поныне могущего исправлять должность местного писаря... Говоря это, я отнюдь не желаю умалять сравнительно большого умственного развития жителей Хатын-Арынского селения. Это было бы неверно. Так, например, выучившийся самоучкой грамоте Т. М. Зелепукин, пишущий и поныне: «посев избор хлебов и картофля», «пшенитца, яритца» и т. д., тем не менее, настолько интеллигентен, что, прочитав где-то, как надо производить термометрические наблюдения, изо дня в день записывает температуру, ее колебания, тщательно заносит в дневник все перемены погоды, отмечает начало посева, уборки хлеба и т. д.

Многие из скопцов охотно читают и понимают прочитанное. Самые развитые увлекаются сочинениями по истории, географии; с большим, в частности, увлечением зачитываются описаниями путешествий. Кое-кто читает популярные брошюры по земледелию, а значительное большинство — романы, по преимуществу эротического содержания. Отношение к романам — очень характерно. Ко всему, описываемому в романе, скопцы относятся, как к действительности, близко принимают к сердцу судьбу героев и героинь и, если роман печатается по частям в одном из выписываемых ими изданий, с нетерпением ожидают продолжения. При встрече делятся друг с другом впечатлениями и тревогой о судьбе героев.

— А Вера из монастыря-то бежала ведь!

— Как! не может быть!

— Как же! Как же! Бежала!..

И первый, сообщивший эту важную новость, подробно рассказывает все детали побега, воспроизводя с замечательной точностью все его подробности.

Собеседник вздыхает сочувственно...

Все это эпизоды «рòмана», интересующего в данный момент деревню.

Выписывают: «Сын отечества», «Царь-колокол», «Родину», «Ниву», «Север», «Вокруг света». На выписку вся деревня тратит в год 25—30 рублей. Выписывают и в одиночку, и вскладчину, смотря по зажиточности.

Но скопцы грамотны не только без кавычек, но и в кавычках. Все более и более превращаясь, как уже отмечено В. Л. Серошевским, «т о л ь к о в строгих и умелых надсмотрщиков над полками работающих у них якутов», скопцы продолжают пользоваться славой «трудолюбивых».

Поучительная получается картина. Глядя на нее, невольно вспоминаешь те упреки в лени, какие не раз посылались по адресу якутов, те дифирамбы, какие воспевались «трудолюбивым» скопцам... Было время, когда дифирамбы эти были заслужены скопцами. То было время, когда они сами обрабатывали землю, производили хлеб только для себя... Это время давно уже протекло. Теперь скопческое хозяйство держится якутским трудом, хлеб производится на продажу.

Указывая на это, мы не отрицаем их огромного влияния и значения как пионеров земледелия. Их опыты положили начало земледелию, их неудачи оберегали других.

Таким образом, если бы, говоря о роли скопцов в крае, приходилось говорить только об их земледельческой деятельности, их пребывание в крае мы считали бы безусловно полезным. Из года в год сея и вместе с тем богатея, скопцы своим примером воочию доказывают инородцам, что заниматься земледелием в Якутском округе — выгодно. Это — первая невольная правда — несомненная заслуга скопцов.

Земледелие в Якутском округе среди инородцев до сих пор все еще находится в эмбриональном состоянии. «Бедный инородец,— говорит один из самых интеллигентных якутов в «Записке о настоящем положении экономических запасов хлеба», — только недавно познакомившийся с сохой и бороной, не знает самых элементарных правил хлебопашества. Пашет он землю без разбора почвы: глинистая ли она, песчаная или солонцеватая; сеет единственный известный ему злак — ячмень, других сортов для него не существует. Не известны ему ни пары, ни удобрения, ни севообороты. Начало своих работ он не сообразует со степенью влажности полей, а начинает пахать (?), соображаясь с днем св. Николы. При этом оставляется им на семена самый негодный отброс с примесью всякой сорной травы. «Что же,— рассуждает он,— даст бог,— уродится, а не даст, как ни старайся, — пропадет». Такими мрачными красками рисует дюпсюнский улусный голова земледелие в подведомственном ему улусе. Положение дел в Намском улусе — значительно лучше. Полки рабочих, привлекаемых к земледелию скопцами, обучаются у них приемам земледелия и применяют их у себя. Видя, как тщательно скопцы отбирают зерно для посева, якуты заимствуют у них и это, как заимствовали серпы (до поселения скопцов в Намском улусе серпы якутами не употреблялись), литовки и т. д. и т. д. И теперь еще даже в Хатыринском наслеге, — всего на 10—12 верст севернее Хатын-Арынского селения, — жнут якутскими ножами. Стоит уклониться верст на 15 в сторону от тракта, — вновь встретишься с пресловутыми горбушами. Конечно, трудно доказать, что это влияние именно скопцов, но таков всеобщий голос, таково личное мое мнение, вынесенное из разговоров с самими инородцами, таково естественное влияние более культурного элемента на менее культурный.

Из сказанного видно, что в этой сфере влияние скопцов на местных жителей в высшей степени благотворно: они являются инструкторами, учителями земледелия. Если бы их деятельность могла ограничиться только этим, заслуга их перед краем была бы громадна. Но, к сожалению, за эту науку инородцам приходится расплачиваться дорогой ценой.

Расчистив отведенные им лесные участки, скопцы арендуют у инородцев их лесные угодья и расчищают последние за право пользоваться ими в течение шести лет. Фактически это происходит следующим образом: якутская земля, расчищенная трудами якутов, ими же вскопанная (капарулями), огороженная, взбороненная, засеивается скопческим хлебом. Уродившийся хлеб убирается, сводится, складывается в клади и обмолачивается якутами, причем ими же приготовляется и ток. Хлеб продается все тем же якутам.

Уж из того, как скопцы богатеют и расширяют свое хозяйство, можно судить о степени эксплоатации ими инородцев. Нельзя не отметить, что скопцы как знатоки дела кортомят лучшие якутские пашни, урожай с которых выше среднего, и, распахивая, ergo выпахивая их, расчищают якутское народное богатство. В момент поселения скопцов в крае, в частности в Намском улусе, на столь дорого стоящие «уроки» можно было смотреть, как на тяжелую необходимость, но теперь, когда польза от земледелия стала очевидна для населения; когда, как правильно заметил Серошевский (стр. 174)[1], «каждый якут (в Намском улусе) старается хоть сколько-нибудь посеять»; когда, наконец, более интеллигентные и образованные якуты вполне сознали как положительную роль скопцов как земледельцев, так и отрицательную их роль как эксплоататоров, — теперь якуты в полном праве обратиться к скопцам со словами: Han dsoff! Роль ваша сыграна! Jakutïa fara da se!

Роль скопцов в крае нами по мере сил и умения представлена. Для полноты картины нам остается еще обрисовать их юридический быт и те метаморфозы, какие вызваны их продолжительными скитаниями и многолетним общением с другими слоями населения, иными словами, — обрисовать влияние окружающей среды на скопцов.

В момент поселения скопцов в крае они, по словам Павлинова, в юридическом отношении были ниже всех других ссыльных. «Закон,— говорит названный автор,— лишив скопца прав состояния, считал его политически мертвым. В последнее время (1873) запрещено принимать от скопцов какие-либо пожертвования; государство, таким образом, отказывается от добровольной помощи со стороны их к увеличению государственных доходов и общественных средств, игнорирует готовность их жертвовать труд и капитал на общую пользу, потому что такие

---

[1] В. Серошевский. «Якуты».

жертвы могут исходить лишь от членов государства. Игнорируя их, государство не берется ни исправлять их, ни наказывать в настоящем значении наказания. Ссылка скопцов в Якутскую область есть по преимуществу мера предупреждения развития раскола в империи». Ввиду этого, добавим мы от себя, как ссылка, так и лишение всех прав — были пожизненны. «Частные договоры и обязательства, — резюмирует Павлинов, — вот вся рамка правовой общественной жизни скопцов». Оно и понятно. За отсутствием семьи — семейных прав у скопцов нет. Отношения его к живущим с ним женщинам основаны только на юридическом договоре. Даже права собственности скопца ограничены: один законный наследник после него — казна. Для целей того же пресечения закон предписывал и на месте ссылки изолировать их от остального населения. Единственная забота о скопцах со стороны правительства состояла в том, чтобы обеспечить их существование, не дать им умереть с голоду. Для этого им должна была отводиться земля, удобная для хлебопашества, причем для той же цели обращалось внимание, чтобы престарелые и больные были распределены равномерно между здоровыми. С этого начинались, этим кончались все заботы закона о скопцах. Закон буквально говорил скопцу: живи, если хочешь; не хочешь — умри! Скопцы пожелали жить, а жизнь постепенно, шаг за шагом, смягчала суровость закона, расширяла его рамки, ослабляла его силу, пока в конце концов не отменила его совершенно, не заменила более мягким, более благоприятным для скопцов.

В такой некультурной стране, какой была в начале шестидесятых годов Якутская область, культурный элемент, какой из себя представляли скопцы, не мог быть отвергнут. Закон был обойден. Под условием благонадежного поручительства из якутских жителей, сообщает Павлинов, скопцам разрешено временно жить в г. Якутске. Город нуждается в хороших ремесленниках, жители стали охотно пользоваться услугами скопцов. Сапожники, печники, плотники, часовые, экипажные мастера, типографщики, наборщики обогатили город своими трудами; реномэ скопцов установилось, жители стали нанимать их в кучера, лакеи, повара. Земледельцы поселились на Мархе. Правда, временное пребывание в городе скопцов мастеровых было отменено, но «журналом совета Главного управления Восточной Сибири», состоявшимся 30 ноября (5 декабря) 1866 года за № 16, признано «совершенно необходимым для скопцов, поселенных в этом крае, изменить ограничительные о них постановления, а именно:

1) дозволить всем вообще мастеровым и ремесленникам иэ скопцов, отличающимся хорошим поведением и образом жизни, отлучаться с мест своих поселений в ближайшие города для заработков и сбыта своих произведений, но с тем, чтобы эти отлучки были кратковременные;

2) женщинам-скопчихам дозволить отлучки в город под теми же условиями для занятий, к каким они окажутся способными;

3) дозволить скопцам временные отлучки по рр. Алдану — до Маи и по Лене — до Жиганска и выше для улова рыбы;

4) скопцам, обратившимся в православие, предоставить право приписываться, по их желанию, в Якутской области, а также дозволить им проживать в городах».

Первая брешь была пробита. Общение скопцов с окружающим населением показало, что опасности распространения скопческого раскола среди местного населения не существует. Ни «инородцы», ни русское население Якутской области не представляют удобного объекта для скопческой пропаганды. Некоторое время существовали опасения, что зажиточность скопцов может прельстить окружающих их и что, следовательно, возможно обращение в скопчество из-за корыстных целей. Действительность опровергла и эти опасения, безусловно подтвердив замечательно справедливый и не менее того остроумный отзыв В. Приклонского, что «зажиточность скопцов так же может соблазнить в скопчество якутов, как обильные стада и табуны якутских тойонов в состоянии соблазнить скопцов в шаманство».

Мало-по-малу скопцы получили право заниматься мелочной торговлей в пределах селения, и, что самое важное, к ним был применен «высочайший манифест» 1883 года с тем лишь ограничением, что и с получением крестьянских прав они не пользуются правом отлучек.

Последнее представляет несомненный анахронизм, часто ослабляющий те права, какие в последнее время дарованы скопцам законом. Так, правом отлучки в г. Якутск пользуются de jure только одни подгородние (мархинские) скопцы — и то сроком не свыше 8 часов; между тем как теперь, по закону, скопцы, правда с ограничениями, но все-таки имеют право составлять завещание в присутствии областного правления.

Запрещение отлучки в город тем самым лишает скопцов возможности воспользоваться столь дорогим для них правом завещать имущество родственникам, живущим в Сибири, и своим односельчанам. Это запрещение не может быть применяемо во всей силе по отношению к таким селениям, как Хатын-Арынское, Кельдемское и др., без прямого ущерба для жителей этих селений, в противном случае производители хлеба были бы отрезаны от главного рынка для сбыта.

Из этого краткого резюме существующих постановлений о скопцах видно, что приобретение скопцами крестьянских прав, хотя и с органичениями, и упрочение прав собственности (право, хотя и ограниченное, составлять завещание) являются существенными приобретениями скопцов в Якутской области; ни безупречное поведение, ни даже раскаяние в виде принятия

православия не дают им права выезда за пределы Якутской области.

Если с лишком тридцать лет пребывания скопцов в Якутском крае вызвало такие немаловажные изменения в законодательстве, то оно тем более должно было сказаться существенными переменами в самых прозелитах учения Селиванова[1].

Мы уже упоминали в начале статьи, как недолго мир да согласие царили в скопческой среде, с каким черствым озлоблением скопцы ополчались друг на друга, с каким остервенением одни мстили другим... Эта сохранившаяся в делах пена разбушевавшихся волн скопческой жизни является только симптомом той коренной ломки, какая за эти тридцать лет произошла в их среде. Все положительные заветы скопчества унесены этими волнами. Тщеславие, жадность, хищные инстинкты, хитрость — вот характерные черты большинства современных скопцов. О любви к ближнему, о сострадании, даже о простом чувстве такта в отношениях друг к другу скопцы давно позабыли...

Умирает скопец... Кто не смягчится перед лицом смерти, — смерти скопца, одинокого, на чужбине? Какое глубокое чувство грусти должна она вызвать в обреченных на такую же участь!.. Вот факты. Умирает Л. Ужас смерти усиливается еще тем, что умирающий до последнего момента не теряет сознания и, лежа на кровати, робко озирается по сторонам, тщетно стараясь хоть тень надежды прочитать на лицах окружающих. За столом два наследника зорко следят за каждым движением обделенной умирающим «стряпки»... В комнату врывается один из соседей и чуть не с плачем вымаливает у умирающего зимнюю шапку... Злобные взгляды наследников, направленные на решительного посетителя, на минуту упускают из виду «сестрицу»... Та пользуется этим моментом, что-то прячет, но один из наследников, на беду, вспоминает о своей оплошности, вскидывает глаза на «сестрицу», ловит на похищении и с бешенством и руганью отнимает похищенное... Умирающий взволнованно шепчет что-то побелевшими губами, может быть просит чего-нибудь, но до него ли наследникам, когда «кровное» их добро так нагло расхищается...

Последний стон не успевает еще вырваться из измученной груди умирающего, как в комнату вваливается толпа скопцов и скопчих и начинается самое наглое, самое беззастенчивое расхищение всего, что не успели припрятать предусмотрительные наследники. Не вид покойника, не протесты наследников, а только появление старосты для составления описи оставленного покойником имущества приостанавливает этот грабеж... Но страсти не стихают. Зависть к законным наследникам клокочет в душе обделенных... Начинаются интриги, оспаривания...

---

[1] Кондратий Селиванов — основатель скопческой секты в 1772 г.

Особенно печальна судьба «овдовевших» сестер... Это, буквально, выжатый лимон, за негодностью вышвырнутый на улицу. Хорошо, если «стряпка» молода; такую охотно возьмет к себе один из неимеющих «стряпки», но что делать такой, как только что осиротевшая? Покойный был вторым, в услужении у которого находилась эта скопчиха; первый «брат» тоже умер. За ней установилось мнение, что она навлекает несчастие на живущих с ней, и все от нее отшатнулись... Лучшие из скопцов убедили главного наследника позволить ей жить в предбаннике.

Большинство скопцов — это фарисеи-лицемеры. От прежних верований и следа не осталось, а они все продолжают своими изувеченными голосами распевать старые песни... Это развратники до мозга костей, напивающиеся иной раз до бесчувствия, но следящие за соседями, не оскверняют ли те своих уст вином; проповедники любви и братства, пишущие ложные доносы под прикрытием чужой фамилии; хвастуны, у которых на устах любовь к ближнему, а за горсть тухлой муки, поданной голодному якуту, выжимающие из него последние соки...

На этих скопцах ссылка сказалась в высшей степени отрицательно. Из честных, хотя и заблуждающихся людей, они сделались нравственно падшими. Раньше — только физические уроды, теперь они стали и моральными.

Поскольку эти противны, постольку же чувство глубокого сострадания и симпатии вызывает незначительная горсть скопцов, давно изверившихся в правоте своей веры. Глубокая скорбь о своем искалечении и не раз вырывающиеся вздохи: «не воротишь!» невольно толкают на разговор по душе с ними.

Чувство какой-то неудовлетворенности, поиски какой-то истины столкнули их с проповедниками скопчества. Увлечение и энтузиазм лишали возможности критически отнестись к проповедуемому, и люди погибли. Глядя теперь на своих бывших учителей, видя, во что превратились глашатаи истины, эти несчастные относятся к ним с чувством страшного озлобления. Но выхода нет! Закон закрыл перед ними возвращение на родину; печать физического уродства гонит их из нескопческой среды. Пожизненные душевные муки — вот судьба этих невольных жертв минутного и, что самое главное, чистого увлечения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ПОЛИТИКОВ»

Я, быть может, дольше чем следовало бы остановился на отношениях и к якутам, и к различным категориям ссыльных, но, когда я в настоящее время вспоминаю о тех давно минувших временах, для меня становится ясно, что многие из заброшенных в то время на далекий северо-восток политических ссыльных уцелели только благодаря тому, что им удалось зацепиться за жизнь, найти хоть бы только суррогат содер-

жания в изучении окружающих и в оказании им хотя бы крохотной помощи в их тяжелой борьбе за существование.

Будущему историку ссылки много придется поработать над решением вопроса, чем вызвано то, что из среды политических ссыльных выдвинулось такое огромное количество ученых исследователей, беллетристов, публицистов и т. д. и т. п.

Ведь большинство ссыльных еще с шестидесятых годов и до девятидесятых, когда движение начинало принимать массовый характер, — это не окончившие курса студенты, семинаристы и даже гимназисты...

А между тем на всем протяжении Сибири из года в год выдвигались все новые и новые имена ссыльных, внесших определенный вклад в науку... Особенно выделилась в этом отношении Якутская область, о чем свидетельствует далеко не полный перечень имен: Худяков, Короленко, Серошевский, Трощанский (статья о верованиях якутов), Пекарский, Ионов, Виташевский, Иохельсон, Левенталь, Майнов, Геккер, Горинович, Стефанович, Ястремский, Сосновский, Свитыч (двое последних печатали свои беллетристические очерки в «Русском богатстве»), Дионео (Шкловский), Осипович (беллетрист) и многие другие, если не упоминать о журналистах, которые принимали весьма деятельное участие во всех сибирских периодических изданиях.

Когда я пишу это, припоминается мне рассказ Рехневского о приезде для ревизии на тогда только строившуюся Забайкальскую железную дорогу какого-то путейского превосходительства.

— Откуда вы в этой глуши людей берете на строительство? — недоумевал путейский генерал.

— Из Карийского университета, — последовал тут же ответ.

Кара, как и сотни тюрем, разбросанных по всему лицу земли русской, была университетом, в котором недоучившиеся студенты и гимназисты запасались знаниями, а многие рабочие проходили здесь курсы и начального образования, и гимназии, и университета. Эти воспитанники тюрем по выходе на волю, не имея возможности продолжать свою революционную деятельность, брались за научную работу, за все, что так или иначе их связывало с жизнью. Весьма многим со стороны могло показаться, что эти доморощенные ученые и публицисты окончательно потеряны для революции...

Кое-кто действительно настолько увлекся научной работой, что по возвращении в Россию даже волны революции 1905 года не смогли снять их с этой научной мели. Но это были лишь единицы. Огромное большинство ссыльных во время революции 1905 года на деле доказало, что они были прежде всего солдатами революции.

За время пребывания в Якутской области и я увлекся научными исследованиями, подвизался и как публицист и даже как беллетрист и продолжал работу на всех этих поприщах, сочетая ее лишь с весьма незначительной революционной работой, поскольку она была возможна в медвежьих углах Сибири. В высшей степени характерно, что, когда о моих научных исследованиях начали попадаться отзывы в печати, кое-кто из знавших меня раньше обеспокоился. Уже в Минусинске я получил письмо от Яновича и Стружецкого, в котором они с определенной тревогой зондировали меня, желая убедиться, действительно ли я с головой зарылся в науку, и, получив от меня ответ, сознались, что они сильно беспокоились, не превратился ли я в заправского ученого...

В описываемое мною время уже серьезно занимались изучением жизни якутов Виташевский, Ионов, Пекарский; много материала по изучению экономического быта якутов собрал Левенталь; специально вопросом о земледелии в Якутской области занимался Иохельсон.

Перечисляя всех этих лиц, я совершенно сознательно не упомянул о Вацлаве Серошевском.

Он среди исследователей занимал совершенно особое место.

Как художник он интуитивно воспринимал общую картину своеобразной якутской жизни, не исследуя точно деталей. На этом основании его обвиняли в дилетантизме, вылавливая в его трудах массу неточностей и упрекая его в поверхностности.

Эти обвинения свидетельствовали лишь о том, что критики Серошевского из-за деревьев не замечали леса, из-за деталей проглядели целое, а это целое было и остается до сих пор весьма ценным вкладом в науку.

Как известно, Серошевский гораздо более известен как беллетрист-художник, чем как ученый. Но и в беллетристических произведениях Серошевского заметна та черта, которая вызывала недовольство его научной работой. Для получения эффекта он настолько не стесняется поступиться точностью, что, хотя это и находится в противоречии с верованиями якутов, он заставляет шамана в полном облачении плясать над телом умершего сына («На краю лесов»). В «Хайлаке» он не довольствуется картиной убийства, а для эффекта рисует добавочную картину, как поселенец хлюпается в крови убитого. Чудесную тунгусскую легенду о том, как человек для спасения своего племени приносит себя в жертву богу, он портит заключительным, чисто оперного характера аккордом, влагая в уста старинного жреца-тунгуса слова:

«Нет, не погиб еще народ, в котором бьются такие сердца!»

Все же, несмотря на все это, Серошевский — крупный

художник-пластик, описываемая им природа живет, дышит. Наблюдательная способность сильно развита.

Когда я приехал в Якутскую область, некоторые его беллетристические произведения уже были напечатаны, другие он только намечал, планировал и работал до устали, до изнеможения, сидя за столом, на котором было им поставлено зеркало. В его работе это зеркало играло большую роль. Придавая то или другое выражение своему лицу, он гляделся в зеркало и замеченное в точности переносил на бумагу.

Несмотря на его несомненный крупный талант, литературная работа не легко давалась Серошевскому. С ним случилось то, что случалось со многими ссыльными поляками. Некоторое сходство русского языка с польским способствовало тому, что они, забывая родной язык, пополняли его русским и создавали какой-то русско-польский жаргон.

На Каре лексикон тюрьмы обогатился выражениями Дулембы: «кляпа идзе» (клоп идет), «курицын любовник» (любитель кур) и т. д. Серошевский не дошел до такого «совершенства», но все его статьи как на русском, так и на польском языках нуждались в очень больших исправлениях и заменах польских слов русскими и русских польскими. Эту работу проделывала над первыми его произведениями его сестра — Паулина Серошевская. Когда я прибыл в Якутку, он просил меня ему помочь в этом отношении. Я упоминаю об этом в связи с тем, что из-за этого так и не напечатан один из лучших и по замыслу и по выполнению его рассказ из жизни ссыльных. Содержание его, насколько оно сохранилось в моей памяти, следующее. Политическая ссыльная, заброшенная в Якутскую область, на одном из станков узнает, что недалеко от станка живет политический ссыльный. Она направляется к нему, чтобы рассказами о воле, о происходящей и развертывающейся борьбе хоть сколько-нибудь оживить человека. Она заранее предвкушает его радость от встречи с революционером, с товарищем. Возбужденная, она врывается к нему в юрту... Он ошарашен, смущен. Она объясняет это его оторванностью и все больше и больше увлекается мыслью о возвращении его к жизни.

Он не выдерживает и огорашивает ее заявлением: «Я на следствии не выдержал, я предатель...»

Дальнейших деталей я уже не помню, помню лишь то, что этот небольшой беллетристический очерк произвел на меня большое впечатление.

Я основательно работал над ним, предложил кое-какие изменения и добавления. Серошевский принял их, но тут же огорошил меня заявлением, что он не напечатает этого рассказа, если я не соглашусь наряду с ним фигурировать в качестве автора. Я, понятно, согласиться на это не мог. Он заупрямился, и рассказ этот, насколько я мог это проследить, так и похоронен в его архивах.

Из Якутска в конце февраля 1892 года я переехал в Намский улус. Дорога до самого места моего назначения — Хатын-Арынского наслега — совершенно не напоминает дороги на Чурапчу. Эта часть Якутского округа более населена и более руссифицирована. Дорога проходила через крупное скопческое селение Кельдямское; часто встречались пашни, рядом с юртами возвышались «русские дома» якутских богачей. Встречавшиеся якуты хоть с грехом пополам, но все же объяснялись по-русски, что не мешало им до неузнаваемости видоизменять русские слова. Так, «тарантас» превращался в «карандаш», горчица в «картышу», «губернатор» в «кабарнатора»... В Намском улусе под влиянием русских литовки вытеснили косы-горбуши... Руссификация везде была заметнее, чем на правом берегу Лены. И сама дорога была менее утомительна уже хотя бы потому, что на протяжении всей дороги можно было остановиться для отдыха и ночлега у товарищей по ссылке, живших вдоль дороги: у Студзинского, Шпиркана, Розы Франк, Сиповича, Тонышева и Степанова и, наконец, у Чикоидзе и Кленова. Только приблизительно на половине дороги приходилось для отдыха пользоваться гостеприимством якутов за определенную мзду. А так как все ссыльные всегда останавливались в одной и той же якутской усадьбе, то хозяйка радостно встречала каждого и — надо отдать ей справедливость — делала все, чтобы русским гостям угодить.

Когда помогавшая ей девица ставила перед гостем грязную тарелку, она громила ее:

— Нучча любит, чтобы было чисто, — и подолом рубахи, лоснящейся от грязи, чистила тарелку или... основательно вылизывала все с тарелки.

В оправдание ее могу только сказать, что и богатый и считавший себя весьма культурным тойон, заметив, что у Христины Григорьевны Гринберг нет ложки, быстро облизал ложку со всех сторон и с джентльменским полупоклоном преподнес ее ей.

Зато у товарищей можно было отдохнуть вволю. Их усадьбы напоминали фермы и в большинстве случаев блистали чистотой. Все было. Недоставало лишь одного: жизни, осмысленного содержания. Многие вели хозяйство, чтобы жить, и жили, чтобы вести хозяйство... По форме жизнь была другая, чем на Чурапче, по сути — такая же...

Я с женой — Христиной Гринберг — поселился временно до постройки своей избы в доме убитого поселенцем богача-якута Магначевского, километрах в двух от скопческого селения. Этот дом, по якутскому масштабу весьма культурно обставленный, перешел по наследству к брату убитого, совершенно некультурному человеку, кулаку и пьянице. Получив в моем

лице совершенно неожиданно для себя квартиранта, он решил использовать положение и, продавая все втридорога, не допускал ко мне никого, кто мог бы конкурировать с ним. Все окрестные якуты были им закабалены и не смели ему перечить, и я очутился во враждебном окружении и брошенным на произвол этого кулака.

Вышел я из затруднения только благодаря тому, что один из скопцов, лечившихся у Сиповича, согласился доставить мне несколько саженей дров и кое-какие продукты. Магначевский сначала пытался было другим путем настоять на своем. Дрова были положены во дворе и их, по приказанию Магначевского, просто воровали, но когда это не помогло, он пошел на мировую. Жить мне у него предстояло недолго — в Мадутском улусе уже строился для меня домик, который должен был быть готов к июню, и если я упоминаю об этой борьбе, то лишь потому, что многим из ссыльных, заброшенным в одиночку в медвежьи углы Якутии, приходилось выдерживать такую борьбу гораздо более продолжительное время. А так как те скудные средства, какими располагали ссыльные, при тех аппетитах, которые появлялись у якутских тойонов, таяли из-за этого довольно быстро, то во многих случаях эта борьба превращалась в борьбу за существование. Положение обострялось в связи с тем, что якуты, зная о получаемом ссыльными пособии (12 руб. в месяц!), считали их богачами, людьми, на которых можно нажиться.

Эти же тойоны до такой степени закабаляли своих сородичей, что они, работая все время на них, не вылезали из долгов и становились форменными крепостными тойонов, которые как главы рода использовали это для вящщей эксплоатации.

Жизнь в Якутской области не отличалась разнообразием, в особенности зимой. Лютый мороз сковывал человека.

Лежишь в своей берлоге, не вылезая из нее по целым неделям. И с радостью выбегаешь навстречу приехавшему с пособием и почтой полицейскому надзирателю. Целые месяцы этот надзиратель является единственной связью между ссыльными и всем остальным миром, если под этим «живым миром» не понимать заезжавших погреться и попить чайку якутов...

Тоска, могущая довести до сумасшествия...

В один из таких тоскливых вечеров забежал к нам живший в ближайшем соседстве с нами А. Л. Сипович:

— Выйдите во двор... Северное сияние.

Много описаний северного сияния я читал на своем веку, но ни одно из них не дает понятия о нем.

Это нечто, по своей красоте совершенно не поддающееся описанию...

Виденное тогда мною северное сияние представляло полукруг, к которому снизу поднимались столбы, составленные из

движущихся с невероятной быстротой искр, все время меняющих свою окраску. От времени до времени эти столбы словно вспыхивали, и яркие искры рассыпались во все стороны.

Это продолжалось десять — тринадцать минут, а затем все потухло, и только молочно-белая полоса на севере указывала место, где горела эта дивная картина...

Я выше упоминал о том, что ссыльные занимались научными исследованиями... Но — и это в высшей степени характерно для политических ссыльных — они менее всего занимались изучением якутской природы.

Их тянуло к живым людям... Между тем якутская природа заправских ученых не могла бы не увлечь. Зимой морозы, доходящие до 60° Ц. и заставляющие даже воробьев перелетать в более теплые края, летом — жара, при которой хлеб созревает в течение семи-восьми недель.

Но было все, кроме жизни... А меня тянуло к жизни...

Несмотря на распутицу, как только мороз сдал, я поехал за 25 верст в управу. Писарь Шапошников только что вернулся с молебствия «о здравии государя императора». Оказалось,— а мы об этом ничего не знали,— что Александр III серьезно заболел и циркулярно было предписано всем молиться о его здравии, но оказалось также, что, пока циркуляр добрался до якутских улусов, Александр III давно успел «в бозе почить», а якуты продолжали молиться о его здравии. Мне лично тем, что он «в бозе почил», он оказал немалую услугу: по амнистии я получил право приписки в «крестьяне из ссыльных» и за ведро водки и 10 рублей был принят в число крестьян с. Доброго, получил паспорт и в ноябре двинулся в санях по р. Лене в Иркутск. Провожавшие меня товарищи поздравляли меня с «удачей». Мороз сдал: было всего 40° Р.

ОБРАТНО

Дорога в Иркутск — та же, что и летом, по р. Лене, с той лишь разницей, что летом едешь на паузке, а зимой — по льду в санях; что летом грозят мели, а зимой снежные ураганы, те самые, о которых Некрасов писал:

> А ураган в степи застал —
> Закапывайся в снег!

На Лене и «закапываться» нельзя. Громадные, торчащие из-под снега торосы — ледяные глыбы, вытолкнутые снизу водой в момент замерзания реки, исключают возможность закапывания. А снежный ураган валит с ног людей, лошадей...

Медленно движется вперед повозка... Мороз пробирает... Но не всех... Нас пробирал... Купчин, из года в год по этому пути отправлявшихся с мехами на Ирбитскую ярмарку, не трогал,

В длинной и широкой повозке, укрытые мехами, просыпаясь лишь для того, чтобы выпить и закусить, они не испытывали того, что приходилось переживать обыкновенным смертным. О купцах заботились ехавшие с ними и ютившиеся на козлах рядом с ямщиками приказчики. Даже на станциях такие купеческие тузы не вылезали из повозки, разве только тогда, когда успевали стосковаться по самовару. Их сани даже не поднимались на берег, к станции... На водку давали они щедро. На «ямщицкой бирже» их фонды стояли высоко. И достаточно было, чтобы только слух прошел о предстоящей их поездке, как уже лошади, лучшие в околотке, ожидали их в полной боевой готовности, а люди на берегу караулили. И как только ожидаемое: «едет» доходило до станции, все приходило в движение. Ямщик с лошадьми торопливо спускался с берега на лед... Приказчик поднимался на берег, чтобы отметить подорожную и уплатить прогоны. В один момент проводилась перемена лошадей; приказчик и ямщик садились на козлы и купеческие сани мчались дальше с быстротой 12—15 верст в час!

Далеко не так передвигались мы. Берега Лены — крутые и высокие. Бывали случаи, что уже подъедешь к желанной станции, но, несмотря на то, что ямщик усердно хлещет по всем трем, уставшие лошади не в состоянии втащить повозку на берег. Начинается возня. Иной раз приходится десятку людей помогать лошадям взобраться. А спуск еще труднее. Люди сзади цепляются за возок, чтобы замедлить движение. Этот «живой тормоз» — самое обычное явление. Без него и лошади, и люди в возке могут разбиться насмерть.

Дорогу от Якутска до Иркутска — 3000 верст — купцы проезжали в пять-шесть дней, мы проехали в тридцать три. Летом поражают красоты берега Лены — знаменитые «щеки», зимой — не до красот! Но зато именно зимой есть возможность увидеть и ознакомиться с тем, чего нельзя увидеть, передвигаясь в пловучей тюрьме.

В свое время еще Екатерина II, организуя почтовую гоньбу в далекий Якутск, переселяла для этой цели казаков. А когда мы ехали, уже редко кто из казаков говорил по-русски. Все население было настолько объякучено, что русского ни по речи, ни по одежде, ни по верованиям, ни по бытовым условиям не отличишь от якута. Только станционные писаря, словно для связи, говорили и писали с грехом пополам по-русски.

Эти станционные писаря — вершители судеб проезжающих. Захотят — и проезжающий без замедления отправляется в дальнейший путь, а не захотят — и он зря прождет на станции несколько часов. У одних из этих писарей решающую роль играет размер сделанных ему подношений, — купцами чаще всего в виде бутылки «очищенной», — у других немалую роль играет желание показать, что и они — власть... Чаще всего эти изыскивающие формы, как покуражиться над брошенными на

их произвол проезжающими, несчастные люди сами в прошлом испытывали всевозможные издевательства и теперь только брали реванш. И случалось, что, встреченные вызывающе грубо, мы, по ознакомлении такого писаря с нашими документами, оказывались в привилегированном сравнительно с другими положении, и нам скоро подавались лошади и назначался опытный и надежный ямщик. Мы не принадлежали к категории «обидчиков», к нам именно как «политическим» было другое отношение.

Но таких писарей было не много. Большинство станционных писарей считало мзду, всякими путями выжимаемую из проезжавших, чуть ли не «законной» прибавкой к своему скудному жалованью. От нас этой прибавки нельзя было получить, и результаты этого для нас были весьма плачевны. Нам как наподбор давали дряхлых, а то и полупьяных ямщиков. Лошади еле волочили ноги. Упряжь то-и-дело заставляла останавливаться: то рвались постромки, то чресседельник, то развязывалась супонь. В одном месте заехали в сугроб. Дело было ночью. Рассчитывать на помощь было неоткуда! А мечтать о том, чтобы полудохлые лошади вытащили возок из сугроба, было нельзя. Ямщик довольно хладнокровно отнесся к этому. Он, правда, охал и ахал, причитал и ругал не себя, конечно, а лошадей, но это была лишь дань принятой в таких случаях привычке показывать вид огорчения перед пассажиром. Выручил случай. Подъехали возвращавшиеся с приисков якуты. Не сомневаясь, что нучча не оставит их хлопот без вознаграждения, они, зная, что неподалеку зимовка старшины, съездили к нему, и час спустя он сам явился верхом на прекрасной лошади, которая одна вытащила возок из сугроба...

Всех мытарств в дороге — не перечесть...

Единственно отрадные за все эти тридцать три дня воспоминания — это встречи с ссыльными в Олекминске и Киренске.

В Олекминске тогда отбывал ссылку пользовавшийся огромной популярностью врач Абрамович, если не считать Дейча, к которому на Каре было насмешливо-ироническое отношение, первый встреченный мною социал-демократ. Абрамович произвел своей серьезностью и вдумчивостью очень хорошее впечатление. Недоставало у него только одного — революционного темперамента... То ли ему за время пребывания в ссылке надоели безрезультатные программные споры, то ли, как многие другие, втянувшись в будничную жизнь в ссылке, он охладел к принципиальным спорам, то ли по особенностям своего характера, но все мои попытки выудить из него что-либо не привели ни к чему. На другие вопросы он отвечал охотно: о своей врачебной практике, о своих пациентах, об отношении «начальства», о скопцах. Но как только вопрос касался принципиальных разногласий, Абрамович умолкал.

Полную противоположность ему представлял встреченный нами в Киренске Морозов. В то время худой — в противоположность теперешнему его виду — он при разговоре о «Народной Воле» буквально пламенел и приходилось только удивляться, как столько пылу вмещается в таком худом теле. В Киренске, если меня память не обманывает, отбывал в то время военную службу Пикер (Мартынов), который путешествие из Якутска в Киренск отбыл в качестве караульного, препровождающего по месту назначения ссыльного же Чикоидзе. В то время Пикер, до военной службы отбывавший ссылку в Средне-Колымске, еще ни в чем не проявлял отклонения от народничества в сторону марксизма.

Других ссыльных до самого Иркутска мы не встречали.

Но немалый интерес представляла совершенно другая встреча — встреча с отправлявшимся на службу в Якутск вице-губернатором Лавровым. Ехал он с многочисленными чадами и домочадцами, в том числе и чиновником особых поручений, равным образом исполнявшим при нем роль «домочадца». Сам вице-губернатор, его жена и его чада имели весьма смутное представление об якутском крае. Их бы не удивило, если бы им сказали, что в Якутске приходится оберегаться от бегающих по городу белых медведей. Все беседы их сводились лишь к тому, что их гонят в какую-то глушь, в какую-то дикую страну, в которой для такого сановника, как вице-губернатор, нет подходящей квартиры...

— Как мы там жить будем! — стонал вице-губернатор.

— Ничего! — успокаивала его более умная, чем он, вице-губернаторша. — Разместимся в двух квартирах и будем друг к другу ходить в гости...

Но этот ноющий вице-губернатор мгновенно превращался в свирепого сатрапа, как только отдаваемые им приказания не выполнялись писарями, ямщиками и всей мобилизованной для этой цели сельской властью так скоро, как это бы ему хотелось. Он топал ногами, кричал, угрожал и только наше присутствие спасало ямщиков от его рукоприкладства. На других станциях, куда мы прибыли, расставшись с ним, он, по рассказам возмущенных ямщиков и писарей, и рукам давал волю, и видно, «воля» эта была большая, так как обиженные решились на такой рискованный шаг, как на подачу на него жалобы иркутскому генерал-губернатору.

Только на тридцать третий день со дня выезда из Якутска мы подъехали к Иркутску.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ИРКУТСКЕ

Многолетнее пребывание в тюрьме, в каторге и Якутске не осталось без влияния на меня. Я, уроженец и житель столицы Польши — Варшавы, чувствовал себя дикарем в столице Восточной Сибири, настолько велик был контраст между Якутском и таким культурным центром, каким был в то время Иркутск. Начиная с таких великолепных зданий, каким был музей Восточно-Сибирского Географического общества, целый ряд больниц и школ, и кончая огромными, употребляя современный термин, — универмагами, — все это говорило о том, что прииски на Лене, приобревшие впоследствии всемирную печальную известность расстрелом рабочих, питали столицу своими золотыми соками и что нажившиеся на эксплоатации этих приисков и на поставках на эти прииски иркутские тузы сбросили с себя шкуры купчин, изображенных Островским, и превратились в коммерсантов западноевропейского типа. Этому был обязан Иркутск развитием целого ряда культурных учреждений. Но не только этому.

Как столица Восточной Сибири — Иркутск считался запретным местом для политических ссыльных. Несмотря, однако, на это, в течение целого ряда лет ссыльные постепенно проникали и в столицу «самого» генерал-губернатора и сыграли и здесь, в этом культурном центре, такую же культурную роль, какую они сыграли на всем протяжении Сибири, от Урала до Великого океана и от подножья Саянских гор до Ледовитого океана. Когда я с женой Христиной Григорьевной Гринберг, осужденной по «процессу 17-ти», прибыл в Иркутск, здесь была довольно большая колония политических ссыльных: С. Ф. Ковалик, Станислав Лянды с женой Феликсой Николаевной (Левандовской), муж и жена Хлусевичи, Кленов, Чикоидзе, Фундаминский, Мих. Морейнис, Кулаков, Любовец, Геккер, Кроль, Кларк, Красин. Одни, как Ковалик, Лянды, Кулаков, принимали участие в редактируемом И. И. Поповым «Восточном обозрении», другие: Кроль, Геккер

были активными работниками Восточно-Сибирского отдела Географического общества. Кое-кто работал в качестве служащих в банках и коммерческих предприятиях, кое-кто подвизался на педагогическом поприще, причем, вопреки прямым предписаниям «Устава о ссыльных», администрация не чинила в этом никаких затруднений.

При посещении ссыльных сразу бросалась в глаза разница между тем, как жили ссыльные в Якутске, и тем, как они жили в Иркутске. Там на костюм не обращалось ни малейшего внимания, здесь обычные для якутов блузы исчезали, ссыльные щеголяли в пиджаках, сюртуках и т. д. Там люди посещали друг друга, когда кому было угодно, здесь были приемы в определенные дни и часы, были так называемые «журфиксы». Там ссыльные вращались исключительно в собственной среде, здесь на этих журфиксах они встречались с местными интеллигентами, часто занимавшими весьма высокое положение в местной чиновничьей иерархии, как Корнилов, Дубенский и др.

Эти встречи, несомненно, имели немалое влияние на местных жителей, но равным образом несомненно, что это общение не оставалось без влияния и на ссыльных. Некоторых из них весьма трудно было отличить от местных интеллигентов, но и некоторых — правда, только некоторых — интеллигентов весьма трудно было отличить от ссыльных.

Этим в особенности отличались учительницы, из которых запомнилась мне одна — Калерия Александровна Яковлева.

В первое время я со своими приобретенными за десять лет скитаний по тюрьмам и ссылкам привычками чувствовал себя дикарем в этой новой среде. Это было тем более тягостно, что в Иркутске жизнь была очень дорога — тогда строилась Сибирская железная дорога — и для того, чтобы найти заработок, надо было хоть мало-мальски примениться к окружающей среде. Еще из Якутска я присылал корреспонденции и статьи в «Восточное обозрение» («Намские письма», «Никольская слободка» и др.), и я первым делом отправился в редакцию этой газеты. Само собой разумеется, что это было уже после того, как я перезнакомился со всей ссыльной семьей.

Редактор — Ив. Ив. Попов, сам в оное время принимавший участие в революционном движении, лично знакомый со многими «пролетариатцами»: Рехневским, Куницким и др., отдавал себе отчет в том, что только при активнейшем содействии политических ссыльных ему удастся тянуть довольно-таки тяжелый в Сибири газетный воз, и ценил каждого владеющего пером ссыльного. Уже во время первой беседы, должно быть по рекомендации Станислава Лянды, он предложил мне войти в состав редакции в качестве обозревателя русской жизни. В газете это было некоторым новшеством. До этого велась только хроника. Я обещал попробовать. В качестве профессионала-газетчика я должен был выступить впервые, а Ив. Ив. сразу предложил

мне войти в состав редакции и прийти уже в этот день на заседание. Я предупредил Ив. Ив., что мое пребывание в Иркутске не оформлено, что официально я переезжаю из Якутска в Балаганск, но что Географическое общество, которому я уже представил составленную мною монографию Хатын-Арынского скопческого селения, возбудило ходатайство об оставлении меня в Иркутске для обработки материалов по антропологии якутов, собранных мною в Якутском округе.

— Ну, тогда этот вопрос решен,— в ответ на это уверенно заявил И. И.

Его уверенность передалась и мне, и в этот же вечер я явился на редакционное заседание. Кроме Ив. Ив., в нем участвовали: Ковалик, Лянды, Дубенский и еще два-три человека, фамилии которых я уже не помню. Когда в настоящее время, по истечении более сорока лет, я вспоминаю этот редакционный состав, то мне все еще кажется странным, как могла существовать и прогрессировать газета. А все же она существовала, развивалась и считалась одной из лучших сибирских газет. В самом деле: С. Ф. Ковалик, один из умнейших людей, каких мне приходилось встречать, сохранил в неприкосновенности облик народника семидесятых годов. Щедрина, Успенского он признавал, но, когда однажды я в разговоре сослался на Маркса, он, пожав плечами, заявил:

— Не знаю! Не читал! После Чернышевского что может сказать Маркс!

В редакции С. Ф. был авторитетом, к мнению которого прислушивались. Другим, равным образом весьма авторитетным членом редакции был Станислав Лянды, осужденный по одному делу с Вацлавом Серошевским — по обвинению в вооруженном сопротивлении (в тюрьме, причем «оружием» была ножка от кровати!) в связи с убийством часовым в десятом павильоне Варшавской цитадели восемнадцатилетнего рабочего Бейте. Лянды вел иностранный отдел. Он много читал, читал и Маркса,— это по тому времени было довольно редким явлением,— но при всем том был тем, что впоследствии было определено термином: «социал-патриот».

В связи с заключенным «Пролетариатом» договором с «Народной Волей» он меня не без пристрастия допрашивал, почему это мы точно не договорились насчет границ будущей свободной польской республики, не говоря уже о крайнем недовольстве интернационализмом, резко подчеркиваемым партией «Пролетариат».

А четвертым был некто Дубенский, не ссыльный, типичнейший «либеральствующий» чиновник.

Этот разношерстный редакционный состав не мог быть объединен добродушнейшим Иваном Ивановичем Поповым, примиренчески настроенным по отношению ко всем течениям и в силу существовавших в Иркутске условий вынужденным играть в ре-

дакции роль министра иностранных дел — дипломата, на обязанности которого лежало улаживание всех конфликтов, хождение — если не по мукам, то хуже мук — по канцеляриям, цензурам, губернаторам и генерал-губернаторам с определенной задачей: отклонить удар меча, занесенного над редакцией.

И надо ему отдать справедливость, с этой задачей он прекрасно справлялся.

И все же, повторяю, несмотря на этот разношерстный состав, газета развивалась, с ней считались. Объединяло нас всех оппозиционное отношение к существовавшему самодержавно-полицейскому режиму. Это, повидимому, объединяло работников редакции и в прошлые времена, когда в ней принимали одновременно участие Ядринцев и Заичневский, а впоследствии П. Ф. Якубович-Мельшин, писавший под псевдонимом Аквилон и Фундаминский. Эта традиция — сочетания несочетаемого — сохранилась и после, когда под одной редакционной крышей оказались страдавший явным великодержавным уклоном, горячий сторонник общины, негодовавший против малейших покушений на нее — И. И. Майнов и сосланный «на родину» в Иркутск марксист Л. Б. Красин.

При таком составе редакции каждая принципиальная установка не могла не вызывать дискуссии, весьма полезной для участвующих в ней, но весьма мало пригодной для ускорения газетных темпов. Это, повидимому, было впоследствии учтено и толкнуло на создание секретариата.

Я заключаю об этом из того, что, когда я отбывал ссылку в Минусинске, всю переписку со мной вел исполнявший обязанности секретаря редакции В. С. Ефремов. Во время его секретарства «Восточное обозрение» еще больше ожило, несмотря на то, что финансовая база газеты, все время весьма тощая, продолжала оставаться таковой. Эта «финансовая база» во время моего пребывания в Иркутске не давала возможности настолько оплачивать сотрудников, чтобы они могли всецело посвятить себя газете, и все члены редакции вынуждены были заботиться даже не о добавочном, а об основном заработке, причем работа в редакции была... приработком. Искать основной работы пришлось и мне.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОПРИЩЕ

Специальности — кроме этнографии и антропологии — у меня не было никакой, а научная работа не обеспечивала существования. Пришлось считаться с существовавшим в Иркутске спросом и начать подвизаться на педагогическом поприще, благо во всех местах ссылки местные обыватели считали всех ссыльных заправскими педагогами. Кое-какая практика в этой области у меня была еще со студенческих времен, занимался я этим и в Якутске, обучая сынка Н. О. Коган-Берн-

штейн — Митю, и я сдался на уговоры М. Морейниса и С. Лянды и начал искать уроков. Не помню уж, кто дал мне адрес инженера Андронникова, который нуждался в учителе для своих двух маленьких дочурок. Не спросившись броду, я сунулся в воду. Не наведя справок, кто этот Андронников, я отправился по указанному мне адресу... И здание, в котором жил инженер, и ковры на лестнице меня смутили, но меня буквально взяла оторопь, когда, позвонив, я был встречен лакеем, подозрительно оглядевшим меня с ног до головы и спросившим меня довольно развязно, что мне нужно.

Я несвязно пробормотал, что я... учитель.

— Подождите! Я доложу... княгине.

Со мной чуть родимчик не случился. Я охотно сбежал бы, но было уже поздно. Вернувшийся в переднюю лакей пригласил меня последовать за ним в будуар княгини. Я последовал за ним, твердо решив отказаться от чести учить детей княгини. В этом решении я еще больше укрепился, когда предстал перед очами ее сиятельства, когда увидал ее будуар, убранный персидскими коврами...

Княгиня — грузинская красавица, когда я ей представился, начала допрос:

— Давно ли вы занимаетесь учительством?

— Нет, со студенческих времен я им не занимался; в ссылке, — а я вас должен предупредить, что я политический ссыльный, — я почти десять лет и опытом похвастаться не могу.

— То, что вы политический ссыльный, меня мало смущает...

— Но я вас должен предупредить, что хотя Географическое общество возбудило ходатайство об оставлении меня в Иркутске, но от генерал-губернатора, временно находящегося в Петербурге, ответа до сих пор не последовало.

— И это меня не беспокоит. Об этом уже муж позаботится, чтобы вас оставили в Иркутске...

Меня это заявление еще больше обеспокоило. Еще этого недоставало! Желая окончательно прервать всю эту, как мне казалось, бесцельную беседу, я тут же заявил:

— Еще одно! Я поляк. На произношении детей это может сказаться...

— Нет, это незаметно...

И тут провал! Никаких других аргументов убедить ее сиятельство в моей негодности как учителя у меня не было, а ей, повидимому, импонировал необычный прием при такого рода договорах — доказывать «нанимателю» свою негодность для работы, которую я хотел получить, если явился.

Предложенные Андронниковой материальные условия были настолько выгодны, что требовать большего я не мог и, к большому моему удручению, я «удостоился чести» быть учителем княжен.

Два дня спустя я должен был начать подвизаться как пе-

дагог, но совершенно неожиданно чуть было не лишился работы, от которой так усердно отбивался. После моего ухода Андронникова сообщила мужу, что пригласила меня в учителя, и получила серьезную взбучку от своего сиятельного супруга за «приглашение учителя с улицы». Это на нее подействовало тем более, что муж указал ей, что в Иркутске известен как хороший учитель ссыльный же Михаил Морейнис, который наверно согласится взять на себя преподавание его детям всей школьной премудрости. Княгиню нисколько не смущало то, что она со мной уже договорилась, и, ничуть не сумняшеся, она написала Морейнису письмо с приглашением зайти к ней переговорить об уроках для ее детей. Морейнис накануне был у нас и я ему рассказал о том, как я отбивался и все же не мог отбиться от уроков у Андронниковых. Не говоря мне ни слова о полученном приглашении, он явился в назначенный час, был принят Андронниковой и спокойно выслушал ее предложение.

Обо мне она не упомянула ни единым словом.

— Я извиняюсь, — заявил он в ответ на ее предложение, — но, насколько мне известно, вы уже договорились с Феликсом Яковлевичем Коном...

— Это верно, но, видите ли, мой муж остался крайне недоволен, правильно указывая, что так, как я это сделала, не приглашают учителя...

— Он совершенно прав! Но в данном случае — ваш выбор очень удачен. Я Кона знаю, и лучшего учителя вам не найти... Если бы ваш выбор был неудачен, я бы охотно принял ваше предложение, но, считая господина Кона не хуже себя, я вынужден отказаться.

Последовали дополнительные расспросы, извинения за беспокойство и уверения, что только по требованию мужа она решилась попытаться исправить свою мнимую ошибку, но теперь, когда он дает такой лестный отзыв о приглашенном ею учителе, не только она, но и муж останется довольным сделанным ею выбором. Само собой разумеется, что она просила Морейниса «ничего об этом господину Кону не говорить», но, хотя он этого не исполнил, у меня не было зацепки для того, чтобы отказаться от работы.

Обе девчурки, которых мне пришлось обучать начальной арифметике, русскому языку и географии, оказались очень милыми и способными ученицами, ни малейшего княжеского чванства, несмотря на их окружение, у них не было, и я с удовольствием занимался с ними. От времени до времени на уроках появлялась мамаша, раза два заглянул и отец, державший себя гораздо проще своей супруги, и в результате система моих занятий была признана ими хорошей и они же в городе создали мне репутацию «превосходного учителя», умеющего заинтересовать детей занятиями. В настоящее время, когда все эти переживания отошли в область прошлого, я — старик, в со-

стоянии критически отнестись к себе, тогда тридцатилетнему, могу сказать, что эти отзывы отвечали действительности. Я до сих пор вижу удивленные глазенки обеих девчонок, когда казавшаяся им непреодолимо трудной десятичная система исчисления оказалась очень простой благодаря применению показа на счетах, в ушах все еще раздается просьба рассказать «еще и еще», когда, говоря о какой-нибудь части тогдашней России, я рассказывал, как там люди живут, как обрабатывают землю, как ловят силками птиц и т. д. Хуже было с русским языком, с правописанием, с трижды проклятым ятем и, пожалуй, если бы мне не пришлось уехать благодаря отказу генерал-губернатора на все ходатайства людей и учреждений, — на этом я бы срезался.

Созданная мне репутация не осталась без результатов. В скором времени мне был предложен новый урок — у местного богача-коммерсанта и золотопромышленника Патушинского, сына которого, ученика IV класса, нужно было подтянуть по латыни и по греческому к переходным экзаменам. Несмотря на внешний лоск, вся семья Патушинских не отрешилась от прежнего купеческого подхода ко всему. Рубль решал все.

— За деньгами не постоим, только подготовьте!

Я проверил знания своего нового питомца. Надежды было мало на успех. Да и жаль было мальчика. Болезненный он был какой-то, а для того, чтобы он мог успешно сдать экзамены, ему нужно бы работать, работать и работать.

Я сообщил матери о результатах проделанной мною проверки, но она все-таки настаивала на том, чтобы начать занятия.

— Может быть, как-нибудь уважат...

Собиралась ли она звонкой монетой добиться этого «уважения» или иными приемами,— не знаю. Но могли быть и иные способы воздействия на педагогический персонал гимназии, так как Патушинский был вхож к генерал-губернатору и даже генерал-губернатор раза два в год удостаивал его своим посещением. Первое время меня удивляла эта «честь», оказываемая высшим представителем власти в крае хотя и очень богатому, но все же еврею. Но ларчик просто открывался. Патушинский выкрестился и купанием в купели облегчил генерал-губернатору дорогу в свой дом.

Всего полмесяца я занимался с Патушинским. Как я и предсказывал, усиленные занятия сказались на его здоровьи, и занятия пришлось прекратить. Другие уроки у фабрикантов ваксы, купцов и т. д. уже не представляют интереса. За полгода пребывания в Иркутске мне пришлось учительствовать в пятишести домах, но все эти уроки сразу прекратились...

От генерал-губернатора Горемыкина получилось телеграфное предписание срочно выдворить меня из Иркутска по месту назначения — в Балаганск. Немедленно по получении этого известия я сообщил об этом всем своим «работодателям», а Ан-

дронниковым предложил вместо себя того самого Морейниса, которого они приглашали полгода перед этим. Но то ли княжеские сиятельства побоялись иметь уже дело с политическими ссыльными, то ли по другим соображениям, но они отклонили это предложение, заявив, что выпишут учителя из Петербурга.

На этом и кончилась моя деятельность в Иркутске.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ

Говоря о составе редакции «Восточного обозрения», я уже обрисовал ту разношерстность, какую по своему мировоззрению представляла иркутская ссылка. Но редакция не отображала всей картины. В ссылке, как таковой, эта разношерстность была гораздо больше: народники, народовольцы разных формаций, признающие и не признающие захвата власти, польские социалисты равным образом самых разнообразных мировоззрений, марксист Красин и угодившие в это время в ссылку и временно застрявшие в Иркутске народоправцы: Гедеоновский с женой и др. Каждая встреча ссыльных была огромным словесным боем. Во время этих боев на долю народоправцев выпало объединить всех против себя. Землевольцы, народовольцы, пролетариатцы совместно обрушивались на отбивавшегося изо всех сил Гедеоновского, обвиняя народоправцев в том, что они свернули социалистическое знамя, что ориентируются не на «народ», а на бесхребетные элементы либеральной и радикальной интеллигенции. Красин, помнится, ссылался при этом на первый номер их же журнала «Народное право», указывая, что сами они в передовой этого журнала отмечают рост и оживление в рабочей среде, но не замечают и игнорируют рабочих. Я должен оговориться. Несколько десятков лет — это такой промежуток времени, что очень легко спутать хронологию событий. Возникновение «Народного права» буквально огорошило ссылку и в течение нескольких лет не сходило с порядка дня. Мне случайно пришлось несколько лет пробыть в ссылке с лидерами «Народного права» в Балаганске — с М. Л. Натансоном, в Минусинске с Н. С. Тютчевым. Споры и даже столкновения с народоправцами происходили повсюду. В Минусинске дело дошло до крупного столкновения, когда ссыльный социал-демократ Райчин на товарищеской встрече публично пожелал Тютчеву, чтобы как можно скорее забылась его деятельность как народоправца. Очень возможно, что то, что в моей памяти сохранилось как выступление Л. Б. Красина, было высказано не в Иркутске, а в Минусинске Курнатовским.

Я не случайно так долго останавливаюсь на спорах с народоправцами. Эти споры весьма благотворно подействовали на меня самого, о чем я скажу несколько ниже, здесь же отмечу лишь, что особенно болезненно реагировали на возникновение «Народного права» народовольцы. Появление на политической

арене этой партии было как бы окончательным оформлением исчезновения с политической арены «Народной Воли», преклонение перед которой в общей массе ссыльных с годами не ослабевало, а, наоборот, — крепло.

Меня лично возникновение «Народного права» начало... отрезвлять. На Каре, изучая русское революционное движение, я сильно увлекался народничеством и не столько программой, сколько знаменитым «хождением в народ». В этом хождении я видел тот необходимый контакт с массой, без которого об охватывающем миллионы движении не могло быть и речи. «Народная Воля» искупала, по тогдашним моим воззрениям, это ослабление контакта с массой тем, что выдвинула и хотя по-своему, но усиленно вела политическую борьбу для того, чтобы создать условия, облегчающие пропаганду социалистических идей в массах. «Народное право» — опять-таки по тогдашнему моему пониманию — превратило средство в цель. Я считал, что гибель «Народной Воли» ставила перед революционерами со всей остротой вопрос: правилен ли этот хотя бы, как формулировали народовольцы, временный, до изменения условий, отход от масс. Я считал его неправильным. Это под влиянием споров с народоправцами заставило меня разобраться в вопросе, на какую массу можно и должно опереться: на темную, разбросанную по деревням и селам крестьянскую или же на концентрируемый в центрах промышленности пролетариат. Я начал отрезвляться, во мне проснулся «пролетариатец», и в Балаганске, где было несколько рабочих-поляков, на которых больше действовало обаяние М. Натансона, чем его аргументация, я в полемике с ним окончательно стал на классовую позицию. Но, увы! Состязаться с обаянием М. Натансона было мне весьма трудно, и одного из рабочих-каменщиков Чекальского, очень способного человека, он распропагандировал. К величайшему его же огорчению, Чекальский вышел из рядов польских социал-демократов и превратился в правого пепеэсовца-националиста и даже в 1905 году оставил принцип объединения всех классов для борьбы с угнетающим Польшу русским самодержавием.

Необходимо от народоправцев перейти к другому, появившемуся тогда впервые в ссылке течению — марксистскому, о котором я писал в изданном Истпартом в 1928 году сборнике, посвященном памяти Л. Б. Красина. Несмотря на встречающиеся повторения, я воспроизвожу здесь эту статью, как вскрывающую определенный сдвиг в тогдашней России. Я впервые встретился с Л. Б. Красиным в Иркутске в 1895 году. Для сообщаемого ниже эпизода из жизни Л. Б. и место встречи и год имеют большое значение.

Иркутск как столица Восточной Сибири резко выделялся из других мест тем, что контакт между ссыльным элементом и местным «обществом» уже был установлен, что обыватель

Иркутска за знакомство с ссыльными не подвергался репрессиям, как это имело место в других, менее культурных городах Сибири. Участие ссыльных в работах Восточно-Сибирского отдела Географического общества и в местной газете «Восточное обозрение» сближало ссыльных с местной интеллигенцией. Большое значение имели вечера, устраиваемые редактором «Восточного обозрения» И. И. Поповым и ссыльными: Станиславом Лянды, Любовцем, Хлусевичем и др. На эти вечера приглашались и ссыльные, и местные; здесь постоянно велись беседы на революционные темы в связи с текущими событиями и с партийными группировками в России.

Пробуждение интеллигенции, вызванное голодом 1891—1892 года, заметное, я бы сказал, бросающееся в глаза массовое выступление пролетариата на историческую арену, борьба между народниками и марксистами — все это находило отклик в Иркутске, вызывало ожесточенные споры, делило более отзывчивые элементы на группы, сочувствовавшие той или другой действовавшей в Европейской России революционной организации. Правда, это сочувствие не подкреплялось никаким действием, носило характер теоретический, платонический. Это была словесная борьба, принимавшая более острый характер лишь в те моменты, когда в Иркутске, проездом на место ссылки, останавливались на несколько дней высылаемые из России активные участники тогдашних революционных организаций.

В 1895 году через Иркутск проходили представители двух новых и до некоторой степени прямо противоположных революционных направлений — народоправцев и марксистов. Это обстоятельство, а также отклики в печати борьбы марксистов с народниками внесло в иркутскую колонию огромное оживление. Прежняя борьба народовольцев с народниками заглохла, и лишь ветераны народничества с Сергеем Филипповичем Ковальским во главе пытались без всякого успеха отстаивать старые позиции.

Появление народоправцев было встречено и народниками, и народовольцами крайне несочувственно, рассматривалось как уклон в сторону либерализма, и лишь авторитет М. Натансона до некоторой степени ослаблял бурный натиск на них народовольцев. Но и народники, и народовольцы, и народоправцы единым фронтом выступали против марксистов, выступали и побеждали, так сказать, «заочно», так как представителей марксистов в Иркутске не было, а пересылаемым в Якутскую область первым марксистам — Нахамкесу, Вельтману и др. — не удалось добиться освобождения хоть на несколько дней из тюрьмы. Единственными «представительницами» нового течения были, как мы их тогда называли в насмешку, «добровольно преследующие жены», фактически только через мужей связанные с движением и не способные не только отстаивать, но даже толком формулировать программу революционного марксизма.

Эти жены лишь обостряли отношения. Зарядившись еще в России полемическим задором, вполне понятным в разгаре борьбы, они выпаливали в Иркутске все нахватанное там во время полемики.

Одна из этих «добровольно преследующих жен», увидев у Хлусевичей карточку Перовской, обратилась к другой со словами: «Смотри, и эти когда-то копошились»... Эти слова мигом разнеслись по всей иркутской колонии.

Кто знает, как относились все—и народники, и народовольцы—к Софье Перовской, тот поймет, какое впечатление произвела эта выходка. К этому отнеслись не как к нелепой и бестактной выходке не особенно умной женщины, а отнесли ее на счет всех представителей марксизма, которых в случае их появления в Иркутске готовились принять в штыки.

В это время прибыл в Иркутск Л. Б. Красин. Как отнеслись к нему вначале — не знаю, думаю, что не особенно дружелюбно, но уже в скором времени до меня дошли, правда, весьма сдержанные, но положительные отзывы о нем: «не такой как те».

Признаться, эти отзывы меня не расположили к нему. Я на основании этих отзывов заочно создал себе мнение о нем, как о мягкотелом, сдавшем позиции при первом же натиске.

Вскоре я убедился, что дело обстоит как раз наоборот.

Мы встретились на одном из вечеров у И. И. Попова, тогдашнего редактора «Восточного обозрения». Он прежде всего обращал на себя внимание своей красивой внешностью. Стройный брюнет, с молодой еще растительностью на лице, с умными светящимися глазами, он сразу располагал к себе.

Начался обычный спор. Публика насторожилась. Он мало этим смущался. Четко парируя удары, он точно формулировал свои взгляды. Еще совершенно молодой, он, тем не менее, в споре проявлял большое знакомство с историей революционного движения в России и устанавливал преемственную связь социал-демократии с предшествующим ей движением.

«Обаятельный юноша», «старого типа», «теперь мало таких»,—таковы были отзывы после первых его дебютов. Старик Натансон (он уже в то время был стариком) несколько месяцев спустя, уже в Балаганске, говорил мне восторженно о нем, несмотря на то, что он как народоправец крайне враждебно относился в то время к марксистам.

Но вызываемая Красиным симпатия не меняла отношения к проповедуемым им идеям. Наоборот, чем сильнее был противник, тем больше настораживалась народническо-народовольческая ссылка и тем плотнее закрывались перед ним столбцы «Восточного обозрения».

Иван Иванович Попов пишет в своих воспоминаниях, что редакция решила дать Красину возможность высказаться... Но это решение было принято лишь тогда, когда Л. Б. Красин в

самом Иркутске завоевал целый круг прозелитов марксизма и среди рабочих, и среди учащейся молодежи.

Он в Иркутске был первым сеятелем марксизма и его успехи до некоторой степени принудили редакцию напечатать его статью «Судьба капитализма в Сибири». Эту статью следовало бы теперь перепечатать как лучшую характеристику тогдашних его взглядов[1].

Какое же тогда она имела значение, можно заключить из того, что тут же на редакционном заседании, на котором было решено ее напечатать, принято было постановление ответить на нее в ближайшем номере и этим если не подорвать, то ослабить ее влияние.

С возражением выступил редактор Попов. Это оказалось недостаточным и в бой был двинут один из самых талантливых сотрудников «Восточного обозрения» Ив. Ив. Майнов. На эту же статью откликнулся и самый крупный эрудит «Восточного обозрения» Василий Степанович Ефремов. Уже это обилие ответов указывает на то, что удар был направлен метко.

Как бы к этому ни относиться, нельзя не отметить, что Красиным была в Иркутске пробита первая брешь в твердыне народничества, он первый проложил путь, приведший, как известно, к тому, что революционный марксизм начал в Иркутске шириться и развиваться и в результате во 2-ю Думу от Иркутска был избран социал-демократ Мандельберг. Не могу не остановиться еще на одной подробности.

В те времена через Сибирь то-и-дело проходили большие группы революционного студенчества, высылаемые за участие в студенческих протестах. Шумно, с необычайно приподнятым настроением эта молодежь вливалась в колонию ссыльных. Но проходил год, другой, и... «догорали огни, облетали цветы», молодежь «умнела» и засасывалась житейской тиной. Колония ссыльных, наученная горьким опытом, скептически относилась к этому кипучему революционизму. Красин в этом отношении составлял исключение.

«Этот не отойдет», — таково было общее мнение.

Насколько сильно было убеждение в этом, доказывает тот факт, что, когда мне почти десять лет спустя (в 1905 г.), по поручению ЦК ППС, состоявшего тогда из левых, пришлось установить отношения с РСДРП, я прямо направился в Питер к Л. Б., и не ошибся. Он свел меня с «Любичем» (Саммером), у него же на квартире я встретился с другими, фамилии которых, к сожалению, уже не могу вспомнить.

Несколько месяцев спустя я приехал в Питер с определенной целью возбудить вопрос о координации выступлений всех

---

[1] Она перепечатана в сборнике, посвященном памяти Красина.

революционных партий. Л. Б. горячо откликнулся на это, и такое совещание состоялось в Финляндии под председательством Саммера, при участии Дзержинского, Натансона и, увы, Азефа.

На одно из заседаний прибыл и В. И. Ленин.

После этого я с Л. Б. встретился уже только в 1917 году. Но об этом периоде его жизни лучше меня осведомлены его ближайшие товарищи.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В БАЛАГАНСКЕ

После того бескультурья, какое было в Якутске, жизнь в Иркутске не могла не завлекать, даже при всех своих отрицательных сторонах. И мне хотелось, даже очень хотелось, остаться в этом культурном центре. Но, хотя и «очень хотелось», ни одной секунды я не мыслил себя в роли щедринского зайца, которого «авось помилует» волк в лице генерал-губернатора Восточной Сибири Горемыкина. Его в Иркутске в то время не было; но, как это ни странно, роль этого обнадеживающего волка играли и ссыльные, и члены Географического общества. С кем бы я ни встречался, все спрашивали:

— Ну, как? Есть ответ?

Услышав, что еще нет, неизменно добавляли: «Дело из-за отъезда Горемыкина затянулось, но вас оставят в Иркутске, не могут не оставить».

По временам меня это приводило в бешенство, задевало мое революционное самолюбие, несмотря на то, что я лично никаких шагов для получения разрешения остаться не делал.

Ждал ли Горемыкин ходатайства с моей стороны и, не получив его, изволил осерчать или все еще не ослабела моя репутация как «бунтовщика»-протестанта — не знаю, но в одно прекрасное утро получилось категорическое распоряжение из Петербурга за подписью Горемыкина: «Немедленно водворить по месту назначения».

Фьюйть — и где ты, человек?!

Меня не «водворили» — я сам «водворился».

Я назвал утро, когда получилось это распоряжение, «прекрасным» — и «a posteriori» я действительно считаю его прекрасным. Среда заедает. Кто знает, не заела ли бы меня иркутская среда, не превратила ли бы в высохшего ученого, не наложила ли бы клейма обывательщины. Много, даже очень много живого было в Иркутске, но очень много было чисто внешнего культурного лоска. Не говоря уже о журфиксах, маскарадных

вечерах, просто танцовальных вечерах и т. д. и т. д., но и ведшиеся на этих вечерах разговоры на общественные и революционные темы часто превращались в якобы культурное времяпровождение. В Якутске, не говоря уже о Каре, принципиальные споры часто доводили даже до ссор; люди, что называется, с пеной у рта набрасывались друг на друга; случалось, что после такого спора люди были в «неговорении», то есть прекращали знакомство друг с другом. Все это могло не нравиться, но все же все это свидетельствовало о том, что обсуждаемая тема задевала за живое споривших. Я помню случай, когда один ссыльный бросил другому:

— Ты не социалист, ты не анархист, ты просто ерундист...

Но каждый из спорщиков отстаивал свое кровное, дорогое дело.

В Иркутске часто спорщики блистали своими познаниями, своей начитанностью, спорили по всем правилам салонного приличия. И только в редких случаях и только в своей замкнутой среде ссыльные вели споры, не соблюдая предписаний салонного этикета.

В связи со всем этим у меня по отношению к проживанию в Иркутске все время было какое-то двойственное настроение. Минутами хотелось, минутами же не хотелось вовсе оставаться в этом культурном центре. И в данном случае выручил Горемыкин. Мне не пришлось решать гамлетовского вопроса: быть или не быть. Его решил «его высокопревосходительство», а мне предстояло лишь выполнить его решение с наименьшими неудобствами для моей семьи: жены, трехлетней и трехмесячной дочурок.

Я упоминаю о тогдашнем составе семьи потому, что при переселении с одного места ссылки в другое это имело огромное значение. «Одна голова не бедна, а бедна — так одна». Когда меня ссылали в Якутск, я весьма мало беспокоился о том, где и как я буду жить. Отправляясь в благословенный Балаганск, я был очень сильно этим озабочен. Проедем на пароходе, а куда деться, когда приедем? Гостиниц в такой дыре нет и быть не может, квартиры заранее никто не заготовит, а что если до ночи я не найду квартиры? Куда я дену семью? Я все говорю «я да я» и у читателя может получиться ложное представление. Жена моя была такой же ссыльной, как и я, но в то время у нее на руках было двое детей, из них один ребенок грудной, и, понятно, все заботы о них должны были лечь на меня. Этим объясняется, что хотя мы на этот раз со всеми удобствами — на сравнительно приличном пароходе — пропутешествовали в Балаганск, но из этого путешествия у меня абсолютно ничего не осталось в памяти. Все мысли были сосредоточены на том, как я в совершенно незнакомом городе, не имея никаких знакомых, немедленно устрою семью. Выручил, как это часто бывает, случай.

На одном пароходе с нами ехал из Иркутска в Балаганск бывший польский повстанец и в то время уже крупнейший на весь Балаганский округ воротила — некто Герман. Я познакомился с ним и от него узнал, что в Балаганске отбывают ссылку несколько человек, административно высланных из Польши, что они живут в Малышевке, на правом берегу р. Ангары, как раз напротив Балаганска, что существует постоянное поромное сообщение между обоими берегами, так что, если бы они даже не оказались на пристани в момент прихода парохода, то мне их не трудно будет найти в Малышевке. От него же я узнал, что квартиру в Балаганске можно будет найти, что он знает об одной такой квартире в доме поселенца еврея-лавочника и что он с ним переговорит. Не знаю, что этого пана расположило ко мне: то ли, что мы оказались земляками, то ли он уже в Иркутске кое-что слышал обо мне, но он действительно переговорил с лавочником.

Товарищи по ссылке, насколько помнится, трое рабочих — Анелевский, Чекальский и Каменский и один полуинтеллигент, служивший в одном из лодзинских предприятий, Красуский — оказались на пристани. Когда пароход причалил почему-то не к левому, а к правому берегу Ангары, я на время смог сдать семью на их попечение, а сам еще с одним из товарищей переправился в Балаганск договориться с хозяином будущей квартиры. Он уже был предупрежден Германом, а я насчет цены не торговался, и несколько часов спустя вместе с семьей уже вселился в квартиру и стал жителем «города». Иначе как в сопровождении кавычек — об этом городе Балаганске говорить не приходится. Он состоял из одной-единственной улицы, являвшейся набережной. Все без исключения жилые дома или, вернее, домики — деревянные... Виноват! Был один жилой дом — не деревянный, а каменный — тюрьма. Из других зданий из камня построена была только одна церковь.

Я долго «недоумевал», почему Балганск считается городом, в то время как Малышевка была более населенной, лучше застроенной, в торговом отношении превосходила его, а считалась деревней. Но те, к которым я обращался за разъяснениями, «недоумевали» по поводу моего «недоумения»:

— Как же вы не понимаете? Здесь же находится уездное управление, живет исправник...

Почему бы исправнику не жить в Малышевке и не «управлять» оттуда, я никак не мог понять. Как бы то ни было, но оказывалось, что я — житель города, а не деревни только благодаря тому, что на расстоянии нескольких домов от меня живет такая «почтенная» личность, как исправник, и я мирился с тем, что в Балаганске воплощена в жизнь дышащая иронией польская пословица: «Не табакерка для носа, а нос для табакерки».

Но этот «город», несомненно, представлял много удобств. Все было, как на ладони. Выйдешь на эту улицу — город, и заранее

знаешь, из какой подворотни какая собака выбежит, из какого дома будут раздаваться вопли избиваемой пьяным мужем жены, в каком окне увидишь хмурое лицо исправника Яновского и из какого окна будет на тебя смотреть более отличающаяся своей толщиной, чем красотой его содержанка...

«Хороший» город. И в этом «хорошем» городе одно с другим сочеталось в определенной гармонии: судебный следователь — фамилии не помню — «столичный» пожиратель сердец, доктор по фамилии Бык, главным занятием которого было вскрывание трупов... Подлинной медицинской практики он избегал. «Хороший семьянин», он боялся перенести заразу в свой дом и, являясь к больному, издали, не дотрагиваясь до него, назначал лечение. С политическими ссыльными из опасения быть разделанным в газете он более считался, чем с обывателями, но только до известных границ. Когда у меня заболел ребенок, и я обратился к нему за помощью, он без всякого смущения заявил мне: «Ведь вы же интеллигентный человек... Я вам дам свои книги по детским болезням. Почитайте. А если вам понадобится лекарство, я вам напишу рецепт...»

Но и в этом городе, по крайней мере лично для меня, были и свои плюсы. В Иркутске беготня с урока на урок, лихорадочная спешка редакционной работы держала в тисках, в Балаганске уже никогда не нужно было спешить, и так как жизнь по своей дешевизне резко отличалась от изнурительно дорогой жизни в Иркутске, то в Балаганске можно было и изучать окружающую жизнь и в художественной форме, конечно, только поскольку я был в этом отношении одарен, изобразить ее.

Этим я объясняю тот факт, что именно в Балаганске, который я в своих беллетристических произведениях окрестил Дремленском, я собрал материал для двух, уже позднее написанных и еще позднее напечатанных, беллетристических очерков: «Под дамокловым мечом» и «Не по тому пути», которые я воспроизвожу ниже.

Но и в знаменитом Балаганске, в котором я прожил что-то около десяти месяцев, правда, всего только один раз, нам пришлось пережить немалую культурную встряску. В этой исправницкой столице был... сквер, состоявший приблизительно из пятнадцати тощих деревьев. По воскресеньям и по праздникам в этом сквере играла горе-музыка, публику развлекали балаганные представления, и по-своему расфранченные парочки занимались флиртом. В будни сквер пустовал. Но однажды, именно в будни, проходя мимо него, я заметил толпящуюся под деревянным навесом «публику». Заинтересованный выяснением вопроса, что могло вывести из дремотного состояния почтенных обывателей Дремленска, я пришел туда и буквально так же, как и толпившиеся обыватели, разинул рот. На столе стоял какой-то аппарат с резиновыми трубками с наконечниками. Эти на-

конечники по уплате гривенника обыватели вставляли в уши, и мгновенно лицо их отражало переживаемые ими чувства.

Одни, удовлетворенные, вынимали наконечники из ушей, осматривали их и с некоторым недоумением вновь вставляли в уши; на лицах других расплывалась улыбка, третьи, продержав наконечники в ушах с минуту, решительно вынимали их, клали на стол и спешно удалялись, словно убегая от нечистой силы. Это был первый виденный мною фонограф. Я не в состоянии передать современному читателю, какое впечатление произвел на меня этот живой человеческий голос, привезенный в Балаганск из Питера или из Москвы. Я не мог оторваться от него. Прослушав чуть ли не десять разных песен и декламаций, я как угорелый бросился домой звать жену, чтобы дать и ей возможность насладиться этим «чудесным» фонографом.

Она отнеслась к моему сообщению с обычным для нее скептицизмом к увлечениям ее увлекающегося супруга. Но на этот раз «увлекающийся супруг» оказался правым. Она тоже не могла оторваться от фонографа.

Не обошлось и без комических сцен. Одна из местных львиц, прослушав пение какой-то дивы, полюбопытствовала, в состоянии ли владелец фонографа сам записывать пение. Оказалось, что эта премудрость ему не чужда, и тогда, уплатив соответственную мзду, балаганская кандидатка в мировые дивы увековечила и свой голос, не столь сильный, сколь противный.

Описанное мною появление фонографа было случайным явлением, очень быстро сглаженным той однообразной скукой, какая перманентно царила в Балаганске. С этой скукой не гармонировала лишь одна р. Ангара, как-то весело, я бы сказал жизнерадостно, катившая свои волны на север, то отражая миллионы солнц в брызгах ударявших о берег волн, то улыбаясь спокойно солнцу, то хмурясь, не теряя при этом своей живучести.

Мне приходилось видеть на своем веку очень много рек, но другой такой, как Ангара под Балаганском, я не видел. Здесь она не щеголяет красотой берегов. Она приковывает к себе внимание своеобразным, очень быстрым, радостным течением, превращаясь весной и осенью при замерзании и при освобождении от льда в бурного борца-гиганта, ломающего и сокрушающего препятствия и лишь после жестокого боя позволяющего еще более мощному гиганту — сибирскому морозу — заковать себя в ледяные оковы.

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ

До одури однообразна жизнь ссыльного в Балганске, если, как это многие делали, не зацепиться за жизнь, не создать себе хотя бы искусственно какого-нибудь суррогата жизни. Такой суррогат мною был создан. Я заводил знакомства с разного

типа поселенцами, здесь, может быть благодаря близости столицы генерал-губернаторства, уже не пользовавшимися такой свободой передвижений, какой уголовные ссыльные пользовались в Якутской области. Ознакомился я с жизнью местных жителей — балаганских мещан, ничем не отличавшихся от окрестных крестьян. Эти балаганские граждане в своем большинстве были потомками уголовных ссыльных, во многих случаях ничем не отличавшихся от своих родителей. Заинтересовался я их обычаями, нравами, сказками и песнями, и, по мере того как я вникал в их жизнь, вырисовывалась своеобразность картины этой жизни.

В написанных мною позже и приводимых ниже беллетристических очерках кое-что внесено из собранных материалов и в других городах, но в общем в них я стремился дать картину жизни Балаганска.

Первый из этих очерков посвящен переживаниям поселенца-еврея, во втором дана уже развернутая картина балаганского захолустья.

ПОД ДАМОКЛОВЫМ МЕЧОМ

Приближалась пасха... Солнце все чаще заглядывало сквозь мутные стекла маленьких окон в убогую конуру Сруля Опочнера, освещая его чахлую, согбенную над шитьем фигуру. Хотя он и был завален работой, да и работа была немаловажная, о чем свидетельствовали блестящие пуговицы и узенькие погоны на форменных сюртуках, ясно говорившие о том, что мундиры принадлежат не простому смертному, а столпам местной полиции, тем не менее, Опочнер был не в духе и предавался довольно-таки унылым размышлениям.

Оно и понятно. Не прошло и полгода со времени его прибытия в г. Дремленск, а ему уж разрешено жить, шутка ли, в самом окружном городе. Много ли он может выручить за свою работу при таком снисходительном отношении к нему начальства? Сруль сразу ориентировался в своем положении и... шил. Шил и на исправника, и на помощника, и на секретаря, и на мелких служащих; и хотя не получал подчас за работу никакого вознаграждения, но отлично понимал, что не всегда выгодно получать вознаграждение деньгами, иной раз выгоднее получить вместо них «услугу». Услугой, положим, сыт не будешь, но много ли еврею нужно? Об этом знают даже те, что в газетах пишут, — он сам это читал, — а ему ли, Срулю, не знать этого? «И цто бы я делал, если б зил в какой-нибудь шеле? Помер бы иж голоду, ну, а ждешь я вшо ж таки зив, знацит, тут хоросо»...

В обыкновенное время эта своебразная философия мирила его с мрачной действительностью, но теперь приближалась пасха: и мацу купить надо, и вино пасхальное, и сахар, и посуду; и самовар полудить надо... Много расходов... А взять

неоткуда. Долго думал Сруль, долго колебался — не хотелось ему огорчать свою Эстерыл, но пришлось-таки: вчера вечером он поговорил с ней, и она, хотя с плачем, все же согласилась продать старый золотой чешуйчатый браслет, свадебный подарок самого почетного в их городе еврея — Эстеровича. «Ви не жнаете, и кто такой Эстерович? — восклицал нередко Сруль с величайшим удивлением, граничившим с негодованием, в разговоре с местными евремями. — И что ви опошле этого жнаете?» И презрение выражалось на лице Сруля. Собеседники часто зло подсмеивались над ним по этому поводу, но он в таких случаях, казалось, больше скорбел об их невежестве, чем обижался на них.

Принятое на совещании с женой решение — продать заветный браслет — не легко было исполнить. Кто же в самом деле во всем городе мог бы его купить: «Кнохт? Бланк? Псс!» И презрению Сруля, казалось, не было пределов.

Мог купить такую драгоценность один только Вайнтрауб: он и купит ее, но как к нему пробраться? Положим, тридцать верст — расстояние небольшое, но даст ли исправник разрешение поехать? А ехать без разрешения Сруль боялся: он знал, что делают с поселенцами в случае самовольной отлучки. Он не пережил бы этого.

Единственная надежда на исправника или, вернее, на перешитый мундир. Если он угодит исправнику, ну... тогда дело «в шляпе», а почему не угодить? И не на таких господ он шил и было хорошо... Завязав мундир в большой коричневый платок, он отправился к исправнику.

Беда стряслась: вырезав подмышками выцветшие места, Сруль не в меру укоротил рукава, и исправник рассвирепел. Руки и ноги тряслись у Сруля, когда он выходил от исправника. О разрешении он уж и не заикался. Какое тут разрешение? Он о нем и не вспомнил. Стоя перед разгневанным исправником, он думал только об одном — как бы поскорее скрыться, уйти... А вырвавшись наконец на улицу, он чуть не бегом направился домой, поминутно оглядываясь, словно спасаясь от погони.

— Что с тобой? — увидев его, испугалась жена.

Все еще дрожа от волнения и страха, он рассказал ей о происшедшем.

— Ой, вей мир! — причитывала жена, и слезы ручьем лились из ее глаз... — Что же мы будем делать?

Да, что они будут делать? Страшен гнев исправника; дрожь пробегает по телу Сруля, когда он вспоминает, что ждет его за самовольную отлучку, но... пасха... Не «гои» же они. А как справить пасху?

— Я поеду, — великодушно предложила Эстерыл.

— И! Цто ты? Мамонтова забыла?

Какое там забыла! Она до сих пор боится вечером одна оставаться.

Шутка ли? Выехал парень в сумерки навстречу обозу, а полчаса спустя уже лежал мертвый на дороге, и убийцы на его же лошадях промчались по городу. Так их и не нашли.

Оба супруга в глубине души смутно сознавали, что, как ни вертись, а Срулю придется-таки ехать к Вайнтраубу; что не будут же они есть хомец в пасху. Но никто из них не решался высказать это.

Дело решилось благодаря вмешательству того самого Кнохта, о котором так презрительно выражался в душе Сруль. Кнохт держал в городе молочную лавочку и бывал во всяких переделках.

— Ну, деревенщина, — деревенщина и есть, — свысока отнесся он к горюющим супругам.— И чтоб я имел столько тысяч, сколько раз ездил без разрешения и хуть бы я что. Ну, дашь гривенник городовому, ежли он тебя увидит.

Сруль приободрился. В самом деле, Кнохт — прав. Разве Ласкера не поймал сам полицейский надзиратель? А что ему было? Ну, не гривенник, — карбованец... Не есть же в пасху хомец из-за одного карбованца.

Инстинктивно он все же таки старался оттянуть предстоящую поездку, но тут даже Эстерыл оказалась на стороне Кнохта. Послезавтра первый сэдер [1], надо успеть все приготовить.

— Поезжай, поезжай! — настаивал Кнохт. — Завтра в полдень уже будешь обратно.

Как только стемнело, Сруль, убедившись, что исправник дома, прошмыгнул незаметно на плашкоут и ночью поехал к Вайнтраубу. Вайнтрауб не обманул возложенных на него надежд. Он не только купил браслет, но наделил еще своего единоверца мясом и вином к пасхе.

На рассвете Сруль выбрался в обратный путь. Подъезжая к перевозу, он был положительно в лихорадке; сердце сильно билось, дрожь пробегала по телу, во рту пересохло и чувствовался как бы вкус меди.

— Отвязывай! — крикнул своему помощнику стоявший у руля перевозчик.

— Стой, стой! — отчаянно закричал Сруль.

Как только он съехал с берега, плашкоут тронулся.

— Слава богу! — вздохнул еврей с облегчением, увидев, что на плашкоуте нет никого из полиции. Теперь ему оставалось только незаметно подняться с плашкоута на берег. Вдруг на оставленном берегу зазвенел колокольчик. Под Срулем подогнулись ноги.

— Стой! Поворачивай назад! — доносился голос с берега.

Рулевой послушно направил плашкоут обратно к берегу. Сподручный выскочил на помост и изо всех сил канатом тянул

---

[1] Пасхальный вечер.

к нему плашкоут. Минуту спустя канат был крепко обмотан вокруг столба, плашкоут стоял неподвижно, а тарантас медленно въезжал на помост. Сруль не оборачивался,— он и без этого чувствовал, кто в тарантасе.

— Ой, вей мир! Ой, вей мир! — с ужасом повторял еврей.

Он старался собраться с мыслями, но мысли рассеялись, словно разогнанные налетевшим ветром. В голове было пусто.

Исправник, поддерживаемый под локоть казаком, вылез из тарантаса... Сруль почувствовал на себе сзади его взгляд и, сняв с головы шапку, обернулся.

На секунду взгляды их встретились, и, видно, во взгляде еврея было столько страха и тревоги, столько покорности и унижения, что у исправника нехватило духу велеть арестовать его.

— Видно, тебе еще не заглядывали под рубаху, что ты такой храбрый стал, — заметил он, уходя в сторону.

Еврей, как окаменелый, продолжал стоять с непокрытой головой, не разбирая его слов, не вникая в их тон и смысл. Обрывки мыслей бродили в помутившейся голове; он тщетно пытался собрать их воедино... Одно он скорее чувствовал, чем сознавал — это то, что наступила роковая развязка.

Плашкоут причалил к берегу. Только толчок его о мост вывел еврея из оцепенения.

Опочнер надел шапку и, выждав пока уедет исправник, механически взял коня под уздцы, свел его с плашкоута.

Все так же механически побрел он рядом с конем по направлению к дому, снял и отнес в амбар привезенную провизию и вошел в комнату. Жена мыла пол и, не оборачиваясь к нему, стала расспрашивать...

Так же механически, спокойно, не волнуясь и как-то тупо глядя вперед, он рассказал ей о случившемся...

— Что это ты говоришь?—обернулась она к нему и вскрикнула от испуга. В лице мужа не было ни кровинки. — Что с тобой, Сруль, Срулю? — подбежала она к нему, хватая его за руку.

— Ничего, Эстерыл! — улыбнулся он ей вялой, измученной улыбкой. — Иди, иди; кончай! Завтра сэдер.

Но в первый раз в жизни жена не послушалась его. Заставив его выпить стакан холодной воды, она, наскоро одевшись, побежала к Кнохту.

Когда она через четверть часа вернулась вместе с Кнохтом, муж сидел все в той же позе, такой же бледный, с таким же помутившимся, устремленным в пространство, взглядом.

— Сруленю, Сруленю! Что с тобой? Успокойся! На, выпей еще воды; выпей, выпей — легче будет, — мягко, как ребенка, упрашивала его жена. И нежность, теплота, какие слышались в ее словах и голосе, как будто согрели застывшую на время кровь,

Сруль вздрогнул.

— Под рубаху,— повторил он циничные слова исправника, и вместе с этими словами из сдавленного горла вырвались громкие рыдания.

— Ну, теперь ему легче станет, — шепнул Кнохт жене, уходя от Опочнеров. — Вы его уложите, а я сбегаю тут к одному человеку; уж он что-нибудь придумает.

На следующий день был канун еврейской пасхи. Уже с утра оба супруга были заняты уборкой квартиры, очисткой ее от всего непасхального. Стемнело. Сруль отправился к одному из своих единоверцев, у которого, за неимением в городе синагоги, местные евреи собирались для совместной молитвы. Как только молитва кончилась, Опочнер отправился домой. Ему все время казалось, что глаза всех присутствующих устремлены на него, что все стараются проникнуть в его душу...

Придя домой, он надел поверх платья белую «смертную» рубаху и сел или, вернее, согласно ритуалу полулег на жалкий диван и стал, напевая, вычитывать из «Гагоды» [1] подробности и рассуждения об освобождении евреев из египетской неволи.

«Мы были рабами у фараона в Египте, но господь вывел нас оттуда своей могучей десницей», — читал он механически, в то время как в мозгу засела одна-единственная мысль: человек, к которому обращался Кнохт, сказал, что вся надежда на врача. Сжалится доктор, выдаст нужное свидетельство, — и он спасен, а если не сжалится... «И если бы ты нас только вывел из Египта, а не кормил нас манной небесной, разве с нас не было бы достаточно?» — гласил «Гагода». «А его теперь нет, поехал резать убитого», — носилось в голове несчастного.

Жена все время сэдера плакала навзрыд. В голове проходили воспоминания о прежних годах, когда за столом рядом с ними сидели два их маленьких сынка и тоненькими детскими голосами вторили отцу. А теперь их нет, не выдержали этапного пути. А Сруль... Что только с ним будет? Вот он сидит и молится, и пьет вино, где указано, и грызет мацу — этот хлеб неволи, — но так ли он все это делал раньше? Неужели бог допустит такое несчастье? Нет! Она уже знает, что она сделает. У нее есть еще золотые серьги, она их продаст секретарше, ну, а деньги пусть Сруль отнесет доктору. А что доктору стоит сказать, что Сруль больной. Ему что прибудет, если Сруля накажут? Ну, а деньги — все-таки деньги.

---

[1] История освобождения из египетской неволи, перечитываемая евреями в первые два вечера пасхи.

Во время перерыва чтения «Гагоды», за ужином, она сообщила о своем решении мужу.

— А в чем же ты во второй праздник пойдешь молиться?

Он так привык к тому, что она каждый праздник надевала эти серьги, что ее идея показалась ему дикой. Но мысль продолжала работать в указанном направлении, и хотя ему больно было лишить жену последнего украшения, но как же избегнуть иначе позорного наказания? Ведь как маленького ребенка возьмут, подымут рубаху и накажут... В его голове не вмещалось, как это его, пожилого человека, у которого дочь замужем и внучата есть, и вдруг... Но он припоминал сцены из своего странствования по тюрьмам и этапам, вспомнил арестантов, возвращавшихся с искаженными лицами в камеру и прятавшихся под нарами от товарищей, — и дрожь пронизывала его.

Да, Эстерыл права. Надо продать серьги и итти к доктору.

Врач вернулся домой только в страстную субботу. Измученный Опочнер, как только узнал об этом, отправился к нему на квартиру.

— Что вам угодно?

Что ему угодно? Опочнера смутил вопрос... Ему было угодно, чтобы его не секли, но как облечь эту мысль в слова? Как сделать, чтобы и врачу это же было угодно? Он опустил голову и нервно мял сжатую в кулаке десятирублевую бумажку.

— Ви... я...— бормотал Сруль,— я поселенец... свидетельствовать...

— Ну, так это же не здесь, а в полиции; да и бумаги у меня нет о тебе.

— Ваше высокоблагородие! Сжальтесь! — взмолился Опочнер, суя врачу бумажку.

Врач взяток не брал.

— Убирайся к чорту, пока цел, — возмутился доктор, открывая перед ним дверь.

— Ваше высокоблагородие!

— Пошел, пошел!

Он вышел. Последняя надежда рухнула. Дома ждала его в смертельной тревоге жена, но он домой не пошел. Зачем? Что он ей скажет? И что она ему поможет? Как лунатик, поплелся он к Кнохту, но и этого видевшего всякие виды человека смутила неудача Сруля у доктора.

На совещание был приглашен знакомый Кнохта, опытный в таких делах человек, сосланный дворянин, служащий в полиции, но и он все надежды возлагал только на доктора. Он — человек хороший.

В тоне, каким это говорилось, звучала нотка сомнения, и уловивший ее Опочнер только безнадежно махнул рукой.

Делать было нечего. Приходилось возвратиться домой к ожидавшей жене. Обеспокоенная его долгим отсутствием, она,

как только его увидала на улице, выбежала к нему навстречу и за руку ввела в комнату.

— Не взял, — прошептал Сруль.

— Не взял! — словно эхо, повторила за ним жена.

Больше никто из них не проронил ни слова. Молча просидели они: он, тупо глядя в пространство, она — не выпуская его руки, печально понуря голову и тихо, жалобно всхлипывая. В комнате стало темно. Жена зажгла свечу и опять вернулась на свое место, и оба попрежнему долго-долго сидели молча. За стеной у соседа часы проскрипели 10, 11... Прошел еще час, и до ушей поверженных в отчаяние донесся громкий звон колоколов, казалось, всему свету вещавший благую весть о «воскресении христовом», о торжестве правды, любви, всепрощения...

— Иди спать, Эстерыл! Поздно! — первый очнулся муж.

Всю ночь червь отчаяния точил душу забитых евреев, а с улицы всю ночь доносились радостные звуки церковных колоколов. Под утро жена уснула. Сруль встал, оделся и, шатаясь, как пьяный, вышел на улицу... На востоке чуть брезжила заря и розовой блестящей лентой отражалась в реке. В воздухе было тихо, звон колоколов, подхватываемый эхом, гудел весело и радостно. К нему примешивался короткий, но не менее радостный звон колокольчиков, приближавшихся к реке.

Опочнер оглянулся. В тарантасе развалившись сидел исправник, ездивший с поздравлениями.

— Христос воскрес, жид! — подшутил он над Срулем и, довольный своей шуткой, громко расхохотался.

Еврей не верил своим ушам и глазам. Исправник не сердится, шутит, смеется! С минуту он стоял, как околдованный, но потом с дикой, нечеловеческой радостью, с криком: «Эстеруню, Эстеруню!» бросился домой сообщить жене благую весть.

НЕ ПО ТОМУ ПУТИ

Был полдень. В комнате, занятой всего за два дня до этого приехавшим врачом, было серо, мрачно... Поднимавшийся с реки густой, непроглядный, как печаль, туман заслонял собою солнце; в засиженные мухами оконные стекла проникало очень мало света. Вся обстановка комнаты делала ее еще более мрачной. На стенах лубочные картины, карточки какого-то бравого унтера и вырезанные из «Родины» две иллюстрации. На полу серые с красными каемками половики; на окнах запыленный плющ; посреди комнаты зеленый с красными цветами посредине и по краям стол.

Доктор большими шагами ходил взад и вперед по комнате, то-и-дело запинаясь за непривыкшие к такому обращению половики, но эти невольные остановки не отвлекали его внимания. Мысли его были заняты другим. Вот он добился наконец своего: кончил курс и получил место, на котором сможет показать,

что все «разглагольствования», как выражались его товарищи, о «службе народу» — не «звук пустой».

Первой своей встрече с больными он придавал особенное значение: он был уверен, что от нее-то в значительной степени зависит успех всего его дела, и теперь, шагая по комнате, заранее обдумывал малейшие детали этой ожидаемой встречи.

— Эй, тетка, здесь дохтур снял фатеру? — раздался под окнами чей-то голос.

Врач припал к окну, но загадочная, как сфинкс, пелена тумана не давала ему рассмотреть приехавшего. Он взволновался и невольно стал ловить долетавшие со двора звуки разговора.

Скрипнули ворота, послышалось понукание лошади: «Тпру, окаянная, язви тебя!», а затем кто-то тяжелыми шагами начал взбираться на крыльцо.

Взволнованный, «как на экзамене», доктор выбежал в переднюю.

Дверь отворилась, в комнату вошел коренастый, средних лет мужик; аккуратно притворил за собою дверь, снял шапку и медленно перекрестился на образа.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, здравствуйте! — с оттенком вопроса в голосе ответил на приветствие Андрей Андреевич.

Крестьянин, все так же не спеша, расстегнул повешенную через плечо сумку, достал из нее книгу и вместе с лежащим в ней конвертом подал врачу.

— От заседателя, — пояснил он, заметив недоумевающий взгляд доктора.

Андрей Андреевич понял. Заседатель Н-ского участка приглашал его на вскрытие «на предмет заключения» о причине последовавшей смерти такого-то. Заседатель ждал. Тело было оттаяно.

— Далеко это? — спросил врач упавшим голосом, расписываясь в получении пакета.

— Верст пятнадцать...

— Распорядитесь, голубчик, чтобы мне подали лошадей.

— Слушаюсь.

Крестьянин ушел.

«Начало хорошее», — печально улыбнулся врач.

Он подошел к окну и стал всматриваться в расстилавшийся перед ним туман, серый, как народная масса, ради которой он забрался в этот сибирский глухой городок.

«Поймет ли она его?.. А если нет?..»

По улице медленно передвинулась чья-то тень.

«Нет, не сюда!.. А что если никто так и не обратится за помощью? Прежний врач, говорят, пил... Все привыкли обращаться к фельдшеру».

— Чайку не прикажете ли перед дорожкой? — прервала его думы хозяйка.

— Нет, не надо. А вот что, хозяюшка! Может, кто-нибудь из больных тут зайдет без меня... Я к вечеру буду обратно. Так всем, пожалуйста, и скажите.

Сытые кони побежали дружной рысцой, звонко стуча копытами по мерзлой земле.

«Хоть скоро доедем», — мелькнуло в душе доктора, но и этот расчет его обманул: волость, куда пришлось ехать, находилась на другой стороне реки, а плашкоут был снят: по реке шла шуга; пришлось переправляться на лодке.

Перевозчики перекрестились и длинными баграми оттолкнули лодку от берега. Андрею Андреевичу в первый раз приходилось совершать такое путешествие. Льдины то-и-дело наваливались на лодку, напирали одна на другую, сталкивались, разбивались и опять напирали, словно мысли в момент отчаяния. По временам сжатая льдинами лодка останавливалась, казалось, и выхода нет, но перевозчики то отталкивали льдины длинными баграми, то, дружно, по команде, раскачивая лодку, подвигались все ближе и ближе к противоположному берегу и наконец пристали.

— Дядя Степан, а дядя Степан! — окликнул перевозчик проходившего мимо мужика,—твой, что ли, черед седня возить?

— Демьяна! — возразил проходивший.

— Сюда прикажете лошадей или сами сходите к ямщику?— обратился перевозчик с вопросом к врачу.

— Зачем сюда? Недалеко ведь?

— Рукой подать, ваше высокоблагородие... Сбегай, Митюха, — приказал он своему подручному, — скажи, чтоб запрягал...

Мальчуган побежал, доктор торопливым шагом последовал за ним.

— Кого привел? — донесся до его ушей вопрос ямщика.

— Доктора на тело! Запрягай скорей!..

— Ужо запрягу... Язвило бы вас... Заходите, барин, в избу, — заметив входившего в ворота врача, поправился ямщик. — У меня живо все будет.

И действительно, минут через пять врач снова уже покачивался в плетеной коробушке. Показалась церковь, промелькнул кабак, дорога пошла лугом. Хриплый, чахоточный звук надтреснутого колокольчика, сосредоточенно угрюмый вид сидящего на козлах ямщика, предстоящее вскрытие,— все это навело тоску на врача. Он высунул голову и стал рассматривать окрестность, но бесконечная сплошная равнина, покрытая снегом и кое-где пробивающейся из-под него грязно-желтой травой, не могла рассеять тоски.

Кто-то ехал навстречу. Всмотревшись, доктор разглядел воз с сеном. Услышав звон колокольчика, крестьянин свернул с дороги. Исхудалая лошаденка по брюхо завязла в снегу, воз накренился набок.

«Удружил», — мелькнуло в голове врача,

Он опять забился в угол саней.

— Далеко еще?

— Подъезжаем, — флегматично ответил ямщик.

— Сюда, сюда, ваше высокоблагородие, — услужливо указывал дорогу в «присутствие» выбежавший на крылечко «волостной» старшина.

В присутствии уже дожидался заседатель.

— Константин Атласов, — отрекомендовался он, щелкнув каблуками.

— Астраханцев, — пожимая протянутую руку, ответил доктор.

У дверей присутствия, словно загнанные в силки звери, жались два крестьянина: седой сгорбленный старик и молодой, здоровый, «кровь с молоком», парень.

— Вы уж извините, доктор, что обеспокоили вас, что называется, «с места в карьер», да дел-то много накопилось... Потом, и то взять... может, покойник и, правда, естественной смертью преставился, а без вскрытия как определишь?

— Не сойти мне с этого места, ваше благородие, если я его хушь пальцем тронул! — вмешался в разговор молодой парень.

— Они все разъяснят, — указывая на врача, ответил заседатель.

— Хоша на время ослобонили бы, — взмолился старик. Время рабочее: сено свезти, дровец на зиму припасти надо.

— А зачем пьете? Не пили бы, ничего бы и не было! Свадьбу праздновали, видите ли, — пояснил он доктору, — ну и перепились, драку, разумеется, затеяли, один и преставился... Да это еще что? Другой жену дорогой потерял, так и нет ее, прах ее возьми... Вот доктор все разъяснит, — опять обратился он к крестьянам.

— Трупик «отпотел», — с заискивающей улыбкой доложил писарь.

Астраханцев вошел в мертвецкую. На длинном, узком столе лежал «трупик». Ссадина на лбу, кровоподтек под глазом — это могло произойти и от падения в пьяном виде, но падением никак уже нельзя было объяснить громадного синего пятна на животе.

Вскрытие окончательно убедило врача, что смерть последовала от побоев.

В присутствии ждал заседатель его заключения «на предмет смерти», ждали и отец с сыном его приговора. Делать было нечего...

Виноватый, сконфуженный, он вошел в канцелярию.

— Ну, что? — спросил заседатель.

Крестьяне с мольбой взглянули на врача.

— Видите ли, — начал он, запинаясь на каждом слове, — удары... сами по себе... гм... гм... легкие... но в том состоянии опьянения, в каком находился покойник, опасен всякий удар.

— Н-да... Но следы побоев есть?

— Видите ли... Как бы вам сказать... удары не опасные... их надо отнести к категории легких.

Доктор готов был провалиться сквозь землю.

— Ничего, брат, не поделаешь, — обратился заседатель к обвиняемому, — придется отправляться в острог...

Парень молчал, молчал и старик, стоявший в отчаянии с поникшей седой головой.

В канцелярию внесли на подносе два стакана чаю, сахар и печенье.

— Вот это кстати! Пока вы чаю напьетесь, я тут двух-трех человек допрошу. Этих уведи, — отдал он распоряжение десятнику, — а мне сюда Новоселова приведи! Это тот, что жену потерял, — пояснил он Астраханцеву.

В канцелярию вошел крестьянин лет пятидесяти. Серые выцветшие глаза с беспокойством уставились на заседателя.

— Ну, куда жену девал?

— Не знаю, ваше благородие! Пьян был, уснул. Проснулся — конь стоит, а Пелагеи нет.

— Ну?..

— Думал: ушла, придет, а ее нет...

— Куда же она девалась?

— Не могу знать. Спрашивал у сродственников — тоже нет.

— Ты, брат, не крути! Чего же ты начал сразу ее искатъ? Старосте, пока дочь не сказала, ничего не говорил, а?

— Думал, придет. Лонись ушла тоже, так сама вернулась.

— Чего же это она у тебя уходила? Бил, видно, ее?

— Зимы без морозу не бывает, ваше благородие.

— Ну, а в этот раз мороз был? — сострил заседатель.

Крестьянин не ответил. Позвали дочь.

— Ну, молодуха, смотри, правду говори! Бил отец мать?

— Бил.

— Сильно?

— Раз за священником посылали... Соборовали, значит...

— Хорош!..

Астраханцев вышел. С крыльца доносился оживленный говор крестьян, обсуждавших его приговор...

— Язви его! Ты на меня таперича навалился пьяный, я тя отпихнул, и меня в острог? «Легкий», сказыват, удар!..

— Ничего я, братцы, не мог сделать, — выйдя на крыльцо, горячо заговорил доктор. — Следы по всему телу... закон...

Нотка искренности так явно прозвучала в его голосе, что кое-кто из толпы наверное откликнулся бы на нее, но тут из задних рядов чей-то грубый голос перебил доктора:

— Вы не виноваты, заседатель не виноват, а парня все-таки в острог.

— Лошадок сейчас прикажете? — стараясь замять опасный, как ему казалось, разговор, подбежал к доктору старшина.

— Пожалуйста!..

Андрей Андреевич вернулся в присутствие. Новоселова увели. Заседатель складывал бумаги.

— Что, доктор? — Теперь со мною к Немоевским? Там и дочь — невеста, — весело подмигнул заседатель.

— Нет, домой. Больные, говорят, есть... А у вас как? — обратился он к старшине.

— Слава богу, ваше высокоблагородие...

— Вы спросили бы... Может быть, нездоров кто.

Старшина вышел; доктор не выдержал и побежал за ним.

— Я охотно, господа! Вы не стесняйтесь.

Крестьяне угрюмо молчали.

— Все здоровы! — ответил за всех старшина.

Четверть часа спустя к крыльцу подкатили сани, и доктор уехал. Сзади за ним жалобно стонал колокольчик, унылый, как тот арестант, которого он сопровождал своей печальной песнью в острог.

— Вишь, мучается!

Это восклицание ямщика вывело Андрея Андреевича из глубокой задумчивости, в которую его повергнули события целого дня. Он вздрогнул. В голосе ямщика слышалось столько нежности, ласки, сострадания...

«Господи! Неужели этот серый, такой тупой с виду ямщик понял его душевные муки?..»

Но и среди крестьян, толпившихся на берегу реки, куда доктор в это время подъехал, то-и-дело раздавались такие же восклицания. Они относились к реке. Во всю ширь с шумом, скрипом и треском двигались громадные ледяные поля... Местами они сцеплялись вместе и некоторое время выдерживали напор навалившихся сзади других льдин; в других местах, словно подталкиваемые какой-то невидимой силой, они взбирались одна на другую, вырастая на глазах у зрителей в целые горы, миг спустя с страшным треском опять валились в воду, с тем чтобы вновь начать этот сизифов труд... Казалось, река напрягает все усилия, чтобы остановиться, вот-вот достигнет этого, но из-под низу что-то вдруг толкнет льдины, разбросает, растолкает их, и она попрежнему продолжает катить свои могучие волны вместе с льдинами куда-то дальше вниз. Река как будто действительно «мучилась».

— И долго это протянется? — спросил Андрей Андреевич ямщика, невольно залюбовавшись на эту картину.

— А хто его знат! Иной раз совсем уж станет, ходют по ней, ездиют, а она возьмет да весь лед опять направо-налево порасшвыряет!

О переправе на другую сторону нечего было и думать.

«Куда деваться, — раздумывал доктор, — к Немоевским разве?»

Уже начало смеркаться. Голод давал себя чувствовать.

— Везите, ямщик, на «дворянскую», там чайку попьем, а затем с вами назад, к Немоевским... Согласны?

— Это вы, барин, ладно надумали! Ехать вдвоем веселей, да и в кармане лишняя копейка забрякает.

— Ну и ладно.

— И маета же вам, барин, с покойниками,— обернулся ямщик в сторону доктора, по выезде из «дворянской». — Втапоры, когда покойный дохтур Михаил Михайлович живы были, я все с ними ездил. Чудные были они, дай им бог царство небесное... Без бутылки ни шагу... А как с заседателем поедут, ну... — ямщик захохотал, — на себе из кошевы их в «дворянку» перетаскиваешь.

— А что, заседатель у вас, как? Добрый?

— Как бы вам, барин, объяснить?.. Пожалуй, что и добрый, да вот по-нашему, по-хрестьянству ежели взять, так Митюху он здря в острог впрятал.

— Какого Митюху?

— Да вот, который что пьяного будто бы убил. Покойник-то драчун был, не приведи господь; он же Митюху в орлянку обыграл, а Митюха что ж? Толкнул его раза два... Верно! Так ведь по нашему, хрестьянскому, состоянию опять и нельзя, чтоб совсем... тово. Так неужто он опосля этого — разбойник али убивец?

— Ну, а тот, другой... Новоселов?

— Это дело другое, совсем особое.

— Что ж, его правильно в острог?

— Бог его ведает; не нам, барин, судить. А все же правду ежели сказать, мужичонка-то он вредный, и бил же он Пелагею-то, прямо немилосердно... Она мне сродственницей приходится, троюродная сестра быдто. Так придет, бывало, к моей от старухе, а морда-то вся в синяках. Раз так и у меня сердце захолонуло: чуть совсем не зашиб он ее, окаянный... Внутри болеток в кулак, из рота — кровь... Должно, кроваву кишку задел.

— Что задел?

— Кроваву, значит, кишку, а кровь-то по жилам, да в горло... Ты на жилы-то посмотрел бы: эвона разбухли, что твои веревки... На велику силу отходили-то ее втапоры...

— Ну, а теперь, как вы думаете, убил он ее?

— А куда же он бы ее дел?.. Не иголка... не спрячешь...

— А другие не бьют баб?

— Как можно, барин, не бить... С чаго она слухаться будет, ежели ее не бить?.. Без битья никак невозможно... Всяку тварь учить надо...

Доктор печально улыбнулся.

— И ты, значит, свою бьешь?

— Чудной же ты, барин! Неужто я своей потрафлять буду? Барышня тут у нас есть — Немоевская, значит, тоже сказыват — бить не надо... Летось я свою поучил маленько, нну... — ямщик рассмеялся, — и так, и этак пробирать! А писарь у нас тут есть молодой, видал, поди, в канцелярии? Он этак бочком, бочком к ней, да и сказыват: «Это по ихней, значит, необразованности, барышня!» А она ему: «Меньше бы вы хапали с них, — более образованы были бы». Писарь-то и сял. Нет, барин, по нашему положению никак невозможно...

— Тоже изувечите когда-нибудь.

— Не стекло, барин, не разобьется.

Ямщик умолк. Углубившись в себя, не прерывал молчания и доктор.

Кругом было тихо, только колокольчик однообразно позвякивал, да где-то далеко-далеко не то выли, не то лаяли собаки. Вскоре лай послышался более близко, лошади прибавили шагу. Промелькнули освещенные окна крестьянских изб, и лошади остановились перед домом Немоевского.

Ромуальд Иванович Немоевский пользовался немалой популярностью среди местной интеллигенции. Живой, веселый, остроумный, он, казалось, весь отдавался данной минуте, данному делу. Сосланный в Сибирь за участие в восстании, он как зажиточный человек не переживал всех тех материальных и моральных невзгод, какие выпали на долю его товарищей. Гостеприимный, как шляхтич доброго старого времени, он радушно принимал у себя гостей, которые всегда прекрасно себя там чувствовали.

Последовавшую за ним в изгнание жену сначала коробило это близкое общение с «москалями», но мало-по-малу она привыкла к этому, и дом Немоевских окончательно стал любимейшим местом посещения всего N-ского бомонда.

Широкая жизнь скоро истощила материальные средства Немоевских. Надо было подумать о пополнении их, но Ромуальд Иванович долго не думал и, по обыкновению, мило и весело вышел из затруднения: он открыл лавочку, которую все более и более расширял, пока в одно прекрасное утро, довольно неожиданно для местных жителей, над лавкой не появилась вывеска: «Винная торговля». За прилавком и за стойкой он сам, конечно, не сидел: для того были «люди», в его жизни поэтому ничего не изменилось, если не считать того, что раз в год ему приходилось угощать ces pauvres paysans (этих бедных мужичков), без чего трудно было бы добиться общественного приговора на открытие в селе кабака.

После каждого такого угощения квартира Немоевских окуривалась, запах «мужичья» удалялся, и обычные посетители Ромуальда Ивановича только стороной узнавали об этом свое-

образном «слиянии с народом». То обстоятельство, что пан Ромуальд из гордого своим происхождением «пана» стал «кабатчиком», никого не шокировало, — напротив того, вызывало восторги и приобрело шляхтичу кличку «сибирского янки». Отрицательно к этому превращению отнеслась только жена пана Ромуальда. По ее виду, впрочем, никто не узнал бы этого; она попрежнему была мила и любезна, попрежнему блистала неподдельным остроумием в разговоре, но... к гостям уже не всегда выходила, часто сказывалась больной. В отношениях ее к мужу тоже появилась какая-то натянутость, которой оба супруга, как будто сговорившись, не пытались даже устранить. Большую часть дня пани Немоевская проводила в обществе своей маленькой Ядзи. И девочка не раз недоумевала, когда мать без всякого как будто повода начинала нервно, спазматически обнимать ее и при этом плакать. В такие минуты у ребенка, бывало, рожица сморщится и на глаза выступают слезы, но мать, увидев это, напрягает усилия, чтобы овладеть собою и успокоить девочку.

— Не плачь, дитятко! Смотри, уже прошло...— и улыбка проскользнет по лицу страдалицы, и, словно желая загладить свою вину, она долго, долго рассказывает дочери о далекой родине: какие там деревья и птицы, дома и костелы, города и деревни, какой там славный, добрый и отзывчивый народ и как надо его любить крепко-крепко...

Во время таких бесед иногда заставал жену и дочь пан Ромуальд и, по обыкновению, подчиняясь всецело настроению окружающей его среды, присоединялся к ним и грустным голосом передавал девочке печальную историю несчастной отчизны.

Года через три после «превращения» пана Немоевского его жена умерла.

В доме Немоевских все стихло. Ромуальд Иванович в течение целого года вел замкнутую, вполне уединенную жизнь только в обществе своей дочери. Тогда же десятилетняя уже Ядзя начала систематически учиться под руководством отца; знакомилась с родной литературой, с родными писателями. Когда же срок траура кончился и все в доме опять ожило, отец перестал сам заниматься с дочерью и передал это дело в руки надежных учителей. Девочка оказалась очень способной и любознательной, а полное отсутствие сверстниц-товарок еще более усиливало любовь к чтению. С годами на полках в ее комнате рядом с доставшимися от матери польскими классиками очутились сочинения Ежа, Оржешко, Пруса и Конопницкой; еще немного погодя тут же приютились: Лермонтов, Белинский, Добролюбов, Некрасов, Щедрин, Михайловский, Успенский. Ребенок превратился в умную, развитую и начитанную девушку... Детские недоумения по поводу слез матери рассеялись...

Панна Ядвига не перестала после этого любить отца, но его личность в ее представлении как-то раздвоилась: ее милый,

любящий, восторженный папа, готовый в любой момент отдать «жизнь свою за други своя», стоял как-то совершенно особняком от того... другого, совершенно ей чуждого... купца... Дочь даже в мыслях всякий раз отступала пред словом «кабатчик».

Этот двойственный взгляд на отца расщеплял надвое и ее самое... Всякая потраченная на нее копейка как частица тех денег страшно коробила ее, но... отказаться... огорчить и обидеть отца — она этого не смогла сделать.

Всеми силами души она стремилась на далекую родину: любить, страдать, учиться самой и других учить... Но привязанность к отцу, старому, одинокому, приковывала ее к жалкой деревушке. Она делала, что могла: лечила, учила, но... в душе глубоко засело сознание, что все это «не то», а как результат этого — полная неудовлетворенность.

— Ха-ха-ха! Прокатились, доктор? — громким хохотом встретил заседатель вошедшего к Немоевским Астраханцева. — Я, думаете, не знал, что река вас задержит! Ха-ха-ха! Не хотели добром в нашу компанию, очутились силком...

Заседатель был после нескольких рюмок.

— Я рад, что хоть стихия доставила нам удовольствие познакомиться с вами, — любезно встретил Астраханцева Ромуальд Иванович.

— Что вы? Помилуйте! Я все равно собирался к вам на-днях. Хотелось только раньше у больных побывать...

В этой же комнате за карточным столом сидело еще два господина.

— Податной инспектор Васильев, золотопромышленник Онуфриев, — отрекомендовал их хозяин врачу.

Андрей Андреевич с любопытством взглянул на известного во всей округе золотопромышленника. Благообразное интеллигентное лицо, черные с оттенком грусти глаза, — все это както дисгармонировало с тем представлением, какое создал себе Астраханцев на основании рассказов об его подвигах, которые приобрели Онуфриеву среди рабочих кличку «волка».

«Кулак новой формации», — мелькнуло в уме врача.

— Мы вас запишем входящим... — обратился к нему Немоевский.

— Я не играю.

Ромуальд Иванович, а за ним и другие хотели было прекратить игру, но Астраханцев уломал их продолжать.

В эту минуту в комнату вошла панна Ядвига. Грустные, задумчивые черные глаза со вниманием остановились на докторе, с которым знакомил ее отец.

— Ну, Ядзя! Гостя тебе препоручаю, авось он не соскучится с тобой.

Андрей Андреевич смутился немного. Всегда оживленный, нередко даже веселый в тесном кружке близких людей, он совершенно терялся и часто не знал даже, о чем говорить с малознакомыми людьми. Сознание того, что «надо же о чем-нибудь говорить», и злополучный вопрос «о чем» всегда еще более усиливали его смущение и он глядел «букой» на окружающих. Этот злосчастный вопрос мелькнул в его голове и теперь, когда винтеры вернулись к прерванной игре, а он остался наедине с Ядвигой Ромуальдовной. Но его опасения на этот раз не оправдались. Панна Ядвига сама начала расспрашивать его, когда и где он кончил курс; что в его время представляла молодежь из себя, какие были профессора, кто из писателей является теперь кумиром молодежи; не слыхал ли он чего об ее кумире, писателе, которого сразил жестокий и неизлечимый недуг.

Астраханцев оживился и с юношеским увлечением начал подробно отвечать на все вопросы. Она внимательно слушала.

— Знаете, я никак не могу примириться с мыслью, что он неизлечим... Несколько лет тому назад я увидел его в первый раз на студенческой вечеринке... Все знали, что он тут, аплодировали, вызывали его. В числе других хлопал и я и орал во всю глотку... Рядом со мной проделывал то же какой-то незнакомый мне господин, добродушно улыбавшийся, глядя на меня. «Да вот он! Вот, он!» — крикнул кто-то из студентов, указывая на моего соседа. Да, это был он! А теперь? Совсем, говорят, ударился в мистицизм...

Оба на минуту замолкли в раздумьи...

— И это, как фатум, — начал он снова, — висит над русскими писателями... Гоголь...

— Не только над русскими... — перебила его Ядвига Ромуальдовна. — А Мицкевич? У него, пожалуй, и объяснение найдем этому явлению: «Я миллион, так как муками миллионов страдаю!» «Мук миллионов» даже такие умы не в состоянии вынести...

— И вот что странно, — заметил Астраханцев, — нет заместителя этим народным печальникам...

— Да, теперь уже не то... Последние могикане сходят со сцены, а на смену им вступают, — она улыбнулась, — «паровые цыплята». Помните Успенского? Раньше все эти душевные муки писателя шли в душу читателя и он воспринимал их... А теперь? «Температура».

«Разве она думает о действительной жизни?.. Есть тут у меня знакомый... Всего один раз побывал у нас в деревне; увидел хоромы кулака рядом с ввалившейся в землю избушкой, и диагноз готов: «вот она, диференциация... деревня только и ждет пришествия капитала»... Это у нас-то, в Сибири! Да

что ж? По формуле... Та же «температура»... Чем не «паровые цыплята»?»

Он, удивленный, молчал и любовался ею. Она волновалась. Видно было, что она коснулась «больного места», которого приходилось ей касаться не раз. Мало знакомый с затронутым вопросом, он скорее инстинктивно, чем сознательно, перевел разговор на другую тему.

— Вы au courant текущей литературы... Я и не подозревал, что это достижимо в сибирских захолустьях.

— Что вы? У нас все лучшие журналы... Есть и книги... Не хотите ли посмотреть? Она указала на шкап с книгами.

— Ба! Да у вас тут целый склад! И медицинские даже?! — воскликнул он с удивлением.

— Что же поделаете? Лечить тут некому; врачам некогда... приходится самой... У меня и аптечка есть...

— И много у вас больных?

— Есть-таки. Редко день, чтобы кто-нибудь не обращался, а осенью чуть не в каждой избе.

— А врач?

Панна Ядвига с удивлением посмотрела на Андрея Андреевича.

— Видно вы, извините за откровенность, не совсем-то хорошо знаете свои обязанности.

— Как так?

— Сколько вскрытий вы уже сделали?

— Одно.

— А пациентов у вас много? Ни одного? Окружной врач — это по преимуществу судебный врач... Для больных у него времени нет.

— Ну, это смотря по врачу, — холодно перебил он ее, задетый ее замечанием.

— Может быть, — сконфуженно заметила панна Ядвига, — да я же говорю только о прошлом.

Оба почувствовали какую-то неловкость. Нить разговора, не прерывавшаяся ни на секунду в течение целого вечера, на этот раз оборвалась. Андрей Андреевич опять почувствовал себя «букой», как всегда в обществе.

— Это чорт знает что такое... Почему вы в трефи не вышли? — горячился один из играющих.

— Да я же вам говорю, — снес на вашу черву...

— Какое вы имели право сносить!

«Надо же о чем-нибудь говорить», — подумал в это время Андрей Андреевич.

О том же думала и панна Ядвига. Обоих выручило появление горничной, доложившей, что ужин подан. Все направились в столовую.

— Что же вы, доктор, будете делать, если не винтите? —

недоумевал заседатель. — Сегодня трупик, завтра трупик, — этак скоро затоскуете... Одно спасение — винт.

— А водка другое? — добродушным тоном, смягчая резкость, засмеялся пан Немоевский.

— Неужто у вас уж так много этих трупиков?

— Набирается... У нас тут недалеко бродяжий тракт... Поставляют... Теперь, к счастью для вас, вскрытий стало поменьше: утопленников и скоропостижно умерших не вскрываем, а то бы с одними трупами вам не управиться...

— Ну, вы уж преувеличиваете, Константин Константинович! Покойный Михаил Михайлович иной раз по целым неделям не выезжал на вскрытие...

— Вот видите, — полушопотом заметил Андрей Андреевич Ядвиге Ромуальдовне. — А что, господа, — спросил он громко, — к утру можно будет переправиться в N-ск?

Мнения разделились.

— Да вы чего торопитесь? — вмешался хозяин. — Переночуйте, а утром у крестьян узнаем, как дела.

— И я вас хотела просить посмотреть одну больную...

— Ну, тогда другое дело...

Долго в эту ночь панна Ядвига не могла уснуть. Доктор ей понравился. Умный, развитой, сердечный. Но именно ввиду этого она не могла уяснить себе, что могло его побудить взять место окружного врача... Карьера? Жалованье? Не похож на такого... А впрочем... Романтически воспитанное воображение подсовывало ей предположение одно фантастичнее другого: то отец его обанкротился, обездолил десятки людей, а он сам влез в ярмо, чтобы уплатить долги отца... то мать его в нужде... Она вспомнила, с каким оживлением и вместе с тем сочувствием он рассказывал о больном писателе... «Нет, он славный!»

«Нет, она славная! — думал в это же самое время в другой комнате Андрей Андреевич. — Вот уж не думал, не гадал встретить здесь такую девушку... И дело делает. Почему же бы мне, специалисту, его не делать?»

«Судебный врач», вспомнилось ему ее выражение... «Об этом я раньше как-то не думал... Вот тебе и служба народу... А все-таки здесь больше нужны люди... Кто поедет в Сибирь?.. А то пустое: я ли, другой ли — от острога виновным не уйти, а больные выиграют... А она все-таки славная...» Почему «все-таки» — это, должно быть, не было ясно и для самого Андрея Андреевича, хотя оно и было в некоторой связи с ее скептицизмом по поводу судебного врача... «И ее, должно быть, любят». По ассоциации идей ему вспомнились угрюмые лица крестьян на крылечке «волостного». «Всякое начало — трудно, — утешил он сам себя, — увидят, убедятся...»

Светлые, хотя и своеобразные грезы овладели душой доктора... У него нет свободной минуты — то больные толпятся в его квартире, с нетерпением ожидая очереди, то его везут к ним, то, по праздникам, он знакомит их с элементарными понятиями о гигиене... Вот он куда-то едет... Ночь морозная, светлая, ясная... Дышится легко и свободно... Колокольчики гулко и звонко приносят веселую весть о его прибытии... Больной приободряется... приподнялся на постели... Ждет... Он раздевается, греется у печки: как бы не простудить больного... Согрелся...

— Оттаяли? — шутливо спрашивает больной.

Он подходит к кровати.

— Трупик готов, — слышит он чей-то голос.

В ужасе он наклоняется над больным. Мрачно глядят на него стеклянные глаза мертвеца; могильный холод от трупа незаметно проникает в него. Он хочет отойти. В это время бледные губы мертвеца иронически искривляются, и он отчетливо слышит два слова: «судебный врач». Господи, что же это такое? «Сегодня трупик, завтра другой», — с угрозой говорит ему заседатель. В каком-то отчаянии он бросается бежать, но что-то держит его на месте; он не может шевельнуть ногой. «Будьте отцом благодетелем, всю жизнь бога молить буду, ослобоните парня», — валяется у него в ногах знакомый старик. Он напрягает последние силы, бросается в дверь, на улицу... Пред ним река... Могучие волны несутся куда-то... Наткнувшись на ледяную плотину, возвращаются назад, волнуются, бьются о песчаный берег и, разбившись в миллионы мелких брызг, стынут, леденеют и, как град, сыплются на него... Вот он уже весь покрыт ими и сам превратился в лед; другие льдины напирают на него, слышатся стон, шум, скрежет: «Вы не виноваты, заседатель не виноват, а Митюху в острог». Митюху увозят... Колокольчик стонет и плачет над ним, клячонка вязнет в снег, за ней с сеном другая... «Встань, вставайте, вставайте», — кричат ямщики.

Доктор проснулся.

— Вставайте, вставайте, Андрей Андреевич, — стучался кто-то к нему в дверь.

Он узнал голос панны Ядвиги.

— Что такое?

— Поторопитесь, ради бога, больная при смерти.

— Сию минуту! — он все еще находился под впечатлением сна. — Сегодня трупик, завтра другой, — механически повторял он про себя.

— Готов, — вышел он к Ядвиге Ромуальдовне, — надо только, чтоб кто-нибудь отнес ящик с аптекой и инструментами. Да что с ней такое?

— Роды... судороги... не знаю, — волновалась Немоевская.

— Судороги? — доктор заторопился. — Молодая?

— Да, перворожепица.

Вошли в избу. У роженицы судороги прекратились; больная тихо стонала.

— Лучше, лучше, барышня! — весело встретила вошедших мать больной.

— А я вам доктора привела.

Андрей Андреевич подошел к больной. Та с минуту лежала спокойно, но вдруг изогнулась, конечности начали вздрагивать, лицо побагровело, зрачки расширились, и глаза с бессмысленным выражением уставились на доктора. Немоевская дрожала от волнения; мать начала причитать.

— Снегу! — крикнул Андрей Андреевич старухе.

Она не шевельнулась.

— Снегу же, снегу скорей! — повторил он приказание.

Немоевская выбежала и сама принесла снег.

Старуха заволновалась.

— Не надо снега! Застынет.

— На голову, — указал Астраханцев панне Ядвиге, не обращая внимания на старуху.

— Да потная же она! Ишь, пот с нее льет... не надо! — решительно заявила она, вырывая из рук тарелку со снегом.

— Что это ты, Василиса? — пробовала унять ее Немоевская.

— Да не слушайте вы его, барышня! Видано ли? С нее пот льет, а он... снег...

— Ладно, бросьте... — отступил доктор, — обойдемся без этого, — и, взяв из аптечки шприц с морфием, он впрыснул его больной.

Старуха оторопела...

— Ишь, что делает!..

Роженица все продолжала биться. Страшно действующий на нервы скрежет зубов почти не прекращался... Доктор схватил лежащий на столе нож, отломил черенок и, обернув его в какую-то тряпку, вставил в рот больной.

— Надо караулить, чтобы она не упала с постели... Позвать бы кого...

На этот раз старуха послушалась. Доктор улыбнулся... «Сдалась», — подумал он, — «уверовала». В избу вошли два мужика, перекрестились на образа и стали у кровати. Припадок начал стихать.

— А что, матушка, отдушина-то есть? Открыть бы ее...

— Чаво? — строго спросила старуха.

— Отдушину открыть бы надо, воздуху мало; здоровому дышать трудно.

— Да говорят тебе, мокрая вся... — рассердилась старуха.

— Ну, печку затопи, коли боишься простудить.

— Топлена! — отрезала баба.

Доктор оторопел.

— Ступай, Иван, — вмешалась Немоевская, — принеси дров,

а ты затапливай!..— прикрикнула она на старуху не допускающим возражений тоном.

— То отдушину открой, то печку топи...— ворчала старуха, открывая трубу.

«Вот тебе и «сдалась», «уверовала»,— промелькнуло в голове Андрей Андреевича. Усталый, весь вспотевший, он опять вернулся к больной. Припадок прошел. Больная в изнеможении лежлаа на постели. Он вынул черенок; она что-то невнятно забормотала.

— Ну, теперь караульте!..— обратился он к мужикам.

— Умрет?— шопотом спросила его Ядвига Ромуальдовна.

— Эклампсия,— пожимая плечами и расставляя руки, ответил Андрей Андреевич.— Поборемся все-таки.

— Опять началось!— крикнул один из мужиков, еле-еле удержав больную.

Доктор снова впрыснул морфий. Больная опять заскрежетала зубами. Толстый, опухший, искусанный язык высунулся изо рта.

— Господи! Царица небесная,— молилась старуха.

Крестьяне выбивались из сил, удерживая больную.

— Снегу!

Сопротивления не было, и снег был положен на голову.

Все смолкли в страшном ожидании. Тяжелое хрипящее дыхание вырывалось из груди больной, и эти страшные, как бы предвещавшие конец звуки наполняли всю комнату.

— Кончается,— простонала мать.

Вдруг на постели что-то затрепыхалось, и громкий крик ребенка заглушил хрипение больной. Василиса встрепенулась: этот крик был как бы сигналом к тому, что наступил ее «черед», и она вступила в свои «бабьи» обязанности...

Судороги прекратились. Больная обвела всех утомленным взором, закрыла глаза и тотчас же уснула.

— Ну, теперь, кажется, спасена!— воскликнул Андрей Андреевич с облегчением.— Проспит, пожалуй, целые сутки. Караулить все-таки надо: может повториться,— обратился он к мужикам.— А мы с вами, Ядвига Ромуальдована, можем отправиться... Вам надо отдохнуть, на вас лица нет.

Она улыбнулась. Ей хотелось сказать ему что-нибудь приятное, но она чувствовала, что все, что бы она ни сказала, выйдет бледным, шаблонным.

Но доктор и без слов чувствовал ее отношение к себе; он видел его в ее глазах, улыбке. И, несмотря на усталость, на душе у врача было хорошо, весело.

Час спустя Андрей Андреевич узнал, что река стала, но ни на секунду не останавливался на мысли вернуться в N-ск раньше вечера. С тех пор как у него появилась больная, он весь

преобразился. Уверенность и деловитость сменили собою столь свойственные ему колебания и грустную задумчивость.

Панна Ядвига в некоторые минуты прямо любовалась на него. «Врач» вытеснил в ее представлении «судебного врача». Несколько раз в течение дня Андрей Андреевич заходил к родильнице. Под вечер, убедившись, что все идет хорошо, он уехал в N-ск.

— Ну, что? — спросил он хозяйку тотчас же по возвращении домой. — Был кто-нибудь вчера?

— Баба какая-то приходила и утром и в пять, как вы велели.

— А что там у нее?

— Мальчик по девятому году захворал.

Андрей Андреевич посмотрел на часы.

— Ну, завтра с утра поеду. А больше никого не было?

— Седня от исправника два раза казак приходил. У вас на столе письмо. И от заседателя нарочный был.

Андрей Андреевич вошел в кабинет и вскрыл лежавшее на столе письмо. Исправник выражал неудовольствие по поводу его долгого отсутствия.

Арестантская партия ушла неосвидетельствованной, хотя законной причины уклониться от освидетельствования ее у доктора быть не могло, так как река стала еще в два часа ночи, а партия ушла только в 12 часов дня. Андрей Андреевич призадумался. Его предупреждали, что исправник отличается одной скверной чертой: считает себя первой персоной в округе и требует, чтобы другие тоже так к нему относились. Потому-то всякий «новичок», не сразу признающий это, подвергается всевозможным нахлобучкам и выговорам либо непосредственно от него самого, либо от подлежащего начальства по его доносу.

«Началось»,— подумал врач, разрывая конверт второго письма. При первом взгляде на вынутую из конверта четвертушку бумаги на лице доктора выразилось невообразимое недоумение, сменявшееся по мере чтения все более и более веселой улыбкой.

В «деловой бумаге» заседателя было написано буквально следующее:

Как ни тяжко, доктор, мне
Неприятность сделать вам,
Но я должен оторвать
От больных вас и от... дам.
Mille pardons, mon cher docteur,
К Немоевским сам бы рад,
Но исправник—экий зверь!—
Гонит в шею, бьет в набат!
В N-ске,—пишет,—новый труп;
Там три дня как ждут уж вас...
Марш туда! И груб, и глуп,
Но уж спуску он не даст...
Так уж, доктор, mille pardons!

Завтра в Брусничевке жду,
В среду едем на Орхон,
А затем в Карадою
И, отправив грешных в ад,
То есть попросту в острог,
Мчимся с вами в самый град
Во исправницкий чертог.
Он, конечно, распечет,
Поругает, побранит,
Но и водку поднесет,
И за винт нас усадит.
А уж после в миг один
К Немоевским вас домчу.
Ваш Атласов Константин,
Votre ami est tout à vous!

«Шут гороховый», — добродушно улыбнулся Андрей Андреевич. Ему представилось вечно смеющееся, всегда довольное лицо заседателя. Не мудрствуя лукаво, исправляет он свои обязанности, не вдаваясь в оценку их, не справляясь о результатах своей деятельности. Ехать ли на вскрытие или навстречу высокопоставленной особе — ему все равно: лишь бы не залеживались дела, лишь бы по должности все было исправно. «Экий счастливчик! Как он еще догадался, что можно затосковать, имея дело сегодня с одним «трупиком, завтра с другим...» Однако этих трупиков действительно немало», — не без некоторой тревоги подумал врач. Вспомнилась ему и злополучная «партия», ушедшая неосвидетельствованной, тюремная больница, всевозможные санитарные осмотры, всевозможные отчеты.

— Видно, вы не совсем хорошо знаете свои обязанности, — повторил он в глубокой задумчивости слова Ядвиги Ромуальдовны.

Немало, должно быть, удивился бы Андрей Андреевич, если бы узнал, что в этот самый момент пан Немоевский уличал в незнании своих обязанностей самое панну Ядвигу.

Она еще до отъезда доктора заметила, что отцу что-то не по себе и что он, вопреки своему обыкновению, очень холодно обращается с Андреем Андреевичем. Останавливаться на причинах этого не было времени: знакомство с новым и интересным человеком, тревожная забота об опасно больной — все это совершенно поглощало ее. Но, как только доктор уехал, поведение отца привлекло все ее внимание.

Пан Немоевский долгое время молча ходил по комнате. Сидевшая за книгой дочь чувствовала на себе упорный взгляд отца.

— Послушай, Ядзя!

Она взглянула на него, предчувствуя, что предстоит какое-то объяснение.

— Нам надо откровенно объясниться. Видишь ли, я, конеч-

но, тебя ни в чем не виню, скорее я сам виноват... Будь жива мама, ничего этого не было бы...

Пану Немоевскому трудно было приступить к делу, и он путался во вступлении.

— Да в чем же дело, папа?

— Видишь ли, мама умерла, оставив тебя еще подростком; я — мужчина, воспитывать девушек не умею, и вот я... я заметил некоторые... некоторые пробелы в твоем воспитании.

Панна Ядвига была поражена.

— Да, я сам виноват... Я никогда ничего не имел против того, чтобы ты оказывала мужичкам посильную пользу... тово... учила их... давала советы, лекарства. Я думал, ты сама догадаешься, где черта, за которую молодая благовоспитанная панна не должна переходить.

Брови дочери наморщились; она прижала зубами нижнюю губу, но ни одним словом не прервала отца... Это его, и без того смущенного, смутило еще больше.

— Ты перешла за эту черту... Увлекшись, ты стала лечить такие, такие... болезни, о которых в присутствии молодых девиц и говорить неловко... Иезус-Мария! что на это сказали бы в Польше!.. Но мы — в Сибири. Здесь на это не так смотрят... Все ж таки... Ходить в дом распутной женщины... присутствовать при ее родах и приводить еще туда молодого человека. Нет! Это даже в Сибири неприлично!

Высказавши это, старик ждал возражений, но дочь была слишком взволнована, чтобы ответить.

— Помогать бедным больным я тебе не мешаю: ты принадлежишь к тому классу общества, в котором филантропия считается даже обязанностью... Но это уже не филантропия... Нет! Делая это, ты нарушаешь свои обязанности относительно покойной мамы, относительно меня и той фамилии, которую ты носишь.

Последние слова пан Немоевский произнес особенно громко. Он, видимо, волновался и, пожалуй, сказал лишнее.

Дочь была оскорблена до глубины души.

— Ты кончил, папа?

— Да. Кончил.

— Так я должна тебе сказать, что наши взгляды на этот вопрос диаметрально противоположны, а я уже не в том возрасте, чтобы всецело подчиняться тебе. У тебя свои взгляды, у меня — свои.

— Вот как?

— Да, папа. Поверь ты мне, что и я во многом не одобряю того, что ты делаешь... Во многом нахожу твое поведение по меньшей мере столь же предосудительным, как ты мое, и если я молчала до сих пор об этом, то только потому, что не считала возможным навязывать тебе свои взгляды.

— Напрасно! Ты бы поучила отца, он, глупенький, сам не

понимает... Это совершенно в духе времени... Но видишь ли, — все более и более сердясь, продолжал старик, — я воспитан в другом духе: «Biada temu domowi, gdzie ogon przoduje głowie» (горе тому дому, где хвост управляет головой). А голова здесь я! И я, — он величественно остановился перед дочерью, — запрещаю тебе и делать то, что ты делала, и говорить так с отцом, как ты говорила.

— Ни в том, ни в другом я ничего предосудительного не вижу, а потому...

— Мой хлеб ешь и должна мне повиноватсья!

Этого панна Ядвига не ожидала. Лицо ее побледнело, внутри что-то словно оборвалось.

— Ладно, папа! — произнесла она прерывающимся голосом. — Дай вам бог никогда в этом не раскаяться.

Началась для Андрея Андреевича цыганская жизнь окружного врача. Изо дня в день, с редкими перерывами, приходилось ему переезжать с места на место то вскрывать трупы, то свидетельствовать раненых, изувеченных; в одном месте контролировать фельдшеров, в другом — осматривать промышленнные заведения. Всюду попутно старался он, и не без успеха, привлекать нуждающихся в нем больных, но его не только это не удовлетворяло, но даже вызывало в нем недовольство собою: «Это шарлатанство какое-то, — думал он про себя, — люди ждут от тебя помощи, а ты суешь им касторку или tinctura jodi, а там, хоть пропади больной, ты не узнаешь даже: торопиться надо к... новому трупу, а живые... пускай себе мрут».

Неизгладимое впечатление произвело на него посещение тюрьмы. Ему неприятно было туда ехать. Заключенный в тюрьму «по его приговору» Митюха порой давил его, как кошмар. Сторонник взгляда: «Tout comprendre c'est tout pardonner», он сугубо мучился «своим» приговором. К этому присоединялось еще одно практически немаловажное для него осложнение. Помня, как отнеслись к нему крестьяне после ареста Митюхи, он был убежден, что и арестанты не вникнут глубже в положение и отнесутся к нему с недоверием. На деле оказалось не то. Крестьяне обсуждают каждый вопрос «по-божески»; для них «правда» — одна; все, что противоречит их представлениям о справедливости, вызывает их негодование. Арестанты — совсем другое. Жизнь познакомила их с понятием: «формальная правда», и соблюдение ее, хотя бы в ущерб им, не ставится ими никому в вину.

Андрей Андреевич, войдя в тюрьму, был поражен отсутствием у арестантов озлобления к нему. Кроме больных, находящихся в больничном отделении, к нему нагрянула целая толпа арестантов, числившихся здоровыми. Один прямо просился в лазарет, другой жаловался на несварение, третий — на общую

слабость, четвертый «свету не взвидит» от зубной боли. «Пропишите табачку, ваше высокоблагородие, моченьки моей больше нетути» и т. д. и т. д.

Врач всех выслушал, осмотрел и до глубины души взволновался. Не подлежало сомнению, что пред ним толпа симулянтов; в большинстве случаев и следа не было той болезни, на которую они ссылались. Но это-то и взволновало доктора. Все они были страшно изнурены; у многих начиналась цынга, но, тем не менее, для улучшения питания, ради стакана молока, куска белой булки и даже для получения разрешения на покупку на свой счет табаку людям приходилось мошенничать. А сколько их еще там, в тюрьмах, таких же изнуренных, но не решающихся мошенничать хотя бы из опасения быть уличенными? Под влиянием этих размышлений Андрей Андреевич многих перевел на больничную пищу... «Ловко надувшие» арестанты сияли, производя на него этим еще более гнетущее впечатление.

— Однако, вы расщедрились, — конвенционально хихикая, выразил свое мнение по этому поводу смотритель.

— Страшно изнурены.

В глазах смотрителя блеснул недобрый огонек, но секунду спустя он принял прежний вид и, разведя беспомощно руками, произнес:

— Что ж поделаете? Тюрьма!

Андрей Андреевич взглянул на него тем взглядом, который проникает в душу, но душа смотрителя, казалось, была, как и сам он, застегнута на все пуговицы... Перед доктором стоял благочестивый, благообразный старик; глаза его были обращены на Андрея Андреевича, и в них светилась такая невинность, такая простота, что нельзя было и сомневаться в том, что человек, обладающий такими глазами, — отец и благодетель арестантов... Но Андрей Андреевич отлично знал, что глаза эти обманчивы; ему было небезызвестно, что смотритель состоит «под судом», как выражались местные жители, то есть находится под следствием за «казнокрадство», хотя он обворовывал, собственно говоря, не казну, а арестантов, оставляя у себя в кармане часть тех средств, которые предназначались им.

Оба направились через тюремный двор к воротам. Арестанты как раз в это время выносили из кухни большие чаны с «баландой». Доктор хотел было остановить их, попробовать пищу, но раздумал: все равно ничего из этого не выйдет.

Смотритель заметил этот момент слабости. «Объездим», — мелькнуло у него в голове.

Вежливость требовала, чтобы доктор после посещения тюрьмы сделал визит смотрителю, но из чувства брезгливости Андрей Андреевич не мог этого сделать, он отговорился недосугом и уехал домой.

По возвращении из тюрьмы Астраханцев застал у себя пана

Немоевского, приехавшего с ответным визитом. Ромуальд Иванович не всегда так строго придерживался этикета: он поторопился отдать визит совсем по другой причине.

После памятного разговора отца с дочерью в доме Немоевских установилась тяжелая, удушливая атмосфера. Пан Немоевский был недоволен собою: он сам сознавал, что последняя сорвавшаяся тогда с его языка фраза была необдумана, груба и должна была сильно задеть дочь.

Ее самолюбие, ее личное достоинство были оскорблены, а она не такой человек, чтобы могла это забыть.

Да она и не забыла. Четыре недели прошло уже со времени их размолвки, но отец при всякой встрече с дочерью осязательно чувствовал, что между ними что-то как будто оборвалось, что отношение дочери к нему — не прежнее. И не только это смущало Ромуальда Ивановича. Панна Ядвига осунулась, целые часы проводила одна и два раза в неделю аккуратно ездила на почту. Видно было, что она чего-то ждет с почты, но чего? Отец боялся даже мысленно заглянуть в будущее и старался не думать об этом.

Как назло, гости теперь, как всегда в это время года, посещали их реже: зимняя дорога окончательно установилась, приходилось наверстывать время, даром потерянное из-за распутицы. Андрей Андреевич после первого визита тоже не был больше, а его-то пан Немоевский ждал с особенным нетерпением. Заметив, что дочь симпатизирует доктору, он, с одной стороны, рассчитывал на то, что приезд его рассеет ее тоску; с другой стороны, он надеялся, что радушным приемом, оказанным им доктору, он примирит с собою дочь.

— Со стариками и с дамами не считаются визитами, Андрей Андреевич, — заговорил Ромуальд Иванович с дружеским укором в голосе, удерживая в своих руках руку доктора, — а вас что-то не видать. Но ради удовольствия видеть вас поскорее у себя я, как видите, не пожалел своих старых костей.

Андрей Андреевич почувствовал себя как-то натянуто.

— Помилуйте, — бормотал он невнятно, — работы столько...

— Да посмотрите вы на себя,— начал журить его пан Немоевский, — на вас лица нет. Так нельзя! Знаете, что? Прокатимтесь-ка к нам... Я стосковался по людям... Сбегаю еще кое к кому и возвращусь за вами... — Пан Немоевский оживился. — Вот гениальная идея пришла мне в голову! Устроим нечто вроде польского «кулика»!.. Увидите, не пожалеете.

Доктор находился в таком усталом, вялом состоянии, когда человек даже рад бывает подчиниться чужой воле. Лень думать, хотелось бы даже не чувствовать. Постоянное, изо дня в день повторяющееся с одинаковой бесцельностью и монотонностью «толчение воды в ступе», как сам он теперь характеризовал свою деятельность, утомило его нервы. Смутно он и раньше

сам сознавал, что надо, необходимо развлечься, отвлечься, отвлечь внимание от постоянных, повседневных забот; что это необходимо для того, чтобы ориентироваться в положении, каким оно представлялось ему теперь; но воля ослабела, и он все откладывал это «до завтра», до более удобного времени.

— Так решено! Я заеду за вами, а потом и обратно вас доставлю.

Доктор неопределенно улыбнулся; перед глазами его промелькнуло вдумчивое лицо панны Ядвиги, чуть ли не единственного человека, с которым ему не неприятно было встретиться в настоящую минуту.

Гость поспешно ушел. Доктор продолжал сидеть задумчивый, сосредоточенный. Какие-то несвязные обрывки мыслей, как тучи, разрываемые ветром, проносились в его голове. Только возвращение пана Немоевского вывело его из этого состояния.

— Едем, едем, Андрей Андреевич! Все готово.

На дворе рядом с щегольскими санями Немоевского стояли другие, на которых разместились три музыканта-трубача.

— Ну, не отставать! — крикнул Ромуальд Иванович спутникам. — Садитесь, Андрей Андреевич.

Он правил сам. Тройка нервных вороных бегунов, как перышко, подхватила легкие саночки, но через несколько домов остановилась, как вкопанная. Трубачи заиграли. Из ворот важно выехал исправник с женой. Поезд тронулся дальше, от времени до времени останавливаясь и возрастая по мере остановок.

Спустились на реку. Взглядом полководца окинул Ромуальд Иванович весь следующий за ним кортеж и, убедившись, что все благополучно спустились с крутого берега на реку, дернул лошадей. Тройка помчалась стрелой, за ним остальные. Сзади доносился визг, хохот, крик. Кто-то обогнал кого-то, кто-то отстал. Снежная пыль, поднимаемая копытами лошадей, словно облачко, окутывала весь кортеж. Мелкие снежинки, отсвечивающие на солнце, как бриллианты, сыпались отовсюду. Невольно заинтересовавшись, доктор оглянулся. Кто-то их догонял.

— Догоняют! — незаметно увлекшись этой бешеной скачкой, нервно предупредил он Немоевского.

Старик улыбнулся и опытной рукой попридержал лошадей. Догонявшие сани поровнялись с ними. Еще удар по лошадям, и старик с доктором остались позади.

— Обогнал, обогнал,— доносились голоса с задних саней.

Сквозь снежную мглу стал вырисовываться противоположный берег. Кони рвались, но пан Немоевский крепко натягивал вожжи. Вдруг он поднялся, широко расставил ноги, сдвинул меховую шапку.

— Держитесь, доктор.

Раздался свист, натянутые вожжи ослабели, и сани понеслись, как ураган. Доктор залюбовался. Из черных, совершенно

таких же, как у дочери, глаз старика сыпались искры; седая борода развевалась ветром.

Вот уж берег... Что-то карабкается вверх... Второй свист, и сани поровнялись... Гордо улыбается старый шляхтич, окидывая взором соперника.

— Дьяволы, не кони! — доносится из саней побежденных.

— Славно! — вздохнул с облегчением Андрей Андреевич, когда сани Немоевского опять оказались первыми.

Но и тут старик не попридержал лошадей. Ему надо было выгадать две, три минуты, чтобы успеть распорядиться.

Когда все подъехали к воротам, Ромуальд Иванович уже был на посту: галантно подавал руку более пожилым дамам при выходе из саней.

С шумом, смехом, болтовней ввалились гости в переднюю. На несчастного податного инспектора, пытавшегося обогнать Ромуальда Ивановича, посыпались шутки, остроты.

— Дайте хоть раздеться! Сквозь шубу не проберете! — отшучивался он.

В дверях гостиной встречала гостей панна Ядвига.

Отец как ни в чем не бывало вбежал к ней в комнату, беззаботно бросил слово: «кулик» и устремился дальше. Ей было не до гостей. Беззаботный тон отца ее поразил, но, войдя в зал, она была еще больше поражена, увидев раскрасневшееся от мороза, улыбающееся лицо Андрея Андреевича. Кого... кого, а его-то она уж совсем не ожидала увидеть в числе гостей.

— Займись, Ядзя, Андреем Андреевичем, — вбежал в гостиную отец. — Посмотри, какой он стал нехороший.

Старик нежно улыбался, глядя на недоумевающую дочь. Через секунду он уже в другой комнате отдавал прислуге какие-то распоряжения.

Доктора старик положительно расположил в свою пользу. Андрей Андреевич находился в таком состоянии, когда человек органически нуждается в более теплом отношении к себе. Совершенно неожиданно он встретил его со стороны Ромуальда Ивановича. Не анализировать же ему мотивов старика, отца вдобавок такой славной девушки. Он просто пошел навстречу ласке.

Немоевский ласкал вместе с тем и дочь, но она, конечно, не могла не обратить внимания на перемену, внезапно происшедшую в отце. Однако в данный момент было не время доискиваться причин этого.

Она пошла навстречу гостям.

— Когда я служил в кавалерии... — рассказывал в передней исправник про какой-то свой подвиг на скачке.

— Нет! эта фигура, этот гордый взгляд победителя, когда

сани поровнялись,— восторгалась исправница, ехавшая сзади, а следовательно, не видевшая этого. Ах, Ядвига Ромуальдовна, как все это было величественно.

Из дверей освещенного зала вышел пан Немоевский и, подав руку исправнице, повел ее к дивану. Остальные гости последовали за ними.

Музыка заиграла. Начались танцы. Панна Ядвига попала в одну из первых пар. Доктор обвел глазами зал. Все кружились в вальсе, кроме суетившегося хозяина, его и исправницы.

— А вы, Андрей Андреевич, меня, старуху, развлекать остались или же сами в старики записались?

У Андрея Андреевича явился удобный случай наговорить целую кучу любезностей; падкая до них, исправница уже готовилась их выслушать.

— Просто не умею и никогда не танцовал.

— По убеждению? — холодно и с явной иронией вновь задала она вопрос.

— Нет, так...

Его обычное в таких случаях настроение начало им овладевать. Он посмотрел на танцующих. Панна Ядвига кружилась попрежнему; кавалер шептал ей что-то; она улыбалась. Доктору это было неприятно.

Вальс кончился.

— Надеюсь, я еще не запоздал пригласить вас к кадрили, — подошел к исправнице Ромуальд Иванович.

Она согласилась. Оба легких танцев уже не плясали.

Воспользовавшись моментом, доктор скрылся в гостиную. Не зная, что с собою делать, он начал перелистывать альбом. На карточке панны Ядвиги он остановился подольше. На лице блуждала знакомая улыбка, грустные глаза задумчиво глядели на него. «Да, ей есть о чем призадуматься»,— он ясно представил себе ее танцующей, видел перед собой акцизного, державшего ее за талию, и вдруг перед его глазами она мелькнула такой, какой была у постели больной.

— Вот вы куда скрылись! — перед ним стоял пан Немоевский. — А я за вами... Одного кавалера нехватает.

— Ну уж увольте, Ромуальд Иванович, я же не умею...

— Кадрили-то? Помилуйте! Тут и уметь-то нечего! Пригласите Ядзю, а со мною станете визави... А вот и она! Ядзя, доктор приглашает тебя к кадрили.

— Да я же, право, не умею...

— Научим! — улыбаясь, настаивал Ромуальд Иванович и, не встречая сопротивления, устремился дальше.

— Ну что, Андрей Андреевич, привыкаете помаленьку? — просто спросила доктора панна Ядвига.

— Не так-то легко... Да! Кстати! Что же наша больная?

— Поправилась... Уже давно на ногах...

— А мать? — улыбаясь, спросил доктор. — «То отдушину

открой, то печку топи», — передразнил он старуху. — Теперь, небось, не то поет...

— Не говорите...

— Как так?..

— Оказывается, если б она открыла отдушину, «ни в жисть бы той не выздороветь»...

— Всегдашняя история! — вздохнул доктор.

В зале опять заиграла музыка. Надо было итти плясать. Доктор шел, как на казнь, но кадриль благодаря умелому руководительству отца и дочери сошла довольно благополучно. Только в шестой фигуре вышла заминка: когда пришлось взять панну Ядвигу за талию, доктор сконфузился, сконфузилась и его дама. В этот же вечер не раз проделывали с ней то же другие кавалеры, и она не обращала на это внимания, но, когда она почувствовала на своей талии руку человека совсем другого покроя, ей стало совестно.

— Ну, слава богу! — вздохнул с облегчением Андрей Андреевич, узнав об окончании кадрили и торопясь ускользнуть из зала.

— Что вы, что вы! — притворяясь испуганной, остановила его Ядвига. — А исправницу благодарить за визави?

Доктор махнул рукой, но, узнав, что та обидится, послушался совета.

Тем временем в гостиной была сервирована закуска. Все обступили только что приехавшего заседателя.

— Вы это где запропастились?

— Да тут целая история... — закусывая, рассказывал заседатель. — Есть тут хохол-поселенец... Так, изволите ли видеть, не испросив разрешения, тайком кожевенный завод открыл... Мне и донесли... Приезжаю раз — ничего... Висит какая-то кожа на плетне, в сенях какая-то бочка... Приезжаю другой раз — то же самое. Расспрашиваю. Молчит, шельма. Вижу, дело нечистое. Сегодня утром был... Спокоен, значит... Я и нагрянул врасплох и... накрыл!

— Ну?

— Вот вам и «ну»! Приезжаю, а у него, шельмеца, в этой самой бочке и мокнут кожи, а по заборам еще штук пять развешено.

Доктор и панна Ядвига переглянулись.

— Что же ему угрожает за это «преступление»? — не без иронии спросил доктор.

— Не больше пятидесяти.

Андрей Андреевич не понял.

— Что?

— Не больше пятидесяти розог! — беззаботно повторил заседатель.

Астраханцев уже немного привык ко взглядам той среды, в которой ему приходилось вращаться. Ему уже раза два-три

приходилось давать свидетельства, освобождающие от телесных наказаний, но, несмотря на это, известие о том, что за такое «преступление» может человеку угрожать телесное наказание, казалось ему невообразимо диким.

— Что же, и этого признаете больным? — иронически спросил его исправник.

— И этого... — неосторожно ответил доктор.

— Будем посмотреть! — с вызывающей насмешливой улыбкой сказал исправник.

Отношения между ним и доктором с каждым днем ухудшались. По поводу освобождения от розог двух ссыльных, приговоренных к этому наказанию «самим» исправником, дело дошло до более крупного объяснения.

— А в России некоторые земства ходатайствуют об освобождении от телесных наказаний крестьян, кончивших курс народного училища, — вмешался в разговор Ромуальд Иванович, стараясь переменить его.

— Уж не ввиду ли этого вы взялись за свой счет построить школу? — шутливым тоном спросил исправник.

Дочь с радостным удивлением взглянула на отца; Ромуальд Иванович улыбнулся ей доброй улыбкой.

— Какой он у вас славный! — наклонившись к панне Ядвиге, как-то невольно прошептал доктор.

— Какой ему расчет? — спросил сдающий карты вернувшегося к винту исправника.

— Как, какой? А приговор на открытие кабаков во всех селениях волости? Вы и в самом деле думаете «даром»? А о «волке» слыхали?

— Что такое?

— О новозаявленном прииске?

— Да там нет ни крупинки золота! — вмешался в разговор кто-то из присутствующих. — Сдурел старик совсем, что ли?

— Не из таких! У него свой расчет. Там отвалы с Преображенского прииска... Вздумается «волку» и заставит владельца убрать их, а как уберешь? Хочешь — не хочешь, а давай отступного.

— Ну и ловкач! — восторгались присутствующие.

Их восторги привлекли внимание Ядвиги Ромуальдовны, и, указав врачу многозначительно глазами на играющих, она вместе с ним подошла к карточному столу.

— Это еще что! — продолжал восторгаться один из винтеров. — Вот мужиков он отделал чисто... Осталась у него от прошлого года партия маральих рогов... Справился на Урале — цена упала. Плакали, значит, денежки. Казалось бы, чего поделаешь? А он поделал! Сел на коня, да и марш из деревни в деревню... Ездит, цену назначает небывалую, задатки вперед задает... Сунулся было после него другой купец... Куда тебе! Мужики такую цену заламывают, что и не подступишься... А

«волк» тем временем в Ургу. Приезжает, да и прямо к Фомичевым... Фирма солидная... У всех на виду...

— Рогов не надо ли?

— Нет! Своих некуда девать.

— Не надо, так не надо! А вот мне чесучи у вас взять надо... Не зайдете ли завтра? Потолкуем...

Прямо от Фомичевых он пришел к китайцам. Тары да бары, а между прочим: какая цена на маральи рога?

— Нет цены...

«Волк» только ухмыляется:

— А у меня Фомичев всю партию берет. Всю... Вот жалко — мало привез... У вас нет ли? Куплю, да заодно продам.

Всполошились китайцы. Усомнились. Один является к нему с рогами. «Волк» берет, цену назначает высокую.

Наутро китайцы все к нему.

— Продай! Видно, Фомичев из Кяхты известие получил. Видно, спрос есть...

Онуфриев ломается:

— Не могу... Обещал уже Фомичеву.

— Какой тебе расчет? Мы больше дадим...

Входит Фомичев. «Волк» в другой комнате долго с ним о чем-то толкует... Китайцы ждут... волнуются...

— Завтра и покончим, — провожает Онуфриев гостя.

Заерзали китайцы. До вечера просидели... Торгуются... Копейки «волк» не сбавляет... Сошлись наконец.

— Тяжелый ты человек! — застонал китаец, отсчитывая денежки.

— Это ты после увидишь: легкий ли я или тяжелый, — язвил «волк».

Десять тысяч заработал на этом фортеле.

— Ну, а мужики?

— Обработал и их! Вернулся... Мужики к нему. «Нет, братцы, по этакой цене не могу... Пусть уж лучше задатки пропадают...»

Взмолились, конечно. Да что уж тут? Время прошло. Ему же за бесценок все и принесли...

Рассказчик кончил. Андрей Андреевич внимательно всмотрелся в присутствующих. Все были в восторге. Он перевел взгляд на панну Ядвигу, и оба, как будто сговорившись, в упор посмотрели на Ромуальда Ивановича.

— Ну, это уж чересчур! — смущенно пробормотал старик.

Мир между отцом и дочерью был восстановлен. Но, несмотря на это или, вернее, именно ввиду этого, душевное состояние панны Ядвиги было очень скверное. Размолвка с отцом имела в ее глазах одну хорошую сторону: те путы, которыми она была прикреплена к месту, ослаблялись самим отцом. Раз отец сам попрекает ее тем хлебом, которым она и без попреков давится, то во имя чего и для чего огород городить?.. Она написала

знакомым в губернский город, просила найти какой-нибудь заработок, рассчитывая постепенно передвигаться на запад, на незнакомую, но дорогую родину, где, по ее представлениям, ее ждала широкая, поглощающая всего человека деятельность... Мечтательница по натуре, Ядвига Ромуальдовна проводила целые часы в грезах о светлом и так недалеком уже будущем... Шаг за шагом следила она в воображении за своей будущей деятельностью, видела себя в кругу единомышленников за общей работой... Видела и последствия для себя этой работы.

— Вернусь опять к папе! — печально улыбнулась она.

Мысли об отце все-таки не оставляли ее. Что-то он без нее будет делать... Она совершенно не могла себе представить, как это жизнь пойдет в доме обычной колеей, хотя ее не будет здесь... Но и не представляя себе этого, она все же чувствовала, что это будет скверная жизнь, о которой, по присущему молодости эгоизму, старалась не думать. Да и все равно: думай — не думай, а само положение дел заставляет так поступить... И вдруг весь этот разгар грез, смутно как-то сливавшийся с сожалениями об ожидающем отца положении, сразу прервался самым неожиданным образом. Каждое слово, движение, улыбка, жест отца, казалось, были направлены к сглаживанию своей вины перед нею — она это чувствовала, а наряду с этим — эта постройка училища... Это уж, несомненно, не для нее делалось, да и сход по поводу открытия школы,— это она знала,— происходил за неделю до ее размолвки с отцом...

Значит, в отце не угасла «искра божья» и им руководит идея, которой он остался верен... И он понимает, что «те деньги» должны возвратиться к тому самому народу, у которого взяты.

«Какой он у вас славный!» — вспомнились ей слова Андрея Андреевича... Даже посторонний человек сумел оценить его, а она, дочь, не сумела!.. Ядвига мучилась своей несправедливостью.

«Но что же делать, господи! Отречься из-за отца от дела, в которое веришь, которому обязана служить?.. А с другой стороны — пожертвовать отцом?..»

Она оглянулась кругом, словно ища у кого-то помощи... Но кругом было пусто. Маятник стенных часов монотонно постукивал, канарейка жалобно чирикала в клетке... Посоветоваться, излить хотя бы наболевшее в душе было не перед кем. Единственный человек, с которым,— это она инстинктивно сознавала,— могла бы поговорить обо всем наболевшем, был Андрей Андреевич... Он понял бы ее, дал бы хороший совет... Какая-то близость установилась между ними с первого дня знакомства... И что собственно ей в нем нравится — она и сама не могла бы указать... Все... Искренняя улыбка и медвежеватость движений... Она устыдилась этого перечисления внешних черт. И сердечная отзывчивость на все хорошее... А все-таки... Когда отношения дойдут до того желательного момента, что можно будет с ним советоваться, как с братом? А пока?.. Поговорить откровенно

с отцом? Уехать с его согласия?.. Поймет же он ее!.. Но, при мысли об этом, ей представлялся отец, она видела глубокую скорбь на его лице, предчувствовала просьбу повременить немного: он уже стар, долго ее не задержит... Она знала манеры отца драпироваться в тогу старости, когда это ему было нужно, но знала вместе с тем, что в данный момент, произнося эти слова, он сам искренно верит в них, что придает его словам особенный, пронизывающий душу тон, которому она обыкновенно не в состоянии противостоять...

Вскоре получилось и письмо из губернского города. Знакомые предлагали ей приехать, обещая найти уроки. Положение дел от этого не менялось. Вопрос об отце попрежнему оставался неразрешенным.

«Так я и пропаду здесь и не сделаю решительного шага!» — с отчаянием думала панна Ядвига.

В более выгодном положении находился Андрей Андреевич. Его загнало в далекое сибирское захолустье строго определенное и, как ему казалось, строго обдуманное дело. На месте что ни час обнаруживалось, что деятельность далеко не оправдывала так долго лелеянного идеала, напротив того, на каждом шагу противоречила ему. Он еще не разобрался в образовавшейся путанице продолжал попрежнему вскрывать трупы, вести «входящие» и «исходящие» книги, строчить бумаги, свидетельствовать приговоренных к телесным наказаниям, но вместе с тем смутно сознавал, что все это долго протянуться не может.

Вскоре после описанного нами вечера у Немоевских было получено на имя Астраханцева два официальных пакета. В одном из них губернское управление требовало разъяснений по поводу систематического освобождения от телесных наказаний ссыльно-поселенцев, приговоренных к ним местным исправником; в другом тюремный инспектор любопытствовал узнать, какие временные антисанитарные условия местной тюрьмы вызвали такой значительный контингент больничных порций.

В первый момент по прочтении этих бумаг Андрей Андреевич как-то инстинктивно потянулся к перу. Резкий ответ так и просился на бумагу. Доктору ясно представилось, что пора кончать со службой, отвлекающей его от того, что он считал своей прямой обязанностью.

«А разве оберегать людей от позорного наказания не моя прямая обязанность?» — остановил он самого себя.

Он прошелся по комнате.

«Что же это я хочу делать? Отступиться от начатого дела? Из-за чего же? Из-за одного того, что получил обидную для себя бумажонку?.. Что же переменилось со вчерашнего дня?.. Исправник и смотритель показали когти... Неужели же из-за этого одного бросить на произвол судьбы всех этих униженных и обиженных!.. Хорошо исполнение тех восторженных обетов, какие мы давали друг другу, прощаясь с alma mater».

Ему вспомнилась последняя студенческая вечеринка, лица товарищей... одни стремились на службу в земство, других манила к себе наука, несколько человек вступило на совершенно другой путь, горсть сибиряков потянулась на родину... Все те дело делают, а он? С первых же шагов раскис, распустил нюни... Прошло всего два-три месяца, а он уже подумал о дезертирстве...

«Нет! Не отступлю!»

Он оживился.

«Сегодня же заеду в больницу и в тюрьму и все осмотрю!..»

Он взял первую бумагу и, внимательно прочитав ее еще раз, обмакнул перо и дельно, деятельно изложил, почему как врач он не мог допустить исполнения телесного наказания над обоими приговоренными. На вторую бумагу он ответил еще более обстоятельно: привел в своем ответе цены на продукты первой необходимости, сопоставил с теми «кормовыми деньгами», какие отпускаются на каждого арестанта, и указал на то, что люди, содержащиеся в течение целых месяцев впроголодь, не могут в конце концов не изнуряться и не нуждаться в больничной порции.

Он вздохнул с облегчением. Чуть-чуть не наглупил.

На следующий день Андрей Андреевич опять поехал в тюрьму. С первых же шагов он заметил, что в остроге происходит что-то необыкновенное. В тюрьме было тихо и мрачно; все камеры были на замке; по коридорам взад и вперед сновали надзиратели; в канцелярии восседало все местное начальство.

— Что случилось? — обратился он с вопросом к фельдшеру.

— В одной из камер загорелось... Подозревают арестантов и заперли их в камерах, хотя смотритель и знает, что печка никуда не годна и что арестанты тут ни при чем. А войдите хоть в одну из камер...

Андрей Андреевич на минуту задумался.

— Да, как доктор я в праве это сделать!

— Слыхали, что эти канальи наделали? — подошел к нему смотритель.

— Разве установлен факт, что это они?

— С ними установишь факт! Выпороть бы всех поголовно!..

— Не за то ли, что ремонтные деньги не употреблены на ремонт? — не выдержал Астраханцев.

— А на что же? — холодно перебил его смотритель. — Камеры выбелены...

— А печи?

Ответа не последовало.

— Зайдемте в камеры,— предложил Астраханцев.

Надзиратель, по приказанию смотрителя, открыл одну из камер. Вонь и духота в ней превосходили всякое представление.

— Это безобразие! — с негодованием воскликнул врач. — Запихать двадцать человек в камеру для десяти да тут же поставить парашу... Просто, чорт знает что такое.

— Это в наказание... По приказанию господина председателя тюремного комитета.

— А он здесь?..

— Да! В канцелярии.

Астраханцев прямо направился туда.

— Как хотите, Леонид Федорович, — обратился он к исправнику, — но и как врач, и как директор тюремного комитета я не могу допустить такого безобразия.

Исправник весь побагровел.

— Виновны ли арестанты — это кто его ведает, а пока что, по вашему распоряжению, они поставлены в самые невозможные условия.

Исправник молчал, надменно глядя на молокососа, осмеливающегося ему перечить. Смотритель улыбался иронически.

— Если вы не отмените этого распоряжения, я буду вынужден поставить дело на официальную почву и составить протокол.

— По поводу чего?

— Люди заперты, как сельди в бочке, в смрадной и душной камере... Вонючая параша и днем и ночью портит и без того испорченный воздух, а вы спрашиваете: «по поводу чего»?

— Да вы что, господин доктор, арестантов вздумали бунтовать, восстанавливать их против начальства! — властным, начальническим голосом накинулся исправник на врача.

Но на Астраханцева этот прием не подействовал. Он присел к столу и тут же написал исправнику как председателю тюремного комитета официальное заявление по поводу беззаконного притеснения арестантов.

Исправник опешил.

— Господин смотритель! Потрудитесь согласно закону... Заподозренных в карцер, остальных разместить попрежнему по камерам.

— Слушаю-с.

Все отправились в камеры.

— Самойлова, Непомнящего, Мамонтова, — выбирал жертвы исправник.

— Самойлов болен, — вмешался Астраханцев. — Карцер может вредно отозваться на его здоровьи.

— Ну уж это оставьте... Выйдет из карцера, тогда и лечите... Так и его превосходительство смотрит на дело.

Астраханцев вышел в коридор: он знал, что это так.

— Ваше высокоблагородие! — взмолились арестанты.

— Я что ж? — перебил их исправник. — Я хотел устроить все шито-крыто... Посидели, мол, сутки на карцерном положении — и дело с концом. Да вот доктор мутит... Не могу, братцы.

— Да мы-то чем виноваты?

— Доктора спросите! Я и сам знаю, что ничем.

Жертвы были отправлены в карцер, остальные же арестан-

ты, когда начальство удалилось, рассыпались по коридору. Тут-то наткнулся на них Астраханцев. Он был доволен собою: что-нибудь да удалось сделать.

Правда, арестанты как-то угрюмо посматривали на него, но в данный момент Андрей Андреевич не обратил на это внимания, а несколько дней спустя, заметив, что в его отношениях к арестантам что-то испортилось, он уже не был в состоянии выяснить причины этого.

Возвращаясь из тюрьмы, Астраханцев после душной, затхлой, специфически тюремной атмосферы с удовольствием вдыхал свежесть морозного светлого дня. По дороге он обгонял группы крестьян, пешком и на розвальнях направлявшихся к городу. Попадались и пьяные... «Растреклятая машина, мого друга утащила»...— визжал какой-то женский голос... Врач оглянулся и узнал одну из тех, с которыми ему «по обязанностям службы» постоянно приходилось иметь дело. Еще секунда, и сани с поющей остались позади. Доктор поровнялся с новой группой пешеходов. Женщина с грудным ребенком на руках рукавом однорядки утирала катившиеся по лицу слезы; шагавший рядом с ней молодой белобрысый мужик угрюмо молчал.

Только теперь Астраханцев понял, что значит этот шумный разгул и бок о бок с ним это молчаливое горе. Предстоял набор. За треволнениями последних дней это совершенно вылетело у него из головы. В наборе ему предстояла главная, чуть ли не решающая роль. Но это его нисколько не смущало. «Всякий должен служить обществу, как и чем может; войско необходимо для защиты отечества, нечего, значит, и сентиментальничать...»

Сидя в кошевке и глядя на мелькавшие мимо него сцены, врач оставался спокоен, хотя ему сделалось немного не по себе.

«Инструкции просмотреть надо...» — вспомнил он, подъезжая к своей квартире.

— Вас дожидаются, — встретила его в передней хозяйка.

Он прошел в кабинет.

Развалившись развязно в кресле, здесь дожидался его немолодой уже человек, по виду купец, одетый в черненную барнаульскую шубу и подпоясанный зеленым поясом с бахромой.

Увидев вошедшего врача, посетитель, не вставая, кивнул ему головой.

— Вы больны? — спросил Астраханцев.

— Нет! Дело есть... Вы меня не знаете?

Доктор с любопытством посмотрел на него.

— Я — Хфунтиков, — добавил посетитель таким тоном, как будто этим все сказано. — Небось, слыхали про Хфунтикова?..

— Нет, не слыхал.

— Не слыхали? — с недоумением переспросил Фунтиков. — Меня, любезнейший, тут все знают... Исправник, помощник, заседатель, потому как мы со всяким умеем обхождение иметь...

— Да вам что собственно угодно? — нетерпеливо перебил его врач.

— А ты не торопись!.. Поспешишь—людей насмешишь... Наша речь еще впереди.

— Да позвольте, господин Фунтиков, мне некогда с вами разговоры разговаривать! Дело есть, так и говорите о деле.

Фунтиков встал. Хитрые маленькие глазки на секунду как будто потускнели, но миг спустя они уже весело уставились на врача.

— Вот это по-нашенски, по-американски-с! Люблю, — добавил он, похлопав врача по плечу. — Да! Дело есть... а между образованными людьми — два слова и делу конец... Так вот...— он засунул руку в боковой карман и, вынув оттуда новенький сторублевый билет, положил его на стол. — Чтобы, значит, парня моего ослобонили, — пояснил он врачу.

Астраханцев остолбенел.

— Ну и лафа вашему брату...—развязно продолжал Фунтиков. — Одно слово: «негоден» — и сто рублев в кармане...

— Убирайтесь вон! — вырвалось наконец из груди доктора. — Вон, вон! — он все больше и больше свирепел. — Вон!

На крики вбежала хозяйка. Растерявшийся Фунтиков в свою очередь остолбенел.

— Уведите этого негодяя! — крикнул Астраханцев хозяйке, швырнув Фунтикову положенные им на стол деньги.

Тот бледный, как мел, поднял билет и, молча поклонившись врачу, вышел.

— Негодяй! — шагая по комнате, громко произнес Андрей Андреевич.

Он долго не мог успокоиться. «Придет такая гадина и весь день тебе испортит... Надо все-таки и за работу приниматься».

Он подошел к полке с книгами, взял медицинский устав и начал просматривать инструкции.

Минуту спустя в передней послышался стук двери и чей-то сдавленный шопот.

— Лучше позже... Сейчас сердит... — конфиденциально сообщила кому-то хозяйка.

— Кто там? — громко спросил врач.

В ответ послышались шаги, и секунду спустя в кабинет вошла уже немолодая женщина в неуклюжих броднях, в поношенной коричневой «однорядке» поверх простого коротенького полушубка.

— Что вам угодно?

Баба бухнулась в ноги. Из сдавленного горла прорывались рыдания.

— Ваше благородие, ваше благородие!

— Что вы, что вы. Встаньте! Успокойтесь!

Баба, всхлипывая, встала.

— В чем дело?

— Парня на призыв, ваше благородие! Лонись старшего парня ослобонили... Пьяница такой, что не приведи бог. Что заработает, то и пропьет... Нет, чтобы взять... Ослобонили... А теперича кормильца моего берут...

Баба вновь всхлипнула, утирая слезы синим от холода кулаком.

— Две девочки, акромя меня, а жить нечем...

— Ничего я, матушка, не могу сделать.

— Ослобоните парня! — вновь повалилась в ноги старуха.

На пороге, концом передника утирая навернувшиеся слезы, остановилась хозяйка.

Астраханцев нервно теребил волосы.

— В чем-нибудь другом готов помочь, но не в этом, не могу.... закон...

Старуха встала.

— Закон,— говоришь? Закон, чтобы кормильца от семьи брать, а пьяницу оставлять дома... Нет, не закон это.

— Да старший, видно, болен, негоден...

— А пить годен? Будешь болен, коли винища столько в себя вольешь...

— Иди, Андреевна, успокойся!— уводя старуху, урезонивала ее хозяйка.

Доктор молча проводил их взглядом. Он переживал то же, что ему уже раз приходилось переживать, когда от его «заключения» зависела участь того парня, которого упрятали в тюрьму. Закон ясный, точный, непреложный и нелицеприятный гласил одно, а живая действительность в лице старухи, теряющей единственного кормильца семьи, говорила нечто прямо противоположное.

«Какое мне наконец дело до всего этого? — старался он уклониться от решения мучившего его вопроса. — Моя роль вполне определенна: физически годен или негоден — вот единственное, что я должен определить, что от меня требуется... А все эти осложняющие дело вопросы не имеют ко мне никакого отношения...»

Но сдавленный, с прерывающимися в нем рыданиями голос сидевшей на кухне старухи, который он все время жадно ловил, не давал ему покоя и доказывал, что вопрос, обсуждаемый на кухне, имеет к нему отношение и раздвигает те мертвые рамки, в которые он в данном случае желал вставить свою живую личность.

Старуха, повидимому, собиралась уходить. Астраханцев улавливал малейшее движение на кухне.

«Может быть, он действительно не годен!» — ухватился он за испробованное средство самоуспокоения русских людей.

Дверь скрипнула. Он выбежал в переднюю.

— Успокойтесь! Может быть, он действительно негоден... Что он у вас, в детстве болел?

— Как не болел, барин. Возможно ли, чтобы ребенок не болел?

Андрей Андреевич как будто обрадовался, что это невозможно, и, словно этим решался вопрос, довольный, воскликнул:

— Ну вот видите!

Старуха, правда, ничего не видела, но тон Астраханцева ее успокоил.

Хозяйка с жестом укора, заменяющим слова: «говорила я тебе», повернулась к старухе. Та истово перекрестилась.

— Слава тебе, господи! Подай тебе Христос и царица небесная!.. — благодарила она врача.

— Что могу, то сделаю... — смущенно пробормотал Астраханцев и вернулся к себе.

Его положение было не из приятных. По лицам обеих женщин он видел, что обе считают вопрос решенным, уверены, что парню более не угрожает опасность быть забритым, а между тем... Он чувствовал себя хуже прежнего.

С улицы доносилось пение пьяных, режущий уши скрип гармоники, завывание спущенных с цепей собак. Доктор все продолжал сидеть, задумчивый, угрюмый, молчаливый. Раза два в комнату заходила хозяйка, прибирала, вносила что-то и уносила, но ему неприятно было заговорить с ней.

— Леонтьева, чай, теперь рада, — не вытерпела она.

— Какая Леонтьева?

— Баба та, что давеча за парня просила.

— Леонтьева...—повторил про себя Астраханцев. Он только теперь сообразил, что до этого он не знал фамилии того, кого «должен был» освободить. Услужливая хозяйка устранила и это препятствие.

За ночь Астраханцев совершенно успокоился. Ему было неприятно то, что Леонтьева его превратно поняла, но он решил ни на иоту не отступать от закона.

«Не мое дело! Да и мало ли таких Леонтьевых среди матерей новобранцев!..»

Прошел еще день, и Астраханцев отправился в присутствие свидетельствовать рекрутов. Минута была торжественная. Исправник и воинский начальник были во всех регалиях, врач явился в черной паре.

— Вы не в мундире? — встретил его с ядовитой улыбкой исправник.

Он не ответил.

У порога и в передней толпились новобранцы. На площади перед полицейским управлением ожидали их матери, жены, дети...

Началось присутствие. Секретарь выкрикивал фамилии; новобранцы, робкие, смущенные, протискивались из прихожей в зал. Собравшееся начальство от времени до времени подбадривало их добродушными шутками.

Дошла очередь и до Фунтикова. К мерке подошел здоровенный детина, высокий, широкогрудый. О «негодности» не могло быть и речи.

— Глазами вот уже третий год маюсь, ваше высокоблагородие,— обратился Фунтиков к исправнику.

— Надо бы исследовать! — ни к кому в частности не обращаясь, обронил исправник.

— Грамотен? — спросил врач.

— Да.

— Читайте! — он указал на висевшие на стене таблицы.

Фунтиков сощурил глаза и с трудом прочитал первую строчку.

— Близорук! — вновь проронил исправник.

Врач порылся в ящике со стеклами, вставил два из них в оправу и вновь предложил читать. Фунтиков попрежнему запинался. Переменив стекла еще несколько раз, вставляя то выпуклые, то вогнутые, врач убедился в том, что Фунтиков притворяется.

— Годен! — так же, как и исправник, ни к кому не обращаясь, произнес он вслух.

— Годен?!— с явной иронией в голосе выразил изумление исправник. Он остался при особом мнении, к которому присоединился и воинский начальник.

Обе стороны находились в том состоянии, когда малейший повод вызывает взрыв. Этим поводом оказался Леонтьев.

Откуда стало известно о посещении врача Леонтьевой и о мнимом обещании освободить ее сына — одному богу известно. Может быть, сама Леонтьева в упоении радостью рассказала о случившемся досужей соседке, быть может также и то, что хозяйка расхвалила квартиранта. Как бы там ни было, но по тому, как исправник и воинский начальник повернули головы к мерке, по той живости, с какой исправник не подошел, а подбежал к измеряемому с тем, чтобы следить за процессом измерения, Астраханцев убедился, что нет тайны в маленьких городишках.

Он был спокоен.

Рост Леонтьева оказался подходящим. Врач приступил к измерению груди.

Наложив ленту, он тщательно расправил ее и натянул.

— Лента лопнет, — ядовито заметил исправник.

— Есть запасная,— спокойно парировал удар Астраханцев.

Объем груди оказался на несколько миллиметров менее полуроста.

— Смею обратить ваше внимание на то, что по закону так нельзя натягивать ленты! — цедя слово за словом и саркастически глядя на доктора, вновь сделал замечание исправник.

— Не согласитесь ли, господин исправник, не тратить по-

напрасну слов и, буде замечаете беззаконие, составить протокол и донести куда следует.

— Спасибо за указание! Так и сделаем.

Астраханцев долго в эту ночь не мог уснуть. Вид и запах сотни человеческих тел, над которыми ему приходилось в течение дня нагибаться; лица, то радостные, то пораженные горем, освобожденных и забритых; надменная, ядовитая улыбка исправника и сочувственно-почтительное хихиканье секретаря носились перед его глазами, отгоняя сон от усталых век. Он зажег свечку, скрутил и закурил папироску. Всем своим существом Андрей Андреевич чувствовал органическую потребность излить душу если не перед другом, то хоть перед человеком, который был бы в состоянии понять, что творилось в ней... Но такого человека не было. Кругом царила мертвая тишина, нарушаемая только храпом хозяйки да откуда-то издали доносившимся лаем собак, вторящих трещотке ночного сторожа. Астраханцев открыл книгу, но чтение не давалось ему. Глядя в книгу, он продолжал копаться в душе и от невеселого настоящего невольно перешел к недавнему прошлому. Перед его глазами промелькнула покинутая в далекой России старушка-мать, ее лицо в момент прощания... Ни слез, ни вздохов, но такое немое отчаяние, такой живой укор в глазах, что вовек его не забудешь. Он рассчитывал через год привезти ее сюда. Через год. Шутка ли? При таких отношениях кто поручится, что он продержится здесь год. Да и стоит ли держаться. Что ему удалось сделать для осуществления своей мечты о культурной работе?.. Займешься тут... С кем? Одна Немоевская, да и обчелся! Да еще отец ее... Вот сумел же старик сохраниться... Подговорить его разве открыть маленькую лечебницу... Не поскупится ведь! Открыл же он школу на свои средства. Ядзя бы лекарства готовила, заменяла бы фельдшерицу... Он ясно представил ее в этой новой роли его помощницы, с полуслова понимающей все, что требуется... Это бы и ее жизнь наполнило,— продолжал он развивать свою идею. Вообще было бы время да охота, а работы тут непочатый угол!

Астраханцев незаметно для самого себя впал в свойственное ему оптимистическое настроение. Нервы мало-по-малу отдохнули, он закрыл книгу, потушил свечку и, успокоившись, вскоре уснул.

Прошел еще месяц, однообразный, длинный. Ни жизни, ни впечатлений — обычное прозябание маленького городка. Астраханцев напрягал усилия в борьбе с заедающей его малогородской тиной, но безрезультатно. Все кругом дремало. Заговаривал он о лечебнице, о воскресных чтениях... Его слушали, не возражали, но и не откликались; слушали, как слушаешь поневоле жужжание комара, рев коровы.

«Это оттого, что я живу изолированной жизнью, вдали от местного общества, чуждый его интересам».

Инстинкт отталкивал его от того, что он называл «обществом», какой-то тайный голос говорил ему, что не быть чуждым интересам этого общества — нельзя, но он поборол в себе это чувство и решил познакомиться хоть с некоторыми его членами.

Первый его визит был к батюшке. Старик священник принял его любезно и радушно, но разговор не клеился. Астраханцев заговорил о школах, готовился сразиться в защиту министерских против церковно-приходских, но оказался в положении человека, сильно размахнувшегося и ударившего... в пустое пространство. Сопротивления не было; напротив, батюшка поддерживал его.

— Это вы верно, Андрей Андреевич! Какие мы учителя! Приходы громадные... Дай бог и помимо школы со своей работой управиться, а тут на!.. Хорошо еще, если диакон может заняться школой, а то ведь на псаломщике вся школа и держится... А тут уж какое ученье.

— А есть у вас воскресные чтения для взрослых?

Старик только рукой махнул:

— Пробовали, батенька, да то исправник впутается, то кабатчики гвалт подымут: кабаки, мол, пустуют... Так и бросили...

— Ну, здесь нельзя, в деревне устроили бы, у Немоевских, что ли...

— Поживете, доктор, не то скажете. А, по-моему, так уж лучше простой кабатчик без претензий, чем такой Немоевский...

— Что вы, батюшка, Ромуальд Иванович даже школу на свой счет строит!..

— Строит-то он строит,—загадочно повторил священник,— да лучше бы уж не строил...

— Как так?

— Поживете — увидите, — вновь повторил батюшка. — Знаем мы эти школы на свой счет... Согласие на открытие кабаков во всей области он получил, и кабаки будут, ну а насчет школы как бы еще худо не вышло... Народ не зря волнуется: обещал здание как следует, а купил на снос такой дом, что только тараканов в нем морозить... Надеется на водку... Она, матушка, все сдобрит... Как бы не просчитался...

Астраханцев ушам своим не верил и с изумлением глядел на батюшку, но этот не унимался.

— Что вы, батенька, так удивлены?.. Это уж не впервые... Бывали уже с Немоевским такие случаи, да все сухой из воды выходил. Его хлеб-соль не пропадает даром.

— Да неужели это правда, батюшка?

— Молоды вы, доктор, простите за откровенность. Вот так-то он и дочку свою умасливает... Только покойная жена его, царствие ей небесное, поняла в чем дело... Да и немудрено. По-

слушаешь его — красно поет, а пораскусишь — не приведи господь.

Старик умолк, безнадежно махнув рукой, а Астраханцев все продолжал сидеть, вперив в него взор.

Священник и не подозревал, что творится в душе доктора, а творилось в ней что-то совсем скверное. Андрей Андреевич мало знал Немоевского, но, несмотря на это, верил в него свято и за короткое время пребывания в N-ске с этой верой успел сжиться.

Во все трудные минуты жизни все надежды, все упования возлагались им на семью Немоевских... и вдруг... Завеса сдернута... Астраханцев многое отдал бы за то, чтобы быть в состоянии не верить священнику... Но не верить было нельзя. Есть моменты, когда чувствуешь, где правда. Это был именно такой момент, и Астраханцеву нельзя было не верить.

— Отец, а отец! — прервал его раздумье голос попадьи из другой комнаты.— Выглянь в окно.

Священник подошел к окну, за ним потянулся и доктор.

Перед окнами на противоположном углу, возле кабака, бушевала толпа пьяных. Среди них суетился средних лет человек в высоких сапогах, в синей чуйке.

— Иди же, ирод! — упрашивал он одного из пьяных. — Выпил и будет.

— А ежели, Иваныч, я теперича еще хочу! — задорно возражал пьяный.

Иваныч так же безуспешно обращался к другим и, выведенный из терпенья, плюнул. Астраханцев в особенности заинтересовался, увидев протискивавшегося через толпу Онуфриева. Тот подошел к Иванычу и сказал ему что-то. Иваныч вбежал в кабак, а минуту спустя выбежал оттуда с четвертной флягой.

— Айда, ребята! — потряхивая над головой бутылью, прокричал он пьяным. — За мной! На всю дорогу хватит!

Толпа с гиком бросилась за ним. Иваныч, высоко держа бутыль, направился к тут же стоящим телегам.

— Рассаживайся, ребята! Живо!

Все сели. Ямщик хлеснул по лошадям. Онуфриев, стоя в стороне, улыбался.

— Это что же такое? — недоумевая, спросил Астраханцев.

— Набор на прииски... Задатки пропиты... Надо доставить на место... И доставят! За водкой потянутся.

«Вот она, «организационная роль капитала»,— вспомнилась Астраханцеву недавно прочитанная в одном из толстых журналов фраза.

— Так у нас из года в год ведется, — продолжал священник, подходя с Астраханцевым к столу, на котором заботливая попадья уже успела приготовить чай со всевозможными закусками.

Доктор, поздоровавшись с хозяйкой, подсел к столу, но чаепитие было неожиданно прервано.

Дверь отворилась, и в нее с большим трудом протискивался, не выпуская из подмышки огромной связки заостренных щепок, человек необыкновенно странный.

Круглое без всякой растительности лицо, большие с выражением изумления глаза, толстый нос над оттопыренными губами, поразительно малый лоб вполне гармонировали с растрепанными волосами на голове, с расхлеснутым на груди полушубком, с неуклюжими броднями на ногах и с обмотанной вокруг шеи коноплей вместо шарфа.

— Ванюша чай хочет! — сиплым голосом произнес вошедший и, сбросив связку щепок на пол, подошел к столу, взял в руки первый попавшийся стакан и, расплескивая по скатерти, вылил чай на блюдце.

— Садись, садись, Ванюша!— суетливо начали приглашать хозяева, придвигая поближе к нему печенье, сахар, сливки.

Ванюша грязными сине-красными, потрескавшимися от мороза руками брал всевозможные печенья и пожирал их с жадностью зверя, набухшими от мороза пальцами приводил в порядок нос и вытирал стекавший по подбородку чай.

Астраханцев был поражен и удивленно переводил глаза с гостя на хозяев, повидимому считавших все это в порядке вещей.

Гость отпил чай, высыпал в карманы весь сахар из сахарницы, поднял связку прутьев и, ни с кем не прощаясь, ушел.

— Блаженненький! — когда затворилась дверь за Ванюше, пояснил батюшка.

— Это к добру, поп! — заметила хозяйка. Давненько-таки он у нас уж не был.

Астраханцев откланялся. Этот Ванюша казался ему олицетворением N-ской жизни со всей ее животной безыдейностью.

Визит к священнику оставил глубокий след на Астраханцеве и отбил у него охоту знакомиться с другими: только еще больше разочаруешься.

До этого визита он все мечты о культурной работе связывал с Немоевскими; с этих пор, выяснив окончательно для себя из расспросов приходивших к нему пациентов нравственный облик Ромуальда Ивановича, врач на время как бы потерял почву под ногами.

В городе была еще группа лиц, с которыми он мог бы сблизиться,— группа, в которой, как ему было известно, вращалась и Немоевская, но знакомства с ней он избегал. Определенной цели для сближения с этими людьми у него не было, а это сближение могло послужить для исправника и смотрителя прекрасно действующим средством против него. Чем более врач разочаровывался в возможности воздействовать на окружающую среду, тем более его тянуло к этой горсти невольных обитателей Сибири. Но он крепился и оставался в стороне от них.

Случай совершенно неожиданно вызвал сближение.

В городе появился тиф: сначала в тюремной больнице среди недавно пришедшей партии арестантов, а затем уже зараза распространилась по городу и по окрестным селениям. Астраханцев выбивался из сил. Отсутствие правильного ухода, недостаток опытных сиделок парализовали борьбу. Он написал во врачебную управу, прося на время прислать ему на помощь несколько человек фельдшеров, но дни проходили за днями, а фельдшера не являлись.

В это время Ядвига Немоевская, исправлявшая обязанности сиделки в деревушке, в которой жила, вызвала его к себе запиской. Ему это было неприятно: он представлял себе встречу с Ромуальдом Ивановичем, обдумывал малейшие детали этой встречи и ясно сознавал, что она будет крайне неприятна для обеих сторон. Был момент, когда он решил отговориться недосугом, но... его могли вызывать и как врача... При таких условиях не ехать было немыслимо.

Знакомая дорога к Немоевским казалась ему необыкновенно длинной.

В передней встретила его панна Ядвига.

— Здравствуйте, здравствуйте! — с радостью в голосе поздоровалась она с ним.

Он был смущен, но она этого не замечала.

— Мы уже давно дожидаемся вас... Тут два студента и одна фельдшерица... Они хотят вам предложить свои услуги.

— Вот это дело.

Войдя в зал, Астраханцев увидел двух юношей и девушку, которых не раз встречал на улице.

— Стогов, Гурьев, Черкалова, — отрекомендовала Ядвига сидевших.

Они сразу заговорили о деле. Все трое от жалованья отказывались и выражали готовность немедленно отправиться куда только потребуется.

— Весь вопрос в том, даст ли исправник разрешение на отлучку и не навлечет ли это на вас неприятностей, — закончил один из них.

— Неприятностей не предполагаю, — возразил Астраханцев, — тем более, что я немедленно это оформлю и сообщу в управу, но относительно разрешения исправника... сомневаюсь. Он тут воспользуется случаем, чтобы показать свою власть. А впрочем, — добавил он, — я завтра же съезжу к нему, объясню в чем дело и попрошу разрешения... а если откажет, поработайте, господа, до получения разрешения от губернатора.

— А, доктор! — в комнату вошел Ромуальд Иванович. — Давненько вас что-то не видать было... Теперь уж не скоро выпустим!

Астраханцев сухо ответил на приветствие.

— Благодарю вас... Некогда.

— Ну уж и некогда... Не выпустим — вот и все!

— Извините, не могу, — так же сухо ответил Астраханцев.

Ядвига Ромуальдовна с удивлением взглянула на него, ее отец был слегка смущен. Молодежь начала собираться домой.

— Погодите минуточку! Я вас подвезу, господа! А завтра заеду к вам с ответом исправника.

— В одном экипаже все не поместитесь! — вмешалась в разговор Ядвига. — Я велю запрячь и провожу вас.

Она направилась к двери, но отец остановил ее.

— Я сам распоряжусь, Ядзя, а ты оставайся с гостями!

Он чувствовал себя неловко и воспользовался подвернувшимся предлогом, чтобы уйти из комнаты.

— Вы поедете в тарантасе доктора, — обратилась Немоевская к гостям, а вы, Андрей Андреевич, поедете со мной. Мне нужно поговорить с вами.

Он догадывался, о чем предстоит разговор, но уклониться было нельзя.

Несколько минут спустя подали лошадей. На дворе стемнело. Пан Немоевский провожал гостей и бережно укутывал дочь медвежьим одеялом.

— Почему вы сегодня *такой*? — обратилась Ядвига к Астраханцеву, как только сани тронулись с места.

— Тяжело мне говорить с вами об этом.

— О папе узнали что-нибудь? — спросила она в упор.

— Да.

На несколько секунд воцарилось гробовое молчание.

— Что? — дрогнувшим голосом спросила наконец Ядвига.

— Тяжело мне с вами говорить об этом, — повторил он, — да и бесцельно. Вы все равно тут ничем не можете помочь.

— Поймите же, Андрей Андреевич, что мне необходимо это знать.

— Не настаивайте! — возразил он мягко, беря ее за руку. — Вы ведь знаете, что мне тяжело вам сделать больно... Мне бы так хотелось оградить, защитить вас от всего этого, увезти вас далеко... далеко от всей этой пошлости и грязи.

Она не отнимала руки. На нее действовала искренность его тона, притом она чувствовала, что в этот момент обретает друга, на которого в трудные минуты жизни может положиться.

Он, как бы угадывая ее чувства, продолжал:

— Я знаю, голубушка, что вам тяжело, но, поймите же, что вы тут ни при чем! В вас никто не бросит камнем!

Она молча пожала его руку и более не расспрашивала. Он не выпускал ее руки, чувствовал дрожание ее.

— А если вам понадобится помощь друга, вспомните обо мне.

Ядвига молча вновь повторила рукопожатие.

Сани остановились перед квартирой врача.

— Заезжайте почаще!— попрощалась Ядвига Ромуальдовна с доктором.

— Заеду, заеду!

На обратном пути Ядвига то терялась в догадках, что мог Астраханцев узнать об отце, то повторяла в мыслях весь разговор с доктором и чувствовала, что она наконец не одинока.

Отец встретил ее вопросом:

— Что это с доктором, Ядзя? — Его не менее дочери беспокоило, что он ей расскажет.

— Не знаю... Отказался от ответа.

— Так, может быть?—еще раз прозондировал почву старик.

Дочь не ответила.

Исправник не дал просимого разрешения. Астраханцев написал во врачебную управу и просил ходатайствовать перед губернатором. В результате он не сомневался. И студенты, и фельдшерица сделались для него незаменимыми помощниками. В городе Астраханцев бывал изредка, все его время поглощали разъезды по деревням, где болезнь развивалась со страшной силой.

Прошло две недели. Врачебная управа командировала двух фельдшеров.

Отправив их в деревни, доктор попрежнему напрягал все силы в борьбе со страшной болезнью.

Но наличных сил было недостаточно, а ответа от губернатора все не было и не было. Он посылал в управу бумагу за бумагой, но это не помогало.

Усталый, изнервничавшийся, он приехал в N-ск, где, по извещению студентов, зараза начала стихать. На столе в своем кабинете он нашел несколько пакетов. Один из них был от врачебной управы.

— Наконец-то.

Он вскрыл пакет. Врачебная управа уведомляла его, что он «для пользы службы» переводится в другое место.

Астраханцев в первый момент был огорошен. Только несколько минут спустя он понял, откуда этот удар из-за угла.

— Кончено!

О том, чтобы ехать в другое место, он и не думал. Где гарантия, что там не повторится то же самое? Он решил выйти в отставку. А дальше что? Культурная работа... Как? С кем?..

Идиотски бессмысленная физиономия Ванюши, «волк», Фунтиков, Немоевский, безнадежное выражение лица батюшки, жесткое властное лицо исправника промелькнули перед его глазами.

Он провел рукой по лбу.

«Ядзя, одна Ядзя да еще...» — грач глубоко задумался.

Из этого раздумья вывел его громкий удар в колокол. Астраханцев по привычке вынул из кармана часы, чтобы сверить с городскими, но удары на каланче повторялись. Он подошел к окну. Густая толпа народа суетилась и галдела, устремив

глаза в одну сторону, за реку, где виднелись густые клубы дыма. Испуганная хозяйка с криком «пожар!» вбежала в его комнату.

— Где? — заволновался доктор и, накинув пальто, бросился на улицу.

— Однако, у Немоевских, — соображали толпившиеся перед домом.

— Отвезешь к Немоевским? — остановив проезжающего в кошевке крестьянина, с волнением в голосе спросил Астраханцев.

— Трешницу, барин, дашь?

— Дам, дам!

Он вбежал к себе, оделся потеплее и пять минут спустя уже мчался к Немоевским.

— Погоняй, погоняй, ради бога! — торопил он ямщика.

Лошади неслись во весь мах, обгоняя ехавших и бежавших по направлению к Немоевским.

— Однако, хлеб горит, — высказал соображение ямщик.

— Почему ты так думаешь?

— Искр много, да и огонь как быдто на задах.

— Гони, гони, ради бога!

Соображение ямщика оказалось верным: у Немоевских действительно горел хлеб.

Когда они подъехали, пожар уже близился к концу. Соседние амбары и заборы были разобраны; кладь со всех сторон была окружена крестьянами, выхватывавшими горевшие снопы вилами и заливавшими их. На пожарище суетился Немоевский, вышедший из себя и сыпавший направо и налево отборную ругань. Увидев доктора, он подошел к нему.

— Хороши ваши мужички?

— А что?

— Да подожгли, бестии, и в первый момент ни одного каналью нельзя было заставить тушить.

Доктор промолчал.

— Идите в комнату, доктор! Мороз к ночи крепнет... Насилу-насилу я Ядзю уговорил уйти... Идите к ней, Андрей Андреевич, успокойте ее.

Доктор так и сделал.

В комнатах было уже совсем темно. Красный отблеск пожарища ярко окрашивал все находившееся в них. Долетавший с улицы шум заглушил звук шагов доктора. Он переходил из комнаты в комнату, ища Ядвигу. Она, бледная, взволнованная, как будто бессмысленно глядя на кровавое зарево, сидела в своей комнате. Астраханцев подошел к ней вплотную. Только тогда она очнулась.

— Слава богу, слава богу, что вы приехали. Я вас так ждала... Что тут только было! — пожаловалась она. — Теперь я

уже знаю, что вы от меня скрывали... А вот и расплата! — указала она на пожарище.

В ее глазах показались слезы.

— Успокойтесь, Ядзя, и... простите ему... Он уже стар и на многое смотрит не так, как мы... А сегодняшний случай и для него не пройдет бесследно.

— Все это так, но мне что же дальше делать, Андрей Андреевич! — с рыданием в голосе перебила его Ядвига.

— Вам что делать?! Да разве найдется хоть один человек, который бы вас обвинял заодно с ним... Вам больно и вы преувеличиваете, дорогая. Вы тут при чем?

— Нет. Кончено! Больше я к его деньгам не прикоснусь! Пора, ох, как давно пора! — горячо воскликнула она.

Он восторженно глядел на ее разгоревшееся лицо, дышавшее непоколебимой энергией.

— И у меня тут все кончено!

— Как так?

Он рассказал.

— Что же вы теперь будете делать? — спросила она с участием.

— Подам в отставку и... уеду. А вы?

— И я уеду.

Оба смолкли, но оба почувствовали, что решительный момент наступил, что теперь они уже не разойдутся, как чужие.

— А со мной поедете? — с дрожью в голосе полушопотом спросил Астраханцев.

— Поеду, — еще тише прошептала Ядвига.

Прошло четыре месяца. Заместитель Андрея Андреевича не приезжал.

Исправник и смотритель торжествовали, но доктор не обращал на них никакого внимания. Ему было не до них. Он пользовался каждой свободной минутой, чтобы съездить к Немоевским, и проводил часы в разговорах с Ядзей, строя планы о будущем, бодрый, счастливый, полный веры.

В его взглядах произошла большая перемена: кратковременное пребывание в N-ске открыло ему глаза на многое.

Ядвига тоже переменилась. Ее нерешительность, постоянные колебания исчезли, как сон. Счастливая, она считала дни, когда наконец осуществятся ее заветные, столь долго лелеянные мечты. Она считала дни до прихода первого парохода, с которым было связано их освобождение.

Ромуальд Иванович после пожара как-то сразу осунулся, сгорбился, постарел. От прежней предприимчивости и энергии не осталось и следа. Печальный, апатичный, он по целым часам ша-

гал из угла в угол по комнате. Узнав о ее намерении уехать, он даже не спросил — зачем, не сделал попытки остановить ее и спросил лишь:

— Одна?

— Нет, папа, с Андрей Андреевичем! Я выхожу за него замуж.

Произнеся эти слова, Ядвига покраснела. Отец не удивился. Он привлек дочь к себе и горячо поцеловал ее в голову.

— Дай бог тебе счастья! Он хороший человек.

Больше старик не заговаривал об отъезде дочери, несомненно понимая, что ей здесь после случившегося не место. К Астраханцеву он относился попрежнему, но, когда врач приезжал, он редко выходил в зал, где обыкновенно дочь сидела с женихом, не желая их стеснять своим присутствием. И они с эгоизмом молодости пользовались этой свободой.

— Прокатимся, Ядзя!— предложил однажды Андрей Андреевич.

Она согласилась. Было уже поздно. Среди ночной тишины ясно раздавалось журчание реки, а издали долетали стройные голоса поющих.

— Пойдем туда! Послушаем!

Голоса приближались.

— Стогов! Черкалова!— узнали они по голосу поющих.

— Их тут целая компания... Катаются... — вглядываясь в темноту, сообщил Астраханцев.

А с реки продолжало доноситься пение:

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine,
Mais, malgré vous, nous resterons Français.
Vous avez puis germanisé nos plaines,
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais.

— Черкалова! — громко окрикнула Ядвига.

— Это вы?— спросил кто-то из сидевших в лодке.

— Да, да.

Лодка пристала к берегу. Астраханцев и Немоевская, держась за руки, спустились к ней, встреченные дружными приветствиями.

Минуту спустя весла опять ударили по воде и все скрылось в темноте...

БАЛАГАНСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ

Во всех предыдущих главах мною охарактеризованы три типа колоний ссыльных: карийская, якутская, иркутская. Каждая из них отличалась от остальных, а все вместе отличались в момент моего приезда от балаганской колонии. Здесь почему-то сибирской администрации заблагорассудилось устроить как будто специальную польскую колонию ссыльных, состоявшую в сво-

ем большинстве из рабочих. Были тут и случайно попавшие, были и убежденные революционеры, были, наконец, и принимавшие участие в революционном движении, но уже в ссылке остывшие. О случайно попавших почти говорить не приходится. Угодив в ссылку вместе с семьями, они думали только о насущном хлебе, сами не искали сближения с ссыльными и ссыльные не делали никаких попыток привлечь случайно попавших под знамя революции.

Из убежденных революционеров-рабочих выделились двое: Анелевский и Чекальский.

Первый из них — бунтарь по натуре — уже успел отсидеть несколько лет в «Крестах», был ярым поклонником Станислава Мендельсона, одного из первых пионеров социализма в Польше в 1877 — 1878 годах, бывшего некоторое время сподвижником Людовика Варынского, одного из редакторов журнала: «Равенство» («Ròwnos'c'») и «Заря» («Przeds'wit»), после образования партии «Пролетариат» ставшего в ее ряды и редактировавшего заграничный орган партии — «Борьба классов» («Walka Klas»). Впоследствии Мендельсон, ранее отстаивавший идею интернационализма в пролетарском движении, «эволюционировал» в сторону социал-национализма и примкнул к Польской социалистической партии (ППС). Дальнейшая его эволюция оказалась еще более своеобразной. Он отошел от движения, переехал в Галицию, одновременно принимал участие в консервативном краковском «Часе» и в народническом «Курьере» львовском». Получив по истечении тридцати лет с момента бегства из Варшавы разрешение беспрепятственно вернуться на родину, Мендельсон в Варшаве уже превратился в еврейского националиста...

В то время, когда Анелевский подпал под его влияние, Мендельсон был еще ярым «пролетариатцем-интернационалистом» и Анелевский целый ряд лет как в тюрьме, так и в ссылке ни на шаг не отступал от тогдашних воззрений Мендельсона. Весь революционный мир в то время давно уже подвергал ревизии тактику террора, Анелевский отступление от террора считал ренегатством и горячо отстаивал террор. Это объясняется в значительной степени и тем, что он по натуре был авантюристом. Однажды он своей выходкой взбудоражил весь Балаганск. Во время ледохода на Ангаре, когда огромные ледяные глыбы с необыкновенной быстротой неслись по реке и, наталкиваясь одна на другую, выпирались наверх и более крупные крошили все попадавшееся на их пути, Анелевский без всякой надобности и дела сел в крошечную лодку с тем, чтобы переправиться с одного берега на другой. Весь город высыпал на берег и наблюдал, буквально с замиранием сердца, за его борьбой с затиравшими лодчонку льдинами. Он чуть не погиб, но был прямо счастлив, когда, к величайшему удивлению всех, благополучно добрался до другого берега. Бравирование опасностью было его

стихией. Ему была как бы безразлична цель риска, его увлекал самый процесс риска. Несколько лет спустя я узнал о его смерти, но что вызвало преждевременную его смерть — ему было 30 — 32 года — мне так и не удалось узнать.

Полную противоположность Анелевскому представлял каменщик Чекальский. Он на воле примыкал к социал-демократическому движению. Талантливый, способный, он, так сказать, на лету улавливал то, что говорилось,—читал он мало,—но не переваривал и не углублял уловленного на лету. Все его знания были поверхностные, и в спорах, не умея обосновать своей позиции, он ссылался на авторитетных лиц, с которыми его сталкивала судьба и от которых он позаимствовал высказываемые им мысли. Таким авторитетом в ссылке для него стал М. А. Натансон, приехавший в Балаганск месяца два спустя после моего приезда. Как я уже упоминал, М. А. был в то время одним из лидеров партии «Народного права». Как старейший революционер М. А. пользовался всеобщим уважением, а его отношение к товарищам, его заботливость о каждом, попадавшем в ссылку, создавала ему исключительное положение среди ссыльных. В спорах с ним самые темпераментные оппоненты умеряли свой пыл. Это обаяние Натансона очень сильно подействовало на Чекальского. Он буквально смотрел ему в рот и глотал каждое сказанное им слово.

До приезда Натансона я еще пользовался у Чекальского некоторым авторитетом, после приезда Натансона мой авторитет потускнел, и Чекальский, подчинившись влиянию М. А., чуть ли не одним прыжком из лагеря социал-демократов перебросился в стан народоправцев и горячо отстаивал необходимость объединения революционных сил с оппозиционными для совместной борьбы против самодержавия. Его, рабочего, социал-демократа, не смущало даже то, что народоправцы свернули социалистическое знамя, и хотя Натансон часто высказывал мысль, что это только de jure, но не de facto, Чекальский горячо отстаивал и это свертывание.

— Правильно! Зачем социалистическим знаменем отпугивать либералов!

Чекальский, насколько помнится, был сослан всего на три года, и, глядя на его эволюцию, я утешал себя тем, что по возвращении на родину он, окунувшись в рабочую массу, стряхнет с себя народоправческий налет и вновь станет на путь революционного марксизма.

Случилось иначе. Чекальский попал в Польше из огня да в полымя. Он встретился там с позднейшим диктатором Польши Иосифом Пилсудским и полностью подпал под его влияние. Я встретился с ним вновь уже в 1904 году, он был в то время чуть ли не членом Центрального комитета ППС, руководимого Пилсудским, известным тогда под двумя кличками: «Зюк» и «Мечислав». Каждое слово «Зюка» было для него неприкосновенной

святыней. Типичным возражением с его стороны было: «Да что вы говорите, Зюк ведь это сказал». Это был подручный «Зюка» — один из тех рабочих, которых Пилсудский подкупил выдвижением их на высокие и ответственные посты для того, чтобы, наталкиваясь на оппозицию, ссылаться на них как на рабочих, волю которых он якобы проводит. Его как рабочего Пилсудский впоследствии отправил в Америку для агитации среди американских рабочих поляков в пользу так называемой «революционной фракции ППС», прозванной «фраками».

О дальнейшей судьбе Чекальского мне ничего не известно, но, несомненно, что, если он жив, он потянулся за своим учителем и вождем в ряды польского фашизма.

К постепенно остывавшим и «умневшим» в ссылке принадлежал Красуский. Он был служащим на одной из лодзинских фабрик. В ссылке он поддерживал связь с отбывавшими ссылку в Балаганске, но и только. Все волновавшие активных ссыльных вопросы его нисколько не интересовали. Общее положение в стране представляло для него интерес только постольку, поскольку оно могло отразиться на нем. Он жил мыслью только о возвращении на родину и, вернувшись, засел в качестве служащего в музее искусства в Варшаве. Даже революция 1905 года его не расшевелила. В Балаганске он тоже считал себя социал-демократом.

Третьим социал-демократом был Виткинд — единственный сохранивший до конца свой социалдемократический облик, но мало активный и даже не пытавшийся уберечь своих единомышленников от чуждых пролетарскому движению влияний.

Еще до приезда Марка Андреевича и Варвары Ивановны Натансонов и одновременно с ними прибывшего народоправца же Пухтинского проездом на несколько часов остановились в Балаганске направлявшиеся дальше на север, кажется, в Тунку, высланные из Варшавы Гольдберг с женой Барбанель. Такие краткосрочные визиты всегда в жизнь ссыльных вносили большое оживление. Гольдберг — человек очень интеллигентный — своими рассказами о рабочем движении в Польше, о встречах с ссыльными в Иркутске, о борьбе различных течений приковал к себе всеобщее внимание и вызвал к себе большую симпатию. Радушно принимаемый всеми ссыльными, он неоднократно выражал сожаление, что не может остаться в нашей среде. Мы тоже жалели об этом. Но недолго. Три дня спустя после его отъезда мы получили письмо из Иркутска с предупреждением, что Гольдберг — злостный предатель, выдавший многих, и что он, приговоренный административно к ссылке, уже после объявления ему приговора ходатайствовал о разрешении ему принять православие... Оказалось, что ему удалось всех нас одурачить.

Предателей, к несчастью, было немало, немало было среди них и ловкачей, сумевших и после предательства своей мнимой революционностью вводить в заблуждение товарищей по ссыл-

ке. При таких условиях об этом эпизоде можно было бы не упоминать, если бы этот эпизод не имел своего продолжения и если бы этот Гольдберг не отличался резко от этого типа людей.

Продолжение этого эпизода имело место уже в Варшаве в 1904 году, после моего возвращения из ссылки.

Я должен был выступать на одном из собраний вместе с представителями других социалистических партий. На мои вопросы, кто из других партий выступает, я получил ответ, что от «Бунда» выступит Гольдберг. Путем дальнейших расспросов я установил, что это тот самый Гольдберг, которого мы так радушно принимали в Балаганске.

— Передайте ЦК «Бунда», — категорически заявил я пепэсовке Марии Пашковской, которая организовала это собрание, — что на собрании с предателями я не выступаю...

Она точно передала мое заявление ЦК «Бунда», для которого это было громом из ясного неба.

На следующий день меня попросили зайти на конспиративную квартиру «Бунда» — на Граничной улице — и там от представителя «Бунда» я узнал, что, получив от Пашковской сообщенные мною сведения, ЦК «Бунда» вызвал для объяснений Гольдберга, который не отрицал того, что в оное время был предателем, но заявил, что, осознав свое преступление, он по возвращении из ссылки поселился в одном из маленьких городов, как тогда называли, Западного края, и там своей революционной работой, продолжавшейся целый ряд лет, старался загладить свою вину. Работал он так, что по инициативе организации был выдвинут на ответственные посты.

— Можно ли после стольких лет работы — теперь его исключить из партии? — честно поставил предо мной вопрос представитель «Бунда».

— Это верно! Но ведь вы рискуете тем, что на любом собрании, на котором он будет выступать, кто-нибудь, — а об его предательстве знали многие, — бросит ему публично обвинение в предательстве, — указал я своему собеседнику.

Он согласился с этим доводом и по постановлению ЦК «Бунда» Гольдбергу было предложено не выступать публично.

Работу в рядах «Бунда» он продолжал до самой своей смерти в 1906 или 1907 году и по отзывам, которые доходили до меня, работал не за страх, а за совесть.

Уже после его смерти мне пришлось опять заняться делом о его роли в революции. Это было, если не ошибаюсь, в 1907 году, когда по выходе из тюрьмы я бежал за границу и жил в Кракове. Тогда Бурцевым и Бакаем были переданы партиям списки обнаруженных ими провокаторов. Список польских провокаторов был опубликован социал-демократией Царства Польского и Литвы. В числе опубликованных был Станислав Бржозовский, виднейший польский писатель, которого поклонники называли «польским Михайловским». Немыслимо передать,

какое это произвело впечатление. Зная о разногласиях, существовавших между социалистическими партиями, поклонники Бржозовского бросились с запросами к ППС в расчете на то, что она опровергнет это сообщение. Но ППС подтвердила. Тогда был выдвинут другой момент с целью опорочить это сообщение,— момент для широкой публики весьма убедительный. Социалистические партии в Царстве Польском как подпольные лишены возможности полностью проверить получаемые ими из не особенно надежных источников сведения. При всей добросовестности расследования они могут быть введены сознательно или бессознательно в заблуждение. Поэтому как к достоверному нельзя отнестись к обвинению Бржозовского в провокации. В австрийской Польше, в Кракове, такой гласный суд возможен и он должен состояться для того, чтобы рассеять всякие сомнения. Против созыва такого суда партии не возражали. И суд этот состоялся. В состав его вошли: Герман Диамант, галицийский пепеэсовец — член венского парламента, Феликс Перль, я и еще двое, фамилии которых уж не помню. Я вошел в состав суда по просьбе самого Бржозовского, несмотря на сделанное мною его представителю заявление, что я не могу быть судьей, потому что, зная все детали произведенной партиями проверки, я не сомневаюсь в виновности Бржозовского. Но представитель Бржозовского настаивал, ЦК левицы ППС, к которой я тогда принадлежал, находил мое участие в суде полезным, и я дал свое согласие. На этом суде защитники Бржозовского адвокат Бубер и член венского парламента пепеэсовец Марачевский, ныне ярый фашист, поклонник Пилсудского, выкопали где-то сведения о Гольдберге. А так как, по сообщению Бакая, Бржозовский в охранке носил кличку Гольдберга, то они пытались все приписываемое Бржозовскому взвалить на Гольдберга. На суде это было окончательно опровергнуто. Гольдберг до конца дней своих честно вел работу.

Хотя я и забегаю более чем на десять лет вперед, но чтобы не возвращаться уже впоследствии к делу Бржозовского, тем более что при моем возрасте я могу уже не успеть сделать этого, я здесь же кончу с этим делом.

Суд над Бржозовским не был доведен до конца. Бржозовский был болен, если не ошибаюсь, костоедом. Треволнения в связи с судом ухудшили его состояние. Защита искала все новых и новых доказательств его невиновности и суд был отложен. Бржозовский буквально догорал и, по настоянию друзей, выехал в Италию, где вскоре и умер. Дело заглохло.

Несколько лет тому назад в «Роботнике», центральном органе ППС, появилась заметка, будто бы я в архивах нашел данные, полностью оправдывающие Бржозовского. Это неверно. Несмотря на поиски, никаких данных в архивах полиции,— многие из которых погибли во время революции,— я не нашел. Что касается личного моего впечатления, вынесенного на суде, могу

сообщить следующее. Не подлежит ни малейшему сомнению, что главный обвинитель — Бакай — был искренне и глубоко уверен в провокаторстве Бржозовского. И если бы он во время разбирательства на суде излагал только факты, легче было бы решить это запутанное дело. Но он, опасаясь, что приводимые и им же установленные факты, для него убедительные, не будут столь же убедительными для суда, кое-что присочинил. Это запутывало дело. Он, помнится, утверждал, что он самолично передавал Бржозовскому деньги от охранки, но перекрестный допрос, где, когда, в каком помещении это происходило и т. д., во мне вызвал впечатление, что этот момент он присочинил. Установленным, как мне кажется, можно считать следующее: Бржозовский, еще будучи студентом, был арестован и на следствии вел себя недостойно. Повидимому, жандармы искусно это использовали и, шантажируя Бржозовского угрозой предать гласности его показания, толкнули его на путь провокаторства. Бржозовский, уклоняясь как мог от этого, выехал за границу. Но это его не спасло. Агенты охранки находили его и за границей. Людей он не выдавал, да и не мог выдавать. Связи с партиями у него не было. Это знала и охранка и поэтому требовала от него другого: докладных записок о революционном движении в Польше. Такая рукопись Бржозовского очутилась в департаменте полиции. Бржозовский не отрицал, что такая рукопись была, но по его объяснению это была статья, отправленная им в «Русское богатство» и, повидимому, перехваченная жандармами. Статья на суде не фигурировала, поэтому нельзя было по содержанию определить ее назначение. Объяснение Бржозовского было мало убедительным и я — подчеркиваю, что суд не был доведен до конца в той стадии процесса, когда он был прерван, — вынес впечатление, что, спасаясь от позора, Бржозовский еще больше опозорил себя, пересылая в департамент записки о революционном движении. Тому, что он был на постоянном жаловании у охранки и из-за денег согласился принять на себя роль провокатора, я не верил тогда, не верю и теперь.

РАБОТА В БАЛАГАНСКЕ

Скучно и тоскливо жилось в Балаганске. Заедало отсутствие жизни, отсутствие впечатлений. Я по крупинкам собирал материалы, присматривался к обывателям, записывал все, что подвертывалось, что называется, под руку, но это были отрывочные мысли, отрывочные наблюдения, которые только впоследствии, уже после того как я освободился от угнетающей балаганской тоски, мною были использованы.

Единственной работой, проделанной в течение 9 — 10 месяцев пребывания в Балаганске, было «литературное обозрение», которое я некоторое время вел из Балаганска в «Восточном обо-

зрении», и корреспонденции, отправляемые мною в эту же газету и печатавшиеся за подписью К. О. Н. Говорили, что генерал-губернатор Горемыкин, от времени до времени сам цензурировавший «Восточное обозрение», желая блеснуть своей догадливостью, написал на гранках: «Не забыть поставить точки между буквами».

Работа эта мало меня удовлетворяла, а другой не было, кроме обработки собранных в Якутске материалов о якутах. В этом отношении большую помощь оказал мне тот самый врач Бык, который так боялся больных. У него я нашел «Реальную энциклопедию медицинских наук», в которой оказалось много объяснений тех явлений, какие удалось наблюдать в Якутске. Я воспользовался как этим, так и невольным досугом и здесь написал антропологический очерк: «Физиологические и биологические данные о якутах», изданный в 1899 году в Минусинске в издании «Былое и настоящее сибирских инородцев». Воспроизводить здесь весь этот очерк, могущий представить кое-какой интерес только для специалистов-антропологов, я считаю совершенно излишним и ограничиваюсь лишь «Вступлением» и «Заключением».

ВСТУПЛЕНИЕ

Как ни обширна и разнообразна литература о якутах и в количественном и в качественном отношении, как ни разнообразны трактуемые ею вопросы, тем не менее, один из самых важных из них — вопрос о том: увеличивается ли число якутов или же, наоборот, уменьшается, то есть предстоит ли якутам, так же как и другим инородцам, вымереть, — до сих пор остается открытым.

Желанием бросить свет именно на этот вопрос вызвана организация якутской экспедиции, снаряженной на средства И. М. Сибирякова.

Одним из ее участников И. И. Майновым, взявшим на себя собирание материалов по антропогии, было мне предложено заняться физиологическими наблюдениями.

По первоначальному плану районом этих наблюдений должен был быть весь Якутский округ. Подолгу останавливаясь на одном месте, я должен был посетить, по возможности, более населенные пункты (возле управ) во всех улусах. К сожалению, однако, несмотря на то, что удалось устранить все материальные затруднения этого плана, по независящим ни от Восточно-Сибирского отдела Географического общества, ни от меня обстоятельствам [1] осуществить этого не удалось и мне поневоле пришлось ограничиться ближайшими к месту моего жительства наслегами Намского улуса.

---

[1] Мне запрещены были разъезды.

Само собой разумеется, что это обстоятельство сказалось отрицательно как на количестве, так и на качестве собранного мною материала, так как Намский улус, как один из самых культурных уголков Якутского округа и один из наиболее восприимчивых к поступательному движению русской культуры, отличается многими такими чертами, которые отнюдь не могут быть распространяемы на весь округ. Одним из главнейших этого рода явлений является помесь с русскими. Несомненно, все якутское племя еще в XVII и XVIII столетиях подвергалось всевозможным насилиям со стороны русских завоевателей, но не менее несомненно, что львиная доля этих насилий приходилась на долю тех, которые жили ближе к очагам русской культуры. «Все,— говорит Павлинов[1],— кто только имел в своих руках власть и значение, при разъездах по наслегам не только пользовались женщинами временно, но завладевали ими и обращали в собственность». «У простого казака было по нескольку наложниц, которых он мог продавать и закладывать или просто прогнать обратно в улус, если они ему наскучивали». Намский улус, как один из ближайших к г. Якутску (50—100 верст), должен был более других испытывать это на себе. Рядом с этим постоянный прилив русского элемента в лице поселенцев в Намский улус, где, не считая скопческого, образовалось целое русское селение из поселенцев, тоже более чем в других улусах должен был способствовать физическому обрусению якутов. В результате образовался тип якута, по родословной не метиса, с несомненными признаками примеси русской крови.

Относительно верований — аналогичное явление. Хотя все якуты официально числятся православными, но в отдаленных заречных улусах устои шаманства до сих пор крепки, в то время как в Намском улусе они уже значительно расшатаны, хотя начала христианства далеко не усвоены. Тот же самый кулак, который за долги отбирает у шамана весь его костюм и — лишь бы выручить деньги — готов его продать даже русскому, при первом же случае обратится к шаману, хотя без благоговения, свойственного зареченцам. В случае смерти якута обязательно призывается какой-нибудь грамотный поселенец для чтения над трупом, но рядом с этим закалывается в жертву хайлыга (скотина), на которой покойник отправляется в рай. На могиле ставится крест, но на многих из них тут же и изображение конской головы или птицы, то есть тех животных, на которых душа возносится к небу (I Мадутский наслег). В сказках якутов встречаются имена, позаимствованные из св. истории Эллей и Онога-бей — сыновья двух дочерей Адама (*Кубяконский наслег*). У Ирода было три дочери-колдуньи, жившие в местности Хатыстах (где ныне Якутск) во время нашествия русских (Батурусский наслег). Коротко говоря, у

[1] Пам. кн. Як. обл. за 1872 г. Брачное право у якутов.

намских якутов в сфере религиозных представлений нет ничего стойкого, а это шатание не может не отражаться на их нервной организации.

В экономическом отношении Намский улус, как один из ближайших к губернскому городу, тоже значительно разнится от заречных. В монографии[1] о скопцах я уже говорил об эксплоатации якутов скопцами. Но главный бич населения — это не скопцы, а местные кулаки-тойоны, значительно превзошедшие своих учителей — русских. Образчиком этой эксплоатации может послужить довольно распространенный в Намском улусе и в смежных с ним наслегах Дюпсинского улуса институт «мертвых коней». Богатые тойоны отдают беднякам в наем лошадей за определенную плату — 10 рублей в год, с правом выкупа лошади по частям и с обязательством немедленного же возмещения стоимости лошади в случае ее падежа. Для бедняка выполнение этого обязательства равносильно полному разорению, и во избежание этого он за павшую лошадь в течение целого ряда лет продолжает платить хозяину условленную наемную плату, как за живую[2].

В общем вряд ли где-либо труд настолько эксплоатируется капиталом, как здесь, в среде одной и той же общины. Благодаря этому рядом с лицами, ворочавшими десятками тысяч, обладавшими громадным количеством лучших покосных земель, выгонных, хлебопахотных и рыболовных мест, огромными стадами конного и рогатого скота, являются безземельные и бесскотные общественники[3] (больше 20%). Ниже мы делим всех, над которыми производились наблюдения, только на две категории: зажиточных и незажиточных, так как деление по тем классам, по которым распределяются подати и угодья, не достигает цели по следующей причине. Время, переживаемое теперь якутами Намского улуса, характерно в том отношении, что на смену родовитым тойонам выступают разбогатевшие сравнительно недавно. Первые постепенно спускаются по лестнице податных классов, вторые подымаются по ней. Обе категории причислены нами к зажиточным: родовитые, как потомки целого ряда поколений, живших в достатке; вновь разбогатевшие, как наверстывающие теперь недостатки прошлого. Обе эти группы резко по образу жизни отличаются от всех остальных. Громадные юрты, нередко русские дома, хотоны (хлевы), отделенные стеной от жилого помещения, — жилище одних; небольшие юрточки, в которых на зиму скопляется масса народа (в одной я насчитал

---

[1] Ф. Кон. Хатын-Арынское скопческое селение. Изв. Вост.-Сиб. отд. ИРГО, том XXVI. №№ 4—5. Ирк. 1896 г.

[2] Г. Серошевский («Якуты» стр. 422) говорит, что за «смерть от заразы или какого-нибудь внутреннего порока, за покражу или съедение зверем взятой в пользование скотины арендатор не отвечает». Приведенный мною факт противоречит этому.

[3] Пам. кн. Як. обл. за 1896 г. Вып. III, стр. 55.

32 взрослых, не считая детей) и тут же, в этой же юрте, коровы с телятами, — вот жилье мелких самостоятельных хозяев и безземельных и бесскотных иеранасов. В пище — тоже различие. Зажиточные едят вволю: мясная, молочная и рыбная пища — в изобилии; картофель, хлеб пшеничный, нередко крупчатка... У бедных — пресловутая сосновая заболонь, «сорат», «тар» и... что бог пошлет: и гнилая рыба, и падаль, и кость, отобранная у собаки, — все идет в пищу. Живущие поближе к тракту находят пропитание, работая у скопцов и кое у кого из «государственных» ссыльных, но это удел немногих. Вся масса населения далеко не в таком привилегированном положении, и у якута, по образному выражению их самих на русско-якутском жаргоне, всегда «брюхо капсе» — журчит в животе от голода.

Вот условия, которые, по-моему, характерны для Намского улуса. Обобщать их на другие улусы я не решаюсь, но они вызывают во мне сильные сомнения относительно утвердившегося в антропологической и этнографической литературе мнения о невымирании якутов. В подтверждение этого мнения приводятся грешащие против элементарных основ статистики данные, сообщаемые якутскими памятными книжками... Но если и основываться на них и признать факт прироста, то это еще не равносильно признанию факта невымирания в ближайшем будущем. Прирост в настоящее время может обусловливаться поглощением якутами менее сильных народностей (тунгусов, ламутов и пр.), процент прироста, наконец, может с годами убывать и с течением времени может наступить и для якутов роковой черед. Переживаемое в настоящий момент время — время перехода от натурального хозяйства к денежному, выражающееся в увеличении спроса на привозные продукты, в более интенсивной работе и резких колебаниях в возможности удовлетворить народившиеся потребности, — является для якутов критическим. Висящее, как дамоклов меч, над их головами вымирание теперь еще может быть предотвращено, вопреки Vambèry, считающему, что вымирание «ist nach dem Darwin'schen gesetz unaufhaltsam[1]. Наши лучшие исследователи и ученые давно уже расшатали этот взгляд.

Цель предлагаемой читателю работы — осветить этот вопрос с новой, мало затронутой другими исследователями стороны и привести фактические данные в подтверждение того, что нет закона вымирания инородцев, если не считать законом тех анормальных социальных условий, при которых только что приобщенным к культуре народностям приходится выдерживать соперничество с народностями, давно к ней приобщенными.

---

[1] Herman Vambèry — Das Türkenvolk. Leipzig. 1885.

Если мы на основании официальных данных [1] попытаемся ответить на вопрос: грозит ли якутам печальная участь других инородцев быть стертыми с лица земли, то получим категорический отрицательный ответ. Захватив территорию и оттеснив других инородцев, якуты, в противоположность последним, сильно размножились, несмотря на давление на них русских, на сильную смертность детей вообще и на смертность взрослых от частых эпидемий. По переписи 1795 года в области было 50 066 якутов мужского пола, а через 67 лет, в 1862 году, их уже было 102 307 мужчин и 98 725 женщин (201 032 чел. обоего пола), а в 1891 году их уже числится 115 768 мужчин и 113 793 женщины (всего 222-561) [2].

Эти «уже» настолько характерны, так ободряюще действуют на читателя, что зловещее предсказание Риттиха как-то совершенно бледнеет и невольно отрешаешься от его пессимизма. Между тем, как мы это видели, действительность далеко не так красна, чтобы можно было спокойно, с уверенностью смотреть на будущее этого богато одаренного племени. До сих пор социальные установки не наложили резкого отпечатка на физическую организацию якутов, но не надо забывать, что новая эксплоатация приняла гораздо более бессердечную форму именно под новыми влияниями. Она дала толчок к развитию менового хозяйства и, разлагая родовую организацию, рушила и родовую солидарность. Тойон не несет теперь тех обязанностей, которые связаны были с его положением прежде. Она, таким образом, обострила борьбу за существование. И родовая знать имеет теперь в своем распоряжении бедноту, лишенную надежды на помощь. Для массы не до борьбы за влияние; положение современного камночита (работника), быть может, безнадежнее положения прежнего раба. А если это так, то, чего до сих пор еще не случилось, в недалеком будущем может и должно стать печальной действительностью. Бытовые условия, ранняя, подчас до появления половой зрелости, половая связь, браки в пределах ограниченного числа населения, громадная детская смертность, ряд заразительных и эпидемических болезней, наконец, низкий культурный уровень — вот данные, невольно заставляющие скептически относиться к этим восторженным «уже». И действительно, все вышеприведенные цифры в высшей степени сомнительны, являются своего рода иксом, как и вообще статистические данные, собираемые в пределах Якутской области, оставляют очень многого желать, а что говорить о тех, которые ос-

[1] Пам. кн. Як. обл. за 1896 г. — «Заметка о населении Якутской области в историко-этнографическом отношении», стр. 117.

[2] В. С. Е. «Якутский род». Известия Вост.-Сиб. отд. ИРГО, том XXVI, № 4—5. 1896 г.

нованы исключительно на сведениях, доставляемых невежественными управскими писарями. Уже это одно заставляет крайне осторожно относиться к восторженным «уже» автора, но этого мало. Приведенные данные в лучшем случае свидетельствуют о количественном увеличении населения, но не могут служить материалом для решения вопроса: увеличивается или же уменьшается с годами процент прироста, а между тем именно этот вопрос имеет самое важное значение. Приведенные данные относятся к той стадии, когда якуты, как выяснил товарищ по экспедиции М. И. Майнов[1] относительно тунгусов, увеличивались численно за счет более слабых народностей... В настоящее время дни большинства этих народностей сочтены; будут ли якуты возрастать численно и после того, как те совершенно исчезнут,— это вопрос, на который при данном его положении можно ответить только отрицательно. Как бы там ни было, но пока есть еще прирост населения, пока, следовательно, есть еще возможность предотвратить якутов от грозящей им гибели.

Заканчивая свое исследование в подтверждение возможности и необходимости такого предотвращения, я привожу слова уважаемого профессора Якобия, высказанные им на публичной лекции в Харьковском университете в 1895 году.

«Я бы просил тех, среди которых говорю, благосклонно взглянуть на наши инородческие племена Севера и верить, что по умственным и нравственным свойствам они способны к культурному развитию, что рутинные воззрения на них, на их дальнейшую судьбу основаны на данных, частью недостаточных, часто неверных, и что угасание этих племен не так распространено, как о нем говорят, что оно зависит не от природных условий их страны, что процесс угасания находится в полном противоречии с нашим законодательством и, наконец, что помощь этим племенам есть дело справедливости, есть дело чести для культурных людей русской земли».

Это «дело справедливости и дело чести», несмотря на призывы благородных профессоров и ученых, при капиталистическом строе не могло быть осуществлено. Об этом свидетельствует участь порабощенных империалистами колоний. Это дело «чести и справедливости» осуществлено только Октябрьской революцией, осуществлено проведением партией ленинско-сталинской национальной политики. В настоящее время, когда пишутся эти строки, якуты празднуют десятилетие своего существования как Якутской социалистической советской республики. О возможности вымирания якутов уже не может быть и речи. Идет речь о все увеличивающемся культурном, хозяйственном и политическом росте народа, обреченного при царизме на вымирание.

---

[1] «Некоторые данные о тунгусах Якутского края». Иркутск. 1898 г.

Несмотря на то, что я с головой окунулся в работу над собранным в Якутске материалом, я не мог преодолеть все более и более овладевавшей мною тоски.

Поскольку собирание материалов всегда доставляло мне удовлетворение, быть может просто потому, что поражала и захватывала новизна данных, постольку же обработка этих материалов, уже не представлявших новизны, производилась мною скорее по обязанности, и я прибегал к ней не только в Балаганске, но и позже, для того чтобы заглушить тоску по жизни, по живой деятельности.

В Балаганске это давалось труднее, чем в других местах ссылки. Заедала мертвечина. Некоторое оживление внес приезд Натансонов или, вернее Марка Андреевича, так как Варвара Ивановна, недавно оправившаяся от душевной болезни, была в ссылке, так же как впоследствии и в эмиграции, лишь отзвуком мужа и все, что ни говорил или делал М. А., она считала чуть ли не откровением. Уже не молодая, она восторженно воспринимала каждое слово, каждый жест Марка. Сама революционерка, с большим революционным прошлым, этим своим отношением — преклонением — к Марку она действовала на ссыльную молодежь и усиливала его авторитет.

О самом Марке Андреевиче уже писалось столько, что я весьма мало в состоянии прибавить к этому. Я в Балаганске встретился с ним впервые, но мы встретились, словно до этой встречи были уже десятки лет знакомы. Чуть ли не с первого дня мы сцепились из-за его народоправства. Я знал, какую роль он играл в революции и в то время, когда я еще с ранцем на плечах шагал в гимназию, знал об его участии в Казанской демонстрации и в последующие два десятка лет, и меня в спорах с ним занимало не существо спора, для меня предрешенное, а то, что побудило его организовать и принять участие в «Народном праве». И я пришел к выводу, который до сих пор считаю правильным, несмотря на то, что многие из знавших М. А. вряд ли с ним согласятся. Народник, переживший все стадии народничества, после упадка «Народной Воли» искавший выхода из создавшегося положения, не замечая уже тогда нарождавшегося пролетарского движения, он искал способов вовлечь так называемую интеллигенцию в революционное движение, рассчитывая превратить оппозиционеров в революционеров с тем, чтобы с течением времени вновь развернуть свернутое «Народным правом» социалистическое знамя. Он не останавливался на анализе классовых устремлений вербуемых им в эту партию членов, стремясь расшевелить застоявшееся болото. Это было «предприятие», заранее обреченное на неудачу, но субъективно М. А., удрученный беспросветной, как ему казалось, депрессией, в этом предприятии видел щелку для выхода из застоя в движение.

Меня М. А. переубедить и привлечь на свою сторону даже не пытался. Он сосредоточил огонь своей агитации на более податливых и более для него ценных остальных балаганских ссыльных именно потому, что они были рабочими.

Несмотря на это, его агитационная деятельность, как я уже упоминал, возымела и на меня свое действие, но в прямо противоположном направлении. Я подверг пересмотру все свое мировоззрение и уже тогда начал вносить в него определенные коррективы. Эта заслуга принадлежала не одному М. А. и даже не преимущественно ему, а прибывшему почти одновременно с ним в Балаганск — Пухтинскому, тоже народоправцу. Если Натансон рассчитывал вовлечь оппозиционеров в движение для того, чтобы их превратить в революционеров, то Пухтинский в «Народном праве» видел средство превращения революционеров в благонравных оппозиционеров. Пухтинский был предтечей «кадетов».

Я не воспроизвожу здесь того, что я в то время внутренне переживал, чувствуя себя «ни павой, ни вороной» в том окружении, в каком я тогда находился; скажу лишь, что этот всегда болезненный процесс проверки своего мировоззрения и перехода на путь революционного марксизма я закончил, как мне тогда казалось, несколькими годами позже, уже в Минусинске.

Говоря о политических ссыльных, необходимо еще упомянуть об одном политическом ссыльном, хотя он не имел никакого отношения ко всем нам. Это был ксендз, католический священник-ректор, если меня память не обманывает, Седлецкой духовной семинарии, сосланный административным порядком за участие в так называемом униатском движении, в пропаганде среди униатов с целью предотвратить их превращение в православных. Ксендз вел себя «тише воды, ниже травы», выполняя все требования администрации, низенько кланялся при встрече с исправником, даже при переезде на другую сторону реки — в Малышевку — просил разрешения. Властолюбивый исправник согнул бы его в бараний рог, если бы не влиятельное заступничество бывших повстанцев Германа, Маевского и др., с которыми по тому положению, какое они в то время занимали, приходилось считаться исправнику. И ксендзу, подкармливаемому бывшими повстанцами, жилось недурно. Он по целым дням громко тарабанил молитвы, не без умысла делая это при открытых окнах, дабы ведали православные, как целые дни проводит на молитве католическое духовенство.

Из сказанного мною можно было бы сделать вывод, что бывшие повстанцы, несмотря на многолетнее пребывание в ссылке в Сибири, оставались «добрыми католиками». Этот вывод был бы неверен. Они действовали не как католики, а как поляки, и даже не потому, что в какой-либо степени сочувствовали деятельности ксендза. Оторванные от родины, идейно поблекшие, с головой погрузившиеся в деловую жизнь, они не

следили и не интересовались тем, что происходило в Польше. Поддержать ксендза их обязывало просто звание бывших повстанцев. Этим они руководствовались и в отношениях с политическими ссыльными. Они тоже когда-то числились ссыльными, — как же не относиться сочувственно к тем, которых постигла такая же участь? Именно так относился ко всем нам Герман, о котором я уже говорил. Приблизительно так же относился к политическим ссыльным проживавший в селе Улей, верстах в десяти — пятнадцати от Балаганска, другой повстанец, фамилии которого уже не помню, бывший во время восстания «жандармом-вмешателем» [1], по своему виду и ухваткам напоминавший эконома-управителя в помещичьем панском имении. Он и в Улее, у другого повстанца — Маевского, играл почти такую же роль, с той лишь разницей, что объектом его деятельности были не польские крестьяне, а бурятские бедняки.

Совершенное другое впечатление производил бывший повстанец Маевский, когда-то студент Казанского университета. Интеллигентный, следящий за жизнью даже из далекого Улея, он буквально оживал, когда к нему приезжал кто-либо из того мира, от которого он был отделен расстоянием в несколько тысяч верст и несколькими десятками лет пребывания в Сибири. По внешнему виду он напоминал Н. Г. Чернышевского, и не только по внешнему виду. Все окружавшие его относились к нему с необыкновенным уважением. Так же относилась к нему и его жена, значительно моложе его. Но совершенно так же, как это было с Н. Г., под одной домашней и семейной крышей жило двое людей, совершенно не похожих друг на друга. На половине дома, в которой хозяйничала жена, был шум, говор, пение, танцы, веселье; на половине мужа — тишина, серьезные беседы на политические темы, прерываемые лишь появлением жены, вытаскивавшей более молодых гостей на свою половину. Повидимому, так уже завелось давно, так как Маевский в редких случаях останавливал жену замечанием: «Оставь! Дай поговорить».

К Маевскому я раза два съездил до приезда Натансонов. После их приезда беседа с ними и выуживание из них того, что происходит на воле, представляло больший интерес. М. А., уже до этого не раз побывавший в ссылке, чуть ли не с первого дня своего пребывания в Балаганске с свойственным ему оживлением взялся за организацию столовой для ссыльных, и вскоре столовая начала функционировать. Это сближало ссыльных и устраняло один весьма тягостный момент для ссыльных, желавших заниматься. Прекратились праздношатания из одной квартиры в другую. Кто к кому имел дело — мог его решать в столовой. Не было предлога для скитания без дела, для посещений, наскучивших и надоевших всем. Эти посещения были

---

[1] Террористическая организация, расправлявшаяся с изменниками и шпионами.

тем клином, которым другой клин должен был быть вышиблен: скучными визитами ссыльные пытались разогнать скуку. И ничего, конечно, из этого не выходило и гнетущая скука действовала так, что ссыльные чуть ли не поголовно, во сне и наяву, грезили лишь о том, как бы выбраться из Балаганска. Организация столовой могла на время изменить это состояние, но только на время.

Для меня лично ссылка в Балаганск была самой тягостной за все 18 лет скитаний по Сибири. Возможно, что в Якутске я чувствовал себя плотно закупоренным всерьез и надолго, и потому устраивал жизнь, применяясь к условиям и не мечтая даже о возможности покинуть эти места, а в Балаганске, приблизившись на три тысячи верст к западу, я возмечтал о другой жизни. Мне самому трудно разобраться в тогдашнем своем настроении. Но, как бы там ни было, а меня «неведомая сила влекла» еще ближе к Уралу. «Хоть рад бы в рай, да дверь-то где?» — Эту дверь надо было найти, и тут-то Натансон оказался спецом на-ять.

Моей жене оставалось всего несколько месяцев до окончания срока ссылки на поселение, несмотря на то, что к ней некоторые царские манифесты не были применены «за дурное поведение в ссылке...» Месяца через три-четыре должен был на свет появиться наш сын. Ввиду этого, ссылаясь на «право» («de jure») разъездов по всей Сибири, я совместно и при активнейшем участии Натансона состряпал заявление генерал-губернатору, настаивая на том, что жена в праве до последнего срока жить в Кургане, с тем, чтобы в последний день сесть в поезд и отправиться в Россию, а я как крестьянин из ссыльных, также имеющий «право» (опять «de jure!») разъездов по всей Сибири, могу ее, едущую в таком положении, да еще с двумя маленькими детьми, провожать до Кургана.

От генерал-губернатора последовал отказ. Я ответил на это жалобой на генерал-губернатора в правительствующий сенат.

Дело затянулось. Мы уже считали было, что из всей затеи ничего не выйдет, как вдруг, совершенно неожиданно получилась бумага с сообщением, что жене срок месяца два тому назад кончился. Она уже могла ехать. Остановка была за мной, но тут уж на мой энергичный протест последовал ответ, «точно» высчитывающий время, необходимое для проезда до Кургана и обратно, и на это время разрешающий мою «отлучку».

Эта «точность» была шедевром бюрократизма. Это было время, когда только строилась сибирская железная дорога. Строители этой дороги метались как угорелые то в одну, то в другую сторону; им в первую очередь предоставлялись почтовые лошади. Иной раз приходилось по 6—10 часов ждать лошадей. Как можно было при таких условиях определить хотя бы даже максимальный срок для проезда? Я весьма мало смущался этим сроком, лишь бы выбраться из Балаганска. И мы выбрались.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОПЯТЬ В ПУТИ

В одной из предыдущих глав я описывал путешествие из Якутска в Иркутск. Дорога из Балаганска до первой железнодорожной станции, где уже можно было сесть в вагон, была во сто крат хуже дороги по Лене. Тут уже произвол писарей не имел никаких пределов. То ждут почту из Иркутска, то в Иркутск — и должны держать в резерве лошадей, то осталась одна-единственная пара для едущих «по государственной надобности», то безапелляционное «нет лошадей и конец!» Ехать при таких условиях с беременной женой и двумя маленькими детьми представляло такой ужас для всей семьи, что мне теперь, тридцать шесть лет спустя, когда вспомнишь об этом,— становится жутко. А тут еще какой-нибудь развязный писарь или конкурирующий с тобою в торгах на получение лошадей проезжающий тебя же укорит:

— А почему же вы поехали при таких условиях?!

Поди объясни ему «почему».

В Нижнеудинске даже я, видавший всякие виды, в первый момент совершенно растерялся. На почтовой станции вершитель судеб проезжающих, станционный писарь, встретил меня заявлением:

— Вы с детьми? У нас в доме скарлатина...

Мне был указан какой-то заезжий двор, куда я спешно перевез семью.

В Нижнеудинске была похоронена не выдержавшая этапного пути участница «Пролетариата» Розалия Фельзенгардт. Оставив семью в заезжем дворе, я отправился на кладбище посмотреть, в каком состоянии ее могила, и убедился, что она, так же как и сотни могил других ссыльных, рассеянных по всему лицу необъятной Сибири, совершенно заброшена. Я ее с трудом разыскал.

Мечтать о том, чтобы дальше ехать на почтовых, не приходилось. Если, торча на станции и надоедая писарям, можно было добиться лошадей, то, находясь вне станции, было бы просто непростительным легкомыслием на это рассчитывать. Пришлось нанять «вольных», ехать не в почтовом тарантасе, а в простой и тряской телеге и вдобавок под дождем...

Единственным утешением было в то время только то, что начиная с Канска уже функционировала железная дорога и тогда конец мытарствам! Была еще тайная надежда, что еще до Канска удастся убедить железнодорожное начальство разрешить нам проехать на курсировавших уже служебных открытых платформах. Но эта надежда не оправдалась.

В Канске находились в то время политические ссыльные, супруги Мерхелевы. Он был железнодорожным мастером и с головой ушел в эту работу. И он и она весьма радушно нас приняли. Замечательно симпатичные люди, свято хранившие товарищеские традиции, они взяли на себя все заботы о нас, раздобыли билеты, проводили нас на станцию, устроили в вагоне.

В Канске Мерхелев пользовался большим уважением. Это был первоклассный работник-специалист. Обыкновенно такие работники выдыхались идейно. Мерхелев эту идейность сохранил: он по убеждению оставался народовольцем старого типа.

Дорога от Канска до Кургана не представляла никакого интереса.

В Кургане мы решили один день отдохнуть, после чего жена с детьми должна была отправиться за Урал—на родину, в Николаев, а я формально обратно в Балаганск, куда я фактически возвращаться не собирался.

Извещенный телеграммой о нашем приезде, Михаил Рафаилович Гоц встретил нас на вокзале и отвез к себе на квартиру, где нас уже ожидала его жена—Гассах; и он, и она были участниками мартовского вооруженного сопротивления в 1889 году. Михаил Рафаилович, которого я тогда встретил впервые, поражал своей начитанностью и интеллигентностью. Я в то время, как я уже упоминал, был поглощен проверкой своего мировоззрения и каждого встречаемого ссыльного провоцировал на беседу на тему о борьбе марксистов с народниками. Из беседы с Гоцем я вывел заключение, что у меня с ним очень незначительное расхождение, что он, так же как и я, склоняется к марксизму. На деле впоследствии оказалось, что наши пути разошлись в разные и даже противоположные стороны...

О его жене я тогда не смог себе создать ясного представления. В присутствии мужа она не высказывалась, подчинившись полностью его авторитету. В Кургане в то время, кроме Гоцев, находились Петр Филиппович и Роза Федоровна Якубовичи. Она,— старый наш друг еще по Якутке,— за эти несколько лет со времени ее отъезда из Якутки успела пережить многое.

После долгих лет разлуки она дождалась наконец выхода

с каторги П. Ф. Якубовича, вышла за него замуж и ко времени нашего приезда в Курган только начала поправляться после весьма тяжелых и опасных благодаря осложнениям родов. Внутренне она настолько изменилась, насколько маленький сынок дал ее жизни определенное содержание. Но и только. Прежний ее скептицизм остался в неприкосновенности, если даже не усилился. Умная, начитанная, она доводила анализ каждого явления до того, что буквально ниточки целой не оставалось. Результатом этого было полное безверие. Трагизм этого состоял в том, что Роза, честнейший человек по натуре, несмотря на свое убеждение в безрезультатности, например, протеста, однако считала необходимым из солидарности с товарищами принять в нем участие.

За эти годы, которые мы не видались, она успела побывать в Питере и как жена Якубовича-Мельшина, по его поручению, посетить Н. К. Михайловского. От него она узнала, что у «Русского богатства» есть шансы освободиться от предварительной цензуры.

— Михайловский, — сообщила Роза, — возлагает на это большие надежды...

Это было сказано таким тоном, что в каждом слове слышался глубокий скептицизм, и я совершенно невольно спросил:

— А вы?..

Роза улыбнулась:

— Помните у Некрасова:

Теперь нас ждут иные речи,
Теперь нас ждет простор и слава...

А я оказалась тем третьим, который «посмотрел лукаво и головою покачал!»

В этом отношении она была полной противоположностью своему мужу, который загорался верой даже тогда, когда к этому не было никаких данных.

С того момента, когда я расстался с ними на Каре, прошло всего шесть лет, но за это время он очень сильно изменился и вдобавок в одном отношении к лучшему, в другом — к худшему. На Каре он мне всегда казался неуверенным в себе и поэтому почти всегда настороженным из опасения, чтобы кто-нибудь его не поддел и не высмеял. В Кургане он уже этих черт не проявлял. Наоборот: решительно поставив вопрос, он его решительно же отстаивал. Я объяснял себе это изменившимся не только его положением, но и окружением. За это время он уже успел создать себе крупное литературное имя как автор «Из мира отверженных», был одним из видных сотрудников «Русского богатства», с критическими статьями которого[1] серьезно считалась пишущая братия.

---

[1] Он подписывал эти статьи фамилией: «Гриневич».

Это не могло не повлиять на его веру в себя. Этих условий на Каре не было. И когда я вспоминаю его в карийских условиях, когда ему, поэту, приходилось создавать художественные произведения в камере, в которой жило до двадцати человек, с тоски и скуки искавших повода на чей-либо счет поразвлечься, — post factum, потому что и я был в этом искании грешен,— мне становится больно и обидно за него. Да и ценители поэзии были на Каре наперечет. Вспоминается случай, когда Петр Филиппович после спора с одним из товарищей обратился ко всем нам с предложением высказаться по поводу стихотворений Пушкина и Некрасова на одну и ту же тему. Якубович путем плебисцита пытался установить взгляды публики: кто за Некрасова и кто за Пушкина.

Это своеобразное воззвание вызвало фонтан острот со стороны карийцев. Кто-то в ответ написал: «За Пушкина! В нем больше поэтического туману...»

От такого рода острот П. Ф. был вполне огражден в Кургане.

Идейно он тоже за истекшие шесть лет изменился. Он поправел и уже тогда был близок к идейному течению, известному впоследствии как н. с. (народные социалисты). Из беседы с ним я вынес впечатление, что он с головой ушел в литературу и что в революционном движении он уже участия не будет принимать. Этим я не хочу сказать, что он уже тогда сознательно решил не принимать больше участия в революции. Но со стороны это было уже тогда видно. Этот мой прогноз оправдался. Когда я, уже вновь будучи нелегальным, приехал в 1905 году летом по партийным делам в Питер, я заехал к нему на дачу, недалеко от Питера. И он и Роза Федоровна, несмотря на подъем революции, стояли в стороне от нее.

На следующий день после прибытия в Курган моя жена с детьми уехала, а я остался в Кургане. Как ни велик был соблазн — махнуть за Урал,— я не сделал попытки к побегу. В то время считалось нерушимым правило: для побегов не пользоваться официально разрешенными отлучками, так как это могло лишить ссыльных возможности пользоваться отлучками. «А счастье было так близко, так возможно!»

Несмотря на то, что в «проходном свидетельстве», по которому я путешествовал, значились точно установленные сроки пребывания в каждой местности, я оставался в Кургане еще довольно долго. И не только потому, что не тянуло обратно, а и по другой причине. Зная, что я провожаю семью до Кургана, мои сестры решили приехать повидаться со мной, о чем известили меня телеграммой. Само собой разумеется, что было бы дико уехать, не повидавшись с ними. Для Горемыкина этот мотив не мог быть убедительным. Надежды на получение отсрочки от него не было, и я решил другим путем добиться этой отсрочки. Я зашел к исправнику и вручил ему телеграмму в

департамент полиции с сообщением о приезде родных на свидание и о необходимости в связи с этим задержаться некоторое время в Кургане. Родные успели приехать и уехать, а ответа от департамента не было и не было. Я зашел опять к исправнику и в шутливой форме заявил ему, что из-за волокиты в департаменте я задерживаюсь, а Горемыкин, чего доброго, уже рассылает повсюду оповещения о моем побеге.

Курганский исправник принадлежал к породе добродушных, Горемыкину не был подчинен и, должно быть, поэтому даже с некоторым удовлетворением подтвердил мое предположение, добавив «пусть себе!»

Прошло еще два дня, и на имя исправника получился ответ, разрешавший мне оставаться в Кургане в течение десяти дней... со дня получения телеграммы. Я взял соответственное удостоверение от исправника и, решив это время использовать для посещения других мест ссылки, на следующий же день уехал в Омск. Здесь вся жизнь политических ссыльных была связана с редакцией газеты «Степной край». По моей оценке это была лучшая газета в Сибири. «Восточное обозрение» было скучновато, стремясь стать сибирскими «Русскими ведомостями», «Степной край» не гонялся за академизмом, жизнь била в нем ключом, причем в нем появлялись такие статьи, какие по цензурным условиям нигде на протяжении всей Российской империи не могли быть напечатаны. Это достигалось очень простым приемом. Цензор, по фамилии, кажется, Мамонов, выпивал и часто довольно изрядно, и в это время ему подносились для просмотра самые рискованные статьи... Дело дошло до того, что в одно не совсем прекрасное утро была губернатором получена телеграмма с двумя лаконическими вопросами:

«Что делается в «Степном крае»? Что делает Мамонов?»

С этого момента дни «Степного края» были сочтены. Этим объясняется то, что с этой более других близкой мне газетой, в которой принимали участие и Гоц и Якубович, я органически не успел связаться и поместил в ней только один довольно-таки бездарный очерк о пробуждении совести в учителе, вдалбливавшем в малышей правила латинской грамматики, и некролог умершего в Варшаве бывшего якутского ссыльного Александра Александровича Сиповича, подчеркнув в нем ту популярность, какую он за время двухлетнего своего пребывания в ссылке завоевал среди местного и пришлого населения. «В день его выезда 12 мая 1894 года,— указал я в этом некрологе, — с утра начали собираться во дворе его дома, во 2-м Модутском наслеге Намского улуса, окрестные якуты с женами, даже с грудными детьми. Около 10 часов утра, когда двор был уже битком набит собравшимися, на дороге показались самые почетные тойоны с улусным головой Дьяконовым во главе. Толпа расступилась. Навстречу прибывшим вышел Сипович, ввел их в дом, где был приветствован речью самого почетного старика,

Василия Зверстова. После речи ему был вручен на память от благодарных якутов дорогой старинный якутский костюм. Благодаря «инородцев», Сипович разрыдался. В ответ послышались рыдания всех собравшихся. Даже ссыльные башкиры плакали как дети, прощаясь с отъезжавшим и усаживая его на телегу. Путь лежал через Хатын-Арынское скопческое селение. Перед каждым домом стояли домохозяева. Полторы версты тянулось селение. Сипович все это расстояние прошел пешком, останавливаясь перед каждым домом и прощаясь. Среди всеобщего рыдания Сипович сел в тарантас и... навсегда скрылся из глаз своих осиротелых пациентов, которые, глядя на быстро увеличивающееся число свежих могил, долго еще будут вспоминать незабвенного Александра Александровича».

Насколько помню, фактическим секретарем редакции был политссыльный Дмитриев, через него я связался с другими вольными и невольными обитателями Омска, собравшимися у него на квартире. Я пробыл в Омске всего двое суток. Этим объясняется то, что из сравнительно большой колонии ссыльных я запомнил фамилии только четырех: Дмитриева и его жены Хлобощиной, Фроловского и его жены Ольги Николаевны Фигнер. Говорить о каждом из них в отдельности не приходится. За краткостью пребывания в Омске я просто не смог ближе к ним подойти, и в голове сохранилась только общая картина тогдашней политической ссылки. Картина светлая, куда светлее иркутской. И здесь ссыльные были в постоянном общении с местными, но здесь превалировал тон ссыльных. От общения с ссыльными революционизировалась местная среда, среди которой было много молодежи, уже ассимилированной ссыльными. Омская ссылка того времени поддерживала и революционную связь с Уралом, и, когда вспыхнула получившая громкую известность златоустовская стачка, кое-какое участие в ее организации принимал Омск, и сотни экземпляров «Степного края», посвященного забастовке, были направлены в Златоуст.

По своим воззрениям большинство тогдашних ссыльных было тем, чем было на воле, то есть народовольцами, но уже с определенными уклонами в двух направлениях: одни от народовольчества переходили, не без влияния М. Р. Гоца, к будущему эсерству, другие — к революционному марксизму. На эту тему велись довольно оживленные беседы, но, что меня удивляло,— только беседы, и то весьма мирные. Быть может, просто потому, что сторонники одного и другого направления сами еще только нащупывали позиции.

ОБРАТНО В ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ

Больно уж не хотелось покидать Омска, но приходилось торопиться, чтобы выгадать время и из Красноярска принять меры к освобождению себя от возвращения в Балаганск.

В Красноярске была весьма малая колония ссыльных, только двое: Н. С. Котан-Бернштейн, окончательно подавленная смертью А. А. Сиповича и жившая больше перепиской со своими сопроцессниками по якутпроцессу, чем местной жизнью, и шлиссельбуржец Караулов.

Караулов был, если не ошибаюсь, первым из освобожденных из Шлиссельбурга. О нем я много слышал и на воле. Его протест против бритья полголовы, применявшегося тогда к приговоренным к каторге, тоже приковывал к нему внимание... Я был убежден, что встречу горячего, темпераментного революционера, одного из тех революционных героев, которые на вечные времена прославили партию «Народной Воли». На деле при встрече с ним я испытал полное разочарование и уже тогда как бывший воспитанник классической гимназии подвел ему итог: «Nec locus, ubi Troja fuit» — «Не осталось даже места, где была когда-то Троя». Это был обыватель в полном значении этого слова. Спокойный, уравновешенный, в меру либеральный, и настолько «в меру», что из него весьма трудно было выудить что-либо даже о Шлиссельбурге. Получалось впечатление, что он боится говорить, опасаясь, что кто-нибудь огласит полученные от него сведения и он может пострадать. Я виделся с ним всего один раз — и с меня этого было вполне довольно. Не знавших Караулова в этот период его жизни удивило его участие в 1906 году в кадетской партии, меня лично не удивило бы, если бы он оказался в рядах октябристов, настолько он успел потускнеть, если вообще когда-либо блистал, если его участие в революционном движении не было случайным.

Красноярск того времени,— а то, что я пишу о нем, относится к 1896 году,— считался городом радикалов, но, хотя и в Иркутске нередко приходилось сталкиваться с ссылками на авторитет архирадикального Красноярска, он сильно отставал от Омска, несмотря на то, что он был радикальнее Иркутска.

Очагом радикализма в Красноярске была фельдшерская школа, если не ошибаюсь, основанная доктором Крутовским и им руководимая. Преподавателем в этой школе был гораздо более левый, чем сам Крутовский,— врач Гинзбург.

Это был вполне свой человек и благодаря прямолинейности и головотяпству кое-каких умниц, более отличающихся решительностью и энергией, чем умелым подходом к делу, за эту близость к революции чуть не пострадал при советской власти... Это те «гримасы жизни», которых трудно избежать.

Для революционеров, находившихся в ссылке, не оторвавшихся от революции, имело огромное значение установление постоянной связи с вновь ссылаемыми революционерами. Все направляемые в «не столь отдаленные места» Восточной Сибири ожидали установления места ссылки в Красноярской тюрьме, отправляемые в «более отдаленные места» могли задержаться здесь для отдыха. Свидания с проезжавшими не всегда удавалось

добиться, переписку через тюремных надзирателей, конечно, за определенную мзду, не всегда удавалось наладить, причем никогда не могло быть уверенности в том, что передаваемое из тюрьмы или в тюрьму письмо не попадет к жандармам. При таких условиях необходимо было найти более надежный путь для сношений с тюрьмой. Этот путь был найден Н. С. Тютчевым. Узнав откуда-то, что на должность тюремного врача власти не могут найти кандидата (кроме беспринципных бездарностей, эта должность никого не могла прельщать), Тютчев нажимал на Гинзбурга, чтобы он занял это место. Гинзбург отказывался и отбивался всеми силами, но в конце концов сдался. И долгое время, пока его не прогнали по настоянию жандармов со службы, он был живой связью воли с тюрьмой. В «благодарность» за это несколько лет тому назад в Самаре, где он жил и работал целый ряд лет, его как бывшего тюремного врача лишили избирательных прав, и только мое вмешательство в это дело избавило его от всех последствий этого решения и он был восстановлен в правах гражданства.

Гинзбург принадлежал к числу тех, которые оказывали посильную помощь самому делу революции в отличие от тех, которые, считая себя радикалами, не участвовали даже косвенно в революционном движении, но не могли уже по своему положению отказывать в услугах сосланным революционерам. Обыкновенно тех и других смешивали в одну кучу, между тем на деле разница между ними была огромная. Доктор Крутовский, славившийся своим радикализмом на всю Сибирь, никогда бы не согласился сделать того, что сделал Гинзбург, но это не мешало ему оказать ту или иную услугу тому или другому ссыльному, в особенности, если этот ссыльный пользовался в своей среде известным авторитетом. По убеждению это был радикал, большой общественник, но с определенным налетом сибирского сепаратизма. При его активном содействии и, как кажется, при его материальном участии была в Петербурге основана газета «Сибирь», освобожденная от предварительной цензуры и вскоре закрытая за написанную мною передовицу.

Эта передовая была посвящена вопросу, получившему именно благодаря «Сибири» широкую огласку, так как в подцензурных газетах никаких сведений о таких делах цензора не пропускали. В Минусинской тюрьме смотритель, типичный проходимец, изнасиловал арестантку. Сообщение об этом в газете заставило губернскую власть предать его суду. Этим она пыталась удовлетворить возмущенное общественное мнение. Я в передовице ребром поставил вопрос об ответственности тех, кто таких проходимцев назначает на такие посты. Это для властей было уже слишком, и «Сибирь» была закрыта.

Из других лиц, находившихся тогда в близких отношениях с ссыльными, запомнились только две ученицы фельдшерской школы, распропагандированные революционерами, Фридман и

Самойлович, обе вскоре вышедшие замуж и не оправдавшие надежд, возлагавшихся на них революционерами, но и не скатившиеся в тину обывательщины.

Несколько дней я провел в Красноярске. Как дамоклов меч, все время висела надо мной угроза возвращения в Балаганск. Надо было принимать меры, и я, заручившись врачебным свидетельством о том, что у меня хроническое воспаление легких, что в действительности имело место, в телеграмме на имя генерал-губернатора, ссылаясь на это свидетельство, настаивал на необходимости переезда в Минусинский округ, считавшийся «Сибирской Швейцарией». Ответ Горемыкина был краток и решителен: «Отказать».

Никаких законных оснований для такого отказа не было. Самая форма отказа, без всякой мотивировки, меня возмутила, и я, рискуя обратно попасть в Якутку (я знал самодурство Горемыкина), накатал ему уже в другом тоне телеграмму: «На каком основании мне отказано в переезде в Минусинск (я уже не довольствовался округом, а говорил о городе). Кроме болезни, дающей мне право перевода, я, как имеющий право приписки в «мещане из ссыльных», желаю приписаться в мещане города Минусинска». Я был убежден, что в одно прекрасное утро ко мне, по распоряжению из Иркутска, явится полиция и арестует для препровождения по этапу обратно в Балаганск, а то и в Якутку. Мне терять было нечего... Но прошло два дня и никто меня не трогал. Только на третий день меня вызвали в окружную полицию и там объявили, что от генерал-губернатора получено распоряжение выдать мне проходное свидетельство до Минусинска для приписки в мещане из ссыльных, но генерал-губернатор предупреждает, что, если мне не удастся приписаться, я буду водворен обратно в Балаганск.

Я был убежден, что минусинскому городскому управлению сделано было из Иркутска указание не приписывать меня. На деле оказалось, что этого не было. Горемыкину, самодурствовавшему во-всю, импонировало резкое и решительное выступление против его распоряжений. Это проявилось в его столкновении с Чикоидзе, о чем я уже упоминал, это повторилось и со мной. Он, к чести его, не выносил никакой дряблости, никакой слабохарактерности. Такой нерешительностью и дряблостью отличался красноярский губернатор, и Горемыкин во время своего визита у губернатора, когда маленький внук губернатора, несмотря на все угрозы наказания, громко ревел и топал ногами, не постеснялся в присутствии своей свиты и многих гостей громко сказать:

— В противоположность своему деду он знает свой удельный вес в губернии...

Получив на руки проходное свидетельство, я на пароходе отправился в Минусинск.

Начался новый этап моей жизни.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ССЫЛКИ

ПЕРЕЕЗД В МИНУСИНСК

С первым пароходом я отправился в Минусинск, пользовавшийся славой чуть ли не самого лучшего в санитарном отношении из городов ссылки, а на деле бывший городом сильных ветров и пыли. Потому, что мне эта репутация Минусинска была известна, и в особенности потому, что я хотел вырваться во что бы то ни стало из Балаганска, о котором не могу до сих пор вспомнить без отвращения, я с большой радостью направился в Минусинск.

В том, что последний не Балаганск, я убедился на пароходе, встретившись здесь с тогда уже бывшим ссыльным Петром Кулаковым, Александрой Александровной Кузнецовой, тогда еще молодой девушкой, и Арс. Арс. Яриловым, ныне известным профессором-коммунистом, отправлявшимися в глубь Минусинского округа с целью изучения местного населения: качинцев, кизильцев, сагайцев и др. Кулакова я знал еще по Иркутску. Это был человек, который производил наблюдения с птичьего полета, умел «всякий товар подать лицом», но он не был исследователем в серьезном значении этого слова. Внешность интересовала его гораздо более, чем внутреннее содержание, и когда он впоследствии опубликовал свои наблюдения, его товарищу по экспедиции — Ярилову — пришлось выступить с полемической брошюрой под заглавием «В защиту правды и приговоренных к смерти», в которой он доказал, что Кулаков не церемонится и с цифрами или что цифры противоречат тем выводам, какие он сделал.

Насколько мне известно, Кулаков сам впоследствии осознал, что взялся не за свое дело, и переменил специальность, учился затем за границей, стал ученым садоводом и с пользой для дела до сих пор подвизается на этом поприще.

Совершенно другое впечатление производили его товарищи по экспедиции. Они серьезно готовились к ней и, зная, что я подвизался в области антропологии и этнографии, долго и подробно расспрашивали меня, какой метод я применял при изучении интересовавшего нас предмета и на что, по моему мнению, им следовало бы обращать главное внимание.

Экспедиция Ярилова-Кузнецовой-Кулакова ставила себе целью этнографическое изучение указанных выше народностей. Срок экспедиции был ограничен и «мой метод», строго стационарный, весьма мало мог быть ими использован. Советовать им использовать пребывание в Минусинске для ознакомления с материалами, собранными в Минусинском музее, ныне по имени своего основателя носящем название Мартьяновского, было не к чему: это ими самими было предрешено, и они лишь просили меня встретиться с ними в музее. Я упоминаю об этом потому, что многим казалось прямо-таки диким, что я, приехав в Минусинск,— место ссылки, — только вечером, уже утром в 8 часов был в музее. Любители скороспелых заключений готовы были на основании этого факта причислить меня к лицу фанатиков-ученых.

Несмотря на столь раннее время, я в музее застал уже основателя и руководителя музея—Николая Михайловича Мартьянова. На личности этого далеко незаурядного человека мне необходимо остановиться, уже хотя бы потому, что из-за его скромности в написанном мною «Историческом очерке Минусинского музея за 25 лет (1877—1902)»[1], изданном музеем, его деятельность осталась в тени. Он самым решительным образом возражал против выпячивания его роли в музее. Правда, не имея возможности прямо сказать об этом, я в первой же главе довольно прозрачно намекнул на это, но это почему-то осталось незамеченным и меня тогда же упрекнули в прессе, что я умолчал о роли Мартьянова, а года два-три тому назад были сделаны попытки, со ссылкой на мой очерк, умалить роль и значение этого деятеля, и мне пришлось в минусинской прессе восстановить истину. Ввиду того, что и в будущем могут повторяться такого рода попытки, я здесь воспроизвожу сказанное тогда:

«Несмотря на неоднократные заявления г. Мартьянова и других лиц, знакомых с условиями возникновения и существования музея, как, например, Д. А. Клеменц, основателю музея отводится роль, не соответствующая действительности, и возникновение этого учреждения истолковывается не как результат местных стремлений, пожертвований и трудов многих, а как воплощение идеи и трудов *исключительно одного Н. М. Мартьянова*. Такое мнение и несправедливо и неверно. *По вполне понятным соображениям мы здесь не можем распространяться об общественных заслугах Н. М. Мартьянова по отношению к му-*

[1] Казань. 1902 г.

зею и вынуждены по этому вопросу отослать читателя к многочисленным статьям как в общих, так и в специальных изданиях, но в интересах музея и правды должны выяснить роль и заслуги той среды, которая в момент приезда будущего основателя музея в Минусинск была далеко не поросшей мохом и в которой можно было собирать любопытные экземпляры для пополнения ботанических коллекций, как в оное время думали некоторые, а наоборот, вполне подготовленной к восприятию научного зерна, сеянного Мартьяновым с момента приезда».

Что же представлял из себя Мартьянов? Он принадлежал к числу тех людей, которые, увлеченные одной определенной идеей, с упорством проводят ее в жизнь, которые умеют увлечь за собой других, умеют делать то, чем мы, большевики, всегда отличались,— умеют расшевелить массы, заинтересовать предметом и привлечь их к деятельности. Если бы мне пришлось ответить на вопрос, по чьей инициативе возник музей,— я бы сказал: по инициативе Мартьянова; под чьим руководством?— под руководством Мартьянова; чьими трудами?— трудами всего населения!

Знаменитый организатор кантональных музеев во Франции, E. Groult, говоря о кантональных музеях, сравнивал их «с обществом взаимного страхования, в которое каждый вносит свою долю знаний, труда и доброй воли, причем все жители кантона, от мала до велика, призываются к участию в собирании коллекций» («Yélo» от 24 июня 1878 г., статья «Cyclisme et musées cantonaux»). Мартьянов эту идею воплотил в жизнь. Минусинский музей стал делом рук самого местного общества, которое вело его в течение двадцати пяти лет самостоятельно, без казенных субсидий.

«В музее,— подчеркивал я в своем очерке,— посетитель не раз услышит от его основателя трогательный рассказ о происхождении многих предметов коллекций. Вот группа образцов столбчатого порфира — ее двое минусинских мещан вывезли из дикой тайги зимою; запрягались в нарты и волокли эти столбики по горам и пропастям...

А вот коллекция пород: в страшную непогодь, по весенней распутице, тащила партия золотоискателей на спинах тощий запас сухарей, переходя по бревешкам и по жердочкам кипучие горные реки. «Не чаяли и живыми быть»,— говорили они, и, тем не менее, от каждого утеса отбивали по кусочку, клали в торбу и, голодные, тащили каменья для «нашего музея». Мелкие торговцы в тороках из глубины Монголии привозили вещи, нужные музею; более крупные и интеллигентные—вспомним хотя бы Сафьянова — тратили немало сил и средств на собирание строго научных коллекций. Все минусинское общество в целом поддерживало все время музей и нравственно и материально; наконец немало интеллигентных сил, в силу современных обществен-

ных условий заброшенных в далекую Сибирь (прямо называть политических ссыльных нельзя было по цензурным условиям — Кропоткин, Клеменц, Лукашевич, Аргунов, Яковлев и др.), сделали возможным то, о чем не мечтал сам Н. М. Мартьянов — научную обработку собранных коллекций в самом Минусинске».

На основании этих данных одни причисляли Мартьянова чуть ли не к симпатизирующим революционному движению, другие, шокированные тем, что он добивался и добился для музея портрета Николая II с собственноручной его подписью, готовы были считать его ярым монархистом. Но и те, и другие были не правы. Он ценил политических ссыльных, поскольку они были полезны музею, добивался портрета царя, потому что это было выгодно для музея. Он жил музеем и для музея. Все остальное проходило мимо него. Когда однажды Аркадий Владимирович Тырков в беседе об этой превалирующей в Мартьянове черте поставил вопрос — что делал бы Мартьянов в момент революции?— я не колеблясь ответил: «Будет фотографировать баррикады, собирать осколки бомб и гранат и т. д. и т. п. и тащить в музей».

Таков был Мартьянов до конца своих дней. Так именно его расценивали многие ссыльные и, несмотря на это, они с основания музея и до конца моего пребывания в ссылке принимали самое активное участие в работах музея.

Может показаться странным, что я, революционер, говоря о переезде в Минусинск, так долго останавливаюсь именно на музее, на участии в его работе политических ссыльных. Дело в том, что до того момента, когда революционное движение начало принимать массовый характер, положение ссыльных в очень многих местах ссылки,—примером может служить Балаганск,— было чрезвычайно тяжелым именно из-за невозможности для ссыльного принимать какое-либо разумное участие в местной жизни, и на этой почве до 1904 года до десяти процентов долгосрочных политических ссыльных погибало от алкоголя, огромный процент кончал самоубийством, огромный процент разлагался. Минусинск же именно благодаря существованию в нем музея составлял в этом отношении исключение.

Сам по себе Минусинск был маленьким городком, насчитывавшим менее десяти тысяч жителей. О какой бы то ни было революционной работе в Минусинске, не говоря, конечно, о воздействии на отдельных лиц, нельзя было и думать. В этом отношении все сводилось к сохранению связей с революционерами в России, к получению сведений оттуда о ходе движения. Эти сведения пассивно воспринимались, но не давали возможности активно включиться в борьбу. При таких условиях возможность работать в музее прельщала многих.

К этому надо добавить, что при музее была огромнейшая библиотека, сначала помещавшаяся в здании музея, а впоследствии переведенная в специально выстроенное здание. В этой

библиотеке были книги по всем отраслям знания. Работая над историей музея и используя для этого архив, я был поражен одним явлением. Не было ни одного политического ссыльного ни в самом Минусинске, ни в округе, ни даже за пределами Минусинского округа, который бы не был в переписке с Мартьяновым, который бы по тем или иным вопросам не сносился с ним, который бы не получал книг из библиотеки. Таких не было.

Во мне Мартьянов усмотрел подходящий материал для использования в интересах музея и буквально «с места в карьер» принялся меня в этом отношении обрабатывать, воспользовавшись для этого посещением музея Яриловым и его товарищами, которых он знакомил с имевшимися в музее коллекциями, а меня прельщал при этом указаниями на то, какую огромную работу нужно проделать над еще никем не описанными коллекциями музея.

Хотя я до этого времени много успел поработать в области этнографии, и можно было бы предположить, что агитация Мартьянова в данном случае излишня, но на самом деле на первых порах он этой своей агитацией действительно стучался в довольно плотно закрытую дверь. Странствование по городам Сибири и проведенные беседы с целым рядом революционеров только заострили мучивший меня и все еще не решенный для меня тогда вопрос о дальнейшем пути революционного движения. Поэтому в первый период моего пребывания в Минусинске Струве и Бельтов, книги которых я буквально штудировал, поглощали все мое внимание. Мне было не до коллекций, не до этнографии.

МИНУСИНСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ

В момент моего приезда в Минусинске было всего несколько человек ссыльных, старейшим из них был Аркадий Владимирович Тырков. Многие, даже из числа членов Общества бывших политкаторжан, на мой вопрос — знают ли они, кто такой Тырков, какую роль он выполнил в революционном движении, не смогли дать на это никакого ответа. А между тем он активно участвовал в покушении на Александра II 1 марта 1881 года и был одним из сигнальщиков. Правда, он не был привлечен к суду ни вместе с другими первомартовцами, ни позже. Объясняется это, по тем сведениям, какие у нас были в Сибири, следующим обстоятельством: Аркадий Владимирович был сыном «столбового дворянина» и крупного сановника, происходил из того общественного слоя, на который опиралось самодержавие, и трещины в этом слое смущали и шокировали царское правительство. Поэтому в расчеты правящих сфер не входила судебная демонстрация тех враждебных самодержавию процессов, яркой иллюстрацией которых явилось участие в убийстве Александра II С. Перовской и Тыркова. Изъять из процесса первомартовцев

Софью Перовскую не представлялось возможным, потому что при судебном разбирательстве скрыть ее центральную роль в убийстве царя было невозможно. Тырков же в этом деле играл меньшую, незаметную роль, и его отсутствие в числе обвиняемых по делу 1 марта в глаза не бросалось. Поэтому он к судебной ответственности и привлечен не был, да в этом и надобности не было, так как и без суда можно было расправиться с Тырковым. И правительство попыталось это сделать. Тырков, совершенно здоровый, был объявлен сумасшедшим и помещен в Казанскую больницу для умалишенных, где пробыл несколько лет, и, как он рассказывал, чувствовал не раз, что дальнейшее его пребывание там действительно сделает его сумасшедшим. После нескольких лет благодаря хлопотам весьма влиятельных лиц, в том числе и отца его, он, единственный, насколько мне известно, в истории революционного движения был пожизненно административным порядком сослан в Минусинск.

Как известно, от времени до времени разные высшие сановники из департамента полиции объезжали все места ссылки, посещали и каторгу и предлагали подавать прошения о помиловании, ручаясь за успех. Так, когда я был на каторге, к нам явился Русинов — директор департамента полиции. Еще раньше приезжал какой-то сановник к доктору Веймару и предлагал ему написать даже не прошение о помиловании, а только письменно заявить, что он противник террора, с тем, что после подачи такого заявления его немедленно освободят, но получил от Веймара ответ: «Я на этот счет неграмотен». Во время одного из таких объездов тот же Русинов явился к Тыркову и уговаривал, ссылаясь на его отца, подать прошение, ручаясь за успех. Тырков отказался. Тогда удивленный сановник поставил ему вопрос: «На что же вы в таком случае рассчитываете, ведь вы же пожизненно сосланы?» Последовал ответ: «На конституцию». Этот ответ привел в бешенство департамент полиции и, сколько раз после этого ни затрагивался вопрос о назначении срока Тыркову, в департаменте полиции отвечали ядовито: «Еще конституции нет, пусть подождет». И он ждал.

Пребывание в Минусинске на Тыркове отразилось совершенно в другом отношении, чем обыкновенно на ссыльных отражается ссылка. Философ по натуре, философ по образованию и любитель занятий философией, в первое время своего пребывания в ссылке он сильно тосковал; впоследствии женился на местной обывательнице, и жизнь свою до конца пребывания в ссылке фактически ухлопал на уроки, бегая с одного на другой, лишь бы прокормиться, лишь бы просуществовать с женой. Революционные интересы, я бы не сказал, что заглохли в нем; нет, они получили лишь другое преломление и преломление довольно отрицательное. Участник 1 марта, рассчитывавший на то, что само событие 1 марта встряхнет настолько всех, что массы поднимутся, полагавший, что систематический террор, доведший

наконец до убийства Александра II, даст хорошие в этом отношении результаты, что «Народная Воля» добьется определенных уступок со стороны царского правительства,— когда все это рухнуло и постепенно воцарилась жесточайшая реакция, он постепенно сползал с народовольческой позиции на позицию конституционалиста. Тырков был глубоко убежден в том, что Россия пойдет по тропе, проложенной Западной Европой, что царское правительство по мере развития буржуазии вынуждено будет дать хоть куцую конституцию и тогда уже можно будег дышать свободно. На этой почве у нас в семье ссыльных происходили жесточайшие споры. В спорах этих Аркадий Владимирович не был обособлен. Не надо забывать, что это был период, когда в ссылку пришли народопродавцы, то есть, как я уже говорил, та группа, которая провозглашала объединение оппозиционных элементов с революционными, думала найти опору в так называемом обществе, уже без всякого идеологического обоснования, которое в оное время делала в определенный период «Народная Воля». Народоправцы фактически провозглашали программу радикалов, отступив не фактически, как о многих из них было известно, а по крайней мере на словах, формально, от социализма. В Минусинске в то время было два представителя народоправчества. Один, очень влиятельный в ссылке, Н. С. Тютчев, другой — человек мягкий, поддающийся влиянию — Евгений Константинович Яковлев. Разница во взглядах между А. В. Тырковым и Тютчевым и Яковлевым была чисто внешняя. Над Тырковым тяготело прошлое, он был народовольцем, он принимал активное участие в деятельности «Народной Воли», вся жизнь его концентрировалась на этом героическом выступлении, и поэтому, фактически стоя на той же народоправческой почве, он эту народоправческую оболочку не признавал и часто вступал с Тютчевым и Яковлевым в споры, но не по существу. Поэтому из этого словесного спора Тютчев выходил в большинстве случаев победителем, что объясняется до некоторой степени определенным налетом вялости, весьма характерной для Аркадия Владимировича. По временам он напоминал Бен-Акибу с его знаменитым: «Все это уже было»; было в нем немало и от обломовщины.

По своим душевным качествам А. В. выделялся из среды ссыльных. Честный, сердечный, готовый помочь всем, поделиться буквально последней копейкой с товарищем, он был всеобщим любимцем ссыльных. Очень хорошо к нему относились и не ссыльные, и это отрицательной тенью ложилось на него. Фактически махнувши рукой на свою общественно-политическую жизнь, он, женатый на местной жительнице, доброй в сущности женщине, но мещанке до мозга костей, был неразборчив в знакомствах с местными обывателями: бывал у секретаря минусинской городской управы Черняева, первоклассного, но далеко не чистоплотного дельца, не брезгавшего никакими средствами для

проведения выгодного для себя дельца; водил знакомство с сосланным за шпионаж польским графом Ржищевским, продолжавшим и в ссылке «графский» образ жизни с выпивками, картежничеством и т. д.

Во всех этих людях А. В. разбирался очень тонко, но это его не удерживало от общения с ними. На меня он производил впечатление мятущегося, выбитого из колеи человека, не видящего для себя никакого выхода. И страшно больно было за этого далеко незаурядного человека.

Его мог спасти подъем революционного движения. Но не спас. Он вернулся на родину, засел в отцовском имении Вергеж и занялся хозяйством. Не принимая непосредственного участия в политической жизни, он эту политическую жизнь воспринимал в довольно искаженном преломлении, через свою сестру — Ариадну Владимировну (А. Вергежскую). Я был сильно привязан к нему и, несмотря на то, что был нелегальным, как только очутился в Питере, заехал к нему в Вергеж, в Новгородской губернии. Он — в 1905 году — с увлечением рассказывал мне о молочном хозяйстве, которым он непосредственно ведает, показал образцовый коровник.

От Тыркова-революционера уже тогда ничего не осталось...

Весьма близкий к Тыркову по взглядам, Н. С. Тютчев по характеру был его прямой противоположностью. Тырков был мягок, уступчив, во многих случаях нерешителен и всегда бережно относился к личному достинству человека, с которым имел дело, и я не помню случая, чтобы он кого-либо задел. Тютчев был деспотичен, решителен, часто груб и беспощаден по отношению к людям, чем-либо вызвавшим его недовольство. Тырков одинаково хорошо относился ко всем товарищам по ссылке, не интересуясь революционными чинами и рангами сосланных. Тютчев одних третировал, по отношению к другим был сдержан и считался с каждым словом. В то время друг и соратник М. А. Натансона, он, несмотря на большие революционные заслуги в прошлом, среди ссыльных не пользовался ни той популярностью, ни тем авторитетом, каким пользовался М. А. Натансон, несмотря на то, что его активность и подвижность, его стремление и в ссылке продолжать работу, за которую был сослан, вызывали уважение. Эту активность он проявил во время краткого пребывания в Красноярске и распропагандировал там довольно много (около десятка) учениц фельдшерской школы и нескольких врачей.

Насколько я мог разобраться в тогдашнем его мировоззрении, он, несмотря на свою революционную фразеологию, был правее Тыркова, настолько правее, что, когда я в 1905 году встретился с ним в Финляндии, я был удивлен, что он принадлежит к партии социалистов-революционеров, но зато нисколько не удивился, когда он оказался в числе депутатов учредительного собрания, во фракции крайне правых эсеров.

Моя последняя встреча с ним — в 1917 году — в высшей степени для него характерна. По поводу моего переезда из Швейцарии в Россию в 1917 году в «запломбированном вагоне» мне приходилось говорить со многими старыми товарищами, за это время очутившимися в самых различных партиях. Одни, как И. И. Майнов, великодушно прощали мне как поляку этот переезд через «вражескую страну»: «Вас не обязывает то, что обязывает нас, русских»... Другие, как Минор, понимали мотивы переезда, признавали революционность этих мотивов, но, будучи оборонцами, считали, что такой переезд вреден по своим результатам, так как ослабляет энергию обороны... Тютчев ограничился лишь восклицанием: «Какая гадость!» и, получив должный отпор, обиженно умолк. Больше мы с ним не встречались.

Единомышленником Н. С. Тютчева, сосланным равным образом за участие в партии «Народное право», был Евгений Константинович Яковлев. Слабохарактерный, он, несмотря на свои положительные душевные качества, честный, хороший товарищ, услужливый, не без способностей и весьма трудолюбивый, на дознании вел себя не так, как подобает вести себя революционеру. Возможно, что это было вызвано и физическим дефектом: он страдал глухотой. Деталей его поведения на дознании я не знаю. Но, как бы там ни было, отношения к нему, в первую очередь Тютчева, должны были быть вполне определенными. На деле было не то. Тютчев жил с ним некоторое время на одной квартире, отношения между ними были вполне товарищеские, и я, живший недели две на той же квартире, даже ничего не подозревал. И только однажды ночью я был разбужен громким объяснением между ними по поводу показаний Яковлева,— объяснением, граничившим с издевательством, доведшим Яковлева до истерики... А на следующий день уже отношения опять были нормальными. В связи с этим объяснением я довольно продолжительное время с подозрением относился к Яковлеву, но тот факт, что Яковлеву его единомышленниками давались конспиративные поручения и что он впоследствии, в 1904—1905 годах, был Тютчевым же привлечен к партии эсеров и работал в «Сыне отечества» под редакцией Юровского, свидетельствует о том, что выдвигавшиеся против него обвинения не особенно серьезны.

Но эти обвинения отражались на психике Яковлева, и он ретиво и рьяно на каждом шагу подчеркивал свою преданность народоправчеству. Присутствуя при моих спорах с Тырковым и Тютчевым, он сильно «встревожился», когда я выразил желание съездить к прибывшим в ссылку и проживавшим в с. Тесь членам «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Кржижановскому и Старкову: «Смотрите, перейдете на их сторону!»—предостерегал он меня не раз. Я был удивлен этим предостережением. Он был прав. Я стремился к ним, рассчитывая в беседе с ними получить ответы на те вопросы, которые еще не

давали мне оснований «перейти на их сторону». Я съездил все-таки к ним в сопровождении Яковлева, но мое дело «не выгорело», нужной мне беседы не удалось завести, а после, о чем я еще буду говорить ниже, одна из обычных ссыльных историй надолго оттолкнула меня от них.

После ссылки я встретился с Яковлевым всего один раз, в редакции «Сына отечества». В 1917 году он жил в Питере, о моих выступлениях он не мог не знать, так как на них были отклики в печати и даже «Новое время» почтило меня бранной разделкой. Но он не попытался повидаться со мною, несомненно разделяя на мой счет взгляды своего учителя и мучителя Н. С. Тютчева.

В Минусинске он после отъезда Тютчева с головой окунулся в музейную работу и составил довольно ценную работу по этнографии Минусинского округа.

Кроме перечисленных, отбывал тогда в Минусинске ссылку довольно известный в то время, особенно на юге, Сергей Мельников, в третий раз попавший в административную ссылку, по его собственным словам, считавший себя народовольцем, но доходивший в изложении своей программы, своего мировоззрения до индивидуалистического анархизма. А так как к тому же он был человеком с довольно-таки развитой фантазией, то часто в результате его высказываний получалась смесь, называемая немцами «Dichtung und Warheit». Вымысел и действительность так тесно были переплетены друг с другом, что даже мы, прожившие в ссылке довольно много времени, имевшие за собой многие годы революционной деятельности, часто только месяцы спустя узнавали, что он втирал очки, что этого вовсе не было. По характеру это был человек, любящий спорить, умеющий вставлять такие словечки, которые раззадоривали и подзадоривали к дальнейшему спору. Обыкновенно ему принадлежала заслуга стравливания нас друг с другом на почве принципиальных споров, сам же он оставался в стороне и мы не могли дощупаться до его позиции. Я был в то время ярым участником всех этих словесных состязаний и, в порядке самокритики, должен сознаться, что, критикуя народовольцев, я не противопоставлял им четкой своей позиции и не противопоставлял потому, что у меня ее еще не было. На этом меня часто ловили собеседники, в особенности Тырков.

Весьма малое участие принимал в этих спорах Алексей Орочко и Семен Райчин.

Осужденный по делу Софьи Гинзбург в ссылку на поселение, Орочко не без иронии относился ко всем этим принципиальным спорам. Он был прежде всего и раньше всего человеком дела. Энергичный, предприимчивый, он по прибытии в ссылку занялся внедрением сельскохозяйственных машин в округе и проводил это дело успешно. Революционер по темпераменту, но плохо разбиравшийся в существовавших в революционной среде разно-

гласиях, он, по инерции считая себя народовольцем, сочувствовал всякому делу, часто не давая себе отчета в том, что дела, в которых он участвует, противоречат одно другому. Он был противником марксистов и организовывал побеги марксистов; резко осуждал всю политику самодержавия как внутреннюю, так и внешнюю, и, несмотря на это, нам, в том числе и его жене, Копыловой, с трудом удалось повлиять на то, чтобы он не заявил в связи с японской войной о своей готовности служить в армии, «защищать родину». «Великодержавный шовинизм», если употребить современный термин, чувствовался в нем уже тогда очень сильно.

С отъездом из Минусинска я его утерял из виду и, принимал ли он участие в революции 1905 года, — не знаю. Встретил я его вновь в 1918 году в Харькове, в исторический момент, когда петлюровцы поспешно бежали и в Харьков вновь входили большевики. Он рвал и метал против советской власти. Разговор наш был короток. Не о чем было говорить. Близкие друг с другом в ссылке, мы «разошлись, как в море корабли»...

Семен Райчин, просидевший до этого четыре или пять лет в «Крестах», был на минусинской почве первой ласточкой социал-демократизма, но, к сожалению, ласточкой не особенно привлекательной. Он принадлежал к категории ретивых «не по разуму» и, сделавшись социал-демократом, презрительно и свысока относился ко всем нам. При первой встрече со мной он меня ошарашил вопросом: «Ну, что? Вы еще не поумнели?»

К другим ссыльным он относился не лучше, если не хуже. Он относился ко всем не социал-демократам, как к «чуждому элементу». Это вызывало столкновения, и Райчин держался совершенно особняком. Мне в связи с моими тогдашними переживаниями это было особенно тяжело, да и обидно было не столько за себя, сколько за новое течение, представителем которого он был. К счастью, вскоре начали появляться в окрестностях Минусинска и заглядывать в Минусинск другие представители этого течения, в частности впоследствии погибший во время протеста в Якутии Виктор Курнатовский. Беседы с ним мне выяснили многое, многим я ему обязан и, если бы не разыгравшаяся впоследствии нелепая история, очень вероятно, что весьма болезненный процесс моего перехода к революционному марксизму проходил бы и скорее и менее болезненно.

Посещали нас от времени до времени и две местные социал-демократки — студентки Окуловы, из которых младшая своим энтузиазмом и искренностью вызвала во всех нас большую симпатию. Мне они ответов на мучившие меня вопросы дать не могли.

Одной из характернейших особенностей Минусинска было то, что туда прибывали все новые и новые ссыльные как из России, так и из других мест ссылки. Благодаря этому вместе с составом менялись и отношения, а этот состав был очень раз-

ношерстным. Совершенно особняком держал себя рабочий из Варшавы, старик Блажеевский, когда-то очень активный участник рабочего движения в Польше, под конец жизни увлекшийся проповедуемыми польским мелкобуржуазным писателем Болеславом Прусом (Александром Гловацким) рабочими организациями, напоминавшими щульце-деличевские организации в Германии. За несколько дней до своей смерти он вызвал меня с определенной целью распропагандировать.

Особняком, но по другим поводам, держал себя и Алексей Макаревский, когда-то весьма активный, бежавший из тюрьмы и после вторичного ареста сосланный в Якутскую область. Еще во время своего пребывания в Якутии Макаревский стал в резкое противоречие со своим прошлым, а когда я приехал в Минусинск, он уже щеголял в мундире акцизного надзирателя...

Из Якутии же прибыл в Минусинск и Михаил Стояновский, осужденный по делу Софьи Гинзбург, повидимому под ее влиянием примкнувший к революционному движению и весьма скоро выдохшийся, когда это влияние вскоре прекратилось.

Совершенно другой тип ссыльных представляли два однофамильца (может быть, даже родственники — не помню) — Аарон Павлович и Михаил Владимирович Лурье. Оба были сосланы как социал-демократы, оба были... не социал-демократами, наоборот, такими поклонниками Н. К. Михайловского, какими не были даже народовольцы. Когда в Минусинске было получено известие о внезапной смерти Михайловского, Аарон Павлович прямо места себе не находил, считая эту смерть такой катастрофой, от которой «Россия не скоро оправится». Так же, хотя и не так экспансивно, расценивал эту смерть и Михаил Владимирович. Последний некоторое время работал в Польше, был знаком с Пилсудским, и влияние Пилсудского на нем сказывалось очень сильно.

Аарон Павлович, благодаря своей прямоте и честности снискавший в ссылке всеобщее уважение, по своему развитию был значительно выше своего однофамильца, но, несмотря на это, подчинялся его влиянию. Об их деятельности на воле мне весьма мало известно; в ссылке же они стояли на позиции «Русского богатства», причем у А. П. был девиз: бережно относиться к личности. Всякое подавление личности вызывало в нем протест. Ниже я приведу написанный мною рассказ о муках девочки, ожидавшей наказания за порчу собранной ученым коллекции жуков. Прочитав этот рассказ, А. П. сделал замечание: «А я бы написал на вашем месте рассказ о муках ученого, труды которого гибнут из-за некультурности окружения».

С А. П. и М. В. Лурье я встречался и впоследствии, но уж в совершенно другой обстановке. С Михаилом Владимировичем — в Варшаве. Он всецело разделял взгляды националистической части ППС и с пеной у рта нападал на меня за непонимание необходимости для пролетариата борьбы за отделение от России.

Семейные условия заставили его эмигрировать в Америку, где он, кажется, пребывает и в настоящее время.

Аарон Павлович по возвращении из ссылки поселился в Полтаве, откуда я его вытащил в г. Николаев. Я короткое время был одним из редакторов газеты «Южная Россия». Зная его как талантливого журналиста, зная также, что он инженер, не работающий по своей специальности, я поехал в Полтаву специально затем, чтобы убедить его заменить меня в этой газете. Он охотно согласился, так как его самого тянуло к перу. Его фельетоны, подписанные псевдонимом «А. Смирный», всегда живые, окрашенные тонким юмором, создали ему определенное имя.

Во взглядах его за это время произошел определенный уклон вправо. В бурные «митинговые» дни 1905 года он примкнул к умеренному крылу «Союза инженеров», и мне не раз приходилось выступать против него. В дальнейшем он все более и более переходил на позицию народных социалистов.

Следующая наша встреча происходила в 1917 году в Питере. Для меня было неожиданностью, что он стал оборонцем. Во время Октябрьской революции и первое время после Октября он в Питере принимал участие в редакции какой-то энэсовской газеты, затем в связи с событиями перекочевал в Симферополь, где продолжал в этом же направлении свою журналистскую работу. Приехав по какому-то делу в Харьков, он разыскал меня. Всегда честный, прямой, часто до наивности откровенный, он в разговоре со мной сам удивлялся тому раздвоению, какое в себе наблюдал. Оставаясь на прежних своих позициях, он одновременно прямо-таки любовался все более и более разраставшимся рабочим движением. Говорили мы долго, и я вынес впечатление, что всегда отличавшая его честность в подходе к вопросам поможет ему окончательно разобраться в положении... Укрепили меня в этом убеждении доходившие до меня слухи о том, что он в Крыму оказывает возможные услуги преследуемым коммунистам. Я его любил и глубоко уважал и мне очень хотелось увидеть в нем соратника в борьбе... Нелепая случайность, объяснимая в условиях борьбы на фронте, но не могущая все же примирить всех знавших Аарона Павловича с его смертью, разрушила эту надежду. Произошла «судебная ошибка» — и он погиб.

О других ссыльных, промелькнувших как метеор, нечего распространяться, несмотря на то, что в те времена они произвели в ссылке своего рода сенсацию. Это было время, когда в России разлилось по всей стране забастовочное движение и в ссылку угодили забастовщики. Среди них были люди, для которых это участие в забастовочном движении было началом революционного пути, с которого они уже до конца жизни не сошли; были и другие, для которых выставленные забастовкой требования были единственной целью их выступления; но были и типы, которых менее всего можно было ожидать в ссылке. Один из них поразил

нас всех. Уже на следующий день после приезда он пошел на базар, но не за покупками, а для решения вопроса, чем выгоднее торговать в Минусинске... Парень был решительный. Еще дня через два крохотная комнатка, в которой он поселился с женой, заполнилась скупленным им для перепродажи конским волосом. В комнате пыль была невообразимая, а в этой пыли оба супруга зачем-то теребили этот волос. То ли он купил зачумленный волос, то ли по другой причине, но его жена внезапно заболела и столь же внезапно умерла. На предприимчивого мужа эта смерть не произвела большого впечатления,—как «деловой» человек, он и к этому вопросу отнесся по-деловому: «жена умерла, надо найти другую». А так как, по его объяснению, у евреев существует правило, что если жена умрет, то вдовец имеет право взять в жены следующую за ней сестру, то одновременно с извещением родных о смерти жены он письменно потребовал, чтобы сестра его жены приехала к нему. Как ни старался М. В. Лурье разубедить его в этом, но это ему не удалось. Это он считал своим правом и страшно негодовал и возмущался, получив от сестры жены отказ.

Перечисляя живших в то время в Минусинске политических ссыльных, я не назвал женщин отнюдь не потому, что все они были «добровольно преследующими женами».

Кроме этих «добровольно преследующих», были угодившие в ссылку по своему собственному, а не по мужниному делу. Таких было три: жена Тютчева, в то время уже больная раком и вскоре уехавшая, моя жена и жена Орочко-Копылова, на которых из-за детей оправдывались слова польского поэта:

Если женщину назвать: «жена»,
Она уже живою погребена.

Они принимали участие в жизни ссылки и в обсуждении различных политических вопросов, но большую часть их времени поглощали дети.

Из числа ссыльных, фамилии которых запечатлелись в моей памяти, я не упомянул еще о двух: о Распопове, сосланном по одному делу с Сергеем Мельниковым и в ссылке ничего особенного не представлявшем, а по возвращении из ссылки занявшемся в Одессе книгоиздательством и издавшем в 1905 году несколько порядочных книжек, и о П. Н. Лепешинском, которого я ближе не успел, к сожалению, в то время узнать, так как он вскоре при помощи содействия своей жены и Орочко убежал.

ОТНОШЕНИЯ С НАЧАЛЬСТВОМ

В отношениях с начальством во время моего пребывания в Минусинске было два периода. Первый период, когда во главе местного полицейского управления стоял исправник старого типа, Мухин, придерживавшийся традиционного правила: «Вы меня

не трогайте и я вас не буду трогать, лишь бы все было «шито-крыто». И он нас не трогал. Но его почему-то убрали и на его место прислали из Енисейска некоего Стоянова — «военную косточку», как его характеризовали местные чиновники. Об этом Стоянове мы знали, что он в отношениях с административными ссыльными в Енисейске держал себя вызывающе грубо, а так как имел дело с новичками, то не получил должного от них отпора.

По приезде в Минусинск Стоянов попытался и к нам применить этот метод. Но тут это ему не удалось. Произошло первое столкновение и как раз со мной.

В то время еще существовал особый способ надзора, состоявший в том, что специально для этого назначенный надзиратель обходил квартиры находившихся в Минусинске ссыльных и от каждого ссыльного требовал, чтобы тот удостоверил собственноручной подписью, что надзиратель у него был. Другими словами, в переводе на человеческий язык — мы должны были контролировать надзирателя и удостоверять своей подписью, что он нас хорошо караулит. Получалась дичь. Это было не только в Минусинске. Моя жена в Верхоянске за отказ подписаться в книге поехала в Якутскую область в наказание за неисполнение приказаний начальства. Стоянов моментально по приезде распорядился, чтобы надзиратель требовал подписи. Положение надзирателя было незавидным: как он мог заставить нас расписаться? Происходили довольно «милые» объяснения, не дававшие никаких результатов. А исправник по отношению к надзирателю применял репрессивные меры, но, убедившись, что из этого ничего не выйдет, он начал нас вызывать к себе. Одним из первых попал я. Являюсь к исправнику. Исправник, развалившись, сидел и ждал моего подхода к столу, не думая встать и не думая пригласить меня сесть. А так как мы к такому отношению не привыкли и не хотели приучать к нему исправника, то, когда он начал со мной говорить, я взял стул, сел и сказал:

— Хорошо, что вы подняли этот вопрос, надо его выяснить.

— Я вас не приглашал сесть, — остановил меня исправник.

— Нет, вы пригласили: раз вы сидите, вы этим меня приглашаете сесть.

— Я этого не допущу, вы — в присутствии.

— Не допускайте!

Необходимо пояснить, что по уставу о ссыльных исправник имел право ссыльно-поселенцев за мелкие проступки, по своему усмотрению, наказывать арестом не свыше двух недель.

Он воспользовался этим.

— Я вас приговариваю к двум неделям ареста.

— Принимаю к сведению, будьте любезны мне дать копию постановления.

Дело в том, что тут мне помогли мои юридические познания. Исправник не обязан давать копию постановления. Но коль ско-

ро он выдает копию постановления на руки, то он этим самым признает свое решение не окончательным, а подлежащим обжалованию.

— Я вам велю сейчас его выдать.

Получив копию, я сухо заявил, что я обжалую это решение губернатору.

— Ладно, но вы отсидите.

— Нет, не отсижу, вы не имеете права теперь меня сажать. Вам официально объявлено об апелляции губернатору.

Последовал взгляд в сторону секретаря. Секретарь кивнул головой, подтвердив правильность моего заявления.

— Жалуйтесь! Жалуйтесь!

Я и пожаловался.

В то время отношения в Минусинске были такие, что трудно было провести определенную грань между свободными обывателями и нами, ссыльно-поселенцами. Было много интеллигенции, много врачей, лесничих, податных инспекторов, много действительно интеллигентных людей, был и городской голова, довольно неглупый человек, с которым ссыльные часто встречались и которому помогали своими познаниями в разных затруднительных случаях. И Стоянов попал в довольно глупое положение. Известие о том, что он меня приговорил к двум неделям ареста, а я прибыл в Минусинск не только как ссыльный, но и как до некоторой степени ученый, напечатавший довольно много работ,—произвело большое впечатление среди местного населения. Не было ни одного человека, который бы при встрече со Стояновым не ставил вопроса: «За что вы Феликса Яковлевича на две недели под арест сажаете?» Кончилось это довольно глупо для исправника. Губернатор оказался умнее Стоянова и его решение было отменено. С другими ссыльными он уже больше не пробовал объясняться. Но надзиратель продолжал регулярно обходить и вручал нам для подписи контрольную книжку, но никто не расписывался. Положение Стоянова (я забегу немножко вперед) особенно усложнилось после того, как я провел экспедицию в Урянхайскую землю, о которой появились заметки в прессе не только в России, но и за границей. После моего возвращения антропологический отдел Общества естествоиспытателей в Москве наградил меня золотой медалью и премией имени Расцветова. Медаль была послана антропологическим отделом исправнику для вручения мне. Он был поставлен в глупое положение, тем более глупое оттого, что ссыльно-поселенцам по уставу нельзя было получать никаких знаков отличия, а, как бы ни смотреть на присланную мне медаль, она являлась знаком отличия. Исправник вызвал меня повесткой. Когда я явился к нему, он оказался в полной парадной форме и хотел с большим торжеством совершить акт вручения мне медали. Он начал: «Вы награждены...» Я прервал: «Знаю, дайте мне медаль». Он окончательно решил, что я очень нетактичный и грубый че-

ловек и больше со мной не имел отношений до определенного, довольно курьезного момента.

В Пулкове существует, как известно, обсерватория. Начальником этой обсерватории был генерал-лейтенант Шварц. Заинтересованный какими-то аномалиями в Минусинском округе, он заехал в Москву в антропологическое об-во узнать о том, у кого он там может получить сведения, помощь и т. д. Н. М. Мартьянов был в то время болен и уехал, если не ошибаюсь, в Крым лечиться. Ввиду этого Шварцу в Москве указали на меня. О приезде генерала исправник был извещен телеграммой и в полной парадной форме поехал на пристань встречать его превосходительство. После доклада, что все обстоит благополучно, Шварц обратился к Стоянову:

— Слушайте, исправник, у вас здесь, говорят, живет ученый Кон, мне в Москве говорили.

— Так точно.

— Узнайте, пожалуйста, у него, когда он сможет меня принять.

Получился эффект необыкновенный. Его превосходительство приказал исправнику, и исправник это приказание не мог не исполнить. Он явился ко мне и, конфиденциально объяснив, что ученые не разбираются в отношениях, сообщил о разговоре со Шварцем. С этого момента Стоянов чувствовал себя уже совсем скверно и, как мне впоследствии рассказывали, подал заявление о том, чтобы либо меня убрали, либо его уволили из Минусинского округа, потому что из-за меня получаются совершенно ненормальные отношения с ссыльными.

По возвращении моем в Россию Клеменц сообщил мне, что именно этому я обязан, что меня за четыре месяца до срока выпустили из Минусинского округа и разрешили ехать в Россию. Раньше я имел право, но мне не давали возможности его использовать.

Я забежал вперед потому, что эти отношения с исправником, как и во всякой ссылке отношения с начальством, довольно много портили нервов, но в то же время и заполняли до некоторой степени существование и доставляли нам немало веселых моментов. Об одном из таких веселых моментов я позволю себе рассказать.

Вспыхнула японская война, получилась бумага, в которой было сказано: предложить «государственным» ссыльным, если кто из них пожелает загладить свою вину перед родиной и перед «его величеством», поступить добровольцем и ехать на фронт. Исправник вызывал нас по очереди. Большинство из нас отвечало: «не желаем» и этим ограничивались. Но когда привезли еле-еле двигавшегося С. Мельникова, который весьма любил острые сцены, он на этой же бумаге написал: «Долго вы думали, прежде чем додумались до этого?» Следующий ответ был ответом не менее характерным. Сосланный по делу С. Гинзбург и др.

Орочко был арестован в качестве фейерверкера. Он, как я уже упоминал, некоторое время был склонен итти на «защиту родины», но, когда ему предложили «загладить этим свою вину», он написал: «Согласен, но при условии, что все время пребывания в тюрьме и ссылке будет мне зачтено за действительную службу, и я в соответственном чине буду отправлен на фронт; по моим расчетам это будет чин генерал-майора». Этим вопрос об участии ссыльных в японской войне и заглаживании вины перед «его величеством» и кончился.

ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ В МИНУСИНСКЕ

Я затрудняюсь иначе озаглавить эту главу. По мере истечения срока ссылки и приближения того желанного момента, когда можно вернуться на родину, я — и не только я — смотрел на все занятия именно как на времяпровождение, несмотря на то, что эти занятия имели иной раз очень серьезный характер. Мысли устремлялись в будущее. Тоска по революционной деятельности становилась все сильнее и сильнее. Усиливало ее чтение довольно часто получаемой нелегальной литературы, при всех своих недостатках дававшей все-таки представление о все более и более ширившемся движении. Сознавать, что ты в стороне от него, что ты обречен на пассивность, было очень тяжело. А что мы могли делать в таком Минусинске, где на весь почти округ был один водочный завод братьев Даниловых (недалеко от города) и на расстоянии сотни верст Абаканский железоделательный завод, прославившийся тем, что по невежеству пустил в обработку метеоритное железо.

Объектов для революционного воздействия, если не считать одиночек, не было. Единственная революционная деятельность, если ее можно назвать революционной, сводилась к созданию организации побегов из ссылки. Мы собирали деньги, в определенных пунктах организовывали приюты, в которых бежавший мог прятаться в первое время после побега, когда власти с особым усердием производили розыски беглеца и устраивали погоню за ним. За время пребывания в ссылке мы уже настолько изучили правителей Сибири, что знали, что с месяц после побега они будут суетиться и волноваться, а затем успокоятся — и бежавший сможет беспрепятственно выйти из своего приюта и начать пробираться в Россию. Эту организацию нам удалось поставить настолько хорошо, что, когда на пароходе прибыл в ссылку Трусевич-Залесский, впоследствии редактор «Известий ЦИК», и выразил желание бежать, мы ему тут же вручили надежный паспорт, указали место, где он может укрыться от погони, снабдили деньгами, и он благодаря этому без всяких приключений добрался до Москвы. Эта организация объединила целый ряд городов Восточной Сибири. Но этой организацией ограничивалась вся наша революционная деятельность. Заполнить су-

ществование она не могла, и, чтобы заглушить тоску по революционной деятельности, многие искали, чем бы, хотя с минимальной пользой, заняться. Только поэтому я так озаглавил эту часть своих воспоминаний. Я лично первое время занимался изучением местного населения, не только качинцев, заметки о которых я печатал в «Русском антропологическом журнале», но и русского, представлявшего очень много интересного для этнолога. Собранный мною тогда материал использован мною в двух нижеприводимых очерках, напечатанных первоначально в «Сибирской жизни», а затем вошедших в сборник «Сказки из сибирской действительности».

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Луна выглянула из-за туч, но, увидев молодого парня, страстно нашоптывавшего что-то молодой девушке, вновь опустила на лицо облачное забрало. Не тысячи и не миллионы таких пар видел старый месяц и давно перестал интересоваться содержанием их речей: он заранее знал, что, как бы они ни были возвышены, они всегда кончаются аналоем.

Но на этот раз, хотя дело касалось простого деревенского парня и девушки, старый месяц ошибся. Признание в любви давно было уже сделано, и хотя в глазах парня все продолжал блестеть ненасытный огонь страсти, но девушка, встревоженная минутой забвения в прошлом, отклоняла все ласки, упорно настаивая на одном:

— Присылай сватов!

— Пришлю, Матреша, пришлю!

Легко было сказать Ивану «пришлю», но на деле оно не так-то легко выходило. Отец его и сам собирался женить парня, но взгляд его на женитьбу был тверд и ясен: «Парень должен жену брать только с родительского слова, а как через силу, без родителев, женятся, путного ничего не выходит».

Будь Матрена ровня ему, все бы еще ничего, да отец, сам богатый, и для сына богатую невесту высматривал. А Матреша что ж?

Нет, знал Иван, что ни в жисть отец не согласится, но голос страсти заглушал совесть: уже ранее соблазнил он Матрешу, а теперь, видя ее беспокойство, обманывал обещаньями, сам в них не веря.

Звонкие голоса молодых парней и девок доносились из избы, в которой происходила вечорка. Приближалась полночь. Иван и Матрена вернулись в избу, чтобы вместе с другими разбрестись по домам. Голоса поющих вырывались из избы на свежий морозный воздух, напоминая старым те бывалые незабвенные годы, когда и они были еще молоды, и они еще верили, любили...

Девушки крадучись возвращались по домам, норовя проскользнуть незаметно от матерей, которые, зная по собствен-

ному опыту, к чему ведут все эти вечорки, не раз подзатыльниками встречали возвращавшихся.

Матреше бояться было некого. Матери ее давно уже не было в живых, а старик-отец, намаявшись целый день на работе, с устатка спал так крепко, что ничто, казалось, не в состоянии было его разбудить.

Раздевшись в потемках, она забралась на полати, но думы, горькие думы о случившемся далеко отогнали от нее сон.

Она не верила Ивану. Не пришлет он сватов. Недаром, когда гадала она, сидя на окне в бане, до ее обнаженного тела дотронулся кто-то как будто голой рукой. Быть бы ей за богатым — мохнатой, а не голой рукой к ней бы прикоснулись... Чой-то только будет! Замуж-то ей в этом году беспременно выйти: и отец говорил об этом, и на троицу венок, сплетенный ею на семик, не потонул, когда она бросила его на реку, и церковь вышла, когда она вылила яичный белок в холодную воду...

Чой-то только будет, — беспокойно ворочалась девушка на жесткой постели.

На другой день, перед самыми сумерками, когда она доила корову, перед избой зазвенели колокольцы.

— Сваты приехали, Матреша! — вся запыхавшись, прибежала к ней с радостным известием младшая сестренка.

Матрена остолбенела. Неужто Иван так-таки не обманул и вправду сватов прислал? Наскоро подоив корову, она направилась в избу как раз в ту минуту, когда приехавшие, привязав лошадей, направились туда же.

— Фарт нам, видно, девка! С полным ведром встретила...

Она взглянула на говорившего. То был пожилой мужик из другой деревни. За ним следовала какая-то полная баба, так закутанная в платок, что и лица не было видно. Худенький мужичонка с выцветшей русой, как бы ощипанной бородкой замыкал шествие.

— Самовар согрей и оболокись! — шопотом отдал распоряжение отец.

Ни жива, ни мертва она принялась за работу.

— Нет, не от Ивана! Чой-то только будет! — бессмысленно повторяла она, механически ставя самовар.

Сестру отец послал за крестной. Та живо собравшись, прибежала к куму. Началось чаепитие. Матрене то-и-дело приходилось заходить в горницу... Гости внимательно присматривались к ней.

За чаем гости разговорились. Матрена с замиранием сердца подслушивала под дверьми.

— Ну, Степан, — обратился пожилой мужик к Матрениному отцу, — у вас девка, у нас парень; мы к тебе с добрым делом, со сватаньем приехали; породниться, значит, желаем!

Степан почесал затылок:

— Ишь, молода она, парень, ишшо, да и матери-то нет. Самому-то хозяйка в доме нужна. — Он с секунду помолчал. — Рано, парень! Повременить-то надо бы маленько!

— Чаго временить? — возразил приехавший. — Друга девка подрастат. А у нас-то, вишь, старуха-то тоже лонись померла и совсем в доме девки нет. Годить-то нам тоже нельзя!

— Да, вишь, без матери-то у нас ничего не припасено! — вмешалась крестная. — Сразу-те и не изготовишь... Да и жениxово-то житье поглядеть надо бы.

— Знамо дело, — подхватил пожилой мужик, понявший как следует этот ответ, — скотину сразу не купишь, а со сватаньем — что и говорить — спешить не след...

Дело было сделано. Стороны согласились. А что там, под дверьми, мучилось и томилось человеческое существо, с ужасом думая о предстоящем, — то «в первой ли» это? Ее желанием никто не интересовался. Будь бы мать жива, дело было бы другое. Та и сама бы спросила; той и дочь могла бы пожалиться... А отцу что скажешь?

Может быть, еще и Иван сватов-то пришлет. Теперь уж вся деревня знает, что за ней свататься приехали; знать, и он мешкать не будет.

Вечная обольстительница — надежда — тонкой своей паутиной обматывала сердце горевавшей и густой сеткой своих нитей заволакивала печальную действительность.

Съездили посмотреть женихово житье... Пара коней, корова, телка. Чем не житье? А что матери нет, так и это, по мнению крестной, — к лучшему. Сама голова в доме; некому верховодить над ней. И впрямь? Чем бы не житье, если бы не беда с Иваном? Но он, знать, и думать забыл о присылке сватов. Ему что? Известное дело: быль молодцу не укор. А ей-то, ей? Отец с крестной все-то рядятся с жениховыми сватами: и насчет денег, и насчет подарков, и угощениев; а она только посматривает на жениха, а на душе один до боли жгучий вопрос: простит он ее, забудет али на всю деревню осрамит.

Митюха показался ей тихим. А впрочем, кто его ведает? Все они до венца — тихони, а вернутся из-под венца, вот тут-то они и весь свой форс покажут.

На «смотрении», когда их усадили рядом, она с него глаз не спускала, и когда он под столом крепко сжал ей колено рукой, она робко пожала его руку, и слезы, робкие слезы раскаяния и просьбы, заблестели на ее глазах. Он, пользуясь суматохой, поднятой танцующими парами, обнял ее за талию и привлек к себе, а она, виновато улыбаясь, несмотря на краску стыда на лице, покорно поддавалась этой ласке.

— Гляди-ко, кум, жених-то наш как девушку-то присушил! — поделилась крестная своими впечатлениями с отцом.

Старик улыбнулся. Парень ему нравился, он давно имел его на примете и теперь от души рад был, что дело приняло такой оборот. Голова старика была занята теперь одним, как бы скорее сыграть свадьбу и покончить со всеми заботами и расходами.

Вот он хлеб обмолотит, продаст, тогда уж можно будет все устроить.

«Эээ-х! Была бы жива покойница,—живой рукой было бы все сделано. Известное дело: без бабы како хозяйство? Да что поделашь? Не привел господь старухе дожить до того, чтобы девку замуж выдать».

Он взглянул на Матрену:

— Вылита Настасья: та же улыбка, то же лицо. Покойница точно так же робела перед венцом. Трусит, видно, девка! — добродушно улыбнувшись, шепнул про себя старик.

И девка действительно трусила, хотя отец и далек был от причины, вызывавшей эту трусость. Она, как корабль без руля и парусов, неслась по всклокоченным волнам житейского моря, не будучи в состоянии заранее определить, поглотит ли ее эта пучина морская или же она, сверх ожидания, причалит к тихой пристани.

«Скорей бы уж все это кончилось!»—молилась она в душе

Настал и канун венчания. Около полудня девки-подруги собрались в избу, усадили Матрену и принялись «выть». Она горько заплакала...

Ты, восхожее красно солнышко,
Ты, родимый мой батюшко!
Подойди к куте, к браной занавеси,
От кути, от браной занавеси,
Ко мне, то ли, к молодешенькой,
Ко мне, то ли, зеленешенькой,
Отроду-то не впервое,
К девьей красе-то во последнее![1]

Подошел старик под это «вытье» девок и расплел косу дочери.

Та пуще прежнего «завыла», ажно старика прошибла слеза. Вновь вспомнилась ему покойница. Апосля родителя ей бы детищу своему родному расплести косу следовало, да не привел господь...

Ты, денная моя заступница,
Ты, ночная моя богомольщица,
Ты, родимая моя матушка,
Подойди к куте, к браной занавеси...

---

[1]Эта и ниже приведенные песни, заговоры, молитвы и нашоптывания записаны в Каптеревском селении, Шушенской волости, Минусинского уезда со слов сибиряков-старожилов.

вновь «завыли» девки. Тут и отец не выдержал: вытерев рукавом однорядки набежавшую слезу, он вышел из горницы.

Крестная заменила покойницу, расплела косу Матренину, а та все попрежнему ревела. О чем только ни плакала она? Вспомнила и мать-покойницу, и горе-горькую судьбу сироты, и минутное увлечение, и тяжкий грех с Иваном. Плакала и о будущем, с ужасом думая о завтрашнем дне...

Долго «выли» девки, но того дольше горевала Матрена. Когда собрались гости на девичник, ей уж пришлось усилие над собой сделать, чтобы успокоиться.

— Вишь, убивается! — сообщила прибывшим крестная. Ей это нравилось. Справна девка завсегда выть должна, расставаясь со своими.

На следующий день, только что отобедали, как в избу Матрениного отца явился дальний родственник, молодой еще парень, и все время в избе околачивался.

На улице «забрякали» колокольцы.

— Матреша! Матреша! — все наперерыв друг перед другом звали невесту. Она уже была принаряжена. Крестная втолкнула ее в горницу, и только она успела сесть рядом с парнем-родственником, который торопливо надел на голову картуз, как в комнату ввалился во главе с дружкой весь свадебный поезд. Перекрестившись на образа, дружка налил рюмку водки и, поставив ее на тарелку, преподнес парню. Тот, молча и не прикасаясь к рюмке, поклонился.

— Ты это, парень, чаго? — грозно накинулся на него дружка. — Али тумаков захотелось?

Парень все продолжал молча кланяться.

— Видно, шустрый! — пробормотал дружка и, взяв тарелку и положив на нее бумажный рубль, обратился к поезжанам: — Ну-ка, бояре, косу выкупать надо!

Жених и другие участвовавшие в «поезде» придавили бумажный рубль медными пятаками и дружка вновь с поклоном преподнес тарелку парню. Тот попытался было сдунуть деньги, да не тут-то было. Весь поезд расхохотался. Парень спрятал деньги, выпил рюмку и снял картуз. Коса была продана. Поезжане сели за стол.

Попили, поели, дружка потребовал сундук с приданым и отправил его с ковшевником в дом жениха.

Матреша еле держалась на ногах. Приближалась решительная минута, и по мере ее приближения все больший и больший ужас овладевал девушкой.

— Ну, старики, — обратился дружка к отцу и крестной, — умели вы свое чадо милое поить-кормить, обувать и одевать, на работу посылать, так умейте же нашему князю молодому рукам сдать!

Отец с крестной подошли к Матрене, покрыли руку ее платком и подвели ее к Митюхе.

В избе вновь «завыли»:

Приутихните-ка во тереме,
Приутихните-ка во высоком,
Приутихните-ка, князья-бояре!
Что не стук-от стучит по лестнице.
Что не гром-от гремит по высокой...
На пяте двери отворялися...
Тут пришла-то моя родная матушка
Благословить меня, горьку сироту,
Ко звону-то к колокольному,
Ко пению-то меня ко церковному,
Под злат-то меня венец стати,
Закон-то божий приняти!

Среди плача отец и крестная благословили молодых.

— Господи! Господи! — бледными губами беззвучно творила молитву Матрена.

Крестная накинула на нее шубенку; кто-то посадил ее на кошеву рядом с крестной.

— Иван-креститель крестил Христа, окрестил весь свет и меня благословил! — громко сотворил молитву дружка.

С шумом, смехом, толкотней поезд усаживался на кошевки.

Дружка бегал из конца в конец, отдавая суетливые распоряжения.

Когда все уселись, он, окинув взглядом полководца весь растянувшийся поезд, прежде чем самому сесть, вынул из-за пазухи тщательно завернутый в бумажку кусок свечного воску и вполголоса сотворил молитву:

Матушка пресвятая богородица,
Покрой меня, раба Демьяна,
Со всем храбрым поездом
Нетленною ризою.
От волхита, от вохитки,
От колдуна, от колдуницы,
От еретика, от еретицы,
От встречного, поперечного,
От косого и бесова,
От русого, черного, черемного,
Одноглазого, двухглазого,
От одноженного, двухженного,
От девки-самокрутки,
От бабы-пустоволоски,
При дне и при солнце,
При ночи, при месяце,
При темных облаках,
При несчетных звездах,
На молоду, на ветху
И на исходе все 24 часа!

Осмотрев еще раз весь поезд, он вскочил в кошевку, в которой сидел полудружье, и дал знак. Зазвякали колокольцы и поезд двинулся в соседнюю деревню в церковь.

Все время в церкви Матрена была в каком-то полусознании. Она чувствовала, что жених держит ее все время за руку, видела его распаленный взгляд, обращенный на нее, слышала за собою шопот поезжан, но все это воспринимала как-то механически. Во рту у нее пересыхало, ноги подкашивались.

— Гляди-ко, — шептала одна баба другой, — свечи-то быдто ровно горят; жить-то им, знать, долго вместях!

— Да и молятся дружно, — в свою очередь заметила другая, — и жить, видно, ладно будут!

— Дай-то, господи! — горячо молилась Матрена. Стоя рядом с человеком, с которым она тесно была связана на всю жизнь, когда всего несколько часов отделяло ее от решения вопроса, который столько времени отравлял ей жизнь, она всеми помыслами души старалась проникнуть в мысли Митюхи, узнать, как-то он поступит с нею, но время решения вопроса еще не настало. Кончился обряд венчания.

Все вновь устремились к кошевкам. Митюха сам усадил Матрену и сел рядом с нею. Поезд двинулся в деревню, где жил жених.

Но не отъехали и двух верст, как испуганный Митюха, остановив лошадей, стал звать дружка. Повыскакивали все из кошевок, побежали на зов, да так и ахнули. Бледная, как смерть, опершись головой на плечо мужа, Матрена лежала без дыхания.

— Изурочил кто-то! — догадалась одна из баб.

— Да! Видно, чьи-то шутки! — подтвердил дружка. — Да ничего! — ободрил он встревоженных. — Мы это мигом. — Он согнул ногу, снял с каблука налипший снег, потер им лоб и нос молодой и быстро заговорил:

Стану я, благословясь,
Пойду, перекрестясь,
Из избы, дверьми,
Из ворот в ворота
Во чисто поле,
На окиян — святое море,
На Буян остров.
На этом острове стоит престол,
На этом престоле сидят 12 апостолов.
Подойду я, раб божий, Демьян, к ним поближе,
Поклонюсь я им пониже:
Ой вы все, двенадцать апостолов,
Сдувайте и снимайте
С меня, раба божия Демьяна,
Титки и притки,
Уроки, узоры и переполохи,
При дне и при ночи,
При темных облаках,
При несчетных звездах,
На молоду и на ветху
И на исходе...
Будьте мои слова
Крепки и лепки,
Крепче камня и булата. Аминь!

Молодая очнулась. Не понимая, что с ней происходит, она с недоумением смотрела на мужа. Он ласково погладил ее по голове.

Под влиянием этой ласки она, прижавшись к нему, жалобно заплакала.

— Ай да дружка! — послышались восклицания поезжан.

Гордо подняв голову и победоносным взором окинув весь поезд, он вновь дал сигнал к отъезду.

Вскоре приехали и в деревню. В воротах их встретили дружным залпом выстрелов. Вышел отец жениха, крестная, благословили новобрачных хлебом и солью; горсти овса посыпались на весь поезд.

Вошли в дом, сбросили верхнюю одежду и дружка вновь заговорил:

— Как у нас во дому, во высоком терему есть отец родимый и мать родима. Благословляйте нашего князя молодого и с княгиней молодой, тысятского с большим боярином, среднего с меньшим, меня, дружку, с полудружьем, сваху с подсвашением, со всем княженецким храбрым поездом зайти за столы дубовы, за скатерти браные, за ества сахарну, за напитки пьяные, по лавочкам брусящатым, сясти под окошечко косящето, где сам господь бог почивал!

— Бог благословляет! — ответил отец жениха и крестная.

Все уселись, выпили по рюмке, поздравили молодых с законным браком и принялись за еду.

Время, казалось Матреше, тянулось бесконечно долго. Ее заставляли целоваться с Митюхой, говоря, что «вино чем-то пахнет», смеялись, когда она это исполняла... Она сконфуженно улыбалась, но мысль о предстоящем ни на секунду не оставляла ее.

Отошли «малые» столы, в которых участвовали только поезжане.

Ее отвели в сторону, загородили от всех платком, и обе свахи вперегонку начали плести ей косы...

— Сын! сын! — радостно сообщила женихова сваха, успевшая раньше невестиной заплести ей косу.

Она улыбнулась, но ей было не до сына.

В избу входили все новые и новые гости — «ближенные» соседи, приглашенные «на беседу». Она покрыла стол своими скатертями, что-то кому-то дарила, слышала смех одаренного, глядела, как он, вытирая лицо подарком, «молодился», слышала похвалы своего «курничка», но душа ее была далеко... далеко...

Отошли наконец и «большие» столы; гости разбрелись кто куда, а ее с Митюхой сваха с дружкой отвели в подклеть...

— Господи! Господи! Чой-то только будет! — взмолилась она в последний раз. Ноги под ней подкашивались. Она еле добрела до постели...

— Ну что, Митюха? Благополучен ли? — на следующий день рано утром пришел дружка осведомиться у молодого.

— Я-то благополучен! — уныло ответил Митюха.

Тон его обеспокоил дружку.

— Сказывай! — пристал он к парню.

— Чего сказывать-то? Стрелял, вишь, в сороку и в ворону, а дострелялся до лягушки.

— Вон оно что!

Дружка, схватив плеть, вбежал к молодой. Она еще лежала в постели и с замиранием сердца прислушивалась к разговору за дверьми.

— Чаго валяешься? — закричал он на Матрену. — Хошь, чтоб я тя плетью огрел?! Так-то ты себя соблюла!

Матрена молчала, с ужасом глядя на старика-дружку, единственного человека, который мог ее еще спасти. Но старик грозно мерил ее глазами; еще более испуганная, сама не давая себе отчета, что она говорит, она стала защищаться.

— Я — ничаго, дядя Демьян! Он — неблагополучен.

— Да ты лгешь еще!

— Нет! Правда! — с плачем хваталась она за последнюю соломинку.

Дружка вернулся и передал ее слова Митюхе.

— А! Так вот она, шкура, что говорит! Поди-ка, ужо!

Она выбежала к мужу, с плачем просила простить, но он не унимался.

— Я неблагополучен?! Хорошо надумала!

Даже дружке стало жаль Матрену.

— Не дури, Митюха! Чаго здря срамить бабу! Твоя ведь... Не развенчаешь...

Ответа не последовало. Матрена вновь подошла к мужу, но он оттолкнул ее.

Между тем гости вновь начали сходиться. Домашние готовили «похмельные» столы. Все, по заведенному порядку, уселись.

— Выпей, тесть! — преподнес Митюха Матрениному отцу стакан вина на блюде.

Тот привстал, перекрестился, взялся за стакан, и вдруг, при страшном, душу раздирающем крике Матрены, все содержимое стакана, оказавшегося без дна, вылилось на блюдо и на пол.

Все поняли.

Старик, бледный, как смерть, со стоном опустился на стул. Бьющий по нервам, спазматический плач Матрены оглушал комнату. Гости стихли и молча, ни с кем не прощаясь, крадучись выбирались из избы. Встал и отец Матренин. Посмотрев с упреком на зятя, он подошел к дочери:

— Успокойся, Матрена! Бог простит сироту!

Сказав это, он вышел за другими.

В комнате остались только двое молодых, на всю жизнь связанных друг с другом...

В ПОТЕМКАХ

Солнце только что взошло. В деревне петухи звонко переговаривались друг с другом; кое-где проснувшиеся коровы мычали, с коровьей настойчивостью требуя, чтобы их подоили и выпустили пастись... Но их красноречивый рев не достигал цели или, верней, ушей спавших еще хозяек... Они еще не проснулись; продолжали спать еще и мужики...

Впрочем,— не все. Один из них, Егор Лукьянов, давно уже проснулся и в описываемый момент, открыв калитку, высунул голову и внимательно оглядел улицу. Убедившись, что никого нет, он торопливо выскочил и шмыгнул в первый же переулок, все оглядываясь и озираясь, нет ли кого впереди или сзади него. Ружье через плечо, сумка, охотничий нож и топор за поясом в связи с этими подозрительными приемами могли бы ввести в заблуждение любого проницательного читателя... Но успокойтесь. Егор Лукьянов не был разбойником, конечно с точки зрения людей; что же касается животных, которых он истреблял десятками, я не могу поручиться, что они не давали ему этого имени. Коротко говоря, это был охотник, и если принимал такие предосторожности, выходя из дому, то могло ли быть иначе? А вдруг навстречу выйдет баба, да еще — боже упаси всякого православного! — пустоволоска, или так пошутить кто пожелает: возьмет, да и скажет: «Идет не охотник с ружьем, а поп с требником; идет не птиц стрелять, а людей благословлять»,— тожно хоть и не ходи на охоту: все одно фарту не будет. Он, положим, дуло-то на всякий случай заткнул, наговор быдто и не страшен, но, известно, береженого и бог бережет, лучше без всякого сумления в тайгу пробраться.

Довольный тем, что все обошлось благополучно, Егор направил шаги в сторону видневшейся неподалеку тайги.

Бежавшая рядом с ним лохматая собака-дворняжка ничем не проявляла охотничьих талантов, и человек, знающий толк в собаках, сразу определил бы, что она никуда не годится... Помилуйте! Бежит себе, да и в ус не дует. Ни о каком нижнем и верхнем чутье она, должно быть, и не слыхивала. А после этого уж какая это охотничья собака? Но Егор, видно, имел на этот счет особое мнение, он дорожил своей собакой и, как увидит читатель, не зря.

Когда они оказались в лесу, собака долгое время вела себя попрежнему, но вдруг остановилась, прикорнула и, повернув морду в сторону хозяина, выразительно на него посмотрела. Егор, затаив дыхание, взвел курок и, неслышно ступая, сделал несколько шагов вперед.

В чаще, прислонившись к дереву и не подозревая опасности, спокойно глодал стебли кустарника большой широкогрудый, с великолепными большими рогами, «сын» [1]. Егор так и замер.

---

[1] «Сынами» в Шушенской волости, Минусинского округа крестьяне называют маралов.

«Сын» находился на таком близком расстоянии, что о промахе не могло быть и речи. Он прицелился и грянул выстрел... Собака бросилась в кусты, за ней Егор, но, хотя и не было ни малейшего сомнения в том, что он не промахнулся,—от зверя и след простыл. Только крупные капли крови на измятой траве свидетельствовали о том, что заряд не был потрачен даром.

«Не уйдешь!» — подумал Егор.

Следы крови указывали на направление, куда скрылся зверь; охотник, не теряя их из виду, шел следом за своей собакой, не обращая внимания ни на какие препятствия. Местами густые сплеты дикого хмеля преграждали ему путь. Он путался в них, напирал грудью, пока наконец не одолевал этого совсем не кстати появившегося на его пути врага, но торжество было очень непродолжительное: на смену цепкого хмеля появились бог весть откуда занесенные и наваленные в одну кучу засохшие кустарники, деревья с торчащими, словно рога марала, корнями.

Прошел час, другой, третий, пот с Егора катился градом; утомленная собачонка еле-еле передвигала ноги, а зверя не было. Видно, «сын» предпочел отдать душу где-либо в другом месте, и охотник так и не нашел его.

— Пятнай тебя! — выругался он.

«Если б промах... Ну! С кем греха не бывает!.. А то попал, и хорошо попал, и вдруг... на!»

Он обеспокоился. До сих пор он не замечал, чтобы в ружье его не было «порону». Ну, да авось это так только. Он поплелся дальше.

Лес поредел, становилось светлее и сквозь молодые деревца показалась небольшая, заросшая густым кочкарником, поляна. Легкий, в лесу почти незаметный, ветерок рябил прозрачную поверхность маленького укрывшегося здесь озерка. Несмотря на усталость, верная своему долгу собака остановилась. Егор прикорнул и пополз в сторону озера.

«Гха! — Гха! — Гха!» — доносился оттуда оживленный разговор уток, беспечно хлюпавшихся в воде... А Егор подползал все ближе и ближе. Вдруг одна из уток, мать должно быть, с беспокойством повернула голову в его сторону, утки собрались уж было улетать, но в этот момент Егор выстрелил.

Одновременно с выстрелом перепуганная стая уток взвилась в поднебесье от людской кровожадности, думая только о себе и не помня об оставшихся на поле брани собратьях.

Для Егора этот выстрел имел громадное значение: он должен был рассеять томившие душу сомнения...

Почти одновременно с выстрелом послышался плеск взбаломученной собакой воды... Долго рыскала она в разных направлениях, пока не вышла на берег. Мокрая, с прилипшей к телу шерстью, она имела еще более жалкий вид. Увидев, что собака вернулась ни с чем, Егор совсем опешил. Собака, как будто

понимая душевное состояние, отряхнулась в стороне и остановилась перед ним в выжидательной позе.

— Ищи! Ищи, Дружок! — робко, сам не веря в успех, обратился он к собаке.

Та, слепо повинуясь воле хозяина, вновь шлепнулась в воду, но через минуту, словно она тут при чем-то, с виноватым видом опять вернулась ни с чем.

Спортил кто-то ружье! Сколько лет уж оно ему служит, сколько зверя он уж им уложил, и вдруг такая напасть! Позавидовал фарту какой-то варнак — изурочил.

Потеряв надежду убить что-либо, Егор вернулся в село и, не заходя к себе, направился прямо к Демьяну Тимофеевичу.

Тимофеевич, хоть и мужик, человек, однако, был не простой. Что бы ни случилось в деревне, без Демьяна не обойдешься. Перво-наперво он — дружка, а уж кому, если не дружке, знать, как всяку нечисту силу отогнать? И подлинно: и слово он знал такое, и разны молитвы «письменные», и всякую штуку. Одно слово — дружка.

— К вам, дядя Демьян, — перекрестившись на образа, обратился к хозяину Егор.

Тимофеевич вопросительно взглянул на него.

— Ружье спортил кто-то! — Он подробно рассказал старику о происшедшем.

— А дуло-то у тебя было заткнуто?

Егор даже обиделся. Не охотник он, что ли?

Демьян взял в руки бердан, дунул в дуло и, скорее про себя, чем Егору, сказал:

— Ладно ружье! Видно, правда, чьи-то штуки. Да ты, парень, — обратился он к Егору, — не сумлевайся! Справим. Завтра готово будет! Кажину тварь убьет! — добавил он, видимо желая подбодрить охотника.

Егор ушел. Старик взял ружье и промыл дуло чистой водой, вполголоса бормоча: «Как матушка сыра земля не урочишься, не призоришься и растет из тебя трава, нет над тобой ни уроков, ни призоров, так не будь над рабом божиим Егором и над огненным ружьем ни уроков, ни призоров, никаких тяжких дум! Будь мои слова крепки и лепки!.. Аминь!» Проделав это, старик вынул из сундука бутылку с раствором сулемы, смазал им дуло и, открыв печную заслонку, сунул ружье в печку.

По уходе от Демьяна Егор не стал спокойнее. Он, конечно, нисколько не сумлевался в высоких познаниях в этой области Демьяна, но... ведь, и веря доктору, все же беспокоишься, когда ребенок болен... На душе у него было скверно, работа не спорилась, время тянулось невыносимо долго. Вдобавок к этому, — недаром говорится: пришла беда — открывай ворота, — его

постигла еще одна неприятность. Зашел к нему знакомый мужик из соседней деревни и сообщил, что недалеко от их селения появился медведь.

— Телку, братец ты мой, заел... Унес этак сажен на пятьдесят и зарыл... А где Михайлы Торбатова овсы, знашь?

— Ну?

— Вон на эти овсы и ходит. Сгребет это его лапами и сосет. Весь овес, язви его, испортил!

У Егора взыграло сердце охотника. Эка беда! В таку пору варнак какой-то ружье изурочил. Как раз бы теперь пригодилось.

Когда стало смеркаться, он забежал в кабак, купил бутылку водки и, запасшись этим убедительным аргументом, зашел к Демьяну. Рассказав про медведя, он стал упрашивать старика сегодня же исправить ружье, сам-де, мол, видит, что шибко надо.

— Экий ты, парень, прыткий!—добродушно улыбаясь, сдался на его просьбы Демьян.— Ужо как-нибудь уважу.

Егор просиял.

— Ты, парень, только смотри: не ахай, если ружье окажется справно. Эти мне уже московские ахи! Хуже нет! Сам спортишь почище врага...

— Знаю, дядя! Это мне еще покойный родитель наказывал, я втапоры еще совсем маленьким был... Он так стрелил, что я ажно ахнул, он и давай меня ругать...

— Верно, парень! Ружье-то энтого не любит... — Старик на минуту задумался.— Так и быть: возьми ужо, но как прийдешь в избу, тожно уже сичас его в печку запихай!

Распили бутылку и Егор с драгоценной ношей вернулся домой. Поступив согласно указаниям Демьяна, он забежал к двум знакомым мужикам, сообщил им о медведе и предложил итти на него втроем. Не впервой им было вместях на медведя ходить; знали они друг друга. Мужики согласились и наутро, чуть забрезжило, они, благословясь, со всеми предосторожностями, верхами отправились в соседнюю деревню, по направлению к овсам Михайлы Торбатова. Солнце только что взошло, когда они подъехали к тому месту, где медведь зарыл телку.

Специфически охотничья дрожь овладела ими.

— Видишь ты! Только косточки оставил! — заметил один из охотников.

— Да! Кабы на час раньше, тутотка бы его и запымали...— подтвердил другой.

— Эвона и свежий след от лап! Где-нибудь здесь и есть... Далеко уйти тоже не мог!..—присоединил свое мнение Егор. — Да, гляди-ко, Степан! — продолжал он дальше.— След вот куда пошел!

— Верно, парень!

— А собачки-то что-то зачуяли! Будет болтать... Мешкать-то тоже нельзя...

Внимательно присматриваясь к следу, охотники поплелись за собаками.

— Ну и зверь! Ты только смотри, Гаврила! — указывая на след, восторгался Степан и, спрыгнув с коня, стал обеими ногами на следы мишкиной лапы.

— С эдаким да врасплох стретиться — не приведи бог!

— Особливо с раненым! Хуже нет зверя, как раненый медведь.

— Упаси господи!

— Цыц, ребята! На собак смотри! — ворчливым голосом остановил товарищей Гаврила.

Все, затаив дыхание, остановились и всматривались вдаль.

— Так и есть!—шопотом сказал Егор.—Михайлины овсы... Он тутотка. Ты, паря,— обратился он к Степану,— поезжай в энту сторону, в объезд и карауль его возле стана... Знаешь?

Тот утвердительно кивнул головой.

— Я поеду с другой стороны ему навстречу, а ты, Гаврила, жарь напрямик!

Охотники разъехались, зорко наблюдая за зверем, но вместе с тем не подавая виду, что обращают на него внимание. На этот раз эта предосторожность была лишняя. Только опытный глаз заправских охотников мог в этом высоком густом овсе предположить присутствие мишки, который, сидя на задних лапах, захватывал передними колосья и, поднося их ко рту, спокойно, с сосредоточенностью сладкоешки сосал...

Охотники подъезжали все ближе и ближе. Наконец и беспечный мишка почуял надвигающуюся беду. Он поднял голову, заметил еще раньше возбуждавшего его беспокойство Степана и медленно, как будто не торопясь, пошел в обратном направлении.

Егор так и замер на месте. Немало медведей видел он на своем веку, но такого не приводилось... Сотворив молитву, он взвел курок. Медведь шел прямо на него. Степан и Гаврила, наблюдая за каждым шагом животного, неслышно следили за ним, все суживая и суживая круг...

Егор не стрелял. Опытный медвежатник, он подпускал зверя все ближе и ближе. Собака, словно мертвая, лежала у ног коня. Вдрут медведь, заметив врага, перестал хитрить и побежал во весь мах. В этот же момент грянул выстрел.

С ревом, наводящим ужас, бросился медведь в тайгу. С громким лаем кинулись за ним вдогонку собаки, от которых почти не отставали пришпоренные охотниками лошади.

— Не плошай, ребята! Ранен!—предупредил товарищей Гаврила.

— Нет «порону» в ружье — не справил Демьян!—уныло прошептал про себя Егор.

Вновь зарядив ружье, он помчался за другими.

— К реке не пущай! К реке! — доносился голос Гаврилы.

Егор побежал в сторону реки, но было уже поздно. Зверь бухнулся в воду и чуть не на глазах у охотников переплыл на другую сторону.

У Егора было прескверно на душе. Случится же этакая напасть. Он и не замечал, что товарищи по охоте были им недовольны.

— Проворонил, парень, — сделал ему замечание Гаврила,— и стрелял рано и на реку пустил!

Степан, тоже, видимо, недовольный, угрюмо молчал.

— Не то говоришь, Гаврила! Не след бы мне, видно, и совсем седни на зверя ходить! Изурочили, вишь, ружье... Порону в ем вовсе не стало...

— А ты бы к Демьяну...

— Носил! Не помогат!..

— Ну, этого ты и думать не моги! Ужо он так не оставит! Не помогло одно, он тебе другое надумат...

Разочарованный первым неуспехом, на этот раз уже без особой веры, вторично Егор отнес ружье Демьяну и рассказал о случившейся с ним беде.

Старик почесал затылок.

— Видал ты его! Видно,штукарь!—отозвался он об изурочившем. — Но мы тоже, брат, не хухлы-мухлы! Такую оказию подведем, что другу-недругу закажет портить ружья православным хрестьянам... Погляди-ко на него какую махину загнул! Нет, брат! У нас тоже про тебя снадобье припасено: или как собака от спору сдохнешь, или сам прийдешь на то место, куда я тебе укажу... Не на таковских, брат, напал! — все угрожая обидчику Егора, горячился старик.

Он подошел к сундуку, порылся в нем, вынул огарок восковой свечи и, обращаясь к Егору, вновь заговорил:

— Видал? Ты думаешь: это что? Три заутрени с эстой самой свечей я в церкви простоял... С ей-то мы теперь и загнем оказию варнаку!.. А ты, брат, ступай в церковь, поговори с Максимкой — твоим кумом, он ведь ноне старостой-то церковным,— да к иконе Николая, святого чудотворца, и поставь свечку, но не так, не просто, а фителем вниз... Знаешь? За обидящих и ненавидящих, значит. А завтра поутру приходи ко мне... Ужо я справлю ружье... Небось! Патроны только и заряды с собой захвати!..

Уверенный тон Демьяна приободрил Егора. В особенности свеча, с которой старик простоял целых три заутрени, внушала ему доверие.

Исполнив все, что приказал Демьян, он, как был, не раздеваясь, лег спать, а под утро, чуть забрезжило, постучался к Демьяну.

— Ты, Егор?

— Я!

Старик отодвинул задвижку.

— Идем, парень, идем!

Он взял ружье, и оба направились в тайгу. Густой молочный туман, подымавшийся вверх, окутал их своей непроницаемой пеленой... Они шли молча. По мере их приближения к тайге туман редел.

— Мы куда, дядя Демьян? — спросил Егор.

— Увидишь ужо!

Зайдя в лес, Демьян внимательно осмотрел толпящиеся деревья, посмотрел с минутку и повернул налево по капризно извивающейся среди лесной чащи тропинке... Пройдя шагов триста, они остановились.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас! — Он перекрестился; перекрестился и Егор. Старик подошел к одиноко стоявшей осине, посмотрел на ее трясущиеся листья, как будто прислушался к их шопоту и, подав Егору ружье, велел зарядить. Тот немедленно исполнил приказание, все больше и больше проникаясь важностью момента и верой в целебность таинственного демьяновского средства. Старик все время шептал что-то, повернувшись лицом к дереву, затем сделал на нем две зарубки и, отведя Егора шагов на двадцать, велел выстрелить в осину. Ружейный выстрел оглушил тайгу. Дремавшее еще пернатое царство проснулось и с шумом и писком понеслось по тайге, как будто стараясь всем своим собратьям поведать диковинную тайну о людском недомыслии... Демьян побежал к дереву. Нащупав пальцем несколько засевших в нем дробин, он тщательно залепил их воском.

— Ну, теперь, парень, я пойду, а ты сиди и карауль. Ежели кто подойдет, ты наблюдай за им: кто такой и что делать будет. Сиди этак до полудня, а тожно уже ко мне приходи!

Старик ушел. Егор остался в тайге один.

«Вот беда-то! — думалось ему. — И кто ж бы это? Кажись, никого и не обижал... За что же мстить?»

Мысль о том, кто виновник его беды, не давала ему покоя. Он перебрал в уме всех соседей, не зная на ком остановиться. Мужик он был смиренный; никому в дорогу не входил; догадаться было не легко. Вдруг у него в голове ясно, отчетливо мелькнуло одно имя: Домна.

Он поднял голову.

Никому, как ей. Сватал он ее когда-то, вырядили уже все как след, по рукам ударили, смотрение отпраздновали, а опосля он отступился: не по ем девка была; обесчестил, значит. Вот она и мстит.

Егор готов был уже окончательно остановиться на этой догадке, но так же внезапно, как про самое Домну, он вспомнил, что с того времени прошло уже десять лет, что Домна уже давно

замужем, что у ей и ребята есть, что столько времени она не мстила... С чего бы теперь вдруг? Нет, не она! Но кто, окромя ее?

Думал Егор, думал, но так ничего и не придумал.

Ему было не по себе. Мужику, привыкшему к работе, совестно как-то было лежать, ничего не делая. Но делать было нечего. Демьян велел, как не послушаться?

По земле прополз муравей, таща изо всех сил личинку какого-то насекомого.

— Ишь, работает! — улыбнулся Егор. Он куском ветви отцепил личинку у муравья... Тот, постояв с секунду, вновь подобрался к своей ноше. — Работяга! — похвалил Егор.

В траве кишело насекомыми.

— Кажинна тварь свое дело справлят! — философски заключил он, вставая с земли. Ему скучно было без работы.

— Веников рази нарезать... Он стал срезать ветки, от времени до времени посматривая, не идет ли кто. Но, хотя деревня уже проснулась и оттуда до тайги доносился рев коров, блеянье овец, лай собак, в лес никто не ходил.

Прошло несколько часов. Егор проголодался, но ни на секунду не подумал об оставлении поста.

Солнце подымалось все выше и выше. Близился уже полдень.

Егор все более и более терял веру в то, что дождется своего врага, и в действительности, не дождавшись его, медленной, вялой, разочарованной походкой поплелся к Демьяну, но тот встретил его радостно.

— Ну, паря, дело ладно! Ружье-то спортил Голиков.

— Голиков? За что же? — Егор никогда не имел с ним никакого дела.

— А у этих варнаков-поселенцев рази узнаешь за что? Но это он. Никто другой, как он.

— Да ты как узнал?

Демьян снисходительно улыбнулся.

— Это, брат, уж при мне останется, а вот ты и сам увидишь, что он.

Поселенец Голиков был человек уже пожилой, часто похварывал, а накануне совсем занемог. Сомнительно было, чтобы и на этот раз он смог встать.

Егор все еще недоверчиво смотрел на Демьяна.

— Ты, брат, не сумлевайся! Демьян тебе сказыват! Седня уже его, варнака, соборовали.

Доказательство было налицо.

— Зайтить мне рази к нему попросить? — заговорил было Егор, но старик с сердцем перебил его.

— Белены, что ли, обожрался? Все дело спортить хочешь? Ты в энто дело не стревай! Не твоего, брат, ума! Теперь тебе только годить надо!

С этим и ушел Егор.

Под вечер старик-поселенец отдал богу душу.

— Ну, что я тебе сказывал? Умер ведь Голиков.

— Умер?!

— А ты думал что? С нами, брат, тоже шутки плохи! А ты возьми ружье теперь, да пойди постреляй!

Егор рано, чем свет, снова отправился на охоту и к полудню вернулся с несколькими утками. Случай ли помог, уверенность ли, с которой он стрелял, — кто его ведает... Как бы там ни было, торжество Демьяна было полное.

Изучение в особенности русского населения края со всей той тьмой, в которой оно прозябало, захватило меня еще с другой стороны. Живя своими интересами, увлекаясь народничеством, русская интеллигенция, даже сталкиваясь с народной массой, не только не знала ее, но даже не пыталась узнать. Поразил меня в этом отношении ездивший по округу зоолог проф. Вагнер, сын — «Кота-Мурлыки», специалист по изучению паразитов. Любой паразит, найденный на убитой им куропатке, был для него ценнее любого явления в населении.

Под свежим впечатлением беседы с ним я тогда же напечатал приводимый ниже очерк.

ДВА МИРА

Трогательное расставание ночи с землей только что окончилось, и солнце, как будто опасаясь, что «роса очи выест», торопливо выглянуло из-за горы и улыбнулось... В ответ ему улыбнулись заплаканные растения, и повсюду проснулась жизнь для того, чтобы дать обильную жатву... смерти. Весело жужжали насекомые и бросились подтачивать растения; птицы накинулись на насекомых, более крупные птицы не брезгали своими менее сильными собратьями; животные поглощали все и вся, что только годилось в пищу. Властелин-желудок вступил в свое беспощадное правление. Исключение из всего проснувшегося мира представлял только венец создания — человек. В то время как все одушевленные существа распространяли смерть исключительно ради желудка, — он один, единственное мыслящее существо среди бессмысленной твари, убивал и для других, более возвышенных целей: для того, чтобы жить в тепле и холе, чтобы насытить жажду познания, чтобы изучить окружающий мир!

Правда, более «простые» представители «generis homo» тоже думали только о насыщении властелина-желудка, но это была только «чернь», к которой более просвещенные собратья относились с должным презрением.

Золотистые лучи восходящего солнца с назойливостью неотвязной мысли старались проникнуть всюду... Наткнувшись на единственное живое существо, загораживающееся от него ставнями, солнце не оставило без внимания и этого прибежища мрака и сквозь щели заглянуло туда... Люди зашевелились, закряхтели и спросонок вяло начали одеваться. Где-то под потолком, на полатях, раздался плач девочки...

— Тс, тс, окаянная... Чтоб тя язвило! — унимала ее мать. В голосе слышалась тревога, глаза с беспокойством то-и-дело направлялись в сторону скамейки, на которой под пушистым байковым одеялом спал кто-то, укрывшись с головой.

Девочка не унималась, ее плач сделал то, чего не смогло сделать солнце. Человек под одеялом зашевелился; на свет божий высунулась рука, привычным движением взяла со скамейки лежащие на ней очки и напялила на подоспевший к ней нос... Обладатель руки, очков и носа присел на постели и начал торопливо одеваться.

Наверху, на полатях, мать, разочаровавшись в убедительности слова, угостила дочку тумаком и, видя, что «барин» проснулся, слезла с полатей и начала ставить самовар... Победительница с высоты полатей наблюдала за барином. Он ей нравился, и она его не боялась. Тятька и мамка — те не обращают на нее внимания, подчас ругаются и тузят ее, а он все с ней да с ней. «Давеча конфет даже дал!» И забавный какой: возьмет червячка, посмотрит... посмотрит, да и уложит его спать в постельку... чистенькую такую, беленькую... А сегодня он ее с собой возьмет, и бабочек вместе ловить будут.

Девочка заторопилась.

Мать открыла ставни. Яркий свет солнца ворвался в избу и сначала ослепил всех, но минуту спустя уж каждый был занят своим делом: баба самоваром, девочка одеванием, а ученый, услышавший жужжание насекомых, добыванием из дорожного ящика всевозможных склянок. Вот у него в руках оказалась склянка с туго пригнанной пробкой, через которую в стеклянной трубке был проведен кусочек калия. Иван Николаевич открыл пробку и подошел к окну, на котором рвавшиеся к свету насекомые беспомощно бились крыльями о стекло... Такое преступное со стороны насекомых стремление к свету тотчас же было по заслугам оценено, и они оказались закупоренными в стеклянную тюрьму, где их ожидала исполненная по всем правилам науки смертная казнь.

Самовар вскипел и чай был торопливо отпит; Иван Николаевич захватил склянку, сетку для ловли насекомых и жестянку для растений и выбежал на улицу, забыв о данном накануне обещании захватить с собою девочку.

— А меня?! А меня?! — раздался рев.

— Некогда, Машутка, — рассеянно отвечал натуралист, быстро удаляясь.

Девочка продолжала реветь. Занятая по хозяйству мать не обращала на нее внимания, и это оказалось более действительным, чем утренние тумаки. Не переставая всхлипывать, Машутка вылезла из-за стола и босыми ножками затопала в сторону сундука натуралиста. О, радость! — на крышке сундука лежала забытая деревянная коробка...

Девочка просияла, охватила маленькими ручонками сокровище, поставила на подоконник и открыла крышку.

— Жученьки!— умиленно воскликнула она, глядя на уложенных в вате жуков.— Миленькие! Будет, будет бай!

Жуки по очереди, один за другим, очутились на подоконнике, и девочка проворными ручками начала строить из них воинственные кадры. Ну, а теперь война!—ручонки сблизились, находящиеся в них жуки столкнулись носиками и... рассыпались.

— Ишь, противные, не надо драться!— скомандовал полководец. Сражение заменила пляска; полководца сменил дирижер и вместе с тем певец; безжизненные жуки отплясывали русскую до усталости, до изнеможения, до исчезновения... Сбылось предсказание: из праха возникли и в прах обратились.

Только тогда девочка спохватилась: сердечко тревожно забилось, она с испугом смотрела на недавних «миленьких», теперь представлявших небольшую и непривлекательную кучку сора. Но так как придать вновь форму этой бесформенной массе было вне ее власти, то... она заревела. В голосе ее слышался такой испуг, что мать не могла не обратить на нее внимания, взглянула и в ужасе всплеснула руками: «Что-то барин скажет!»

Взволнованная, встревоженная, она побежала к мужу. Тот, почесывая затылок, тоже беспомощно как-то смотрел на картину разрушения...

Вдруг в голове этого представителя «черни» блеснула гениальная идея:

— Ничаго!— произнес он флегматично.— Ганютка! Параша! Саша! — сзывал он ребятишек. — Беги, робя, в поле! Тащи жуков! Живо!

Работа закипела. Час спустя заскорузлыми от работы руками отец Машутки осторожно укладывал на подстилку из белоснежной ваты заместителей рассыпавшихся жуков.

— Ну, мотри, Машутка! Только ты мне хоть слово пикни... такую лупцовку задам, что...

Отец не докончил, но девочка и без этого догадалась, какая это будет лупцовка, и, когда Иван Николаевич вернулся, она начала от него сторониться.

— Ну что, Машутка?— заговорил с ней «барин», видимо довольный результатами экскурсии.— Ревела?

— Как не реветь?— подоспела мать на выручку сконфуженной.

— Нехорошо! — пожурил девочку натуралист и, вынув из сумки снятую шкуру куропатки, распластал ее на листе бумаги.

Вошел хозяин и с любопытством уставился на него. Не смущаясь этим, Иван Николаевич посыпал шкуру персидским порошком и методически начал расчесывать ее, зорко наблюдая, чтобы ни один паразит не ускользнул для науки...

Пораженные его манипуляциями, хозяева переглядывались.

— Вот нас бы эдак, — сострил крестьянин, — больше, пожалуй, набралось бы...

Ученый окинул мужика презрительным взглядом. «Дурак», — мелькнуло у него в голове.

За паразитами последовало изучение новой коллекции жуков.

Иван Николаевич взял в руки злополучную коробку... Машутка, вылезшая было на свет божий, испуганно шарахнулась в угол... Ученый побледнел... «Боже, какой вандализм!» Он взглянул на окружающих. Те молчали.

Что это? Насмешка? Заменить его коллекцию всякой дрянью? — Негодованию его не было пределов.

Хозяева, сообразив, что хитрость не удалась, виновато опустили головы; Иван Николаевич этого не замечал...

— Я вас проучу за такие штуки! — крикнул он задыхаясь. — Где те жуки?

— Ну, сказывай, Машутка, где? — смущенно повернулся в сторону девочки отец.

Машутка в страхе прислонилась к стене.

— Ну!.. — с нетерпением в голосе крикнул Иван Николаевич.

Ответа не последовало. Машутка, как загнанный зверек, испуганно глядела на окружающих.

— Иван Николаевич! — заступилась за нее мать. — Не серчай! Дитя — маленькое, неразумное... Взяла и попортила...

— А вы где были? — он, хлопнув дверьми, выбежал на улицу.

Маленькая преступница не плакала. Бледная, испуганная, дрожа всем своим маленьким тельцем, она с ужасом смотрела на тятьку, от которого ожидала заслуженной лютой кары. Но отец не шевелился. В его голове не вмещалось, как такой хороший барин может волноваться из-за каких-то жучков.

— Ребенка, вишь, не жаль, а за жуков — во какую кашу заварил!

Он подошел к девочке.

— Ничего, Машутка, — ласково заговорил он с нею, — не бойся!

Девочка робко, жалобно всхлипнула и прижалась к тятьке...

А Иван Николаевич долго-долго бродил по зеленым атласным коврам заливных лугов в поисках не за насекомыми или растениями, а за тем душевным спокойствием, из которого его так неожиданно выбили...

Где-то далеко крякала стая диких уток; миллиарды насекомых вторили ей, как будто наигрывая на тонких, как паутина, струнах; ночные хищники мало-по-малу выступали на смену дневным; концерт в воздухе постепенно начал стихать... Иван Николаевич невольно упивался этими, столь знакомыми ему звуками и вместе с ними как бы вбирал в себя окружающее его спокойствие. Поднявшаяся в душе буря постепенно улеглась и, успокоившись окончательно, натуралист вернулся домой.

Машутка уже спала. Хозяйка встретила его угрюмым молчанием. Иван Николаевич принялся за работу. На столе вновь появились коллекции всевозможных жуков. Над некоторыми экземплярами ученый дольше останавливался, с нескрываемой любовью укладывал выдающихся мертвецов в чистую, белую пуховую постельку...

А там, наверху, на полатях, взволнованный дневными треволнениями, живой ребенок метался во сне, в испуге вскрикивал и плакал...

Эти мои занятия встревожили старых моих друзей. Из далекого Колымска я получил письмо от своего сопричастника, шлиссельбуржца Людовика Яновича, который в очень деликатной форме, но все-таки ребром поставил вопрос, неужели я превратился в заправского ученого и собираюсь и в будущем ограничиться этим? К этому письму присоединился лично мне тогда незнакомый, но знавший меня и по процессу, и по рассказам Ян Стружецкий. К Яновичу я относился с большим уважением и ответил ему подробным письмом, в котором подчеркнул, что до тех пор, пока я окончательно не покончу с теми сомнениями, которые заставили меня проверить все свои установки, будь я даже на воле, я не мог бы попрежнему работать. Ознакомив его с вопросами, которые меня к тому времени буквально измучили, я успокоил его, что этот процесс проверки, как мне кажется, подходит к концу, и я из заправского ученого поневоле вновь превращусь в революционера. Ответа на это письмо я уже не получил. Янович вскоре после этого покончил с собою.

ЧИНОВНИЧИЙ И ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ МИР МИНУСИНСКА

Если бы только на основании менявшегося облика чиновничьего мира судить о том, что тогдашняя Россия находится в переходном состоянии, то и этого одного признака было бы вполне достаточно. С проведением железной дороги и вслед за этим судебной реформы в Сибири, тип старого сибирского чинуши, самодура-бюрократа и взяточника, гнувшегося в три погибели перед вышестоящими и гнувшего в бараний рог стоящих ниже,—вытеснялся другим, ранее в Сибири невиданным типом. В Сибирь сразу хлынула волна людей с высшим образова-

нием — инженеров, судей, следователей, нотариусов, «крестьянских начальников», всевозможного ранга лесных чиновников, податных инспекторов и т. д. и т. п. Большинство из них были такими же карьеристами, как и их предшественники, во многих случаях такими же бюрократами, но все это было уже покрыто лаком «культурности». Встречались среди них и идейные, и подделывающиеся под идейных люди. Последние в отношениях с ссыльными маскировались, предполагая, повидимому, что ссыльные настолько наивны, что не разберутся в том, что они при помощи своей маскировки собирались использовать ссыльных в своих целях.

К этой категории лиц принадлежал Александр Васильевич Адрианов, высшее акцизное начальство в округе. Среди ссыльных он разыгрывал роль либерала, установил и поддерживал связь с «Сибирской жизнью» и «Восточным обозрением», совершал «ученые» экспедиции, производил археологические раскопки, печатал свои «ученые» труды, но во всем этом чувствовалась фальшь, чувствовалось, что и ссыльные, и газеты, и ученость — это лишь ступеньки для карьеры, что в любой момент за генеральский чин, к которому он стремился, о котором грезил, он предаст всех и вся. Как ученый — он был по меньшей мере малознающий дилетант, настолько поверхностный, что мог целую народность урянхайцев-сойот (тувинцев) характеризовать как «лживую». Я остановился на этом весьма хитром и продувном типе, потому что было время, когда эти его черты характера не были замечены и к нему было отношение как к человеку, по меньшей мере, оппозиционно настроенному, но эта оппозиционность испарялась по мере того как Адрианов повышался в чинах; становясь по мере продвижения по служебной лестнице все правее и правее, он после Октябрьской революции уже выступил как ярый контрреволюционер.

Полную противоположность представлял только что окончивший университет и назначенный в Минусинский округ крестьянским начальником — Сергей Ордынский, впоследствии один из редакторов «Русских ведомостей». Молодой, увлекающийся, он чуть ли не с первого дня сблизился с политическими ссыльными и мечтал, занимая такой сомнительный пост, чуть ли не перевернуть мир. Это были юношеские мечты, и Ордынский, наталкиваясь на каждом шагу на мрачную сибирскую действительность, не выдержал, подал в отставку и уехал в Россию, где профессорское окружение и работа в «Русских ведомостях» наложили на него свой отпечаток «умеренности и аккуратности». Когда я встретился с ним несколько лет назад, от прежнего Ордынского ничего уже не осталось. Это был брюзжащий старик, козырявший предо мной лишь тем, что он имел полную возможность удрать из России после Октябрьской революции, остался здесь и работает в качестве правозаступника.

Не выдержал испытаний на посту крестьянского начальника

и Михаил Ширяев, менее Ордынского увлекающийся и более в то время умеренный. Юрист по образованию, он перешел в мировые судьи, рассчитывая внедрением законности кое-чего добиться. В Сибири это не удавалось, и он перевелся в Россию. Я его уже больше не встречал, но не сомневаюсь, что его постигла обычная участь: служба, которую он рассматривал как средство, превратилась в цель. Таких, как Ордынский и Ширяев, было очень много в Минусинске, в особенности среди врачей. Фридман, Смирнов, Козлов — все они в то время были очень близки ссыльным, оказывали небольшие услуги, но одни вскоре остыли — «поумнели», другие умерли молодыми.

С одной стороны, эта чиновничья среда, находившаяся в постоянном общении с ссыльными, с другой — Н. М. Мартьянов влияли и на местных обывателей, ранее трусивших (недреманное жандармское око не дремало и в Минусинске), и они незаметно для самих себя, часто через чиновничью и врачебную среду, входили в те или другие отношения с ссыльными. В особенности это происходило в те моменты, когда из-за Урала дул более либеральный, как обывателям по крайней мере казалось, ветер. Дело дошло до того, что, когда по всему лицу земли русской организовались пресловутые виттевские комитеты, такой комитет был организован под председательством городского головы Лыткина, при Минусинской городской управе этот комитет заседал в одной комнате, а в другой, в той же управе, заседал комитет из ссыльных, разрабатывавший все вопросы и фактически руководивший официальным комитетом.

В результате всех этих отношений создалось такое положение, что ссыльные не являлись для обывателя каким-то пугалом, как это было в других захолустьях, а, наоборот, многие жители Минусинска не стесняясь выявляли свое уважение к ним. Храбрее других в этом отношении был, конечно, Мартьянов, который на торжественном заседании по поводу двадцатипятилетия Минусинского музея, после того как мною был зачитан и вручен ему адрес от имени минусинских политических ссыльных, шепнул председательствовавшему на торжестве городскому голове Лыткину, что необходимо выразить мне признательность за составление исторического очерка музея, что тут же, несмотря на присутствие полицейских чинов, и выполнил. Это был первый случай публичного чествования политического ссыльного, и об этом немедленно были отправлены телеграммы в «Сибирскую жизнь» и в «Восточное обозрение», как пояснял пославший эти телеграммы Распопов, для закрепления. Товарищи по ссылке меня упрекали, почему я не выступил с ответной речью. Но все это было такой неожиданностью, что я буквально растерялся и только потом исправил эту ошибку посылкой за своей подписью письма соответственного содержания в «Сибирскую жизнь».

Такое отношение минусинцев к политическим ссыльным дало

мне возможность заменить надоевшую мне до-смерти «педагогическую работу», которой я занимался для заработка, другой, которая казалась мне более интересной. Я предложил приехавшему в Минусинск новому мировому судье Курту Александровичу Гадилье свои услуги в качестве... письмоводителя. Гадилье, латыш-мещанин, с момента получения университетского диплома и занятия поста мирового судьи разыгрывал из себя остзейского барона. Сухой, надменный со всеми, имевшими с ним дело, по отношению ко мне он был очень предупредителен и вежлив. При всех своих недостатках, которые отталкивали от него, он отличался двумя достоинствами. По отношению к исправнику Стоянову, считавшему себя «первым лицом» в Минусинске, он держал себя с большим достоинством и не позволял ему вмешиваться в свои дела, а вторым его достоинством была прямо-таки завидная работоспособность. Унаследовав от своего предшественника тысячи дел, он очень быстро очистил свой участок. Мне как его «письмоводителю» пришлось тоже налечь на работу. Судья в одной комнате объявляет решение, а в другой, изучив ранее дело, я изготовляю это решение, уже мотивированное, «в окончательной форме». Ночью Гадилье просматривает, иной раз кое-что изменяет и подписывает мое сочинение, а на следующий день уже выдается копия недовольному для обжалования. Первой же ревизией, произведенной председателем окружного суда Ермаковым, было отмечено, что ранее запущенный участок приведен Гадилье в порядок.

— Сам удивляюсь, как я смог справиться с этим так быстро, — расхвастался перед председателем Гадилье, но председатель был в курсе дела и в моем же присутствии и в присутствии других судей, в том числе Мартьянова, назначенного почетным мировым судьей, осадил его.

— Ну, вас на одном участке двое,— сказал он, намекая на мои не совсем письмоводительские функции.

В тот момент Гадилье этот намек Ермакова не особенно понравился,— его самолюбие было немного задето,— но вскоре этот отзыв председателя был им использован.

Недолюбливавший Гадилье и враждебно относившийся ко мне исправник донес губернатору, что политический ссыльный принят Гадилье на работу, которая по уставу ссыльным не разрешена. В связи с этим Гадилье было предложено меня уволить. Смущенный, он сообщил мне об этом, тут же заявив, что он немедленно напишет Ермакову и потребует его вмешательства. Долго на этот раз он корпел над письмом, приводя в нем цифровые данные, заявил, что на таком большом участке без такого знающего и опытного письмоводителя, как я, ему не справиться и настаивал «в интересах дела» на необходимости оставить меня на работе у него. Обо всем этом я был им же осведомлен, хотя «бумага» начиналась с сакраментальной отметки: «конфиденциально».

Куда и к кому обращался Ермаков — не знаю, но его вмешательство в это дело — он был на хорошем счету и вскоре занял пост прокурора иркутской судебной палаты — увенчалось успехом.

— На-ка, выкуси! —заочно выпалил Гадилье по адресу исправника.

Это был единственный случай, когда он не выдержал чопорной баронской роли. Я после этого смог лишь очень короткое время продолжать у него работу. Он по какому-то делу поехал в округ и там скоропостижно скончался от заворота кишок. Не зная, каков будет его заместитель, я, сдав дела судебному следователю, несмотря на предложение последнего остаться, отказался от предложенной работы и, надо сознаться, отказался не без сожаления.

Чтение «Живых цифр» Г. И. Успенского навело меня на мысль написать «Живые параграфы» тогдашнего кодекса. Работа у судьи давала для этого богатейший материал, которого я лишался с уходом с этой службы.

Воспользовавшись неожиданным досугом, я написал приводимые мною два очерка.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Мороз был трескучий; стекла в окнах маленьких деревенских лачужек разукрасились дивными фантастическими ледяными рисунками, и тусклое пламя дешевых керосиновых ламп миллионами блестящих искорок отражалось в этих узорах. В избе Степана Пономарева было душно и тоскливо. Сам Степан сосредоточенно чинил хомут, его жена Анна возилась с тестом, а сын—восьмилетний Ваня—вполголоса по складам читал «Родное слово», громко сопя от напряжения. День был будничный, солнце давно закатилось, и деревенский обыватель собирался на покой. Только в «сельской» усиленно работали: из города сейчас пришел почтарь, и писарь был занят разборкой почты. «Срочное»,—пробормотал он про себя, расписываясь в получении пакета «от мирового». Он разорвал конверт и вынул оттуда целую кипу печатных бланков: «Опять повестки».

— Ну, Иван, влетит же тебе,— обратился он к десятскому,— целых пятнадцать! Панину, Вахрамееву, Пономареву...

— И Пономареву?— с любопытством перебил его десятский. — Должно насчет коня?

— Н-да, «по делу о краже у вас лошади»,— прочитал писарь на повестке.

— Ну, слава тебе господи! — перекрестился Иван. — Мужичонка-то совсем разорили. Небось, обрадуется.

— Ну, пора, дуй, не стой; седня же разнести надо, не запоздали бы.

Иван оделся, еще раз справился, кому надо вручить повестки, и отправился по избам.

Прежде всего он пошел туда, где, он знал, ему будут рады. Обычная черта человека: чужие радости мы гораздо охотнее разделяем, чем чужое горе... Он постучался к Степану. Ему открыли без всяких вопросов: крестьянин не боится ночных посетителей.

Перекрестившись на образа, Иван поторопился обрадовать Пономарева.

— Ну, Степан, твое дело насчет Гнедка вышло! Повестка тебе к мировому.

Степан с недоумением уставился на него. Анна бросила тесто, а Ваня, засунув палец в нос, тоже с недоумением глядел на вошедшего.

— Пра-слово, паря! Да ведь Ваня у тебя грамотный... Прочитай тятьке...

С полным сознанием своего достоинства и той ответственной роли, какую ему приходится играть в эту торжественную минуту, Ваня, оставив нос в покое, взял в руки повестку и, запинаясь правда, все-таки прочитал, что «тятька» вызывается 15 января не позже 10 часов в камеру мирового «по делу о краже у него лошади». Все перекрестились... Десятский ушел, а обрадованная семья только громкими «слава тебе, господи» выдавала волновавшие ее чувства.

Два месяца прошло с тех пор, как у Степана увели Гнедка... Уж и искал же он его: какое же хозяйство без коня...

Ну, а теперь, дай бог здоровья мировому, вышло наконец его дело... Его в данный момент не интересовал вопрос — ни кто украл, ни как нашли его Гнедка. Все его существо было поглощено одной мыслью: послезавтра ему вернут коня; отберут у укравшего и отдадут ему.

На другой день рано утром он пошел по соседям просить коня в город съездить, и — замечательное явление! — именно потому, что ему «пофартило», что он ехал за получением разысканного собственного коня, ему дали коня охотно. Он, конечно, не занимался разгадкой этой психологической загадки, не вспомнил даже, что ему далеко не так охотно давали коня, когда он ездил в поиски за своим конем... Теперь ему было не до психологии и не до приятных воспоминаний. Он торопился. В повестке сказано было: «не позже 10 ч. 15 января»; сутки, значит, остались, а до города 70 верст...

Наскоро срядившись в дорогу, он поехал. Лошадь звонко стучала копытами по гладкой дороге. Глубокий снег залегал с обеих сторон, и только кое-где грязно-желтая прошлогодняя «пикулька» на кочкарнике темным пятном нарушала однообразие картины.

— Куда, Степан? — спрашивали встречавшиеся по дороге знакомые.

— В город, конь мой отыскался,— делился он радостной вестью.

Мороз был страшный. То-и-дело приходилось останавливаться,— очищать ноздри у задыхавшейся лошади. Степан волновался. Заехав по дороге только на часок попить чайку и дать хоть сколько-нибудь отдохнуть коню, он поехал дальше.

Короткий зимний день сменился темным вечером. Густой как дым туман наполнял воздух. Легко было сбиться с дороги...

«Что, если, не дай господи, конь собьется»,— волновался Степан. Сам он ничего перед собою не видел. Но опытный конь выручил... Показалось кладбище. Тусклые огоньки городских фонарей успокоили Степана.

Он заехал на постоялый двор и утром, чуть рассвело, направился в камеру мирового. Но камера была еще заперта...

На каланче пробило восемь... Степан не уходил...

— Ты что рано? Часа через два заходи,— объяснил ему заметивший его сторож.

— Ничего, подождем...

Время тянулось бесконечно долго. Пробило девять. Он не утерпел и вошел в канцелярию...

— Вам чего?—спросил его грозный письмоводитель.—Сюда вход запрещен. Идите с улицы.

— Да там заперто.

— В десять откроют... Идите.

Он ушел и вновь стал взад и вперед ходить возле заветных дверей...

«Эх, хлебца-то не захватил с собою!» Ему вспомнилось, как Гнедко любил хлеб и каждое утро выбегал ему навстречу, заранее зная, что хозяин вынесет ему из избы хоть кусочек. Совсем из головы вон... Теперь уж он, поди, не такой... спужали ведь совсем лошаденку. В ночну пору пымали... И как это он только дался чужому...

В этот момент двери камеры распахнулись. Степан немедленно поднялся на крылечко и, войдя в залу, робко уселся на скамейке.

Судьи в камере еще не было. Опять приходилось ждать. Двери поминутно открывались. Камера все больше и больше наполнялась народом. Прошло еще четверть часа, появился и судья. Он уселся удобно в кресле, надел цепь и стал принимать просителей.

Как в панораме проносились перед Степаном нужды и боли деревенской голытьбы... Но вот и прием кончился.

— Пономарев,— произнес судья.

— Здесь,— торопливо откликнулся Степан.

— Это у вас украли лошадь?

— Точно так, ваше высокоблагородие.

— А подозрения ни на кого не имеете?

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— Ну так вот, я вас и вызвал, чтобы объявить вам, что дело будет приостановлено впредь до обнаружения виновных. Понимаете?

— Понимаю.

— Грамотный?

— Никак нет.

— Ну, так попросите кого-нибудь расписаться за вас, что вам объявлено.

Со скамьи поднялся какой-то человек и расписался за неграмотного...

— Ну, можете итти.

— А насчет коня как же, ваше высокоблагородие?

— Да никак. Если что узнаете, так мне сообщите.

— И больше ничего, ваше высокоблагородие?

— А больше что же?

Как ошпаренный, вышел Степан из камеры мирового судьи.

САМОУПРАВСТВО

«За необнаружением виновных дело производством приостановить»,— механически повторял Пономарев резолюцию судьи по делу о краже у него лошади, разочарованный, выходя из камеры.

Он ничего не понимал... Непонятны были для него слова резолюции, непонятно было и то, зачем его «здря» таскали столько верст. «Чудно-чой-то». Одно было до боли ясно, это то, что Гнедка — нет и что купить другого коня не на что: «а како уж хозяйство без коня».

Медленно поплелся он по направлению к харчевке на базарной площади, в которой остановился по приезде... На углу, у дверей кабака, стояло несколько запряженных саней... «Зайтить нешто? Лошади все одно вздохнуть надо». Он поднялся по ступенькам и открыл двери. Смешанный запах спирта и махорки, дикое завывание какой-то пьяной бабы, проницательный, лукавый взгляд сидельца — встретили его у порога. Пономарев подошел к стойке, выпил косушку и, вынув из дебрей кармана кожаный мешочек, расплатился с сидельцем и повернул уже к выходу, но внимательно изучавший его сиделец остановил его вопросом:

— Откедова, паря?

Он ответил.

День был не базарный и сидельца не мог не удивить приезд Степана в город.

— По делу, видно?

— В суд звали, к мировому...

— К мировому?— удивился сиделец.

— Коня украли, так, вишь, мировой к себе звал; дело, сказыват, приостановлено... А если узнашь, кто украл да где

конь, — передразнил он судью, — так приходи ко мне и все обскажи...

Сиделец улыбнулся.

— Не так, паря, ты зачал. Нешто они когда найдут? Тут самому надо. Сам бы ты в городе поразнюхал... Есть тут такие молодцы, что ты им только два слова скажи и за трешницу они в лучшем виде доставят тебе коня.

— Ну, нет! Знаем тоже эти шутки!.. Летось с кумом сыграли такую. И деньги канули, и коня до сих пор ищут...

— Нет, не говори, бывает, что и находят...

— Бывает, ежели сами его и сгребли, а моего ведь не городские, а наши деревенские воры украли... Нет, пустое...

Он не поддался на соблазн и, выйдя из кабака, отправился в харчевку, запряг коня и мелкой хлынью выехал из города. Бессвязные обрывки мыслей носились в его голове. То ему представлялось разочарованное лицо его жены, когда она увидит его без Гнедка, то проносилась сцена в камере мирового судьи, то лукавая улыбка сидельца, то всевозможные хозяйственные соображения заполняли голову, то рассуждения: ночевать ли в близлежащей деревне или же поехать напрямик.

Конь плелся медленно. Солнце уже исчезло с горизонта, когда вдали показались дома деревни, лежащей на полпути к дому. Лошадь, зачуяв жилье, прибавила шагу и минуты через три Степан направил ее уже в сторону знакомого дома, у которого он всегда останавливался, как вдруг у ворот кабака он увидел запряженного в дровни... своего Гнедка... Он глазам своим не верил. Подойдя к нему вплотную, Степан окликнул его. Умный конь повернул морду в его сторону. Сомнений не было. Перед ним стоял так долго разыскиваемый его Гнедко.

— Погоди же ты! — пригрозил Степан мысленно своему обидчику и, привязав коня к столбу, вошел в кабак...

— Твои сани перед домом?.. — спросил он находившегося в кабаке цыгана.

— Не твои же, — ответил тот.

— Ты, паря, не фордыбачь! Сани-то твои, а конь-то у меня уворован.

— Тоже хозяин выискался, — возразил цыган. — Не вяжись, у меня и расписка на него есть.

— Я те дам такую расписку, что родителев помянешь. Вся деревня знат моего коня... Расписка есть, — негодовал Степан.

— Не вяжись, говорю, — повторил цыган. — На, смотри! — Он вытащил откуда-то аккуратно завернутую в тряпку какую-то бумагу... — Ты думаешь: цыган, так уж беспременно вор.

— Мели... Я, что ль, своего Гнедка не знаю?

Сиделец, видя, что дело пахнет скандалом, выпроводил обоих посетителей из заведения.

Спор продолжался на улице. Толпа крестьян окружила обоих. Сочувствие было на стороне Пономарева. «Попался, варнак! —

слышалось в толпе.— Кишки бы из тебя выпустить! Ты чаго на него глядишь?! Выпрягай коня... Пущай знает, как коней воровать!»

Цыган, чувствуя враждебное к себе отношение, приутих.

— Да я-то при чем? Вот те христос, не воровал!.. Расписка у меня... У такого же, как ты, хресьянина купил... Что, на мне хреста нет, что воровать стану.

— Знаем мы вас, нехристи! — шумела толпа.— Кольких уже по миру пустили!

— Вы что же, господа, собрались?— подошел к шумевшей толпе сотский.

Толпа расступилась. Оба, и Степан, и цыган, наперерыв друг перед другом рассказывали сотскому в чем дело.

— Надо протокол написать,— решил сотский.— Вали, ребята, в канцелярию и коней тащите...

Он пошел впереди, за ним повалила и вся толпа.

— Протокольчик надо, Осип Иванович,— обратился сотский к писарю.— Коня, вишь, мужик украденного у цыгана признал.— Ну, сказывай приметы!— обратился он к Степану.

— Масти гнедой, грива на праву сторону, уши пороты, на ляжке клеймо,— как твердо заученный урок пересчитал приметы Степан.

— Верно! — доносилось из проверявшей каждую примету толпы, стоявшей у открытых настежь дверей канцелярии.

— А погонная есть?— вставил вопрос писарь.

— Дома-то есть.

— А тут, в деревне, никто твоего коня не знает?

— Как не знать? Парфен Монастыршин знает, Горбунов Трофим знает.

— А ну, ребята, скличьте-ка их.

Несколько человек побежало за Монастыршиным и Горбуновым, а писарь с сотским принялись за допрос цыгана.

— Ну, парень, где расписка?

Цыган показал.

— Правильно, — высказался вслух писарь, прочитав расписку, — приметы те же, и засвидетельствована старостой.

— Я же это и говорю!— приободрился цыган.

В эту минуту вошли Монастыршин и Горбунов, уже успевшие осмотреть коня.

— Пономаревский конь,— доложили они писарю.

Их показание было записано в протокол, под которым, кроме писаря и сотского, расписалось двое понятых.

— Ну, теперь с тебя, паря,—обратился сотский к цыгану,— еще расписку возьмем, что ты до суда коня никому не продашь, одно слово в натуральности должон его на суд представить.

Писарь в это время уже строчил расписку.

Степан не скоро сообразил, в чем дело. Кто-то из крестьян

побойчее объяснил ему, что коня оставляют цыгану. Он вознегодовал.

— Как так?! Мое кровное добро!.. Плевать я хочу на ваши расписки... Так я ему и дал взять коня...

Пономарев выбежал из канцелярии, толпа расступилась, сотский и писарь благоразумно исчезли.

Цыган подошел было к коню, но Степан так взглянул на него, что он сробел и жалобно обратился к крестьянам:

— Да что же это, господа? Ведь господин сотский мне предоставил лошадь...

— Только подступись, я те дам такого господина сотского...— огрызнулся Степан, выпрягая лошадь.

Толпа молчала. Степан развязал супонь, снял дугу, бросил ее к цыгану в сани, оглобли громко стукнули о мерзлую землю, он стал стаскивать хомут; кто-то из крестьян снял с коня седелку; не прошло и минуты, как Гнедко был привязан к задку саней Степана.

Цыган беспомощно глядел на все происходившее.

— Ну, Степан, ко мне на ночлег,— пригласил Монастыршин.

— Каки там ночлеги?! Домой поспевать надо,— ответил Пономарев, садясь в сани.

— С богом!— проводили его крестьяне.

— Счастливо оставаться! — Он хлеснул по лошади и минуты через две скрылся из виду. Остолбенелый цыган продолжал стоять перед пустой канцелярией.

Прошло три недели. Пономарев снова шагал взад и вперед перед камерой мирового судьи, дожидаясь времени, когда ее откроют. Он был опять вызван и на этот раз в качестве обвиняемого по 142 ст. Уст. о нак. Он не волновался. «Обскажу все, как было... Он же знат, что у меня украли коня...» И действительно, когда открыли камеру, вызвали его и судья задал вопрос, «признает ли он себя виновным в том, что такого-то числа в деревне N самоуправно отобрал у Ивана Драбовского коня»,— он добродушно ответил:

— Мой ведь конь, ваше высокоблагородие. Насчет его меня и в тот раз звали на суд; в ентот самый день я его и нашел...

— И отобрали самовольно?..

— А нешто у вора его оставить? — ответил Пономарев вопросом на вопрос.

Судья пожал плечами.

— Не желают ли стороны помириться?— вновь обратился он с вопросом к Степану и к стоявшему рядом с ним цыгану.

— Бог с им, ваше высокоблагородие,— ответил Степан,— я прощаю, хотя ворам и не след потакать.

— Да вы же обвиняемый, а не он!— нетерпеливо перебил его судья.

— Если отдаст коня и за убытки рублей десять,— я примирюсь!— бойко ответил цыган.

— Ты будешь воровать, тебе же, варнак, и плати еще...

— Я вас, Пономарев, попрошу здесь не препираться... Не хотите мириться,— и не надо.

Позвали свидетелей. Те подробно рассказали, как было дело. Судья все записывал и минуту спустя пригласил публику встать, прочитал резолюцию, коей, признавая Пономарева виновным в самоуправном отобрании коня у цыгана Драбовского и принимая, с другой стороны, крайнее невежество обвиняемого, приговорил: подвергнуть Степана Пономарева аресту при волостном правлении на четыре дня, отобранного коня возвратить Драбовскому, обязав его не отчуждать такового впредь до решения дела о краже коня у Пономарева.

Степан стоял перед судейским столом, тупо глядя на судью и ничего не понимая.

— Можете итти...— сказал ему судья.

Но он продолжал стоять, пока один из свидетелей — крестьянин — не дернул его за рукав и не вывел из камеры.

Вскоре оказалось, что я с уходом с должности письмоводителя мирового судьи поторопился. На место Гадилье был назначен Д. Г. Лаппо, бывший политический ссыльный, по возвращении из ссылки окончивший юридический факультет. Ему, конечно, удобнее было получить меня по наследству, чем приглашать заново. Попрекнув меня, зачем я поторопился с уходом, он все же, несмотря на свое прошлое, свидетельствовавшее о его не особенной благонадежности, уговорил меня вновь взяться за эту работу.

Во многих отношениях Лаппо представлял полную противоположность Гадилье. Для последнего параграфы были всем. Ему не было дела, что будет с людьми, к которым эти параграфы применяются, и мне довольно часто приходилось подыскивать другие параграфы, менее жестокие, для противопоставления намеченным им параграфам. Гадилье делал выбор между параграфами независимо от их действия. У Лаппо подход был другой. Он за параграфами видел людей, но от этого людям было не лучше, а хуже. «Не надо,— говорил он мне,— сглаживать острых углов законов. Это приводит лишь к тому, что законодательство будет восприниматься как гуманное. Наоборот! Надо, чтобы люди испытали на себе всю жестокость существующего законодательства, тогда недовольство рано или поздно выявится».

Мне трудно было с этим примириться и я недолго поработал с Лаппо, несмотря на то, что он в очень многих отношениях стоял гораздо выше Гадилье. Он принимал участие во всех культурных начинаниях, умело руководил культурными обществами, интересовался всем окружением и изучал его. Его научные тру-

ды об юридическом быте качинцев, согайцев и др. и о творчестве их представляют большую ценность. По своим убеждениям он, по собственному мнению, оставался тем, чем был в молодости, когда угодил в ссылку, на деле — он значительно, даже очень значительно, подался вправо, причем во время японской войны шовинизм из него так и выпирал.

С отъездом из Сибири я его совершенно утерял из виду и только недавно получил сведение, что он умер в феврале 1936 года.

ПОБЕГ РАЙЧИНА

Работая у судьи, занимаясь исследованиями, я не упускал главного. Не было ни одной книги, ни одной брошюры, ни одного воззвания, которых бы я в то время не читал по нескольку раз, и постепенно из «пролетариатца», сочетавшего марксизм с индивидуальным фабричным и политическим террором, действовавшего за массы, а не через массы, я превращался в «подлинного» революционного марксиста, хотя эта подлинность, как я впоследствии еще не раз убеждался, была далеко не подлинной. Многим, как я уже упоминал, я обязан в этом Курнатовскому. Он еще дышал волей. Всякое свое положение подтверждал фактами из жизни. Он же меня познакомил с деятельностью «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Члены этого союза как раз к этому времени начали прибывать в ссылку: Ленин, Старков, Кржижановский, Ленгник, Шаповал, Лепешинский. Я сознавал, что общение с ними окончательно поможет мне разобраться, но произошел инцидент, разрушивший эти надежды.

Райчин, о котором я уже упоминал, которого мы считали не совсем нормальным, при всякой встрече, даже не со ссыльными, говорил о том, что он убежит, что ему в ссылке делать нечего. Это сделалось настолько достоянием всех жителей, что при встрече с врачами они нам говорили: «Чего вы не уговорите Райчина? Он рассказывает на всех перекрестках о намерении бежать... Разве можно так устраивать побеги?» Но Райчин был человеком довольно бесцеремонным и делал свое дело.

В одно прекрасное утро один из врачей, Фридман, вызвал меня и сообщил, что на его имя из Цюриха получилось 300 швейцарских франков, причем у него нет никаких указаний, для кого и для чего эти деньги. «Я, — добавил он, — ниоткуда не могу получить. Эти деньги для кого-нибудь из вас, но кому их передать, я не знаю».

Подумав и посоветовавшись с товарищами, я пришел к выводу, что деньги мог выписать только Райчин. Правда, он не просил Фридмана о разрешении получить деньги на его адрес, но по почте в Минусинск никогда никому из местных жителей из Швейцарии денег не присылалось, другие ссыльные заручились бы разрешением Фридмана. Вывод: кроме Райчина деньги ни-

кому не могли принадлежать. Я пришел к нему: «Вы не ждете денег?» — «Жду, жду! Что, пришли?» Я вручил ему эти деньги, указав на то, что если он использует их немедленно и не подождет соответственного момента, то подведет доктора Фридмана.

Недели две спустя Фридман уже с ужасом вновь вызывает меня и сообщает, что получил из Франции еще 100 франков. Положение становилось довольно грозным для Фридмана, которого, если бы побег состоялся, обвинили бы в содействии этому побегу. Мы немного встревожились. Получение денег свидетельствовало о реальности планов Райчина, а между тем Райчин никого не предупредил о необходимости очистить квартиры от нелегальщины, несмотря на то, что после побегов власти делали повальные обыски. На всякий случай мы припрятали нелегальщину, которой у каждого из нас было довольно много. Неконспиративность Райчина встревожила не только нас, горожан. В город примчались Старков и Кржижановский, зашли ко мне и к Тыркову и сообщили, что Райчин явно ненормальный человек, собирается убежать, но это верный провал. Они поэтому обращаются к нам со следующим: они его уговорят отложить побег, а так как они были посвящены в то, что у нас есть организация по устройству побегов, то, выждав необходимое время, они попросят организовать так этот побег, чтобы Райчин не провалился. Организация побегов входила в круг наших обязанностей. Мы согласились, но указали, что Райчин ненормальный человек, и поэтому единственной гарантией, что он действительно воздержится от побега, будет отнятие у него денег и возвращение их ему в тот момент, когда все будет подготовлено. Договорившись на таком образе действий, Тырков и я начали успокаивать всех, что Райчин не убежит, что это одна болтовня. Сами же мы вошли в сношения с другими местами, в которые сообщили, что нужно готовить ему приют, в котором он сможет некоторое время укрываться, потому что после побега будет организована за ним погоня. Я уже упоминал о том, что в то время в ссылке считалось недопустимым пользоваться разрешенными отлучками для побега, так как это могло повлечь за собою отмену разрешений на отлучки для всей ссылки. Райчин не посчитался с этим. В одно прекрасное утро надзиратель во время своего обычного обхода явился с книгой, в которой в графе Райчина значилось: «Райчин уехал в Бию» — деревню, довольно далеко отстоявшую от Минусинска. На следующий день и еще два дня потом такая же надпись, а на пятый день уже было отмечено: «Райчин не вернулся». Публика встревожилась. Положение мое и Тыркова было довольно трудное. Мы все время уверяли всех, что нечего беспокоиться, что он не уедет, что предупредить о побеге наша обязанность. У многих была на квартире нелегальщина. Мы были ответственны в случае провала... Заподозрев неладное, мы обошли квартиры всех ссыльных с предложением срочно очистить-

ся. Встревожились и загородные ссылки. В Минусинск приехала специально узнать, что с Райчиным, жена Старкова. Когда мы стали расспрашивать ее, то узнали, что товарищи отобранию у Райчина денег не придали такого значения, какое придавали мы, и денег у него не отобрали.

Мне трудно передать, что я тогда пережил. Целая группа ссыльных могла пострадать из-за того, что доверяла свою безопасность мне и Тыркову. Я очень резко напал на ведших с нами переговоры, обвиняя их в нелойяльности, и только много лет спустя узнал, что Райчин поступил нелойяльно не только по отношению к нам, но и к ним.

Повидимому, этому он не придавал значения, не понимая, какие это могло повлечь за собою последствия. Он своей цели достиг и, сверх ожидания, благополучно добрался за пределы досягаемости. Обязан он этим глупости самодура-исправника. Надзиратель на пятый или шестой день отметил в книге: «Райчин не вернулся», а в следующие дни, когда Райчин уже пробирался за границу: «Райчина нет!», причем слово «нет» он почему-то писал с мягким знаком на конце. Эти записи прекратились, когда С. И. Мельников под словами «Райчина нет»... приписал: «и не будет!»

После восьми—десяти дней с момента побега производить обыски у ссыльных не было никакого смысла, и в этом отношении побег Райчина не повлек за собой никаких последствий.

Для меня лично весь этот инцидент имел огромное значение. Все мои расчеты на сближение с группой марксистов рухнули. Я вновь оказался в идейном одиночестве. Были попытки выяснить на общем совещании все недоразумения, но они не увенчались успехом. Отношения не налаживались, и когда Надежда Константиновна Крупская вместе с матерью приехала в Минусинск, направляясь в Шушу, где отбывал ссылку Владимир Ильич, я помог ей, чем мог, уговорил Егора Филатова, осужденного «по делу 50-ти» и ведшего крестьянское хозяйство недалеко от Минусинска, отвезти ее, но никаких принципиальных вопросов в разговоре с ней не затрагивал.

Весь этот инцидент косвенно был причиной того, что, когда Географическое общество Восточной Сибири предложило мне отправиться за Саянский хребет и произвести обследование урянхайцев-сойот (тувинцев), я не колеблясь дал свое согласие.

ЧИТАТЕЛЬ!

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва, Большой Гнездниковский пер., д. № 10, издательство «Советский писатель».

СОДЕРЖАНИЕ

Ответственный редактор М. Чечановский
Тех. редактор Н. Греймер
Корректор А. Мискарьянц

●

Уполн. Главлита № Б—21508
Тираж 10 200 экз.
С. П. № 44.
Сдана в производство 5/I—36 г.
Подписана к печати 10/V—36 г.

●

Количество листов 32,5
Авторских листов — 35
Учетно-авторских — 39
Бумага 62×94 с/м
Заказ № 7.

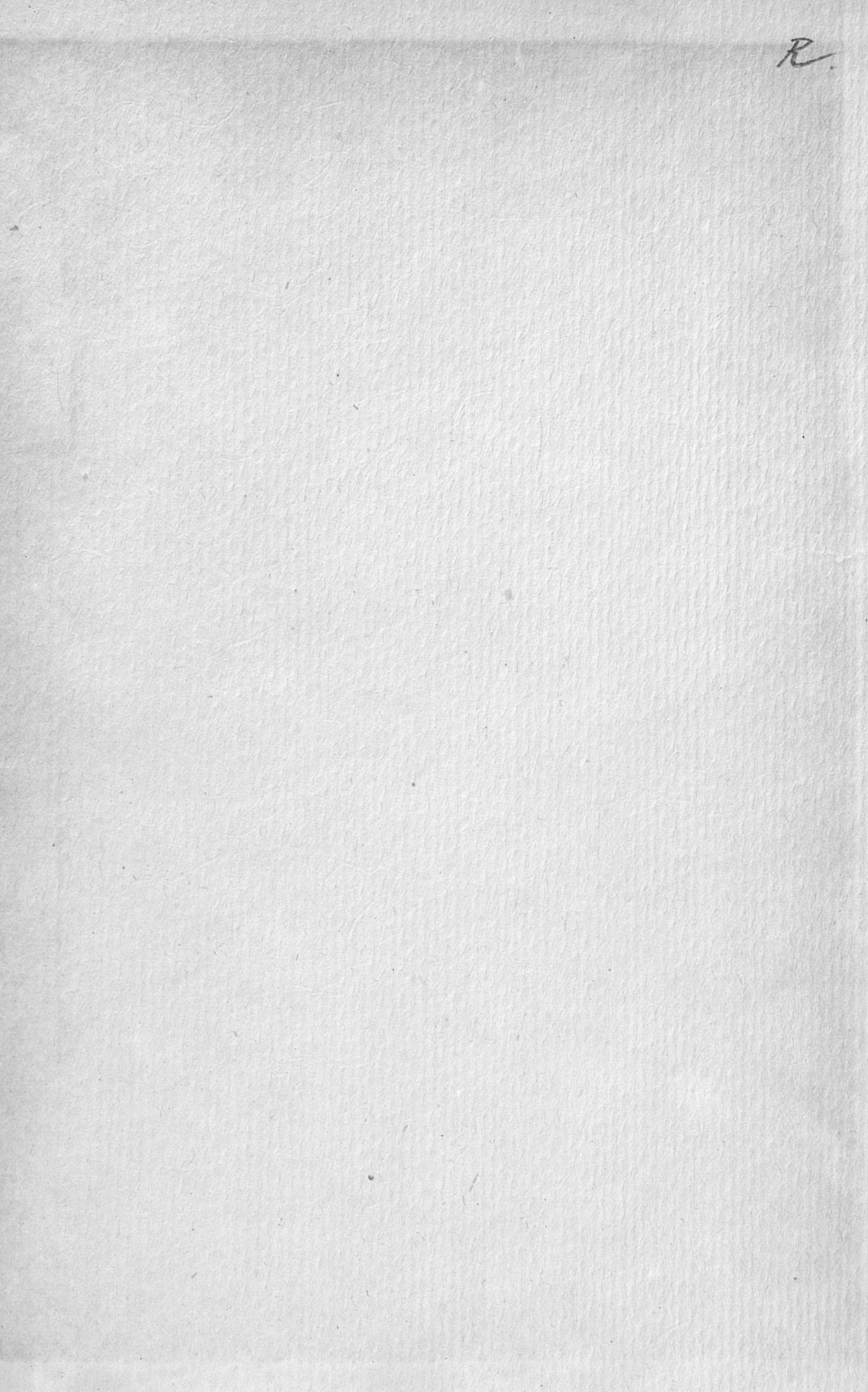
39-я тип. «Мособлполиграфа», ул. Скворцова-Степанова, 3.

Цена 9 р.
Переплет 2 р.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Надо
51	24 снизу	Ставский	Ставиский
100	11 „	„Pównosc“	„Rowność“
128	19 сверху	Биох	Блиох
177	20 „	проводил	проводили
195	14 „	ударал	удрал
298	1 снизу	комнада	команда
303	8 сверху	Леонадра	Леонарда
354	13 „	сводится	свозится
354	17 снизу	Han dsoff	Hands off
387	8 сверху	Евремями	евреями
407	8 „	лежлаа	лежала
411	3 „	gtowie	glowie
435	5 снизу	грач	врач
453	11 сверху	„жандармом-вмешателем“	„жандармом-вешателем“
487	19 снизу	вохитки	волхитки

К книге Ф. Кон „За 50 лет,“


R.

